



Александр Малиновский

**Дом
над Волгой**

Избранная проза

**Самара
2014**

*Издание осуществлено
при грантовой поддержке
Департамента культуры,
туризма и молодёжной политики
Администрации городского округа Самара*

Малиновский А.С.

М 19 Дом над Волгой: Повести. — Самара: Русское эхо, 2014. — 560 с.

ISBN 978-5-9905721-1-9

В книгу известного русского писателя Александра Станиславовича Малиновского, лауреата нескольких всероссийских литературных премий, вошли четыре повести, написанные в разные годы и объединённые стремлением автора передать через судьбы соотечественников второй половины XX столетия и начала XXI атмосферу жизни России, выбрать то главное, что определяет её национальную суть.

Через повседневный гул и суету современной жизни со страниц книги прорываются к читателю дыхание и вольные ветры дорогих для автора рек Волги и Самары.

Самарский край — родина писателя. Заволжье, левобережье реки Самары — важная часть души его. без них не было бы такого писателя — Александра Малиновского.

ISBN 978-5-9905721-1-9

© Малиновский А.С., 2014.

© Русское эхо, 2014.

Самарские родники Александра Малиновского

В 1879 году в статье «Лучше поздно, чем никогда» (журнал «Русская речь») Иван Александрович Гончаров твёрдо и убеждённо заявил о своей приверженности принципу жизненной правды: «То, что не выросло и не созрело во мне самом, чего я не видел, не наблюдал, чем не жил, — то недоступно моему перу! У меня есть (или была) своя нива, свой грунт, как есть своя родина, свой родной воздух, свои друзья и недруги, свой мир наблюдений, впечатлений, — и я писал только то, что переживал, что мыслил, чувствовал, что любил, что близко видел и знал, — словом, писал и свою жизнь, и то, что к ней прирастало». В принципе, это высказывание можно трактовать как апофеоз реализма. И классик всем своим творчеством подтвердил верность этой методологии. Книга, которую вы держите в руках, тоже соответствует этому принципу.

Если внимательнее присмотреться к романам Гончарова, то легко убедиться, что характеры, изображённые им (Обломов, Штольц, Райский, Волохов, Вера, Марфинька...), появлялись в его воображении раньше, чем подобные типы выходили на реальную общественную сцену. Особенно это становится ясно, если учесть, что свои замыслы этот симбирский «обломов» не спешил доводить до конечного литературного воплощения.

Спустя много лет американский писатель Эрнест Хемингуэй обмолвился следующими показательными словами: «Настоящее творчество — это когда сочиняешь, придумываешь». Казалось бы, между двумя этими высказываниями пролегает глубоко пропаханная демаркационная борозда, разделяющая два принципиально противоположных подхода к литературе. Но на самом деле всё гораздо сложнее.

С другой стороны, «сочинитель» Хемингуэй всю жизнь черпал материал, сюжеты и энергетику из собственной судьбы. Таким образом, соотношение между правдой жизни и вымыслом всегда находится в сложной пропорции и подвижном состоянии: в один период автор более склонен к прямому изображению дей-

ствительности, в другой — к фантазии, а то и фантазмагории. Но проблема в том, что сама жизнь порой оказывается невероятнее любой фантазмагоричной выдумки.

Эти теоретические рассуждения показались мне необходимыми, прежде чем начать разговор о творчестве современного русского писателя Александра Станиславовича Малиновского. В его прозе, казалось бы, нет места никакому вымыслу, но это представляется только на первый взгляд, да и вполне реалистически написанные эпизоды порой выглядят как чудеса, небесные знамения и сказочные превращения.

* * *

20 февраля сурового 1944 года в поволжском селе Утёвка близ Самары в крестьянской семье Рябцевых-Шадриных на свет появился младенец. Вскорости он был наречён и крещён под именем Александр. Но вот записан был маленький Саша под фамилией Малиновский. Её происхождение ни для кого не было тайной: отцом ребёнка был поляк Станислав Малиновский, с начала войны интернированный в СССР из Польши. Матерью — утёвская крестьянка Шадрина Екатерина Ивановна. На четвёртом месяце беременности Екатерины Станислав был призван в Войско Польское и сгинул на полях Второй мировой войны. Однако, зная о предстоящем рождении и имея твёрдое намерение вернуться в заволжское село Утёвка, он наказал, что если будет мальчик, то его непременно нужно назвать Александром. Екатерина и её будущий муж Василий не ослушались этого наказа без вести пропавшего Станислава и, помимо обещанного имени, дали ребёнку фамилию отца. Спустя много лет Александр Малиновский напишет безыскусные, но искренние строки:

Два светлых имени, два моих отца —
Войною соединённых два кольца.
Отечеству по-своему служили
И мне в безвременье оплотом были.
А матушка, в любви своей святая,
Неугомонная и молодая,
С руками жёсткими, как два весла,
Она мне родину мою дала.

Эта особенность происхождения (своеобразное наличие двух отцов) и непривычная для заволжских лугов и заливов фамилия многократно отзовется как в перипетиях судьбы будущего писателя, так и на страницах его литературных произ-

ведений. И будет он искать своего польского отца более сорока лет. А найдёт могилу капрала Малиновского в Варшаве только в двухтысячном году. А пока сын крестьянки, шляхтича и шорника растёт отчаянным сорванцом: пропадает сутками на рыбалке, носится по крутым склонам Самарки на лыжах, метко бьёт из ружья диких уток, помогает по хозяйству матери, бабушке с дедом, играет в «лапту», ходит на репетиции в клуб, временами — ленится и шалит, но главное — читает. Читает взахлёб.

Паразителен круг читательских интересов деревенского подростка. Тут и «Дерсу Узала» Арсеньева, и Максим Горький, и Александр Дюма, и Элиза Ожешко, и Майн Рид, и Михаил Шолохов, и... А случайно попадётся под руку том трудов по плодководству Ивана Мичурина, так и его проштудирует от корки до корки! Чтение происходит порой в уединении, а то и в компании с соседями, зашедшими на огонёк в приветливую избу деда Ивана Дмитриевича и устроившими что-то вроде читательской конференции. Вроде бы после такого увлечения книгочейством и успехами в школе при написании сочинений на уроках литературы вопрос о будущей профессии был предрешён: филология. А коли обнаружится дарование, то и писательство. Но не тут-то было! Как уже было сказано, судьбе утёвского книгочая, подобно петляющей речке, угодно было проделать немало неожиданных поворотов и загадочных перипетий.

А поступает Александр в Куйбышевский политехнический институт, по окончании которого проходит по всем профессиональным и должностным ступеням нефтехимического производства — не зря в родных краях его была разведана нефть — вплоть до руководства крупнейшими заводами отрасли. Приходят степени и звания, регалии и награды, а вместе с ними и зависть коллег, интриги, потери и разочарования. Стихи, конечно, слагаются, но печатать их титулованный учёный не спешит. Так вышло, что первая серьёзная публикация — очерк «Утёвские находки» — состоялась на страницах газеты «Волжская коммуна» только в 1992 году, когда автору было уже под пятьдесят! Поздний старт? Но вспомним, что Сергей Тимофеевич Аксаков (имя здесь тоже отнюдь не случайное) как серьёзный прозаик («Записки об уженье рыбы») выступил в 56 лет!

В литинститутском курсе по теории художественной прозы есть пункт: «Изучение жизни писателем-прозаиком». Для столичного студента такой опыт, пожалуй, необходим. А вот

Малиновскому заботиться об этом не было нужды: и утёвское детство, и драматические рассказы стариков о гражданской войне (главка «День рождения моей мамы» из повести «Колки мои и перелесья»), и голод в Поволжье 1920-1922 годов («Дожить до весны»), и изломанные во Второй мировой войне судьбы земляков, и самарское студенчество, и бурные рабочие будни на заводских площадках, и напряжённая кабинетная работа вначале на производстве, потом в науке — всё это было перед ним, как на ладони. Богатый жизненный материал изначально оказался в его распоряжении. И когда закончился период накопления, года, вполне по Пушкину, склонили его к суровой прозе.

Магистральной темой Малиновского-прозаика стала судьба нашего соотечественника во второй половине XX столетия и за чертой миллениума. Она базировалась на материале эмпирического опыта и была промодулирована энергией личного эмоционального восприятия. В качестве эпиграфа к одной из повестей писатель избрал характерные слова Льва Толстого, перекликающиеся с цитатой из Гончарова, приведённой в начале нашей статьи: «...Мои доводы строятся не на том, чтобы мне желательно было, а на том, что есть и всегда было... Я только смотрю на то, что есть, стараюсь понять, для чего оно есть...» Но верность жизненной правде вовсе не означает механического перенесения частных подробностей на лист бумаги. Требуется кропотливый труд отбора, осмысления и проведения объективной реальности через призму собственного духовного мира.

Последовательность повестей, рассказов и очерков представляла читателю не равнодушного наблюдателя, а деятельного участника многих драматичных, а порой и трагических событий полувека. Вот как сам автор отзывался о предмете своего писательского внимания: «Сказать, что это всё родное, мало. Это — частица меня. Нет, скорее, я частица этого солнечного летнего дня, реки, серебряной подковой сверкающей слева и справа от меня. Теперь на поляне, вернее в её тенистых зарослях, не найти колокольчиков. И не оттого, что прячутся они, не выделяясь сильно фиолетовой окраской меж зарослей чилиги, таволги и краснотала. Просто их время уже ушло. Колокольчики — весенние цветы! Теперь бы сказал, они цветы нашего детства. Нашей весны. Трогательные звоночки из далёкого далека! Помню, как бабушка мне однажды здесь мимоходом сказала, что звон на колокольчиковых полянах отгоняет всякую нечисть... И ничего дурного не может случиться...»

Все мы, что ни говори, родом из детства. Мои детские годы тоже протекли недалеко от мест, где родился и рос Александр Малиновский. Многое мне знакомо не понаслышке. Но прозаику раз за разом удаётся находить особенно точные и сочные детали, потому что это — его личный опыт, его индивидуальный зоркий взгляд: «Другой Шуркин дом — без потолка, саманный, крытый соломой. Пол не глиняный, а деревянный. Скрипучий, некрашенный, но крепкий. Когда Екатерина его моет, то обязательно скоблит косырём. От этого он становится золотистым, а изба нарядной». У нас же в селе многое было по-другому. И суть тут не только в быте разных местностей. Возрастная разница между нами — полтора десятка лет. Вроде бы немного: с годами она нивелируется. Но дело всё в том, что в послевоенные годы уклад жизни стремительно и кардинально менялся. Я не застал, к примеру, карточек, никто у нас в селе не голодал, разве что перед отставкой Хрущёва довелось постоять в очередях за хлебом, но это — совсем другой колленкор.

На рубеже 50-60-х годов поменялись и отношения в крестьянских семьях. А. Малиновский цепко ухватывает систему субординации: «Он положил свою ложку на край миски, уперев её черенком в стол. Ложка держалась, это его забавляло.

— Убери, — сказал дед.

— Она так интересно стоит!

Но дед сразил все доводы сразу и под корень:

— Чего ж интересного? Как собака через забор заглядывает, того и гляди гавкнет. Неприятно.

Шурка молча убрал ложку.

Бабушка долила щей, все продолжали работать ложками, не трогая мяса.

— Таскайте, — как обычно, будто между прочим, сказал дед».

Мне тоже с детства доводилось слышать подобное. В прежние времена старший в семье, после того как все наедятся хлёбова — ели-то из общего котла — чугушка или большой миски, — должен был постучать деревянной ложкой по краю посуды, давая разрешение приступить к мясу. Ну а торопливый послушник, не дождавшийся этого сигнала, получал в лоб той же дедовой ложкой. Но одно дело слышать о чём-то и другое — участвовать в этом житейском ритуале!

Что касается стилистических особенностей прозы Малиновского, можно сказать, что его творческий инструментарий весьма разнообразен. Открывающая сборник повесть о детстве

Шурки Ковальского (альтер-эго автора пройдёт по страницам многих его книг) «Под открытым небом» может настроить нас на то, что мы встретились с традиционной деревенской автобиографической прозой. Читающий невольно предполагает, что перед нами писатель типа Фолкнера, который весь материал черпает из жизни округа Йокнапатофа размером «с почтовую марку».

И ошибается! Потому что Малиновский от повести к повести расширяет как свой тематический диапазон, так и стилистические средства самовыражения. В писательский кругозор попадает молодость и студенчество героя, его профессиональное становление, прохождение по карьерным степеням, когда взлёты порой чередуются с досадными падениями. Освоение нефтехимических производств и отраслевой науки соседствуют с вхождением в мир литературы, знакомством с представителями писательского бомонда. Структура настоящей книги складывалась непросто и неслучайно. Чувствуется, что автору необходимо провести читателя по главным ступеням своего «сборника», крепкого, как деревенский дом-пятитетенок. Но биографические моменты — это только внешняя канва.

Малиновский и его персонажи зорко всматриваются в жизнь и внимательно слушают голоса других людей. Повесть «Дом над Волгой» и «Голоса на обочине» (к сожалению, не вошедшая в этот сборник) во многом базируются на подобных рассказах. Один из таких голосов повествует о нравах времён коллективизации: «...Папа ушёл в ночь на станцию Грачёвка. С одной котомкой за плечами (в Сибирь не выслали, если глава дома отсутствовал — прим. автора). А нас утром раскулачивали. Всё подчистую отобрали. И нас всех вытряхнули из дома, как из кошёлки цыплят. Помню почему-то, как мама моя не отдавала горшок с большим цветком. Упёрлась! Паршивец Матвей Сидоркин рвал его из рук мамы моей, матерился до потолка, горшок-то и грохнулся мне на ногу. Пальцы отбил сильно. Я орать, а мама схватила Матвея за бородёнку да как звезданёт правой-то рукой ему в урыльник. Что началось тут! Пыль столбом! ...Папа в Самаре сначала конюхом работал, потом сторожем где-то, ещё кем-то. Жил скрытно, опасаясь попасть на глаза односельчанам в городе. Вернулся домой. Сидоркина уже не было в живых. Допился. Пришёл папа, а его и не трогают! Схлынуло вроде всё. Забыли про него или как?.. Нет,

потом вспомнили. Вызывали. Проверяли. А что с нас возьмёшь? Всё, что можно, уже отобрали тогда, живём в землянке».

Этот эпизод напоминает смысл и направленность прозы другой самарской (куйбышевско-сызранской) писательницы — Веры Галактионовой, которая в повести «Большой крест» тоже рассказала горькую эпопею о том, как «большуха», старая хозяйка крестьянской семьи, сожгла огромный дом с подворьем и тем самым спасла семейство от высылки за можай.

Но трагедией жизнь не ограничивается. Наш народ наделён удивительной способностью преодолевать трудности. Вот выстроенная в совершенно иной, фольклорной тональности речь пожилой крестьянки Марьи Петровны («Дом над Волгой»): «Тётя Паня работала в магазине. Выдавала по карточкам продукты. Так-то она была Прасковья Самарина. Но все её: «Паня» да «Паня». Мы, малые-то, конечно, «тётя Паня». Когда она в магазине отпускала по карточкам чего, то отрезала те, по которым отоваривала, ножницами. Дома наклеивала их для отчёта на картонки всякие, обложки от книг. Мы ей помогли это делать. Их же вон сколько, этих карточек. Возмись с ними, а она нам сказки рассказывает. Страсть сколько знала. То про село Подгоры, то про Выползово, а то про Каменное озеро. Все наши места, волжские. Мы допытывались: не сама ли она их сочиняет. Она не признаётся.

Один раз рассказала, как явился воздушный город. Мы не поверили, думали, она опять сказку придумала. Город на небесах! Мыслимо ли? А когда приехал из Жигулёвска Илюшка Юрьев, подгорянский родом, и рассказал, как он тоже видел такое, мы и не знали, что думать...»

Писатель обращается и к более древней истории родных краёв, чья красота вызывает у него неизбывный душевный трепет. Малиновский не боится вплетать в свою прозу элементы исторического исследования, стихотворные фрагменты и цитаты, публицистические рассуждения, литературно-критические дискуссии. Кому-то литературный метод такого рода может показаться рискованным, грозящим обернуться разностильностью текста. Но дело в том, что Александр Малиновский идёт на это совершенно сознательно. И в этом смысле его поэтику можно с полной уверенностью назвать синтетической.

В художественном творчестве одним из важнейших вопросов является проблема преемственности. Разумеется, в литературном плане прозаик базируется на прочном фундаменте русской

реалистической литературы. Возникают невольные ассоциации с наследием Льва Толстого, Сергея Аксакова, Ивана Гончарова, Ивана Бунина, Константина Паустовского, Михаила Пришвина, Василия Белова, Михаила Алексева... Всё это так, и было бы нелепо оспаривать это мнение. Но здесь в каждом случае можно вести речь не о подражательности, а о тематическом и стилистическом сближении с творчеством того или иного классика.

В этом ряду особняком стоит вопрос об отношении к Шолохову. Про это родство и критика писала не раз, и сам автор в главке «На линии противостояния» (повесть «Колки мои и перелесья») упоминает в беседе с писателем и издателем Николаем Дорошенко. Вот перед нами как раз пример того, как в прозу Малиновского органично встраивается литературно-критический дискурс.

Вроде бы вопрос внутреннего и внешнего родства с нобелевским лауреатом можно считать решённым. На первый взгляд, так оно и есть: тот же общий интерес к трагедии коллективизации свидетельствует об аналогиях. Но если присмотреться внимательнее, то можно убедиться, что перед нами писатели совершенно разного типа!

Творческому методу и стилю Шолохова свойственно более размеренное и ровное дыхание. Тот большее внимание уделяет языку, художественным средствам, кучерявым, как дымок его папиросы. Его интонации (за исключением «Донских рассказов») присущи намного сильнее проявленные размеренность и остойчивость, что не мешало впрочем время от времени сдобривать повествование знаменитой шолоховской хитринкой и балагурством, экстравагантными выкрутасами деда Щукаря.

Что касается прозы Малиновского, то невозможно не заметить, что перу его близка большая порывистость, мягкость. Он стремится перейти к новым темам, отразить иные смыслы, ухватить как можно больше разнопланового материала. Прозаик не боится включать в свои повести стихотворные фрагменты, чего практически нет у Шолохова. Наконец, проза Малиновского содержит немалый словарь поволжского говора, что не характерно для Шолохова. И тут позволю себе высказать суждение, которое может показаться неожиданным. Мне кажется, что хорошо начитанный писатель — сознательно или нет — в какой-то степени пережил влияние... американских классиков. Уже упомянутые здесь имена Хемингуэя и Фолкнера возникают отнюдь не случайно. В содержании и форме их книг

немало элементов, которым не чужда проза их русского коллеги. Насыщенный автобиографизм книг первого и непреходящий интерес к жизни простых американцев у второго во многом роднят их с книгами Александра Малиновского. Ну а велосипедное путешествие деда и внука (повесть «Красносамарские родники») вдоль реки Самарки может и вовсе вызвать в памяти героев-бродяг Марка Твена и Джека Лондона!

Кроме того, хочется отметить любопытную особенность авторской манеры Малиновского, проявляющуюся в том, что его персонажи, подобно героям Пруста, постоянно «проваливаются» в бездну воспоминаний для того, чтобы по волне памяти выплыть в настоящее. У Шолохова такого рода реминисценции довольно редки, разве что рассказ Андрея Соколова в «Судьбе человека».

Разумеется, всё это лишь версии, которые требуют более детального рассмотрения.

Может показаться, что проблема веры в прозе А. Малиновского несколько купирована. Но это только на внешний взгляд. Им написана широко теперь известная документальная повесть «Радостная встреча» об иконописце без рук и ног Григории Журавлёве. Материал для этой повести автор кропотливо собирал, преодолевая многочисленные барьеры, более сорока лет. И открыл читателю историю стоической жизни и творчества на самарской земле одного из подвижников православной веры. Книги Александра Малиновского никогда не были атеистическими. Просто к вере он подходит с несколько иной, чем обычно, стороны.

В своё время русский поэт Виктор Верстаков поставил перед нами принципиальный вопрос. Вспомнив сестёр Марию и Марфу, принимавших в своём доме Иисуса Христа, он обращает внимание на несходство их позиций:

...вернее Марфа хлопотала,
Мария же у ног Христа
Сидела и ему внимала.
Чья совесть более чиста?

В самом деле, кто более свят: сестра-труженица или же ушедшая от нужд практической жизни и всецело растворившаяся в религии Мария?

Марии ж дела было мало,
Устала Марфа или нет.
Она её не понимала
И не поймёт сто тысяч лет.

Мне кажется, в этой альтернативной ситуации сам Малиновский и его герои решительно принимают сторону Марфы. Сказано же: в уборщице, моющей на коленях пол, больше святости, чем в епископе, облачённом в золотые ризы. И, думается, на этом пути от писателя можно ожидать новых откровений.

Но сам интерес к расширению тематики для прозаика весьма характерен. Ему довелось немало поездить по миру, и к жизни за кордоном он приглядывался столь же пристально, как к бытию на родине. Вот, скажем, нестандартное, ломающее стереотипы описание Швейцарии (главка «Утренний свет» из «Колков моих и перелесьев»). С чем у нас обычно ассоциируется эта страна? Банки, часы, сыр, шоколад. Пряничные домики. А вот Швейцария, как её увидел Александр Малиновский: «...озеро и Альпы по ту сторону то раскрывались перед взором в изумительной красоте рериховских красок, иссиня-чёрной, враждебной и космически необъятной — становилось не по себе, то всё куда-то враз девалось, оставалась сплошная тёмная завеса. Триста метров глубины озера и около семидесяти километров его длины давали знать: могучие волны, когда мгла вокруг в считанные минуты уходила, чтобы возникнуть вновь, вздымались так, что даже с высоты захватывало дух от мощи, великости происходящего». Это уже не привычная деревенская проза, а нечто совсем иное, вызывающее в памяти стилистику не чуждого Швейцарии Владимира Набокова! И вот прогулка к Женевскому озеру, с которым связана часть жизни Байрона и супругов Шелли, оборачивается для заезжих гостей фантазмагорическими впечатлениями. Энергично написанная, насыщенная психологическая проза свидетельствует о том, что потенциал писателя значителен.

Разумеется, один этот сборник не исчерпывает всех творческих граней Александра Малиновского. За его рамками остаётся целый ряд как разноплановых вещей, так и объединённых в единый художественный ряд повестей, эпический цикл с общим названием «Под открытым небом», в котором показана судьба наших соотечественников второй половины XX столетия и начала XXI века. Но эта книга — «Дом над Волгой» — даёт общее представление о его человеческом и литературном пути, служит своеобразной дверью в его художественный мир. А за нею читателя ожидает множество открытий, впечатлений и переживаний.

Сергей КАЗНАЧЕЕВ,
член Союза писателей России,
доцент Литературного института им. Горького

Под открытым небом

Госпиталь на Молодогвардейской

Шурка живёт в доме своего деда Ивана Дмитриевича Головачёва давно, с той поры, когда он ещё не ходил в школу.

Его родной отец пропал безвести в войну, а неродной Василий Фёдорович лежит в военном госпитале в Куйбышеве. Вот и получается, что у Шурки как бы два отца.

У Шурки два отца и два дома.

Один дом — бревенчатый с резными наличниками, построенный задолго до войны, после того, как Головачёвы вернулись из Сибири, куда они бежали из Поволжья от голода. В Сибири Шуркин дед шорничал, плотничал, скорняжил — вот и скопил денег. Девятерых детей родила Агриппина Фёдоровна — жена Головачёва, а выжили трое: Екатерина — мать Шурки, Алексей и Серёжа.

Другой Шуркин дом — без потолка, саманный, крытый соломой. Пол не глиняный, а деревянный. Скрипучий, некрашенный, но крепкий. Когда Екатерина его моет, то обязательно скоблит косырём. От этого он становится золотистым, а изба нарядной. В этом доме у Шурки мама, брат и две сестрёнки.

Оба дома стоят в одном ряду на улице Центральной, поросшей травой-муравой.

...Последнюю неделю в доме деда разговоры более всего связаны с приездом из госпиталя отца Шурки.

Слова «госпиталь», «Молодогвардейская» преследуют Шурку всю сознательную жизнь. От них веет на него мрачной недоброй силой, в которой сошлись воедино скрежет металла, свист пуль, вой снарядов, запах огромного пожарища, поглотившего родного отца, а вот теперь не отпускавшего и неродного.

Госпиталь на Молодогвардейской улице для него казался похожим на пасть огромной раскалённой печи, только прикрытой заслонкой. В ней бушует ещё не усмирённая стихия. В её огненной пасти метались, корёжились, ломались, полыхая, как сухой хво-

рост, судьбы молодогвардейцев, красноармейцев и многих-многих людей в военной и невоенной форме. Чудовище, чудище — другого названия этому дому не могло быть.

...В прошлом году Шурка впервые приехал со своей бабкой в госпиталь и удивился увиденному: стоял обычный дом, почти как все, двухэтажный, с большими окнами. Таких в Утёвке нет, но он — не страшный и не грозный, а совсем наоборот: приветливый.

Когда их пустили к отцу, он удивился ещё больше. Ему дали, как взрослому, белый халат, который был велик и весь в каких-то ржавых пятнах, но Шурке было не до этого. Поразила чистота и обилие белого. Отец лежал на белой простыне, прикрытый одеялом с белым пододеяльником. У них в доме такого постельного белья не было.

Отец лежал на спине, ровно вытянувшись.

Шевелить он мог только головой и руками. Ноги были в гипсе, а спина — в корсете.

Название болезни — туберкулёз костей — звучало как приговор.

— Садись рядышком, — сказал отец и улыбнулся.

Шурка сел, пожимая протянутую неожиданно белой отцовскую руку.

Он боялся расплакаться. Кто-то из ходячих больных подошёл к нему и надел на голову сделанную из обычной газеты пилотку. Шурка тут же снял её, повертел в руках, к общему одобрению, решительно надел и почувствовал, что комок в горле исчез. Предательские слёзы пропали.

...Когда вышли на улицу, Шурка не сразу оторвался от этого непривычного дома. Напоследок попробовал обойти его, заглянул во двор. И там ничего ужасного. Всё обыденно и спокойно. И улица Молодогвардейская не широкая, а та, которая пересекает её, Ульяновская — совсем неказистая. Когда Шурка свернул на неё, открылась Волга. Внизу, слева, справа ютились в беспорядке небольшие кирпичные и деревянные домики. Беспорядок этот смутил Шурку. Он жил в селе, где избы стояли ровно, как по линейке, не выступая и не западая на зады. Смотрели окнами на улицу. В них жили такие же правильные люди: дедушка, бабушка, мама — сосредоточенные и уравновешенные.

Напоследок он измерил шагами поперёк, напротив госпиталя, улицу Молодогвардейскую. Было сорок шесть его больших шагов.

«Саженой пятнадцать, наверное», — деловито прикинул он. Если бы его спросили, зачем делает измерения, он бы не смог сра-

зу объяснить. То ли готовился к разговору с дедом, то ли к рассказам в школе о своей поездке.

Пока бабушка в коридоре госпиталя «калякала» со своим знакомым с Чёрновки, Шурка измерил и длину госпитального здания. Было шестьдесят шагов. «Наша деревянная школа длиннее», — удовлетворённо подвёл он итог.

Жажда знать и видеть как можно больше подталкивала его постоянно. Это отмечали и взрослые. А он неосознанно впитывал в себя всё, что видел, слышал, словно знал заранее: в его жизни многое из того, что происходило в детстве, будет иметь самое, может быть, главное значение...

Пока Шуркина жизнь текла обыкновенно. События и переживания случались вроде бы сами по себе, и ложились сразу набело в его сознании. И накрепко...

...На улицу вышла баба Груня и они подались на Кряж, надо было засветло найти попутку до Утёвки.

* * *

Теперь Шурка, прислушиваясь к разговорам взрослых о приезде отца, вспоминает, как долго по бездорожью в снегопад добирались они домой, и ему становится боязно за отца. А вдруг у него кости ещё не так крепко срослись, как надо? Тогда опять беда.

Юрьева гора

Замечательная это штука — Юрьева гора. Она начинается на задах, за избой Головачёвых. Гора бывает разной. Если на дворе мороз крепкий, то, политая водой, она превращается в такой ледяной жёлоб, что с ветром в ушах мчишься с неё в сторону стадиона и упираешься в памятник Проживину и Пудовкину — первым утёвским большевикам. Их расстрелял карательный отряд белых. Шурка сидит в классе рядом с Зинкой, дальней родственницей Проживина. Она самая тихая девчонка в классе. Даже как-то удивительно это.

Если много снега, то на горе хорошо играть в городки. Она становится неприятельской крепостью, её надо брать у противника в кулачном бою. Те, кто вверху и кто внизу, попеременно меняются местами. Выигрывает тот, кто дольше всех продержится наверху.

Если с горы съезжать сразу вбок — в огороды, то там уклон крутой и с трамплином. Редко кто может удержаться, на лыжах лучше и не пробовать — гиблое дело. Салазки — совсем иное.

И ещё есть одна особенность у Юрьевой горы. Бабушка Груня Шурке так рассказывала:

— На последнем месяце я уже была, иду себе потихоньку с базара, он был недалеко, около школы, и слышу: шум стоит в Зубаревом переулке, а на Юрьевой горе — какие-то чужие военные. Привели наших бедненьких, все избитые. Не успела понять, что готовится, как затрещали выстрелы. Оба и упали в пыль. Я побежала к себе во двор. Не помню дальше ничего. Когда опомнилась — начались роды, хорошо, что Иван дома был.

Только разродилась, военные к нам: большевиков и сочувствующих ловили. На деда твоего кто-то указал. Он ведь ушёл из царской армии под Царицыном, дезертир. Деваться некуда. Едва щеколда хлопнула, Иван — раз под кровать — и притаился.

Не знаю, как у меня сердце не разорвалось. Один молоденький стоял в задней избе, а в передней проверял средних лет солдат. Когда он приподнял подзорник у кровати, под которой лежал Иван, я обмерла. Но солдат этот пожалел деда и быстро опустил подзор. Развёл руками: «Никого нет», — и они выбежали во двор.

Там, на памятнике, год и число: «21 августа 1918» — это день расстрела Проживина и Пудовкина. Но это ещё и день рождения твоей матери, Шурка.

«Завтра попрошу Зинку показать мне фотографию Проживина. Интересно, какой он? Если они герои, значит про них и про нашу Юрьеву гору и Утёвку когда-нибудь снимут кино», — так думает Шурка и ему становится радостно, как если бы сам был участником героических дел, прославивших его село.

Кошка Акулина

«Ночь была жуткая: выл ветер, дождь барабанил в окна. И вдруг среди грохота бури раздался дикий вопль. То кричала моя сестра. Я спрыгнула с кровати и, накинув большой платок, выскочила в коридор. Когда открыла дверь, мне показалось, что я слышу тихий свист, вроде того, о котором мне рассказывала сестра, а затем что-то звякнуло, словно на землю упал тяжёлый металлический предмет... О, я никогда не забуду её страшного голоса!

— Боже мой, Элен? — кричала она. — Лента! Пёстрая лента!»

Мякнула кошка в сенях за дверь, просясь в дом. Шурка покосился и передёрнул плечами. Жутковато. Ходики показывали час ночи. Он и не заметил, как зачитался записками о Шерлоке

Холмсе. Открыв дверь, впустил кису Акулину, недавно взятую его матушкой у дряхлой старухи Акулины Мерлушкиной.

— Шурка, будет колготиться, ложись спать.

Голос матери доносился из передней, и он на цыпочках шмыгнул к двери, ведущей в горницу, подsunул полотенце, прикрыв дверь плотнее, чтобы свет не мешал спящим. Налил кружку молока, взял горбушку хлеба и вновь уселся за стол, да так, чтобы подальше от тёмного широкого окна, пугающего своей мрачной глубиной.

Глаза побежали по строчке:

«Сестра была без сознания, когда она приблизилась к ней...»

Странная возня на шестке отвлекла от чтения. Он поднял голову и увидел неотрывно глядящие прямо на него из темноты жёлтые глаза кошки. Чёрное тело её почти не было видно, оно сливалось с тёмным зевом печки. Такая добродушная днём, а теперь ставшая враждебной печь и два устремлённых беспокойных взгляда пугали его. Правой передней лапой кошка начала царапать по кирпичу.

— Тихо, Акулина, — зашептал Шурка, — маму разбудишь. Я не дочитаю рассказ, а завтра с утра в школу, потом с дедом ехать за соломой.

Он углубился в чтение. Но не тут-то было. Кошка одним прыжком перескочила с шестка на стол и стала драть когтями клеёнку. Шурке показалось, что она приняла снегирей, изображённых на клеёнке, за живых, и рассмеялся.

— Вот дурёха, — сказал голосом, похожим на дедушкин, когда тот разговаривает, запрягая лошадей, — нету у тебя нюха, что ли, ведь не пахнут они мясом. Клеёнкой пахнут.

Кошка спрыгнула со стола, стрелой, с невидящими, дикими, как у пантеры, глазами проскочила мимо Шурки. По отвесной стене взбежала до потолка, там, ухватившись за торчащий крюк, повисла, как обезьянка, и глазами, страшными и большими, стала осматривать комнату сверху.

Шурке стало жутковато. Упруго оттолкнувшись, Акулина прыгнула на пол, сделала два прыжка и оказалась на противоположной стене вновь под потолком. В следующие минуты Шурка уже не успевал фиксировать взглядом стремительное перемещение чёрной молнии с двумя жёлтыми светящимися точками-глазами.

Кошка взбегала не только на отвесную стену, она перемещалась по потолку. Временами падала, вскакивала и вновь, как заведённая дьявольская игрушка, металась по стенам, по потолку...

Шурке стало не по себе. «Взбесилась, — подумал он. — Хорошо, что все спят, а то могла покусать».

Распахнул дверь в сени. Акулина, казалось, только этого и ждала — чёрной лентой скользнула в раскрывшееся тёмное пространство и растворилась в нём...

Шурка, не дочитав книгу, приоткрыл дверь в большую комнату и шмыгнул в свою кровать. Необъяснимое волнение охватило его. Чёрное с жёлтым всё стояло перед глазами, наваливалось, став громадиной, пугало. Но вскоре усталость взяла своё и он заснул.

...А утром пришла на сепаратор Нюра Сисямкина и принесла новость: этой ночью умерла бабка Акулина — бывшая хозяйка кошки. Преставилась, бедная, на девяностом году.

— Вот это да, — только и произнёс Шурка. Он не знал, кому и как рассказать о ночном происшествии.

Стал искать кошку Акулину, но её нигде не было.

«Эй, Баргузин...»

— Бабушка, Баргузин — он кто?

— Как — кто? Ты-то что думаешь? И что это вдруг?

Шурка сидит на пороге, отделяющем горницу от кухни, зажав между колен корзинку из ивовых прутьев. Из неё набирает в кружку ягоды шиповника для чая.

Бабушка Груня чистит карасей — дед утром ходил проверять сети. Замороженные караси ожили и из тазика, стоящего на столе, когда бабушка вынимает очередного, летят водяные брызги.

— Я не вдруг. В воскресенье, когда Веньке Сухову Варьку сватали, дедушка пел про Баргузина.

Шурка помнил тот замечательный день, деда своего, сидящего среди гостей, и песню, которую услышал впервые. Там было новое для него слово: «баргузин». Песня лилась широко, вольно и пел её уверенно и ладно Шуркин дед. Захватывали бескрайность и безбрежность, разлитые в песне «Славное море священный Байкал...».

«Священный Байкал» — это он сразу отметил. Баргузин представился ему крепким белозубым загорелым парнем с обнажённым по пояс телом. И обязательно кудрявым.

— Так это ж ветер такой на Байкале.

— Да-а-а?.. — разочарованно протянул Шурка. — Вот дела!.. Бабушка, а про отца моего, — он запнулся, подбирая и обдумыва-

вая слова, — про настоящего, поляка, скажи что-нибудь, какой он был?

— Красивый был. Когда на базар с товарищами приходил, все девки на него оглядывались. Волосы русые, кудрявые и голубые глаза. Смотрел прямо и приветливо.

— А как он оказался в Утёвке?

— Кто ж его знает? Война разметала многих по свету, вот и очутился у нас. Ему нравилось имя Саша. Тебя наказал, если будет мальчик, назвать Сашкой.

— Бабушка, а что он ещё говорил, когда его забирали в армию?

— Просил нас с дедом помочь воспитать ребёнка, который родится, Катерина тогда на пятом месяце была. Обещал вернуться.

— И не вернулся? — выдохнул Шурка.

— Время такое. Он поляк — могли не пустить после войны в Россию. Может, грех на него какой положили.

— Но он жив? Так ведь?! — почти выкрикнул Шурка.

— Может и жив.

Она помолчала, потом продолжила:

— Раза два, после войны уже, приходили к нам незнакомые люди, выспрашивали о твоей матери Катерине и о Василии. Я помню, как зорко они на тебя смотрели, спрашивали, ты ли сын Стаса, и уходили, ничего не сказав. А я вот чувствую своим бабьим сердцем: от него эти люди приходили, узнавали про тебя.

Вздыхнув, задумчиво добавила:

— Может, пожалел и Катерину, и Василия: ведь он уже один раз ломал их жизнь. Станислав и Катерина сошлись, когда она уже замужем была за Василием, только от него ни слуху-ни духу, от Василия-то! А когда Василий вернулся с войны в сорок шестом и тебя усыновил по-хорошему, не поднялась у Стаса рука — не захотел, видимо, мешать. У твоей матери один за одним от Василия родились трое. Как всё поделить? Вот и получилось у тебя два отца. Один живой, а другой — может, и живой, да не знай где...

«Как всё поделить? Как всё поделить?» — стучало в висках у Шурки. Он не заметил, как выпустил из рук корзинку. Она опрокинулась, весь шиповник оказался на полу. Горстями собрав ягоды, поставил корзину на порог. Быстро ушёл в горницу к окошку, чтобы бабушка Груня не увидела заплаканного лица.

Договор

Только Шурка поравнялся с чайной, как вот он, Мишка Лашманкин, с уздечкой в руках. Он из Заколюковки — самой дальней утёвской улицы. И не один — со своим дружком Каром. Правой рукой Шурка быстренько нащупал в сумке большую белую чернильницу-непроливашку.

Мишка подошёл поближе и вдруг, словно включив некую пружинку, пустился вприсядку около Шурки:

*Помнят псы-атаманы,
Помнят польские паны
Конармейские наши клинки.*

Кровь ударила в лицо. Шурка рванулся вперед и враз оказался перед непреодолимой преградой. Мишка крутил перед собой уздечку. Она со свистом и металлическим лязгом вращалась перед самым лицом. Кончик ремешка больно хлестнул Шурке по щеке.

— Слабо, да? Слабо?.. Конечно, слабо!

— Тебе слабо самому — один на один, — у Шурки нервно тряслись руки. Он уже ничего не боялся.

— Нужно больно, нам сегодня некогда, давай до следующего раза, согласен? — предложил Кар.

— А Мишка согласен? — спросил Шурка.

— А чего там, конечно, согласен. Договор дороже денег. — Мишка с напускным спокойствием перебирал в руках удила. И, уже удаляясь, совсем как маленькому, а оттого ещё обиднее, скорчл рожу и пропищал:

*Поляк, поляк, с печки бряк —
Растянулся, как червяк!
И не русский, и не немец,
Гутен морген, гутен таг.*

«Семиклассник, а такой дурень», — подумал с досадой Шурка.

Молодая пряха

*В низенькой светёлке
Огонёк горит.
Молодая пряха
У окна сидит.*

Ровный и красивый голос деда завораживает Шурку. Сейчас дед сидит в горнице, на облитом солнцем полу на маленьком

чурбачке и вяжет сетку, вернее — бредень, закрепив верёвочки за дужку железной кровати.

— Если два выходных ещё повяжу, Шурка, то, глядишь, в апреле отводом поедем рыбачить новым бреднем.

— А как это — отводом?

— Долго рассказывать. Сам увидишь, — отозвался дед Иван и вновь вспомнил о молодой пряхе:

*Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развита
Русая коса.*

Шуркин дед всегда пел негромко и неторопливо. Как бы для себя, будто вокруг никого нет. Ему не нужны большие компании. Давний единоличник. Зачем ему колхоз: его постоянная должность — конюх. В больнице, в нарсуде, в райсобесе есть лошади, значит нужен и Иван Дмитриевич.

Шурка любил, когда дед пел в дороге, в степи, в лесу... Когда дорога впереди длинная, а вокруг ни души.

В прошлом году на маёвку приезжал Волжский народный хор. Артисты выступали на самодельной сцене около Осинового озера. Там ровная площадка и от неё круто поднимается косогор. Он и служил одной большой трибуной. Вокруг луговая трава, озеро Подстепное — слева, справа — Осинное и Лещевое. Дальше, где синева ложится большим широким пологом с белыми кудряшками на зелёную необозримо широкую ленту леса, прячется Самарка. От неё всегда исходит особый свет.

Когда объявили «Липу вековую», Шурка даже вздрогнул: «Дедова песня!»

Вышел бодрым шагом красивый артист и запел. Это была другая песня. Слова были те же, мелодия почти та же, но — другая. Певец был напорист и резок, будто бы с кем-то спорил, доказывал что-то. А дед никогда этого не делал. Он пел спокойно, ровно, чаще всего под мерный бег лошадей, сидя на телеге или рыдване. От этого песня удобно ложилась в монотонный топот конских копыт. Дорога чаще всего знакома. Лошади свои, цель впереди ясна. Тревоги не было. Было уверенное, установившееся приятие всего, что есть в пути и что ещё будет.

Певец кончил петь, все захлопали. Захлопал и Шурка, но негромко. В красивых нарядах танцоров, певцов, в громких восклицаниях и припевках ему показалось что-то неестественное. Он не стал больше слушать. Сел на свой велосипед и, направив его почти по прямой с

откоса, вихрем независимо промчался мимо самодельной сцены и большой старой ветлы в сторону Лещёвого озера. Там у него стояли пять раколовок. Надо до вечера их проверить и вернуться домой.

Отец приехал

Два последних дня Шурка ждал приезда отца. Баба Груня и деда Ваня отправились за ним на Карем, уложив в сани валенки, старую бекешу и огромный тулуп.

В Самару поехали через Кряж, а обратно планировали — через Кинель, чтобы при необходимости заночевать у лесников: в Мало-Мальшевке у Репкова, в Крепости — у Янина, дорога дальняя — под сто километров.

— Всё, Шура, — говорила мать, — начинается у тебя новая жизнь. Ты уж будь умным, соображай, что к чему.

— А что, мам?

— Ну хотя бы жить тебе надо теперь в своём доме, не у деда, а то нехорошо как-то.

— Но деда с бабой на меня обидятся?

— Нет, не обидятся. Можно у них бывать, а ночевать лучше домой, ладно?

— Ладно, — соглашается Шурка, а сам знает, как будет непривычно. У деда всегда интересно: рыбалка, охота, разговоры разные, люди из соседних деревень, чтение вслух книг. Дядья Алексей и Серёга — с ними всегда здорово!

— Я уж и не знаю, к лучшему это или нет, что Василия поехали забирать? Бабка твоя скомандовала: «Хватит — и всё! Уморят там мужика. Раз вставать начал — заберём домой, скорее прилепится к жизни».

Мать пристально посмотрела на Шурку:

— Будешь его отцом звать?

— Буду. Я уже звал в госпитале.

Он ждал, как об этом она ему скажет. Вышло не обидно. Это Шурке понравилось. Ему стало радостно за мать: всё чувствует, понимает, только не всегда всё говорит вслух. Он это давно видит. Также заметил, что, в отличие от многих и особенно от его бабушки, старается часто даже из грустного сделать весёлое. Вот, например, если бы его бабушка и мама в отдельных комнатах рассказывали один и тот же случай, то в той, где бабушка, люди загрустили бы и задумались. А там, где мама, — обязательно бы засмеялись. Такая особенность у Шуркиной мамы.

— Мам, ты когда-нибудь расскажешь, как так получилось?

— Что, сынок?

— Что мы с ним неродные?

— Расскажу, Шура, только немного тудылича, попозже, ладно?

— Ладно, — опять соглашается Шурка.

«Странно, — думал он чуть позже, — мы с ним неродные, а на фотографиях похожи».

* * *

Привезли отца поздно ночью.

— Хорошо, Стёпка Синегубый, его дружок, встретился под Крепостью, а то уж плутать начали. Пурга такая! — говорила бабушка, помогая деду Ване ввести отца в избу.

С отца сняли в сенях тулуп. При свете коптюшки перед Шуркой стоял невысокий человек, которого до этого Шурка видел только лежащим на больничной кровати в казённом халате. Сейчас он был одет в бекешу. Костыли под мышками делали его похожим на большую раненую птицу. Левую ногу он волочил.

— Принимай гостечка, хозяйка! — задорно сказал отец.

Мать широко раскрыла дверь, чтоб не мешать костылям, и он, поддерживаемый дедом, вошёл в дом.

— Ну вот, а говорили: волки съедят! Подавятся, верно, Шурка?

Шурке стало радостно от таких его слов, от морозного воздуха, от того, что все теперь вместе. Он помогал матери снимать с отца бекешу. Отец, проведя пятернёй по Шуркиной голове, добавил:

— С такими помощниками нас не возьмёшь!

Шурка опять поразился тому, как отец просто и ясно всё говорит и делает. Под бекешей у него оказались гимнастёрка и галифе. Гимнастёрка задралась на поясе и Шурка увидел глянцевою упругую кожу корсета. «Ещё не сняли? А как же...»

Когда укладывали отца на кровать, чтобы поменять бинты, Шурка заметил гипс на левой ноге, выше колени до ступни. Пока мать с бабушкой занимались бинтами, Шурка с дедом вышли и внук спросил:

— Деда, а как же его такого отпустили?

— Василий настоял: выписывайте — и всё тут! Железный человек, одно слово. Да и бабка Груня твоя чего стоит!

Пожар в школе

Спалось Шурке плохо. Снились какие-то чужие люди в тулупах, лошади.

Под утро случился большой переполох. Часто захлопали калиткой, дверью в задней избе. Шурка, продирая заспанные глаза, встал и пошёл на бабкин голос на кухне. Пол был холодный и он старался наступать одними пятками.

— Шурка, почему носки не надел? Иди скорее назад или коты вон возьми.

— А что случилось, баб?

— Школа горит, мужики помчались тушить.

Бабушка уже растапливала печку. На шестке лежали сухие полешки, а на полу — несколько котяков. В глубине печи горел маленький, как игрушечный, костерок. Пахло морозом, прорывавшимся временами через дверь, керосином и котяками.

Баба Груня взяла увесистую полешку, покапала на неё из бутылки керосином и ловко швырнула в затухающий костерок — печка обрадованно враз засветилась, загудела одобрительно.

— Кому сказала, чего стоишь? Иди досыпай!

— Значит, в школу сегодня не идти! — обрадованно выскочило у Шурки и он сам удивился этому.

Баба Груня выпрямилась, взглянула в упор своими чёрными большущими глазами:

— Разве так можно? Это ж беда какая, а?! — И укоризненно покачала головой.

Стало стыдно, и уже не на пятках, а быстро шлёпая всеми ступнями, он засеменил в свой укромный уголок.

...Утром, ступив на школьный двор, Шурка ужаснулся: левого крыла деревянной школы, где находился его класс и мастерская по труду, не было. Была куча хлама, гора каких-то неузнаваемых предметов и горелый запах, от которого щекотало в ноздрах.

Учитель по труду Николай Кузьмич строгим голосом, по-военному, отдавал команды старшеклассникам, которые толпились кто с вилами, кто с лопатой на пепелище.

Всё было и своё, и какое-то чужое, как в кино или во сне.

«Хорошо, что только одна бабка знает, как я обрадовался со сна пожару». Шурка не мог представить, что стало бы, если б все узнали.

...Подошла умная красивая физичка Мария Ильинична и сказала спокойно:

— Ничего, Саша, осилим.

— А где же будем учиться?

— Пока в нашей библиотеке, а с лета директор в Борск хочет ехать с десятиклассниками готовить сосновые брёвна. Поставим новый сруб. Всем работы хватит. Вашему классу — тоже.

— Да, — торопливо согласился Шурка.

Он словно боялся дальнейшего разговора. И, как бы оправдываясь, сказал то, что составляло только часть правды, но было всё-таки правдой:

— Там была моя парта, которую мы с Николаем Кузьмичом отремонтировали. Я её сам красил в этом году. Жалко как!

Новая Шуркина жизнь

С приездом отца жизнь в доме Любаевых потекла по-особому. Ничего, казалось, не ускользало от отцовских глаз. Как он всё быстро замечал и успевал! Дня через три после приезда утром спросил Шурку:

— У нас во дворе есть глина?

— Не знаю, пап, — растерялся Шурка.

— Вот те раз, голова, кто же знает?

— Есть, Василий, за нужником, летось привозили, теперь под снегом, — вмешалась мать.

— Надо наковырять в тазик и навозу из мазанки принести.

— Хорошо, Вася, — мать догадалась, для чего. — Наверно, тряпки какие нужны?

— Нужны.

После завтрака Шурка расчистил снег, поработал ломом и принёс два ведра мёрзлой глины. Мать залила её горячей водой. Пока глина отходила, отец, не дожидаясь, начал забивать тряпками трещину в стене у печки, через которую дул морозный ветер. Он делал всё, стоя. Садиться или наклоняться было нельзя, поэтому тряпки Шурка положил на приступок у печки, откуда их отец и брал. Руками он работал ловко. Но каждый раз, когда отец выпускал оба костыля и стоял на одной, которая покрепче, правой ногой, прислонившись плечом к стене, Шурка боялся, что он упадёт. Так и случилось. Отец опрокинулся на рукомойник, висевший в углу, и вместе с ним с грохотом повалился на пол.

— Боже мой, Василий!

Катерина бросилась к мужу. Он тяжело, опираясь на костыль, встал. Мать с Шуркой повели его к кровати. Ложился он медленно, осторожно устраивал негнущуюся в корсете спину.

Мать подняла левую ногу отца и, как чужую, не его, положила рядом с правой.

— Ну, вот, отдыхай, мы с Шуркой доделаем.

— Да вот и беда, что вы, а не я, — досадовал отец.

...Через две недели гипс сняли, а ещё через месяц Шуркин отец освободился и от корсета. Пугающе красивый, из толстой тёмно-коричневой кожи, схваченный вдоль и поперёк светлыми металлическими полосками, лежал он теперь в сенях без надобности.

— Кать, убери его, к лешему, подальше, — сказал Василий. — За цельный год он мне опротивел.

— Уберу, — с готовностью и радостно сказала мать. — Сейчас, Васенька, позавтракаем, и выкину.

После завтрака отец взялся ремонтировать костыли. Снял резиновые наконечники и в каждый костыль для верной опоры вбил по толстому гвоздю без шляпки, пояснив:

— Так надежней, мне ведь не прогулки совершать с костылями. Работать надо, значит, держава, крепость нужна особая.

Теперь, когда он встал и пошёл по комнате, от гвоздей оставались отметины в жёлтом полу, маленькие, как конопушки.

...А вечером приехал старый друг детства отца, Стёпка Сонюшкин, Синегубый — так его звали оттого, что всё лицо и губы у него от контузии и ранения на фронте были в синих точках. Он привёз две седелки, уздечки и просил за недельку подремонтировать. Обещая ставить за это трудодни.

— Знаю я твои трудодни, Степан, ещё до войны. Ты мне лошадь, когда надо, дашь?

— Дам, конечно, дам, — говорил Степан, глядя плохо видящими от ожогов глазами, тускло и покорно. — А ты сделай. У меня ещё хомутишко один есть потрёпанный, возьмёшь?

— А потник-то есть?

— А как же! — с готовностью отвечал дядька Степан. — Есть, неважнецкий, правда, но есть.

Когда ушёл Синегубый, отец сказал:

— Шурка, а знаешь, я ведь ловко так валенки до войны подшивал. Если взяться за это дело, не пропадём, точно говорю.

Мать радостно слушала эти разговоры и украдкой вздыхала.

Художественный руководитель

Перед уроком истории классная руководительница Лидия Петровна объявила:

— Александр Ковальский, я тебя освобождаю по просьбе Валентины Яковлевны от уроков. Ты ей нужен в постановке.

Шурка встал и под завистливые взгляды одноклассников вышел.

Ничего не поделаешь, Шурка — артист!

По дороге в клуб он вспомнил, как впервые появилась Валентина Яковлевна в школе два года назад.

...В тот день вначале ему не везло. На перемене у туалета к нему привязался Толик Юнгов и они подрались. Так, не зло. Как бы проверяя друг друга, обменялись тумаками. Но Шурка поскользнулся и припал на одно колено, прямо в грязную лужу. Зазвенел звонок и Толик убежал, а он остался очищать грязную штанину. Когда вошёл в класс, хмурый учитель географии Василий Иванович Норкин уставил в него, не мигая, свои карие, под навесом чёрных больших бровей, глаза:

— Опять дрался? Оттого и опоздал?

— Нет, — ответил Шурка, веря, что они с Юнговым и не дрались. Так себе... И опоздал он не из-за драки, просто случайность — поскользнулся и попал в лужу.

— Лгать нельзя, — обидно, как маленькому, сказал учитель географии, — я всё видел в окно. В наказание будешь стоять, пока не скажешь правду.

— Где? — с горечью выскочило у Шурки. «Неужели поставят в угол?» — подумал он.

— А вот, где находишься сейчас, там и стой.

«Если видел всё, то чего ему от меня надо? Должен понять, что всё получилось случайно».

Шурка остался у двери. Незаметно продвигаясь, оказался у подоконника. Стал смотреть на улицу. Правая рука, вернее, указательный её палец ковырял потихоньку извёстку у оконного проёма.

Было обидно и неинтересно. Из окна сквозило, Шурка два раза шмыгнул носом.

— Ты что, герой, плачешь? Так знай, коммунисты не плачут!

В классе хихикнули.

— Не смей! — грозно выкрикнул Норкин. — Не смей смеяться!

«Если я что-нибудь скажу сейчас такого, то все рассмеются и нас потащат в учительскую, надо молчать», — подумал Шурка и повернулся к стене лицом.

Разрядило ситуацию удивительное событие. Открылась дверь за спиной Шурки, вошли Лидия Петровна и незнакомая женщина. Классная руководительница извинилась перед Норкиным и представила незнакомку:

— Ребята, сегодня у нас в гостях Валентина Яковлевна Плотникова — художественный руководитель районного Дома культуры. Пожалуйста, мы вас просим, — она, как конферансье, развела руками, обращаясь уже к Плотниковой.

Шурка смотрел с удивлением на гостью. Он её узнал, видел несколько раз, но так близко — никогда. У доски стояла осанистая, крепкая женщина в светлом костюме, ярко-красной кофте с большим отложным воротником.

Шурке эта необычная женщина давно запомнилась, хотя она даже, наверное, и не знала о его существовании.

— Ребята, кто хочет стать настоящим артистом, а? — с ходу спросила она.

В классе воцарилась гробовая тишина. Всех, очевидно, сразила внешность этой женщины. Тряхнув крупной головой с короткими чёрными кудрявыми волосами, сказала совсем непривычное в устах взрослых в классе:

— Слабо? Да?

— А что нужно уметь? — спросила находчивая Ниночка Иванова.

— Желательно всё, — опять энергично ответила гостья. — Но для начала надо просто записаться и в пятницу после занятий придти для просмотра. Мне нужны артисты в драмколлектив, танцоры в ансамбль, хористы. Наш хор — народный. Мы уже записались на пластинку в Москве, приходите слушать.

Она пристально посмотрела на притихших ребят.

— Талант рождается в детстве, а может, конечно, и раньше, понятно?

Она свободно и заразительно засмеялась. Так в школе никто не смеялся.

— А я, как бабка-повитуха, помогу, как могу! Если будете слушаться. Не теряйте момента!

— Вот у нас готовый артист есть, Валентина Яковлевна, — вдруг сказал учитель Норкин, присевший на первом ряду за парту. Он показал жирным коротким пальцем на Шурку.

— А ты чего в углу? — удивилась Плотникова.

— У стенки, — поправил Шурка.

— Петь любишь?

— Не знаю. Не очень.

— А что любишь?

— Кино!

Все засмеялись.

— Приходи, попробуем в постановках. На роль Ваньки Жукова тебя попробую. Как твоя фамилия?

— Ковальский.

— А имя?

— Александр.

— Александр Ковальский! — воскликнула она, подняв левую руку над головой. — Неплохо звучит для сцены.

...Шурка пришёл в ту пятницу в клуб и с тех пор уже не представлял себя без завораживающего общения с этой удивительной женщиной, без того волнения, которое теперь всегда испытывал при виде сцены.

«Придём времечко-то...»

— Смотрю на тебя, Шурка, и думаю: какое же это перемещение народов всяких должно было быть, Вторая мировая война случиться, чтобы твой отец — песчинка в море — оказался здесь, в Утёвке, и встретился с твоей матерью. И чтобы ты родился. Чудеса да и только. Как будто кому-то это надо?

Бабушка Груня сидит перед открытым большим сундуком. Крышка его изнутри оклеена кусками картины Репина «Бурлаки на Волге». Третий слева в толпе бурлак, высокий и в шляпе, очень похож на Большака, который приходит часто к Головачёвым в гости. Только у Большака нет трубки.

Шурка, продолжая разглядывать картину, просит:

— Баб, расскажи что-нибудь ещё об отце.

— О каком, Василии?

— Нет, — глуховато отзывается Шурка.

Бабушка находит наконец-то нужный ей клубок пряжи. Не поднимая головы, не торопясь, отвечает:

— Мать пусть расскажет.

Шуркина мать сидит у окна, там посветлее. Сучит пряжу.

— Что тебе рассказать? — вздыхает она.

Потом ловко поправляет веретено, струны вытягиваются, прелка оживает.

— Я расскажу, чтобы ты наперёд знал. Когда твой отец Станислав пропал, перестали приходить письма, я взяла тебя, совсем ещё крошечного, и пошла погадать в Смоляновку к одному старичку.

— Он колдун был? — Шурка сомневается, что мать верит в колдовство.

— Колдун не колдун, а людям много кой-чего угадывал. Забыла, звать как его, эвакуированный. Он появился, как лётная школа у нас стала в селе. Издалека откуда-то.

— Лётная школа?! — Шурка удивлён.

— Да, в ней учили летать молодых ребят. Её тоже откуда-то эвакуировали, где бои были. Некоторые при учёбе-то и погибли, лежат у нас на кладбище.

— А нам в школе не говорили... — Шурка озадачен.

— Мало ли чего вам не говорят!

— Ладно, мам, а что дальше?

— А что дальше? Заходим в избёнку. Ты у меня на руках. На кровати сидит весь белый, как лунь, старик, слепой. В руках бобы. Так перебирает их без останова и говорит с ходу: «Гадать пришла?» — «Да, — говорю, — погадать про его вот отца. Пропал, писем нет» — «А ведь ты, дочка, не на того собираешься гадать». — «Как так, — говорю, — не на того?» Помолчал он, помолчал, руками поиграл в бобы и продолжил: «Придёт, вернётся к тебе твой первый муж, которого не ждёшь. Жив он, но далеко». — «Василий? — ахнула я. — Как же так, от него ведь четыре года с фронта не было писем. Я вышла за другого — поляка» — «Не было, а вот придёт. И родишь от него много детей. Жить будете долго вместе. И согласно. Судьбе не противься». — «А как же его отец?» — показываю на тебя, Шурка. «И второй твой муж объявится, но только, когда тебе будет не надо, в старости. Придёт времечко-то, да».

Шурка стоит у голландки, прислонившись к горячему железу, чувствуя жгучий рубец у себя на спине, и чуть не плачет. Хочется расспросить подробности, но боится не справиться с голосом. Наконец решается:

— Мам, а первый сын от Василия, что с ним получилось?

— Умер, — односложно ответила мать. — Грудного мы его ещё не уберегли, простудили. Он был Шурка. И тебя я потом назвала Шуркой — ты брат ему.

— А дальше что?

— А что дальше? — переспросила бабушка. И сама же ответила: — Пришёл в сорок шестом Василий, весь израненный, был в

плену долго. Заходит в калитку, а ему уже кто-то сказал, пока шёл дорогой, что твоя мать от другого родила, а его-то сына нет в живых. Остановился в калитке-то, когда Катерина с тобой на руках вышла и встала молча на крыльце. Метнулась я на зады со двора, чтобы не видеть всего этого. Хорошо, что деда не было. А вернулась когда, они сидят за столом и потихоньку так разговаривают, и ты при них. Она Василия-то молоком поит.

— Ни в какую я не хотела сызнова всё начинать. Но он упрямый всегда был, сладу нет. Все вещи заставил собрать и повёл меня за руку к себе домой, к свекрови, где мы до войны жили. — Мать Шурки, остановив рукой колесо прялки, стала смотреть в окно.

Шурка заметил на глазах у неё слёзы.

— Всё сошлось, что говорил слепой старик. Теперь вот, чуёт моё сердце: и отец твой может вернуться когда-нибудь. Придёт времечко-то... Так он, ведь, сказал, старик-то. — Бабка посмотрела своими жгучими чёрными глазами на притихшую Катерину и совсем спокойно добавила: — А ты не хлюпай носом. Живи, покуда солнышко светит. — И продолжила: — В последнем письме твой польский отец просил прислать фотокарточку новорождённого. Очень хотел, чтобы ты был на ней голеньким, чтобы всего было видно. Катерина так и сделала. Письмо получил перед освобождением своего родного города Варшавы. Сообщал, что бои страшные и его двое товарищей, которые с ним вместе прибыли из России, погибли. Писал, что, когда получил фотографию, несколько раз останавливался на дороге и смотрел на тебя, не мог поверить, привыкнуть, что он — отец. «Где мой сын — там и моя родина», — так заканчивалось его последнее письмо. Верил, что вернётся к тебе, поэтому мы фамилию не стали тебе менять, хотя Василий несколько раз об этом заговаривал.

Осечка

У Мазилина, который живёт около чайной на Центральной улице, есть страсть, о которой все знают и которая дала ему эту вторую, уличную, фамилию. Он любит ружья и охоту, а вернее, любит быть, присутствовать там, где охота и где пахнет палёным пыжом. Стрелять хорошо не умеет, но врёт о своей меткости отменно. Сегодня охотники на задах стреляли в калитку огорода: пробовали одностволку Веньки Сухова. Мазилин так «раздухарился», что заявил, будто на лету однажды сбил сразу трёх витютней.

— Они стаями и не летают, — сказал веско Венька. — Уймись.

— Что уймись, что уймись, я настоящую правду говорю! Их ветром в стаю сбило над жнивьём в Ревунах.

— Ага, — продолжал Веня, — иду полем — ни одного деревца и вдруг — волки. Я — раз, не мешкая, на огромный дуб, да? — Так Веня вспомнил кусочек рассказа Мазилина о своих подвигах.

Эту историю все уже знают, поэтому и засмеялись.

— Ты зря надсмеаешься, я натренировался на той неделе с ружьём-то, могу аккурат пальнуть как надо!

— Можешь? — переспросил Веня и озорно посмотрел на всех.

— Могу, — подтвердил Саня. И для надёжности добавил: — Я, это, гагарок влёт бил, когда у брата на Севере был, а летось в Одеале дудака завалил.

— Говоришь, гагарок стрелял? А на лемуров в тропиках не охотился? — поинтересовался Веня.

— Чегой-то? — переспросил Мазилин.

— Давай так, — весело сказал Сухов, — на тебе моё ружьё. На, на! Мазилин неуверенно взял одностволку.

Веня окинул взглядом ровную, заснеженную порошей дорогу вдоль ограды и начал отмеривать крупными шагами расстояние. Единственная его правая рука чётко работала под строевой шаг.

— Вот, ровно тридцать метров. Так?

— Ты что задумал, Веня? — спросил Шуркин дед.

— Так, Саня? — вновь спросил Сухов.

— Ну, так, так, — беспокойно ответил Мазилин.

— Слушай условия дуэли. Стреляешь мне в задницу. Если хотя бы одной дробиной попадёшь — ружьё твоё!

— А если нет?! — крикнул подошедший Стёпка Синегубый. И его испещрённое мелкими тёмно-синими точками лицо, освещённое обычно тусклым светом потерявших остроту после контузии глаз, неожиданно преобразилось. Он вдруг стал таким же весёлым, как Венька. Это удивило Шурку.

— А если не попадёт, тогда посмотрим, что с ним делать.

Венька, широко и плавно разводя руками, театрально изобразил реверанс. Повернулся спиной к толпе и, задрав фуфайку, наклонился, почти доставая рукой снег:

— Давай, Лександр! Не бойсь! Пали!

«Может, ружьё не заряжено?», — почему-то обрадованно подумал Шурка, глядя на крепкие Венькины галифе.

— Венька, убери казённую часть, не дури, — сказал, похохатывая, дед Шурки.

— А если я попаду? — подал голос сам Мазилин. — Глазунья ведь получится, а? Аховый ты мужик, Веня!

— Да не тяни, там бекасинник в патроне. Я устал буквой «Г» стоять. Ты знаешь, где курок?

Шурка смотрел на Мазилина и лихорадочно искал выход из казавшейся ему тупиковой ситуации. «Венька, ясно, не струсит, будет ждать выстрела, а Мазилин в тупике — надо стрелять, на него все смотрят и ждут. А вдруг сдуру да попадёт?»

Но уже в следующий момент заметил, что неуверенные движения Мазилина получают какую-то твёрдость. Тот перебросил одностволку с правой руки на левую, как какой-то краснокожий индеец, взметнул её над головой и издал негромкий, но дикий и непонятный воинственный клич:

— И-и-и-ха-ха-у-у!

Все оторопели. Никто такой выходки не ждал. В следующий миг лицо и вся фигура Мазилина обрели уверенное спокойствие и деловитость, что вновь всех изумило.

Он потоптался на месте, делая себе площадку в снегу, и медленно стал поднимать ружьё. Теперь уже он не обращал никакого внимания на присутствующих. Видно было, что действовал осознанно и по плану.

Мазилин начал основательно целиться. Но враз опустил ружьё:

— Венька, постой ещё чуток, передохну. Знаешь, руки дрожат после вчерашнего: солому возили, ну и немножко того, для сугреву приняли. Теперь вот вместо опохмелки ты попался.

— Эх, ты, колбаса! — совсем, как пацан, обозвал Синегубый Мазилина. — Трусишь?

Но Мазилина голыми руками не возьмёшь. Он быстро отозвался:

— Коли колбасе приставить крылья, лучшей бы птицы не было. Умел Мазилин вот так: не вдруг под гору, а с поноровочкой.

Шурка потихоньку начал понимать, что хозяином положения становится Мазилин, а не Венька. «Неужели Мазилин опять всех перехитрил? — думал Шурка, глядя на Сухова. — Так уж не раз бывало, ведь он — известный пройдоха».

У соседки Пупчихи закричала коза, потом у самого плетня под навесом смешно начал кашлять баран.

— Вот ведь чёртова скотина... правда, Вень? Я её терпеть не могу, потому и не держу. А ты, Вень?

— Стрельнёшь или нет? — подталкивал настойчиво Сухов.

— Стрельну, конечно, стрельну, погоду чуток-то.

Мазилин поднял ружьё и непонятно отчего с радостным лицом, почти не целясь, нажал курок. Прозвучал сухой щелчок, выстрела не последовало.

— Осечка, — сказал бодро Мазилин. — Не судьба, значитца!

— Чего городишь, дай мне, — Венька принял ружьё и, ловко пальцами одной руки скользнув по цевью и ложе, переломил одностволку. Лицо его вытянулось в изумлении:

— Ну, ты даёшь, ловкач!

Он внимательно посмотрел на стрелявшего. Тот развёл руками:

— Ловкость рук и никакого мошенства!

Сухов одобрительно, что было совсем непонятно Шурке, хмыкнул и, шутя, боднул Мазилина головой. Тот громко хохотнул и объявил:

— Господа хорошие, спектакля сегодня больше не будет.

Потихоньку все разошлись.

Шурка вынул перочинный ножичек с двумя лезвиями и начал выковыривать дробины из деревянной калитки. Некоторые засели глубоко. Старые трухлявые доски внутри оказались крепкими, а дробь, расплющившись, трудно поддавалась тонкому лезвию. Мерзли руки, хотя и было солнечно. Снег искрился, как будто тысячи серебряных мелких дробинок кто-то рассыпал по чьей-то непонятной прихоти.

— Зачем тебе это? — спросил Сухов.

— Да на грузило к удочкам, на лето.

— Приходи, дам свинца, раздобыл недавно.

— Ладно, приду.

Веня Сухов — ловкий, стройный и добрый, уже уходил, и Шурка поинтересовался:

— А как Мазилин придумал фокус с осечкой?

— Да не было осечки. Пока он нас потешал, успел потихоньку патрон из ствола вытряхнуть и валенком в снег втоптать. Находчивый, чёрт!

— Эх, вот это да! — только и сказал Шурка.

На душе было празднично. Стояла ещё только первая половина зимнего солнечного дня. Почти целый день впереди. Рядом были дед, бабушка, все свои. Веня... Такие все разные. И даже пройдошистый Мазилин воспринимался как что-то чудное, но такое, без чего вроде бы и жизнь не совсем та, какая может быть.

Рождество

В сенях зашумели, затопали чьи-то торопливые валенки, дверь распахнулась и в избу ввалились трое ребят: Толик Беспёрстов, Димка Таганин и Мусай Резяпов.

Едва переступив порог, ещё не закрыв как следует заиндевевшую дверь, нестройно, но громко и, главное, решительно запели молитву:

*Рождество Твоё, Христе Боже наш,
возсия мирови свет разума,
в нём бо звёздам служащи звездою учахуся,
Тебе кланятися, Солнцу правды,
и Тебе ведети с высоты востока,
Господи, слава Тебе!*

Молитву Шурка знал давно, много раз славил, когда был поменьше. И теперь, лёжа в кровати, ревностно и радостно слушал пение.

Слова молитвы местами непонятны, но жила в них, исходила от них какая-то неизъяснимая благодать. Неясные созвучия были знакомы, на слуху, и поэтому, может быть, несли в душу не осознанную до конца радость и веру в жизнь.

Так наступило утро седьмого января, праздника Рождества Христова.

Когда ребята смолкли, братишка Петя вскочил на кровати, переступил, балансируя, через Шурку и в трусах, босиком пошлёпал к порогу, издавая какие-то невнятные звуки.

Мать Шурки раздавала припасённые заранее конфеты-подушечки:

— Слава Богу! Слава Богу!

Когда славильщики ушли, Петя, стоя на одной ноге, поджав другую от холода, заскочившего через только что с шумом закрывшуюся дверь, закричал горестно:

— Опять ты, мамка, опоздала меня разбудить. Уже ходят! Беспёрстов меня обогнал.

— Не торопись ты, темень ещё на дворе. Они самые первые. Посмотри в окно, — отвечала мать.

Шурка, споткнувшись о тыкву, выкатившуюся из-под кровати, подошёл к окну. Отодвинул занавеску. Палисадник, широкая улица — всё завалено сугробами. Ночью шёл сильный снег. Нескольких стаяк ребят, по двое, по трое пробивались, увязая по колени, к подворьям.

— Зачем тебе, Петь, в такую рань-то?

— Дак я должен был ещё зайти к Перовым, за Ванькой!

— Петь, да ты в своём уме? — всплеснула руками мать. — Он ведь на самом краю села живёт, пусть за тобой забегает. Хватит колдыбашить-то.

— Нет, — упрямится Петя, — он чуть не каждый день за мной заходит, когда в школу идёт.

— Но ему же по пути!

— Я ему обещал вчера, честное слово дал, — говорит Петька, натягивая на босу ногу валенок. — Мы решили в этом году славить в Золотом конце, — приводит он свой последний и веский довод.

— Петро, не выкобенивайся, — как взрослому, говорит вошедший со двора отец, — надень носки, без них не пойдёшь.

Петька послушно идёт искать пропавшие носки. Приподняв подозрник, лезет под кровать.

— Мать, никак меж славильщиков и татарчонок Мусай был? — спрашивает Василий.

— Был, а что?

— Ну, как, что...

— Да ладно тебе, радостный праздник для всех же, а для ребятни — тем более. Знаешь, какой у него голос? Красивый! Чудо!

Одевшись, Петька быстренько, пока про него забыли, прошмыгнул к двери и пропал в сенях.

— Ну, а ты, Шурка, что же не с ними? — спрашивает отец.

— Большой стал, в шестом классе, стесняется, — ответила за него мать.

Она отставила ухват к двери, обернулась к ним. И Шурка поразился, какая у них мать молодая и красивая! Чёрные, как смоль, волосы и карие глаза, смуглость лица и живость движений делали её сгустком энергии и заразительного веселья.

Он хотел было возразить маме, но не успел, она, улыбаясь, сказала:

— Знаете, как мы бывалыча девчонками с Надей Чураевой пели на Рождество! Нас все любили. А колядовали как! Наши колядки всем так нравились! Самый мой отрадный праздник был Рождество Христово. И все дни до самого Крещенья! Была бы помоложе, убежала с ними, с этими ребятами, ей-богу!

Поединок

По Зубареву переулку в розвальнях на буланой кобылке промчался Мишка. Снежная пыль клубилась за возком. Мишка не умел ездить медленно.

«На общий двор погнал, — отметил про себя Шурка. — Ну, хорошо, посмотрим, кто слабак!» Нырнул в сельницу и вышел оттуда с уздечкой. «Будем биться на равных, по справедливости».

Мишку встретил у стадиона, когда тот уже возвращался домой. Странно, но противник не испугался и не удивился:

— Ждёшь? — спросил он и встал метрах в двух от Шурки, застёгивая на все пуговицы старенькую фуфайку.

— Жду, — подтвердил Шурка, подвигаясь к неприятелю.

— Знал, что ты когда-нибудь меня подкараулишь, но я тренировался и...

— И я — тоже, — перебил Шурка и так ловко стал крутить уздечкой круги над головой, перед собой, слева и справа от себя, что Мишка невольно попятился.

— Тебя кто-то учил из взрослых! — выкрикнул он, невольно озираясь: то ли готовился занять хорошее местечко на дороге, то ли оробев.

— Сам! Тебе сейчас придётся попрыгать, а то пятки отшибу, понял? Не будешь больше кобениться.

— Да ладно, отшибу... Сам получишь по сусалам. Вот послушай.

И пропел жидким, ужасно мерзким голосом:

*Шурка-пупурка. Турецкий барабан.
Как заиграет на пузе таракан!*

Он ничего, оказывается не боялся, этот узкоплечий, веснучатый и дерзкий Мишка Лашманкин.

— Стишки твои глупые, для первоклашек.

— А у тебя какие есть? — спросил Мишка.

Стихов у Шурки таких не было. И это его немножко озадачило. Он задумался. И потерял инициативу. А противник не дремал, кочетом бросился на Шурку и, обхватив со спины его же уздечкой, стянул её впереди, захлестнув концы.

— Ах, ты так?.. — запоздало спохватился Шурка и резко метнулся влево, быстро сообразив, что в падении может освободить из плена руки. Так и оказалось. Противник не ожидал при всей своей коварности такого манёвра и они повалились на дорогу. Изловчившись, нырком выскочил Шурка из-под неприятеля и ока-

зался вмиг верхом на нём. Мишка извивался под седоком, а тот, не помня себя, схватил горсть грязного дорожного снега и стал размазывать по потному лицу противника.

— Ах, ты так, так, ты так... — взвился Мишка.

Но Шурка его не слышал. Он уже ничего не сознавал...

И вдруг прозвучал властный голос:

— Отставить! По стойке «смирно» становись!

У обочины, опершись на костыль, в жёлтой фуфайке стоял Шуркин отец. Руки под военной командой ослабли вмиг. Противники поднялись.

И тут последовала новая команда, которая вновь заставила их подчиниться:

— По разным сторонам дороги разойдись! По домам «шагом марш»!

Дома, внимательно глядя на Шурку, отец сказал:

— Молодец, такого крепкого парня свалил. Это хорошо. Но кто же лежачего бьёт? Несправедливо. Так нельзя.

— Да я... — Шурка хотел объяснить, что они разом повалились.

Но отец опередил:

— А зачем ты ему лицо грязью мазал?

— Я не помнил, что делал, совсем...

— Ну, брат, — отец покачал головой. — Драться надо уметь так, чтобы не терять над собой власть. Иначе до беды недалеко. И ещё надо знать, за что дерёшься.

Он строго посмотрел на Шурку:

— Причина для драки была серьёзная?

— Была, — потупившись, ответил Шурка.

— Ну, раз была, то всё нормально. Веселей гляди. Бери вёдра, пошли скотину поить.

Через несколько минут вёдра весело загремели в руках Шурки. А чуть позже призывно на калде замычала Жданка.

Полонез Огинского

Шурка давно уже знал, что дядя Гриша Кочетков в войну работал в утёвской сапожной мастерской вместе с его польским отцом.

На прошлой неделе он, как взрослый, подошёл к Кочетку прямо на улице, когда тот проходил мимо их двора, и спросил:

— Дядя Гриша, расскажи что-нибудь про моего польского отца.

Тот не удивился просьбе, как будто давно об этом уже говорили.

— Приходи завтра днём.

...Едва Шурка щёлкнул щеколдой, залаяла собака. Вышел хозяин. Подойдя ближе, положил легонько руку на плечо Шурки и они, как старые знакомые, пошли к дому.

Оставив Шурку, хозяин скрылся в сених. Вышел оттуда, держа в руках мандолину и потрёпанную ученическую тетрадь.

— Дядя Гриша, у вас фотографии отца есть?

— Одна групповая была, да жалко, запропастилась куда-то.

Шурка понурил голову.

— Ладно, не грусти. В Куйбышеве у меня друг живёт, он на той фотокарточке стоял около твоего отца, может, у него сохранилась...

Полистав тетрадку, нашёл нужную страницу, помятую и испи-санную карандашом.

— Вот:

*Когда пролётных птиц несутся вереницы
От зимних бурь и вьюг и стонут в вышине,
Не осуждай их, друг! Весной вернутся птицы
Знакомым им путём к желанной стороне.
Но, слыша голос их печальный, вспомни друга!
Едва надежда вновь блеснёт моей судьбе,
На крыльях радости помчусь я быстро с юга
Опять на север — вновь к тебе!*

— Знаешь, кто написал? — спросил Кочеток.

— Нет. Может, Пушкин?

— Пушкин, только польский — Адам Мицкевич, вот! Один раз, в войну, у твоей матери был день рождения. Ну, мы собрались... Даже пиво было.

Отец твой прочитал это стихотворение по-польски, пересказал по-русски. Назвал автора — Адам Мицкевич. Мы признались, что не знаем такого. Он тогда очень расстроился и даже, кажется, обиделся на нас. Говорил по-русски плохо, а тут совсем смутился, когда объяснял нам, что у них Мицкевич, как у нас — Пушкин. Его каждый поляк знает. Мицкевич и Пушкин, видишь ли, навроде друзей были меж собой. Я это стихотворение о перелётных птицах запомнил хорошо. Потом дочь моя, учительница в Куйбышеве, нашла книжку Мицкевича, переписала и прислала.

— Дядя Гриша, мой отец — шляхтич?

— Кто тебе такую глупость сказал?

— Да меня дураки наши в школе контрой зовут, когда разозлить хотят.

— Послушай, он отличные женские туфли шил и меня научил. Может контра сапоги да башмаки шить, а? Он красивый был. Среднего роста, смуглый, кудрявый, а глаза голубые. Хорошо танцевал, и девчат наших учил. Польку, мазурку, кадрили... Всё умел. Ходил в толстовке коричневого цвета. У тебя вот глаза зелёные, у матери твоей — карие. Ты, значит, посерединке у них. Шляхтич не шляхтич, но немецкий и французский знал, это верно. Уважительный, вежливый был, но за своё стоял. Когда я ему сказал, что вот освободят Польшу от немцев, организуют у них колхозы и будет страна, как наша, стал мне говорить, что у них никогда колхозов не будет. Колхозы им не нужны. Так его и не убедил. А с матерью твоей я его познакомил у Чураевых на вечёрках. Не сразу они сошлись. Хотя и четыре года твоя мать не получала писем от первого мужа, а всё равно — жена законная. Мы все были уверены, что Василия нет в живых. А тут ещё Минька Леток раненый вернулся, сказал, что видел Василия Фёдоровича вроде бы на Карельском фронте, на Финской ещё, попавшим под такой обстрел, что все погибли. Такая вот история с Любаевым получилась. Как тут разобратся?

Он взял мандолину, как маленького ребёнка, погладил ладонью, вытряхнул из отверстия посередине большой зуб от расчёски и тронул струны.

Полилась удивительно красивая, грустная, незнакомая мелодия. Мандолина — это маленькое существо, даже не гитара, незаметное и невнушительное, хранила в себе и издавала такие звуки, которые могли существовать только где-то на просторе, в поле, между небом и землёй. Как песня жаворонка под открытым небом. В вышине, в огромном свободном пространстве, вечном и манящем...

Дядя Гриша кончил играть, Шурка не сразу пришёл в себя.

— Подарок тебе — любимая музыка твоего отца, полонез Огинского. Он любил его напевать, ну я и подобрал на мандолине. Ему очень нравилось, часто просил сыграть. Говорил, что эта музыка — бессмертная. На все века! Бери мандолину, она — твоя.

— Как так? — опешил Шурка.

— Я её подарил твоему отцу — Стасу. Но, когда его срочно забирали на фронт, он забыл её взять впопыхах. Она у нас потом долго в сапожной мастерской висела — как память!

— А где была сапожная мастерская?

— В промкомбинате, напротив школы. Во время войны, в начале, эти мастерские собрали из чернолесья. Потом твой дед с бригадой работал в Борске, заготавливали сосновые брёвна. Я тоже с ними, плотами пригнали в Утёвку, сделали пристрой. В нём овчины готовили. Шили для фронта полушубки из них.

— Плотами в Утёвку по Самарке?! — удивился Шурка.

— Ну, да!

Шурка погладил осторожно, как живое существо, мандолину и протянул дядьке Григорию.

— Нет, спасибо. Можно, она будет у вас? Я буду приходить, слушать, как вы играете?

— Смотрю вот на тебя и удивляюсь — так похож на отца. Может, не внешностью, а характером больше. Он тоже, когда возражал, говорил очень мягко, как бы просил. Совестливый был.

— А кто такой Огинский? Шляхтич?

— Дался тебе этот шляхтич. Композитор, поляк. Мне о нём Стас рассказывал, он много всего знал и любил рассказывать. Но я всё уже перезабыл. По-моему, граф был, а звали Михаилом или Николаем. Такое русское имя, да вот.

— А в чём мой отец провинился, дядя Гриш?

— Точно не знаю. Тут их несколько человек было по селам. Сельсоветские наши частенько спрашивали о нём. Не спускали глаз.

— А как забрали на фронт? — допытывался Шурка.

— Просто. Польскую часть формировали и его призвали, кажется, в Рязань, вроде бы в дивизию Костюшко.

— А русских любил?

— Кто? — не понял дядька Гриша.

— Отец мой.

— О чём разговор! Мы были все приятелями. Песни наши любил. Послушай, мы с ним часто её пели:

*Среди долины ровныя
На гладкой высоте
Цветёт, растёт высокий дуб
В могучей красоте.
Высокий дуб, развесистый,
Один у всех в глазах;
Один, один, бедняжечка,
Как рекрут на часах.*

В избу вошла Наташа Лучезарная — жена Григория. Тут же подседа рядышком и стала подпевать.

Не зря утёвский народ такое прозвище ей дал. От неё веяло жаром, как от протопленной печки, какие-то тёплые иголки выскакивали из её весёлых улыбчивых глаз и покалывали всех, кто был рядом. Грустная песня оставалась грустной, но всё превратилось в некую забаву, и грусть стала как бы понарошку, временной.

Она обняла Григория за шею сзади одной рукой, наклонилась. Белая кофточка на груди расстегнулась на две пуговички и два бронзовых полновесных слитка заиграли перед лицом Шурки, в такт движениям их шаловливой хозяйки то прячась, то выглядывая и целясь прямо в Шурку тёмными пухлыми сосками. Ему стало не по себе. Смутное, необычное волнение нашло на него.

А песня лилась в два голоса:

*Взойдёт ли красно солнышко —
Кого под тень принять?
Ударит ли погодушка —
Кто будет защищать?*

Вдруг Лучезарная всплеснула лёгкими и ласковыми руками: — Гришенька, песне-то этой конца нет. А у меня баня протопилась, голубок мой, и давно...

— Наташа, ну, обожди, допою парню ещё один куплет. Когда ещё так посидим?

Наташа ушла в сенцы и дядя Гриша озорно подмигнул:

— Вишь, моя полячка какая нетерпеливая!
— Разве ж она — полячка? — откликнулся Шурка.
— Это я к слову. Похожа на полячку, верно?

И, не дожидаясь ответа, вновь запел:

*Возьмите же всё золото,
Все почести назад:
Мне родину, мне милую,
Мне милой дайте взгляд.*

Он замолк.

— Вот такие дела. Тосковал твой отец о своей прежней жизни. Это видно было. Не мог здесь прижиться. Другой был, не как мы.

— А как кто?

— Не знаю. В мастерскую сапожную приходил в светлой рубахе с галстуком. Так вот.

Григорий встал, отнёс в сени мандолину. Оттуда выпорхнула Лучезарная с тазиком в руках и в полушалке:

— Гриш, ну ты и копуха, собирайся, а то я одна уйду.

Поляков из Покровки

Шурка, подперев левой рукой подбородок, сидит у деда в горнице за столом. Рисует самолётики, фигуры разные на обратной стороне обрезков обоев. Скучно. Должен был прийти Андрей, но его всё нет. Книжка «Одиссея капитана Блада» прочитана, больше ничего нет. Все взрослые на базаре, сегодня — воскресенье. Он рассеянно смотрит на стену перед собой, упирается взглядом в картину с цветами и непонятным названием «Пионы» и ему делается ещё скучнее. Потом берёт попавший под руку жёлтый карандаш и перед непонятным словом ставит большую, но не жирную (чтобы бабушка не заругала) букву «Ш». Вслух произносит: «Шпионы». Становится как-то понятнее, но какая связь между цветами и этим словом, никак не улавливает, и опять ему становится скучно. Зачёркивает буквы «и» и «ы», получается: «шпон». Скучно. Зачёркивает букву «ш», восстанавливает «и» и вместо «ы» дописывает «ер», становится веселее: «пионер». Когда же убирает «п» и «ер» и дописывает «ыч», совсем хорошо: «Ионыч». Вернувшись к слову «шпон», убирает букву «ш» и в конце добавляет «т». Вот теперь, когда надпись под цветами становится свалкой букв, как у деда на верстаке, где завитушки золотистых сосновых стружек кудрявятся и шевелятся, как живые, ему становится интересней.

Взгляд падает на ружьё, висящее (а скорее, лежащее) под потолком на двух больших гвоздях. Оно не заряжено. Мысли сами собой почему-то начинают вращаться вокруг вопроса: «Если все говорят, что ружьё и незаряженное один раз стреляет, то когда это случится? Завтра, через год, два, десять? Нет, интересно всё-таки, ведь не зря говорят? Стрельнуть должно ружьё».

В сенях послышалось, как кто-то обметает веником валенки от снега. Шурка радостно бросился встречать деда с бабкой. Но ошибся. В избу шагнул с мороза высокий человек и весело сказал:

— Здорово, брат!

— Здравсьте, — неуверенно отозвался Шурка, а про себя подумал: «Вот и брательник у меня объявился».

— Один, что ли?

— Один.

— Все на базаре?

— Нет, дядя Лёша на охоту ушёл.

— Эх, мать честная, я ведь к нему. Охотничий билет продлить надо и заплатить взносы.

Он, не спрашивая разрешения и не снимая валенки, прошёл и по-хозяйски уверенно сел на табуретку около печки. Расстегнул шубняк. Это Шурке не очень понравилось.

Гость пристально посмотрел на Шурку и спросил, глядя в упор своими диковатыми глазами из-под рыжих бровей:

— Ты Катькин сын, что ли, будешь, так?

— Ну, так.

— Полячок, значит, — то ли спросил, то ли ответил себе, довольный.

Шурка промолчал.

На это молчание гость отреагировал странно. Он хлопнул себя ладонями с растопыренными пальцами с обеих сторон по ляжкам и с каким-то только ему понятным восторгом подтвердил: «Полячок!» Затем встал и направился к выходу. За ним потянулись следы от мокрых, оттаявших в избе валенок.

— Ждать некогда, да и не дождёшься быстро с охоты. Ты вот что, скажи ему, был, мол, Поляков Михаил, на базар приезжал с Покровки, в следующее воскресенье утром снова будем — пусть подождёт. Ладно? Без билета нельзя. И привет большой ему от Полякова, вместе служили.

— Ладно, — неопределённо отвечает Шурка.

Ему вдруг стало казаться, что этот уверенный сильный человек смеялся над ним, дразнил. Специально придумал фамилию — Поляков. Он намекает, что отец Шурки и сам Шурка немножко не такие, как все, а как бы с порчей какой.

— Что такой задумчивый, рона большой? Веселись, пока время твоё!

Неожиданный гость хлопнул ладонью по косяку, резко открыл дверь и вышел.

«Вдруг он всё-таки смеялся надо мной? Фамилию назвал такую. Как же я скажу, кто к нам приходил? — пытается разобраться Шурка. — Если говорить, то надо называть фамилию «Поляков». Вдруг дядя смеяться будут? Ведь это похоже на розыгрыш. Или нет?»

Пусть поплачет

— Ты что такой смурной сегодня? — встретила Шурку вопросом бабушка.

— Я видел сегодня: мама украдкой плакала.

— Не замай, пусть поплачет. Полегчает.

— Как же так? — Шурка недоуменно смотрел на бабушку. — Надо что-то сделать!

— А вот иди ко мне за стол, посиди, а я расскажу. Тебе пора, видеть, понимать.

Шурка сел в угол на лавку, как раз под иконой, напротив бабушки, чтобы видеть огонёк в печи и не мешать ей работать ухватом и сковородником.

Бабушка отставила в сторону ухват:

— Не сердчай ни на кого из нас и не обижайся, ладно?

— Ладно, — сказал Шурка почти машинально и ему стало не по себе. Получалось с этим его «ладно», что он здесь как бы главнее всех и может свысока позволить кому-то какую-то вольность. Он опустил глаза в стол.

— Третьего дня Кочеток, когда тебя не было, принёс две фотографии твоего отца Станислава. Сказал, что в Зуевке нашёл у знакомого — для тебя старался. Вроде бы обещал. Ну, мы с матерью, от греха подальше, вставили их в портрет у вас в передней, но только с обратной стороны, чтоб не видно. А сегодня утром Василий случайно их увидел. Не стал слушать Катерину, порвал и выкинул. Не знал, что Кочеток тебе их принёс. Думал, хранит она ото всех. Мать в слёзы, говорит ему: надо, чтобы ты в лицо отца знал, а он вскипел весь: «Раз мы договорились, что отцом ему буду я, значит точка. Не морочьте парню и мне голову». Он — кремень, и раньше был очень горячий и твёрдый. Его не переубедишь. И по-своему ведь прав. Понимаешь, голова садовая?

Шурка молчал. Он всех любил. Василий, которого звал отцом и хотел, чтобы он был отцом, удивлял его своим характером. Поражали поступки и манера говорить: коротко и односложно. Но зато какая сила и уверенность были во всём, что он делал. Всё воспринималось как маленькая часть чего-то огромного, правильного, настоящего, что только и имеет право на жизнь. Шурке иногда казалось, что его отец Василий связан, это порой ощущалось физически, с некоей огромной умной силой, с которой тот встретился и обрубился то ли на войне, то ли в плену, то ли ещё где...

Она, эта сила, его отметила, и теперь он с этой отметиной живёт.

«Почему он порвал фотографии отца? — недоумевал Шурка. — Ведь это же не измена, мне просто надо знать, что и как было. И какой был отец Станислав. Неужели отец Василий не понимает?» Досада угнетала Шурку ещё и потому, что напрямую ему он об этом не мог сказать.

— Ну, вот, совсем я тебя расстроила, — бабушка старалась быть весёлой, — не горюнься. Ты ещё не вырос, может, и не надо бы мне говорить тебе, но ты об этом думаешь. Тогда пойми: он порвал карточки только потому, что Катерину ревнует, вот и всё. А к тебе очень хорошо относится. Я знаю, Катерина отдала своей какой-то подруге сберечь последние письма Станислава из-под Варшавы — перед её освобождением. Три или четыре...

— Но мама плачет...

— Плачет потому, что всех вас жалеет: и тебя, и Василия, и Станислава. Вот ведь война что наделала. А мне вас всех жалко.

Она обняла внука за плечи:

— Ты правильно пойми. Когда перестали приходить письма с фронта, мать начала кое-что пытаться у разных людей узнавать. И один разок зашёл к нам Мишка-милиционер и мне одной сказал, чтобы забыли о твоём отце и не искали — может это бедой обернуться для нас всех. Так и сказал. Твой отец был поляк, а к ним строго относились. Вырастешь, сам разберёшься, а пока побереги себя и нас.

«Где и кто мой отец? — горестно думал Шурка. — Приехал бы, забрал меня в свою Варшаву — всем было бы легче. Но как же мои дед, мама, бабушка, Самарка, Карий... Как я без них? Нет, не надо меня никуда забирать».

— Иди, позови на завтрак деда, он у погребницы сети разбирает, — она легко подтолкнула его, — будем лапшчатник с молоком есть.

Шурка направился к двери и вдруг у порога, обернувшись, сказал совсем неожиданное для себя, вернее, то, о чём много думал, но вовсе не собирался сейчас спрашивать, да и вообще вряд ли решился бы когда:

— Баб, я кто?

— Не поняла я? — бабушка внимательно, так, как только она умела, посмотрела сразу на всего Шурку, отчего ему некуда было спрятаться. Стало не по себе: то ли от того, что спросил, или потому, что вот бабушка сейчас ответит и её слова могут создать непреодолимую преграду между ним и всеми, кого он так любит.

— Ты меня о чём спрашиваешь?

Шурке уж некуда было деваться и он уточнил:

— Баб, я кто? Русский или кто?

— А, вот ты о чём.

И спокойно сказала:

— А сам ответь себе... Раз мы все вокруг тебя русские, мама твоя русская, то кто ты? А?

Шурка не ответил, пнув ногой дверь, выскочил во двор. Сходу попав в окружение Цыгана и Верного, цыкнул по-хозяйски на них и побежал к погребнице, где всегда пахло рыбой, мокрыми сетками, и где Шуркин дедушка мог внезапно сказать что-то вроде такого: «А что, внук, не махнуть ли нам с тобой за зайцами, а заодно и сетки проверим в Подстепном, а?»

...Когда садились за стол, пришла мать, а чуть позже — дядя Алексей.

Шурка любил, когда за столом много людей. Это у него, наверное, от бабушки, у которой, все знали, была слабость: зазвать в дом и чем-нибудь попотчевать. Она любила летом сказать: «Ну, что, мужики, на вольном воздухе будем обедать, под открытым небом?» И все сразу соглашались, и Шурка первым брал табуретки и шёл к старой ранетке, где скучал в одиночестве закопчённый трёхногий таганок. Следом взрослые несли стол.

Под скрипучей ранеткой Шурка особенно любил есть крошку. Баба Груня делала её из своего кваса, нащипывая туда сушёную крепко соленую густеру или сапу. Было остро и очень вкусно.

...Только вчера зарезали барана. Тушка его сейчас висела в сенях на большом крюке, а гольё — приготовленная к дублинию шкура — в мазанке.

Баба Груня сварила щи.

Ели из общей высокой глиняной миски, поставленной на середину стола. Щи были наваристые и горячие. Ели молча и сосредоточенно. Жирные капли щей, падая из Шуркиной деревянной ложки на клеёнку, тут же застывали маленькими восковыми кругляшками. Шурка щёлкал по ним пальцем и они легко отлетали на пол.

— Шурк, чать не маленький, — спокойно сказал дед, — прекрати!

Шурка быстро наелся щей и стал ждать лапшатник. Он положил свою ложку на край миски, уперев её черенком в стол. Ложка держалась, это его забавляло.

— Убери, — сказал дед.

— Она так интересно стоит.

Но дед сразил все доводы сразу и под корень:

— Чего ж интересного? Как собака через забор заглядывает, того и гляди гавкнет. Неприятно.

Шурка молча убрал ложку.

Бабушка долила щей, все продолжали работать ложками, не трогая мяса.

— Таскайте потихоньку, — как обычно, будто между прочим, сказал дед.

Это была команда вылавливать куски мяса. Не было скарденности. Во всём необходим порядок, и эту негласную установку все уважали.

Шурка краем глаза смотрел на мать. Она была спокойна, ни малейшего признака того, что утром плакала. Он знал, и так было уже не раз, если она сейчас что-нибудь скажет весёлое, все, включая и дедушку, засмеются (мать так умеет говорить), и эта сдержанность за столом и сосредоточенность не от какого-то недопонимания или горя, а от уважения к еде, к хлебу, ко всему тому, что даётся нелегко и не вдруг.

«А я ещё со своими вопросами высказываю, — думал Шурка, — всем и без них несладко».

Письмо Жукову

— Пойми ты, голова садовая: твоя пенсия и пенсия инвалида войны — разные вещи!

Это говорил красивый дядька в чёрном кителе с двумя орденами и медалями на груди.

Когда Шурка пришёл из школы, отец и его новый знакомый сидели в избе и разговаривали. Перед ними стояла наполовину опорожненная бутылка водки, что сильно удивило Шурку.

Гость действительно был необычный: большая кудрявая голова его, цепкие колючие глаза и уверенный тон — всё говорило о том, что человек у них непростой.

Шурке незнакомец сразу понравился. Он потихоньку прошмыгнул мимо к подоконнику, где обычно делал уроки. Мать сидела рядом, разбирала шерсть.

— Мам, кто это?

— Зуев, дядя Костя.

— А кто он такой?

— На фронте майором был, а теперь инвалид, безногий.

— Как? — оторопел Шурка.

Ему не поверилось: такой сильный, уверенный, говорит громко, бодро, заразительно.

— У него обеих ног нету, — сказала мать, — мы ему с Василием помогли забраться на лавку — выше колен обрубки.

— А как он к нам попал?

— Узнал, что Василий на все руки мастер, приехал на своей трехколяске какие-то тяги ремонтировать.

— А где ж она, трехколяска?

— Да за сеньями стоит, разве не видел?

— Василий, ты в райсобесе объяснял свои дела или нет? — говорил в это время майор.

— А что я буду объяснять? Или так не видно? Разберутся. Получим и мы своё.

— Жди! Хрен да маненько, вот что получишь. Я их знаю, тыловых крыс, сталкивался не раз.

Он стукнул кулаком так, что его медали и ордена звякнули звонко и убедительно.

— У тебя когда раны открылись? — он направил на Шуркиного отца указательный палец, похожий на дуло пистолета.

— Примерно через полгода.

— Вот теперь слушай, мать твоя — кочерыжка... Значит, если в течение года после демобилизации у участника войны возникает инвалидность, то он считается инвалидом войны. Пенсия-то у тебя должна быть раза в два больше. Так жить нельзя. Я пробью ваших районных крыс! А ты делай мне мой тарантас, договорились?

Он широким жестом разлил по стаканам водку.

— Давай, рядовой Василий Любаев, грохнем за наши победы. Чёрт бы всех побрал!

— Подожди, — Шуркин отец взял стакан, подвинул ближе к себе, но пить не торопился.

— Я был в плену, — сказал он.

— Каким образом? — как-то очень строго спросил майор, так что Шурке стало страшновато за отца.

— В тридцать восьмом забрали на срочную в Тощие лагеря. И закрутило. Уже в сорок втором попал в армию к Власову.

— Во вторую ударную?

— Так точно. В плен попал, ещё не получив оружия, не успел.

— А ранило где?

— Это от побоев, неудачно бежал. Правда, контузило под Выборгом, ещё на Финской.

— А как освободился?

— Американцы в Германии, когда соседний барак с пленными уже сгорел.

— Да, дела... — почесал затылок майор. — Власова не знал, а вот маршала Мерецкова видел, боевой.

— Мам, он откуда взялся, всё знает? — удивился Шурка.

— В Москве жил до войны, приехал теперь в Куйбышев к родственникам. Говорят — Герой!

— Василий! Слушай мой совет: Жукову надо писать, Георгию Константиновичу, — твёрдо сказал Зуев.

— Что ты говоришь, товарищ майор, об этом страшно подумать. Кто я такой? — отец Шурки безнадежно махнул рукой. — У них просить — это всё равно как требовать у попа сдачи.

— Разговорчики в строю, рядовой Любаев! — грозно сверкнул глазами майор. И уже тише и примирительно добавил: — И потом — гвардии майор, разницу улавливаешь? Гвардии!..

— Не дури, Константин, я был в плену — в этом весь гвоздь, меня и так органы без конца разговорами манежат — работа идёт. Нас четверо всего в живых осталось.

— Ну так не тебя же обвиняют, ты чист. В чём дело? И потом — четыре года уже нет Иосифа Виссарионовича.

— Его нет, другие остались. Покоя хочу, устал. Забыть бы всё, — отозвался отец.

— Лезь тогда на печку к своей трещине. Там спокойно сиди, через дырку на небушко поглядывай.

Он помолчал, глядя в стол, ладонью левой руки потёр о край стола несколько раз, поднял голову:

— Подписываемся оба: рядом с твоей фамилией будет моя. Текст я сам напишу.

...Письмо отправили недели через две. Дядя Костя как-то хитро свернул его конвертом и заклеил. Потом вложил в настоящий конверт и послал своему другу-однополчанину в Москву с просьбой вынуть главное письмо и бросить в московский почтовый ящик.

Маслянка

В Утёвке много больших красивых улиц: Крестьянская, Льва Толстого, Фрунзе. Но почему-то самые интересные события происходили всё больше на маленьких и дальних: в Заколюковке, Золотом конце, Тягаловке, в Исаках, Смоляновке, Лопатиновке.

На носу Масленица — дни, наполненные весельем, снежными забавами. Все как бы неосознанно прощались со снегом, хоронили зиму, балуясь напоследок в преддверии весны. Радовались почти язычески солнцу, весеннему свету. Пекли блины и особенно дети радовались им, совсем не пугаясь приближающегося поста. Его мало кто соблюдал, больше было разговоров о нём.

Взрослые ребята во главе с Шуркиным дядей Серёжей, недавно вернувшимся со срочной службы, решили сладить на самой

большой, центральной улице, около Ракчеева двора, маслянку. Будет и на Шуркиной улице праздник!

Непростое это дело — соорудить хорошую маслянку. Перво-наперво надо одним концом вертикально вморозить большой лом в вырытую посередине улицы лунку. На другой конец надевалось тележное колесо. Земля промёрзшая, неподатливая. Пока сделали яму в полметра глубиной, умаялись. Когда таскали воду для заливки, у деда Проня Васьева выпросили хороший такой толстый лом, его и установили, не торопясь поливая водой. За ночь мороз сделал своё дело. Наутро лом торчал посреди улицы напротив дома Ракчеевых уверенно и требовательно. Тележное колесо нашлось у Ракчеевых, оно ещё с прошлого года было припрятано за сеньницей. Его надели на лом, который теперь служил осью, и осталось дело за небольшим: к колесу надо было привязать длинную жердь, а на конец жерди — хорошие крепкие салазки. Две жерди метров по пять длиной принёс сам Ракчеев Кузьма:

— Стышные будут, но ничего, сбейте гвоздями и свяжите проволокой. Только верните потом.

Так и сделали. Забава, но помогали и взрослые, артельно всё ладилось быстро. Когда же вставили колья сверху в спицы и трое добровольцев с их помощью крутанули колесо, жердь, немного провисая в середине и поднимая снежную пыль, пошла так быстро, как циркуль, описывая пристроенными на конце салазками окружность, что уже через несколько минут образовались две четкие колеи.

— Андрюха, садись! — озорно прикрикнул Кузьма.

Давний Шуркин приятель Андрей Плаксин словно этого только и ждал. Он лёг на салазки животом вниз, руками как можно крепче зацепился за жердину и затаился.

— Пошла! — скомандовал Серёга.

Толпа собравшихся взрослых и ребятишек отхлынула от вычерченного снежного круга. Шурка еле успел отступить, как санки с его дружкой, набрав за полкруга удивительно быстро скорость, пронеслись, поднимая снежную пыль.

Через три-четыре круга колесо так раскрутилось, что вращавшие его еле за ним успевали, поддавая скорость напором на колья, вставленные в спицы.

«Разматывается Андрюха, как гирька на верёвочке», — только подумал Шурка, как Андрея сорвало с круга и он бесформенным комом влетел в толпу зевак.

— Чуры не знают, крутят по-бешеному, не удержишься! — говорил он, отряхиваясь.

Когда слетели ещё двое тягаловских, пришедших попробовать, Шурка пошёл за своей удачей. Он уже сообразил, как надо сопротивляться той силе, которая выбрасывала смельчаков. Эта сила шла от колеса по прямой и навывлет, за круг. «Значит надо, — думал он, — лечь спиной к центру, ухватившись руками не за сани, а за жердь, обеими ногами упереться в дальний угол саней». Шурка так и сделал. И, казалось, через два круга поймал удачу, но ребята там, около колеса, поднажали на свои рычаги и он не стал различать опоясывающих маслянку людей — всё слилось в сплошную чёрную массу. Понял, что не выдержит, огромная сила стала отрывать его от жердины, руки слабели и вдруг обожгла мысль: зря так сел. Важно не удержаться на круге, главное — вовремя упасть, ничего себе не сломав. Шурка почувствовал, что скорость возросла, тормозов нет и может случиться беда с ногами. Его уже и на самом деле отрывало и переворачивало слева направо на спину. Он сжался в комок, поджав колени, и тут же неудержимая сила выбросила его сквозь толпу в сугроб.

— Ты — молодец, — сказал Андрей, — продержался десять кругов, столько, может, из наших никто не продержится.

— Тут никто не удержится, — ответил Шурка, выгребая снег из валенка, — силища здоровенная, очень жердь длинная — рычаг, поэтому так всё....

— Гришка Варивон на любой удержится, проверено.

— А кто это?

— Знакомый один, с ремеслухи, в гости приезжает из Самары. В воскресенье увидишь, — сказал, немножко важничая, Андрей.

— Здоровый?

— Ловкий, как зверь, во всём. Все коленки в рубцах.

— Почему? — не понял Шурка.

— Дерётся здорово, от ножей ногами обороняться умеет.

— Ну, ты даёшь!

— Увидишь сам, я познакомлю.

Подошёл дядька Сергей и попросил:

— Как расходиться будем, надо бы полить круг водой, за ночь закостенеет. Поможете?

— Конечно, — с готовностью ответил за обоих Андрей.

— Вот уж тогда-то и твой Варивон не удержится на ледяной дорожке-то, — сказал Шурка.

— Поживём — увидим, — рассудительно ответил приятель.

Картина

Эта картина Шурке понравилась сразу. Её повесил дед Иван в передней на самом видном месте, над столом. В центре изображён скачущий на гривастом огромном коне могучий всадник, такой же могучий, как каждый из трёх богатырей на картине над Шуркиной кроватью в спальне.

Шурка заметил, что все в доме любят этого всадника с таким непривычным именем — Тарас Бульба.

Он уже знал историю про Тараса. Знал, что догоняющие его поляки, жёлтым пятном светлеющие в углу картины, схватят этого великана и он погибнет. Схватят, когда он остановится, чтобы поднять свою люльку. «Зачем он остановился, зачем он, такой громадный, погиб из-за какой-то неприметной трубки?» Незаметно, наперекор всему, Шурка начинал верить, что Тарас так и будет скакать, не останавливаясь, а то, что говорят взрослые о его гибели, — неправда. «Просто они не знают всего. Вот он поскачет-поскачет, подумает и не остановится, а соберёт своих казаков, и тогда они покажут этим ляхам!»

Привязанность Тараса к своей люльке была для Шурки мучительно непонятна.

Непонятно и другое. Шурка давно знал, что отец его — поляк, а все в доме матери и в доме деда — русские. «Но ведь Тараса Бульбу, которого все так любят в наших домах и которого я сильно люблю, погубят поляки. Так почему же все меня любят — я ведь тоже поляк? — недоумевал Шурка, рассматривая картину. — Они не должны меня любить!» И, когда он подолгу глядел на скачущих всадников, начинало казаться, что самый первый на коне, догоняющий Тараса — его родной отец. Становилось жалко и Тараса, и отца, который почему-то оказался поляком, когда все тут вокруг русские, и себя.

«Нет, меня не любят, а только делают вид, что любят». И он стал с болезненной подозрительностью присматриваться к своим домашним, стараясь обнаружить под их дружелюбием неприязнь. Но её не было. И он мучился: «Как же с Тарасом, ведь его сожгли, сожгли...».

И вдруг однажды он нашёл отгадку: «Если по-прежнему меня любят, значит, всё-таки поляки не догнали Тараса, значит, он и теперь гуляет где-нибудь со своим войском по такой загадочной земле — Украине».

Речка Утёвочка

Утёвочка — особенная речка. Она есть и её нет. Когда весенние воды получают вольную волю там, далеко в степи, где глазу не видно конца и края равнине, где только слева далеко-далеко угадываются на горизонте под светлыми тучками летнего неба домики и церковь села Покровка, объявляется речка Утёвочка.

Собравшись в один могучий поток, утробно картавя, пенясь, эти воды устремляются к селу. Подойдя к околице и резко взяв в сторону реки Самары, поток всё-таки не минует Утёвку, а, как острым ножом, отрежет от общей краяхи села несколько улиц и прорвётся к стадиону, где, благоразумно вильнув влево, войдёт в озеро Шамино, а там уж и рукой подать до озера Приказного. И напитает речка на своём пути всё не только водой, но и оставит в подарок жирных карасей и всякую другую живность. Запертые в озере Приказном караси соберут толпы рыбаков и рыбачек. И будут рыбаки и рыбачки, пойманные на кукан собственного азарта, топтать берега Приказного.

— Варька, долго ещё рыбалить будешь?

— Нет, Нюра, парочку ещё поймаю, чтоб уж на полную сковородку было.

Такие вот практичные рыбачки, не то что мужчины. Женщин частенько бывает больше в такие весенние дни у озера, до двух-трёх десятков.

Весёлым и многолюдным становится озеро Приказное весной благодаря Утёвочке. Весёлыми становятся женщины-рыбачки благодаря речке.

Огород Головачёвых упирается в Утёвочку и от неё не отгорожен. Шуркин дед не любит шумливой рыбацкой толпы на берегу озера. Да и к чему ему это? Если он свой вентерь или кубарь всегда поставит у себя в огороде в эту пору между делом. Между делом и опорожнит, вывалив в тазик чумазые золотистые слитки, к восторгу Шурки. Он и зимой не пойдёт облавой на зайца, а добудет его здесь же, в своём огороде, деловито и с лёгкой усмешкой над бедолагами из охотничьей артели.

В русле Утёвочки растут раскидистые вётлы и высокие тополя. Есть и осанистый дуб. В огороде деда Ивана стоит старая ранетка, такая древняя, что кажется Шурке, будто она бабушка всем деревьям, всему подлеску, который скор здесь на рост. Шурка поставил опыт: вырезал полуметровый тополиный черенок и воткнул прямо под ногами, как рука взяла. Теперь из него за два года под-

нялось деревце выше Шурки. Прёт здесь всё из земли, что ни посади. Оно и понятно: вокруг чернозём да вода. Хотя летом Утёвочки как бы нет, но копни, где пониже, лопатой на три штыка, и вот она — живительная влага. Разве что в самый засушливый год уйдёт поглубже, но знает всё живое окрест: весна впереди, прихлынет талая вода из Курней, да так напитает землю, что с лихвой хватит всем и на всё.

От Ветлянки, из Курней, через степные просторы, рытвины, огороды, через озеро Шамино прорывается Утёвочка частью воды своей в озеро Приказное, а другой частью — в обрамлённую жёлтыми песчаными берегами Самарку, чуть выше притягательного местечка, любимого всеми рыбаками, — Платово.

Один разок, весной в водоволье, Шурка рискнул проверить этот путь и больше с тех пор не решается повторить его.

Оттолкнувшись на дедовом огороде веслом от старой ранетки, он направил плоскодонку в русло Утёвочки и, подхваченный потоком, совсем быстро, миновав десяток огородов, оставшихся без изгороди, оказался на озере Шамино. Всё, что слева, — залитые водой улицы края села, протока из Шамино в Приказное — ему было известно. Вот то, что бурлило и пенилось справа, — манило непреодолимо. И он поддался собственному порыву. Загребая вправо крепким веслом, Шурка устремился пока ещё по довольно спокойной водной глади к Искровской рытвине — в русло Прыгалки.

Как только лодка оказалась на гребне потока, рвущегося через Прыгалку на простор к Самарке, неистово желавшего, очевидно, соединиться с другим, основным — самарским и, обнявшись с ним неразрывно, прорваться к матушке Волге, чтобы там, где-то далеко-далеко, вышлеснуться в Каспий, Шурка понял: сопротивляться этому желанию невозможно и губительно.

Грозный и мощный водяной вал, похоже, мог утихомириться, только попав в Волгу.

Пенящаяся, рвущаяся масса воды несла доски, брёвна, очевидно, сорванные с мостов в верховье. Вывороченные с корнем дубы, осокори и всякая другая мелочь и совсем не мелочь — вот что представляла собой Самарка. Надо было суметь не попасть под встающие на дыбы в воде деревья, торпедами мчащиеся брёвна, не налететь на угрюмый многопудовый топляк. Вокруг всё картавило, бурлило и угрожало.

Шурке всё-таки удалось уйти с ревущего потока на обочину в осинник на Платово. Там, отдышавшись, он устремился через огромное водное пространство назад, в Утёвку.

Уже смеркалось, когда его, обессилевшего, подобрал бывалый Митяга Коршунов, который испытывал в тот день свою самодельную моторку.

— Чудеса, паря, — удивился, скорее, сам себе Митяга, — я ведь вчера хотел опробовать мотор-то, да бензина не было. Сегодня, вот, получилось, едрёнте.

Шурка смотрел на Митягу и молчал. У него не было сил даже говорить. Руки жгло от мозолей: отсутствие варежек сделало своё дело.

Шурка впервые видел моторку. Звук мотора, Митяга, привязывающий его плоскодонку к своей лодке, голос его, глуховатый и, как у деда, ласковый — всё было как во сне...

«Чего он суетится, ведь я же доплыл», — усмехнулся Шурка и начал терять сознание.

— Чудеса, паря... ёк-макарёк!

Чуть позже он вновь услышал ворчание Митяги и вяло удивился: «Где это я и почему кругом вода?»

...Такая вот речка Утёвочка.

Сейчас зима и речки как бы нет. Есть маленькие островочки льда. Но это пока...

В дебрях Уссурийского края

Шурка лежит в темноте на деревянной кровати в закутке за голландкой и лицо его всё в слезах. Жуткие грабители: Морган, Флинт, его бывший соратник отвратительный одноногий моряк Джон Сильвер со своим попугаем из «Острова сокровищ» — все они забылись, стали неинтересны. Бедный наивный дикарь из уссурийских дебрей гольд Узала, дитя природы, далёкой и красивой — он стоял перед глазами. Уже вторую неделю вечерами в дедовой избе читали эту чудесную книгу — «Дерсу Узала».

Шурка убежал ночевать к деду и мама на него сердилась. Но он не мог пропустить эти чтения вслух, когда все в избе, затаив дыхание, ловили каждое слово, боясь пошевелиться.

С первых страниц удивительной книги он растворился в ней, как растворились в дебрях Уссурийского края Арсеньев и Дерсу Узала, органично слившись с его обитателями. Этот край манил бесчисленным множеством людей, рек, зверей и птиц. Ошеломляли новые слова: изюбр, росомаха, хунхузы, вепрь, кабарга... Одних названий рек Шурка насчитал около десятка и сбился: река Кумуху, река Витухе, Улэнгоу, Дунгоу, Лефу, Сакхома, Алчан, Кулумбе, Амагу, Пия, Кусун...

Летом он прочитал «Всадника без головы», с начала зимы чуть не всего Майна Рида, озадачив темпом чтения библиотекаршу тётю Любу Богатырёву. Но такое с ним впервые. Амба! Уссурийский тигр! Вызывало восхищение отношение гольда к властному хозяину тайги. Поражал мир, незнакомый и манящий, в котором растворены все люди, изображённые в книге, и в который влекло и манило Шурку. «Дебри Уссурийского края». Он и раньше слышал это слово «дебри», оно всегда будоражило его воображение: «и в дебрях бури бушевали» — так часто пели в песне о Ермаке. Было в этом слове что-то необузданное и холодное. А Дерсу Узала был с Арсеньевым в дебрях, как дома. Чудесно! Мощь и величие Уссурийского края покоряли.

И вдруг такой конец: «Часа через полтора могила была готова. Рабочие подошли к Дерсу и сняли с него рогожку. Прорвавшийся сквозь густую хвою солнечный луч упал на землю и озарил лицо покойного. Оно почти не изменилось. Раскрытые глаза смотрели в небо. Выражение их было такое, как будто Дерсу что-то забыл и теперь силился вспомнить. Рабочие перенесли его в могилу и стали засыпать землёй.

— Прощай, Дерсу! — сказал я тихо. — В лесу ты родился, в лесу и покончил счёты с жизнью».

Первой пришла в себя баба Груня, всхлипнула, по-детски икнула и промолвила:

— Вот ведь везде бандиты найдутся на хорошего человека.

А Николай Большак, который приехал из Покровки за овчинами, да так и застрял из-за книги у Головачёвых, заключил философски:

— Важнее человека и природы в жизни ничего нет. Писатель всё правильно рассказал.

Шурка ничего не мог сказать, у него в горле ком, он боялся разрыдаться. Хорошо, что закуток отгорожен от общей комнаты цветастой занавеской и его никто не видел.

«Ведь неверно, что Дерсу покончил счёты с жизнью. Не он покончил. Его убили. За это кто-то должен отвечать», — эта мысль не давала спокойно лежать. «И как же так в жизни получается? Людей убивают и никто за это не наказан. Пушкина убил Дантес, все знают и он не наказан. Дерсу убили, сколько лет прошло — никто не знает, кто его убил».

Душа у Шурки разрывалась от несправедливости, и он не знал, что с этим делать.

— Я вам другое чтение привёз, тоже очень интересное, как обещал. Но это толстая книга, — громко сказал Большаков.

Он шумно поднялся с пола и пошёл в сени. Оттуда возвратился быстро, читая на ходу:

— Александр Дюма. «Граф Монте Кристо». Эх и история!

— Нам твоя Элиза Ожешко понравилась, хоть и полька.

— А это француз, баб Грунь!

Шурка продолжает лежать молча. Ему кажется странным: как можно так быстро переключаться и разговаривать совсем о другом. Только что ведь все узнали, что убили Дерсу, о котором, правда, ещё недели две назад никто ничего не знал, но теперь-то совсем другое дело. Ему страшно жалко Дерсу, обидно за поведение своих, которые говорят уже не об этой удивительной книге.

Дядька Серёжа и Большак берут стоявшую у стены огромную, в два метра, картину и кладут на специально поставленные столы. Шурке не утерпеть, он встаёт и идёт к ним. На картине развесёлые и разухабистые казаки пишут письмо турецкому султану.

Два Шуркиных дядьки, Алексей и Сергей, вместе с Большаком рисуют её масляными красками по клеточкам. Рядом лежит то, с чего копируют: репродукция, вырезанная из какого-то журнала. Прощлый раз дорисовали голого по пояс казака, развалившегося в центре картины, огромного и мускулистого, похожего на тигра Амбу. Чудно: теперь, когда Шурка смотрел на него, он казался совсем иным, чем в последний раз, ещё не просохший, зависимый от движения кисточки. Чужой и необузданный, жил своей жизнью и она ему была важнее всего.

«Он мог бы убить Дерсу? — задал себе вопрос Шурка и вначале засомневался с ответом, а потом успокоился. — Нет, конечно же, нет: в книжке тигр Амба и Дерсу разошлись мирно, они уважали друг друга».

Изба Горюновых

Совсем маленькие сестрёнки Любка и Надюха ещё спят, а Шурка и Петя уже сидят за столом. Шурка помогает маме раскатывать большую лепёшку из теста, а Петя, испачкавший лицо мукой, готовится выдавливать из неё стаканом крутляшки. Они пекут пышки.

— Мам, а изба Горюновых почему так называется? Она ведь наша. Потому что горюнились часто, горюшко было, да? — спрашивает Шурка.

— Всё было, да прошло. Избу эту нам дед и баба Головачёвы купили. Когда вернувшийся с войны Василий увёл за руку меня в дом к своей матери Прасковье, не понравилось ей это. Много девок было на селе, а он меня с тобой, с чужим ребёнком, привёл. Выговаривала часто мне свекровь. Я плакала, Василий терпел. Просил не обращать внимания. Не выдержал сам: в один день взял тебя на руки, хлопнул дверью и ушёл от матери своей. Я за ним еле успевала бежать. Шли, сами не знали, куда. Опомнились, когда оказались на Самарке, у воды.

— Ну, что, топиться будем? — спрашиваю Васю, а сама сквозь слёзы смеюсь.

И смех, и грех.

— Умру, а к матери не вернусь, — отвечает Василий.

Сели мы на жёлтенький песочек. Я плачу. Чудно теперь вспоминать. Смеркаться начало. Под лодкой какой, что ли, думаю, будем ночевать, больше нигде. А тут ты плачешь, маленький совсем ещё. Вдруг мать моя выходит из кустов:

— Вот они где! А я обыскалась везде, обезножила. — Искомандовала: — Пошли к нам!

— Не пойду, — заерепенился Василий.

— Почему это? — не сдаётся твоя бабка, — я Ивана успокою.

...Приходим в дом, отец во дворе. Увидал нас с Василием, тебя на руках, взорвался:

— Ах, туды-растуды, знал ведь, что ничего не получится!

— Получится, Иван, получится.

Баба Груня выступила вперёд и ещё увереннее заявила:

— Уже получилось!

— Что? — не понял дед Иван.

— А вот то и получилось, что у мужа и жены должно получиться. Беременная она.

— Ну, дела с вами, — удивился дед.

— Я уже Петенькой ходила, — пояснила Катерина, отнимая у Пети стакан, в который он успел зачерпнуть муки и пытался на коленках насыпать маленькие беленькие горки. — Тогда ночью дед Ваня и баба Груня посоветовались, и наутро поехали в Кинель к недавно покинувшему Утёвку Горюновым. Их изба пустовала. Сговорились. Купили у них дом и год за него расплачивались. Так вот мы и зажили в горюновой избе.

Аксюта Васяева

С тех пор, как Василий Фёдорович стал сам ходить на костылях, в избу к Любаевым зачастили. Одному надо ножницы поточить, другому — сепаратор или пахтонку отремонтировать, валенки подшить. На всё хватает времени у Карася, так по-уличному зовут отца Шурки.

— Ты бы, Вася, хоть говорил, сколько стоит чего. А то меня одолевают, — жаловалась Катерина.

— Сами сообразят.

И вправду, за работу приносили яички, молоко, а то и просто обещали «подмогнуть, когда надо».

— И как это он всё умеет? — удивлялась Аксюта Васяева. — Мою пахтонку три мужика смотрели, а он сделал.

Аксюта забежала за углями для утюга, да невольно задержалась — поговорить охота.

— Руки соскучились по делам, вот и вся разгадка. Его теперь не остановить, я знаю. Семь лет в госпиталях — не фунт изюма, — отвечала мать Шурки.

— Неужто прямо все семь лет? — ахнула Аксюта.

Она приехала жить из соседней Покровки и многого не знает.

— Семь лет, но с перерывами, — поправилась Катерина. — За всё время года три пожил дома, приезжал, а как раны открывались — снова в госпиталь. В пятидесятом, помню, чуть не год пробыл.

— Приезжал... — протяжно повторила она, — а то бы откуда моим ребятишкам взяться. Вон они — свидетели мои.

— Туберкулёз костей, а вы такое, — округлила глаза Аксюта, — настрогали с Василием.

Отца нет в избе, он, позавтракав, ушёл в свой сарайчик и оттуда уже слышен стук его неутомимого молотка о жестянку.

Шурка смотрел на Надюху с Петькой, которые были заняты своим делом: отвоёвывали друг у друга место в углу за столом — там лавка шире и рядом окошко, и думал: «Они свидетели, а я — кто? Свидетель чего?»

Эта мысль возникла случайно и он не знал, что с ней делать. Она крутилась и не уходила из головы. Ему стало стыдно. Неужто мама догадается, что он так может думать? «Только бы Аксютка, только бы она так не подумала и не спросила маму, ведь не глупая же совсем». Он поднял голову и увидел розовое, молодое Аксютино лицо, её озорные глаза.

— Ох, и ребятишки у тебя молодцы! Все такие разные! Эти белые, а Шурка — чернявый и волосы вьются. Вот погоди годков десять: все девки твои будут, ей-богу, — говорит она заразительно, — вишь какие у тебя губы толстые!

Шурка, не зная, как себя вести, сидел молча.

— Аксютка, уйди, а то я тебя сейчас ухватом охажу, глупости разводишь, — весело шумнула Шуркина мать.

— Всё-всё, всётышки, и так угли мои тухнут!

Подхватила с шестка свой чумазый чугунок и через секунду была в сенях. А чуть позже её голос уже доносился со двора — она разговаривала с Василием Фёдоровичем. И чему-то опять громко смеялась...

Зимним вечером

У Головачёвых играли в лото. Шурка был рад, что остался ночевать у деда. Ему нравилось смотреть, как играют, а иногда случалось и самому участвовать. Играли спокойно и дружелюбно. За окном синел февральский поздний вечер. Замёрзшие окна и подывывание ветра делали особенно уютной большую переднюю, где шла игра. Игроки сидели за столом посередине комнаты, а Шурка лежал на кровати и наблюдал за взрослой забавой.

Сегодня пришёл Сашка Мазилин и всё стало немножко по-другому. Смешливый и необидчивый, он всегда в центре внимания. Мешочек с бочонками у Мазилина.

— Козьи ноги! — зычно провозглашает Сашка.

— Говори по-людски, — сердится Пупчиха, соседка Головачёвых.

— Одиннадцать, — подсказал дядька Серёжа, оставивший свои учебники ради игры.

— Сашка, ты какой-то неправильный, — паникует Пупчиха, — брось люсить!

— Салазки! — продолжает «кричать» Мазилин.

— А это у нас что? — вновь переспросила суматошно Пупчиха.

— Шестьдесят шесть, — поправился Мазилин и продолжил: — Тудыль-судыль, что означает для неграмотных обнаковенные шестьдесят девять.

— Кончила, кончила низом! — радостно взметнула пухлые белые руки Пупчиха, — кончила, как ты ни хитрил-мудрил, Сашка!

У неё при небольшом росте розовые, массивные, крепкие руки. Когда она сидит за столом, видны только голова, не такая,

как у всех, — с кудряшками светлых, льняных волос. И эти чудные здоровенные руки-клешни. Во время её работы в пивном киоске на площади у продмага в окошечке видны лишь эти её руки и пивные кружки.

— Плакали ваши денежки. — Она по-детски причмокнула ярко-красными губами и ладонью смахнула медяки в кружку. — Ну, вот, пришла за закваской, Груня, а ухожу с пятаками, раз кислого молока нет.

— Э-э-э... Так нечестно, — вмешался Мазилин. — Объявляю ультиматум тебе, Нюра!

— Чевой-то? Ультиматом? Я и так этих матюгов-матов за день слышу — голова болит, пожалей!

— Вот ведь женщина какая ты, Нюра, некультурная, — оседлав своего любимого конька — подурочить публику, сказал наставительно Мазилин. — Я говорю что? Или ты продолжаешь играть до последнева, или возвертай деньги на стол.

— Щас тебе! — лаконично, но непонятно сказала Нюра. И добавила: — Играйте без меня, вас народу здесь... курочке клюннуть негде.

— Да уж! — тянул Мазилин, — чураться ты нас.

— Не балабонь, Сашка, — обронил Шуркин дед.

— Вот-вот, мне ещё закваску найти надо, к Микляевым сбегая.

И Пупчиха выкатилась сначала из-за стола, потом из передней и пропала в задней избе.

«Как лотошный бочонок, — подумал Шурка, — всегда бодрая, раздутая от удовольствия, свежая и выкрашенная лаком».

Игра в лото продолжалась. Позвали и Шурку. Он сел за стол около бабы Груни, пододвинувшей ему десять копеек. Три монетки по три копейки и одну погнутую копеечку, рядом насыпала горсть тыквенных семечек, чтобы закрывать цифры на картах.

— Поиграй вместо меня, — сказала она, — а я пока паголенки* надвяжу да пельмени с мороза принесу.

Семечки пахли очень вкусно и Шурка сразу же забеспокоился: выдержит ли соблазн?

«Кричать» пришла очередь дядьке Серёже. Он умел так быстро из горсти то громко, то тихо называть числа, что трудно было угнаться, пока не наступал по правилам момент, когда надо было доставать по одному бочоночку.

Возобновившаяся игра прервалась неожиданно. Хлопнула в сенях дверь и со сбившимся на голове платком, с краснощёким от мороза лицом вкатилась Пупчиха.

* Паголенки — здесь: верхняя часть вязаного носка.

— А-а!.. — воскликнул Мазилин, — совесть заела, возвернулась!

Но Пупчиха его не слышала и, кажется, не видела.

— Ванечка, — подкатилась она к Шуркиному деду, сидящему за столом спиной к голландке, и заморгала часто своими круглыми глазами, — Ванечка, у меня в доме вор.

— Что городишь-то?

— Правду говорю. Я пришла, а замок на сенцах открыт. Я, это, ну, думала, что забыла закрыть сама, и прошла в сени-то, а дверь в избу приоткрыта. Чую, что-то не то, не могла я дверь-то зимой открытой оставить, верно ведь? А потом вдруг слышу: кто-то дышит там. Я на цыпочках, перепугалась: убить ведь могут... на улицу — и к вам.

— Ну, что, Сашка, — сказал Головачёв очень спокойно, будто это привычное какое дело, — пойдём посмотрим?

Мазилин вначале как-то нервно дёрнулся, а потом чересчур, как показалось Шурке, воинственно выкрикнул:

— Знамо дело, пойдём, ружьецо у тебя где, дядь Вань?

Он обвёл избу решительным взглядом, увидел у себя за спиной высоко на стене висевшее на двух гвоздях ружьё и полез доставать.

— Хошь у меня и ладанка на груди, а так надежнее!

— Да не чуди, хватит и лопаты, — усмехнулся Головачёв.

— Вань, — сказала бабушка, — боюсь я.

И кротко посмотрела на мужа.

— Ничего, будьте дома. И ты, Серёжа, пойдём на всякий случай.

И они ушли.

Вернулись быстро. В плетне, отделявшем двор Головачёвых от Пупковых, была калитка.

— Вот ведь холера какая, сиганул так, чуть кубанку с головы не сшиб, — говорил возбуждённо Мазилин.

— Чего же не стрелял? — насмешливо спросил Шуркин дед.

— Да ведь я хотел, а потом он меня в снег смахнул, в сугроб, пока то да сё, темнотища такая...

Из разговоров выяснилось, что, когда деда Ваня вошёл в сени с лопатой, вор выскользнул в открытую дверь за его спиной — и был таков.

Сели снова играть. Не прошло и полчаса, как неожиданно явился гость — Борька Жабин, новый приятель Серёжи. Он недавно приехал из Зуевки с родителями и начал работать на стройке подсобным.

Раскрасневшийся Борька шумно разулся и подсел к играющим. Это был крепкий парень, широколицый, с тёмными цыганскими глазами. Волосы его, длинные и очень подвижные, лежали на голове ровно. Когда он низко наклонялся, они спадали вниз и закрывали лицо до подбородка. Жабин в такие моменты, привычно и не спеша мотнув, как лошадь, головой, одним движением укладывал их на место.

— Давно играете? — спросил Борька, взмахнув головой, и задержал её в неестественно поднятом положении, стараясь оставить волосы дольше обычного закинутыми назад. Так он выглядел несколько горделивым.

— С семи часов, — ответил дядька Серёжа.

— А сейчас уже девять, — подытожил зачем-то Жабин.

Игра шла своим чередом, а Жабина почему-то тянуло на разговор.

— Мороз-то на дворе какой, — ни к кому не обращаясь конкретно, сказал он.

У Шурки семечки закрыли сразу почти всю карту, близилась развязка и он не отрывал глаз от стола, перестав наблюдать за Жабиным.

Вдруг Мазилин встал и что-то сказал Шуркиному деду шёпотом в ухо, важно изобразив из левой ладони подобие рупора.

Иван Дмитриевич, ни на кого не глядя, кивнул головой. И Мазилин тут же вышел из избы.

Жабин быстро встал и направился к выходу.

— Сядь, — веско, не глядя на Борьку, сказал дед. — Ты никуда не выйдешь, дверь снаружи закрыта на замок.

— С чего это? — нервно спросил Борька.

— Придёт Мазилин, тогда скажем.

...Мазилин вернулся быстро.

— Он это, дядя Вань, он, вот стервец, явился не запылился глаза отводить, дураков нашёл, — зачистил Вень. — Чилижным венником отходить вражину, что ли?

Выдвинув стул на середину избы, поставил на него валенок.

— Аккурат всё подходит, его следы, всё промерил до самых ворот. Твой валенок? — он ткнул указательным пальцем почти в лицо Жабину.

— Ну, мой, — затравленно огрызнулся тот.

— А мне и не надо было вещественных доказательств, я так сразу всё понял, когда явился нас пощупать: узнаем мы тебя или нет. Я в спину твою чуть не пальнул, по ней тебя и узнал.

— Как оказался в доме у Пупчихи? — буднично спросил дед Шурки.

— Да просто, у неё замок никудышный.

— Зачем залез?

Шурка смотрел на вора и ему странно было видеть обычного человека, похожего на всех, но переступившего какую-то очень важную черту, которая враз разделяет людей.

— Дядя Вань, честное слово, я хотел взять только конфеты.

Борис опустил голову, спрятав лицо под свои причудливые волосы. И, чуть помолчав, добавил:

— Шоколадные.

— Вот дурак-то, прости Господи, — выдохнула Шуркина бабушка, — а я ещё дивовалась: чтой-то он нервничает, окаянный. Закалякать хотел нас. Явился, басурман.

— Дядь Вань, отпустите, — совсем по-детски вырвалось у Жабина, — ей-богу, больше не буду.

— Что будем делать, Сашка? — обратился Иван Дмитриевич к Мазилину.

— Утро вечера мудренее, пускай завтра с Пупчихой договариваются полюбовно. Если простит — одно дело, нет — совсем иное, — предложил Мазилин, осанившись и поигрывая плечами.

— Слышал, Борька, пусть будет так. А теперь ступай, — согласился дед.

Жабин вскочил и бросился к выходу.

— Стой, гражданин Жабин! — усмехнулся Мазилин.

— А? — невнятно и растерянно откликнулся Борька.

— Валенок забери, он нам здесь мешает. Зачем нам твои бебехи?

Все засмеялись.

Когда хлопнула дверь в сенях, бабушка осторожно сказала:

— Верно ли сделали, что отпустили на ночь, вдруг спалит нас?

— Это ж надо додуматься — нас всех спалить? — возразил Головачёв. — Будет городить-то!

Королевский суп

У дядьки Серёжи созрела идея попробовать царского, или королевского супа. Как вернулся из армии, всё придумывает чудное.

— Шур, вон видишь на сельнице стаю воробьёв?

Шурка давно заметил: последнее время воробьи тучей стали залетать к ним во двор, сидели и чулюкали на солнышке.

— Давай пальнём разок мелкой дробью.
— Зачем?
— Птица чем мельче, тем вкуснее. Все короли это знали, поэтому ели колибри, бекасов, куликов разных... Смекаешь?
— Не очень.
— Режь свинец, катай самую мелкую дробь. Ясно? На два патрона.
— Что, охоту на воробьёв откроем?
— Так точно, может, они вкуснее голубей.
— Деда не заругает? — засомневался Шурка. — Во дворе палить? Скотина кругом.
— Нет, мы ему объясним потом. А летом черепашьего супа хочу попробовать.
— Чего? — опешил Шурка.
— Ну, в Подстёпном пошарить, а лучше в Ревунах. Найти черепаху и суп сварить.
— Разве у нас живут черепахи? Они же в тёплых странах.
— Глупости, я уже одну находил!
— Может, кто купленную, базарскую потерял или сама сбегала?
— Да нет, люди, как ты, ничего не знают. Живут у нас они. А нынешним летом я, знаешь, что видел?
Шурке давно хотелось увидеть змею-медянку, о ней ходили легенды. Но Серёга удивил ещё больше:
— Я видел птичку колибри, вот! — Он значительно посмотрел на Шурку, как если бы открыл новый Монблан или Эверест.
— Как? Она же в тёплых...
Серёга не дал договорить Шурке.
— Вот-вот, а что мне делать, если я свидетель, как подлетела к цветку, сунула туда клювик и начала пить нектар?
— А может, это большой шмель?
— Нет, какой у шмеля клюв! Ты такое видел?
— Нет, — растерялся Шурка. — Колибри... Но она же маленькая?
— Да, раза в два больше шмеля.
«Ох, и чудной мой дядька, — думал Шурка. — Никогда не знаешь, правду говорит или дурачится, а ещё в институт готовится поступать».

Ответ от Жукова

В начале апреля Василия Любаева вызвали в райвоенкомат, потом в райсобес — и закрутилось колесо! Оказывается, пришла бумага из Москвы и ему срочно надо было явиться на перекомиссию. Он явился, не тянул, и оказалось, что Любаев — инвалид не третьей группы, а второй. И ему положена пенсия участника войны. Это совсем другое дело, не то, что раньше. А ещё через неделю в райсобесе сообщили о компенсации того, что раньше не выплатили.

Шуркин отец получил сразу больше двух тысяч рублей. Было решено строить новый дом!

— Вот и нас Бог вспомнил, — радовалась Катерина, — спасибо Ему!

— Спасибо Зуеву Косте, я бы сроду не решился, — признавался Шуркин отец. — До следующей зимы изба не простояла бы: стена совсем повалилась. Но ничего, будем зимовать в новой!

— Вася, а надо всего сколько — ужас! Где мы чего наберём?

— Я всё продумал. Весной сделаем саман, за лето сложим стены артельно. В лесничестве меня включили в список на вырубку делянки: наберём каких-никаких брёвен на доски для пола и потолка. Там осина и осокорь, я знаю — это за Зимней старицей — сойдёт. На делянке придётся работать тебе, Катерина, и Шурке. Согласны?

— Согласны, — загорелся Шурка.

— Я поговорю, должны же принять в артель замену вместо меня, коли я не могу.

— Согласятся, согласятся, — заторопилась мать. — Отец поможет, правильно?

— С отцом твоим вроде бы мы уже стакались, он во всём обещал подмогу. С начала лета лесины заготовим, высушим, в августе распилим на пилораме, а к этому времени должны убрать развалюху и выложить стены, иначе к зиме не вселимся.

— Убрать? — выдохнул Шурка.

Как ни плоха была стена за печкой, пусть оттуда «сытило», как говорила мама, холодом, но это была изба — оплот всего. И вдруг её не будет?

— А где же мы будем жить? — спросил Шурка.

— Шурка, да ты что? Мы и под открытым небом не пропадём, чего испугался, лето же, — рассмеялся отец.

«Но всё равно? Печка, варить как? И всё прочее...» — соображал на ходу Шурка.

Отец вел свою линию крепко:

— Корову пустим в стадо, освободится мазанка — почистим, поставим примус, и живи хоть до белых мух, верно?

Шурка редко его видел таким. Он и сейчас не был развесёлым, но глаза и лицо светились какой-то особой радостью, не соглашаться с ним нельзя. Шурка давно понял: сопротивляться бесполезно. Отец всё делал по-своему, ибо всегда верил, что прав.

— Ох, развоевались мы что-то, давайте ужинать, а то совсем темнеет, — забеспокоилась Катерина.

— Начнём! Только начать надо, — задумчиво сказал отец, — а там война план покажет. Живы будем — не помрём. Так, Шурка, или нет?

— Так, пап, — подтвердил тот.

— Ну, вот, мать, мы и договорились обо всём, считай, полдела сделали.

— Помогите нам, Пресвятая Богородица, — сказала мать.

И это очень удивило Шурку.

Она так никогда не говорила.

Жаворонки

Шурка проснулся рано. Он не мог долго спать в такой день. Его мама гремит печной заслонкой, собирается печь «жаворонков» — птичек из теста. Бывает это всегда в середине марта и по-разному: можно раскатать тесто, свернув валик, этот валик завязать узлом — получится ловкая завитушка. Точным движением ножа делается с одного конца птичий клювик, с противоположного — хвостик. Глазками служат головки спичек или просяные зернышки. А можно витое тельце не делать, а просто слепить птичку с клювиком и хвостиком.

Таковыми птичками заманивают весну и встречают перелётных птиц с юга:

*Жаворонки, прилетите к нам,
Тёпло леточко принесите нам,
Нам зима надоела —
Хлеб-соль у нас поела.*

Эти слова надо пропеть, обязательно забравшись на конёк сарая — так всегда казалось Шурке. Он и сейчас устремился наверх.

Любка стоит в отцовских валенках посередине двора и лепечет приветливые слова. А самая маленькая Шуркина сестрёнка, Надюха, вообще ещё спит.

— Сами вы — мои жаворонушки звонкие, — радуется мама. — Шурка, не бери Петю, упадёт карапуз.

После песенки про жаворонков, пропетой на крыше сарая, слегка промёрзнув, хорошо сидеть за столом и есть, запивая топлёным молоком, горячие пышки. Их мама делает из того же теста, выдавливая на столе стаканом из большой раскатанной лепешки. Это вам не затируха!

— Мамака, мы зовём, зовём жаворонков, а я не видел ни разочек их, они где живут? — спрашивает Петя.

— Мам, и я не видал ни разу, — спохватывается Шурка.

— А когда ходили к деду на бахчи, помните, слушали, — подсказывает мать.

— Помню, помню, — лепечет Петя, — но мы их не разглядели, они высоко в небе. Вон, ласточки у нас в сарае живут, но не поют. Папа их касатками называет.

Шурка вспомнил про стрижей, живущих в обрывистом берегу Самарки в норах. Там же гнездятся и щурки. Прошлым летом он обнаружил, что залиvistый соловей — на самом деле маленькая серенькая птичка — устроил себе гнездо в куче котяков на задах, за сараем.

— Мам, мы увидим в это лето жаворонков? — не унимается Петя.

— Увидите, увидите, — успокаивает Катерина, — какие ещё ваши годы. Вот подрастёте, побольше будете под открытым небом, на вольном воздухе — и увидите. Жаворонки любят простор, широкое хлебное поле, где много воздуха. Они там от радости звонко и неугомонно поют.

Любка громко и горестно заплакала:

— Моя птичка ко мне не прилетит!

— Почему? — спросила от печки мать.

— Я голову у неё съела, одна тулбище осталась.

Петя, глядя на сестрёнку, захохотал. Перестав смеяться, очень серьёзно заверил:

— Вырастем мы и летом вырвемся на простор! Там жаворонков встретим! Колокольчики послушаем!

Транспорти

— Мать, а мать? — Василий выжидательно замолкает.

Катерина, сидя напротив за столом, весело посмотрела на него:

— Придумал опять что-нибудь?

— Придумал, — не спеша отозвался тот и отчего-то ядрёно крякнул.

— Баню строить?

— Нет, не баню.

— А что?

— Хочу сделать сбрую для нашей коровёнки Жданки — транспорт нужен в хозяйстве, понимаешь? А я только лёжа могу ехать, значит нужен рыдван.

— Если что, можно лошадь взять в колхозе, у отца — Карего, председатель Шульга поможет, — робко возразила Катерина.

— Шульга теперь не поможет, — махнул рукой Василий.

— Почему же?

— Сняли его, другой будет.

— А другие что, не люди? — не сдавалась Катерина.

— Да нет, это не то. Просить надо, а они всегда заняты — лошади. Приноравливаться нужно. А тут сам себе хозяин. Уедем на целый день.

— Жданку жалко, — всхлинула вдруг, как девочка, Катерина.

Шурка притих, наклонив голову над чашкой.

— Да не горюньтесь вы! Всю сбрую сделаю сам. Вместо хомута будет шорка, правда, потника нет, но можно из мешковины. Рыдван раза в полтора будет меньше, колёса лёгкие, металлические. Мне Григорий Зуев обещал раздобыть. Сено и дрова будем возить понемножку. Только в хорошую погоду.

— А вдруг молоко пропадёт? — Шуркина мама горестно вздохнула.

— Будет раньше времени жалковать, не враги же мы себе.

— Мне и тебя, Василий, жалко!

— А что меня жалеть? Гляди!

Он встал из-за стола. Не тронув костыль, вышел на середину комнаты. Повторил:

— Глядите!

Прошёлся по всей комнате, сильно припадая и держа прямыми левую ногу и спину. Подошёл к подоконнику, зацепился за него правой рукой. Весело оглянулся. У Шурки перехватило дыхание.

— Вот вам!

Отец, держа прямо спину и оттопырив резко в сторону левую ногу, медленно начал поджимать правую, пока она не согнулась наполовину. Большим пальцем победно ткнул в пол.

— Видели?

И, не дожидаясь ответа, продолжал:

— Теперь любой гвоздь, любой инструмент могу поднять сам с пола!

Мать подошла и ладонью вытерла выступившие на лбу отца капли пота.

— Если потренируюсь ещё, через пару недель смогу на правое колено вставать. А ходить без костылей — с бадиком. А это знаете, что значит? — И сам же ответил: — Это значит, я смогу пилить дрова, вообще работать на земле, на полу, а не только за верстаком, стоя.

Он помолчал, потом обратился к сыну:

— Шурка, мы скоро будем косить. Я уже продумал, как сделать косу для таких, как я, прямых. Это несложно!

— Несложно, — эхом отозвалась Катерина, — а косить-то как?

— А как все, так и мы!

Он с утра говорил обо всём решительно.

Такой нынче день у Василия Любаева.

Было море

Шуркин школьный учитель по труду Николай Кузьмич утверждает, что там, где расположено село Утёвка, тысячи лет назад было огромное море.

И верно, село лежит в низине, со всех сторон — возвышенности. Шурка верит своему учителю, ему нравится, что живёт он на дне давно исчезнувшего моря. Всё становится намного интереснее, значительнее, когда представишь бескрайнюю морскую гладь и одинокий парус в тумане. Получается, что не обделено историей село. Здесь, наверное, раньше происходили какие-нибудь исторические события. Или хотя бы пираты обитали...

И название села вроде произошло от слова «утки», которых, по преданию, было тьма. Шурка часто думал об этом и у него получилось стихотворение, которое будто он и не писал, а так, само собой вышло:

Кишели утки, было море —
Так к нам в преданиях дошло.
Моря исчезли, на просторе
Моё раскинулось село.
Но и опять же было море
Людских страданий и невзгод:
С людьми сроднившееся горе
Стояло вечно у ворот.*

* Кишеть — шевелиться, копошиться (когда много).

Шурка показал строчки дядьке Серёже. Тот, прочитав, прищурил левый глаз, словно приготовился выстрелить:

- Послушай, ты это не у Некрасова стянул, а?
- Да ты что, там же Утёвка наша!
- Неужели сам?
- Сам.

— Ну, ты, племяш, даёшь! Я тоже стихи сочинял. Помню до сих пор:

*Первый луч, пробиваясь сквозь дымку,
Побежал по воде, по кустам.
Осветил на Лещёвом тропинку
И взметнулся опять к небесам.
Серебрится росой прохлада,
Польхнула заря над водой,
И пастух деревенское стадо,
Матеряся, повёл за собой.*

Называется «Утро в Утёвке». Написал на второй день, как с армии пришёл. Нравится?

Он очень серьёзно посмотрел на Шурку.

- Здорово, только матерные слова мешаются.
- Вот, все чудачки и ты — тоже. Их здесь нет. Это же правда, всё как на самом деле. В жизни матюги есть? Есть. А в стихах моих нет!
- Как же нет, они сразу вспоминаются, когда строчку произносишь.

Серёга обрадовался:

— В этом и фокус, понимаешь? Зато образ сразу встаёт, правда? Я об этом уже думал и читал — образ нужен. Валентина Яковлевна, когда я ей в клубе показал на репетиции ихней стихи, хотела громко. А потом сказала, что во мне крепкий разбойник сидит и впереди у меня большая дорога.

Он доверительно посмотрел на Шурку:

— У меня в армии накопилось стихов целая общая тетрадь. Я не ведаю, что с ними делать. А знаешь, матом легче писать, как по маслу идёт. Легко и даже красиво. И всё на своём месте. У меня столько частушек таких... Если бы со сцены пропел, околели бы все враз. Я их храню ото всех, как динамит. Вдруг пригодятся ша-рахнуть от души по скукотище!

Шурка в смятении. Душа в искусстве искала высокое, а тут Серёжкины рассуждения! Его горячее дыхание, озорство, которое само по себе имело какую-то необъяснимую прелесть. Оно часто сопровождало дядьку.

Серёжа был красив. Красив в любой одежде: грязной, новой, старой. В телогрейке на голое тело выглядел так, что люди, оборачиваясь, смотрели и любовались.

Шурке вспомнилась странная фраза, сказанная дедом Иваном, как это умел делать только он один — вроде бы самому себе, но что бы и окружающие слышали: «Дьявол, красивый! Но — мой сын».

Шурка не понимал слова деда, но от этого не было беспокойства, наоборот: раз он всё видит, значит всему свой черёд. Подобное уже не раз было. Всё встанет на свои места.

Верочка Рогожинская

Её привела на репетицию сама Валентина Яковлевна.

— Вот вам пани Рогожинская, — сказала она.

Потом энергично тряхнула своей кудрявой головой:

— А то у нас пан Ковальский есть, а пани не было. Теперь будет, — сказала, словно поставила точку.

Шурка узнал новенькую, она из параллельного шестого «б» класса. Родители — врачи, недавно приехали работать в районную больницу из города. Он её видел два раза в школе и один раз в библиотеке. Его поразило в ней всё. Но самое главное то, как на него она посмотрела: в упор открытыми глазами, доверчиво, как будто они хорошо знакомы.

— Всё! Я давно хотела поставить «Барышню-крестьянку», но некому было играть Лизу, вот теперь, слава Богу, есть! Молодого Берестова, Алексея, будешь играть ты, Ковальский, Муромского отдадим Игольникову, Ивана Петровича Берестова — Петьке Дёмину. С остальными разберёмся.

— Я никогда не играла в драмкружке, — простодушно сказала Верочка, — вовсе и не смогу, тем более классику.

Она зажмурила свои глаза и как-то очень долго подержала их закрытыми, потом распахнула ресницы и будто увидела всех впервые:

— И вообще боюсь, — без всякого кривляния просто сказала она.

Петька Дёмин хохотнул, но, увидев строгий взгляд Валентины Яковлевны, спрятался за спину Лёшки Игольникова.

— А вот и хорошо, что боишься. Наши-то уже ничего не боятся, в этом всё и дело! Вот вам слова, быстренько переписывайте и учите, на следующей неделе начнём репетицию. Возьмите повесть Пушкина — прочитайте. Я проверю.

Вышли на улицу и получилось так, что Шурке и Верочке по пути — обоим надо в библиотеку.

— А что вы берёте читать? — спросила Шуркина спутница.

— А что дадут.

— Как это?

— Всё, что положено, я уже прочитал, теперь — что положено старшекласникам.

— А «Королеву Марго» читали? У вас тут есть такие книги?

Шурка давно уже прочёл всего Дюма, но не стал говорить об этом, не хотелось, чтобы она подумала, будто он хвастлив.

— Да.

— А можно нескромный вопрос?

— Можно, — охотно согласился он.

— А почему у тебя фамилия нездешняя?

Она легко перешла на «ты».

— И у тебя — тоже.

— Я — это другое дело.

— Какое другое?

— Я приезжая, а ты?

— Я здесь родился, разве это плохо?

— Нет, — сказала она и немножко помолчала, — я — о другом. Ну, не хочешь об этом, не говори.

Ещё раз посмотрела на него в упор, внезапно засмеялась и произнесла, скорее, видимо, для того, чтобы только не молчать, так ему показалось:

— Мне сказали, что ты — круглый отличник, да?

— Да.

— Но отличников везде не любят, так ведь и у вас в школе?

— У нас по-всякому, я тоже отличников не люблю.

— А сам?

— У меня просто так получается, я не умею зубрить.

Она взглянула на него внимательно:

— Воображаешь?

— Нет, — сказал Шурка и ему стало неловко.

Получалось всё-таки, что он хвастался для чего-то, а ему этого и не надо было. Просто хотелось с ней говорить. Нравилось, как она смотрела, не стесняясь, и как улыбалась сама себе.

Когда пришли в библиотеку, он намеренно отошёл от Верочки к дальней полке. Ему не хотелось, чтобы кто-то видел, как она на него смотрит. Был уверен: так смотрит она только на него...

Чужаки

В окрестностях Утёвки, Зуевки, Кулешовки обнаружили нефть. Заработали скважины. Поползли слухи, что на месте Утёвки или вблизи будут строить город нефтяников.

— Беда-то какая, — крестилась Шуркина бабушка на образа.

— Будет тебе, никакой беды, — успокаивал её Фёдор Остроухов.

— Народу нагонят, вот и беда. Где в одном месте народу много, тесно, там всегда беспорядок, — не сдавалась та. — Избу не закрывала на замок, теперь придётся.

...Она оказалась и на этот раз права.

Расположившиеся в посёлке Ветлянка молодые бойкие нефтяники стали наезжать в Утёвку по вечерам на танцы. Часто это кончалось дракой. Свидетелем одной такой схватки оказался и Шурка.

Выходя после репетиции из клуба, он увидел, как красивый, спортивного вида парень спокойно стоит у крыльца и курит. Чужак миролюбиво поглядывал на проходивших и весь его вид показывал, что он не желает никому зла. И тут невесть откуда появился маленький вёрткий Гнедыш и, резко подпрыгнув, сорвал с незнакомца модную фуражку. Ловко держа её за козырёк, сильно запустил над головой, и она, описав большую дугу, улетела за дровяной сарай. Чужак не побежал за ней. Резко шагнул в сторону налётчика и наступил ему на ботинок. Тот, пытаясь вывернуться, тащил ногу к себе.

— Принесёшь кепку — отпущу, — сказал чужак.

— Больно, пусти! — неестественно громко закричал Гнедыш.

И это прозвучало как сигнал. Из-за дровяного склада вышли больше двух десятков сельских ребят, вооружённых кольями. Выстроились узким коридором, куда должны были попасть все выходящие из клуба. В приготовленном сценарии было всё предусмотрено.

Танцы закончились, народ хлынул, и приезжие оказались встреченными во всеоружии. Но не тут-то было. Чужаки были опытными бойцами. Прямо у входа начинался деревянный забор из штакетника длиной метров тридцать. Через считанные минуты забор исчез. Мгновенно оценив ситуацию, чужаки метнулись к нему — штакетины попали в ловкие и крепкие руки. Рукопашная, сопровождаемая треском деревянного оружия и резкими криками, развернулась вначале у клуба, затем нефтяники стали отсту-

пать по улице к своему автобусу, но без паники и как-то, удивительно для Шурки, организованно. Похоже, что они оборонялись так не впервые...

Три последующих дня угрюмый Коныч со своим родственником восстанавливали ограду.

— Они девок делят, а я без работы не останусь, — говорил он.

Эта история имела своё продолжение. Мать послала Шурку за постным маслом в магазин. На дворе стояла теплынь. Была Пасха. В проулке, около Ваньковых, взрослые ребята играли в орлянку, туда Шурка не стал заходить. Посмотрел со стороны на нарядную пёструю толпу и пошёл дальше. Не то чтобы ему было неинтересно, просто торопился. Но вот мимо двора Ракчевых пройти не мог. Этот двор, весь освещенный солнцем, сухой и приветливый, встретил Шурку разноголосицей большой ватаги ребятишек и парней.

Около старой травокоски, вросшей колёсами в землю, на ровной площадке стояли три гири. Валерка Салтыня, сняв белую рубашку, подошёл к самой большой — в два пуда. Поплевал на ладони. Не спеша поиграв растопыренными пальцами, резко рванул железное чудовище на себя и гиря оказалась у него на плече. И тут произошло самое главное: выбросив левую руку горизонтально вбок, правой Салтыня не спеша, монотонно и спокойно, как какая-то очень крепкая машина, выжал вес подряд три раза. Все ахнули.

Шурке захотелось подойти и попробовать поднять полупудовую гирю, но почему-то медлил. Его опередил Мишка Лашманкин. Взял «полпудник», подкинул вверх и, ловко крутанув, на лету поймал за ручку.

Шурка опешил. Он не ожидал от Мишки такой ловкости и уверенности.

На другом краю двора — свой интерес. Здесь чокались: крашеными луковой шелухой или чернилами пасхальными яйцами играли в азартную игру. Били тупым или острым, как сговорились, концом яйца соперника. Если твоё целое — ты выиграл.

Тут-то Шурка и пожалел, что не захватил с собой из дома писанку — крашеное на особинку яйцо. На него бы точно выменял три, а может, и больше, яйца, на выбор. И сыграл бы.

У всех обычные пасхальные яйца: крашенки. А писанки готовили по-иному: прежде, чем яйцо опустить в чернильный или луковый раствор, его причудливо расписывали воском на свой вкус и лад. Для этого пользовались гусиным пером. Обрезав самый кончик, набирали туда плавленый горячий воск и быстро

выдавливали на яйцо. Воск застывал. Яйцо с рисунком бросали в красящий раствор, когда воск исчезал, на его месте на скорлупе возникал рисунок. Такое пасхальное яйцо ценилось вдвойне.

Только Шурка решился раздобыть яйцо, чтобы попробовать сыграть, как во двор вошёл Валька Рязанов. Шурка тронул его за рукав:

— Валь, ты что так вырядился? — и показал пальцем на тёмно-синие галифе приятеля. Дедовы, что ли? — Помереть же можно со смеху, все в шароварах уже, тепло как!

— Пойдём в огород, за сарай, объясню.

За укрытием Валька запустил руку в штанину и вынул огромный старинный револьвер.

— Во, смотри!

— Вот это да! — только и выдохнул Шурка, — откуда это у тебя?

— Понимаешь, дед умер в прошлом году. Он когда-то богатым был. Пряжи делал, всякие вещи из дерева, даже деревянный велосипед. В этом году стали печь ломать, разобрали когда, смотрю — тайник в подполье. Ткнулся: ящик со старыми деньгами и вот он.

— Что теперь с ним делать?

— Не знаю, поносить охота с собой. У него пружина очень тугая или заржавела. Не осиливаю курок одним пальцем спускать. Надо разбирать и смазывать.

Шурка смотрел на покрашенный светлой краской с костяной ручкой револьвер и не мог отвести глаз. Вид настоящего, возможно, уже побывавшего когда-то в деле оружия завораживал.

— Сань, может, из такого в Пушкина стрелял Дантес, а?

— Отец знает про пистолет? — побеспокоился Шурка.

— Нет, я только деньги всем показал.

— А патроны?

— Вот! — Валька протянул на ладони пять штук.

Шурка взял один. Гильза длиной сантиметра два, сама пуля, неприятно тупорылая, оказалась короткой — примерно в один сантиметр.

— Тяжёлое всё какое, — подытожил Шурка.

— Вот поэтому я в галифе. Шаровары спадают от него. Резинка не держит. У меня Генка Афанасьев очень его просит.

— Зачем? — удивился Шурка.

— Да, говорит, попугать, когда надо, чужаков с Ветлянки, а то везде свои порядки устраивают.

— Эх, — спохватился Шурка, — меня же мама в магазин послала.

— Ну, иди, — деловито сказал Валька, — потом обсудим, как быть.

За воротами, около палисадника, Шурка увидел Димку Чураева. Вывернув оба кармана брюк, он стоял на солнышке, похожий в этой позе на странную птицу.

— Дим, ты чего? — удивился Шурка.

— Да, дурак Антон со своими дружками, я их обыграл: накокал больше десятка, все их крашенки у меня по карманам, а они догнали, когда уходил, и хлопнули по ним, а там — всмятку какие были, одно — яйцо-болтун. Кишмиш устроили, сохну теперь.

Он шмыгнул носом и безбоязненно пообещал:

— Я им казнь придумал. Попомнят у меня!

...Шурка уже купил масло, когда вошли в магазин трое приезжих парней. В первом он узнал того красивого спортивного чужака, на которого налетел Гнедыш.

— Толик, — обращаясь к нему, сказал тот, что шёл за ним, — давай побыстрее, а то нас тут заловят. По-моему, я одного видел из тех.

— Сейчас «Беломор» купим и поедем. Ладно гиль* нести.

Направляясь в книжный магазин, Шурка увидел Генку Афанасьева, в стычке у клуба возглавлявшего нападающих. Тот метнулся в сторону мастерских.

«Засёк, — отметил Шурка. — Что же будет? Этот Генка настырный».

...Когда Шурка вышел из книжного магазина, всё уже свершилось. Генка Афанасьев лежал на весенней земле. Из левого виска сочилась кровь. Он был мёртв.

Стоявшая у пивного киоска Пупчиха, всхлипывая, говорила:

— Наши-то, дураки, впятером окружили их и давай воротники на рубахах им рвать, а Толик-то ихний, мне всё слышать из окошка, и говорит: «Что, слабо один на один? Впятером либо всей деревней только смелые, да?» Так, вот, они подёргались и решили по-честному. Один на один. Толик и Афанасьев, значит. Афанасьев первый ударил, да так, что энто самый Толик загнулся крючком весь. А потом вдруг и непонятно мне, как, красавчик этот мотнул рукой — и наш — на карачках, то ли споткнулся, то ли как? В горячках Толик ударил его ногой и попал сапогом прямо в висок. Нет Генки теперь.

Прибежал милиционер Вася Берлин, за ним появились ещё два молодых незнакомых сержанта. Никто из участников стычки и не собирался убежать. Всех потрясла неожиданная смерть.

* Гиль — чепуха.

Толик сидел на пороге магазина, обхватив голову руками. Пальцы рук его вцепились в лихой чёрный чуб.

Пупчиха плакала. Не стирая слёз с красных пухлых щёк, проговорила нараспев, глотая слова:

— Обо-иих ведь жа-ал-ка, оба ду-раки. Одно-му-у-то всё едина теперича, а эттому Толику вся жизнь, как в про-оо-пасть, а... а... тюрьма...

...Вскоре в Утёвке начали поговаривать, что первый секретарь райкома Бурцев сильно против того, чтобы город нефтяников строили около села. Он опасался и за село, и за Самарку, поэтому вроде бы идут споры. А потом разнеслась новая весть: знаменитый начальник нефтяников Муравленко, которого никто в селе никогда не видел, поддержал Бурцева. Решено город, названный Нефтегорском, строить в степи, около посёлка Ветлянка, далеко от Утёвки.

— Слава тебе, Господи, — отозвалась на это бабка Груня. — Бог миловал!

И перекрестилась.

В Лаптаевом переулке

Только-только Шурка пришёл из школы, хлопнула калитка и вошёл Андрей Плаксин:

— Шурк, в лапту пойдём играть?

— Ага, а кто будет?

— Да Чугунок, Микляй, Валька Беспёрстова, ещё там пацаны наши. Всех соберём, кого надо.

Едва появлялись долгожданные подсыхающие поляны, ребятню неудержимо тянуло в Лаптаев переулок играть в разные игры.

Хозяев крайнего дома в переулке Климановых давно уже зовут по-уличному — Лаптаевы. Их пятистенник, открытый окошками с резными ставнями на большую поляну, — давний свидетель ребячьих забав. Частенько стайка ребятишек прибивалась к Лаптаеву палисаднику и гомонила там в своих заботах. В такие моменты дядя Коля степенно выходил из дома, неспешно и незлобно кшикал, как на кур, отгоняя их вновь на поляну.

— А я сегодня хотел доделать свою клюшку, — спохватился Шурка.

— Новую чекмару? — спросил Андрей.

Ему больше нравилось такое название клюшки.

— Конечно, вчера с дедом были на Подстёпном, там, знаешь, где большая поляна чилиги, их полно. Я и вырезал две чекмары.

— Вязовые? — деловито переспросил Андрей.

— Нет, из нектенника.

— Покажи, а?

Шурка пошёл в сени и вынес полутораметровой длины палку, прихотливо изогнутую снизу. Такая палка и была всегда предметом зависти всякого игрока. Она служила для того, чтобы гонять по траве или по льду шашку — кусок крепкого дерева или другого материала. Часто — консервную банку.

У Андрея загорелись глаза:

— Эх, ты, а я ещё не успел сделать. Давай завтра сходим вместе?

— На, это тебе, — Шурка протянул клюшку Андрею.

— Ты что, Шурк? — выдохнул тот, — да у меня такой сроду не было! Такой удобной чекмары я ни разу не видел ни у кого.

Он ошалело крутил в руках подарок.

— Ты же себе это смастерил?

Шурка молча пошёл вновь в сени и вернулся с клюшкой, похожей на ту, что отдал приятелю.

— Это будет моя.

Андрей был сражён.

— Эх, ты! — сказал он. Эта короткая фраза вобрала в себя всё: и восхищение, и благодарность, и многое-многое другое, что Андрей, очевидно, чувствовал, но не имел понятия, как всё называть. И зачем ему это знать?

Вот есть друг, есть тёплый весенний воздух, пахнущий талой водой. Подогрета ласковым солнцем земля, кое-где уже пробитая зеленью. И есть ещё после школы целая половина дня. Что ещё надо?

На Андрея напала жажда деятельности.

— Давай всё для чекмары сделаем, а завтра сыграем.

— Давай, — согласился Шурка, — и начнём с шашек.

Шурка сбегал на зады. Принёс крепкий, толщиной в руку, обрубок татарского клёна, и они поперечной пилой отпилили три шашки. Андрей тут же во дворе попробовал шашку и клюшку в деле, погоняв по земле, а затем, с силой запустив шашкой в деревянные ворота. И остался очень довольным. Яркий, с вельможной походкой соседский петух после удара Андрея панически, растеряв всю свою величавость, совсем по-дворовому перескочил через плетень — и был таков.

— Правильно, нечего на чужом дворе делать, совсем задолбил нашего, — подытожил Шурка.

Вооружившись лопатой, они пошли на Лаптаеву поляну. Поляна была уже почти сухая. Только у плетней, у кучи берёзовых брёвен лежал ноздреватый снег, покрытый сверху слоем грязи.

Быстро отыскивали ровное местечко. Андрей начал копать котёл — центровую лунку величиной не более обычного ведра. Затем надо было ровно по кругу расположить пять-шесть лунок.

Андрей присел на корточки в котле и, выставив перед собой на вытянутых руках чекмару, скомандовал:

— Крути!

Придерживая конец клюшки, Шурка прошёлся по кругу, оставляя за собой протопанную дорожку в прогретой майским солнцем земле.

По этой окружности и выкопали лунки размером немного поменьше центровой.

Игра состояла в следующем. Игроков должно быть на одного больше, нежели количество лунок, не считая котла. Цель игрока, остающегося после того, как поконаются, без лунки, занять её. Он начинал «маяться»: пытался клюшкой послать шашку в котёл. Если она достигала цели, то игроки обязаны мгновенно меняться местами (конец клюшки-чекмары должен торчать в лунке). При этом захвате мест тот, кто «маялся», мог занять любую лунку, естественно, кто-то оставался без неё и оказывался в роли «мающегося». Сложность в том, что стоявшие по кругу отбивали шашку как можно дальше, не подпуская к котлу, и за ней приходилось бегать. К тому же, ловкий игрок, который «маялся», мог просто, без попадания шашкой в котёл, занять лунку. Это случалось тогда, когда он, лавируя корпусом и ведя шашку к центру, вынуждал одного из игроков замахиваться клюшкой. В это время оставшийся без хозяина лунку мгновенно занимал сам, ткнув туда свою чекмару.

Андрей, приплясывая, утоптал игровой круг. Взял клюшку, ловко пульнул шашку в котёл и остался доволен:

— Чугунка до слёз замаем завтра!

Шурка представил, как будет «маяться» хитрый, находчивый Чугунок, которого с четвёртого класса зовут так потому, что он в тетрадке нарочно, для смеха, написал вместо «чугун» — «чгун», а вместо «кастрюля» — «кастура», и ему стало заранее весело.

«Чугунок ведь не заплачет, а, наоборот, всех насмешит только», — хотел сказать Шурка, но почему-то промолчал. Наверное, оттого, что не хотелось возражать деловому Андрею.

«Под синей юбочкой»

Саман для новой избы решили делать на выгоне, за колхозным общим двором. Дядя Федя Остроухов, копнув лопатой, долго и серьёзно рассматривал серенькие кусочки земли на ладони, а Шуркин дед сказал:

— Чего её изучать-то, вон сколько вокруг изб уж который год стоят. Мерекаешь попусту.

— Оно, конечно, может, и так, но всё-таки... — держал свой фасон Остроухов.

Едва вскрыли круг, приехал верхом на колхозном знакомом мерине дядька Сергей и привёл с собой ещё одну буланую кобылу. Их пустили мять эту большую лепёшку.

Воду возили из Приказного.

На трёх подводах Шурка, Андрей и Валька Рязанов с грохотом порожняком мчались к озеру и лихо въезжали в воду, а там весёлая Аксюта и ещё незнакомая одна девка, войдя по колено в воду прямо в платьях, под июньским ласковым солнцем наливали её в бочки. Перед тем, как выезжать на берег, Шурка накрывал мокрой мешковиной горловину бочки, чтобы вода не плескалась. И каждый раз чудно было видеть, как в бочке глупо смотрели на него крупные головастики.

А на выгоне своя работа. Как только Шурка подъезжал, мужики, сунув вагу в горловину бочки, разворачивали её и через несколько минут можно было опять мчаться к озеру.

В одну из ездов с Шуркой случилась авария. На самом конце улицы, когда он гнал рысью Карего, около палисадника из-под лавочки ветром выдуло газету, которая, разворачиваясь, поползла к дороге. Шурка стоял сзади бочки, левой рукой держась за отверстие в ней, чтобы она, пустая, не играла на дрожках.

В следующее мгновение, скосив дико правым глазом на газету, большим белым чудищем, похожим на черепаху, двигавшуюся на него, Карий резко прыгнул влево. Шурку вместе с бочкой снесло на землю. Бочка, громыхая, покатилась к палисаднику, а Шурка упал рядом со злополучной газетой. Какое-то мгновение был провал в сознании. Когда же вскочил, ног будто не было. Он вновь оказался на земле. «Отнялись», — со страхом пронеслось в голове. Карий стоял метрах в двадцати и смотрел на него. Левая рука лежала на газете. Шурка провёл ею по странице, она выпрямилась и он прочёл: «Волжская коммуна». «Деда всегда её читает», — подумал Ковальский и вяло перевернулся с живота на бок.

А к нему уже бежали люди. Помогли подняться, посадили на лавку. Пока подводили Карего, водружали бочку на дрожки, у Шурки боль прошла. Он встал с лавки, оттолкнулся от ограды и пошёл к повозке.

— Матери скажи, что ушибся, ездук, — сказала вслед хозяйка дома.

— Ладно, — неопределённо отозвался Шурка, погоняя Карего.

Въезжая в воду, к ожидавшим его девкам, он уже не думал о случившемся.

Саман смяли и начали выкладывать чуть поодаль на ровном месте. На жести заполняли им большие формовочные станки, уминали ногами. Волоком их тащили в сторону. Затем поднимали, а кирпичи оставляли сохнуть.

...На второй день помочей, вечером, когда закончили с саманом, помогавшие гуляли у Любаевых во дворе. Шурку посадили наравне со всеми за стол на лавку, вернее — на доску, положенную концами на табуретки. Мать суетилась с закуской.

Пили «Под синей юбочкой» — так называли денатурат за его цвет. Его жаловали и женщины. Самогонки не было — боялись гнать. Остроухову принесли гармонь, а у Василия Любаева — балалайка. Они сели в торце длинного стола, на виду у всех.

После того, как выпили, заиграли подгорную. Задвигали лавками-досками. Дошла очередь и до Аксюты Васяевой. Она выплыла в круг и неожиданно красивым, сильным голосом озорно пропела:

*Повели меня на суд,
А я вся трясуся.
Присудили сто яиц,
А я не несуся!*

— Вот баба, — восхищённо сказал захмелевший дед Проняй, — кого хочешь в косые лапти обует.

— Да, ладно, она, по-моему, ещё не перебабилась, — непонятно возразил его сосед.

Шурка невольно слышит разговор.

— Ловко про яйца, — тянул своё Проняй, — моя тоже ещё только двадцать штук сдала, молока тридцать литров ещё надо отнести. А где брать-то? Дела...

— Где-где, — возражал сосед — дальний родственник Синегубого, — вон Шуркина мать выкручивается, Василий подшивает валенки, а она покупает масло, молоко и сдаёт. От налога куда?.. Шурка, тебе мать когда-нибудь масло мазала на хлеб?

— Нет, — сказал Шурка, — у нас масла не бывает, хлеб с молоком едим.

— Вот видишь, откель масло брать? С моими глазами только валенки и подшивать, — не сдавался Проняй.

Шурка, глядя на пляшущих в кругу, думал: «И почему все люди делятся на русских, украинцев, поляков, турок и других? Нельзя ли так, чтобы все были одинаковой национальности? Все были бы равными. И веселились, как сейчас». Об этом он сказал дядьке Серёже.

— Ага, — подхватил Серёга, — и все одного цвета бы: негры, цыгане, папуасы, англичане — все белые, нет, все чёрненькие, ага? И все на одно лицо. Мировая скукота.

— Да ну тебя, я серьёзно.

Запели «Катюшу». Шурке подумалось, что эта песня про его мать. Только в жизни всё сложнее и тяжелее, чем в этой красивой песне. Для того и песня, чтобы легче жилось.

Шуркина мать, Катерина, когда пели эту песню, никогда не подпевала, всегда только слушала, глядя кротко и ясно перед собой.

...На Шурку навалилась вялость. До этого зазвенело в голове, хотя, разумеется, спиртного не пил. Он встал и пошёл спать к деду в мазанку. Мать только и успела сказать вслед:

— Шура, ночевать приходи домой.

— Ладно, мам.

А Аксюта всё веселилась: «За мной мальчик не гонись — у меня есть другой», — слышался её разудалый говорок.

...Шурка проснулся и сразу понял, что уже поздно: в маленьком оконце света не было. Вспомнил, что обещал ночевать дома и заторопился. В избе деда все уже спали. Со стороны клуба, который находился метрах в двухстах, доносилась музыка. «Раз танцы не кончились, значит двенадцати нет», — определил Шурка. Легонько стукнув калиткой, пошёл по задам — так короче, метров триста. Шурка не прошёл и половину пути, ноги подкосились, как тогда, днём, после падения с дрожек.

Вначале он ничего не понял, сгоряча попытался вскочить, но вновь оказался на пыльной дорожке. Обожгла мысль: «Кто-нибудь поедет и задавит, как кутёнка. Надо отползти в сторону». Отполз ближе к плетню и тогда только ужаснулся: а если это навсегда? Мать умрёт с горя, ей и с отцом нелегко: она его каждый день обувает и брюки помогает надеть. Правда, в последнее время брюки он начал учиться надевать сам с помощью своего бадика.

«Карий, Карий, какой же ты дурак!» — с горечью подумал Шурка. Под локтем оказалась кучка травы. Он подмял её под себя, стало удобнее. Боли почти не было, жгло ушибленный локоть, где слезла кожа. И саднило в пояснице, но терпимо. Повернулся на спину. Широко распахнувшись, на него смотрело небо. Звёзды, крупные и мелкие, рассыпавшись во все стороны, светились ясно. Под этим бездонным взглядом он не почувствовал себя маленьким и убогим, а принял чистый тёплый взгляд и удивился тому, как стало вдруг спокойно, а возросшая уверенность в себе уже толкала делать что-то энергичное и нужное.

«Неужели там, над нами, действительно кто-то есть, раз происходит во мне такое, о чём никому не расскажешь?..»

Шурка лежал под открытым небом. Большая Медведица, чудно наклонив свой ковш, висела, как на большом гвозде.

Он почувствовал, как сильно всех любит: маму, бабушку, деда... обоих своих отцов, который есть и которого никогда не видел. Вообще всё вокруг любит...

Замелькали летучие мыши. Пролетела, таинственно прошестев крыльями, сова.

«Танцы кончатся, ребята направятся домой. Может, кто пойдёт задами и меня заметят».

В куче брёвен, когда он заглянул за большой берёзовый комель, замерцало расплывчатое пятно. «Гнилушки светятся», — отметил про себя Шурка. Он знал, что, как ни катай гнилушку на ладони, в кулаке, она светит, но не греет. Но сейчас ему казалось, что это светлое пятно из гнилушек, так же, как и далёкие звёзды, гонит к нему тёплый и ласковый поток. Шурка ещё больше успокоился. Он вспомнил, как однажды бабушка Груня сказала ему: «Все мы под Богом ходим. За твоей спиной ангел большекрылый. Если будешь стараться делать добрые дела, он тебя не оставит в беде. Он — твоя опора».

Шурка тогда не удивился словам бабушки. Он и вправду иногда сильно чувствовал огромную добрую силу, идущую издалека к нему. Чаще всего это случалось, когда оставался один под открытым небом: в поле, в небольшом лесу, на Самарке у воды. Но это шло, как ему казалось, не от неба, это было земное. Сила шла, как он однажды подумал и удивился своей догадке, — от отца Станислава, из его далёкого далёка. Свет поддержки и надежды шёл незримо, но властно и побуждающе. Он так себя заставил думать или это так и было — уже нельзя определить. Но то не был самообман. Может быть, врождённая жажда жизни? Ему сейчас показалось, что этот

луч поддержки накрепко соединил его с отцом. «Но ведь земля круглая, значит луч от Варшавы до Утёвки, до меня, должен быть в виде дуги, — подумал он и спохватился. — Почему я думаю так, это же, наверное, бред у меня, теряю сознание. Так ведь не думают».

Музыка прекратилась. Через некоторое время послышались громкие голоса на улице, но все проходили мимо. По задам никто не шёл. Кричать, звать о помощи Шурка стыдился и, перевалившись через левый бок на живот, пополз. Оставалось до дома метров тридцать, когда впереди замелькал слабый огонёк. «Кто-то с фонариком», — догадался Шурка.

— Эй, — негромко позвал он.

Невысокого роста человек остановился.

— Кто там?

Перед Шуркой стоял Мишка Лашманкин, его давний неприятель.

— Коваль, что с тобой? Ты пьяный, что ли? — хохотнул было Мишка. — С ногами что-то.

Лашманкин подошёл ближе.

— Ты же весь в пыли, ты чего?

— Говорю: ноги отнялись.

Мишка перевернул Шурку на спину, взял под мышки и подтянул к плетню.

— Ты как на задах в эту пору оказался? — спросил Шурка.

— Да это, лампочка увеличителя перегорела. Мы с братаном фотки печатаем, ну, я бегал к дядьке, на обратном пути, дай, думаю, срежу.

Попробую тебя понести. Вот шалыга какая!

Кое-как приподняв Шурку у плетня, он подлез под него и, взвалив на спину, покачиваясь, понёс.

— Давай в наш сарай, — попросил Шурка.

— Ты что? Мать заругает тебя?

— Нет, — проговорил Шурка, — она думает, что я у деда.

— А может, в больницу?

— Не надо, днём так же было. Потом отпустило. Это от падения. Отосплюсь — всё пройдёт.

— Эх ты, а вдруг нет? — засомневался Мишка.

— Давай в сарай!

Когда Шурка улёгся на спину на кучке свежей травы, он сказал:

— Мать встанет корову сгонять в стадо в четыре утра, она меня и обнаружит. Если всё нормально, то — порядок. Если не обнаружит, придёшь в шесть часов ко мне. Проснёшься?

— Проснусь, — заверил Мишка.

...Шурка спал глубоко, без сновидений и проснулся в восемь часов. Едва открыл глаза, увидел Мишку сидящим около на старом тазике.

— Ты чего сидишь?

— Будить тебя жалко.

...Шурка поднялся и, как будто ничего не было, спокойно прошёлся.

— Молодец, — обрадовался Мишка, — а то я вчера испугался.

— Я — тоже, — признался Шурка.

У Лопушного озера

— Завтра Жданку не гоняй в стадо, — сказал вечером Катерине Василий, — поедем в Угол косить траву.

— Ладно, — покорно согласилась мать.

Она уже поняла: спорить бесполезно. Прошёл месяц после того, первого разговора, когда было решено делать упряжь для коровы. И вот всё готово: лёгонькая рыдванка с железными колесами, с проволочными реденькими рёбрами вместо деревянных стоит посреди двора. Готова и шорка вместо хомута, лёгкая оброть и всё остальное.

Отец вывел с денника Жданку и стал подводить к рыдвану. Корова долго не понимала, чего от неё хотят. Смотрела своими большими тёмными красивыми глазами и недоумевала.

Наконец-то шорка — на шее, тонкая самодельная верёвка вместо вожжей, привязана.

— Ну-ка, Шурка, отвори ворота.

И уж было совсем всё пошло, как надо, да мать Шурки немного подпортила момент:

— Вась, а если обидится и перестанет молоко давать?

— А куда она денется?

— Ну, пропадёт молоко, так бывает!

— Опять ты за своё!

Катерина отошла в сторону. Потом вновь приблизилась и виновато попросила:

— Вась, ты на неё не кричи, если что не так.

— Катя, я ж обещал тебе, — отец повёл Жданку со двора.

Он явно бодрлся.

Рыдванка на удивление пошла ходко. Выезд на улицу был под горку. Лицо Василия светилось радостной улыбкой. Смазанные

обильно дёгтем новенькие оси и колёса хотя и поскрипывали, но как-то в лад и бодро. Шурка немного успокоился и за Жданку, и за мать.

У ворот отец положил в рыдванку старую фуфайку, чтобы можно было лежать, привязал косу и они отправились в путь. Лагунок с дёгтем, как маятник, закачался на задке рыдвана. Договорились, что садиться никто не будет, только отец, когда совсем устанет, ляжет в рыдван — сидеть ему никак нельзя.

Мать даже сумку с едой не положила:

— Вась, сама понесу, ей-богу, не тяжело.

Шурка приготовился подталкивать повозку сзади так, чтобы не увидел отец.

Он знал дорогу на Лопушное до каждого поворота, до каждой кочки. Шагая за повозкой, Шурка пояснял:

— Мам, нам надо проехать туда почти три километра. Не бойся — половина дороги жёсткая и под уклон, и только у старицы начнётся песок.

— Я и не боюсь.

— А можно не по дороге, не по песку ехать, а по траве, вдоль, — говорил Шурка.

— Так и сделаем, но я опасуюсь другого.

— Чего, мам?

— Корова страшно боится шершней. Слепни ещё так-сяк, а шершни... С ней сразу могут случиться бызыки, бзик. Что тогда делать? Бздырит, не остановишь.

— А что? — не поняв, переспросил Шурка.

— Может либо рыдванку с отцом разнести, либо себе что поломать.

...Повозка двигалась медленно, отцу было трудно идти, но он не ложился в рыдванку. Прямая нога его почти волочилась. А Шурка шёл легко. На босых ногах — сандайки, которые ему сделал дед прямо при нём три дня назад. Он взял Шуркину ногу, приставил к ступне колодку, померил и тут же сапожным ножом на пороге вырезал из куска толстой кожи две подошвы.

По шаблону выкроил верх из кожи потоньше и прошил сыромятным узким ремешком. Получилась жёлтая ровная окантовка. Потом пошарил в своём удивительном ящике, где всегда находилось всё, что нужно, и извлёк оттуда, как волшебник, две красивые металлические застёжки.

— Тебе берёг, нравятся?

— Конечно, лучше не бывает, — радовался Шурка.

Дед хотел ещё натереть сандальки ваксой, но Шурка отказался: «Потом, деда!» Обувка получилась лёгкая, мягкая, и теперь, шагая по нагретой летним солнцем дороге, увязая по щиколотки в горячей серой пыли, он не знал забот. Дедовыми умными руками сверху сандалий и по бокам были сделаны дырочки и пыль не задерживалась в них.

За мостом съехали благополучно с горы. Отец лёг в рыдван. На удивление, Жданка не воспротивилась. Только вначале не поняла, как идти: Василий стал управлять вожжами.

Мать, взяв за оброть, всё поправила и пошла рядом.

Шурка шёл сзади один. Они приблизились к Самарке, и песчаная дорога утяжелила ход повозки. Металлические колёса, за которыми ревностно следил Шурка, когда рыдван съезжал с обочины на песок, вязли. Шурка, упираясь в заднюю стойку, что есть мочи толкал повозку.

Остро пахло прокалённым солнцем песком, в воздухе, казалось, не было ни единого движения, которое хоть как-нибудь пригнало бы прохладу. И только знакомые осины, стоявшие на обочине, шевелили чуткими листочками.

Шурка знал, что надо потерпеть: ещё один поворот — и дорога изменится. Это случится сразу за сухим вязом, в дупле которого обитает, об этом знает только Шурка, угод, а по-простому — петушок. Такой смешной, забавный и неторопливый лесной житель. А напротив вяза, на полянке — большой ровный круг зарослей шиповника. Здесь Шурка иногда прячет всякую всячину, чтобы лишний раз не таскать домой: удочки, банки с червями, весло. Никому и в голову не придёт лезть в такую чащобу.

...Наконец-то дорога нырнула в заросли черёмухи, крушины и нектенника. Стало прохладно. Недалеко было Лопушное. В который раз остановились на отдых, и тут же Шурка острым ножичком срезал прямо у дороги полуметровый пустотелый зелёный стебель и сделал из этой быстылины дудку. Раза два со свистом дунув в неё, разудало заиграл, переваливаясь с ноги на ногу. А Шуркина мама, весело выскочив на поляночку, пошла в пляс, припевая:

Дударь мой, дударь молодой!

Самодударь мой, дударь молодой!

Её маленькие загорелые и ловкие ноги, обутые в чупяки, задорно мелькали в ромашковом и васильковом разнотравье придорожной полянки. И вся она, в косыночке с голубыми горошками, стала вдруг весёлой и озорной. Шурке тоже стало радостно, и оттого он заиграл ещё азартнее и громче.

Когда кончил, отец одобрительно спросил:

— Где так научился выкомаривать?

— Дед его подучил, — сказала мать.

Жданка тем временем не плошала и, увидев сочную густую траву в кустах, дёрнулась туда. Рыдванка встала поперёк дороги, передними колёсами подмяв кустики бересклета.

— Но... балуй у меня, — совсем как на лошадь, грозно шумнул отец, но, спохватившись, вылез через проволочные боковины из рыдвана и вывел Жданку на дорогу.

Лесные дороги там, где ходит гужевой транспорт, особые. как бы в три колеи. Две колеи от колёс и тропа меж ними от лошадиных копыт.

Запах лесных дорог особый. Меж колеями изумрудная зелень не теряет своей свежести и яркости всё лето. Под нависшими низко ветвями ей благодатно. Влажность, исходящая от озера, питает буйство и разнообразие трав по обочинам дороги. На самой дороге обычно растёт самоотверженный подорожник. Шуркина мать называет его семижиленьником, и Шурка несколько раз уже пользовался им, прикладывая к ранкам или опухоли.

Из двух десятков озёр, которые он знает, Лопушное одно из самых интересных. Ни на Лещевом, ни в Подстёпном, ни на Осиновом нет того, что есть здесь. Тут с Шуркой всегда что-нибудь происходит.

В дальнем заросшем конце впервые позапрошлым летом подстрелил он крякву. А на подходе к озеру среди черёмухи растёт единственная на этом берегу Самарки берёза. И никто никогда — ни взрослые, ни мальчишки — не брали сок у неё, настолько она дорога всем. Однажды они с дедом вдоль озера набрали целую телегу груздей, и на обратном пути негде было сидеть в ней. Шли пешком.

...Когда добрались до Лопушного и отец начал распрягать Жданку, подошедшая помочь Катерина ахнула:

— Васенька, что же это делается, а?

Шурка увидел, как из передних сосков Жданки, словно из неплотного рукомоиника, стекало большими каплями молоко.

— Ты её доила утром? — спросил тусклым голосом отец.

— А как же, доила, — поспешно ответила мать. — А если она надорвалась?

— Надо подоить ещё, — будто не слыша, сказал отец, — а ты, Шурка, сготовь костёр, сварим молочный суп с лапшой. Вот вам задание. Я пойду траву попробую пошибаю.

Шурка взял топорик и пошёл высматривать рогульки для ко-стра. Вскоре зазвучали за его спиной непривычные такие в лесу удары молочных струй о гулкое дно ведра. И он услышал, как мать сквозь слёзы почти запричитала:

— Миленькая ты наша кормилица, прости нас...

За старицей

Много всего надо для строительства дома. После самана брёвна для тёса необходимы в первую очередь. В этом году Любаевым повезло: по ордеру сельсовета сено должны были косить в лесу. Кварталы достались тощие, трава — никудышная. Однако сенокос оказался недалеко от полянок, отведённых под вырубку осин и осокорей. Можно работать на два фронта. Так и сделали: попеременно то косили, то пилили. Кто как мог.

Рассортировали калек и — за работу. Венька Сухов без руки, так ему, например, проще пилить, чем косить. Он и пилит. А вот у дядя Коли Тумбы нет левой ноги почти совсем, он и косит, и пилит.

Любаев разводит и точит пилы. И потихоньку пробует косу, насаженную на черенок так, чтобы можно было работать, совсем не нагибаясь. Шурка видел, как отец пробовал косить за кустами, ближе к воде. Размеренные, выверенные движения Василия, волочившего за собой ногу при совершенно прямой спине и прерывистое перемещение его вдоль валка напоминали действие какой-то машины. Но эта кажущаяся надёжность могла враз рухнуть, если не соблюдать равновесие и равномерность перемещения.

...Валить громадные осокори тоже надо уметь.

— Ты сначала определяй, куда дерево глядит, куда наклонено, — учит Венька Шурку. — Как определил, пили с той стороны, куда глядит, на глубину полотна пилы. А затем уж заходи с противоположной — на четверть выше снова пили. Само упадёт куда задумано.

— А если дерево не «глядит» и нужно чуть в сторону свалить его? — уточнял Шурка.

— Тогда берёшь топор и, как сделаешь первый надпил, сразу руби, чтоб не было зажима — можно руками или вагами толкать, куда надо.

— Берегись! — зычно крикнул Тумба. И осокорь, могучий и красивый, сокрушая молодняк, не теряя величавости и осанки, повалился на траву. Земля вздрогнула, когда он упал. На поляне стало светлее.

— Молодец, Тумба! Удачно положил! — обрадовался Шурка.

— Прощлое лето вот так же валили и один рухнул на сухой — приличную осину, а она возьми да и упади, где бабёнки кружком стояли. Одну из них, Таню Чемоданову, будто выбрала — скончалась на месте, — сказал Веня.

Первый осокорь, который подпилили Венька с Шуркой, падать вначале не хотел. Он чуть повернулся слева направо в комле, зажав пилу так, что Шурка с большим трудом, торопясь, выхватил полотно и замер.

— Ко мне! — властно скомандовал Веня и привлёк его к себе. — Надо в сторону уходить, а то сыграет и комлем долбанёт.

Вагами мужики помогли великану. Он рухнул, обломав при ударе о землю толстые сучья. Накрыл большой муравейник.

Объявили перерыв. Шурка сладил удочку. Крючки у него всегда были с собой в фуражке, а леску захватил специально. Только пристроил удочку на рогульке, у коряжки, как поплавок — в мизинец сухая куга — медленно пошёл под воду. Шурка привычно дёрнул: на крючке болтался величиной в ладошку карась. Забросил вновь — то же самое. После пятого карасика насадки — безголового слепня — не стало.

— Сейчас я тебе добуду насадку, — сказал подошедший Венька. — Дай картуз!

Пока Шурка ловил слепня, пришёл Венька и протянул фуражку:

— Попробуй на муравьиные личинки.

Шурка попробовал: такая же поклёвка — и как отмеренный, в ладошку, карасик затрепыхался на траве.

— Тут кто-то хорошо приманивает, — догадался Шурка, — нормальная рыбалка.

— Это разве рыбалка... вот в Сибири — это да! — отозвался Венька.

— А откуда ты знаешь?

— Дядька мой пишет.

— Он в Сибири?

— Да, с сорок первого года. Теперь уже давно освободился.

— Сидел?

— Да. Теперь женился, там и живёт.

— А за что сидел? — допытывался Шурка, вспомнив, как Жабин забрался в дом к Пупчихе.

— Ерунда, в поле, когда со стана шёл, снял с трактора магнето — поковыряться для интереса. Оно ему и не нужно было. По дурости.

— Ничего себе!

Много всякого увидел и узнал Шурка на делянках. Поразил один разговор, который он нечаянно услышал. По разным причинам не все уходили ночевать в село. Многие оставались. Спали в шалашах из веток и травы, под огромной, толщиной в четыре Шуркиных обхвата, ветлой. В один из вечеров Шурка пошёл в дальний конец озера посмотреть на уток, слетевшихся туда на зорьке. Ему нравилось за ними наблюдать. Уток почему-то не было, и он решил подождать, присев метрах в пяти от берега у небольшой копны.

Солнце уже опустилось ниже могучих вязов, росших на той стороне, близко у воды. Его лучи, пробиваясь сквозь листву, освещали задумчивую гладь озера, Шурку вместе с копной и весь берег, томно и разнеженно притихший после жаркого дня. Противоположный берег и гладь воды там, под вязами, были сумрачны и таинственны.

Слева от Шурки послышались шаги, а потом и голоса. Он узнал говоривших: Аксюта Васяева и Ганя Лужкова! Выглянул было и обомлел: они раздевались, намереваясь, очевидно, купаться.

— Ох, и красивая ты, Ганя, внаготку, — сказала восхищённо Аксюта.

— Красивая-то красивая... — задумчиво ответила Ганя. — Красота меня и ухоркала.

— Как так? — удивилась Аксюта.

Шурка вновь выглянул и поразился: на берегу стояли две совершенно голые молодые женщины. У него странно закружилась голова.

Молодая пышущая здоровьем Аксюта стояла ближе к Шурке. Белое её тело, освещённое закатным солнцем, вызывало невольный восторг. Казалось, каждая рыжая волосинка на нём обласкана вечерним светом. Груды её, круглые и большие, миг начали исполнять какие-то свои замысловатые движения, когда она, подняв руки к небу, дурачась, встряхнулась и заиграла кистями рук.

— Как может красота ухоркать? — переспросила она, семена на одном месте ногами.

Ганю всю теперь Шурка не видел. Её закрывала мощным корпусом Аксюта, но он отметил, как разительно они отличаются друг от друга. У Гани узенькие плечи и крепкие, шире плеч, округлые бёдра. Смуглая кожа делала её похожей на статую африканской царицы. Нездешняя красота Гани была таинственна...

— Может, — отозвалась Ганя. — У меня жених уже намечался, и вдруг Николай появился. Инструктором райкома партии начал у нас работать, а я — секретарем райкома комсомола. Красивый был, ладный такой. Ухажёров у меня было! Он всех отбил.

Ганя вошла по грудь в воду и, ойкнув, притихла.

Шурка прижался к копне, боясь, что его заметят. Не знал, как лучше поступить: встать и уйти, тогда его увидят. Или остаться? Разговор продолжался.

— Я и раньше отмечала: странно ходит как-то, легко и в то же время на левую ногу припадает. Но ничего не говорил, скрывал до времени. Оказалось, ранение у него было, в колено. Потом началось... Отрезали ногу чуть не всю. И закатилось моё счастье-то. Жена инвалида. Он ещё и запил потом.

— А мне хоть хроменького, но молоденького бы муженька, — вздохнула Аксюта.

— У тебя всё впереди.

— Ага, — с готовностью вроде бы согласилась Аксюта. А потом добавила: — А позади-то уже чуть не тридцать годков.

— Угробила я сама себя, за него вышла. Как помутилась голова. Какие вокруг меня парнины были! Дура я, — продолжала Ганя.

— Что ты говоришь, — ахнула Аксюта, — разве можно так? Он тебя любит?

— А куда ему деваться-то с культёй, — зло сказала Ганя и саженьками, по-мужски, поплыла на середину озера.

Аксюта сложила рупором ладони и прокричала как бы украдкой (боялась, наверное, что их кто-нибудь обнаружит голыми), как мальчишка, обращаясь к кому-то на противоположном берегу:

— Кто украл хомуты?

И эхо тут же ответило:

— Ты, ты, ты...

Аксюта хихикнула довольно и не спеша пошла к воде.

Вечерние лучи солнца ласкали её крупное тело. И казалось, что это большая домашняя птица или огромный жаворонок, один из тех, что они лепили с мамой из белотурошной муки весной, сейчас взмахнёт руками-крыльями и попробует взлететь. На плечи её упали золотистые волосы, а там, в самом низу живота, у Аксюты огоньком горел небольшой островок растительности.

«Разве такое бывает? — удивился Шурка, — рыжая везде вся!»

Его ошеломила красота и притягательность обнажённых женских тел. Такого с ним ещё не было. С Аксютой и Ганей встречался

в день по нескольку раз, но там они были в одежде, все в хлопотах. Здесь, оголившись, вдруг обнажили перед Шуркой целую бездну ощущений. Он то проваливался куда-то, то вдруг видел, как органично они дополняли собой всё вокруг, и начинал недоумевать: как могла природа ещё каких-то пять минут назад обходиться без них. То совершенно понятных и земных существ, то вдруг непостижимых, обескураживающих, заставляющих тихо сидеть, окунувшись лицом в тёплый парной воздух над вечерней озёрной с мраморными лилиями водой.

Греховных мыслей не было. Их просто не могло ещё быть.

...Аксюта тем временем зашла чуть выше колен в воду и со смехом плюхнулась, подняв крупные брызги. «Не перебабилась ещё», — вспомнил он загадочное для него слово, которое услышал за столом после помочей.

Шурка встал и, не скрываясь, пошёл на стан. «Моя мама другая, у неё язык не повернётся так об отце моём Василии сказать, как красивая Ганя о своём муже инвалиде. Даже подумать не сможет», — для чего-то убеждал он себя.

Два Василия

— На-ка вот... Варька-почтальониха опять обмишурилась.

Шурка берёт в руки серый с пятнами конверт. Вслух читает: село Утёвка, Василию Фёдоровичу Любаеву.

— Это нам, мам, всё-таки!

— Да нет, грамотей, там указана улица Садовая. Пойдёшь за хлебом в магазин — занесёшь.

— Ладно.

Василий Фёдорович, который живёт на Садовой, и его полный тёзка — Шуркин отец, живущий на Центральной, — родные братья. Оттого и путаница.

В гражданскую, когда молодой ещё дядька Василий воевал у Чапаева, ранило его в лёгкое. Помирать приехал домой к матери своей Прасковье. Плохой был, и все решили, что уже не жилец на этом свете. А тут у Прасковьи и Фёдора родился ещё сын, назвали его Василием — в память о старшем, умирающем. Но он выжил. Выжил и младший. Так у Любаевых стало два Василия. Отец Фёдор, поехав в Уральск за солью, умер в степи.

...Когда Шурка пришёл с письмом, хозяин дома сидел на пороге у сеней и разбирал мокрую рыбацкую сетку. Сын Сергей тесал срубовину посредине двора. Щепки, освещённые майским ласко-

вым солнцем, излучая тёплый свет, отлетали в сторону гостя. Одна щепка упала лодочкой к Шуркиным ногам. Как утица, закачалась сбоку набок. И затихла. Коричневенький сучочек, как глаз, устался на Шурку внимательно и таинственно.

— Гость пришёл! — зорко глянув на Шурку, крикнул дядя Василий. — Мать, давай нам аряны.

Вышла тётка Машурка с бидончиком кислого молока, разведённого холодной водой, который у неё летом всегда стоял в тёмных сенцах.

— Держи, — она вручила Шурке пол-литровую белую кружку с помятым краем и, помешав в бидончике большой деревянной ложкой, налила.

Шустрая оса села на край бидона, Шурка замахнулся.

— Не тронь, улетит. Незлые они сейчас, — сказал дядька Василий. Принял посудину из рук жены и аппетитно заработал кадыком.

— Ну, придудонился... Так нельзя, Вась, горло перехватит.

— Ничего, мать, не бойся, хороша больно, — он ответил не сразу, а после того, как напился и поставил подчёркнуто деловито бидончик на траву около своих ног.

— Лепота-то какая, а?!

— А что это такое, дядя Вася? — спросил Шурка.

— Что?

— Ну — лепота?

— Красотища, значит, что же ещё? Непонятно, что ли? Чему вас только в школе учат, аль сам не чувствуешь?

— А почему обязательно сруб колодезный делают из ветлы? — перевёл Шурка разговор в деловое русло.

— Не обязательно, — возразил дядька Василий, — желательно из ветлы. Видишь ли, берёза в земле не лежит. Осина даёт горький привкус воде. Ветла и в земле лежит долго, и воды не портит, и вкус от неё лучше.

— А сруб куда?

— Как — куда? Вам.

— Нам?

— Ну да. Брательник сказал: колодец в огороде будет делать.

— Вот здорово! — обрадовался Шурка.

Он смотрел на щуплую фигуру хозяина двора, на его прокуренные усы, неровные плечи, дырявые галоши на босу ногу и ему не верилось, что перед ним участник героических дел.

— Дядя Вась, а какой был Чапаев?

— Обнаковенный, какой... — сказал тот с ходу.

— Не может так быть!

— Заряжённый был, понимаешь, — спохватился Василий, — заряд в нём большой сидел, крупного калибра. Пороху больше, чем у остальных в нём обнаружилось. Везде хотел быть главным, начальство сверху не любил.

— А сильный был?

— Были здоровее мужики. — Помолчал, потом добавил: — Страху не ведал, али жизнь не ценил свою, а значит и чужие. Не знаю... Сразу не скажешь о нём точно. Я в артиллерии служил. Нечасто его видел, но знал. В артиллерии попроще. А вот в кавалерии, брат, цельная наука. Жестокая наука.

— Почему — жестокая?

— Конь обучен должен быть специально для кавалерийской атаки. Мой дружок Арсений из Осинок толк знал в этом деле. Рубака был зверский. Но и он не сразу привык к резне.

— Разве бой — это резня?

— Надо уметь шашкой работать. Если казару развалить от ключицы до пояса — это одно, а если шашкой рубануть по голове — другое... Мозги ажник с кровью вылетают с такой силой, что вся рука от кисти до плеча ими замазана. Арсений попервоначалу есть не мог после рубки несколько часов, а потом пообвыкся: даже руки не мыл — сиделся и за кусок хлеба. Все вперемежку: и кровь, и хлеб.

Шурка стоял, прислонившись к завалинке, ошеломлённый.

— Так было?

— А как иначе? Степи, дожди, смерть, вши, слякоть — это тебе не кино показать. Война — это пакость одна!

— А герои как же?

— Какие?

— Ну, в книгах, в кино опять?

Дядька Василий посмотрел на Шурку, непонятно улыбнулся, как бы сам себе. Ответил тоже вроде бы сам себе:

— Я про жизнь, а не про кино.

— Дядя Вася, а где тебя ранило?

— Чудно ранило. Шальная навроде пуля, когда брали Белебей, в общей колготне. Когда Арсений привёз меня в Утёвку, почти загибался. Но я жив, а он где-то в уральских степях лежит.

— И всё?

— А что ещё? Разыскал я семью Арсения чуть попозже. Беднота, она и есть беднота. Смотреть было больно. Ну, ладно об этом

балакать. Одна надежда на вас, вырастайте грамотными — глядишь, вылезем из грязи...

...Возвращаясь из магазина с двумя буханками хлеба в сумке из кирзы, Шурка думал о последних словах дядьки Василия.

Сколько он себя помнил, всегда окружающие говорили: «Учитесь, а то всю жизнь, как мы, в грязи провозитесь...». Это стало каким-то всеобщим девизом и в школе, и дома. Будто всё Шуркино село враз с его поколением заразилось идеей вырваться из привычной жизни. Прорваться на другой её уровень: грамотный, чистый, достойный. Но, когда он начинал вспоминать, сколько сильных красивых ребят, выучившись в школе, ушли в город и не возвратились, его охватывала досада. Для образованных, способных людей, получается, настоящая жизнь на стороне, не в селе. Из села надо было убежать и не вернуться. И это поощрялось родителями в открытую. Тогда как же с домом? С колодезем, со всем, что делается в селе? Для кого это? Всё временно выходит? не навсегда? За что же воевали дядька Василий, Арсений?

Шурка чувствовал в себе огромную жажду учиться. Безудержно влекло к театру, литературе. Росло понимание, что должна где-то быть жизнь без пьянства, матюгов, непролазной грязи на улице. Убогость быта уже начала осознаваться, но она наталкивалась внутри Шурки на крепкую силу, название которой было пока ему недоступно. Но жила в ней, несомненно, обида и горечь за окружающее, кровное и родное, державшее так цепко в своих объятиях, что порой доходило до физического ощущения близости, кровной связи со всем, что дышит вокруг, говорит, поёт, молчит, глядя большими глазами озёр снизу, а сверху — бездонным летним небом, усыпанным пригоршнями хрустальных звёзд, покойно внимающих с высоты.

Он часто видел себя как бы со стороны в ватажке ребят, у рыбацкого костра на Самарке, то с восхищением, то с досадой наблюдающих в ночи за вдруг ворвавшимся в ночное небо над головой реактивным самолётом — ещё одним зримым доказательством того, что есть какая-то иная, с заботами, не похожими на сельские, жизнь. Пугающая и в то же время странно манящая. Где-то в Шурке, ввне ли его, он это чувствовал, работала неодолимо другая сила, близившая неминуемо прощание его со всем родным и близким. Было от этого тревожно и больно.

Сухопутный пушкарь

На сенокосе всегда что-нибудь происходит. Два года назад убило бастрыком Федьку — старшего сына Петянихи. Они перевозили с Митягой сено на полуторке. Оставалась последняя ездка. В рытвине на ухабах заднее колесо попало в глубокую сырую яму, мотор заглох. Митяга и Федька стали помогать как могли — совали сено, бурьян в колею. Мотор натужно упирался. Когда грузовик выскочил на твердь, воз с сеном тряхануло так, что схваченный верёвками бастрык не выдержал и лопнул посередине, выстрелив назад и вперёд двумя осиновыми обломками. Стоявший сзади Федька получил удар по голове и скончался тут же.

Об этом забыли уже. Или просто молчат. Прошлым летом сенокосный стан разбили на том же месте, где косили с Федей и где они с Шуркой часто вечером после изнуряющего жаркого дня около плёса сидели на вечерней зорьке на чирков... Шурка помнил прошлогодний сенокос, как будто это было вчера: у костра что-то смешное рассказывал дядька Серёжа из своей армейской жизни. Шурка лежал около припасённой дедом для него чашки. Когда дед снимал ведро с готовой «польской» сливной кашей, Шурка вскочил, намереваясь расправить завернувшийся угол одеяла, служившего скатертью, и угодил прямо под ведро. Оно в руках Ивана Дмитриевича сильно качнулось и жидкая часть варева выплеснулась. Одурающая боль обожгла спину.

Дед снял с внука рубаху и теперь Шурка лежал на животе полуголый. Крепился, хотя волдырь чуть ли не во всю спину.

И начались непривычные хлопоты. Дед по несколько раз в день смазывал спину подсолнечным маслом. Подсолнечное масло — лекарство. Бутылку с ним Иван Дмитриевич отложил под рыдван, около логунка* с дёгтем, строго-настрого запретив использовать масло для еды.

— Хоть бы сам ел масло, а то как верблюды — в свой горб, то бишь в волдырь, откладывает, — выражает своё недовольство дядька Серёга.

— И как обидно! Ему ведь тоже в рот не попадает, через кожу приходится впитывать — никакого удовольствия, — вторит дядька Лёша.

Шурка с мольбой смотрит на деда. Остряки умолкают. Но чуть позже, растянувшись после еды на разнотравье, дядька Серёжа тянул:

* Логунок — здесь: небольшой бочёнок.

— А знаете, если бы мне такой волдырь, я бы держался на воде как бог. Такой пузырь как спасательный круг! Красно-ти-ща!

— Врите больше, — отмахивался Шурка.

Ему обидно, что самому нельзя посмотреть, какой величины волдырь. Ведь намного же легче плавать с накачанной камерой? Может, завтра попробовать? Его отрезвил голос деда:

— Шурка, ты уже большой. Неужели всерьёз слушаешь этих шалопаев? Не смей вообще купаться! Заразу занесёшь — беда будет.

— Правильно, Шурка, не плавай, живи сухопутным пушкарём, — вставляет своё дядька Серёга.

— Кем? Каким пушкарём? — спрашивает потерпевший.

— Сухопутным, что непонятного-то?

— А что это такое? — удивился Шурка.

— Читать больше надо, — поучал Сергей.

— И плавать, — дополнил дядька Лёня.

— Да ну вас...

— Что на вас нашло, какая муха укусила? — Иван Дмитриевич сердито смотрит на сыновей. — Он больше вас обоих читает. Я уже давно за глаза его боюсь. «Тихий Дон» проглотил за две недели.

Шурка благодарен деду. Ему очень не хочется, чтобы эта кличка прилепилась к нему. Зовут же Женьку Чугунова «пожарником». С того дня, когда он в тесно набитом клубе, забравшись на лестницу у стены (негде было стоять) во время фильма «Тарзан», свалил нечаянно висевший огнетушитель и тот, сработав, стал поливать ближние ряды зрителей. Под истошный бабий крик: «Пожар!» — в темноте зала началась невыразимая давка. Напрасно завклубом успокаивал и призывал не паниковать. Могучей волной он был сметён и вынесен из зала, который вмиг опустел. Только через некоторое время, когда выяснилась причина, зрители, нервно похотывая, пошли досматривать кино. Но Генка с тех пор так и стал с чьей-то лёгкой руки «пожарником». Хоть застрелись!

У Кунаева ключа

Шуркины приятели заболели игрой в лянду. Вырезали из овчины кусок в виде пятака и пришили к нему плоскую круглую свинчатку. Если у этого пятака шерсть длинная — лучше лянды нет. Играть просто: надо подбросить лянду и, стоя на одной ноге, другой, обутой в валенок, бить по оперённой овечьей шерстью свинчатке. Ей положено летать: вверх-вниз, вниз-вверх. Задача: набрать наибольшее число ударов, не дав лянде упасть на пол.

У Мишки получается до двадцати. Он — чемпион улицы.

На прошлой неделе, когда играли вечером у Лашманкиных, Мишка попросил Шурку показать, как рыбачат на подуста:

— Мне просто интересно, наши никто не умеют с лодки, а у тебя наука от Головачёвых. Про дядьку твоего Алексея, знаешь, как говорят?

— Нет.

— Толкуют, что он рыбу в колодце, если надо, наловит.

...Три дня назад они пригнали из-под Платова, с Коровьих ям, плоскодонку. Её оставил там дядька Алексей, когда в последний раз рыбачил. Приковали её цепью чуть выше Ледянки.

И вот настало утро, когда они отправились на рыбалку. До Самарки добрались вовремя, было ещё только четыре часа. Остро пахло прохладным песком и мокрыми лопухами. Не торопясь, Шурка откопал из песка весло и два осиновых кола, которые он заранее припас. На реке — никого. Это ему понравилось. Было ещё темновато, но Шурка знал, как быстро светает, и поэтому торопился: надо вовремя определить место.

— Ну, что, Миш, давай с этой стороны, на перекате встанем?

— А может, с той, под обрывом? Там спокойнее, — предложил приятель.

— Нет, там мелкая плотва замучает, нам подуст нужен, верно? На перекате навверняка будет.

— Ага, — охотно согласился Мишка.

На быстрой воде кол для перетяга поставит не каждый, Шурка всё исполнил молча сам. Мишка только смотрел.

Направив лодку носом строго против течения, Шурка быстро опустил кол и, нащупав им песчаное дно, упирая, стал расшатывать его из стороны в сторону. Течение успело повернуть нос лодки поперёк реки, но кол уже засосало.

Скупые и размеренные движения Ковальского Мишка оценил. Смотрел зорко — учился.

То же проделал Шурка и со вторым колом. Привязать бечеву между кольями и установить лодку ровно поперёк реки, чтобы удобнее было пускать поплавки, уже проще.

— Миш, ты где сядешь, на носу или на лавке?

— На лавке лучше!

— Верно! На носу без конца будешь греметь цепью, а подуст очень пугливый, ведь глубина тут всего метра полтора, — согласился Шурка.— На, разматывай удочки, а я быстренько разберусь с приманным мешочком.

Мишка с готовностью подчинился. Ковальский ловко намочил отруби прямо на дне лодки, скупно поливая из консервной банки воду, чтобы не разводить лишней грязи. Набил вязанный в мелкую ячею приманный мешочек. Когда опускал его за борт, на дно, муть от отрубей белым ручейком пошла от плоскодонки по течению. Шурка довольно улыбнулся.

Светало, но солнечных лучей пока не было. Их скрывал большой лес с правой стороны на круче.

— Всё, Мишка, теперь вот мерником, — он протянул гайку с петелькой из ниток, — надо замерить дно, выставить поплавки — и всё! Только тихо, грузилом по лодке не стучать — распугаешь рыбу.

Насадив навозного червя, Шурка левой рукой неслышно опустил грузило в воду, чуть левее бечёвки, на которой привязан приманный мешочек. Поплавок, на миг задержался под бортом лодки, потом пошёл быстро по течению.

У Мишки клюнуло, едва его поплавок достиг половины пути, отпущенного длиной лески. Он дёрнул прямо на себя: подует, вылетев из воды, ударился о борт и сорвался. На крючке осталась часть губы.

— Ты не так дёргай, Мишка, — проговорил вполголоса Шурка. — А то всем губы тут пообрываешь, сейчас крупнее пойдёт.

— А как?

— Вначале дёргай нормально, а потом сразу вбок веди, когда зацепил. По воде подтаскивай к борту, потом левой рукой, около грузила, хватай леску — и в лодку.

Сноровистый Мишка всё понял. Вскоре у его ног лежали три подуста, каждый с карандаш длиной.

— Шурк, а верно, подуст похож больше всего на голавля, только будто кто ему каким молоточком в морду дал. У него губа ровно от этого сплющилась, а?

Шуркин поплавок бодро ушёл под воду. Он дёрнул и в его руке притих серебристый подуст.

— Твой крупнее, — позавидовал Мишка.

— Сейчас пойдут, как отмеренные, ровные. Хорошо сели мы с тобой. Бросай ближе к приманке.

В азарте рыбаки и не заметили, как дно лодки покрылось белью. Лучи солнца пробились через тёмный лес, а под кручей ещё царил прохлада.

Было тихо и покойно вокруг. Лишь кукушка в осиннике на левом берегу, два раза перелетев с места на место, напомнила о

себе. Тишину нарушил сразу и на всю Самарку Семён Топорков. Он внезапно появился с удочкой на левом берегу, чуть пониже рыбаков, и начал быстро раздеваться. Видно было, что намеревается перебраться на другой берег и там порыбачить. Он — язвтик.

Раздевшись догола, Семен вошёл в воду по пояс и сразу окунулся с головой. Когда вынырнул, крикнул так, что раздалось на всю полусонную округу. Держа в левой руке одежду над головой, поплыл.

— Ох, ох, хороша, ну, хороша! Послушай: хороша, а! — говорил он то ли себе, то ли обращаясь напрямую к Самарке.

— Ну, молодчина, а... ох... ох-хо... Чудо, спасибо!

Переплыл Самарку, положил одежду и вновь начал плескаться в воде на отмели.

Радовался и разговаривал, как ребёнок:

— Послушай, всё дно золотое видно... а? Такая ласковая, ну, спасибо, ну, молодчина!

Рыбачков закрывала большая ветловая коряжина на воде, Топорков их не видел. Наслаждался он ещё и тем, что был один при такой красоте.

— Расхулиганился наш милиционер, — усмехнулся Мишка, — такая верста, а как пацан.

Топорков тем временем вышел по пояс из воды и его мощное загорелое тело заиграло под утренними лучами солнца. Он был такой же, как Самарка, расцвеченная на отмели золотистыми песчаными берегами и коричневым дном. Они дополняли друг друга.

Топорков постоял под солнцем и опять с брызгами уронил себя в воду.

— Разворковался, как с девкой, — густым басом неожиданно донеслось из кустов напротив Топоркова.

— Ага, как с девкой, точно! — согласился Семён. — Ты, Сарайкин, откуда взялся?

— Бахчи караулю у Кривой ветлы. Услыхал тебя, пойду, думаю, стрельну курева. У меня кончилось.

— Подожди малость, я сейчас!

Сарайкин продолжал:

— Ты скажи про брата моего: из Чапаевска что есть нового?

— Судить скоро будут его, понял?

— Чего же не понять. Как думаешь, много дадут? — спросил Сарайкин.

— Ещё бы, судью на улице избить — десяток лет схлопочет, это точно.

Топорков вышел на берег и запрыгал на одной ноге.

— Бры... ры... бры... ыы, хорошо как!

Поднял одежду и стал в ней копошиться, искал папиросы.

Солнце показалось из-за леса. Лучи его упали и на рыбаков. Стало жарко. Поклёвки пошли реже и Шурка предложил позавтракать.

Сидя на носу с огромным надкушенным помидором и горбушкой хлеба, Мишка поинтересовался:

— Я знаю, вы с дедом отводом рыбачите на щук, да?

— Да, но не на щук, а вообще. Правда, их попадает больше.

— После раздополя?

— Нет, наоборот, когда только начнётся ледоход. Большой воды ещё нет. Рыба вся жмётся к берегу, вот бреднем её и бери.

— А как, вода же холодная?

— Дед к кляче, идущей в глуби, прибывает брусок с гнездом, в него вставляют большой, метров шесть, тонкий шест. Этим шестом один человек отталкивает клячу от берега, а другой, который рядом впереди, тянет по течению за привязанную к ней верёвку.

— А вторая кляча? — допытывался Мишка.

— А что — вторая? Её тащишь около берега в сапогах.

— Ловко! — оценил Мишка, — это твой дед придумал?

— Он говорит, что ещё со своим дедом так рыбачил.

Перегнувшись через борт, смешно вытянув губы трубочкой, Мишка попытался напиться.

Шурка помог: чуть качнул лодку, и лицо приятеля по уши ушло в воду.

Едва откашлявшись, Мишка громко и задорно засмеялся. Потом спросил:

— Шурк, отводом рыбачить пригласишь?

— Это ж весной, в апреле, когда зажоры* на Самарке пройдут, потом...

— Ну и что? Я подожду, — сказал бодро приятель.

— Ладно, — немножко важничая, пообещал Шурка.

* Зажоры — скопление льда у берега.

Вороняжка

Это — ягода не ягода, сорняк не сорняк. Растёт сама по себе. Только взойдёт картошка, она тут как тут. И, начиная первую прополку, иногда можно спутать её с молодой лебедой, когда она торчит из тёплой благодатно пахнущей огородной земли всего лишь двумя-тремя листочками. Но не тут-то было, матушка Шурки зорко её вымотрит и после прополки она на равных остаётся рядышком с листочками картошки. Цветёт вороняжка так же неярко, как и картошка. Ягоды её, если с чем-то сравнивать по внешнему виду, когда спелые, может быть, похожи на смородину: такой же величины, тёмно-синие, но мягче и легко мнутся в руках.

В знойный летний день, когда ещё ни одной ягоды, готовой к употреблению, нет ни в огороде, ни в лесу, вот она вам — мальчишеская утеха и радость: вороняжка. Правда, её зовут часто по-другому: «бзника». Шурка всегда конфузится, когда слышит это слово. Он его не говорит. Недоумевает, почему взрослые: женщины, учителя — все зовут её так.

А бывает ещё удивительнее: попадают ягоды вроде бы неспелые, не чёрные, но белесые. Изнутри светящиеся теплом и зрелостью — они вкуснее самых чёрных и броских на вид.

Приятно, прибежав на огород, упасть меж кустов вороняжки и, срывая налившиеся соком ягоды, отправлять в рот. Но ягоды, висящие гроздьями близко от земли, всегда в огороде мягкой и лёгкой, часто в пыли, поэтому есть приходится не каждую. Другое дело, когда Шуркина матушка, быстрая и ловкая, проворно насобирав миску, ставит вороняжку, помытую холодной водой и посыпанную сахаром, на стол! Не оттащишь за уши! Но самое прекрасное то, что можно приготовить из неё вареники. Вареники с вороняжкой! Они разные: когда горячие, их обжигающий аромат, соединённый с холодным молоком, возбуждал и дразнил. Холодные становились так вкусны и аппетитны, что Шурка их ел с большей охотой, чем всё то, что Катерина могла только с присущей ей расторопностью приготовить и с радостью угостить...

Шуркины друзья, когда у него бывали, с нетерпением ждали таких вареников.

...Лето в разгаре. Когда Шурка прибежал в огород, с разных уголков выглядывали неяркие, но светлые вороняжкины глазки. Они высматривали его...

Шуркин колодец

— Раз уж мы затеяли дела с домом, то надо и остальное подтягивать, — рассуждает вслух Шуркин отец.

— Что остальное-то? Поберегись немного, — Катерина говорит твёрдым голосом, а в глазах радость и одобрение.

— А я на вас с Шуркой рассчитываю. — Василий Фёдорович отложил шило в сторону. Оставив зажатым валенок между коленями, ловко намылил дратву и весело подмигнул: — Колодец надо копать! И пить нужно, и огород поливать. Без воды — никуда. А будет колодец — разведём сад: вишню, яблони, смородину... Мать, что примолкла? А то во всём селе яблони только у Светика и Карпуна. Увидите, как все подхватят затею.

— Не примолкла я. Вспомнила, какие тут на задах до войны вишни были, всё белым-бело. А сейчас ничего, — вздохнула она, смахивая гусиным крылом сор с шестка.

— Шурка, ты почему молчишь? Неужто не веришь, что сад вырастим?

— Пап, я не знаю, как будем копать колодец, — сказал Шурка и покраснел, ему очень не хотелось, чтобы отец подумал, что он трусит. Просто дело-то необычное.

Но отец не отступал:

— Во-первых, схитрим: будем копать внизу огорода, там до воды метра четыре, чует моё сердце. Во-вторых, я Федрыча попросил какой-никакой сруб приготовить. Он половину уже набрал.

— Сговорились уже, — покачала головой Шуркина мать.

...Василий Фёдорович отбил и наточил лопаты: две штыковых и одну совковую, приготовил три жерди, выдернув их из городьбы за сараем.

— Пап, а это зачем? — удивился Шурка.

— А как же ты землю будешь с глубины выкидывать? Настелим полати, сначала на них, а потом с них уже наружу. Через метр глина пойдёт.

...Работа вначале пошла споро. Мать всегда умела работать шустро и весело.

— Василий, а вдруг хлобыстнёт струя, ты нас и не спасёшь! Готовь верёвку — вытаскивать будешь. Аль не будешь?

— Хлобыстнёт... жди... Больно горячая, глубины-то ещё воровью по пупок.

Шурке от таких шуток родителей было легче работать. Ему нравилась манера отца сказать, как все, но немножко поправить

по-своему, чтобы становилось интереснее. Ведь любой бы сказал: воробью по колено, а его отец — по пупок. Он подумал так и невольно хихикнул.

— Что, Шурка, боишься в Америку выскочить?

— Нет, пап.

— А что?

— Боюсь мимо проскочить.

— Ты вот что, — сказал Василий Фёдорович, — не бери так понюгу. Это земля, надорваться можно, понял? Понемногу и размеренней.

— Ничего, пап, не будет.

— Я тебе сказал, а то кишка вылезет — будешь знать.

...Дело пошло более ходко, когда вечером на третий день пришёл дядька Серёжа. Он высокий, поэтому выкидывает глину сразу вверх, не на полати, а потом с них наружу — двойной труд! Шурке нравилось всё в дяде Серёже: и как он работает, и как дурачится для настроения.

— Вон Левый рассказывал: когда поисковые работы были около Кулешовки... Ну, искали нефть. Пробурили разок в одном месте, а потом на второй день стали поднимать трубы. — Серёга для передышки завёл историю, — ну и вынули!

— Что вынули-то? — не выдерживает Шурка.

— А то вынули, — отвечает неспешно Сергей, — непонятное что-то. Похожее на какие-то рога, привязанные к цветной бечёвке. Всё открылось, когда бабка Настя в поисках своей козы зашла на буровую.

— И что?

— А то. Оказалось, бур споткнулся о скалу в земле, повернул и вышел в огороде бабы Насти на метр в высоту. Буровики как раз дело до завтра оставили. А бабка увидела и подумала, что это дед такой хороший кол вбил для Маньки. И привязала сослепу свою козу.

— И что дальше?

— Буровики стали вынимать бур... И вытащили вместе с рогами. Крепко бабка привязала, видать, свою Маньку. Только по цветной бабкиной привязи и опознали Манькины рога.

— Будет тебе врать-то, — сказала Шуркина мать, засмеявшись. — Ты вот скажи, брательник, откуда в тебе этих всяких историй на каждый случай жизни, а?

— А зачем тебе это? — удивился Серёжа.

— А вот любопытно мне. Со всеми случается разное, а с тобой чаще всех.

— Очень даже просто!

— Ну, откуда?

— Просто самое интересное чаще всего происходит там, где почему-то нахожусь я.

— А ещё потому, что любишь бодяжничать, — добавила Катерина. — Рубаху-то сними, а то всю загваздал глиной, я потом простирну.

На следующий день, после того как приходил помогать дядька Серёжа, Екатерина и вправду чуть не утонула. Она ударила в очередной раз в углу в твёрдую глину ломом и оттуда хлынула вода. Быстро сбежали за стариком Остроуховым. Мужики начали устанавливать сруб. И тут пробился родник в самом центре.

— Катерина, ты напала на жилу, удачливая какая! — сказал Остроухов. — Сколько колодцев вырыл на своём веку, а этот будет лучшим, помяни моё слово. Все будут ходить за водой, надоедать.

— А мы для того и рыли, чтобы, кому надо, ходили за водой. Правда, Шурка?

Шурка посмотрел на мать. Лицо её светилось. Маленькая, ниже его ростом, в сереньком платье и измазанных глиной галошах, она была живее и красивее всех. И — главное всех.

— Отец, а отец... назовём давай наш колодец Шуркиным, а то Зинин колодец есть, Нестеркин колодец есть...

— Ну, мам... — собрался возразить Шурка.

Но Василий Фёдорович опередил:

— Мне нравится, так и назовём!

Шурка заметил, как обрадовалась своей придумке мать. И как она благодарно посмотрела на отца. Оба заулыбались чему-то своему, общему и дорогому для них.

За плетнём, со стороны Лаптаевых, появился Мишка. Он знал, что нравится отцу Шурки, поэтому уверенно пробасил:

— Дядь Вась, кулешата приехали, футбольная команда, а Чугунок Вовка заболел, без Шурки никак.

— Правда, что ли? Это они на стадионе шумят? — повернулся отец к Шурке.

— Да, пап, первенство района среди школьников.

— Ну, давай, раз так.

Не сговариваясь, друзья припустили рысцой, шутя лавируя меж коровьих лепёшек. По пути Шурка заскочил во двор деда. На чердаке мазанки набил полные карманы сушёной мелкой густерой, сорожкой, плотвой — это было, как семечки. Когда вышел за ворота, кроме Мишки, его ожидали ещё двое посыльных. На ходу тебя сушёную рыбёшку, ребята заторопились на стадион.

Ночной разговор

Ночь. Летняя, душная. Повозка запряжена парой. На возу в летнем разнотравье Шуркин дед, Шурка и дядька Михаил — низкорослый, удивительно сильный, отчаянно резкий и смелый человек — отец Петьки Стрепетка.

Вспоминали Гражданскую войну. Михаил рассказывал, как он, то ли в девятнадцатом, то ли в двадцатом году удрал с курсов красных командиров.

— Дядя Миша, — вмешался Шурка, — это дезертирство?!

— Ага, — беззаботно согласился тот.

Шурка решил до конца прояснить вопрос. Ведь вот сидят с ним на возу два очень своих, хороших человека. И оба — дезертиры. Только один убежал от белых, другой — от красных.

— Дядя Миша, но ты мог бы стать командиром, как Чапаев?!

Дядя Миша повернул своё скуластое с рысьими глазами лицо к Шурке и тот почувствовал остроту его взгляда в темноте.

— Ага, мог бы, а потом рубил бы таким мужикам, как твой дед-единоличник, шею. И в конце концов моя голова улетела бы вон в те кусты. А сейчас как-никак сено кошу, на звёзды смотрю! Кому от этого вред, а?! Никому жизнь не коверкаю.

— Михайло, стоп машина, — вмешался Иван Дмитриевич не сразу понятной для внука фразой, — больно ты разговорился, ни к чему это.

— Мы же в лесу...

— Всё равно. Слепая сила, но слух у неё отменный...

— Тогда петь начну, едрён корень. Это разрешено?

Шурке неясен лаконичный диалог взрослых его спутников. Какая сила? Где она? Он хмурится от непонимания происходящего. «Как же так? — думает он, — мой любимый дедушка почему-то единоличник, не колхозник. Дядя Миша — и того хуже: от красных сбежал». Мир распадался на части от таких вопросов. Шурке становится не по себе. Но так длилось недолго. Уже через несколько минут он забыл непонятный разговор, замороженный чистым и красивым голосом дяди Миши, вдруг оказавшимся в песне грустным и даже печальным... И если что и волновало его под звуки песни в ночи, когда смотрел в широкое ночное звёздное небо, так это то, как они будут съезжать с крутой горы у посёлка Красная Самарка на мост через реку.

Из-за крутизны берега обычно в этом месте лошадь брали под уздцы, в спицы задних колёс рыдвана вставляли черенок от вил

и юзом, не спеша, оставляя глубокие следы в жёлтом сыром песке, пытались попасть на узкий скрипучий мост. Шурка озирался на возу, смотрел:вил не было. Тёмная ночь, да ещё мерин Карий, ослепший недавно на один глаз, постоянно забирал влево так настойчиво, что правую вожжу приходилось держать натянутой, отчего быстро уставала рука. Меренок Цыган, семенивший в паре, слабосильный. Но вожжи в руках дяди Миши. Такого уверенного и умелого.

И всё-таки жутковато: а вдруг рванёт дремучая лошадиная сила Карего сослепу в сторону... и пошло-поехало...

Тягомошина

То, что колодец вырыт, не значит конец всем делам. Сердце у Шурки ёкнуло, он только начал собираться на рыбалку в компании с Мишкой и Венькой Ресновым, а тут голос отца за спиной:

— Шурка, прекращай шалберничать*, нужно те три лесины, которые лежат на задах, ошкурить.

Большущие осокори вчера притащил волоком на тракторе Володька Коршунов, вспоров по пути в переулке на гати залежи золы и мусора. Стволы надо ещё «расхетать», как говорит отец, то есть распилить на брёвна, обрубить сучки. Василий Фёдорович торопится. Ведь перед тем, как везти на пилораму, дерево должно подсохнуть.

Обычное дело: как собрался на рыбалку — так возникает отцовское задание, словно нарочно. Неудобно перед ребятами — Шурка их подводил уже, ведь он главный в рыбацких затеях. Александр пошёл в мастерскую, взял остро наточенный отцом топор и, грустный, зашагал на зады к осокорям. Сел на прохладный с матовым свинцовым оттенком большой сучок.

Невольно вспомнились стихи, сочинённые совсем недавно. После такой же примерно истории. Их он ещё никому не показывал, даже дядьке Сергею:

Жарко

*Перекасти-поле по пыли
Катится вприпрыжку,
Дремлет стая сизарей
На пожарной вышке.
Не шумаркнет, тихо всё.
Льётся зной тягучий,*

* Шалберничать — здесь: бездельничать.

*Пар клубится целый день
Над навозной кучей.
Но смотри, смотри — растёт
Тучка над детсадом.
Эх, на речку бы сейчас!
Да работать надо.*

С некоторых пор, особенно после разговора с дядей Серёжей, стихи стали получаться у Шурки часто. Он иногда даже не знал, что с этим делать. В самый неподходящий момент: на прополке, на стадионе, на рыбалке — везде, где нужна сноровка, на Шурку находило состояние, когда он отвлекался от всего и уходил в себя.

— Ты какой-то рахманный стал, Шурка, — сказала однажды мать.

— Влюбился, поди, — высказала догадку баба Груня и засмеялась. — Пройдёт, это такой возраст.

«Такой возраст, — повторил про себя Шурка. — Какой возраст? Я ведь и не влюбился вовсе!» И вдруг обожгла другая мысль: «Значит уже положено влюбиться! И в этом нет ничего такого... хотя ещё не взрослый».

Пришли Мишка с Венькой с Приказного озера, где копали червей.

— Во! — сказал Мишка, — с ночевой хватит.

— С ночевой, — повторил Шурка, — а вот этого, — он показал на дерево под собой, — до завтра мне хватит.

— Что, как всегда, боевое задание, — скорее подтвердил, чем спросил Венька.

— Угу, — мотнул головой Шурка.

— Вот это тягомотина! — выдохнул Мишка.

— Ерунда, — сказал Венька и, поставив ногу на сучок, по-полководчески оглядел район действий. — Три дерева всего? — спросил он, ни к кому не обращаясь. — Три, — подтвердил он сам себе, — значит по одному на нос. Будем тянуть тройной тягой!

— Чего? — спросил Мишка.

— Ну, ты же говоришь — тяга Мотина? А я говорю — тяга наша, троих, а не одного Мотина.

Шурка вспомнил дядьку Мотина, жившего на дальнем краю села и развозившего на дрожках горячее по полевым станам. Вспомнил его вечно понурую лошадёнку, похожую на слепую Карюху, которая крутит колесо на ческе шерсти в промкомбинате, и ему стало весело.

«Тяга Мотина, — придумал же Венька в очередной раз штуковину какую. Откуда у него это?»

— Шурк, давай ещё топоры, до обеда сделаем и мотнём с ночевой. Чё раскис? А лучше тащи лопаты, ими хорошо шкурить, я знаю.

— Сейчас! — обрадованный таким поворотом дела, Ковальский метнулся во двор. «Только бы Коршунов сегодня не приволок ещё таких же пяток лесин. Тогда никакая тройная тяга не поможет, — подумал Шурка на бегу, — а так быстро управимся и вечером будем на Ледянке. Может, на сомят посидим!»

В грозу

— Смотри-ка, рона, бороньим зубом махнуло, — не то восхищённо, не то опасливо сказал дед Иван, показывая на огромный росчерк молнии над головой.

Не успел Шурка что-либо сказать, как вслед за ярким светом грохнуло так, что вздрогнула земля, а на небо стало страшно смотреть. На противоположном берегу Самарки полыхнуло пламя — одиноко стоящий вяз надломился пополам и загорелся.

— Во дела! А я думал, стороной пройдёт. Сергей, мерекоешь? Беги к Ракчевым на стан. Они у Кривой ветлы чилигу режут, венники вяжут. Попроси бредень, если они сами не будут рыбачить. Красота в грозу-то водить, непременно с уловом будем.

Серёгу не надо просить дважды. Толкнул лодку — и на той стороне.

— В грозу, как и в ледоход, вся рыба к берегу жмётся.

— А почему так? — Шурка удивлённо смотрел, как после каждого удара грома мелкая рыба выпрыгивает над водой.

— Ну, Илья-пророк разошёлся, — взглянув на небо, произнёс дедушка.

— Какой Илья?

— Как — какой? Заведующий небесными делами.

— Деда, ты веришь в Бога? — Шурка спросил и сам испугался своего вопроса.

— Верь не верь, а вокруг нас есть такое, чего нам не дано понять.

— А что?

— Все, кто умер, — просто и с какой-то лёгкой решительностью сказал Иван Дмитриевич, — души их вокруг нас всех, и мучаются. Вдруг это так?

— От того, что в аду? — выдохнул Шурка.

— Я о другом. Они не могут нам сказать, что загробная жизнь есть. Не могут доказать, а мы не верим. Вот так и живём. Как бы на разных берегах: они нас видят, хотят помочь, неразумность нашу поправить, подсказать задним умом, как надо правильнее жить, а не могут. Они видят, а мы слепы. В этом наша беда, может.

Ну-ка, Шурка, давай уйдём подальше от стана, а то тут железа много: коса, телега... Не быть бы беде, видишь, как молния-то бьёт!

Они ушли по отмели к красноталу. Отсюда, сверху, реку можно было видеть всю в ширину. Напротив, в темноте густого леса, еле-еле угадывался Кунаев ключ, летом пересыхавший, но хранивший в себе сумрачность, заболоченность и великое множество комаров. Но это Шурка не воспринимал как враждебность ключа к людям. В нём было много и щедрот — чёрной смородины, ежевики, черёмухи...

— Летось, вот в такую же пору, Авдей шёл с вилами вечером. Ахнуло по железным вилам — и нет Авдея. Бабёнкам хоть бы хны, а он лежит почерневший весь. Одногодок мой, вместе в Царицыне служили в царской ещё армии, вместе ушли домой.

— Деда, зря, выходит, старались с перетягами-то, сом уж точно сегодня на охоту не выйдет, а?

— Наверняка так. Не повезло нам.

Два дня назад они перегородили перетягами Самарку так, что яма, из которой выходил на плёс сом, оказалась между ними. Сом заметил Серёга и подбил отца, пока сенокос здесь, рядом, попробовать счастья. У Ивана Дмитриевича в погребнице всегда висели плетёные из суровых ниток, толстые в карандаш и длиной в метр, поводки. Крючки были самодельные, из пружин от сиденья велосипеда, откованные покровским кузнецом. Вчера ещё засветло в намеченном месте воткнули колья, и два перетяга заняли своё место, шумно хлопая бечевой по речной глади. Чуть позже, уже в сумерках, Серёга ненадолго отлучился и принёс в ведре с водой живцов: сорожку, карасей. Оказывается, в старице заблаговременно была поставлена сетка. Наживку поехали ставить втроём, и Шурка, сидя на носу лодки, видел всё таинство действия.

Бечеву пропустили через нос и корму. Лодку потоком влекло вниз, перетяг поднялся над водой и, натянувшись, как тетива, держал лодку поперёк течения реки.

Не спеша, прямо в лодке дед ловкими движениями привязывал поводок к перетягу. Получилось по пятнадцать поводков на

каждом перетяге. Серёжка насаживал живца, бережно и одновременно решительно прокалывал крючком чуть ниже спинного плавника. Четырёх самых больших карасей, по полкило каждый, два на каждый перетяг поставили в самом глубоком месте — в десятке метров от противоположного берега. Уже ночью Серёга поджарил на углях ворону и тоже нацепил на поводок.

— Для запаха, и вообще, — он щёлкнул языком, — только ленивый чудак не возьмёт нашу наживу.

Но сом не брал. Он вообще лишь в первый вечер дал о себе знать один раз: так ухнул меж двумя перетягами, что мелочь шархнулась в разные стороны. И всё. Будто засвидетельствовал своё присутствие, а там как хотите. Вторые сутки нажива не тронута.

— Теперь понятно, почему сом не гуляет, — нарушил тишину дедушка.

— Почему? — торопливо спросил Шурка.

— Ты же видишь, какая погода разгулялась. Не по его натуре. Напрасны наши труды. Он не выйдет на охоту. Ему нужна светлая, спокойная ночь. Обычно сома ждут три ночи. Если не появится, на то обязательно своя причина.

Бороний зуб, про который говорил дедушка, так сильно снова царапнул по небу, что оно как будто всё загорелось от этой спички. Враз содержимое большого и необъятного пространства раскололось с грохотом и обрушилось вниз на землю: на Самарку, рыдван, Карего, который дёрнулся с места и, стреноженный, громко заржал. И из этого ада, из невероятной череды яркого света и густой тьмы появился с бреднем на плече Серёга.

— Живы?! — выкрикнул он.

— Как Ракчевы там? — спокойно отозвался Иван Дмитриевич.

— Хотели сами рыбачить, да тётя Мариша не разрешила, боится за них. Пошли? А то уйдёт гроза.

— Мне кажется, что она уже уходит в сторону Покровки, — сказал дед.

Шурке и хотелось попробовать порыбачить, и не верилось, что он решится.

— Держи, Шурка, мешок, будешь рыбу собирать, а ты, Сергей, в глуби пойдёшь.

— А чего мне, пойду, — Сергей шагнул к воде.

Быстро размотали бредень, расправили мотню и вниз по течению потащили клячу. Дед брёл по колено в воде, намеренно дале-

ко отставая от Серёги. Удивительно для Шурки: чуткий и быстрый подуст, которого обычно ловили с лодки днём со всеми мерами предосторожности, сейчас сам шёл стаями в бредень на мелководье. Вода от него, казалось, кипела. Три раза вывели бредень, и Шуркин мешок отяжелел от бели. Было там и несколько раков, оказавшихся совсем некстати: кололись — нельзя мешок взгромоздить на спину. Но Шурка их не выбрасывал, уже представляя себе, как, едва взойдёт солнце, будет варить их в котелке, пока дед точит косу.

— Никак, зацепился? — крикнул приглушённо Иван Дмитриевич и Шурка побежал поближе к рыбакам.

— Наверно, топляк здоровенный, — сказал вяло Сергей.

Подтащив клячу к берегу, воткнул её и направился к мотне. И в тот же момент — там, где ожидалась коряга, в самой мотне, что-то взбурлило, зашевелилось большущим пугающим комом. Серёга закричал:

— Сом, сом-голубчик, вот он!

Когда сверкнула молния, Шурка отчётливо увидел Серёгу и под ним огромное чёрно-белое чудище. В следующий момент подоспевший дед Иван схватил вместе обе клячи бредня, стараясь свести крылья воедино, чтобы преградить выход сому, но споткнулся и упал в воду. Сергей метнулся на берег, увидев белеющий в высверках молнии воткнутый на песчаной отмели осиновый кол. Это и решило исход схватки.

Шурка подошёл совсем близко. Серёга выволакивал по мели спутавшийся напрочь бредень, спеленавший огромную рыбину.

...Около костра Шурка лёг рядом с сомом. Рыбина оказалась намного длиннее его тела — на целую вытянутую руку.

— А как думаете, это тот, которого мы хотели поймать? — спросил Шурка.

— Здорово было бы, если это его младший брат! — засмеялся Серёга.

— Я днём отвезу его, а вы понаблюдайте, и всё станет ясно. Петреяги пока не снимайте, — распорядился Иван Дмитриевич.

И только он это сказал, на реке знакомо ухнуло так, что Сергей даже вскочил.

— Мать честная, и правда, их два. Дела!

— Вот ведь какой коленкор, — сдержанно обронил Шуркин дед и почесал затылок.

На пилораме

Стены избы Любаевых поднимались с радостной быстротой. Народ собрался дружный. На помочах это самое главное! Командовал, конечно, Василий Фёдорович, который не указывал пальцем, не махал руками. Он просто и спокойно говорил, как и что нужно делать. Все с охотой подчинялись, удивляясь его смекалке.

— Василий, тебе бы в командармы или председателем нашего колхоза, а ты таишь в себе эту жилу, — сказал не умевший долго молчать смешливый Андрей Беспёрстов.

— Не балабонь и не мучай кирпич. Смахни под ним на четверть штыка горбушку-то земляную с левого краю, он и ляжет, — отвечал Василий Фёдорович.

— Я ещё только примеряюсь, — оправдывался Андрей, укладывавший с напарником в траншею первый ряд самана.

Шурка с отцом только вчера наметили размеры дома. Он по команде Василия Фёдоровича вбил колышки по всему периметру, отметив, где копать траншеи под стены. Сегодня утром дружная команда всё быстро сделала. Прямоугольник из траншей был готов: девять метров в длину и шесть в ширину. И теперь изба росла прямо из него. Раствор для кладки делали тут же, внутри будущего дома из той же самой земли, которая должна остаться под полом, добавив немного глины.

У Шурки своя обязанность: подтаскивать с задов и распределять по периметру кладки хворост, который использовали для связки.

...Прошла неделя, как стены избы уже стоят, а вот прорваться на пилораму всё не получается: то сломана, то лесхоз своим работникам пилит. Наконец дошла очередь и до Любаевых.

Ошкуренные и подсушенные осокори привезли на распиловку за поллитровку водки. Отец ходил к чайной и подрядил одного бойкого парня на грузовике.

Пилорама — первая серьёзная машина в жизни Шурки. Правда, он бывал на чёске шерсти в промкомбинате, где по круту ходит флегматичная лошадёнка, приводя в движение механизмы. Бывал он и на паровой мельнице. Но это же не сравнить с тем, что он увидел. В огромном деревянном сарае, стены которого сбиты из широченных досок, стояла загадочная машина, очень похожая на большого кузнечика. Механизмы машины, затягивающие в себя брёвна, похожи на ноги этого кузнечика с высоко поднятыми колёнками. И визг, и скрежет пилы тоже чем-то, казалось, напоминали этих сельских обитателей.

На пилораме царил запах дерева. Ворохи опилок, весь воздух в сарае пропитаны лесом, Самаркой. Шуркины осокори лежали уже под навесом справа от тележек, катающихся по рельсовой дорожке. Команда из Василия Фёдоровича, Степана Синегубого и Ковальского ждала своей очереди. «Всё, как на паровой мельнице: очередь и опилки вокруг, как мука, лезут за шиворот», — подумал Шурка и улыбнулся.

— Ты чего, Шурк, развеселился? — спросил отец.

— Да, так, вспомнил, как мы с дедом на мельнице ждали, сидя в телеге на мешке с пшеницей-белотуркой. Впереди нас лошадь у дядьки сорвала шапку с головы. Он перепугался, еле отобрал — завязка между зубов зацепилась узлами. Он просил животину от-дать, а хозяин лошади матерился.

— А чего ж он матерился? — лениво переспросил Синегубый.

— А чтоб завязки нормальные были у шапки, — пояснил Шурка.

— Хорош мужик. Его б к нам на фронте старшиной, цены б не было, — констатировал Синегубый и, чуть помолчав, снова спросил: — Ну, как, это братское кладбище нравится?

— Какое? — не понял Шурка.

— Ну, пилорама? Жили-были деревья. Раз — и нет их, есть опилки и доски. Доски постоят два десятка лет и сгниют. Всё прахом полетит. А были деревья: зелёные, птицы в них пели.

— Чего ты, Степан, голову дуришь парню, делать нечего? — строго произнёс Василий Фёдорович.

Шурка опешил от рассуждений Синегубого. У него тоже такая мысль была. Обожгла ещё там, на делянке, когда пилили с Веней эти самые осокори. Но тогда, глядя на жизнерадостного Веньку, он отогнал эту мысль, как глупость, подумав, что такое может прийти в голову только случайно и не взрослому, а Шурка хотел быть взрослым. Но вот и Синегубый, воевавший, раненый, контуженный, закалённый, тоже думает об этом?

— На, Шура, будешь подсоблять класть брёвна на катки и подавать к распилу, — отец протянул толстый с кольцом вверху лом. — А ты, Стёпа, близко к машине не подходи. От греха подальше. Здесь твоим глазам видней, тут будешь.

Василий решил все осокори прогнать на «двадцатку» для тёса на крышу.

Без рукавиц работать тяжёлым ломом было непросто. Шурка при каждой загрузке старался делать всё ловко и ритмично. Ему нравились отточенность и определённость движений. Но он быстро понял, что надолго его не хватит — выдохнется.

— Дядя Вась, у вас дома беда, — с ходу выпалил Колька Зинин, появившийся в широком проёме ворот, там, где начинались рельсы узкоколейки.

— Говори! — властно сказал Любаев.

— Ваша Надюха объелась белены, её всю колотит. Я спотыкошки прямо к вам. Тетя Катя послала.

«То куриной слепоты наберёт, то вот теперь белена... Эх, Надюха, Надюха», — только и успел подумать Шурка.

— Бесамыга такая, — обронил Василий. — Степан! Тут без меня с Шуркой продолжите? Мне идти надо.

— Отчего ж не продолжить? Продолжим... — отозвался тот. Любаев, поменяв лом на бадик, ушёл.

В Ревунах

Головачёв этой осенью подрядился на пару с Гришей Ваньковым сторожить бахчи в Ревунах. Ревуны — это цепь озёр за посёлком Красная Самарка в сторону Малой Малышевки.

Говорят, Ревуны — бывшее русло отступившей от этих мест влево Самарки. Разбухающие весной от полой шальной воды, сливаясь воедино, они шумят и режут, неся мутные потоки до тех пор, пока там, в речных верховьях, на чистом степном просторе, не иссякнет запас водной лавины.

И станут озёра на лето тихим убежищем для уток, выпи, лысух и всякой мелочи, летающей, порхающей и бегающей. И будут глядеть они из-под крутых берегов через заросли на небо своими тихими сузившимися зрчками.

...Больше всего нравилась Шурке дорога на бахчи в Ревунах. Чаще всего в гости к деду он добирался на велосипеде. Путешествие недлинное, но не из лёгких.

За Самаркой особенно тяжело, колеса вязнут в песке и часто приходилось останавливаться. Но зато какими подарками щедро оделял этот путь! После моста, когда Шурка ехал из Утёвки, едва взобравшись на крутой берег Самарки и ещё как следует не успев насладиться простором, избытком синевы неба и воды, нырял он в глубокий овраг. Дорога пересекала его строго поперёк, обрамлённая слева старым лесом, а справа — талами, скрывающими ответвление на лесной кордон в Моховое.

На одном дыхании одолеть Шурке овраг не удавалось. Каждый раз пересекал его пешком. После прохладного оврага вновь подарок — большущий песчаный плешивый курган. Здесь, на

подъезде к нему, Шуркина душа каждый раз вздрагивала. Он начинал невольно озираться, как бы пытаясь найти опору, за которую, зацепившись, удержался бы и не упал в пропасть, так или иначе связанную у Александра в сознании со словом «вечность». Эта опора сама собой появлялась лишь только тогда, когда он вплотную подъезжал к кургану и переставал его видеть издали. Вблизи курган закрывали деревья, дедов шалаш на бахче, предметы быта, омёт, заботы разные... Только здесь уходило ощущение, что завис он на каком-то ненадёжном канате над бездной и она его готова проглотить...

...Совсем другое дело — дорога назад с бахчей в Утёвку. Шурка любил, миновав овраг, выбраться на ровное место, где намеренно брал резко влево к Баринову дому. Возникало удивительное зрелище: внизу, недалеко от Покровки, правее Утёвки, уютно лежала, как дымчатая кошка, река Самарка, поросшая по берегам чаще всего осинником и талами. Подсвеченные золотистым песком, воды её излучали радостный свет.

Село Покровка — прямо внизу. С высоты птичьего полёта можно смотреть на красивую, облитую лучами закатного солнца церковь. Утёвка — там, за Самаркой, за полоской леса, за редкими прямыми столбами дыма рыбацких костров. До неё километров пять, но церковь её хорошо видна. В отличие от Покровской, купол её — светлый, кражистый — излучал такую светоносную волну, что захватывало дух и верилось в добрую сказку.

Когда Шурка стоял здесь, наверху, и видел манящую даль, коршуна, реющего в свободном полёте над Самаркой, ему иногда казалось, что стоит только неосторожно шевельнуть руками, и он тоже воспарит над этим простором. Что чудо заложено где-то здесь. Оно во всем, что его окружает, и есть только совсем незаметная грань, которая вот-вот нарушится, и тогда все, признав это чудо, начнут ликовать, как ликовало Шуркино сердце...

Было ещё одно диво в этих Шуркиных местах: не поддававшийся самым лютым холодам незамерзающий родник, выходящий из-под кручи вниз к Самарке.

В Утёвке и около неё мало берёз, считанные единицы. Здесь, начиная с Баринова дома, стояли вначале колки берёз, а затем они переходили в сплошной березовый лес! К этому Шурка привыкнуть не мог.

...Шурка на бахче второй день один — взрослые уехали. Дядя Гриша — на какую-то комиссию, дед — за продуктами. Он почему-то задержался.

Шурка решил сварить суп из добытой накануне кряквы. Сев на пенёк и поставив у ног тазик, начал ошипывать задеревеневшую тушку.

Залаял Цыган. Шурка обернулся: со стороны оврага из зарослей выходили двое с ружьями. У одного, смуглого — ружьё в руках. Шурка метнул взгляд на шалаш — там лежала его одностволка. «Не успеть, — мелькнула мысль, — рядом уже... Что же ты, Цыган, прозевал, подвёл?» Незваные гости подошли к Шурке и он враз успокоился. По всему видно, что это серьёзные охотники. У обоих были рюкзаки, каждый опоясан набитым богато патронташем.

— Что, один? — спросил чернявый и огляделся вокруг.

— Один, — ответил Шурка и насторожился вопросу.

— Тогда примешь, хозяин, гостей? — вновь сказал чернявый.

— С ночевой?

— Нет, парень, перекусить да чайку попить, — ответил уже тот, что постарше и посветлее.

И хотя Шурка больше не успел ничего сказать, чернявый по-хозяйски притулил ружьё к двери шалаша и, сняв рюкзак, повалился на землю:

— Весь день прошлялись и ни фига, это надо же, а пацан кряквой забавляется. Андрей?

Шурку кольнуло, каким тоном было сказано о нём, и он буркнул:

— Сейчас ветер дверь тронет, и ваше ружьё будет на земле, в пыли.

Тот, которого называли Андреем, вдруг весело рассмеялся:

— Алик, получил?

— Да... — протянул Алик, — уважай мастера.

Он встал и повесил ружьё вверх стволами на сучок дверной дубовой сохи.

Потом они рылись в рюкзаках и переговаривались.

— И всё-таки, чтобы закончить нашу тему... Андрей, она талантливая актриса, но нельзя же так... — он помолчал, очевидно, подбирая нужное слово. — Нельзя же делать такие, понимаешь, чики-брики, хоть ты и нравишься многим, включая и главного режиссера.

— Да-да, понимаешь, в этом есть что-то возрастное, переходное... Пройдёт. Но главная роль всё равно как будто только для неё написана. Да? А ты почувствовал, какая она партнёрша на сцене?

Шурку прошиб пот. Перед ним были артисты и не какие-нибудь, а настоящие, из серьёзного театра. Шурка сразу понял это по

манерам, по тому, о чём они говорили и как. Видеть живых артистов так близко, с ружьями, на бахчах! Разговаривать с ними! Это было, как сон. Он стушевался, не зная, как себя вести.

— Можно на столике разложить, зачем на земле, — сказал он нерешительно.

— Ах, да, конечно, спасибо.

Андрей положил на стол завернутый в марлю кружок чёрного городского хлеба.

«Ну, охотники-то из них не ахти какие, должно быть», — немного приходя в себя, подумал Шурка.

— А мы вот без пера, — живо сказал Андрей, — может, ещё на вечерней зорьке душу отведём.

— Как же — на вечерней, если вы ночевать не собираетесь?

— Собираемся. Тебя как звать? — откликнулся Алик.

— Александром, — ответил деревянным голосом Шурка.

— Ну, вот, Александр, у нас на кордоне у Репкова машина, а сами мы из Куйбышева. На кордоне и ночуем. Ты нас не бойся.

— С чего вы взяли, что я боюсь? Я вот думаю: почему вы до сих пор арбуза не просите, — осмелев, сказал Шурка.

Алик так громко захохотал, разинув широкий рот и сверкая белыми, безукоризненно ровными зубами, что Шурке показалось: это не очень нормально. Будто он так сделал специально, чтобы ослепить Шурку белизной своих зубов или прорепетировал смех на всякий случай.

— Если угостишь, покажу и научу, как есть арбуз. Пойдёт?

«Вот нахал, научит есть арбуз... Тоже учитель!» — подумал Шурка. Ноги сами его подняли и понесли на арбузные ряды.

А в спину летел гортанный голос Алика:

— Александр, для всех надо два арбуза!

Шурка вернулся к столу с парой «победителей». Гости уже разложили свои запасы на столе. Непривычно крепко пахло копчёной колбасой; о такой Шурка только слышал, но никогда не пробовал. Он вообще не мог вспомнить, когда ел обычную колбасу в последний раз.

Андрей, взглянув на Шурку, отрезал солидный кусок колбасы и положил перед ним:

— Мы отведаем твоих арбузов, а ты — нашу еду.

Шурка смотрел на его руки и думал: «Как у деревенского мужика, только очень чистые. Интересно, откуда родом, может, родители, как у меня, — деревенские?»

— Я суп хотел варить, — опомнился Шурка.

— Да, ладно, не надо — это долго, — сказал Алик, — мы хотим на вечерней зорьке посидеть.

Колбаса лежала рядом, Шурка смущался, начиная сомневаться: а вдруг она почищенная уже? Не видно кожурки-то? Начнёшь чистить, они засмеются. Выждал, когда Андрей занялся одним из кусков, и только тогда потянулся за своим.

— И часто ты крякву бьёшь? — спросил Алик.

— Каждый раз, — сказал Шурка.

Гости многозначительно переглянулись.

— А как ты охотишься? — поинтересовался Алик.

— Просто, — успокоившись, отвечал Шурка, — в одежде и обуви, чтобы не порезаться, захожу в озеро и иду из конца в конец. Они днём в камышах прячутся. На взлёте, когда крылья вразмах, а скорости нет, — только и бить. Так надёжнее, не спутаешь с лысухой — заряд сбережёшь. Обычно беру с собой один, ну, два от силы патрона, чтобы не жунять без толку заряды. Тут, в Ревунах, уток много, но надо их спугнуть из зарослей.

— Молодец, — сказал Алик, — ты нам свою науку преподал, а мы тебе — свою за это.

«Вот бы нечаянно заговорили про театр», — со слабой надеждой подумал Шурка. Алик взял нож и разрезал арбуз пополам. Положил одну половину перед Шуркой, ножом почикал несколько раз ярко-красную мякоть.

— Деревянная ложка есть? Бери и ложкой с хлебом ешь, как из чашки.

Шурка попробовал. Было вкусно, удобно и необычно.

Они доели свои порции быстрее, чем Шурка — свою. И случилось то, чего он так не хотел: гости стали быстро собираться на дальний конец Ревунов.

— А чай? — растерянно спросил Александр.

— Хозяин, ну какой чай после арбузов? — Алик уже стоял на тропе. — Спасибо за хлеб-соль. Привет от солнечного Азербайджана.

— На, возьми, тебе надо, — сказал Андрей и положил на похолодевшую ладонь Шурки три новеньких бумажных патрона. И артисты скрылись в зарослях боярышника.

Чивер и голуби

Мать Шурки через день готовила поросёнку болтушку: смесь отрубей, остатков еды и трава заливается в бачке горячей водой, потом хорошо размешивается скалкой.

— Шурка, нарви тазик жирнухи, я сделаю Борьке болтушку.

Шурка покорно взял в селнице выдавший виды тазик и пошёл мимо поросёнка Борьки, умиrotворённо хрюкающего в пыли за сениями.

В проулке, за гатью, поставив тазик в самую гущу лебеды, Шурка рвал отяжелевшие макушки запылённой, со свинцовым оттенком травы и целыми пригоршнями бросал в тазик. Неожиданно, как из-под земли, вырос перед ним Мишка Лашманкин.

— Следишь за мной? — первое, что пришло в голову, сказал Шурка.

— Дело есть, — ответил Мишка, — нужна твоя помощь.

Мишка сел около тазика и с не свойственной ему растерянностью в лице, пошарив в карманах, вынул пачку «Севера». Щёлкнув пальцем по ней, протянул Шурке выскочившую наполовину папиросу.

— Я не курю.

— Ну, ладно, как хочешь.

— Говори, что надо.

Ковальский все ещё осторожничал и поглядывал поверх травы: нет ли где спрятавшихся Мишкиных друзей, готовых врасплох напасть. Одно дело, что тот помог ему, когда была беда с ногами, другое — сейчас.

— Дай ружьё на один только вечер. У тебя есть, я знаю.

— Зачем?

— Вернулся Илья Бедуар, ну, отсидел два года. Знаешь такого?

— Ещё бы! Только он — Бедуар, а не Бедуар.

— Какая мне разница, — сплюнул смачно Мишка. — Он подсылает ко мне Чивера.

— А кто такой Чивер?

— Есть такой. Генка Горбунов, в том приходе шурует со своей гоп-компанией, они на побегушках у Бедуара. Я должен был три дня назад отдать им Гривуна, которого купил в Покровке, — они же голубятники заядлые. Не отдал, а спрятал. Теперь сегодня придут домой вечером — всех заберут.

— А родители?

— Они в Баринке, на свадьбу поехали.

— Ружьё не дам, — твёрдо сказал Шурка, — нельзя на людей с ружьём.

— Они — грабители, а ты — «нельзя». Ты просто боишься, да? Выручи! Я только пугну, а за это должок будет за мной. Этих гавриков нельзя пускать в наш конец, всех потом подомнут, понял? Стоит один раз струсить, и потом... Я ведь тебе помог тогда, на задах.

Шурка задумался.

— Когда придут?

— Наверняка перед танцами в клубе, часов в восемь.

— Хорошо, я сам приду с ружьём.

— Не обманешь?

— Слово даю.

Весь его опыт общения с охотниками, взрослыми, которые, не сговариваясь, доверяли ему иметь своё ружьё, говорил, что нельзя делать то, о чём просил Мишка. И он нашёл, как показалось, выход.

Придя домой, взял два заряженных патрона. Удалив бумажные пыжи и вытряхнув дробь, пошёл на кухню. Насыпал на ладонь из стеклянной поллитровой банки соли, внимательно осмотрел серый бугорок на свету и остался недоволен: соль мелкая, не верилось, что может заменить дробь в патроне. Высыпая соль обратно в банку, споткнулся взглядом о мешочек с пшеном. Это было то, что нужно. «Конечно, стрелять не буду, — успокаивал себя Шурка, — если уж на самую крайность, то в воздух».

...Он подошёл к дому Лашманкиных в половине восьмого.

— Вот здорово, — ликовал Мишка, — я всегда тебя считал мировым парнем!

— Я стрелять в людей не буду, — возбуждённо сказал Александр.

— Да и не надо, пальнём поверх голов — и то хорошо.

...Трое ребят появились с дальнего порядка улицы. Шли уверенно, не прячась.

— Они, — возбуждённо сказал Мишка, — я прятаться не буду, нельзя, а ты встань за плетень и пригнись.

Шурка зашёл за плетень, отделявший двор от огорода, потоптался и присел за кустом сирени.

Во двор гости вошли с форсом. Чивер, его Шурка сразу определил по нагловатой ухмылке и по тому, как заискивали перед ним остальные, с ходу поддел башмаком консервную банку у входа и она, сделав полукруг, опустилась едва ли не на голову Шурки.

— Конец тебе, Мишка, — сказал тот, что был ближе к сирени, — сейчас козлиную смерть тебе будем делать. Не принес Гривуна, пеняй на себя.

Шурка видел, как побледнел его приятель, но остался стоять на месте. Страшная это штука — козлиная смерть. Её делали обычно так: двое держали провинившегося, а третий указательными пальцами с двух сторон начинал, как шилом, давить за ушами, прямо за мочкой, в углублении. Чем сильнее жмут, тем нестерпимее боль.

— Неси Гривуна — и делу конец, — по-хозяйски сказал Чивер. — Некогда нам рассусоливать, колготу разводить. Он это не любит.

Чивер сказал «он», и все поняли, о ком это.

— Гривуна нет, — твёрдо сказал Мишка.

— Где, говори! — почти по-военному, властно сказал Чивер и в один ловкий прыжок оказался вплотную с Мишкой, мгновенно заломив ему правую руку за спину.

— Ребя, вали его саманную голубятню, чего цацкаться, хватит ему люсить!

Шурка поднялся из-за сирени, положил одностволку на плетень и скомандовал:

— Отпусти Мишку!

— Ещё чего? А хо-хо не хе-хе? Откуда ты такой?

— Стрелять буду, — возбуждённо выкрикнул Шурка.

— Кишка тонка стрелять, — сказал Чивер и выставил впереди себя Мишку.

— По ногам жажну, — подтвердил Шурка и, взведя курок, направил ружьё на обещавшего козлиную смерть. Глаза их встретились.

— Чивер, он пальнёт — это точно! — взвизгнул тот, затравленно оглядываясь на калитку,

— Ладно, кина не будет, — оттолкнув от себя Мишку, сказал Чивер, — но не попадайтесь теперь на глаза!

Когда они скрылись за калиткой, подошедший к плетню Мишка сказал, кивнув в сторону Чивера:

— Отошла коту масленица, ёкорный бабай!

— А что это такое?

— Что? — не понял тот.

— Ну, ёкорный бабай.

— А я откуда знаю? Так Бедуар говорит, — ответил Мишка и оба расхохотались.

Когда смех прошёл, Шурка спросил:

— А что это за голубь — Гривун?

— Ты не знаешь? — удивился Мишка.

— Нет.

— Гривун — это чисто белый голубь. Такую породу вывел граф Орлов. Очень красивый, на загривке треугольник коричневого либо красного цвета. У моего — коричневый.

— Ты это всё не придумал? — засомневался Шурка.

— Да ты что? Обижает, я тебе его покажу, только чуть позже.

Ладно?

— Ладно, — согласился Шурка.

...Они понимали, что на этом дело не кончится. Быть им битыми и жестоко. Но всё обошлось как-то по-странному просто.

Через неделю, собравшись на рыбалку, ребята отправились на Приказное озеро за червями. На Приказное можно идти мимо школы либо вдоль магазинов, где слева от продмага стоит пивнушка. Вот этой дорогой они и двинули. Когда до пивного ларька оставалось метров пять, от него отделились три фигуры.

— Что делать, Коваль? — заволновался Мишка.

— Поздно, иди спокойно.

— Стоп, команда! — сказал неожиданно звонким голосом Будуар.

Они продолжали путь. Шурка бросил взгляд на ларёк. Стоявшие у него парни заинтересованно смотрели на происходящее.

Остановившись, Шурка краем глаза заметил, как Мишка отстегнул с пояса широкий ремень с тяжёлой бляхой. «Ни к чему это, — успел подумать он, — даже смешно».

Чивер выскочил вперёд, но его остановил Будуар.

— Погодь, — отстранив его рукой, сказал он. — Кто был с ружьём?

— Ну, я, — сказал Шурка и почувствовал, как задрожали руки.

— Стрельнул бы тогда?

— Не знаю, — овладев собой, ответил Шурка. — Как бы дело пошло, так и сделал бы.

— Ишь ты какой, не ожидал, — сказал Будуар, покосившись на толпу у пивнушки, куда подошёл бойкий Петька Стрепеток в окружении трёх рослых парней из Золотого конца. Со Стрепетком Шурка в прошлом году был на сенокосе в одной артели. Тот зорко глянул на Шурку, потом на Будуара и вмиг всё понял.

— Коваль, привет, пиво пьём?

— Нет, — неуверенно ответил Шурка.

— Правильно делаешь, а мы вот жажнем по парочке кружек. А ты, Будуар? Пошалберничаем? Стервецы, — обратился он к своим приятелям, — занимаем очередь!

И пошёл к самому её началу, «стервецы» последовали за ним.

— Будуар, пиво у Пупчихи киснет, не тяни.

«Вот где талант пропадает, — подумалось Шурке, — его бы к нам в драмкружок к Валентине Яковлевне. Как он ласково пугает этих дуроломов!»

— Чивер! — властно, по-хозяйски, произнёс вожачок Будуар.

— Я, — откликнулся на всё готовый его подручный.

Будуар выдержал глубокомысленную паузу и изрёк:

— Ты этих ребят не трожь и своим скажи.

Он ещё раз осмотрел с ног до головы подростков и сказал с особым значением, чтобы слышали у пивнушки:

— Это — наша смена!

И отошёл, довольный собой. За ним игриво зашагал Чивер, припевая: «Он вошёл в ресторанчик, чекулдыкнул стаканчик и велел всех ребят напоить».

— Ничего себе оценили нас, — хихикнул неуверенно Мишка, когда они уже копали червей. — Кто мы теперь с тобой?

— Будуарчики! — ответил Шурка, не задумываясь.

Им почему-то вдруг стало весело. Мишка притворно упал на зелёную кочку и дурашливо завопил:

— Ой, держите меня, а то упаду. О кочкарник ушибусь!

Он умел шумно радоваться. Шурке это нравилось.

В клубе

С тех пор, как Шуркина мать устроилась уборщицей в клуб, а вернее, в РДК — районный Дом культуры, забот прибавилось. Помещение большое и хлопот с ним немало.

На Шуркину долю выпало помогать матери: поздно вечером, после сеансов, подметать полы в большом зале, перед тем, как она их будет мыть. В слякотную погоду грязи на полу под сиденьями неспорно и её трудно выметать, так как все ряды кресел крепко прибиты.

Ещё досаднее Шурке выметать шелуху от семечек, которой иногда набирается немало. Особенно, если два сеанса один за другим. Шурка не понимал, как можно во время кино грызть семечки? И не от того, что ему приходилось убирать шелуху или он считал это некультурным. Просто, когда он сидел в зале, то ни о чём

не думал, кроме действия на экране. Для него неинтересного кино не существовало. Кино для Шурки — чудо, к которому он привыкнуть не мог.

Вчера вечером демонстрировали двухсерийный фильм. И теперь с утра у Шурки работы достаточно. В фойе, как обычно, было несколько человек: кто играл на баяне, кто листал подшивки журнала «Сельская жизнь», кто не знал, куда себя деть. Шурка помнил, что назначена репетиция духового оркестра, поэтому решил быстренько выполнить свои обязанности и послушать музыку. Он взял ведро с веником и вошёл в сумрачный зал.

Зрительный зал и сцена волновали его всегда. Здесь чувствовалось присутствие тайны. На полуосвещённой сцене стояло пианино. Живое, элегантное, божественное существо. Оно манило и пугало Шурку. В отличие от своих сверстников, он не мог запросто подойти к нему и пытаться извлекать звуки. Его охватывал трепет перед этим существом, представлявшим собой часть того таинственного и завораживающего мира, который зовётся музыкой.

Ему, как никому, представлялась возможность потрогать клавиши, ведь он иногда приходил совсем один, открывал клуб и подметал пол. Но Александр этого не делал. Это не было робостью. Не робел же он играть на сцене в постановках перед целым залом, вмещавшим триста человек. Его публика выделяла. Он не терялся на сцене, что даже для него самого было удивительным. Заряжало присутствие народа, и что-то подталкивало делать так, как казалось необходимым. Когда он забывал текст (это было редко), с ходу вставлял свои слова и так же ловко помогал выпутываться партнёру, которого внезапная фраза выбивала из строя. Ковальский видел всю пьесу, всю её продумывал. Герой ему был понятен, поэтому Шурка часто догадывался, что тот мог бы ещё сказать, но не сказал.

Однажды после такой игры Валентина Яковлевна подошла к нему, прижала к груди, отчего Шурка чуть не задохнулся, и, театрально воздев руки вверх, сверкая своими красивыми цыганскими глазами, громыхнула:

— Посмотрите на него, это не просто Шурка Ковальский — это будущий великий артист!

И поцеловала смачно в губы.

Всем известно, их худрук полумер не знала. У неё всё либо гениально, либо: «не то, не то, не то, дьяволы, черти такие». Но всё же Шурка и сам чувствовал, что в нём на сцене горит какой-то непонятный ему огонь. Он в это время соприкасался с чем-то боль-

шим и магическим. То ли это правда, которую надо донести до сидящих в зале? То ли истина, без которой все в округе, если её не поймут, окажутся обездоленными? Или это кусок чьей-то жизни, о которой обязательно следует поведать другим людям, иначе человек, в которого он перевоплощается, будет обделён — его не услышат, о нём не узнают. Зачем же тогда он жил?

Так часто думал Шурка. Ему было неясно, почему он становился на сцене таким отчаянным, не похожим на себя в обычной жизни. И кто же он и какой на самом деле? И как другие люди сами к себе относятся?

То, что совсем недавно стало случаться по ночам и чему он много позже, уже студентом, узнал научное название: «поллюции» — обескураживало. Он не знал, как к этому относиться. Урод он или так у всех? Было как бы два Шурки: один неосознанно стремился к чистому и красивому, и другой — пугающийся и не знающий, что с ним творится.

Похожее с ним бывало и раньше. Вспомнив об этом, он теперь только улыбался: в первом классе Шурка испытал потрясение, увидев свою первую учительницу, красивую и справедливую Нину Николаевну, выходявшей из обычного школьного туалета. Это его тогда убило. И он долго не мог этого принять.

...Шелухи от семечек в этот раз оказалось много. Шурка заполнил четверть ведра, а всего-то прошёлся по половине зала. Решив передохнуть, сел в кресло и грустно повёл глазами. Зал был большой. По бокам сцены висели огромные из красного материала плакаты с ленинскими изречениями. Слева было написано: «Самым важнейшим из всех искусств для нас является кино». Справа: «Искусство принадлежит народу — оно уходит своими глубочайшими корнями в самую толщу широких народных масс...». Шурка уже хотел встать, как вдруг на сцену легко выпорхнула Верочка Рогожинская. По-домашнему, запросто села к пианино. И не успел Шурка опомниться, как зазвучала мелодия, звуки которой сначала заполнили сцену, затем перескочили через оркестровую яму и полились на него одного, сидевшего в полуосвещённом зале. Конечно, Верочка не знала, что кто-то сидит там. Тем более не ожидала увидеть здесь его. А ему этого как раз было не надо.

Он забыл обо всем. Видел и слышал только её.

Лёгкие белые руки Верочки, вся она, освещенная ярким светом, исторгала такие прекрасные и нежные звуки, которых он никогда не слышал. Он забыл обо всем. И невольно задел стоявшее около ног ведро с шелухой. Оно чуть звякнуло. Это привело Шурку

в ужас. Но на сцене всё было по-прежнему. И вдруг на мгновение музыка прекратилась, Верочка откинулась на спинку стула, опустила руки вниз и так забылась на некоторое время. Она была красива, прекрасна! Это Шурка понял. Такого лица, таких рук, такой музыки Шурка никогда не видел и не слышал. Такого в его селе не было. Это оттуда, из той, далёкой жизни, которую он пока не знал и которая была недосыгаемой и чужой.

Верочка вскинула руки, легко и плавно опустила их на клавиши. Шурка не сразу понял, что случилось. В следующую секунду он оказался во власти чарующей, завораживающе-светлой, но грустной до слёз мелодии. Тревожно-торжественные звуки будоражили. Верочка играла полонез Огинского. Как и тогда, во дворе у Кочетковых, Шурка вновь почувствовал неизъяснимую тоску, недостижимость мечты, неизбежность утраты. Музыка лилась и лилась. Пустой зал вбирал её и обрушивал на одного-единственного слушателя — Шурку...

Музыка поглотила его. Он видел, как в тумане, красивую девочку на сцене, вернее — силуэт её, тонул в звуках необъяснимо прекрасной мелодии, и всё это было недосыгаемо и сказочно, и всё проходило мимо — мимо его жизни. Он это почувствовал. И заплакал. Слёзы сначала не давали отчётливо видеть, потом стало трудно дышать. Он не понимал, почему плачет. Да ему было и не до того. Вновь задел ведро, которое, звякнув дужкой, опрокинулось и покатилося вокруг Шуркиных ног, просыпав содержимое. Шурка, спохватившись, поймал его, но было уже поздно.

Верочка перестала играть, встала и подошла к оркестровой яме. Близоруко оглядела затемнённый зал, их взгляды встретились.

— Александр, ты?

— Я, — сконфуженно ответил Шурка.

— А что ты здесь делаешь один в зале? У нас репетиция вечером.

Шурка молчал. «Чудовищно глупо говорить ей, умеющей так играть, что я подметаю здесь пол», — с горечью подумал он. Только бы Рогожинская не спустилась со сцены, иначе всё увидит!

Но Верочка осталась на месте. Взмахнула своей лёгкой ручкой и попрощалась:

— Ну, пока! До репетиции!

И засмеялась. В её смехе Шурке не послышалось ни превосходства над ним, ни насмешки.

Веня Сухов застрелился

Эту печальную весть, вернувшись с базара, принёс Шуркин дед. У Вени была новенькая одностволка «тулка». В отцовском амбаре он выстрелил из неё картечью себе в рот.

— Ваня, что же он, глупый, думал, когда делал это, а? — бабка Груня стоит у печки, доставая ухватом закопчённый казанок.

— Отец не отпускал его в Сибирь жить, да и женёнка его, Варька, тоже не хотела. А у него с детства мечта такая.

— Шурка, ты будешь зайчатину, с вчерашнего осталась?

— Ага, буду, — только и ответил Шурка машинально. Перед глазами стоял красивый кудрявый светловолосый Веня, который ещё на прошлой неделе, когда приходил к ним за рубанком, показывал ему, как привязывать к леске из конского волоса крючок замысловатым узлом с восьмёркой.

— Вот дядю его родного насильно сослали в Сибирь, а Веня добровольно не смог уехать, — задумчиво проговорил Иван Дмитриевич.

— Они, может, и правы, Ваня, всё-таки с одной рукой в чужих краях тяжело. Зря втемяшилось ему.

— Вот это его и сгубило, все без конца говорили, что инвалид. А он не инвалид. Любой мужик на охоте против него ничего не стоил. Все со своими ижевками двенадцатого калибра ничто против его шестнадцатикалиберной одностволки. Он же артист от природы. А чутьё у него какое? Как у собаки. Его и на фронте спасла охотничья жилка. Он рассказывал мне.

Шурка лежал на печке, где у него своя библиотечка. Щёки его все в слезах. «Как непонятно, — думал он. — Жил весёлый шутник Веня. Ничего такого горького внешне в нём не было и вдруг — застрелился. Выходит, в каждом из окружающих, кроме видимого, есть такое, о чём можно не знать, но именно оно управляет поступками и судьбой человека».

Ему вспомнилось, как Веня работал на делянке за старицей, когда валили осокори для досок на крышу и полы для дома, как наловили вместе на яички муравьев почти полное ведро карасей, а потом наварили ухи на всю артель. Тогда ещё Шурка опростоволосился. Когда собрались есть в круг у разостланного большого брезентового плаща, Шурка в приподнятом настроении от того, что именно он сегодня кормилец, наловил столько карасей, сканул:

— Чего вы все, как татары, в шапках сидите за столом?

После его слов воцарилась мёртвая тишина. Потом лесную поляну огласил дружный хохот, потому что единственный татарин, всеми уважаемый степенный рабочий из лесхоза Равиль, сидел и ужинал без головного убора, а все русские — в кепках.

Равиль только сверкнул по-молодому озорно одним своим карим глазом, второй у него был завязан белой тряпкой.

— Эх, голова садовая, — сказал Венька чуть позже, — сначала думай, потом говори...

И вот теперь Веньки нет.

Чирки

Пришедшая за пахталкой Нюра Сисямкина сказала:

— Сейчас, с утречка, ходила в Тяголовку к Машурке за овечьими ножницами, там в рытвине так много уток диких. Сроду такого не было.

— Дак вчера охоту открывали в Ильмене, городские канонаду устроили, — откликнулся отец Шурки, выходя из своей шорни, — вот они и попрытались по укромным местам.

— Я тоже разок видела. Они хитрые, садятся ближе к дворским, чтобы не выделяться, — подтвердила Катерина.

— Что, Шурка, слабо тебе со своей тулкой?

— Отец, будет тебе. Зачем парня будоражишь? — возразила Катерина Ивановна.

Но Шурка уже загорелся: «Мать честная, у меня один патрон всего, заряжать некогда, успеют распугать. Рискну!»

Через минуту он вышел из сарая с велосипедом. Поехал «на рамке», с седла не доставал до педалей.

— Поосторожней, кругом там люди, скотина, — беспокоилась Катерина.

— Ладно, мам, маленький, что ли?

Доехал он быстро. Уток заметил сразу. Их было десятка три.

«Чирки, — определил с досадой Шурка, — хотя бы одна кряква была».

Он решил подъехать как можно ближе.

Утки не взлетали, а потихоньку, несколькими табунками, спешили уплыть за изгиб рытвины — прятались. Не поднимались на крыло, напуганные, очевидно, пальбой в Ильмене.

Шурка положил велосипед и хотел разломить одностволку, чтобы вложить патрон. Однако боёк запал и, высунувшись маленьким язычком, стопорил ствол. Погнувшись, он заклинил намертво.

Наставив отвёртку на упрямый язычок, Шурка ударом ладони по рукоятке пытался выпрямить боёк. Это удалось, но он, неловко повернувшись, ткнул стволом о велосипедную раму. Металл звякнул — этого было достаточно, чтобы утки шумно взлетели и нестройно подались к Ильмену.

Шурка отбросил отвёртку. Положил ружьё на траву и лёг рядом. Решил, что потерпел неудачу и принял её спокойно. Но странное дело: утки вернулись. Прошелестев огромной стаей над головой, сели метрах в сорока от прежнего места, под обрывом.

Он встал, зарядил ружьё и пошёл, пригнувшись, к обрыву. Уток было много, это он видел, когда они летели. Но то, что обнаружил, подкравшись к обрыву, изумило! Такого скопления чирков в одном месте Ковальский никогда не встречал.

Он спокойно улёгся на краю обрыва. До уток метров тридцать. Выбрал тщательно место для локтя, примяв стебельки пырея. Взвёл потихоньку курок, без щелчка.

Под Шуркин резкий свист утки суматошно поднялись с воды и он выстрелил, не целясь. Не в какую-то одну, а — в кучу.

Стрелок разочарованно смотрел на добычу: на воде неподвижно лежали всего три утки. Один подранок-нырок скрылся под водой. Невесть откуда взявшийся сарыч, не снижаясь, закружил над ними.

— Классный выстрел, — совсем неожиданно прозвучало над ухом у Шурки.

Он оглянулся. За его спиной сидел Андрей Плаксин.

— Хуже не бывает. Дробь мелкая, только прошелестела по крыльям, не взяла. И далековато, — уныло отозвался Шурка, — думал, что не менее десятка будет — их же туча сидела.

— А я давно за тобой следил. Но, чтобы не мешать, молчал. Хотел посмотреть, как стреляешь, — отчего-то радостно докладывал Андрей.

— А как оказался здесь?

— Я за Гнедым пришёл, вон он, спутанный, отец послал.

— Эх ты, — удивился Шурка, — а я Гнедого твоего и не видел.

— Не видел? — ещё больше удивился Андрей. — Уток видел, а Гнедого — нет?

— Нет, — подтвердил Шурка, — одни утки были в голове.

— Ну, ты, Дерсу Узала, даёшь! А вдруг это был бы не Гнедой, а Амба?

Пиковая дама

Два дня дядька Серёжа самозабвенно трудился над портретом Пушкина. В сенцах на сундуке, обшитом цветастой клеёнкой, разложены кисти и краски. На стуле лежит уже законченное изображение. Шурка сел в сенях на порог и восторженно наблюдает.

— Зачем тебе второй портрет?

— Попросила бабка Дарья нарисовать. Сегодня обещала прийти. Вон уже идёт.

...Большими потрескавшимися и тёмными, как корневище, руками бабка взяла на колени портрет в голубой рамке. По-детски вслух удивилась:

— Как это... несколько чёрточек, линий и — вот он, Пушкин!

Серое лицо её сделалось строгим и печальным:

— Серёжа, а это он написал про пиковую даму? Очень хочется почитать, ты достань мне книжицу, а? Мне Германа жалко, а старуху — нет. Достань. Я несколько раз слыхала по радио, как он поёт, а вот почитать хочется про него самой, бедняжка.

Сняла с головы белый в горошек платок, осторожно завернула портрет.

— Спасибо тебе, Серёженька, за подарок.

Направилась к калитке. Остановилась, задумчивая, вернулась к порогу:

— Ты, Серёженька, береги свои способности, это редкость редкостная. За мои восемьдесят у нас только два таланта случились: Коля и Ванечка Озеровы. Теперь музыканты, в Москве али в Ленинграде, Евдокия сказывала, живут. Может, и у тебя талант. Редкость редкостная.

— Кто такие Озёровы? — спросил Шурка у Серёжи.

— Уже дядьки пожилые. Я их видел в позапрошлом году, с филармонией к нам приезжали. Интересные. Когда все чужие артисты уехали, остались они на побывку. Жить негде, родных уже нет никого. Первую ночь ночевали в клубе, потом мама к себе позвала. Они с отцом потом сидели, выпивали и так здорово играли на балалайке и баяне — страх! А на другой день сильно были грустными и оба плакали.

— Почему?

— Ходили на могилки и не нашли, где мать лежит. Всё изменилось. Ни креста, ни какой приметины.

...Дядька Серёжа быстренько собрал краски и понёс в погребницу. Он в последнее время всё делал быстро. И тому есть причина.

Наступавшая осень несла перемены. Алексей женился на приехавшей учительнице. У неё казенная квартира от школы, он собирался перебраться туда. А Сергей неожиданно для всех успешно сдал экзамены в строительный институт и через неделю уезжал на учёбу в Куйбышев.

Шурка грустил. Что-то менялось в его жизни, уходило безвозвратно.

Из избы вышла баба Груня:

— Ты что пригорюнился, а?

— Да так.

— Приходи вечером, будем читать книжку про Мюнхгаузена, чудная такая.

— Хорошо, приду, баб!

Разговор двух мужчин

С появлением Верочки Шурка на некоторые вещи стал смотреть по-иному. С лёгкой руки Валентины Яковлевны его в прошлом году записали в танцевальный кружок и там он стал солистом. Теперь танцевал национальные танцы. Всё шло хорошо. Нравились костюмы, дотошное изучение разных движений незнакомых танцев, радостный всплеск аплодисментов, которыми всегда награждали танцоров. Он уже гостролировал в Покровке, Кулешовке. Выступали под открытым небом на полях станах.

Но однажды радость от всего этого померкла. В большом школьном классе на генеральной репетиции исполняли молдавский танец. В самой середине танца он вдруг увидел Верочку, сидевшую у окошка. Смуглое лицо её было наполовину освещено ласковым сентябрьским солнцем, она щурилась и прятала голову, прикрывшись тетрадкой. Когда их взгляды встретились, она отвела глаза, губы её приоткрылись: как будто хотела что-то сказать, но не сказала, только подумала и ироническая улыбка тенью скользнула по лицу. У Шурки что-то оборвалось внутри.

Он хотел подойти к ней, когда репетиция кончилась, но не успел. Рогожинская вместе с другими убежала в спортзал. «Я понял, я всё понял, — твердил он про себя, — ей смешно было смотреть, как танцую. Я выглядел смешно. Все девчата меня переросли. За этот год вымахали на голову выше, а я, чудак, всё танцую». Шурка и раньше ревностно ловил взгляды ребят: не смеются ли, что он меньше всех. Но всё вроде бы нормально. А не оттого ли так

хлопают зрители, что он просто маленький и это всех забавляет? Но то было раньше, а теперь всё видит Верочка Рогожинская. «Не буду больше танцевать», — решил он.

Но всё оказалось намного сложнее. Когда классная руководительница, сухая и подозрительная Лидия Николаевна узнала об этом, она ударилась в панику.

— Нет, Ковальский, ты просто зазнался. С тобой везде носят, как с писаной торбой, вот ты и возомнил... Это надо же? Вся программа рухнет. Там пять танцев с твоим участием.

— Не рухнет, возьмите Женьку Рязанова. Он вам что хотите станцует. И лучше меня.

— Ты что, смеешься надо мной? Он же вечерник, ему семнадцать.

— Ну и что?

— А честь класса? Ты же представляешь — на торжественном концерте весь наш класс.

— Ну и что?

— Как ты не понимаешь? Это же праздничный концерт, посвящённый дню Великой революции!

— Лидия Николаевна, не буду я выступать!

— Скажи причину.

— Мне разонравились танцы, — упирался Шурка.

— Ты не можешь так говорить. Ты не один и не вправе подводить коллектив.

Уговоры ни к чему не привели. На следующий день с утра Лидия Николаевна объявила Ковальскому, что его вызывает директор школы после первого урока. Шурку это не очень сильно напугало. Он уже понял, что так просто его не оставят в покое. Очень не хотелось ему, чтобы вызывали в школу родителей: отец всё равно не пойдёт, а маму жалко.

...Когда он вошёл в кабинет директора, Николай Николаевич — большой, грузный, со смешными длинными бровями, которые, как усы, торчали в разные стороны, — говорил по телефону. Когда закончил, сказал:

— Ну, как дела, народный артист?

Ковальский молчал.

— Ну, да, брат, — примирительно сказал директор, — я того, не остыл, не то говорю. Не обижайся. Что молчишь, садись вот на стул.

Шурка сел и подумал: «Он что, со всеми так? Тогда что же его все боятся? Он же умный и, по-моему, обо мне всё знает. И про Верочку — тоже».

Зазвонил телефон, но Николай Николаевич трубку не взял.

— Не дадут поговорить, понимаешь. Вот дела.

Ковальский следил краем глаза за всеми движениями хозяина кабинета. То, что тот не взял трубку, ему понравилось.

— Видишь ли, ты ещё молодой, — он сказал «молодой», а не «маленький» — это Шурка отметил. — Может, поймёшь попозже — нельзя так пренебрегать коллективом, только свой каприз лелеять. Это тебе будет в жизни мешать, понимаешь? Ты что, вообще не будешь танцевать больше?

— Буду, — ответил, не задумываясь, Шурка.

— Тогда в чём же дело?

Шурка помолчал и решил:

— Если вырасту нормально, хотя бы среднего роста — буду.

Николай Николаевич всё понял. Это Шурка увидел по его глазам. Они не улыбались. Они были задумчивыми.

— Для тебя это важно сейчас? — спросил он медленно.

— Очень! — сказал Ковальский, несколько не робея.

— Да, это причина уважительная, брат. Но только ведь, скажу тебе прямо, рост — не самое главное для мужчины. В истории очень много было мужчин маленького роста, но великих — Наполеон, например, Пушкин! Понимаешь?

— Понимаю. Вырасту с Наполеона, потом посмотрим, что делать, — ответил Шурка.

Того, что случилось дальше, развязки такой, он не ожидал. Николай Николаевич икнул после Шуркиных слов, завалился на стол всей своей громадиной и неожиданно тонким голосом залиристо начал смеяться.

Потом воскликнул:

— Ну, завидую я Лидии Николаевне, у неё такие ученики! А она всё ноет. Вот баба проклятая. Вырасту с Наполеона... Неплохо! Неплохо!

Ковальский от этих слов несколько растерялся. Из уст директора такого он не ожидал.

— Александр, давай мировую с тобой заключим, а?

— Смотря какую, — неуверенно сказал Шурка.

— Я уважаю твою причину, но и ты пойми — ведь сорвётся праздничный концерт. Выступи последний раз, а там — как хочешь. Сам себе голова! Я скажу Лидии Николаевне... По рукам?

Он протянул Шурке свою огромную руку. Ковальский встал и подал свою.

— Вот и порешили, понимаешь ли, вот и весь вопрос! — громыхал директор.

Выйдя из кабинета, Шурка никак не мог сообразить, кто из них двоих оказался победителем. «А что, если бы Верочка слышала весь наш разговор, как бы она отреагировала? — думал он. — Слабак я или нет?»

Красномал

В новый дом Любаевы из мазанки переехали только в конце октября. И не успели отпраздновать новоселье, как в начале ноября перед праздниками случился пожар. У соседней Сисямкиной ягнिला первая овца, и тётка Маня, забежав посмотреть, обронила коптилку.

Кроме дома, сгорело всё дотла. От Любаевой мазанки остались только глиняные стены, она стояла вплотную с сараями Сисямкиных.

Прибежавшая из клуба с танцев молодёжь не смогла ничего путного голыми руками сделать. Больше мешалась. Отчаяннее всех действовала баба Груня — стояла на новой тесовой крыше Любаевых и принимала ведра с водой от всё-таки организованной из молодёжи цепочки. Выручал Шуркин колодец. Бабушка Шурки поливала накалившиеся доски водой, чтобы не вспыхнули. Крыша со стороны бушующего пламени парила, но не загоралась. Наконец приехали деловые пожарные. Василий Любаев действовал с мужиками в самом пекле, у сельницы. У него на спине загорелась было гимнастерка, на него тут же выплеснули два ведра воды из живой цепочки и огонь затушили.

Когда у сельницы обрубили топорами на крыше жерди и растащили часть соломенной крыши, соединённой с соседской, пламя остановилось. Сельницу спасли, а с ней и весь двор. У отца Шурки сгорел бадик.

...Впереди были праздники. После торжественного собрания шестого ноября в районном Доме культуры состоялся концерт.

Шурка танцевал и читал «Стихи о советском паспорте». Его выступление крепко понравилось районному начальству. После концерта за кулисы пришла строгая нарядная дама. Ковальский видел её раньше в райсобесе, когда был там с отцом. Она от имени зрителей вручила ему подарок — пятнадцать рублей. Она их собирала у сидевших в первом ряду для него. Он видел... Дама крепко пожала руку и ушла.

— Гордись, артист! — сказала Валентина Яковлевна, — сам Безуглов Иван Иванович, первый секретарь райкома, всё организовал. — И больно потрепала за чуб.

Шурка держал деньги и не знал, что делать. Он никого не видел вокруг, не решался пошевелиться. Не глядя в сторону Верочки, силился понять, что она думает обо всём этом. Вокруг суетились другие артисты. Ковальскому было неловко, что его так отметили.

— Вот чудак, у тебя есть что-нибудь с собой? — спросила Валентина Яковлевна. — Куда можно положить?

— Нет, — отозвался Шурка.

— Тогда вот так, — сказала она. И, забрав мятые бумажки, сунула ему в карман. Затем крепко прижала его к своей груди и он, попав лицом в глубокую душную впадину между двух тугих живых холмов, почувствовал, что задыхается. Отбросив далеко от себя назад правую ногу, обмякнув, повис на руках и груди своего худрука, изобразив ласточку.

— Комедиант несчастный, — театрально воскликнула Валентина Яковлевна и легонько оттолкнула его от себя.

— Не комедианты мы! Мы — артисты! — гордо и громко подхватил Шурка.

Кругом одобрительно засмеялись.

— Ну, раз артисты, то ваше место в буфете, — величественно проговорила Валентина Яковлевна и, увидев подходящую заведующую районо, пожаловалась: — Вот ведь никудышное дело, играют, как взрослые, даже талантливее, а выпить с ними нельзя — пион-нэ... ры!

У заведующей, жеманной Лилии Григорьевны, глаза круглые, как пуговицы. Теперь они вообще, кажется, готовы были выкатиться из глазниц, повиснув на ниточках.

Валентина Яковлевна расхохоталась.

«Это мне на мою бедность или действительно я заслужил как артист?» — размышлял, выходя из клуба, Шурка.

— Саша, подожди, нам по пути?

Он обернулся. На пороге стояла Верочка. На ней было светлое пальто и лёгкий голубенький шарфик, каких он никогда не видел раньше.

— Стал богачом и зазнался.

Шурка не обиделся. Верочка умела говорить так, что обычные слова приобретали для Шурки иной оттенок, иной смысл. Сейчас это звучало так: «Подожди, не убегай, мне приятно быть с тобой!»

— Вы все про одно: зазнался, зазнался. Хочешь, я эти деньги отдам первому встречному?! — почему-то неожиданно для самого себя заявил он.

— Нет, что ты? Я, может, неудачно сказала так.

Они пошли по улице, вдоль домов.

— Саша, знаешь, ты вправду очень хорошо танцуешь. Как-то очень радостно от этого.

— Спасибо.

— Ну, вот, ты, кажется, на что-то обижаешься?

— Нет, — сказал торопливо Шурка.

До дома оставалось метров пятьдесят и Шурка с ужасом думал, что вот сейчас они окажутся у калитки и всё будет кончено. Рогожинская уйдёт, а он останется. В этом была прямо-таки чудовищная для него несправедливость. Ковальский решился:

— Вера, пойдем завтра вместе в кино?

— А какое? — спокойно, не удивившись, спросила она.

— Не знаю, — признался Шурка. Он действительно не видел афиши.

— Ты, Саша, немножко чудной, — сказала Верочка тоном взрослого человека.

— Почему? — спросил он, лишь бы не молчать.

— Станный иногда и очень нетерпеливый.

— Ты тоже не такая, как все, — упав духом и потеряв контроль над собой, сказал Шурка.

Вера остановилась. Внимательно посмотрела и засмеялась. Опять сама себе. Но он заметил: по лицу её пробежала какая-то тень, широко раскрытые светло-серые глаза были печальны. Она чего-то как бы недоговаривала.

— Вот и твой дом, — сказала Рогожинская.

И Шурке показалось, что она даже немножко обрадовалась этому. Про кино второй раз не он стал спрашивать, а Верочка сама ничего не сказала. «Не могла забыть, специально не ответила», — подумал он.

— А вдруг твой отец настоящий объявится и заберёт тебя в свою Варшаву? — неожиданно спросила Верочка, — поедешь?

— Нет, — ответил Шурка, удивившись тому, что та знает про его отца.

— Не поедешь?

— Не появится пока, нельзя ему.

— Почему так, ведь он — твой законный отец?

Шурка ответил не сразу, решая про себя: надо ли дальше говорить на эту тему. Сказал не спеша:

— Нельзя, тогда же вся наша семья переломается пополам. Так уже было: сначала один отец, потом другой. Он так не сделает. Маму пожалеет.

— Да?! — удивилась Верочка. И замолчала, глядя внимательно на Шурку так, что тот смутился. Помолчали некоторое время. Он не решался заговорить.

— Если твой отец живой, то у тебя могут быть где-то братья, сёстры. Так ведь?

— Не знаю, — огорошено ответил Шурка, — я об этом даже ни разу не подумал.

— Эх, ты, голова садовая!

Шурка видел, что говорит Верочка одно, а думает о другом. И он говорил не о том, что думал. А о чём думал, говорить не мог. Это нельзя выразить несколькими словами, вдруг, сразу.

— Ну, что ж, до свидания, — попрощалась Верочка, когда они поравнялись с Шуркиным домом.

— Я смогу проводить дальше, — запинаясь, произнёс он, и ему стало ещё более неловко. Словно просил одолжения, заранее зная отказ.

— Нет, здесь же рядом, — неестественно бодро проговорила Верочка и улыбнулась: — До свидания, Саша! Ты очень хороший.

— Да, — выдохнул Шурка, — до свидания.

И только уже во дворе опомнился: репетиция-то у них через три дня, а она сказала «до свидания»... Ошиблась или согласилась завтра пойти с ним в кино?

Дома его ждал сюрприз. Во дворе около крыльца лежал целый ворох краснотала, того самого, что растёт вдоль Самарки и который ещё зовут вербой. Он был разный, Шурка это заметил. Маленькая часть покрупнее в комельке, толщиной сантиметра полтора, остальные — в карандаш. Шурке припомнилась присказка, связанная с красноталом:

*Верба хлёт, бей до слёз,
вставай рано, бей барана, бей до слёз.*

Или:

Верба бела — бьёт за дело.

Считалось, что, если весной на вербохлёт побьют рано утром кого-то вербой, тому суждено быстро расти и быть здоровым. Поэтому никто не обижался, когда под смех домашних утром засоню поднимали с постели таким способом. Но обязательно необходим

краснотал, набухший красным соком и облепленный почками, похожими на мышьиные глаза. Так бывало в Вербное воскресенье. В Утёвке церковь не работала. Освятить вербу можно было только в Мало-Малышевке.

— Вот, Шурка, — сказала, встречая его, мать, — работёнка тебе нашлась, будешь кошёлки плести.

Шурка призадумался, для него это было неожиданно.

— Вишь какое дело, в колхоз на общий двор кошёлки нужны. Я и говорю Карпычу: вези материал, мы с Александром сделаем, — пояснил отец.

— Пап, а я ведь ни разу не пробовал...

— Попробуешь, невелика хитрость. Я всё покажу. Тут на полу, видишь ли, надо работать. Я долго не могу, а ты сможешь.

— Василий, ты хоть договорился, как платить-то будут?

— Дело будет — заплатят.

— Как за хомуты? Ты его слушай, он говорить-то — Москва!

— И за хомуты заплатят. Ты как, Шурка, думаешь? Осилим?

— Конечно, осилим, — ответил Шурка. Мать радостно улыбнулась.

Он вспомнил о своей премии.

— Мам, вот у меня что есть, — и протянул деньги.

— Откуда? — удивилась Екатерина Ивановна.

Шурка рассказал всё, как было.

— Вот те ну, — сказал Василий Фёдорович с расстановкой, — кормилец растёт! А, мать? Скоро мы не угонимся за ним. За такие деньги валенки надо целую неделю подшивать!

...Вечером Шурка не мог долго заснуть. Вспоминались встречи с Верой. Почему-то мысли кружились всё больше вокруг одного разговора, случившегося на большой перемене. Он стоял в коридоре у окна. Рогожинская подошла и серьёзно так спросила, как будто это для неё было самое важное:

— Саша, а ты когда-нибудь коров или овец пас?

— Конечно, — не понимая её, ответил он.

— И гусей? — засмеялась она.

— И гусей, — машинально проговорил Шурка, — гонял на озере Приказное, а что?

Ковальский вдруг испугался, что она над ним смеётся, причём, напрямую.

— Да так, — улыбнулась Верочка, — не похоже на тебя это.

— Как? — он все ещё пытался сообразить, чего она хочет. Обидеть или что-то понять?

— Разве не смешно это — гусей пасти?

— Это ты серьёзно?

— А если бы да?

Шурка почувствовал, что летит куда-то в пропасть. Он никто для этой горожанки. Неожиданно для самого себя дурашливо протянул:

— А я ещё и барана заколоть могу, шкуру снять. — Ему показалось, что в сказанном недостаточно дерзости. Чикнул себя по горлу ребром ладони: — Р-раз вот так — и нет бедненького!

Она сделала большим и указательным пальчиками своей беленькой ручки колечко, посмотрела, вроде бы шутя, сквозь него, как через увеличительное стекло, на Шурку и серьёзно произнесла:

— Зачем ты кривляешься?

«Не знаю, не знаю. Я, наоборот, желаю давно сказать что-то хорошее и важное, но не решаюсь и не знаю, что?», — так хотелось ответить Шурке, но он молчал. Что-то мешало. Какая-то невидимая преграда вдруг встала между ними. Шурка ворочался на кровати и гадал: «Забыла она мои глупости или нет?»

Мелодия

— Ну, что, свет наш барин молодой, Алексей Иванович, ускакала наша Лизочка!? — так встретила Валентина Яковлевна появление Ковальского на репетиции в клубе.

Шурка ничего не мог понять:

— Кто ускакал?

— Ну, Верочка Рогожинская. Уехала учиться в Куйбышев. Плакала наша «Барышня-крестьянка». Другой такой Лизочки, как наша пани Рогожинская, у нас не будет. Такая постановка! Разбойница, а не Верочка! К Новому году теперь спектакль не выпустить.

У Шурки внутри всё оборвалось: «Как — уехала? А как же я? Разве так бывает?» И тут же находился ответ: бывает, бывает. Сколько уехало из Утёвки. Никто ещё не вернулся. Но она так просто не могла! Она же всё видела, так всё понимала без слов. Так всегда смеялась сама себе в его присутствии. И он верил этому смеху, чего-то ждал.

— Её отец, ну, настоящий Муромский, русский барин. Говорит, что учиться надо в городе, в селе не тот уровень. Каково, Шурка?! Мы с тобой, значит, не тот уровень для них, вот черти!

Валентина Яковлевна шумно возмущалась. Шурка видел, что это она играет, жалея его.

— Вырастешь, станешь великим артистом. Все о тебе заговорят, вот поверь мне! Она тогда пожалеет о молодом Берестове. Везде будут говорить о тебе, а ей нечего будет сказать в своё оправдание. Так вот!

— Валентина Яковлевна, не надо так.

— А как? — переспросила она. — А, ну, да ладно! Непедагогично? Да-да, конечно. Бог с ним, то есть с ней.

Помолчала, глянула чёрными глазами, в которые Шурка не мог спокойно смотреть:

— Думаешь, дурачусь, да? Может, великим артистом не станешь?.. Допускаю. Но, думаешь, только успокаиваю? Нетушки! Никому бы не сказала, тебе скажу. В тебе что-то сидит такое, чего я сама не знаю. Ты себя цени! Береги, на тебе отметина есть. И все мы за тебя ещё порадуемся. Я очень хотела бы увидеть тебя взрослым. Дожить, удивиться, что не ошиблась. Ну, иди, иди куда-нибудь, на тебе лица нет...

Она легонько подтолкнула Шурку и он, открыв дверь, оказался в зале. Вяло подошёл к тому креслу, в котором сидел, когда Верочка играла полонез Огинского. Сел. В зале обычный полумрак, а на сцене всё тот же яркий свет. Элегантное чёрное пианино поблёскивало холодновато и враждебно. Всё на своём месте. Нет только лёгкого, почти воздушного загадочного существа, которое теперь, так ему казалось, и не должно было быть здесь. Или оно попало сюда совсем случайно. И этого больше не будет. Никогда!

Казалось, зал этот не имел права вообще на всё то, что здесь произошло совсем недавно. И звуки полонеза Огинского тут оказались так случайно и некстати. Будто только на время нарушили обычный ход вещей и отлетели далеко-далеко. В те края, которые называются родиной этой волшебной мелодии и которой дела нет до Шуркиной незаметной никому жизни...

Зрительный зал был пустым и холодным. Шурка грустными глазами смотрел на освещённую сцену, на две громадные голландки. Всё виделось мрачным и равнодушным. Когда же повернулся и взглянул на противоположную сцене стену, то, будто получив толчок в грудь, ощутил уверенную силу. Эта сила исходила от трёх богатырей с огромной картины Васнецова, расположенной почти под потолком. Такая же картина, но намного меньше, нарисованная дядькой Серёжей, висела дома у него над кроватью. И ничего в ней особенного вроде бы и нет. Шурка к ней привык. В избе карти-

на висела с большим наклоном вниз. Ложась спать, Шурка всегда чувствовал на себе взгляд богатырей. Здесь, в клубе, картина была высоко и всадники смотрели непривычно мимо, поверх головы, словно и они силились понять: что же там, в иной жизни, за горами, за долами. И им как бы не до Александра.

Только один, крайний справа, Алёша Попович глядел на него как-то очень похоже на то, как это делал дядька Серёжа. Подмигивал и, кажется, говорил словами бабушки Груни: «Ничего, Шурка, твоё всё с тобой. Придёт и наше времечко». Да и лошадь у Поповича, как показалось сейчас Шурке, не такая, как у других богатырей: похожа больше на конягу с общего колхозного двора. Смирная и надёжная. Своя. Ему от таких наблюдений стало немного спокойнее. Александр встал и пошёл в малый зал, где начиналась репетиция. Он всегда боялся опоздать.

Когда вошёл в фойе, из висевшего слева от косяка старенького динамика послышались тихие звуки. Вначале Шурка не обратил на них внимания, но вдруг его что-то подтолкнуло. Ещё не понимая, чего хочет, он резко добавил громкости, и всю полились волшебные звуки полонеза Огинского. Все почти враз повернули головы в сторону Шурки. На лицах восторг, восхищение, удивление. Равнодушных не было. Шуркино сердце наполнилось радостью и благодарностью ко всему окружающему, спокойной уверенностью, что всё ещё впереди! Всё и вправду только ещё начинается.

И обязательно будут когда-нибудь эти две ослепительные встречи: с отцом Станиславом и Верочкой Рогожинской.

...А удивительная музыка, заполнявшая зал, лилась властно и всепобеждающе, не признавая границ ни в пространстве, ни во времени.

1995-1996 гг.

Кóлки мои и перелесья

Миражи

В детстве так часто бывало: едешь степной дорогой в телеге или рыдване на сенокосный стан либо с дальнего кордона домой — и одолевает жара. Запас воды в баклажке давно иссяк. Сухота и духота вокруг. Дорога высохшая и твердая как камень. Стучат копыта преследуемого слепнями и мухами меринка Карего... Ты один из людей в этом пространстве зноя и июльской исто-мы. И как же радостно душе, когда вдруг там, вдали, замаячит в ложбинке кусочек леса. Околок — так обычно в нашем Заволжье называют такие островки зелени и свежести. Захочется быстрее добраться до желанной прохлады. Подгоняешь меринка, но, увы, вдруг обнаруживается, что нет никакого леска. Все только показало-сь, сложилось само собой. И напечённая полуденным солнцем голова едва не идёт кругом. Мираж. Так бывало часто.

...В один из долгих зимних вечером, соскучившемуся по лету, помню, захотелось мне прояснить, что же это всё-таки за явление: мираж. Я пошёл в нашу библиотеку, которая тогда располагалась напротив шумной чайной и поражен был основательностью, правдивостью и бережностью, с которой в словаре Даля говорилось о мираже, а вернее о маре. Это было для меня открытие. «Словарь назван толковым потому, что он не только переводит одно слово другим, но толкует, объясняет подробное значение слов и понятий, им подчиненных...»

Все так и было.

Я несколько раз перечитал текст, звучавший как поэма: «Марить в знойное лето, когда всё изнемогает от припека солнца, земля накаляется, нижние слои воздуха пламенеют и струятся, искажая отдалённые предметы, которые мелькают, играют; марить перед грозой, когда воздух душный, пот и слабость одолевают; так же во время лесных палов, когда воздух становится мутным, горкнет, и среди мглы солнце стоит тусклым багровым шаром...»

Я не удержался и стал искать слово «околок», желая, очевидно, неосознанно получить наслаждение от толкования и этого сло-

ва, но не нашел. У Даля есть слово «кóлок» — «отдельная рощица, лесок или лесной остров». И лишь вскользь упомянуто слово «околок» как кора дерева. Зато нашел я милое сердцу слово «перелесок» — узкая полоска леса, соединяющая два леска, а рядышком и «перелесье» — поляна между лесков, прогалина в лесу. И стало радостно почему-то и спокойней на душе, будто я в чем-то глубже осознал себя. Понял своё место, определил систему координат и нашел ту маленькую точку в них, где я нахожусь. И мне стало более понятным, что со мною происходит и может ещё произойти: за очередным колком ли, перелесьем, или где-то ещё...

...Теперь, много лет спустя, я с радостью возвращаюсь в свои березовые и осиновые колки, чья чуткая листва успокаивает и баюкает меня, возвращая душевное равновесие...

Но чаще всего мчусь по перелесьям, которые порой вмещают в себя заводские коллективы, встречи, рукопожатия, конференции, презентации, города, а порой и далекие чужие страны...

...На моей голове давно уже нет того выцветшего под палящим солнцем льняного вихра, давно я не запрягал лошадь. И смогу ли уже теперь... Но солнце всё так же светит, ярко и жарко. И хотя оно уже вряд ли меня застигнет с непокрытой головой одного в степи, но всё же душа порой в сегодняшней суете ищет зелёный прохладный островок, где дышится и думается свободнее и отраднее...

Может быть, поэтому и назвал я свои заметки «Кóлки мои и перелесья».

И вина ли моя, что миражи продолжают преследовать меня...

Обручился с Волгой

В Союз писателей России меня принимали на выездном заседании во время проведения дней поэзии «Жигулевская весна» в 1995 году. Было это километрах в пятнадцати от города Жигулевска, по дороге в село Ширяево в бывшем пионерском лагере «Жигулевский Артек». Этот день мне запомнился навсегда и в подробностях. Было десятое июля. Утро. Проснувшись, я вышел на затравевшую полянку с принадлежностями для бритья и маленьким зеркальцем в руках. Группа писателей как-то организовано (это я сразу отметил) гуртовалась под большим серебрястым тополем, недалеко от пожарного крана с бочкой воды, где я как раз и собирался побриться. Территория лагеря, ухоженная и подготовленная к заезду ребятни, пока пустовала.

Едва я закончил свои нехитрые дела, подошёл секретарь Самарского отделения Союза писателей, прозаик Евгений Лазарев. Как-то буднично, по-домашнему спросил:

— Ну, готов?

Я понял вопрос по-своему, связывая его с готовностью идти в столовую, бодро доложил:

— Всегда готов!

И тут он объявил собрание открытым и обозначил единственный пункт повестки дня. Проголосовали за принятие меня в Союз писателей единогласно.

Этот день стал для меня особенным. Казалось, что весь окружающий мир просится в книгу, и все вокруг существует лишь только для того, чтобы быть в книге. Верилось, что я могу написать обо всем. Я — писатель! Это признано присутствующими.

И столетие Есенина, и близость села Ширяево, единодушное, доброе ко мне отношение самарской писательской братии — всё казалось мне тогда знаковым. Всё обязывало. Ночью, в переполненной душной комнате, долго не спалось. Едва забрезжил утренний свет, я вышел под открытое небо. Долго бесцельно, подчиняясь каким-то силам, волнами гуляющими во мне, бродил по прохладному лесу. Мысли были беспорядочны, чувства обострены, я понимал, что вхожу в какую-то новую свою часть жизни или жизнь, непохожую на прежнюю. Я вдруг почувствовал, что в свои пятьдесят лет я упустил время, чтобы свершить что-то серьезное и значительное в литературе, что у меня много замыслов, но времени... увы, остается мало. Смогу ли я соответствовать своим замыслам? Сомнения навалились на меня. Такого со мной ещё не было. Когда готовил свою первую книжку, я писал, как дышал, мне было радостно и свободно...

...До Ширяево оставалось километра полтора, захотелось искупаться. Настроение было у всех приподнятое. Вокруг: ширь небесная и волжская речная синь. Справа невдалеке уже угадывалось Ширяево, колыбель известного и такого своего, понятного волжского поэта.

*В междугорье залегло
В Жигулях моё село.
Супротив Царёв курган —
Память сделал царь Иван...*

Я прочитал вслух эти строчки и не хотелось к этому, такому простому, как снег, небо, воздух, стиху ничего добавлять, всего было с избытком. Подошёл Евгений Васильевич и, не говоря ни

слова, тоже стал смотреть на междугорье, на водный и небесный простор, на нас всех сразу. Он понимал, что творится с нами со всеми и со мной в этот миг. Так мне казалось.

Вода была холодной.

Первым обрушился в неё грузный Валерий Острый. Александр Громов и бородатый Переяслов вошли в огромный студеный поток не торопясь.

Когда они вышли из реки и поднялись на крутой берег, мне, присевшему у кромки воды и наблюдавшему за ними снизу, все они, обнажённые, непривычно белые после зимы на фоне небесных барашков летнего неба, показались большими невинными детьми, почти ангелами, резвящимися под чьим-то недремлющим добрым всевидящим оком! Я это почувствовал всем существом своим, ибо и на себе ощущал из бездонной синевы небесной тот взгляд. Нас словно кто-то приветствовал и благословлял, таких разных, порой непримиримых, а в общем-то единых по общей человеческой сути.

Когда подходили к автобусу, Николай Переяслов обнаружил что, купаясь, обронил в воду кольцо. Кольцо было обручальное. И обручился-то он со своей суженой всего две недели назад.

Несколько человек вернулись к воде, походили, посмотрели: кольца на берегу не было.

— Тут нет, — уверенно произнёс Переяслов, — я точно знаю, что кольцо обронил в воде. Я это почувствовал, но не понял сразу... Выходит, обручился с Волгой. Радоваться надо!

Так сказал и мы враз все переглянулись, а он заулыбался. В автобусе уже, когда подъезжали к селу, один старейший самарский писатель, наклонившись ко мне, произнёс:

— Вот ведь, а?.. Года два назад местный поэт наш (он назвал фамилию) задержал нас всех, потеряв свои часы в такой же вот поездке. Измотал просьбами искать вместе с ним пропажу, а этот... улыбается себе. Что жене-то молодой будет говорить? С Волгой обручился?

Я оглянулся на Переяслова, он сидел в окружении молодых, начинающих литераторов и белозубо улыбался. У всех были просветленные лица.

«Боже, они, как и я, приняли этот знак — обручение с Волгой — на себя!..»

Тень от вежды

Сегодня гулял по пустынным осенним тропинкам Переделкино. Моя спутница, московская поэтесса, пятидесятилетняя дама, приехала в Дом творчества писателей на этой неделе, оживив разрозненную стайку литераторов, которых было здесь не более полтора десятка.

Мы познакомились легко и сразу, когда она вселилась в новый корпус, в номер напротив моего.

...Наш разговор под осенним небом, пасмурным и мглистым, идёт неспешно.

— А сейчас что-нибудь пишете? Ведь здесь самое то место, где можно забиться в рукописи.

— Да, — отвечаю, — пишу потихоньку.

— Что?

— «Колки мои и перелесья».

— Что-что?

— Повесть.

— Нет, вот это: колки и там что-то ещё...

Я объяснил, что такое колки и перелесье.

— И зачем это вам? — она приостановилась и, помахивая большим желтым кленовым листом перед вздернутым своим носом, в упор посмотрела на меня.

Я не понял и сказал ей об этом.

Она пояснила наставительно и терпеливо:

— Зачем вам, современному человеку, доктору наук, профессору, это?

— Что это?

— Вы же учёный, генеральный директор завода, вы знаете мир промышленников, ученых...

— И что же?

— Пишете об этом... Зачем вам снова в деревню? Вы там были с рождения всего-то восемнадцать лет, пока не уехали в институт учиться. Слава Богу, что вырвались за околицу. А много ваших сверстников живет в селе?

Я стал припоминать ребят, с которыми учился, дружил в детстве в Утёвке, и оказалось, что большинства из тех, кто остался в селе, нет в живых. Некоторые спились, кого-то по пьяни сбили трактором, а кто-то сам от безысходности наложил на себя руки, как мой одноклассник Саша Скудаев, лучший в нашем классе шахматист и математик.

— Вот видите, за что цепляться-то?

Я слушал её. Голос доносился будто откуда-то издалека. Он говорил мне то, о чем я много уже думал, и у меня не было теперь азарта спорить на эту тему. Тем более с такой правильной горожаночкой. Мне было больно за деревенских.

— Вы же интеллигент по складу ума. Я вас не могу даже представить с вашей профессорской внешностью в сельской грязище. Боже мой, я, наверное, нехорошо говорю. Но это же так!

Она остановилась и зорко посмотрела на меня:

— Вы рискуете, знаете ли.

— Гуляя с вами? — фривольно парировал я.

— Вам ведь тут же критики как писателю приклеят ярлык деревенщика, и надолго, — не сбиваясь с серьезного тона, ответила она.

— Ну и что? Вся Россия вышла из деревень, — банально возразил я.

— Ну вот! Пошло-поехало. — Она снисходительно рассмеялась.

Я начал теряться: в чем моя вина? В том, что я родился в деревне? Но ведь я не застрял на околице? И не забыл родные места?

Моя спутница сделала другой заход:

— Вы не оригинальны. Есенин прикидывался чуть ли не старовером, вначале расхаживая по Москве в валенках. Горький называл себя — босяком, а сам в то же время штудировал Флопера и Ницше. Я заметила в прошлый раз, когда заходила к вам, что ваша рукопись написана на обратной стороне какого-то делового документа.

— Да, это листки моей докторской диссертации.

— Гримасничаете, да?

— Просто не было под рукой другой бумаги.

— Вас с головой выдает ваша фамилия. Вы что, дворянин? Из усадьбы?

— Нет, конечно, со стороны отца...

— Ваша фамилия не деревенская, — не дала она мне договорить, — так ведь?

— Не знаю. Откуда можете знать вы?

— Вы прямолинейны в разговоре и неинтересны. Удивительно, ведь повесть ваша «Под открытым небом», хороша! И вы — ну, очень положительный человек. Но запомните: талантливые книги пишут хорошие писатели, а не обязательно хорошие люди.

Я молчал.

— Скажите мне, у вас в трех местах повести повторяется слово «рыдван». Это что? Арба такая или наподобие брочки? А в конце повести: «ветла». Что за дерево, не слыхала?

Я, как мог, объяснил, внутренне подивившись вопросам.

— Вы нарочно такие слова подбирали в повести?

— Как нарочно? Без них деревня — не деревня?

— Да будет вам!

Я не стал ничего говорить. Мне показалось, что она меня просто дурачит.

Когда мы расстались, мои мысли все крутились вокруг моих рыдванов и вётел, а вернее, вокруг того, как же всё-таки понять и сказать, кто я? Моя повесть была о детстве, и без привычных с детства слов, без рыдвана, останки которого и до сих пор лежат на наших задах на гати, без кривой ветлы, у которой мой дед всегда делал стан в сенокосную пору, где мы обедали, пили аряну, спали, разморенные полуденной жарой — кто я? Тень от мощной ветлы нас спасала, она давала надежное укрытие от палящего солнца. Без всего этого я просто не представлял себя. Если вообразить, что всего этого не было и нет, тогда я и сам как бы придуманный, меня тоже нет.

Вечером, прочитав её книжечку стихов, я впал в некое недоумение. Мне не хватало понимания, кто написал книгу. Не ясно было, где родился автор, откуда он, где его корни, кто за ним и что он стоит? Будто автор инкубаторский, будто из пробирки.

Размышляя так, я достал свою рукопись, ещё раз прочёл близкое сердцу название и, взяв карандаш, жирно и твёрдо несколько раз обвёл буквы. От этого они стали устойчивее и выразительней. Когда клал рукопись в стол, поймал себя на мысли, что веду себя, как в детстве, когда, взяв большую кисть, голубой краской на самом большом тесовом заборе у сельского клуба написал назло всем завистникам и дразнилам: «Я все равно тебя люблю!» Я знал, для кого писал. И она, живущая в соседнем переулочке, в крепеньком домике с крашеными резными наличниками — хрупкая и синеглазая, догадывалась, кому это адресовано и почему. И никто нам больше был не нужен тогда.

Вот так-то!

Родительские прививки

Родители нас воспитывали на свой лад. Если вообще воспитывали в обычном, расхожем смысле.

Осознанно это было или нет, но напрямую нам никогда не говорили: вот этого делать нельзя, а вот это — можно. Они так себя вели, что часто в вихрастой моей голове возникали неожиданные мысли и сомнения.

Даже и потом, много позже, когда повзрослел, я часто попадал в эти, с простодушной улыбкой расставленные силки. Сейчас вспомнились два таких случая.

Когда я учился на третьем курсе института ко мне приехал в общежитие отец и, увидев на столе мою курсовую работу по «Деталлям машин», живо заинтересовался чертежами механизмов и тут же начал расспрашивать. Но мне эта дисциплина с передаточными числами, червячными передачами была не очень (мягко сказано) интересна, да и то обстоятельство, что отец, не имевший даже среднего образования, начинает рассуждать о вещах, требующих, по-моему мнению, специальных вузовских знаний, несколько забавляло, что ли, и я всерьез никак не мог принять его вопросы. Под предлогом, что мне надо ещё самому разбираться, а уж потом объяснять ему, я попытался увильнуть от дополнительных занятий с отцом этой скучной наукой.

— А разве сейчас вместе не разберемся? Ты же сам чертил? — не отступал он.

— Ну, зачем тебе это, отец, у тебя в мастерской всё, что вращается и крутится, кроме точила, всё деревянное, а тут — железо.

Мне просто самому было не интересно. Я уже решил тогда бросить институт и поступить в цирковое училище. Страстно хотел стать силовым эквилибристом.

Я, кажется, переборщил, отец, сверкнув глазами, понурился. Мне стало неловко.

А он отошел от стола с листом ватмана к окну и стал смотреть во двор общежития, на грязный, так не похожий на деревенский, весенний сугроб снега.

Я спохватился: отец всегда всех поражал тем, что мог наладить в деревне очень многое, что ломалось и безнадежно уже приносили к нему сельчане: радиоприемники, утюги, примусы, керогазы, часы и многое-многое другое. Это меня всегда поражало: он окончил когда-то два класса начальной школы и курсы трактористов ещё до войны, но этого ему хватало. Он ремонтировал коляски инвалидов и вообще всё, что приносили и привозили ему во двор, что можно было когда-то назвать — как он говорил — «механизмом».

Припомнив это, я хотел было как-то загладить свою промашку, и, когда уже провожал его из общежития на автовокзал, заговорил о своей вымученной конструкции в курсовой работе. Он никак не отреагировал. Просто промолчал. Умолк и я, чувствуя себя неловко и виноватым оттого, что вроде бы я какой-то изменник — перебежал в другой лагерь, где все умные, городские, грамотные и его не

пускаю туда. Организовал круговую оборону: ты, деревня, сама по себе, а мы, город, и без вас обойдемся, мы — учёные. Так получалось.

«Он ведь и лист ватмана, и чертежи, наверное, впервые в жизни увидел. Это ж ему — самый высший пилотаж, с его-то цепкостью ко всему, что связано с техникой», — доедал я сам себя.

...Сдав не только эту курсовую работу, но и всё, что необходимо было в весеннюю сессию, я приехал домой заряженным и на отдых от учебы, и на каторжную работу по заготовке сена и дров.

Мы сидели на кухне за столом с мамой и неторопливо беседовали, когда вдруг тишину во дворе и в нашей избе резко нарушил металлический, резвый, тонкий и всепроникающий звук.

— Что это, мам, у нас?

— Дак, наверное, отец вернулся из клуба после ночи — он вновь устроился клубным сторожем, и включил свою машину.

— Что за машина такая?

— А иди да посмотри, к нему цельными толпами ходят глядеть.

Я вышел во двор. Отец был в своей мастерской, из двери которой торчала длинная доска.

Заглянув, я увидел то, что меня поразило и несказанно обрадовало: отец стоял у большого грубого стола, над плоскостью которого из прорези на одну треть торчало зубчатое колесо, с неизмеримой скоростью вращавшееся и жадно вгрызавшееся в доску, которую отец подавал легким нажимом вперед. Доска-сороковка легко и красиво делилась согласно черте, сделанной на ней, на два абсолютно ровных, длинных элегантных бруса.

От вращающейся зубчатки, от оси, на которой она сидела, уходил ремень, который под столом обхватывал шкив, насаженный на вал рычащего мотора. Издавали сильные звуки две детали этой удивительной конструкции; мотор и диск, казалось, как живые, они соперничали друг с другом, отстаивая первенство — каждый своё в этом прямо-таки завораживающем действии.

Отец только тогда выключил рубильник, когда кончилась доска. Она, вильнув, развалилась на две половинки, обнажив свежий, рыжеватый смолистый срез и заполнив всю мастерскую крепким здоровым духом.

— Вот, Шурка, и все дела! — сказал приветливо и спокойно отец. — Теперь легче будет заготовки делать для оконных рам, да я уже и дрова пилил. Сухой дубок берет!

Он повернулся, и моя ладонь оказалась сжатой в маленьких, но словно металлических тисках — настолько была крепка отцовская рука.

— Как пилорама, да? — восхищенно выдохнул я.

— И да, и нет, — неопределенно ответил отец, добродушно покачивая головой.

— Почему так? — настаивал я.

— Да, это ж твои «Детали машин», наука твоя студенческая. Вот тебе ременная передача, вот шкив. — Он взял напильник и, пользуясь им как указкой, пояснил: — Вот станина, вот привод. Почти всё, как на твоём ватмане. А называется — циркулярка.

— Неужели, пап, это ты всё сам?..

Мне было удивительно, одно дело чертить мёртвые чертежи, сидеть, защищая их перед лобастыми вузовскими преподавателями, совсем иное — этот запах свежих опилок, отцовская мастерская, он сам — целеустремленный до предела, конкретный в делах и поступках до самоотверженности. Такой живой и умеющий оживить всё то, к чему прикасался.

Я вспомнил своё студенческое высокомерие в тот приезд отца, и мне стало вновь не по себе.

А он стоял в дверном проёме мастерской, прилаживая, как ни в чем ни бывало новую доску для очередного прогона на своей бодро повизгивающей циркулярке.

Такая вот прививка от чрезмерного самомнения и от кое-чего ещё.

* * *

Одну из многих прививок получил я и от мамы, но уже в солидном возрасте.

Уже месяц как защитил диссертацию, а все не мог я выбраться в село к родителям. И отдохнуть на пару дней во врачующей тиши, и новости привезти. Как никак я первый в нашем роду получил высшее образование, а теперь вот и ещё доктором наук стал. Наперекор всем обстоятельствам, работая ещё на заводе начальником большого нефтехимического производства, накопил постепенно материал и защитился в Москве.

...Когда я приехал, отца дома не было, он пришёл чуть позже и устроился напротив меня в горнице за столом, где я с дороги, притомившись, сидел перед большой чашкой кислого молока. Мать знала мою слабость — я любил кислое молоко — и она всегда его держала наготове, часто жалуясь мне, что никак не приносится к моим нерегулярным приездам и молоко скапливается у неё, и она не знает, что с ним делать. Не дождавшись, раздаёт его соседям. Надо сказать, я не говорил родителям, что работаю над

докторской диссертацией. Почему? Не очень они восторженно относились к моей работе вообще. В институте получил не очень-то понятную для них профессию химика. Ну, что такое химик? Вон Мишка Юнгов, Колька Петряев — они шоферы, мы в школе вместе учились. Подойди, попроси — они за бутылку привезут любому и сено, и дрова. Подмога в жизни. И себе что надо, привезут. Техника в руках. Крепко стоят в жизни на ногах. А я — инженер на заводе, да ещё химик. Куда меня такого сажать в компании, на какое место?

— Я защитился, стал доктором, — сказал я не без торжественности, помешивая деревянной ложкой своё любимое кислое молоко с сахаром.

Отец не успел первым ответить.

Он сидел уставший у стола, далеко откинув от стула негнущую ногу и положив руки на цветистую, освещённую мартовским солнцем, клеёнку.

— Доктором стал? — переспросила мама. — Когда ты успел?

— Да вот так, — отвечал я.

— Значит, людей теперь будешь лечить, раз доктор?!

Я не сразу нашёл, что ответить — так неожиданно был поставлен вопрос.

Во-первых, я и сам до конца не понимал, по сути, что это такое «доктор наук». Одно время я даже проповедовал неприятие этого звания. Ученый — есть ученый. И степени учености и полезности вряд ли защита и присвоение звания добавляют. Все очень условно. Во-вторых, мама всегда хотела, чтобы я учился на врача. Это же как и шофер. Видно, чем занимаешься, и видны плоды. Это не химик какой-нибудь...

— Ну, лечить не лечить, а что-то вроде... — начал мямлить я.

Но моей маме, с её одноклассным образованием, хватило быть мудрой и сейчас.

— Ой, Шура, как же это хорошо-то! Хорошо-то как! — воскликнула она, прислонившись к только что протопленной голландке и обхватив её за спиной руками. — Лечить будешь людей! Это сейчас так нам надо: у нас столько в селе хворых, беда ведь совсем, вымрет народ.

Посмотрела на меня своими нестареющими глазами прямо, и я смешался. Я сбился: то ли она действительно поверила в осуществление своей давней мечты, что я буду когда-нибудь врачом, то ли лукавит озорно, как она часто это делала, и дает мне возможность ещё поправиться. Верит мне, что я, если не сейчас, то

когда-нибудь всё же сделаю, как она хочет, но сделаю без нажима. Сам, поняв что-то, то главное, чего пока в моей учёной голове нет.

И тут в установившейся тишине, в чистой и светлой родительской горнице прозвучало то, что они оба потаённо носили в себе:

— А раз лечить будешь, то и жить насовсем в село приедешь, по-другому и нельзя! Наконец-то!

Чтобы не разреветься, я уткнулся в свою чашку с кислым молоком, стараясь деловито работать ложкой.

Такие они, родительские прививки.

Дружба

...Мне тогда казалось, и я думаю небезосновательно, что едва ли не основной задачей принимавших нас в Румынии партийных функционеров было напоить нас так, чтобы мы ничего как следует не могли увидеть. По крайней мере, трезвыми глазами.

Наша партийно-хозяйственная делегация совершала, так сказать, ответный визит. И, наверное, поделом нам, ведь и сами мы, получив совершенно определенное задание в горкоме, не давали просыхать нашим гостям во время их приезда к нам. Встречали по-советски, в 1985 году. Надо сказать, встречали и нас пышно и красиво. Рестораны, застолья, фрукты, вышитые красиво скатерти, красивые одежды, лица — всего было так много, что эта избыточность изматывала сама по себе. Но была ещё цуйка — водка из сливы, она-то нас, бедных, и своими, как нам казалось, немереными градусами, и боевым всепроникающим запахом, добивала. Долг платежом красен, мы, очевидно, того заслуживали.

И как же мы, бедолаги, обрадовались, когда нам предложили посетить в окрестностях Георге-Георгиу-Деж питомник, где разводили форель. После очередного застолья нас погрузили в автобус, и мы поехали.

...Громкоголосая и песенная артель весело коротала дорогу. Потом нас высадили, и гид пояснил, что метров триста надо идти пешком. Мы пошли. Цуйка делала своё дело, большинство готово было продолжать петь и веселиться. Кто-то уже из наших затынул «Катюшу», румыны пытались подпевать. Группочками мы нестройно, но все ж таки двигались в заданном направлении.

Мой коллега Виктор Иванович приотстал. Я его обнаружил вскоре в обществе рослого молодого румына. Они шли, обнявшись

за плечи, и разговаривали, причем без переводчика. Очевидно, разговор начался не только что.

— Дружба, дружба, — восклицал румын, — это отлично!

Ему нравилось пытаться говорить по-русски.

— Конечно, дружба — это замечательно! — вторил Виктор Иванович.

Но румыну этого, видимо, казалось мало, он остановился. Показывая в сторону длинной полосы леса вдоль дороги, по которой мы шли, произнёс:

— Это всё хорошо, потому дружба! Дружба!

Он говорил нараспев, повторяя слова, пытаясь донести какой-то очень важный смысл дружбы, конкретный и деятельный.

— Да, да, — повторял его русский собеседник, — конечно, всё, что есть, это результат дружбы, без неё ничего не будет.

Они остановились и, покачиваясь, расцеловались.

Но странное дело, румыну такого знака проявления дружбы между народами показалось всё равно мало. Он снова начал своё:

— Дружба, это...

— Да, да, — вторил, готовый к новым поцелуям мой соотечественник.

Я захотел помочь друзьям-интернационалистам и позвал переводчика-румына.

— Что говорит наш румынский товарищ? — спросил я переводчика.

— Он говорит вашему товарищу, что русская бензопила «Дружба» очень хороший агрегат.

— Что? — изумился я.

— Он говорит, что они в этом году, их фирма, закупила целую партию таких бензопил.

Оторопевший и на миг протрезвевший Виктор Иванович удивился:

— А что же он рукой показывает на лес?

— Он говорит, — пояснил переводчик, — что с помощью этой вашей пилы они успешно ведут лесоразработки на всём этом... как это у вас... массиве.

— Ну, вы, друзья, даёте! — искренне воскликнул Виктор Иванович. — Это ж надо: «на таком массиве»!

Оба румына, после небольшого диалога между собой, рассмеялись.

Помню

Мама, увидев на столе мою статью в заводской газете «Большая химия» под названием «Наперекор и вопреки», потянулась её прочитать.

Я вчера, в пятницу вечером, прямо с работы, захватив папку с заводской почтой, приехал в село на выходной. И теперь с утра не спеша просматриваю документы, сидя в светлой маминой горнице, залитой весенним апрельским солнцем. Приглушив голос динамика, стоявшего на подоконнике, она внимательно прочла статью. Свернув вдвое, положила многотиражку в общую кучу бумаг. То ли спросила, то ли подытожила:

— Так и воюешь?!

— Потихоньку, мам, слишком много всего, что мешает работать.

— Тебе, наверное, на веку твоём с рождения так положено, по колдобинам идти всю жизнь.

— Почему? — спрашиваю.

— Я ж тебе рассказывала: я уже беременная тобой была, а нас с твоим отцом не расписывали, он поляк-иностранец, что делать? Его забрали на фронт, а я с животом хожу никому не нужная. Ты родился — пошла я к Наде Чураевой, она в загсе работала, уговорила её помочь в метриках твоих записать тебя на фамилию отца. Подружка моя мне и пособила. Ни в какую не хотело начальство этого делать, а она как-то ухитрилась потом, не сразу, тайком свершить. Наперекор и вопреки всем. Она ушлая была. Отлёт, а не девка. Станислав очень хотел, чтобы тебя Сашкой назвали. И я была не против.

Эту историю о моём брате, который умер в полтора своих года, я уже слышал, но мне хочется слушать маму. Всякий раз я узнаю неожиданные подробности.

— Жалковала я, когда он умер, очень. Свет белый был не мил, а когда ты родился, радость была недолгая, год тебе было — ты у меня ослеп.

И эту историю я знаю, но раз мама вспоминает заново её, значит, ею что-то движет, носит недосказанное до сих пор на душе...

Она замолчала. Посмотрев на мою папку с бумагами, погоревала:

— Учился, учился, глаза портил. И теперь опять одна писанина, куда дело годится? Зачем тебе это надо? У тебя сколько плюсов-то?

— Четыре, мам, а что?

— Это ж очки в два раза сильнее, чем у меня, — начала она сокрушаться, — ну, как же так можно? Ещё и книжки эти пишешь, сидишь под лампой ночами. Беда бы не случилась опять.

Мне уже за пятьдесят, а маме все кажется, что Шурка её постоянно нуждается в её защите и поддержке. И ничего с этим не поделаешь.

— Вот я и говорю: зачем тебе это надо?

— Что, мам? — я задаю вопрос, хотя знаю, о чём речь. Она никак не привыкнет, что я, приезжая домой, вечерами допоздна сижу на кухне с рукописями.

Что ей ответить? Я, признаюсь, ещё не нашёл ответ на этот с виду простенький вопрос: для чего пишу? К славе, известности не рвусь, это могу сказать спокойно. К оценке того, что делаю, очень равнодушен, признаюсь. Но так ведь оно, наверное, и должно быть. Я слишком уважаю то, чем я занят. Но — для чего? Это вопрос вопросов, хотя и вышли уже две тоненькие книжицы.

И у мамы моей отношение к моим книжкам ей, наверное, самой непонятное. Она меня поругивает, а сама в прошлый приезд попросила, чтобы я привез своих книжек ещё.

— Шура, люди ходят, просят дать почитать, а у меня всего две. Их они из рук в руки передают. Я устала говорить, что у меня нет. С дальних концов приходят.

...На прошлой неделе, приехав вот так же, я пошёл в свою школу.

Школа — то место, которое притягивает всегда. А дорожка моя к школе лежит мимо дома моего дружка-земляка. Признаюсь, я не всегда рад бываю встрече с ним. Есть тому причина — он пьет, да так, что трезвым его трудно порой увидеть. То, что мы вместе учились в одной школе, росли, даёт ему, очевидно, на меня особые права, чему я не могу сопротивляться. И чаще всего встреча кончается тем, что он получает своё — за выпивкой мы начинаем разговоры про жизнь.

Я думал, что на этот раз я благополучно проскочил мимо его двора и, слава Богу, могу распоряжаться собой сам, а не — нет:

— Станиславич, ты ли это?! Обожди, я выйду.

За редким штacketником выросла знакомая, в видавшей виды вылинявшей фуфайке, фигура. И вот он — нарисовался мой земляк.

— Понимаешь, Виктор, тороплюсь в школу, — начал я, — привет огромный, на обратном пути поговорим.

— Не-е, так нельзя, ускачешь. Ты быстрый, тебя поймай попробуй потом. Мне сейчас надо, — он сделал резкое ударение на «сейчас».

Я остановился, бутылки у него с собой, кажется, не было. «Может, на этот раз повезёт, — подумал я, — останемся трезвыми».

Тем временем он подошёл вплотную и как-то необычно ответственным голосом сказал:

— Дай руку, дружище!

Он взял мою руку сначала своими обеими, затем переложил мою ладонь в правую свою и неожиданно довольно крепко пожал.

— Спасибо! — Помолчал и снова: — Спасибо!

Мы встретились глазами. Он был трезв. Я не понимал, что с ним, и о чем он.

— Вот за это! — он вынул из кармана пиджака мою первую книжку «Степной чай», — все нас забыли, деревню забыли! Всех и всё забыли, а ты — помнишь! Да как помнишь — сердцем! Не глазами и умом, а — сердцем!

Во мне что-то перевернулось. Я был ошеломлен. Я никогда не мог и думать, что услышу такое от него.

— Когда к Любе, ну, в магазин, пришли твои книжки, мы ахнули, не ожидали от тебя. Не знали, что книжки пишешь.

Он снял свою затрапезную заячью шапку и вертел её в руках.

— Помнишь, всех нас сразу. Всех! — Он посмотрел на меня пристально и сказал обжигающие слова: — Ну, иди, иди! Не буду держать. У тебя теперь своя дорога, особая...

И он, не глядя ступив своими кирзовыми сапогами в апрельский грязный снег, сошёл на обочину. Повернулся и ещё раз посмотрел на меня там, у своей калитки, неопределённо улыбнувшись.

...Не тороплюсь я отвечать, для чего пишу. Может, на это ответят за меня мои тоненькие книжки.

А случай с моим одноклассником, разговор тот меж сухих застарелых карагачей и ветел, увешанных, как большими фонарями, грачиными гнездами, нескончаемый шум крепких крыльев и весенний бодрый грай, помню.

Это во мне навсегда.

Про лошадиную биографию и «ножки Буша»

Мы сидим в просторной светлой горнице моего друга и земляка Анатолия Плаксина и он не спеша рассказывает о своём житье. Оно у него интересное, житье сельского учителя истории.

Последние два года в течение двух-трех недель у него гостят археологи из Самарского пединститута и с ними американцы Сандра Уолсон и Дэвид Энтони из штата Пенсильвания. Очень хочет-

ся американцам поближе узнать историю нашей страны, завидуют они российским археологам, в распоряжении которых богатейшие памятники древности. После первой поездки они опубликовали большую работу в нескольких изданиях, особый интерес для них представляет группа курганов шестого утёвского могильника. Дэвид Энтони готовит доклад, который предстоит сделать ему на Вашингтонском Конгрессе антропологической академии. В нем будет и сообщение об открытиях самарских учёных в Утёвке, свидетелем которых стал этот научный сотрудник нового американского университета, занимающегося, немного-немало, историей развития коневодства.

Откуда у американцев возник интерес к лошади в наш насквозь механизированный и автомобилизированный (если так можно сказать) век, допытывался мой дотошный земляк в разговоре с Дэвидом.

— О, это не составляет никакой тайны и вполне объяснимо. Американский континент отнюдь не является родиной лошади. К нам её впервые завезли в XVI веке первооткрыватели — испанцы. До этого лошадей в Америке не водилось вовсе. Вы можете спросить: а как же дикие мустанги? Ответ на этот вопрос уже найден и вполне однозначный: мустанги — одичавшие домашние лошади первопоселенцев. Оставленные своими хозяевами, они долго не признавали над собой власти людей.

Истинная родина лошади, по нашим предположениям, — это степные пространства Европы и Азии. Понятно, что немалый интерес в этом вопросе представляет для нас степной регион Поволжья. Что и привело меня сюда.

Кроме чисто археологических аспектов исследуемой проблемы, есть и другие. В частности, последние открытия археологов, антропологов, биологов, географов и других учёных заставляют немного по-иному взглянуть на развитие человеческой цивилизации. Приручение лошади в третьем тысячелетии до нашей эры сыграло не менее революционную роль, чем в своё время огонь и железо, пар и другие научные открытия. Лошадь была основным транспортным средством до конца XIX столетия.

Давайте вспомним роль лошади в военном деле. Боевые колесницы, конница, связь — вот далеко не всё, что умела и делала лошадь. И древние люди с благодарностью платили ей за это. Прекрасным подтверждением служат открытия, сделанные в Утёвских курганах. Здесь мы воочию убедились, что вместе с умершим человеком в могилу клали лошадиные черепа, конечности.

Нередко рядом с могилой воина можно найти и останки его лошади. Не исключено, что именно в ваших степях появились первые боевые конницы, а не в древнем Египте, как это принято сейчас считать. Уже есть первые доказательства, что туда лошадь, как и в Америку, попала несколько позже, чем она была распространена в ваших краях.

А то, что в могильнике на реке Сок найдена боевая колесница, разве это не подтверждение сказанному?!

— Такие находки попадают не только на Соке, фрагменты боевой колесницы были найдены и у нас, в шестом Утёвском могильнике, — дополняет рассказанное Дэвидом Энтони Анатолий Васильевич. — Предстоит определить родину этих находок. Это, пожалуй, наиболее сложная задача. Сейчас ученые в основном заняты регистрацией всех без исключения древних памятников археологии, связанных с лошадью. Необходимо найти все географические точки, где и когда впервые была лошадь оседлана. Сопоставив все известные учёному миру факты, резонно сделать некоторые выводы.

Пока, с определённой степенью риска, можно робко предположить, что именно в Волго-Уральском регионе и прилегающих к нему территориях найдены самые древние свидетельства дружбы человека с лошадью. Но окончательное решение этой проблемы видится в будущем. И во многом зависит от результата археологических раскопок.

Эта проблема уже обсуждалась на международной конференции в Петропавловске, в работе которого активно участвовали ученые из Америки, Казахстана и России (Самары).

Мой земляк-историк неутомим в своём интересе к родным утёвским местам:

— Меня поражает живой интерес американцев, как к коневодству, так и древнейшей истории нашего края. Нашим бы властям такое. Американцы с огромным вниманием отнеслись к открытому недавно древнейшему поселению славян, когда было в очередной раз зарегистрировано таковое в районе реки Съезжей. Здесь удалось найти не могильник, а целое поселение древних славян со следами жилищ, надворных построек и крепостного вала. Подобных архитектурных построек в Поволжье пока не обнаружено. Но не прониклись мы ещё значимостью открытия. В прошлом году, при прокладке трубопровода, была разрушена часть кургана эпохи бронзы. Неужели нам наплевать на своё прошлое?!

Возникла пауза, и я вслух удивился:

— Трудно представить, но факт — ещё 4-5 тысяч лет назад в этих местах жили люди. Куда же они потом подевались?

— Возможно, и в те времена были свои варвары. Одно наверняка известно, что перед монгольским нашествием в этих степях почти никого не было. В чем причина, трудно сказать, но предположения есть. Воинственные племена кочевников савроматов, сарматов, скифов и другие более сильные народы вытеснили или ассимилировали местное население. Но следы их, живших в эпоху бронзы, находят на Южном Урале (Синташтинский и Новокумаканский могильники), в Иране, на Алтае и других самых неожиданных местах. Народы не исчезают бесследно, они обязательно оставляют свою культуру, язык, трудовые навыки. Смешиваясь с другими племенами, они образуют качественно новую культурно-историческую общность на более высоком уровне развития. Возможно, так и случилось с нашими древними «земляками», в том числе и с теми, кто жил на земле нынешней Утёвки.

Слушая Анатолия, я поймал себя на забавной мысли, что завидую своему старинному другу Карему — незабвенному рослому мерину из моего детства. Такое внимание к его собратьям. Вот бы к нашим биографиям такой интерес, к нашим родословным. Да, где уж нам... Нам некогда, у нас... потрясения, сами обрекаем себя на растрату своих жизней вначале на разрушения, затем на созидание, и каждый раз с энтузиазмом, только нам, россиянам, присущим.

— Курьез у меня получился с «ножками Буша», — жалуется, невесело усмехаясь, Анатолий Васильевич.

— Американцы с собой привезли?

— Нет, я их закупил в утёвском магазине.

Понимаешь, они никак не могли поверить, что ученики моего класса так хорошо рисуют. Я им показал несколько стенных газет с этими самыми рисунками. Им захотелось посмотреть на ребят, пообщаться с ними...

— Странные у тебя какие-то американцы, больно любопытные. Я трижды бывал в Соединенных Штатах и был поражен их равнодушием к искусству. Перед первой поездкой добросовестно перечитал многих заокеанских писателей, полагая, что моё знание будет встречено одобрительно. Но, где бы я ни пытался заговорить о писателях, литературе, художниках — в ресторане, дома — нас несколько раз приглашали в гости, — везде наткнулся на полное равнодушие. Им это неинтересно.

— Да, да, может быть, — соглашался Анатолий Васильевич, — но мои-то американцы не банкиры и не бизнесмены, они ученые,

им все интересно, они поэтому и приехали, что хотят больше знать о русских.

— Что-то не очень верится, — засомневался я вслух, чувствуя, что говорю больше для того, чтобы растормошить моего собеседника.

— Ты, понимаешь, они были потрясены спокойствием наших людей. Мы, утєвцы, по крайней мере, для них такие милые, приветливые. Даже с незнакомыми здороваемся. В городах все куда-то спешат, а наши, сельские, у полисадничков сидят, отдыхают, общаются. По уровню жизни, цивилизации — невероятная отсталость, но зато какое радушие и гостеприимство. Русские берут своей душевностью. Может, в этом и есть русский секрет?

В магазинах ничего нет, а в каждой семье нормально питаются. В этом, наверное, тоже одна из русских тайн. Для них.

В последний приезд Дэвид жаловался, что американцы начали много пить и пьянство переместилось на кухни. Но, не дай бог на работе узнают, что ты засиживаешься по вечерам с бутылкой, могут быть большие неприятности.

— А «ножки Буша» причем всё-таки? — спрашиваю я.

— А? — спохватился рассказчик, — заговорился я. Сейчас скажу. Надо было пригласить ребят, но ведь и их, и американцев надо чем-то угостить, так ведь? Ну, я сообразил: надо прикупить в магазине эти самые «ножки». Так и сделал. Всем всё понравилось, ребята мои молодцы: и говорили о многом толково, и рисовали, и спели под конец. Когда же на столе оказалось моё угощение, Сандра спросила, что, мол, это за блюдо. Я и говорю, совершенно не задумываясь: «ножки Буша» с молодой картошкой в мундире». У американцев вытянулись лица, оказывается, они никогда вообще ничего не слышали о ввозе в Россию этих самых куриных окорочков. И о том, как мы их у себя называем.

— Зачем это вы делаете? — все допытывался Дэвид, тряся очками в тонкой оправе, съехавшими на его крупный, нездешний нос. — Зачем завозить?

— Как зачем? — удивился я. — Мы уже с середины девяностых годов ежегодно потребляем до восьмидесяти тысяч тонн «ножек Буша». Это 7-8 процентов производимых в Соединённых Штатах куриных окорочков.

— Зачем это, кому надо? — ломая язык, недоумевал иностранец. — Это же неправильно для вас.

Оказывается, большинство американцев об этом и не знают. Зачем им знать? Они живут в достатке, думают о другом.

— Ну, нам это, — пытаюсь доказать недоказуемое, отвечаю я, — надо хотя бы потому, что, к примеру, зерновых в России в девяносто восьмом году собрали лишь около пятидесяти миллионов тонн. Это самый низкий показатель за последние полвека, хотя в прошлом году зерна было почти девяносто миллионов тонн. Чем кормить-то? Дефицит мяса, — продолжаю я вразумлять непонятливого американца, — оценивается у нас в России институтом конъюнктуры аграрного рынка в шестьсот тысяч тонн.

— Но ведь это форма косвенного субсидирования наших фермеров, и как же ваши производители?

— «Замораживание» импорта ещё больше опустошит мясные прилавки, — уныло долдоню я в ответ. По газетам знаю: в особых, сложных условиях оказались отдаленные районы — Крайний Север, многие районы Сибири. Намечено, как известно, закупить до 3—4 миллионов тонн продуктов, в том числе, не менее полутора миллионов тонн зерна.

— Идите ко мне, — продолжает с гримасой на лице ломать наш язык Дэвид и тащит во двор.

На крыльчке он остановился, обернулся на меня, затем обвёл взглядом, чудно поведя головой слева направо и наоборот, шаря взглядом по просторному двору, увидел одну из моих куриц-хохлаток и радостно вопросительно воскликнул:

— Что это?!

— Моя курица, Дэвид.

— Курица? — переспросил он. — А это? — Он развел руками перед собой, устремив взгляд в открывающийся за селом простор, будто выпустил на моём крыльце из рук стаю голубей. — А это что есть?

— Это наш Ильмень, поле. Луг.

— Ага, вот. Ты должен понять мой вопрос! Это не поле — это должно быть — зерно, а это, — он ткнул пальцем в хохлатку, — «ножки Буша». Почему их мало в России, когда можно много? Почему так нельзя? Почему нельзя работать, чтобы много было?

— Почему, почему?.. — угрюмо и туповато соображал я, как ответить. — А потому, что это не Америка, — наконец сказал я, не глядя ему в глаза.

Он покачал головой, как учитель в ответ непутёвому ученику, и мне стало совсем уж не по себе.

— А ты бы, что ответил этому далекому от политики и от реальной жизни ученому, а? — спросил меня учитель истории.

Я не был готов ответить на такой вопрос. Хотя он во мне постоянно. И странное дело: я вроде бы (и я ли один) давно породнился

с ним. Есть и есть вопрос, а то, что на него нет ответа, это как бы другое, нечто необязательное. И так вроде легче. Наверное, потому, что уж больно тяжёл предполагаемый ответ. Пока тяжёл или навсегда? На роду написано — и точка?

Соавтор

Идёт мой творческий вечер в Нефтегорске. Ведёт его Геннадий Матюхин — артист самарской филармонии. Мы уже несколько раз бывали в Утёвке. Он познакомился со многими моими приятелями-земляками. Самостоятельно приезжал, давал в школе концерты. Читал Василия Шукшина, кое-что моё.

В прошлый приезд в Утёвку мы оказались свидетелями того, как мой племянник Сережа Никитин у нас во дворе обрабатывал свиную тушку, ловко орудуя паяльной лампой. Запах палёного, запачканный кровью мартовский снег ударяли в лицо свежо и остро. Мне показалось, что мой спутник, артист, просто убежит со двора. Не будет смотреть на всё это. Ведь прочитав мой рассказ о том, как резали поросёнка, один из знакомых — тоже артист — говорил мне: «Ах, зачем это вам? Зачем этот натурализм? В жизни и так много всякого такого...» Я же не понимал, почему это «всякое такое» надо прятать, когда оно частичка нашей жизни.

С Матюхиным по-другому. Он родом из села. Нормальный мужик. Вовсе не эстетствующий, живущий реальной жизнью.

Геннадий Матюхин — человек в Самаре известный. И не только как артист. По его инициативе два года назад был организован Литературный центр Василия Шукшина, который за небольшой срок объединил журналистов, писателей, актеров, просто людей, любящих этого замечательного русского писателя. Геннадий Матюхин за последние годы подготовил несколько литературных концертов и выступил с ними, начиная с областного центра и кончая самой дальней «глубинкой», где они стали даже частью учебных программ.

Это он, Геннадий Матюхин, широко обнарудовал тот факт, что предки писателя Василия Шукшина до переселения на Алтай жили в нашей Самарской губернии. Есть у Матюхина композиция, которая так и называется: «Самарские корни Шукшина».

...Вот выдержки из книги Василия Гришаева «Шукшин и Сrostки. Пикет», которую мне подарил Матюхин после поездок в село Сrostки. В главе «Откуда родом Шукшины» читаю:

«...Найти в сrostкинских анкетах дедушек и бабушек Шукшина не представляет, согласитесь, никакой трудности. Читаем в

одной из них: Шукшин Павел Павлович, 60 лет, переселенец из Самарской губернии, год переселения — 1867, у него жена Мавра, сноха Анна, дочери: Лукерья — 26 лет, Авдотья — 19 лет, сын — Леонтий — 35 лет, внуки: Петр — 6 лет и Макар — 4 года (в 1921 году родился третий, Андрей). Макар Леонтьевич Шукшин — это отец Василия Макаровича. А Павел Павлович, выходит, прадед по отцу. В год переселения ему было, как нетрудно подсчитать, 10 лет; стало быть, приехал он в Сrostки вместе с родителями, но сведений о них найти не удалось...

...Читаем другую анкету, из которой узнаем, что Сергей Федорович Попов, 40 лет, тоже переселенец из Самарской губернии, но прибыл оттуда тридцатью годами позже, в 1897 году. У него семь детей (потом стало двенадцать), пятая по старшинству — дочь Мария, восьми лет.

Мария Сергеевна Попова — мать Шукшина, а её отец — дед Василия Макаровича, как видим, тоже из самарских переселенцев...»

Духовная жажда и духовное родство не позволяют человеку забывать свои корни. Заставляют его находить то, что рождает и позволяет накапливать лучшее в нём. Иначе, кто мы без этого?

Так думаю и пишу я. Матюхин об этом не говорит. Он делает своё дело. Делает то, без чего не может. Он несколько раз побывал у нас на заводе с группой артистов. Его чтение в наших цехах рассказов Шукшина всегда проходит с огромным интересом.

...Понял он, из какого провала приходится мне вытаскивать завод. Работает всего пятая часть производства, десятки цехов стоят. От семитысячного коллектива осталось всего две с половиной работников.

Но опору под ногами мы уже нащупали. Ещё нет года, как я пришел на этот завод, впереди дел невпроворот, но главное уже есть — появилась вера в завтрашний день. Немало. И артист Геннадий Матюхин помогает в этом.

...В Нефтегорск нас пригласил глава района Анисимов Александр Александрович.

Сценарий мы с Геннадием Матюхиным обсудили заранее, все идёт своим чередом. И вдруг, совсем неожиданно, он читает маленький рассказик-миниатюру, один из тех, которые я когда-то записывал в том виде, в каком они рождались на устах моих подрастающих детей. Был у меня небольшой такой цикл.

Вот он, этот рассказик, под названием «Подъемный кран».

Вечер. Пора ложиться спать. Пятилетний сынишка не отпускает.

— Папа, ну прочти ещё одно стихотворение.
— Нет, Слава. Мне надо сегодня раньше лечь спать, завтра утром на работу. Надо быть в форме.
— В какой, пап, форме, что ли в милиционерской?
— Нет, просто крепко себя чувствовать, бодро — значит, быть в форме.
— Бодро?! Это, чтобы было много силы, да?
— Да.
— И чтобы можно было много всего поднять на работе?
— Ну да, и поднять!
— Э-э-э, папочка, ты опять меня обманываешь. Говорил, что инженером работаешь, а сам — подъёмным краном!

Матюхин рассказ «осовременил», ведь он был записан около двадцати лет назад, когда я работал ещё начальником цеха, до перестройки. До массового банкротства предприятий было ещё добрый десяток лет.

Он поменял в рассказе, кажется, совсем немного. Моего сынишку Славу — на внука моего, Сашу. Слово «папочка» — на «дедуля», «цех» — на «завод». И все: четверти века как не бывало. Фраза «говорил, что инженером на заводе работаешь, а сам — подъёмным краном» зазвучала ещё пронзительней и актуальней. Я ведь действительно недавно перешёл на завод, который был банкротом и медленно, но верно тонул. И моя задача — спасти его, вытащить из тины, будто краном.

Сынишка Слава пытал меня своим вопросом, когда я восстанавливал свой цех после взрыва. Но ведь и внук, получается, задавал вопрос неспроста: завод, словно после войны, захлестнувшей перестроечной волной огромное производство. И сколько теперь таких заводов!

Я поразился услышанному, осознав вдруг особо остро ту пропасть, в которой мы все оказались...

...А что зрители в зале? Они хлопали в ладоши.

В осокорях

...И в самые трудные моменты своей жизни, я уверен, человек черпает свои силы в родниках своей памяти.

Светлый взгляд из-под руки матери, добрая и усталая улыбка отца. Множество ниточек доброты, связывающих меня со всем, что окружало — вот что не даёт озлобиться, не даёт разувряться.

Сколько доброго было в детстве! Доброта не уходит бесследно, она обязательно превратится во что-то светлое и непреходящее, отразится хотя бы в детях твоих, а там уж как Бог даст.

...Ручеек от родничка дорожку всё равно найдёт, сколько его ни затаптывай. Громадную толщу пробьёт и выйдет наружу, чтобы отразить в лучах своих и свет утреннего солнца, и волшебный лик растущей луны. И ты, начинающий новое своё дело, будешь верить: вещими станут и сны твои, и дела. Верь тому и знай: так думали или так чувствовали многие до тебя, но одним не дано было умение сказать об этом так, чтобы слышали, другим это было так понятно, как запах снега, что они не догадывались об этом говорить вслух, трети стеснялись своей веры в доброту, четвёртые...

...Четвёртые так и остались в моей памяти мятущимися между добром и злом. Не суди их...

Человек бывает слаб, а жизнь расставляет такие хитроумные силки, не каждому по силам вовремя разобраться...

Найди свой родник, испей сам светлой водицы и помоги это сделать другому.

И воздастся тебе за все. И светлее будет в душе твоей, и мир вокруг не одному тебе покажется светлее. Пускай хотя бы покажется, и это благо, — так думал я. И по-другому не мог.

...Странно, я ещё не старый человек, но столько из нашего сельского быта примет, привычек ушло за последние тридцать-сорок лет. Чувствуешь иногда себя чудом сохранившимся динозавром. Это в пятьдесят-то шесть лет!..

В моей жизни кем я только не был: плёл корзины на колхозном общем дворе, трудился в артелях на сенокосе, на заготовке дров, работал на заводах слесарем, оператором, инженером, семнадцать лет директором, преподавал в институте, занимался серьёзно два десятка лет наукой, даже был депутатом разных уровней...

А вот вспомнилось сейчас и сердце забилося чаще... Как же забыл? Ведь я ещё пахал земельку нашу. Тут вот недалеко, около Лопушного озера, в осокорях...

Я поднялся и пошёл туда.

То место, где я в свои четырнадцать лет ходил когда-то за плугом, кажется, нашел точно. Раньше тут были огороды, и земля была легче и светлее той, что в селе около дома. Речка Утёвочка подтапливала низинку, и оттого-то почва становилась клёклой и тяжёлой. Вешняя вода делала своё гиблое дело — вишня и яблоки вымирали на глазах. Год от года дед с отцом пытались возобнов-

лять сад, но не тут-то было. Все потихонечку превращалось в сушняк. Крепко держалась лишь одна старая ранетка...

...Место-то я нашел, но оно стало другим. Ровными рядами стояли здесь стройные сосенки, по три-четыре метра высотой. В стороне это местечко. Не с руки сюда сворачивать с большака, идущего к мосту через Самарку — вот и не был давно здесь. Ходил, радовался нездешнему сосновому духу, зачем-то насобирав полный карман крепких, как речная галька, шишек. А самому все вспоминалось, как улыбался мой дед, когда, обернувшись, смотрел на меня, идущего в борозде за плугом, в потной сиреновой майке. Моменты, когда мы менялись местами — он вёл за повод мерина Карего, а я брался за плуг — были редки. И он делал это в то лето как бы полушутя. Но я-то видел, он меня потихонечку испытывает. Я проходил его проверку. И меня это не обижало, а наоборот — обязывало соответствовать чему-то такому, что знал тогда, наверное, один мой улыбчивый дед Иван.

...Разные были экзамены в детстве. Зимой того же года дядька Сергей испытывал меня в районной чайной. Она была на нашей улице, недалеко от деревянного клуба, который назывался РДК — районный дом культуры.

В этой чайной часто было шумно. У коновязи фыркали лошади, бодро скрипели сани на снегу. В воскресный базарный день кто не заглянет туда, где можно выпить и поговорить. Начиная со ступенек подъезда до буфета, везде гомонил народ. Многие были из соседних сел. Утёвский базар был районным.

Вот в такой зимний морозный денёчек вошёл и я в чайную. Меня всегда манила сюда многолюдность. Здесь было, как в хорошем кино, и забавно, и интересно.

— А ну, Шура, иди сюда!

Повинуясь призывному голосу и жесту моего разудалого дядьки, я подошёл к столу. Пятеро крепких ребят пили портвейн. Дядька ловко всеми пятью пальцами левой руки взял граненый стакан за донышко и наполнил его из початой бутылки наполовину.

— На, выпей за наше здоровье!

— Сережа, но ведь я никогда ещё... — начал я.

— Вот потому мы и решили: тебе пора!

Я посмотрел на сидящих за столом. Они, клоунски улыбаясь, закивали:

— Мы решили: тебе пора...

Своё смятение от непонимания до конца всей подоплеки происходящего я сумел внешне скрыть. Я не мог подводить своих. За-

жмурился и выпил без остановки. Сидевший справа, розовощекий парень в кубанке, едва успел я поставить стакан, протянул мне ватрушку и одобрительно, как лошадь в жаркую погоду, монотонно замотал головой. Другой, напротив меня, взяв бутылку, начал разливать по кругу.

— За племяша, за племяша обязательно надо...

— Дуй теперь домой! — командирским тоном, сверкнув глазами, сказал дядька Сережа. — Молодец!

Странно. Я тогда не почувствовал опьянения, а когда вышел на улицу, свежий морозный воздух помог мне. Придя домой, я шмыгнул в постель, и никто из домашних даже не узнал о моём экзамене. Но он был. И я его выдержал.

...В тот раз после пахоты в осокорях и обедали, и отдыхали мы на зеленой изумрудной травке в тени разросшейся крушины. Дед заставил меня снять мокрую майку. Я сменил её на его жестковатую темную куртку. Майку я повесил на солнышко рядышком с телегой.

...Мы уже проехали полпути, возвращаясь домой, когда я вдруг вспомнил про майку, она так и осталась на ветке.

— Беги, — сказал деловито дед, — я подожду.

...Когда я вышел на полянку, майка была на месте. Но она не висела на ветке. Очевидно, ветром её сорвало, и теперь она лежала на зелёной траве, расстелившись, словно обняв зеленое или прикрывая его своим сиреневым телом. Я остолбенел. В этом сочетании цветов, а может, света, было что-то необычное, щемящее. Я не сразу решился поднять майку с земли, нарушить это единение цвета или чего-то более существенного и магического.

Не знаю почему, но я часто в жизни своей потом вспоминал то ощущение бодрости, свежести, добра, уверенности в себе и в окружающем мире, которое исходило тогда от сиреневой майки на зеленой траве. Позже, уже во взрослой жизни, когда вставал многократно этот эпизод перед глазами, я так и называл его: сиреневое на зеленом. И относился к этому бережно. Воспоминания о сиреневом на зеленом приходили ко мне и во сне. Сиреневое на зеленом стало для меня как бы символом моего детства.

Мне иногда кажется, что не будь того случая в осокорях, не увидел бы я сиреневое на зелёном — был бы я другим. И жизнь моя сложилась бы по-другому. Ведь ни умение пахать, ни первые полстакана портвейна так сильно не врезались в память, чтобы переживались несколько раз заново. А вот это дивное сочетание двух цветов до сих пор заставляет удивляться.

Чем это объяснить?

Человек из прошлого

Об этом человеке я вскользь упомянул в своей повести «Черный ящик». Рассказал, как однажды в детстве нас с матушкой на полевой дороге он застал собирающими в дорожной пыли зерна пшеницы и запретил нам это делать. Хотя зёрна и высыпались из грузовиков, сновавших при уборке урожая от комбайнов на склады заготзерна и вдавливались в пыль, все равно были государственными. Их нельзя было брать. А нам тогда порой нечего было есть.

Он спокойно, но властно распорядился и уехал на легкой бричке с красивой городской женщиной. И он — большеголовый, властный, и она — с тонким нездешним лицом и изящной фигуркой, были словно из кинофильма «Кубанские казаки», так похожего на радостную сказку. Всё было красиво, но мама моя, отложив в сторону большое решето, через которое мы просеивали набранные кучки дорожной пыли вперемежку с зернами, молча плакала, присев тут же на обочине. Она тогда не сказала ни слова. Не знала нужных слов или не хотела говорить...

— А знаешь ли ты продолжение той своей истории с секретарем райкома? — спросил меня при встрече Михаил Семенович Мещереков, утесский врач, лечивший ещё моих дорогих мне и родных стариков.

Я ответил, что нет, никакого продолжения не знаю. Для меня это был эпизод из моего детства, яркая картинка, вспыхнувшая в памяти безо всякой связи с какими-либо последующими событиями.

— Нет, голова, он ведь в тот год чуть было не заплатил за одну промашку на посевной, хотя и не свою.

Я, когда прочитал твою повесть, вспомнил: в тот год запарка была с посевом озимых. Приезжал, помню, уполномоченный из области, подгоняли... Ну и перестарались: в спешке зерно мелко в почву заделали. Отрапортовали, а когда дожди пошли, оно все повылазило наружу. Вредительство — не вредительство, как хочешь, так и думай. По тем временам — под суд за такое дело, самая простая вещь.

Приехал с поля первый секретарь сам не свой: вот-вот опять с области проверяющие нагрянут, да и свои органы под боком — пропала его голова. Что делать?

Выручил Минька Шухов, пастух овечий.

«Дайте, — говорит, — в придачу к моему стаду ещё столько же колхозных овец, я всё поправлю».

Быстро все исполнили, как Минька говорил, и он несколько раз прогнал стадо овец по этому самому полю. Как-никак, но ушло зерно в землю. И наш первый секретарь был спасен.

Странно было слышать рассказ о том, что красивого крепкого, властного начальника, прогнавшего нас тогда с мамой с дороги, охранявшего права государства на зерно в пыли, самого чуть было не опрокинуло в пыль.

Дальнейший разговор с Михаилом Семеновичем меня удивил ещё более:

— А знаешь, тот бывший первый секретарь живет теперь у тебя в Самаре, в соседях.

Я опешил:

— Не может быть! Это же более сорока лет назад было...

— Ну и что? Ему за восемьдесят? Года два назад, я знаю, точно он был жив....

Приехав в Самару, я зашёл к соседке по лестничной площадке и навел справки. Соседка моя — бывший партийный чиновник, долго работала в обкомовских структурах. Ей восемьдесят пять, но она активна и отзывчива.

— Как же, как же! В соседнем доме, на четвёртом этаже, первый подъезд... Мы можем к нему сходить в гости, я позвоню сейчас...

Я поторопился отказать от встречи. Я был не готов к такому стремительному уплотнению времени. Для меня всё это было слишком в прошлом, очень далеко. Это была как бы совершенно другая эпоха. И встреча с одним из представителей её: как внезапная встреча с мамонтом или динозавром. Так мне показалось.

...Но однажды я его неожиданно встретил в магазине и узнал. Я не мог ошибиться.

Он оказался ниже меня ростом, с оттопыренными стариковскими заросшими белым пухом ушами, с большими карими глазами, спокойными и выразительными. Пожалуй, только эти глаза и выдавали в нем, или сохраняли, того ладного седока, так похожего на красивого председателя колхоза из кинофильма «Кубанские казаки».

Он взял двести грамм самой дешевой колбасы и полбуханки хлеба и пошёл к выходу. Споткнувшись о порог, старик выронил из рук полиэтиленовый сероватый, видимо, стиранный пакет.

Половинка буханки черного хлеба запрыгала по грязному полу. Я поспешил помочь, подхватив хлеб, машинально протянул его хозяйину.

— Оставьте собакам, неужто он с пола есть будет? — наставительно сказала продавщица.

Спohватившись, я положил хлеб на подоконник.

— Вот ведь, больше денег с собой нет, а идти заново с моими ногами проблема, — проговорил старик. — Досадно.

— Да, да. Сейчас, — мне стало неудобно за свои невразумительные движения, я быстро купил буханку хлеба.

Когда протягивал ему, глаза наши встретились. Мне показалось, что в них мелькнула какая-то догадка. Неужели он мог меня вспомнить? Я молчал.

— Знаете, когда придёте следующий раз за хлебом, заберите деньги у продавца, я оставлю свой должок ей. Спасибо вам, — сказал он суховато, с достоинством. И вышел из магазина.

На этот раз благополучно. А я стоял под недоуменным взглядом продавщицы у подоконника и смотрел из окна на старика.

Он уходил медленной семенящей походкой. Помнил ли он тот случай на пыльной полевой дороге?

Больше я его не видел...

Встреча в клубе

Перебирая свой архив, я наткнулся на чистые бланки телеграмм. Лишь на минуту задумался, но потом все вспомнилось...

Перевернул бланки тыльной стороной. Там были эпиграммы в мой адрес, написанные известным самарским писателем, обожаемым мной Табачниковым Семёном Михайловичем. Дело было на презентации моих книг в Утёвке.

...Я, конечно же, тогда очень волновался. Вышла уже третья моя книжка. И как-то само собой решилось в областной писательской организации, что надо в моём селе Утёвка организовать вечер поэзии!

Поехали Евгений Лазарев, Иван Никульшин, Семён Табачников, Николай Переяслов, Евгений Семичев, Александр Громов и другие.

Утёвский клуб был заполнен моими односельчанами.

Многие, включая главу администрации Нефтегорского района Александра Анисимова и его заместителя Сергея Афанасьева — утёвца, прикатили из города Нефтегорска. Школьные учителя, одноклассники, знакомые и приятели заполнили зрительный зал. Мама моя отказалась быть на сцене и нашла себе местечко в зале с моими сестрами и родными. Я, привыкший не робеть перед лю-

бой аудиторией, боялся, что не смогу сказать ни одного слова — ком в горле и слезы на глазах были тому причиной.

Но, к счастью, мне говорить и читать пришлось не сразу. Я как-то успел немного успокоиться, и всё обошлось.

Едва я вышел на сцену, новой, более мощной волной, нахлынули воспоминания. Клуб был местом, где около двух десятков лет работали мои родители. Мама — уборщицей, отец — сторожем. Когда отец прихварывал, мне приходилось вместо него сторожить ночью сельский очаг культуры. Целая ночь впереди. Один на один с собой. Я писал стихи. И уже тогда хотел быть писателем, мечтал писать книги, но я никому об этом не говорил. Стихов своих никогда никому не читал, пока не набралось на первую книжку. Такие я себе поставил условия.

Меня поднимала как на крыльях радость: все в селе спят и не ведают, что я сейчас один-одинешенек пишу стихи. Я — поэт. И пишу о своём родном селе!

В нашей школе много известных выпускников: один дипломат, есть художник, доктора наук, но не было своего писателя... «И не знают, что он будет, а я знаю, один знаю. И это время придёт! Из своей книжки я прочитаю стихи на нашей клубной сцене! Когда-нибудь, но прочитаю!»

Один раз я обмолвился нечаянно о своём тайном желании в школьном сочинении на тему: «Моя любимая песня». Я писал о песне «Я люблю тебя, жизнь» на слова Константина Ваншенкина. Писал так, как чувствовал, о Георге Отсе, о Трошине и закончил сочинение фразой о том, что уверен: придёт время и я спою свою песню о жизни и надеюсь, её подхватят многие люди. Я как бы обнародовал свою программу в этом школьном сочинении.

Я тогда не сразу решился сдать свои листочки Леониду Григорьевичу Лобачёву, учителю русского языка и литературы, боясь, что он поймет прямой смысл написанного. Но он, очевидно, принял все за некую аллегория и последствий моей обмолвки не было. А может, для него увидеть во мне будущего писателя было тогда фантастикой.

...Надо сказать, вел я себя в последних классах своеобразно. Где-то в конце шестого класса дал себе слово не поднимать руки ни при каких обстоятельствах. Предмет учить — но руки не тянуть. Так дисциплинировал себя: мне казалось, что делаю это на пользу. Об этом я упомянул в повести «Планета любви». И выдержал слово, данное самому себе: два года отвечал только тогда, когда спрашивали. Это не помешало учебе: выпускные экзамены

сдал на пятерки, кроме английского языка, получив по нему «хорошо».

Нечто подобное проделал и в первые годы после окончания института: у меня уже были рукописи двух моих первых книг, но я не торопился поднимать руку — хранил их, не показывая даже домашним, до срока, который определил себе сам — до того, когда окончательно пойму, что не писать не могу...

...Милые стихотворные шалости Семена Михайловича Табачникова в клубе, где я писал когда-то по ночам стихи и спал всё-таки иногда на провалившемся диване, который заведующая клубом шутливо объявила теперь, что передаст его в школьный музей, эпиграммами не закончились.

Он прочел большое шутливое стихотворение об Утёвке.

Я после просил у него текст стихотворения, но он затерял листочек, а по памяти воспроизвести не мог.

...И вот однажды на той же клубной сцене в Утёвке, а потом и в Самаре, в Доме актера, я услышал это стихотворение. Его от начала до конца без запинки прочитал Сергей Николаевич Афанасьев — мой замечательный земляк, ставший к тому времени уже главой администрации Нефетегорского района. По должности своей чиновник, сидя в зале на той давней презентации, он сумел полностью с голоса запомнить стих. Я вначале удивился, но когда послушал, как он поет и сколько много знает песен, был рад, что есть у меня такой земляк.

Вот это стихотворение, присланное мне Сергеем Николаевичем по моей просьбе:

Утёвка

*И обидно, и неловко,
Что я не осведомлен:
Говорят, в селе Утёвка
Уток — целый миллион.
Ходят-бродят, ёлки-палки,
Грациозны и легки,
Ходят шатко, ходят валко,
Как в Одессе моряки.
И гордится, кроме шуток,
Ими древнее село,
Дескать, из-за этих уток
И название пошло...
Утки, селезни, утята...
Что-то я вас не найду,*

*Знать, село другим богато,
Знать, другое на виду.
Может, храм, а может, песня
Иль — учитель-чемпион
И, конечно, всем известный
Журавлев — творец икон.
На земле рожден утевской
И герой последних лет
Александр Малиновский —
Академик и поэт.
Степью, лесом, песнопеньем
Славны здешние места,
И рождают вдохновенье
И пейзаж, и красота.
А про уток, видно, шутка.
Розыгрыша мастерство...
Здесь самим нам где бы утку
Раздобыть на Рождество.*

Теперь эти шуточные строчки читают по памяти многие на нефтегорской земле.

Петряева правда

В третьем номере журнала «Гражданин» за 1999 год Николай Кривомазов напечатал мой очерк о художнике Григории Журавлёве. Уже наступил 2000 год. Я с запозданием получил от него этот номер. Его неуёмный темперамент сказался и здесь. Подано всё ярко и броско. Он — журналист. Это — профессиональное. Но меня поразил материал, помещённый на первых страницах безо всякого комментария. Белым по черному слова, как клинки, как кинжалы, в самые уязвимые места нашей жизни, нашей души. Как же хорошо, отрадно, что мы одумались. Да, одумались, январь 2000 года — это уже новый, я бы сказал, освещенный более трезвым умом, взгляд по поводу национальной безопасности.

Вот они эти строки.

«Мы развалим эту страну». Даллес, апрель 1945 г.

«...Пьянство в России расцветёт махровым цветом. И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит. Окончится война, всё кое-как утрясется, устроится. Мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю материальную помощь на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий

мозг, сознание людей способны к изменению... Мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников... своих союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из литературы и искусства мы, например, постепенно вытравим их социальную сущность, отучим художников, отобьём у них охоту заниматься изображением, исследованием, что ли, тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры, кино — все будут изображать и прославлять самые низменные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых художников, которые станут насаждать и вдальблывать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства — словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху... А мы будем незаметно, но активно и постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников, беспринципности. Бюрократизм и волокита будут вводиться в добродетель... Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого... Хамство, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм и вражда народов — всё это расцветет махровым цветом.

Лишь немногие, очень немногие будут догадываться или даже понимать, что происходит... Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем братья за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать её. Мы сделаем из них шпионов, космополитов. Вот так мы это и сделаем».

И рядом:

«Мы развалили эту страну». Клинтон, октябрь 1995 г.

«Последние десять лет политика в отношении СССР и его союзников убедительно доказала правильность взятого нами курса на устранение одной из сильнейших держав мира, а также сильнейшего военного блока. Используя промахи советской диплома-

тии, чрезвычайную самонадеянность Горбачева и его окружения, в том числе и тех, кто откровенно занял проамериканскую позицию, мы добились того, что собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным отличием — мы получили сырьевой придаток, не разрушенное атомом государство, которое было бы нелегко создавать. Да, мы затратили на это многие миллиарды долларов, но они уже сейчас близки к тому, что у русских называется самоокупаемостью. За четыре года мы и наши союзники получили различного стратегического сырья на 15 млрд долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и т.д. Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые суммы свыше 20 тыс. тонн меди, почти 50 тыс. тонн алюминия, 2 тыс. тонн цезия, бериллия, стронция и т.д. В годы так называемой перестройки в СССР многие наши военные и бизнесмены не верили в успех предстоящих операций. И напрасно. Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели бескровно вывести из войны за мировое господство государство, составляющее основную конкуренцию Америке. Наша цель и задача и в дальнейшем оказывать помощь всем, кто хочет видеть в нас образец западной свободы и демократии. Когда в начале 1991 года работники ЦРУ передали на Восток для осуществления наших планов 50 млн долларов, а затем ещё такие же суммы, многие из политиков, военные также не верили в успех дела. Теперь же, по прошествии четырех лет, видно — планы наши начали реализовываться. Однако это не значит, что нам не над чем думать. В России, стране, где ещё не достаточно сильно влияние США, необходимо решать одновременно несколько задач: всячески стараться не допускать к власти коммунистов. При помощи наших друзей создать такие предпосылки, чтобы в парламентской гонке были поставлены все мыслимые и немыслимые препоны для левых партий; особенное внимание уделить президентским выборам. Нынешнее руководство страны нас устраивает во всех отношениях. И потому нельзя скупиться на расходы. Они принесут свои положительные результаты. Обеспечив занятие Ельциным поста президента на второй срок, мы тем самым создадим полигон, с которого уже никогда не уйдем. Для решения двух важных политических моментов необходимо сделать так, чтобы из президентского окружения Ельцина ушли те, кто скомпрометировал себя. И даже незначительное «полевение» нынешнего президента не означает для нас поражения. Это будет лишь ловким политическим трюком. Цель оправдывает средства. Если нами будут решены эти две задачи,

то в ближайшее десятилетие предстоит решение следующих проблем: расчленение России на мелкие государства путем межрегиональных войн, подобных тем, что были организованы нами в Югославии; окончательный развал военно-промышленного комплекса России и армии; установление режимов в оторвавшихся от России республиках, нужных нам. Да, мы позволили России быть державой, но империей будет только одна страна — США».

Торопитесь, господа, со своими выводами! Хотели развалить? Не получится!..

Неужто был прав наш Иван Павлов — выпускник духовной семинарии, физико-математического и медицинского факультетов, первый Нобелевский лауреат в области физиологии, когда у него вырвалось: «Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека, он имеет такую слабую мозговую систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют только слова. Его условные рефлексy координированы не с действиями, а со словами» (1932).

Сказано гением. Слишком уж мы оказались доверчивыми. А своекорыстные планы противников были, они и сейчас есть. Так что же мы?..

Может быть, одной из главных черт свалившейся на нас в перестройку демократии, было то, что она не могла быть обеспечена определенной организацией власти. Она должна произрасти всё-таки снизу. Демократия — это стиль и образ мышления. Для этого требуется высокая культура: политическая, правовая, культура общения... И это хорошо знали и понимали те силы, которые «помогали» нам за рубежом, они, в который раз уже, ставили на нас опыты...

Наше будущее зависит от нашей культуры. Это так!

Наши прорабы перестройки в самом начале её, да что в начале, до того — неужели не могли задуматься над свойством русской души, ведь русскому человеку всегда как бы полагалось долго запрягать?..

С самого начала очень многое было и сомнительно, и подозрительно. Одно, быть может, как-то нас ещё оправдывает: мы не грохнулись в широкомасштабную гражданскую братоубийственную войну.

Слава Богу, теперь многие из нас понимают, что сильное государство, сильная государственная власть — основа нашего будущего. Государство, оставаясь демократическим, обязано создавать условия, обеспечивающие достойную жизнь своих граждан. А иначе для чего всё это?

Сверхбурные девяностые годы с крутой ломкой советской административной системы и отчаянным броском в мировой рынок привели к новому застою в стране. Это теперь уже понятно почти каждому из нас, как и понятно стало, что нет у нас новой стратегии экономического развития — то есть нет главного, что могло бы образовать и сформировать общенациональную идею.

В какие ко́лки и перелесья уйти мне сейчас от разрушительного плана Даллеса, явно превзошедшего по своим последствиям действие атомной бомбы Трумэна, от самодовольно-нахального желания Билла Клинтона во чтобы то ни стало расчленить Россию на мелкие государства путем межрегиональных войн?

Курс на умеренный «консервативный» либерализм. Может, это то самое «перелесье», которое надо пройти всем нам по ухабам, под солнцепеком, под маревом и миражами в знойный ярко-солнечный день и, наконец, не потеряв надежду, прийти к малящему спасительному, с возрождающейся изумрудной зеленью русскому ко́лку с родниковой прохладой и свежестью?

...Да, мы во многом прозрели.

Мы теперь зацепились за идею «многополюсного мира», где видим себя одним из региональных центров нового мироздания, представленного Китаем, Индией, арабскими странами.

«...никакого самобытного греко-славянского культурно-исторического типа вовсе не существует, а была, есть и будет Россия как великая окраина Европы в сторону Азии».

Может, прав русский историк Соловьев, сказав так?

Сохранив своё национальное государство, со своего исторического места не сойти! Может, нам так суждено изначально? Принять это и успокоиться. И начать жить государству для всех своих сограждан и для каждого отдельного человека, который будет жить и после нас. Но возможно ли это?

А почему бы и нет?

...Когда я писал эти строки, сидя в маленьком своём домике в мамином огороде, подошёл к моему окну давний знакомый Василий Петряев. Махнул мне рукой:

— Выйди, покалякаем, надоела моя старуха.

Я вышел. Поздоровались. Потом присели на лавочку около голубенькой стеночки.

— На вот, почитай, — я протянул листочек с планом Далласа и выступлением Клинтона.

— Очки дай, не взял свои.

Я протянул ему очки.

Он долго читал. Текст ли для его неполного среднего образования был тяжеловат или придавила обрушившаяся внезапно правда всего происходящего? Неясно было, пока он глухо не заговорил.

— Выходит, весь мир хитрее нас, а мы лаптем щи, да?

— Похоже на это.

— Хреновина какая, а? Выживали, выживали — и на тебе.

— Как это? — не понял я, — «на тебе»?

— Ну как, как? — он вернул мне очки и листок. — Россия, огромная, сильная никому не нужна. Так было всегда.

Я согласно кивнул, полагая, что сейчас он, конечно же, будет говорить прописные истины, но своим, местным языком, наполовину, как водится, с ненормативной лексикой.

— Её всегда вгоняли, едрёнте, в выживание. Россия всегда выживала за сто лет до перестройки, пора бы набраться уму-разуму. Вот гляди, на примере твоих родственников. — Он в упор посмотрел на меня. — Только с германцем развязались, в начале двадцатых у нас в Поволжье — голод. Твой дед снялся в Сибирь. Но голод своё успел сделать: из восьмерых только трое — твоя мать да двое братьев её выжили. Так?

— Так, — соглашаюсь я с грустной арифметикой.

— Теперь смотри дальше: старший брат твоего второго отца, чапаевец Василий, схлопотал пулю в легкое под Белибеем, привезли его помирать в Утёвку. Вроде уж безнадежный был. А мать его, Прасковья, рожать собралась. Родила. Значит, чтобы для гарантии младшего тоже Василием назвали. А старший-то возьми и не умри. Выжил. Два, значит, Василия Федоровича Шадриных и было, два брата. Оба по семь десятков годков отмахали. Двойная гарантия.

Эту историю я знаю. Более того, писал об этом. Слушаю спокойно. Многие теперь говорят об одном.

— А ты вот, — он вдруг глянул на меня в упор своими ясными голубыми, как у ребенка, глазами.

— А что я?

— Ты-то тоже: гарантия.

— Какая?

— Ну, ты же второй Шурка у матери твоей.

— Ну да, — соглашаюсь я, — второй.

— Первый умер в войну, а чтобы восполнить, выжить супротив всего, ты есть теперь, Шурка. Народ давно выживает, не только в перестройку. Какую только на него погибель не гнали. Выживем обязательно. Каждый из нас пример.

— Да, выживаем, — согласился я.

— Вон, глянь, — встрепенулся мой собеседник, — выживем иль нет? — и показал пальцем на подхлотившего к забору нетрезвой походкой соседа Миньку Горбачёва, ещё до перестройки крепко впадавшего в беспробудное пьянство, бывшего совхозного скотника. Появление знаменитого кремлевского тетки и случившаяся перестройка никак не коснулись забывшего давно скотный двор скотника. Он уже с десяток лет нигде не работает.

— Минь, а Минь, выживем мы аль нет после перестройки-то? — с каким-то непонятным пафосом спросил Петряев.

От того, как были построены фразы и каков был ответ, мне показалось, что это отрепетированный либо не раз повторяемый диалог.

— А куда нам деваться-то, только похмелиться вовремя и всё в аккурате, выживем — назло всем!

Минька навалился на забор, не в силах удерживать своё сухонькое телои закашлялся.

— Во! Наш местный перестройщик Минька Горбачев кричит: «Выживем!» Блин, клин блинтон, — наигранно радовался Петряев, — никакой ему Даллес не страшен. Правда ведь, натуральная!

Его голубые глаза сейчас слезились, были по-стариковски блёклыми и смотрел он ими больше не на меня, а себе под ноги.

Как будто было стыдно и досадно за всех нас сразу. Как за неразумных детей, и за своё вот такое поведение.

— Иди, иди, застенчивый, я тебя догоню, — крикнул Петряев, и я не сразу понял, к кому он обращается.

Потом, наблюдая у изгороди Миню Горбачёва, который в очередной раз пытался оторваться от неё и зашагать самостоятельно, а спросил:

— Ты это ему: «застенчивый»?

— Ага, — сказал Василий, — его так назвал мой зятёк Павлушка. И прилипло. Видишь ли, зятёк мой делит мужиков по рядам, ага. К примеру, те, которым сколько ни пей — всё мало, прозываются у него — малопьющие. Те, которых после принятия выносят — выносливые. Ну, а те, в аккурат как Минька, которые ходят, держась за стенку — застенчивые.

Он обернулся на послышавшийся треск и, наперед понимая бесполезность своего вмешательства, вяло посоветовал:

— Минь, отвянь от забора, чать, не берлинская стена, стоять забор должён. Не след рушить, Климаниха вдоль спины хворостинной оходить может.

Минька от забора мотнулся в сторону, но видно было, что это он не сам так поступил... его так качнуло, и он кособоко пошёл к переулку, к Лоптаевой гати.

...Когда я слышу, как наши общественные деятели разного калибра демагогически заявляют, что народ всегда знает Правду, знает Истину, я теперь вспоминаю глаза Василия Петряева. И хочется верить, что истинную Правду знает народ, и сомнение не даёт покоя: увы, народ лишён возможности полноценно знать её, он лишен права быть носителем всей Правды.

И — есть ли она, главная Правда? А если есть, доступна ли она?

Русский человек — православный, а православный человек в центр своего мировоззрения ставит Божественные предназначения Создателя.

Ведь сказано в книге Екклесиаста: «...Всё сделал Он прекрасным в своё время, и заложил мир в сердца их, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает, от начала до конца... Познал я, что всё, что делает Бог, пребывает вовек: к тому нечего прибавить и от того ничего не убавить, — Бог делает так, чтобы благоговели перед лицом Его...»

Неужели причина наших общих бед в том, что давно уж в нашей российской жизни нет этого «благоговения»? Слишком себялюбивым и чудовищно заносчивым оказался человек в двадцатом веке. Забыл про Бога. Пошёл против Бога...

«Народ чувствует неправду, и... интуитивно стремится к правде», — так я записал в дневнике, вернувшись в свой домик. И долго ещё потом раздумывал над этой догадкой, пытаюсь понять: если она верна, то несет ли она в себе надежду?..

А если нет, неверна, то какой смысл защищать её? И имеет ли она право на жизнь.

После того, как ушёл Петряев, стало мне с моими мыслями одному тяжело и бездомно. Опоры, что ли, не давал мне мой домик с голубенькими ставнями, поставленный мной прошлой осенью около старенькой почерневшей баньки в огороде. Не было в нём того духа и домовитости, которыми я дорожил. Никогда не были в стенах его мои родители, старшие родственники... Все они давно лежат на местном кладбище.

...Как же соединить со всеми этими разрушительными планами американцев кажущееся деловым сотрудничество с нами? «Ведь вроде бы происходит-то позитивное сотрудничество», — думал я. Хотя бы по нашей области.

Взять вот выдержки из статьи Майлза А. Помпера «Экологическая помощь уходит в регионы», напечатанной в «Еженедельнике конгресса США»:

«Разочарованное безвыходным положением в Москве, правительство США большую часть экономической помощи, предназначенной для России, переадресовало непосредственно 89-ти региональным правительствам и десяткам тысяч негосударственных организаций. (Согласно финансовой отчетности за 1999 год это составило около трех четвертей всех средств, распределением которых управляет Агентство международного развития США (USAID). Такой шаг был поддержан многими американскими законодателями, которые видят в децентрализованном подходе ключ к решению российских экономических и политических вопросов.

«Регионы сами находят решения своих проблем, а мы просто должны помочь этим решениям созреть, — говорит сенатор Чак Хейгел, председатель Международной группы по экономической политике в комитете сената по международным делам. — В этом отношении Российская Федерация не отличается от Соединенных Штатов».

Ключевой элемент в политике США за пределами Москвы — программа «Региональная инвестиционная инициатива», действующая уже два года. В рамках этой программы средства направляются на улучшение делового и политического климата в трех наиболее перспективных регионах: Самаре, Новгороде и на Дальнем Востоке. Американские чиновники в настоящее время рассматривают возможность включения в эксперимент четвертой области или групп областей (возможно это будет Сибирь)».

В конце статьи приводятся слова Джанет Валлантайн, бывшего директора российского отделения Агентства международного развития США. Она говорит: «...регионы-реформаторы могут скоро устать от постоянных политических баталий в Москве и пойти собственным путем». По её мнению, «без серьезного лидера может оказаться невозможным удержать от распада Российскую Федерацию».

Да, плохо, конечно, когда Москва отстает от регионов, но ещё, очевидно, хуже поддаться смуте издалека и свалиться в конце концов туда, куда нас толкают уже давно, и ждут, о чем всё-таки проговорилась директор, ждут, когда мы разделимся на региональные куски, не совладав с амбициями местных вождей. Помните у Даллеса: «В управлении государством мы создадим хаос и неразбериху... Лишь немногие, очень немногие будут догадываться или

даже понимать, что происходит... Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в посмешище...»

Где она, правда?

Захотелось пойти в дом деда, в котором я родился... Теперешний его хозяин — степенный и работающий мужик, махнул, так же как бывало мой дед, приветливо рукой, едва я поравнялся с калиткой.

И сам дом порадовал чистотой взгляда своих окошек, обрамленных густой резьбой светлых наличников.

— Ну что, стоит дом-то ещё? — спросил я, принимая пожатие сухой и крепкой руки.

— А куда ему деваться-то! Дед твой основательно сработал. Вечно стоять будет.

— Ну, а мы как? — спросил я, увязший в своих, мучивших меня, сомнениях.

— А что мы?

— Выстоим? Все мы, Россия?

Он сразу не ответил, а пригласил в горницу. Я шагнул через порог и теплая волна пошла по мне. Все вспомнилось: дедово, бабушкино, моё.

...Вот здесь висело дедово ружье, там в маленькой спальне справа я спал, там на стене была репродукция картины Васнецова «Три богатыря». Вон оно, кольцо в потолке, на котором висела моя зыбка. И не только моя...

А из этого, открытого тогда окна, с улицы, из палисадника, где звонко щелкали стручки акации, я впервые услышал с непередаваемым восторгом историю о Раде и Лойко Зобаре. Голос чтеца, доносившийся из маленького чёрного репродуктора, завораживающе тогда звал за собой в степь, к цыганам, в другую жизнь, с другими именами, страстями, заботами...

Я помню тогда влез через окно в дом, лег на пол и лежал так долго, не смея или, вернее, не в состоянии повернуться, пошевелиться, весь находясь во власти звуков обрушившихся на меня.

Тогда впервые я услышал это непостижимо влекущее до сих пор, мерцающее своей бездонностью, глубиной и всеохватностью имя — Максим Горький...

Я присел на порог. Так я в детстве часто делал. Порог был ещё тот, тех времен. А двери в гостиную и в спальню — уже другие. Незнакомые мне...

— Деваться нам некуда. Нам дедами, молча, без слов завещано — выстоять.

Голос хозяина был хрипловатый. И нет намека на бодрячество. Всё искренне:

— Думать нам надо в своей земле своим умом. Не заглядывать в рот иностранцам. У них всегда был к нам свой интерес. А по-другому и не может быть. Это вон мой знакомец новый, с того конца улицы, из переселенцев, придёт, наговорит всего, чего не попадая, всё вроде знает где, что на белом свете, а в конце разговора всё равно окажется, что пришёл либо гвоздей просить — не хватило в который раз, либо ножовку развести — у самого не получается, либо ещё чего-то... Чем он мне поможет, говорун этот? У меня во дворе кто лучше меня знает что да как, а?

«Как просто», — подумалось мне.

— А ты по-другому кумекаешь? — спросил он, подходя к тому самому «моему» окошку и распахивая в палисадник створки. Я вздрогнул. Створки скрипнули так же, как тогда, в тот знойный, летний день...

«Вот тебе и новый хозяин в моём дедовом доме, — думал я, когда уже выходил с подворья, — откуда у него такая уверенность? От незнания, непонимания до конца происходящего сейчас с нами? Или от врожденной крепости духа, питающего нас, от тех корней, которые накрепко соединили нас с предками, дающими нам силу, название которой — вера?» Мы молодая нация и генетически только набираем силу. И ничего тут не поделаешь. Не зря же он сказал так уверенно мне, закомплексованному, защищённому разными свидетельствами и дипломами, званиями, застрывшему в своих невесёлых мыслях земляку: выстоим!

Никто ещё не проник в истинный внутренний мир крестьянина. Крестьянство — не интеллигенция, дневников не писало и не пишет. Все, что думало-передумало унесло с собой, что-то останется в преданиях только. «И сейчас оно не сильно в этом изменилось», — в который раз подумалось мне, когда я оглянулся на стоявшего у калитки на своём подворье хозяина.

«Выстоим!» Он так веско сказал, что и я невольно выдохнул:

— Выстоим!

Подсказка Виктора Стражникова

Когда я писал повесть «Черный ящик», глядел на мир глазами своего героя Виктора Стражникова — учёного, директора завода, попавшего в бурные и мутные воды перестроечного времени 93-94-х годов.

Прошло около пяти лет, полмесяца осталось до начала 2000 года — последнего во втором тысячелетии. Я за это время написал несколько рассказов, две повести. Взялся было писать следующую повесть, но что-то остановило меня. Мне кажется, остановил Виктор Стражников. И натолкнул на мысль: надо попытаться последний год тысячелетия, как и он свой 94-й — последний год своей работы главным инженером — осмыслить для себя. Чем же, в отличие от него, для меня, взявшегося за перо, стал он. И я, как ни странно, повиновался. Произошло странное: мой герой, став в чем-то зорче и мудрее меня, повел в этом направлении. И я послушался... начал писать «Колки мои и перелесья»...

...Это уже не в первый раз, когда персонажи моих книг подсказывают мне.

Читатели повести «Черный ящик» жалели, что Виктор Стражников умер. Они тоже подтолкнули меня.

«Такие люди не должны умирать раньше срока»; «Нам его жалко, с таким характером он должен жить»; «Надо было его оставить среди нас, о нём надо бы писать продолжение», — так говорили многие. Я чувствовал: Стражников молча ждал этого. И я написал продолжение. Только как бы вглубь: пошёл в его детство. Увидел, какой он был там — в начале своей жизни. Какие корни и соки его питали. Так родилась повесть о Шурке Ковальском «Под открытым небом».

Но я чувствую, что Виктор Стражников теперь ещё более настойчивей подталкивает меня в указанном им направлении. Он, как моя мама, — она всегда переводила стрелки от себя к другим. Ей были интереснее окружающие, чем она сама! Посмотрим, что будет на этот раз...

И каким всё-таки будет для меня год 2000-й?

Мамино окошко

Поздним вечером приехал к маме моей в Утёвку с поэтом Евгением Семичевым. Был конец мая. Цвела и благоухала сирень. Где-то, прямо как в юные мои годы, заиграла гармошка и в настоящей на сирени и черемухе тишине томный грудной голос запел:

*Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идёт.*

Не раз похожим вечером в юности возвращался вот также я опьянённый и вечерней песней, и расставанием у калитки с той, которой так и не решился сказать того, что намеревался...

Мама, не дождавшись меня, ложилась спать. Но спала всегда чутко. Едва я появлялся у окна, она мне махала за стеклом рукой. Я часто не успевал постучаться...

— Кто там? — отозвался на стук в стекло мамин голос. Потом, как и в юности, белое пятно появилось в окне у подоконника.

— Шурка, — по привычке произнёс я негромко, но внятно.

— Шура, — радостно повторила она, совсем не удивившись поздним гостям, хотя я не был дома уже полгода.

Мама зажгла в избе свет. Окно вспыхнуло ярко, зазывно, как и всегда. Уже в сенях, открывая засов, спросила:

— А кто это с тобой?

— Евгений Николаевич Семичев, — доложил я и добавил основательно: — Поэт!

— Проходите, Евгений Николаевич, — старательно проговорила мама.

За спиной мой спутник хохотнул. Я не понял, почему.

— Вот дела какие! — удивился уже в избе Евгений, — директор завода — в деревне просто Шурка, а поэт — Евгений Николаевич, по имени-отчеству, не просто «Женька». Фигура!

Он потом в городе, при случае, несколько раз рассказывал этот эпизод. Его это забавляло.

А мама моя, позже, каждый раз, когда я приезжал, всё спрашивала:

— А где твой Евгений Николаевич-то, отчего не приехал с тобой?

Я привёз потом ей книжку стихов Евгения «От земли до неба». Она попросила почитать. Мы сидели в передней избе за столом, накрытым яркой с цветным узором новой клеенкой, и я читал:

*Ребята, не живите вечно,
Не стройте планы на века.
Живите просто и сердечно,
Как лес, как небо, как река.
В чужое сердце свет пролейте.
Прибьётся к вечности душа.
При этой жизни пожалейте
Травинку, птаху, мураша.
Ребята, нам за все воздастся,
Когда шагнем в глухую тьму.
Но в этой жизни не удастся
Навек остаться никому.*

Слушала она внимательно и сказала, вздохнув:

— Какой мудрый ребенок твой товарищ. Ты бы привёз его сюда, пусть поживёт маненько у нас. Можно без тебя. — И, увидев мой удивлённый взгляд, добавила: — Отдохнёт пусть. Он устал, видать, от жизни своей. Ему тяжелей, чем остальным.

Вернувшись в Самару, я пытался разыскать Евгения, но где там! Он был в Москве, уехал учиться на Высшие литературные курсы.

До поступления на курсы он работал на нашем заводе в жилищно-коммунальном отделе. Когда уехал в столицу, мы выделили ему небольшую ежемесячную стипендию на весь срок обучения. В областном отделении Союза писателей знавшие близко поэта качали головами:

— И надо бы, но не слишком, а то будет разгуливать, хуже бы не было...

Но он был наш, заводской. Мы за него болели.

...И доходили слухи, что он слегка дебоширил в общезитии Литинститута, однако была и его московская литературная слава. Столичные журналы печатали подборки его стихов...

«Пусть пошумит. Слава — она дуреха, обязательно ушибёт. Ушибленного и отвезу в деревню к маме, там отлежится», — думал я.

...Так и глядела мамино окошко за нами обоими.

Пока жива была мама.

Взоры прощальные...

Вечером позвонил мой дядя. Ему в этом году будет шестьдесят. Инженер-строитель. Но институт развалился, и главный инженер проекта вынужден устроиться в городские тепловые сети насосчиком. Такая вот научно-техническая революция нашего времени.

— Ты не спишь?

— Нет, какой сон? Девять вечера, только что с работы приехал.

— Ну, я так спросил, наверно, от волнения. Понимаешь, я тебя никак дома не застаю, дело у меня такое... Не сразу скажешь.

— Говори, попробуем разобраться, — самонадеянно подталкиваю я.

— Я вот что, племяш, теперь не только вам всем в городе горячую воду качаю, и вы без меня и без воды, и ни туды, и ни сюды. Но и песни пишу. Романсы.

Мне стала понятна причина его длинных фраз — он крепко волновался.

— Не смейся: слова мои, музыка моя — на мандолине... Подожди, насос зашумел не так, пойду посмотрю. Не вешай трубку.

Пару минут в трубке слышался только шум работающих насосов, обычный общий гул машинного зала.

— Саша, тут не поговоришь. Я позвоню тебе вечером, после смены из дома. И по телефону дам послушать. Не ложись, а то опять пропадешь — не дозвонишься.

...Около двенадцати ночи зазвонил телефон.

— Вот слушай, включаю магнитофон.

Пошла музыка, знакомая и красивая.

— Нет, нет, постой, это же братья Радченко, «Домик окнами в сад», сейчас перемотаю немного — будет моё. Нет, вот без магнитофона, я сам — живой, ну его. Слушай.

«Ничего себе — романсы на ночь», — думаю.

И зазвучал голос Сергея и его мандолина. Торжественно и даже строго.

Пока он пел, я посчитал: два раза были «очи», два: «взоры», мелькали слова «томные», «величаво» и так далее.

— Понимаешь, я чувствую: и музыка моя, и стихи мои — они доработки требуют, верно. Но всё остальное... прекрасно... Сергей Лобачев был во Владимире у брата Василия. Они сходили на рынок и купили старенький баян. Исполняли мои песни и плакали, ты понимаешь?! Чувства пробуждаются!

— Да, понимаю. Но вот «взоры», «очи» — это уже тысячу раз было, — пытаюсь робко перевести монолог в диалог.

— Ну и что? Два мужика поют и плачут! Тебе это ни о чем не говорит? Не по пьяни плачут!

— Да, — соглашаюсь я, — но как-то уж больно архаично. Всё это было в прошлом веке. Не говорим мы сейчас так: «взоры томные», «очи пугливые».

— Чудак ты, ей-богу! Ну кому это важно будет через пятьдесят-сто лет — говорили или нет? Останется красота.

И он пропел:

*Подъезжая под Ижоры,
Я взглянул на небеса,
И припомнил ваши взоры,
Ваши дивные глаза.*

— Тогда, при Пушкине, на кухне, ну, или даже в гостиной так говорили: «Ваши взоры меня волнуют»? Наверняка, нет. Но в романсе эта красота навечно!

Я не знал что ответить после такого, прямо-таки эпохально-творческого замаха моего родственника. Боялся его обидеть.

— И давно ты пишешь романы?

— Пятый месяц, как устроился в насосную.

— Сергей, но ведь жизнь наша сейчас, прямо скажем, не романсовая. Насосы, телефоны, тарифы, безработица. Вечная суета и кутерьма. У многих безнадёга. Слушай меня:

*Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь, родное, далёкое,
Слушая голос колёс непрерывный,
Глядя задумчиво в небо широкое.*

Не должно быть суеты, тогда, может, родится что-то серьёзное, а уж — вечное, до вечного...

— Граф, ты не прав, — с подчёркнутой патетикой отозвался мой собеседник. — Выходит, наш век не может создать равное тому, что было до нас? Допустим: «Средь шумного бала, случайно...», — пропел он и выжидательно замолчал.

— Сергей, — взмолился я, — у нас какой-то дремучий разговор, ну какие балы сейчас? Где тот дух?

— Как? А губернский бал, а новогодний? — он начинал говорить жестким голосом.

«Сейчас начнёт ёрничать, я это знаю, — подумалось мне, — и его тогда не прошибёшь ничем».

— Ладно, старик, ты безнадёжен, — он помолчал, — не телефонный этот разговор. Я напишу об этом тебе письмо, и перо будет гусиным. Через неделю еду в деревню в отпуск. Там у соседки бабы Мани здоровенный есть гусак, важный такой и степенный, как ты. Рвану из хвоста пару перьев.

— Ну, пошло-поехало, — уныло возразил я, но в трубке уже были гудки.

Злободневная тема

— Как ты говоришь? У германцев около шестисот названий пива? Эка хватанули! И в каждом городе, в каждой пивоварне то название, какое ему дал хозяин?

— Точно так!

Парень, к которому обратился с вопросом мой сосед по столику, Алексей, достал из дипломата аккуратный сверток и, развернув его, пододвинул широким жестом нам обоим.

— Петрович, мужики, угощайтесь балыком. Я вчера только с теплохода «Константин Коротков». Был в Астрахани, у тамошних знакомых купил.

Меня впервые так щедро угощали у пивного ларька балыком. Невольно реагирую:

— Ну, и как там, в Астрахани?

— Хреново, мужики. Я с детства знал, что Астрахань — это изобилие рыбы, а на нашем рынке за универмагом «Самара» сейчас во сто крат её больше. Зайдите: осетрина, белуга, сом, лещ, стерлядка, раки. Я специально зашёл посмотреть после Астрахани. Дорого? Да, дорого. Но учись деньги зарабатывать. Сейчас деньги — дефицит. Перестройка, однако.

— И всё же, что есть в Астрахани из рыбы?

— А ничего. Я зашёл на рынок: а там только вобла и чехонь.

— Больше ничего? Там воды-то сколько! — Петрович довольно глуповато посмотрел на своего знакомца.

— Угу, — ответил тот, — а вот этот балык... Контрабандной икрой торгуют умельцы, а ведь, чёрт знает, съедобная или...

Петрович прервал парня на полуслове:

— Ну, ты обожди про нашу жизнь. Мы её приблизительно знаем. Давай про ихнюю, германскую. Я ведь так до Берлина и не дошёл в войну, контузило. Но про баварское пиво слышал.

— Значит так, — подчёркнуто вдохновенно отозвался Алексей, — пиво тебе принесут не так, как либо, хухры-мухры, а в красивой кружке и непременно поставят на картонный кружочек, на котором название фирмы.

— Это зачем?

— Сервис, отец, чтобы ты не забыл и название пива, и хозяина. Этим дорожат, там многие ресторанчики и пивные имеют свою родословную, и на видном месте перечислены и вывешены в рамочке фото всех бывших хозяев. Некоторые заведения с XV века действуют. О пиве говорить — как поэму рассказывать.

Алексей попросил и принесли ещё пива.

— Тема дуже злободневная, давай свою поэму, — подтолкнул разговор дальше Петрович.

Алексей продолжал:

— Но самый апофеоз — это октябрь фэст!

— Мне это непонятно, — вовсе не обидевшись, выжидательно глянув, обронил Петрович, — скажи, как есть.

— Возьми вот центральный самарский крытый рынок. Вот примерно в таком помещении около десяти тысяч человек пьют пиво. А всего таких помещений — десять, смекаешь? Одним разом сто тысяч человек пьют пиво, сидя за широкими деревянными столами. Это и есть октябрьские праздники пива.

— И давно у них такая красота?

— Как помнят себя. Какой-то там король когда-то женил своего сына, вот и положил начало. Тогда было бесплатно, сейчас бизнес, но всё равно красиво. Праздник пива, весь мир знает его, поэтому в Мюнхене в конце октября полно иностранцев. Самый крупный народный праздник в Европе!

— Сто тысяч, говоришь, удивительно, где же они воблы столько берут?

— Да не воблой, — возразил всезнающий Алексей, — цыплятами они закусывают.

— Цыплятами? — выдохнул упавшим голосом Петрович. — Дак, цыплят где враз столько взять, а? Ты подумай, садовая твоя голова? Врать горазд больно!

— Понимаешь, отец, индустрия!

— Чего, индустрия? Чугунные что ли цыплята-то?

— Эх ты, едрит-ангидрит. Индустрия обслуживания, понял?

— Понял, только не врешь ли? Сам видел или кто рассказывал?

— Сам, — горделиво подтвердил Алексей, — в прошлом году ездили оборудование смотреть в Мюнхен, довелось самому, — и поправил без того аккуратно повязанный галстук.

— И всё-таки чудно как-то! Цельный город людей, как наш Чапаевск, зараз пиво пьют, — Петровича почему-то явно расстроило это обстоятельство. Или просто пожалел, что прошел всю войну, Германию, а увидеть интересного мало что привелось. А этот... вот тебе, съездил на четыре дня, и верещит без умолку.

Алексей это заметил. Ему, очевидно, не хотелось обижать Петровича, принижать его авторитет и он сказал фразу, которая враз оживила весь дальнейший разговор. Дала инициативу Петровичу.

— Оно, может, вот так втроём или одному посидеть, пивка попить поспокойнее и впрямь? Каждому своё.

— Вот, не прав ты! — встрепенулся Петрович, — в корень надобно глядеть. Понимаешь, важно не только выпить, но и поговорить, верно? — Он поднял воодушевленно лицо и так же воодушевленно — указательный палец. — Коллектив — огромная сила, во брат! Я тебе историю расскажу, как одному хреново. Был у меня дружок. Виктор. Так вот, стал я замечать, что он о чём-то постоянно думает, понимаешь? Тяготит его что-то. Пойдем выпить. Выпьем, посидим, подакаем, а разговору после выпивки нету, как подменили человека. А у него радость должна быть: полгода как квартиру получил. Не новая, но хорошая, двухкомнатная, недалеко от пивкомбината, где он грузчиком работает. Я ему однажды

так прямо и врезал: «Виктор, ты, когда в бараке жил, человеком был. Окопался в изолированной — куркуль какой-то стал. Дичишься, к себе не пригласишь, раньше было как, а?..» А раньше мы с ним через перегородку жили, душа в душу. Всё открылось, когда он меня чуть не за руку к себе домой приволок. Завел меня на кухню, вручает мне пивную кружку и, показывая пальцем под подоконник, командует: «Наливай сколько хошь и пей, пока не лопнешь, а я не могу больше так!» — «Вить, о чём ты?» Тогда он берет мою руку с кружкой, сует под подоконник, а там — кран! Чик — и готово! Открыл крантик, и оттуда свежее ароматнейшее пиво, понимаешь? Фантастика! Я кружку одну хлопнул, как водится, с ходу. Наливаю вторую — текёт, едрёна вошь! Текёт и опять полна кружка — хлоп вторую! Уж потом спрашиваю, смекнул я в чём дело, чья это конструкция такая гениальная? Он не знает. Старый хозяин уехал в Мордовию. Может, он и протянул медную трубку через забор с пивкомбинатовского склада, кто знает? «Вот она, эта конструкция, — говорит мой Витёк, — и не дает мне спать спокойно. Месяца три пользовался, красота! А потом не по себе стало. Нет, не боюсь. Стыдно — присосался к чужому вымени, вот! Как враг народа какой». А я его так спрашиваю: «Витёк, а как ты различаешь, какое пиво пьешь? Ведь оно меняется, наверное: «Жигулевское», «Самарское» и тэдэ, а?» Эх, он на меня матюгался тогда!

На утро сделал заявление начальству пивкомбината. А оно маленькое расследование сделало, и выяснилось, что три хозяина, меняясь, около десяти лет пользовались этим крантиком, а вот Витек — слабак оказался. Не выдержали нервишки. Коллективист — в одиночку пиво пить не смог, а ты говоришь...

Замолчал. Но не хотелось Петровичу инициативу в разговоре упускать, он и спросил:

— Они, наверное, коллективисты большие, твои германцы. В одиночку тоже не могут. А уж тем более брать чужое.

— Нет, могут, — обрадовано возразил Алексей. — Нам фирмачи рассказывали, что у них очень долго не могли пресечь хищение меди. Но помог случай: старенький вахтер, уходя с работы, как-то замешкался. В проходной позвонил по телефону и, забыв про трость, с которой обычно ходил, направился домой. Один из управленцев, видя это, взял трость, чтобы отдать её хозяину... И вот тут все открылось; трость-то была тяжеленная, из медного прута! Хитроумный старик каждый раз приходил на работу без трости, а уходил с завода с солидным куском меди.

— Ну, видишь ли, этот старик — гений в своём деле. Его нельзя было трогать, — сказал, немного подумав, Петрович. — Специалист. Таких ценить надо!

Инициатива уходила от рассказчика, и он, очевидно, почувствовав это, поспешил подвести черту:

— Значит, и там воруют.

Я было подумал, что в его словах скрыто негодование, но он продолжил умиротворенно:

— Надо же, выходит всё как у людей...

Озорник

— Хочешь, я тебе одну маленькую историю расскажу? Хочешь? Всё равно скучно сидеть в этом министерском предбаннике. Не скоро дождешься своей очереди. Я потихоньку, чтобы секретарь Леночка не очень хмурилась. Итак, провожу я приём по личным вопросам. Он у меня по понедельникам два раза в месяц, так легче этот страстной день переносить. И вот, когда я уже плохо начинаю соображать, разбив всё своё терпение о бесконечные жалобы, просьбы, неувязки в личной жизни, разбив о собственную неспособность помочь человеку — ведь идут со всем, что наболело, — под конец приёма, уже в седьмом часу вечера, заходит мой старый знакомый Михаил Галкин. Да ты его знаешь, помнишь! Он на моё пятидесятилетие огромный астраханский арбуз принёс.

— И танцевал лезгинку, да?

— Во, во, он самый! всю жизнь протанцевал и пропел. У него коронная ешь: «Хороши весной в саду цветочки». Мы с ним с одной ремеслухи, только он подзастрял в слесарях. Я ж, закончив институт, чёрт те дери, выдвинулся, теперь у меня в активе два инфаркта, а он всё танцует. Ну ладно, ближе к делу.

Он с удовольствием принял из рук Леночки стакан чая, кивком головы поблагодарив, продолжал:

— Входит, значит, он и: «Вот, — кладёт мне на стол заявление. — Прошу материальной помощи, поиздержался», — поясняет. «Что так, — спрашиваю, — не мог запросто зайти, в обычное время?» «Не мог, — говорит, — пользоваться давней дружбой, да и замаялся совсем с женой. Для неё и помощь прошу, Романыч! Уважь, она у меня ноги обморозила. Лежит, сердечная, с волдырями, а местами кожа сошла, жуть!..» Ну я замороженный весь, пишу резолюцию: «Бух.: выдать две минимальные заводские зарплаты согласно Положения». Он берет заявление и быстро уходит.

И уже потом, когда секретарь все бумаги забрала и я остался один, вдруг опомнился: «Чёрт, на дворе июль, разгар лета, где же жена Галкина ноги обморозила?» Метнулся к окну, Михаил ещё только вышел из подъезда и идёт через скверик перед заводоуправлением. Кричу: «Михаил, как же твоя Ираида ноги обморозила? Лето же, июль месяц?» Он остановился, внимательно посмотрел на меня и так вежливо с укоризной говорит: «Романыч, это дело интимное, на площади об этом не кричат» — «Что! — шумлю, — за чертовщина! Иди сюда в кабинет, объясни. Бабу твою жалко!» Заходит, сукин кот, садится и так вежливо говорит: «Вот скажи, Романыч, хотя мы с тобой и друзья, а ведь живём мы по-разному?» — «Как так?» — спрашиваю. «Ну, у тебя что висит в спальне на стенах? Ковры, — сам себе он отвечает, — а у меня географическая карта мира, смекаешь, разница какая?» — «Ни черта не смекаю», — отвечаю. «Верно, ты не сразу и в училище понимал: карта мира на стене над кроватью» — «Ну и что? — реву я. — Что?» — «А то, Романыч, значит, что вверху у меня в спальне над кроватью Ледовитый океан — Арктика! Внизу соответственно — Антарктика. Вечные льды! Смекаешь?» — и он многозначительно поднял вверх правую руку с прямым, как новый гвоздь, указательным пальцем. «Ни черта не смекаю», — отвечаю. «Ну как же? В такой, извини меня, ситуации, где бы ножки моей дрожайшей супруги ни были — они всегда аккурат во льдах. А там, сам понимаешь, до минус пятидесяти градусов! Жуть какая, — он схватился руками за голову и стал её качать сокрушённо. — Жуть какая, а?» — «Что ты городишь? Причём здесь это?» — «Причём, причём! Вот она и обморозилась! И твоя бы не выдержала, извини меня, — сгубила ноженьки свои! Верно ведь?» — сказанул... и выскользнул из кабинета... до следующего своего фокуса.

Между Курнями и Умёвочкой

Было у меня в детстве желание пройти не спеша по каждой улочке, каждому переулку моего села.

Село наше большое, вряд ли хватит и часа для того, чтобы прошагать из одного конца в другой по прямой. Вот это-то меня и манило. Село казалось огромным.

Но я тогда так и не сделал этого. Может, не хватило терпения, а скорее, удержали мальчишеские заботы, мало ли их было у нас.

Теперь, когда я увидел много красивых и больших городов, моё село, конечно, стало казаться мне не таким уж и большим. Оно как-то сжалось и сгорбилось. Хотя построены новый клуб, школа...

Мне хочется его расправить, сделать прежним. Я дал себе слово этим летом пройти по всем его закоулочкам и тем самым осуществить свою мальчишескую мечту. Но только ли в давней мечте дело?

Мне это куда важнее сделать для себя сегодняшнего, когда вся наша планета Земля, такая огромная и необозримая в детстве, вдруг стала во взрослой нашей жизни совсем незащитной и хрупкой, судьбой своей зависимой от человека, от разума его в ядерный и космический век.

Человечество выросло из своего детства, и колыбель его, планета, стала столь зависима от него самого...

Об этом много сказано и написано.

Но сердце болит...

...Я давно, не торопясь, собираю сведения о своей Утёвке. Моя улица, где родился и, где стоит родительский саманный дом, носит название: «Центральная». Я всегда думал, что она и по сути центральная, изначально, с момента зарождения села, ведь она такая широкая и ровная. Легко было предположить: когда-то в степи началась плановая постройка домов, земли хватало. От того-то и позволительно было размахнуться и так всё спланировать, что и поныне наши улицы поражают своей прямизной и упорядоченностью.

Ан нет, не с моей улицы начиналась Утёвка.

Если верить запискам, сделанным Кузьмой Емельяновичем Даниловым, учителем-историком и бывшим директором Утёвской школы, первооткрыватели селились не по плану, а строились там, где им нравилось.

...Богатый крестьянин Селезнев, переехавший из Красно-Самарской крепости, поставил свой хутор между двумя небольшими степными речками, впадающими в нашу реку Самару. Позже эти речки получили свои названия. Одна — Курни, другая — Утёвочка. Хутор вроде бы стоял на том месте, где сейчас пролегла Саратовская улица. Так утверждали старожилы.

О Красно-Самарской крепости стоит сказать особо, уж коли основатель нашего села, которое впервые упоминается в архивных документах в 1792 году, переехал оттуда. И не только о ней, думаю, надо сказать...

...Прошло всего лишь два года после Куликовской битвы, и Тохтамыш собирает опять воедино силы Золотой Орды. Он вновь захватывает и грабит Москву, вновь вынуждает русских князей платить дань.

Усиление власти Тохтамыша и интриги ордынской знати делают своё дело: бывшие союзники Тохтамыш и Тамерлан (Тимур) становятся врагами.

Вообще, я думаю, более полутысячи лет назад, когда самарская земля стала ареной одного из грандиознейших сражений средневековья, наша, нефтегорская теперь, земля тоже испытала немало потрясений. Ведь выступивший из Ташкента в январе 1391 года с более чем двухсоттысячным войском среднеазиатский правитель Тимур, тесть золотоордынского хана Тохтамыша, вышел к реке Самаре. Две реки, Самара и Кондурча, связаны воедино грандиозной битвой средневековья между среднеазиатским востоком и полчищами ордынцев. Два великих чужих войска столкнулись на нашей земле... Надеюсь измотать силы неприятеля, Тохтамыш долго отступал. Но отступать дальше ему было уже нельзя. Возникла опасность прижаться к Волге и потерпеть поражение. Тохтамыш решился на сражение у Кондурчи (ныне Красноярский район Самарской области).

18 июня 1391 года здесь столкнулись, как пишут историки, два войска, имевшие каждое примерно по двести тысяч.

Не сбылась надежда Тохтамыша: в длительном походе армия Тамерлана не потеряла своей силы. Властный Тимур сохранил боевой дух своей армии и его тактика ведения сражения семью подвижными карифами — «кулами» — сыграла решающую роль: Золотая Орда была разбита.

Серьёзное ли расстояние от Кондурчи до Самары-реки, до земли, где теперь расположена Утёвка? Да, конечно же, нет, даже по тем меркам. Всё было втянуто в единый и страшный водоворот, если учесть, что двадцать шесть дней победители опустошали захваченные земли. Расстояния для средневековых завоевателей были не преградой. Разбив Золотую Орду, Тамерлан завоевал Дели, разбил турок, пошёл походом на Китай... во время которого и умер в 1405 году.

На следующий год сибирским ханом был убит Тохтамыш.

Историческая битва на Кондурче ускорила распад Золотой Орды. Московское государство начало укреплять своё влияние на Волге.

...Второго октября 1552 года, после ожесточённого штурма русскими войсками, Казань пала. Казанское ханство перестало существовать. А в 1556 году не стало и Астраханского ханства. Волга стала водной магистралью Русского государства.

Но в Заволжье по-прежнему находилась Большая Нагайская Орда. И хотя в 1557 году она признала свою зависимость от Мо-

сквы, отдельные орды татар не покорились и враждебно относились к русским. Московское государство для укрепления позиций начинает строить военные наблюдательные посты — по сути укрепительные линии на своих восточных границах. Это сопровождалось большим недовольством ордынцев, требовавших запрета строительства городков. Тем не менее были построены Чебоксары, Лаптев, Тетюши, Самара, Уфа, Царицын, Саратов. Что же было тогда на месте нынешней Утёвки? И что было на месте нынешнего областного центра Самары, ведь начиналось всё, как известно, только весной 1586 года с возведения на высоком правом берегу реки Самары деревянной крепости. Городок ставился из сплаваемых с её верховья брёвен. (Уж не из района ли нынешнего Борска сплавливали, как это делалось во время войны при строительстве в селе промкомбината, при участии моего деда Ивана Рябцева?).

...Ещё на картах XIV века обозначено поселение Самар. Как знать, может его можно назвать пращуром нашего города?

Выбором места и строительством крепости руководил алатырский воевода Григорий Осипович Засекин.

Удивительна энергия этого человека: с пятнадцати лет князь Засекин находился на службе у государя. Воевал со шведами, с ливонцами, служил воеводой. После Самары он построил в 1589 году Царицын, а в 1590 году — Саратов. Во всех трёх построенных им городах князь Засекин служил первым воеводой...

...При царях Михаиле Федоровиче и Алексее Михайловиче строится «Закамская черта» (ров и вал со сторожевыми городками), а при Петре I в двадцати шести верстах от Самары возникла Алексеевка и в ста двадцати четырех — Сергиевск.

Но этого оказалось мало. Возведены были Красный Яр, Кондурчинская, Черемшанская, Шешминская, Кичуйская крепости. Строительство этой новой линии закончилось в 1732 году. Она соединила Алексеевку со старой «Закамской линией» до реки Камы.

Но и после этого — кочевники мешали заселению русскими Заволжья. В 1736 году по распоряжению основателя Оренбурга, статского советника Кириллова, начали строиться крепости по реке Самаре, южнее от прежней линии, в тридцати-сорока верстах друг от друга. В это время появились Красно-Самарская, Борская, Ольшанская, Бузулукская, Тоцкая, Сорочинская, Новосергиевская крепости. Вот из этой Красно-Самарской крепости и приехал крестьянин Селезнев, которого можно считать одним из основателей Утёвки. Откуда был род Селезнева, чем занимались его предки, остается только гадать...

Одними крестьянами удержать вновь присоединенные земли, конечно же, было нельзя. 4 декабря 1762 года Екатерина II издает манифест, в котором говорится о том, что приглашаются иностранцы для поселения на берегу Волги, по рекам Самара, Большой Иргиз, Еруслану, Тарлыку. Приглашались на поселение и беглые, в том числе и раскольники.

Беглые крестьяне из центральных районов Московского государства проникали в наш край и до этого момента. Селились они среди местного населения, платя за землю дань.

Как известно, самарские крепости заселялись местными казаками и ссыльными, но людей не хватало, поэтому здесь принимали беглых крестьян, отставных, бродяг.

Население Урала и Среднего Поволжья доставляло немало хлопот тогдашнему правительству. В год вступления Екатерины II на престол (1762 г.) в «неповиновении» находилось около двухсот тысяч помещичьих, монастырских и пришлых крестьян.

Предполагалось, что Красно-Самарская крепость должна была стать большим торговым городом с таможней, перевалочным пунктом для товаров, идущих на Оренбург и в Азию. Но В.Н. Татищев, сменивший Кириллова после его смерти, решил эту роль отвести Самаре. И хотя Красно-Самарская крепость занимала выгодное положение: полноводная река Самара могла быть транспортной артерией, дремучий лес прикрывал крепость с одной стороны и болотистая почва — с другой. С возвышенности, на которой стояла крепость, степь просматривалась на многие версты — мы видим теперь, что Татищев был прав: обмелела река, поредел лес. Все преимущества, которые очень важны были тогда, сошли на нет. А город Самара, расположенный на месте слияния двух рек — Самары и Волги — имеет большую будущность.

...Вновь вернемся к крестьянину Селезнёву. Вблизи его хутора и стали оседать государственные крестьяне, переселившиеся из центральных губерний России: Трегубовы, Пудовкины, Юнговы, Гурьяновы и другие. Теперь это все фамилии утёвские.

Так образовался поселок, который назывался «Селезнёвка». Потом вслед за Селезнёвым на территории нынешней Утёвки возвели свои постройки Киселев, Утовкин, Клюев. Утовкин поселился на левом берегу одной из речек, в дальнейшем названной по его фамилии «Утёвочка». Поселок стали называть «Утёвкой». Позже около дома Утовкина поселились предки моего деда — Рябцевы, предки моего отчима — Шадрины, потом — Климановы, Малюгины, Сидоровы. Мои соседи справа от дома на улице Центральной носят фами-

лию Климановы, Малюгины до недавнего прошлого жили на нашей улице, напротив дома моего деда. У моего друга детства Михаила Туманова дед был — Малюгин. Около Ключева поселились Сёмочкины, Ванюшкины, Ореховы, Сонюшкины, Гарины, Поповы и другие.

По соседству с Киселевым построились Горячкины, Валовы, Кирсановы, Шимирёвы. Поселок стал называться «Киселевкой».

Возникли недалеко друг от друга четыре поселка: Селезневка, Утёвка, Киселёвка и посёлок, основанный Ключевым.

Мы, утёвцы, должны быть благодарны местному краеведу Кузьме Емельяновичу Данилову, кропотливо собиравшему материал об Утёвке. Благодаря ему, мы сейчас можем знать так подробно об образовании нашего села. Дотошность его в поисках была поразительна. Чтобы уяснить, откуда переселились семьи в село Утёвку, он писал во многие уголки России с целью подтверждения происхождения фамилий. Изучая историю села Утёвки, Кузьма Емельянович установил, что в основном предки коренных жителей села переселились из Пензенской губернии.

«Например, — пишет он, — Климановы, Течкины, Поповы, Росляковы — из села Селище Краснослободского района Мордовской АССР. Киселёвы, Утёвкины (Утовкины), Кирсановы, Кузьмины — из села Яхавы (Ефаева) Рыбчинского района Мордовской АССР».

Вот что писал директор Селищенской средней школы Данилов: «Фамилии коренных жителей села Утёвки, которые Вы перечисляете в своём письме (Климановы, Росляковы, Течкины, Панфиловы, Поповы и другие) имеются в нашем селе Селище. Говор жителей села Утёвка, о котором Вы пишете, полностью совпадает с говором жителей нашего села».

Установлено, что в село Утёвку переселялись и из Тамбовской, Смоленской губерний. Вообще в Заволжье большой приток переселенцев был во второй половине XVII века и в первой четверти XVIII века. Переселялись на левобережье реки Самары гонимые тяжелой жизнью и из Симбирской, Владимирской, Костромской, Воронежской, Тверской, Смоленской и других центральных губерний России.

Левобережье Самары, Утёвка, стали пристанищем выходцев из многих губерний России, аккумулируя тем самым вековой опыт и уклад русского крестьянства в одном общем месте на широких просторах будущего Нефтегорского района и, очевидно, способствуя и укреплению достаточно чистого выговора, трудолюбия и основательности, с которыми утёвцы обычно обустроивают свою жизнь.

...Но вернемся к первым поселенцам. Поселок Утёвка располагался на моей родной улице Центральной, об этом говорят многие источники. До сороковых годов XX столетия она называлась «Большая улица».

Посёлок Киселёвка — на Уральской улице. А посёлок, который основал Клюев, располагался на нынешней Крестьянской, около озера, оно сейчас называется «Приказное». Очевидно, название «Чернышёвка» посёлок получил от породы уток, чернышей, которых в ту пору было очень много на озере.

В конце XVIII — начале XIX века приток переселенцев усилился и все четыре поселка — Селезневка, Чернышевка, Киселевка и Утёвка — слились в одно село, названное Утёвкой.

В камышовых зарослях речек, пересекающих село, на Черном и Приказном озерах водилось множество уток, поэтому, по одному из преданий, наше село и было названо Утёвкой.

В то, что уток было когда-то много, легко поверить. Даже я помню, как мой дед по весне на огороде бил уток, а зимой — силками ловил зайцев.

Скорее всего, село получило название от фамилии Утовкин. В селе и сейчас живут Утовкины, вероятно, потомки первопоселенцев.

Там, где ещё недавно стоял деревянный дом культуры, в начале XIX века, к 1810 году, была построена двухпрестольная церковь, посвященная Михаилу Архангелу (малый престол) и Дмитрию Салунскому (большой престол). Тут же был и рынок, где еженедельно по средам проходили многолюдные базары и три ярмарки в году. На Фролов день, один раз в году, в поселке проходили конные скачки. В поселке Утёвка жили богатые люди: братья Темонтаевы, Кузьмины, Колодины, Ясакины, Собольковы.

Данилов писал: «Жители Селезнёвки, Киселёвки, Чернышёвки и окрестных сел обычно говорили: надо съездить на базар, на ярмарку, в церковь, на скачки, в приказ, в Утёвку...»

И далее он пишет: «Старые же названия других поселков со временем стерлись из памяти жителей села, они остались только в архивных документах. Так в списках населенных мест Самарской губернии по состоянию на 1 января 1897 года записано: «Утёвка», а в скобках: Чёрновка, Селезнёвка, Киселёвка. Так же записано в списках населенных мест Самарской губернии и в 1897, и 1910 годах».

...Я иду по нашей Центральной улице. Даже за последние пять лет она сильно изменилась. Парк, который мы, школьники,

когда-то посадили почти во всю улицу из берез, карагача и тополей — было это в десятом классе — за сорок без малого лет успел вырасти, состариться и почти сойти на нет. Почему-то такое недолговечное дерево — карагач, пережило и березы, и тополя. Но, обвешанные грачиными гнездами, и они засохли. С тяжелыми чёрными гроздьями грачиных гнезд этой осенью повалились они под бензопилами наземь. Теперь от самого того места, где стояла церковь с двухсотпудовым колоколом, а после — клуб, просматривается в конце улицы бескрайняя степь-матушка, выдавшая так много на своём веку...

...Следующей весной прилетят, как обычно, грачи в родные места. Увы, они уже не найдут своих гнезд.

...Я встречал немало людей, когда-то выпорхнувших из этих благодатных мест и вернувшихся лишь для того, чтобы посмотреть хотя бы одним глазом на старое гнездовье своих предков.

Как правило, они мало что находят. Постройки, чаще всего недолговечны. Всё с годами уходит в землю...

Бесконечные укрупнения, разукрупнения, перевод села из одного района в другой заставляют перемещать и без того скудные архивы. Часть их теряется.

Так что... ищи ветра в поле...

Весенняя болезнь

Идёт затянувшееся совещание. Добрая сотня людей мается в зале. Мой сосед тихим разговором спасает нас обоих от скуки.

— Разные бывают профессиональные болезни, а знаешь, какая у меня? Моя хворь связана с весной. У одних авитаминоз и другие разные интеллигентские штучки, а у меня страшно болит шея.

— Ну, это возрастное — пошло, очевидно, отложение солей...

— Вот-вот, возрастное, это точно. А не знаешь ли, почему обязательно весной? Нет, не знаешь, а я знаю. Весной все женщины становятся прекрасными. Они благоухают! Прелестное время! В груди так вдруг и забурлит, и нестерпимо захочется влюбиться направо и налево. А тут тебе заботы весенние: капитальный ремонт завода, помощь селу, подготовка соцкультурных объектов к лету — дышать нет! Мечешься, как заяц. Вот и видишь женщин только из окна персонального автомобиля. Таращишь глаза, тянешь шею вслед очередной прекрасной незнакомки, вот она и не выдерживает!

— Кто, незнакомка?

— Да шея, чудак! Ноет без конца, болит.

— Вот это уж точно возрастное. Рано ты директором такого большого завода стал.

— А у тебя не ноет?

— Нет.

— Ну, тебе ещё хуже, брат. Ты совсем уже пропащий человек.

Председательствующий объявил его фамилию. Он, не поворачиваясь, правой рукой пошарив на соседнем сиденье, взял свою папку с бумагами и пружинистой походкой пошёл к трибуне.

Советание шло своим чередом. Как и жизнь.

Погоня

Набродившись по жаре, я расположился в тенёчке невысокой ольхи близ маленькой высыхающей старицы. Редкие всплески доносились до меня. Стадо коров, разморенных июльским зноем и погрузившихся в воду, дремало.

Но вдруг вода в озере взбурлила, застоявшиеся буренки, вырывая ноги из тины, ринулись на берег. Сгрудившись, они взбили пыль на берегу и шарахнулись на бугор.

— Лось! — изумленно вскрикнул один из подпасков, очевидно, сынишка пастуха.

Я посмотрел в направлении, куда показывал мальчик. Степенно неся горбоносую, увенчанную широкой чашей рогов голову, спускался к воде лось. Он был великолепен. Дикое дитя природы! Но всё-таки в этом заповедном звере как-то недоставало величия. Было похоже, что скрывался он от долгой, изнурительной погони. Но от кого мог бежать этот великан? Раздувающиеся его бока были мокрыми.

— Пашка, Генка, чего смотрите? Гони! — шумнул ещё не пришедший в себя от дремы пастух.

И не успел я подойти, как ребяташки вскочили в седла и под заливи́стый лай собачонки погнали лося. Тот, не дойдя до воды, метнулся, вскинул голову и, ускоряя бег, помчался по равнине к лесу, отгороженному широкой лентой пашни с молоденькими сосёнками.

Поругиваясь, пастух начал собирать коров в кучу. С высокого берега старицы мне было видно, как, обогнув дальний её изгиб, лось отрывался от преследователей. А те гнали всю галопом, охваченные азартом погони.

— Не случилось бы чего с ребятней, — забеспокоился пастух, — заставил — и сам не рад! На-за-а-ад! — сложив рупором ладони, прокричал он. Но голос его тут же увяз в знойном воздухе.

В следующий момент лось резко повернул в сторону. Там, куда он устремился, блеснуло на солнце узенькое болотце. Лось, с разгону войдя в воду, нагнул голову. Не трудно было догадаться, что он жадно пил. Но что это? Выйдя из воды, зверь рухнул на землю...

— Хиляк попался, наверное, сердечник, — встретил нас на полпути радостно возбужденный Генка, старший сын пастуха.

Было странно видеть и знать, что дикая и, казалось, неумная сила рухнула так вот запросто, ничемно.

— Папань, а рога ножовка возьмет? — Генка не мигая смотрит на отца.

— Да замолчи, — отмахнулся пастух.

Пашка сидит на траве молча, учащенно шмыгая носом. Старается не поднимать головы...

День померк.

Было неловко и стыдно, что никто не сумел, не догадался остановить эту нелепую погоню.

Заводской Эзоп

Он храбрым был. Но притворялся трусом.

Он мудрым был. Но дурака валял.

Кривлялся. Потрафлял жестоким вкусом.

И плоской шуткой с грохотом стрелял.

Юнна Мориц. «Паяц»

Он был иногда назойлив, как осенняя муха. Настигая меня в столовой, у проходной скороговоркой выдавал свои «перлы». Косноязычие мучило его. В сочетании с его жанром — он писал басни, это снижало впечатление в разговоре с ним. Не наблюдалось, как мне казалось, блеска.

Его шутки были, как выкорчёвывание огромного корнеплода, допустим, свеклы, полезного, ёмкого, но грязноватого ещё, необработанного, содержащего и сахар, и в последующем хмельную брагу — но пока... всего лишь серый комок. Не хватало шарма в его экспромтах.

Когда была хоть какая-то возможность, я приглашал его к себе в кабинет. Но там он становился суетным, начинал ёрничать. Его смущала официальная обстановка. Я понимал — это защитная реакция, но всё же досадовал: хотелось душевного разговора...

...Он был живой персонаж моей повести «Черный ящик». Я всегда его слушал внимательно. Мне не интересно придумывать

жизнь, какая была или будет. Какая она есть, — это всегда влекло. Вот он, живой, в застиранной спецовке, рабочий человек...

Он отличный слесарь-инструментальщик. Я его наблюдал и с разводным огромным ключом, и колдующим над сложными чертежами.

Но не хватало ему «художественности», того, что я пытался обрести и сам в своих литературных опытах, что ценил более всего тогда. А у него, казалось мне, и дум об этом особых не было. Несколькими раз я просил его дать мне посмотреть его басни, про себя думая: может как-нибудь да издадим?!

Он обещал, но не приносил. Я это понимал по-своему. Ещё не созрел, сам себя готовит. Это, может, и хорошо. Зачем торопить? Пусть сам решает. Его влекла сатира, а был он весельчак и балагур. Его знал весь наш заводской люд — тут он проработал сорок лет. Да что заводской! Он дружил со всеми пишущими в нашем городе — единственный баснописец в Новокуйбышевске! Имя его — Владимир Николаевич Долгинин. Чаще всего он подписывался — «Скорпион». Под этим именем он и попал ко мне в мою повесть «Чёрный ящик».

...Было время, когда нелегко было работать. А когда директору завода легко? Но уж больно сильно прижало. Разгул псевдodemократии душил заводскую дисциплину. Зачумлённые вседозволенностью члены совета трудового коллектива рвали заводскую власть на лоскуты. Каждый примерял с чудовищной безответственностью добытый кусок этой непростой материи на себя. Уже «общественный директор» — председатель СТК — давал интервью, делился планами работы на год. Досадно и больно было наблюдать, как эта дирекция основными задачами своей «деятельности» ставила «зажать» действующую администрацию, отобрать у неё распределительные функции. И никто не хотел на себя брать организационную часть работы. Всё делалось, чтобы развалить то, что есть, а потом на обломках выносить приговоры и окончательно брать власть. Увы, это был уже отработанный на многих заводах сценарий, а вернее, план захвата власти. Многие заводы от этого уже лежали полуживые. Ибо захватившие таким образом власть кроме «захватов» чаще всего ничего не умели делать.

И вдруг среди этой вакханалии Скорпион печатает в нашей газете «Большая химия» свою «Оду директору». Многих эта ода заставила задуматься.

Оказалось, что муха может быть храбрее и смелее льва. Многие «львы» — главные специалисты завода — сникли, пригнули

головы, а слесарь-инструментальщик Долгинин ринулся в бой! Он чувствовал истину. Он был по-своему мудрый человек. Обычно он защищал честных ежей, умных бобров, муравьёв и клеймил стократно в бесчисленных своих байках львов-плутократов, грачей-рвачей и так далее, а тут такой громогласный поворот. Не каждый, прочитавший оду, поверил, я думаю, в искренность автора, уж больно критиканство «верхов» было сильно. Но тем и замечательней был поступок автора. Он потом долго старался не попадаться мне на глаза, очевидно и ему была непривычна роль защитника «верхов». Он, я это чувствовал, боялся, что приму его оду как подобоострашие. Он этого терпеть не мог. Скорпион по гороскопу, он и в жизни был таковым.

*...Ну, погоди! Госдума и Закон
Прижмут хапуг, должно быть, очень скоро,
Отнимут миллиард и миллион
И нищим отдадут. Осталось ждать немного —
Всего сто лет, иль двести...*

Он не был бодрячком. Он пронзительно смотрел на мир, порой и грустно.

— Гендир, знаешь, нельзя надеяться на то, что на земле будет когда-нибудь рай. Вредно так думать. Но человеками надо пытаться оставаться, верно? — И сам ответил, зная моё мнение наперед: — Ежу понятно.

— Коль рая нет и не будет, то не будет и счастья. Есть же формула: «Счастлив тот, кто не родился», — пытаюсь я разговорить Скорпиона.

— Не так, гендир! Совсем не так! У каждого из нас своё, и каждый может испытать счастье, хотя бы на миг.

Теперь, читая его:

*Я как будто в лесу, в буреломном лесу:
Что ни шаг, то овраг, где ни встал, там провал.
Чертыхаясь, бреду я сквозь дождь и грозу.
Как осина, дрожжа, я храбриться устал,
Я дорогу ищу, я кричу, я свищу.
Волчьим воем глушу необузданный страх:
«Отвяжись! Отойди! Не пуцу! Не процу!» —
О, помилуй, Господь! Не свирепствуй, Аллах!» —*

я понимаю, почему он не говорил гладко, и не было в его речи изыщества и косноязычье мучило его. Он думал и о себе, и о нас всех сразу. Он о многом думал, и хотел на всё дать только свой ответ, ни у кого незаимствованный. Но ответ не сразу давался.

Однажды у него вырвалось:

*Плохие песни, говорил Крылов,
У соловья в когтях у кошки!..*

Скорпион умер в конце прошлого года.

Владимир Николаевич не успел издать своей книжки. Когда я задумал изготовить крест на могилу художника Григория Журавлева, он с душевным просветлением взялся помогать. Теперь этот металлический памятник, художественно оформленный, стоит там, где ему и положено. Когда я приезжаю после долгой отлучки в своё село и подхожу к этому кресту-памятнику, душа успокаивается.

...Он был одним из нас, поэтому, может быть, мы не могли видеть в нем ничего пророческого.

Он был каплей, капелькой всего человеческого, может быть, так...

...«Если бы никогда не появилось в печати ничего, что вы написали, было бы что-нибудь в нашей жизни хоть немножко иначе, чем теперь?» — этот вопрос когда-то задавали Викентию Вересаеву.

«Вот перед вами упала капля дождя. И вы спрашиваете: изменилось ли бы что в урожае, если бы этой капли совсем не было? Ничего бы не изменилось. Но весь дождь состоит из таких капель. Если бы их не было, урожай бы погиб». Так ответил писатель.

Это и о нем, о Владимире Долгине.

Не собственник

Мой сосед по купе «завелся» с ходу. Видно, заядлый рассказчик.

— Когда в Лондоне, в музее восковых фигур мадам Тюссо, я решил подойти к Наполеону и померяться с ним ростом, показалось, что великий француз мне хитро подмигнул. Это, скажем прямо, странное дело я никак не мог объяснить. Но так было, ей-богу. Не придумал же я. Померился, и оказалось, что я выше, вернее, немного длиннее его.

Когда случилось то, о чем сейчас расскажу, вспомнил все это.

...Значит, приехал я в Москву не один — со своим замом по экономике. Поселились, как обычно, в гостинице «Ленинградская», что у трёх вокзалов. Разошлись по разным номерам и надо же — я почувствовал простуду. То ли в поезде кондиционер помог, то ли раньше где, но кости поламывает, в горле першит и нос забит. Можно бы перебиться, но на следующий день мне предстояло в Правительстве у Черномырдина делать сообщение по своему заводу. Все дело в том, что мы тогда затеяли большой проект. Нашли инвесто-

ров, кредит большой — свыше ста миллионов немецких марок, и нужна была для немецкой стороны правительственная гарантия.

Нельзя было гнусавить на докладе.

Дежурная по этажу нашла только аскорутин. И то всего две таблетки. Я проглотил их обе и улёгся в постель. Вдруг она стучится и предлагает рецепт:

— Если хотите на завтра быть здоровым, слушайте. Не гарантирую, сама не пробовала, сейчас подружка подсказала. Надо взять стакан хорошего коньяка, нагреть градусов до сорока-пятидесяти и выпить. Не закусывая, лечь в постель.

Коньяк стаканами я ещё не пил, но был готов сейчас на всё.

Примерно через час ввалился посыльный от моего друга, которому я позвонил, с бутылкой «Наполеона».

— Вот, Виктор Алексеевич сказал, чтобы коньяк был надёжный, не суррогат, а где сейчас гарантия? Всё объехал, что мог, решился на Арбате этот взять. «Наполеон» — вроде похож на настоящий.

— А где же Виктор?

— Да у него какое-то сложное дело, обещал позвонить.

Посыльный вышел. Я остался один на один с «Наполеоном».

Подогрел бутылку под краном в ванной. Вернулся, налил полный стакан, поставив его на журнальный столик посередине номера. Присел рядом в некотором раздумье. Не совсем ещё верил, что я готов на такие подвиги.

И в это время в номер зашел мой заместитель. Глаза его округлились. Он попивал. И в дороге, в поезде, в гостиничном номере — везде у него под рукой с собой было. Опыт в этой сфере у него редкостный. Любил это дело. Иногда его заносило, и я, зная это, старался компанию с ним не поддерживать, но и не запрещал. Так было и в эту поездку. В поезде я в этот раз с ним не пил.

— Гендир, в одиночку употребляем? Не похоже!

Он искренне удивился, воззрившись на коньяк.

— Лекарство. Видите? — и я потянул воздух забитым носом.

Налил и ему полстакана.

Он пригубил, поморщился и махнул рукой:

— Мне в город надо, не сейчас.

Это было совсем не похоже на него. Странный день какой-то выдался...

Когда он вышел, я, зажмурившись, опорожнил стакан. Потом, махнув рукой, с какой-то даже необычной лихостью налил из бутылки остатки и выпил. По лечебному рецепту закусывать не полагалось.

Когда я убирал бутылку и стаканы, меня уже «повело». Быстренько разделся и бухнулся в кровать под одеяло.

...Проснулся в шесть утра, проспав беспробудно десять часов. Сушило страшно во рту, но вчерашней потливости как не бывало. Нос мой функционировал словно новенький. Не лекарство — чудо! Очень хотелось пить.

...Всё прошло нормально. Не было Черномырдина, вёл совещание зам — Олег Сосковец. Было с десятков высокопоставленных чиновников, включая заместителей министров смежных ведомств.

Через день я ехал в Самару, домой. В папке у меня лежала правительственная гарантия. Не зря мне Наполеон тогда подмигнул в Лондоне. Ты запомни рецепт-то, простенький он. Дарю — я не собственник.

Он замолчал. Я почувствовал, что настала моя пора что-либо рассказать похожее. Но что-то на ум занятого ничего не шло.

«Рановато он, с ходу начал, Сызрань только что миновали, до Москвы ещё...»

— А вот ещё разок история была забавная, рассказать? — и мой попутчик заразительно засмеялся.

— Давайте, — охотно согласился я...

Под карагачами

Сегодня в нашей сельской парикмахерской, пока дожидался своей очереди, наблюдал, как один из её посетителей длинно и нудно втолковывал другому самые, что ни есть, прописные истины.

Бедняга-слушатель мучался от бестолкового разговора, от того, что ему говорят о вещах, в которых он и сам не хуже разбирается, больше: он вполне придерживался того же мнения, что и говоривший, но прервать разговор не решался.

Говоривший (потом я узнал его имя, но запомнил прозвище — Ботало) любил свою мысль и явно считал себя намного умнее других.

Я видел, как облегченно вздохнул терпеливый слушатель, когда подошла его очередь, и он скользнул бочком к креслу.

По пути домой подумалось: «А ведь пишущий тоже чувствует себя в момент написания в некоторой степени талантливее всех остальных смертных, чувствует, что только он один может так сказать о чём-то, и говорит. И он вправе так чувствовать, иначе ничего стоящего никогда не напишет».

Простенький случай в парикмахерской стоил мне, как оказалось потом, бессонной ночи. Вечером перед сном встали частоклолом вопросы...

Почему всё-таки я пишу? Для чего? Ведь столько уже написано другим, но стал ли от этого мир лучше? Писать, вопреки всему, никого не слушая?

Творить мелодию, подобно той, которую я слышал в Швейцарии, когда на альпийских лугах паслись стада коров? У каждой на шее было по колокольчику, боталу. По дорогам сновали автомобили, шли люди. В небе летали самолеты, а эти колокольчики вели свою особую независимую мелодию. Они были всё-таки частью той жизни, которую я наблюдал в Альпах или они только напоминали о ней?

Жажда ли поиска истины рождает неуёмное желание писать или стремление свидетельствовать только то, что вокруг нас есть? И то, и другое?

Ещё больше разворошились во мне тлеющие сомнения, когда прочёл слова Алексея Алексеевича Ухтомского. Они не развеяли сомнений, они заставляли не соглашаться или соглашаться только частично, и толкали мысли дальше...

В 1928 году он писал: «Я вот часто задумываюсь над тем, как могла возникнуть у людей эта довольно странная профессия — писательство. Не странно ли, в самом деле, что вместо прямых и практически понятных дел, человек специализировался на том, чтобы писать, писать целыми часами без определённых целей — писать вот так же, как трава растёт, птица летает, а солнце светит. Пишет, чтобы писать! И, видимо, для него это настоящая физиологическая потребность, ибо он прямо болен перед тем, как сесть за своё писание, а написав, проясняется и как бы выздоравливает! В чём дело? Я давно думаю, что писательство возникло в человеке «с горя», за неудовлетворённой потребностью иметь перед собой собеседника и друга! Не находя этого сокровища с собою, человек и придумал писать какому-то мысленному, далёкому собеседнику и другу, неизвестному, алгебраическому иксу, на авось, что там, где-то вдали, найдутся души, которые зарезонируют на твои мысли и выводы!..»

И так, и не так! Уж никак по-моему писательство не возникло только «с горя», от отсутствия друга.

Писать иногда удобнее, если представить перед собой друга, к которому ты обращаешься или который ждёт от тебя слова. Но ведь это только приём, всего-то. Есть в писательстве то, что невозможно определить однозначно, и я не пытаюсь этого делать.

Меня однажды обожгла фраза: «Человека учат говорить, чтобы он когда-то понял, почему он должен молчать». Но для чего человек пишет? Не своеобразное же диссидентство: одни просто живут, а другие живут да ещё пишут о жизни. Что всё-таки это?

Стремление продлить жизнь? Ведь она так коротка! Но кому? Себе? Своим героям? Вообще продлить жизнь, понимая её уникальность и неповторимость? Просто продлить? Или продлить для того, чтобы понять что-то? Но что понять? Что самое главное в жизни? Но разве одному человеку можно понять, что сейчас самое главное в жизни? У каждого своё главное...

...Ведь, если это разговор с собеседником, которого тебе не хватает, то в конце концов всё может вылиться в монолог, а если ещё дальше, думал я, превратиться в лапидарные фразы, в афоризмы. Вот уж спасение будет от телевизионщиков: пусть попробуют экранизировать афоризмы. А что, если писательство — не желание продлить жизнь, а сделать саму жизнь? Сконцентрировать на бумаге — прошлое, настоящее, будущее?

Что самое дорогое у человека? Сама жизнь. И она быстротечна, она чаще всего трагична. Она — такая важная и нужная — для того, кто научился ценить жизнь, вершится, порою, кажется, не людьми вовсе, а Создателем. И хочется попробовать самому делать то, что самое главное на земле — жизнь? Но для чего? — вновь задавал я себе вопрос и вновь вынужден был сказать: для того, чтобы понять, что же главное в ней. Понять истинное. Но это же невозможно, — вновь спохватывался я. А раз невозможно, то всё писательство, как намёк на истину, как путь к истине — это всё впустую, всё бесполезно? Ни одному мудрецу не удавалось поймать истину. Можно мыслить оригинально, писать оригинально, идти к истине оригинально, но всё равно к ней не придёшь?! Я схватился за соломинку: может, смысл, самое главное, — в самом пути, а значит, опять, в самой жизни?

Вспомнились слова Джорджа Сантояна: «Почти каждому мудрому изречению соответствует противоположное по смыслу — и при этом не менее мудрое».

Но в мудрости ли дело? Ведь сказано уже: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его».

И тут опять всплыл в памяти вопрос моей мамы: «Шура, зачем тебе это надо? Только глаза ночами портишь».

И вспомнил себя в детстве, когда я узнал, что мой друг Мишка украдкой пишет повесть об отце, вернувшемся с войны на костылях.

— Ты пиши, Мишка, всё опиши, — шептал я тогда, глядя на Мишкино светящееся окно в ночи, — пусть все знают, какой твой отец, дядька Степан, знают, как он под обстрелом вынес раненого Миньку Сухова.

Как мне хотелось, чтобы Мишка написал и о моём отце.

«Писать — единственное средство

Сберечь на свете, что прошло...»

Тогда я не знал этих строк. Теперь знаю...

Так сберечь? Или найти? Или — то и другое? Или — найти и сберечь, всё-таки?

Я опять начал путаться. И никакая моя начитанность мне не помогала. Не было для меня ответа на этот вопрос: зачем пишу?

Открыл дверь и вышел из своего домика в огород. Подошёл к колодцу. Я его этим летом обновил: убрал журавец — он совсем стал гнилой — опасно было подходить. Ветловый сруб заменил на четыре железобетонных кольца — этого почему-то при жизни так хотела моя мама. Сделал над ним металлический навес. Покрасил его в голубенький весёлый цвет. А всё чего-то не хватало. Дерева не стало. И мамы нет. Души не стало у колодца. Той, которая была...

Я подошёл, потрогал цепь. Ночью все немножко другое. Сегодня днём брал воду, деловито и быстро. Сейчас я был иным. Цепь ещё та — родительская, а бадейку, клёпанную отцом — крепенькую, из толстой жести с надёжной, чуть ли не в сантиметр толщиной, дужкой, — украли.

Я повесил ещё днём вместо бадьи обычное ведро. И стал оттого мой колодец совсем чужим, как бы не настоящим...

...Когда вернулся в дом, бодрый и гулкий будильник показывал три часа.

Мне больше не хотелось думать о том, зачем я пишу. Я чувствовал свою неспособность однозначно ответить на вопрос, которым сам себя периодически мучаю.

Да что же я? Ведь был же момент, когда понял, что не буду торопиться отвечать, для чего я пишу. Пусть за меня отвечают мои тоненькие книжки.

«Все нас забыли, деревню забыли. Всех и всё забыли. А ты помнишь, сердцем помнишь! Не глазами и умом, а — сердцем».

Эти слова моего земляка прозвучали во мне так отчетливо и внятно, что я вздрогнул. Сколько слов, сказанных мне, я помню, сколько глаз...

Они не отпускают меня от себя.

«Помню», — сказал я себе вслух. И встрепенулся: жив ли мой дружок детства? Месяца два я его не видел.

Завтра надо сходить к нему: у него матери с отцом давно уже нет, как у меня...

«...И жена ушла», — запоздало вспомнилось.

И все мои ночные размышления при этих мыслях показались ненужными, мешающими жить, работать, писать...

Два Ивана

Есть два человека, без которых я не представляю город Самару и без которых моя жизнь стала бы намного беднее. И хотя мы встречаемся нечасто, и в суете городской подолгу пропадаем друг у друга из виду — мы словно в одной большой деревне. По крайней мере, так обстоит дело со мной. Я не могу назвать их своими друзьями, как не могли мои отец и дед назвать друзьями своих односельчан, хотя судьбы многих из них самым причудливым образом и в войну, и в мирное время в быту переплетались так, что диву даёшься.

Они не мои односельчане, нет. Мы из разных сел: Иван Иванович Морозов из Кошек, а Иван Ефимович Никульшин из Сосновки, что под Мало-Мальшевкой. Мы — сельчане, живущие в одном городе. Сельчане-горожане. И вроде бы я не подхожу к ним со своим отчеством и фамилией. Мне и самому иногда кажется, что живу я под псевдонимом, и очень долго в студенческие годы желал, чтобы фамилия у меня была матушкина — моих русских деда и прадеда — Рябцев. И назвать меня могли Ванечкой, ведь дед мой — Иван. Но мама моя! Она хотела остаться верной своему обещанию, которое дала моему отцу. Это обещание ещё более стало незыблемым, когда отец мой не вернулся с войны. Она тогда, в лихолетье, всё сделала, что могла, чтобы сохранить и сберечь Сашу Малиновского — меня.

...Каждый по-своему: Иван Ефимович — в литературе, а Иван Иванович — в театре, делают своё и в то же время наше общее дело — как могут сохраняют и несут русский дух. Органично, ненавязчиво. Просто как могут, так и живут, и работают, и думают — по-русски. И другими они быть не могут. Они такие по сути.

В аннотации одной из книг Ивана Ефимовича прочитал: «...писатель продолжает исследовать народный характер, оставаясь верным правде жизни, он не пытается приукрасить ни своих героев, ни те жизненные обстоятельства, в которых они действуют».

Эти слова можно отнести и к артисту Ивану Морозову.

«Так вот чем дороги мне эти два человека, — однажды подумалось мне, — верностью правде жизни, той верностью, которая была всегда в поведении и в самих поступках моих земляков».

Проза Ивана Ефимовича, как и он сам, соткана из спокойно-го, лирического света, интонации доверительной и наполняющей энергией человечности. Это так. И в этом прелесть его письма.

Родился Никульшин в 1936 году в поселке Сосновка — совсем недалеко от моей Утёвки. Он и теперь летом живет в домишке рядышком с родительским, который купил когда-то. Я бывал у него в гостях в Сосновке, все так до боли родное и знакомое, что о многих вещах с ним не было нужды говорить вслух. Всё понятно без слов, как когда-то бывало у меня с моими родителями. А ведь Иван Ефимович старше меня всего-то на восемь лет.

Но в нём такая надёжность и то тихое мужество, которого требует наша нынешняя российская действительность, что невольно проникаешься признательностью, ведь это все органично переходит в его книги. Он надёжен и в своей литературной работе, не слишком поддаваясь воображению, что очень дорого мне лично, не конструирует сознательно жизнь своих героев. Берёт в большей степени то, что есть в самой жизни, что увидел и пережил лично, не боясь обыкновенных, сотни раз повторяющихся событий, видя в них повседневный быт и дорожа этим бытом, как самой российской действительностью, самой жизнью. Жизнь, которая обязательно должна быть освещена добром и светом для каждого из нас.

Так сложилась судьба писателя, что свою первую книгу повестей «Молочные реки, кисельные берега» он издал в 1978 году, когда ему было уже за сорок. До обрушившегося на нас беспредела, в том числе и в литературе, оставалось совсем немного, всего-то меньше десятка лет. Но сколько им написано замечательного за это время! И сколько сделано потом и, я знаю, делается сейчас. Если человек рожден тружеником, то он им останется на всю жизнь. Это касается и писателя.

...Я уже издал десять своих книжек, а его рассказ «Утица луговая» помню постоянно. Помню начало: «За околицей бабы метали стога...» Помню и конец: «Я нёс чемодан и, пока виднелись стога, всё оглядывался на них...» Почему помню? Сразу не объяснишь... Ближе к сердцу.

...Словно осенние палые листья ворошу старые областные газеты. Но грусти нет, есть радость за людей, чьи жизни и творческие судьбы состоялись. И состоялись у многих самарцев, в том числе и у меня — на глазах.

Вот, кажется, первые заметки, на одной газетной странице и о сельском кинемеханике, затем заведующим сельским клубом в Кинельском районе Иване Никульшине, и об Иване Морозове.

«Познакомьтесь: Иван Никульшин», — так начинается одна из них. И под ней три стихотворения.

А чуть выше — «Новое имя» — это уже об Иване Морозове. Они начинали одновременно.

Родился Иван Морозов в деревне. В детстве мечтал стать художником, испачкал немало бумаги. Потом переехал в Куйбышев, поступил на завод, на 4-й ГПЗ. Армия и закалила Ивана, и укрепила его творческую натуру. Он посылает документы в студию при МХАТе в Москву, но невезение — опоздал к началу приемных экзаменов. Так и вспоминается история поступления Василия Шукшина во ВГИК...

И вот декабрь 1963 года. Премьера «Матери». В роли Весовщикова бывший студиец Иван Морозов. Дебют недавнего студийца нашего, теперь Самарского, драматического театра оказался удачей, очевидной для всех. Кроме всего, молодому исполнителю, я думаю, крепко помогло его умение чувствовать народный язык Горького.

Так рождался когда-то на нашей самарской сцене русский народный актер (по другому о нем не скажешь, именно — народный) Иван Морозов. У него все герои потом будут добрые, как и герои писателя Ивана Никульшина. Я заметил, что попытки дать неприглядные стороны человеческого характера у Никульшина, как бы сказать, чтобы не обидеть его, не очень удачны... Может, от того, что нет такого душевного опыта у автора? И слава Богу, что нет!

...В театре, кто помоложе, зовут Морозова дядей Ваней. Доброта и совесть — качества народные. И доброта эта «нутряная», корневая, идущая от глубины народного отношения к жизни.

«Я вас всех помню и люблю, и чтобы я ни делал на сцене нашего театра, я всегда помню, что я кошкинский, а в Кошках живут замечательные люди, и я им желаю всего самого доброго», — это признание Ивана Ивановича своим землякам.

А вот что написала звезда Самарского драматического театра Ершова на фото, где она рядышком с Иваном Ивановичем: «Ванечка! Ванюша Иванович! Этот «неожиданный ракурс» — свидетельство моего нежного отношения к Тебе — хорошему самобытному актеру! Человеку необыкновенному, неповторимому в своей доброте человеческой...»

С 1960 года и до нынешних дней быть в одном театре дано не каждому и не каждому дано с достоинством пережить многолет-

ние творческие простои. Ведь так далеко ещё было до «Старосветских помещиков» Гоголя!

...Если быть более точным, первая роль у Ивана была в начале занятий в студии. Постановщик Петр Львович Монастырский ввел его в уже идущий спектакль «Мария Стюарт».

Ну, а первая роль со словами — Яков Лаптев в спектакле «Егор Булычов и другие».

Потом их было немало, самые любимые из которых для актера: Васильков в «Бешеных деньгах», Маргаритов в «Поздней любви», Иванов и Кузовкин в «Чужом хлебе» и, конечно, деревенский мужик Касьян в «Усвятских шлемоносцах» Е. Носова.

Многим зрителям запомнились его роли в классических пьесах И. Тургенева, А. Островского.

Права была драматург И. Тумановская, сказавшая однажды, что талант Морозова растили «всем миром».

«Весь мир» — это родители артиста, сельская деревенская школа, послевоенная, холодная, с замерзшими чернилами, первая учительница Федотова Клавдия Васильевна, Лия Петровская, первая заразившая его сценой, его педагог по сценической речи и мастерству актера народный артист РСФСР Михаил Гаврилович Лазарев, главный режиссер Петр Львович Монастырский. Играть с такими мастерами сцены как Александр Иванович Демич, Сергей Иванович Пономарёв, Варвара Евгеньевна Красова, Николай Николаевич Засухин, Николай Николаевич Кузьмин, Вера Александровна Ершова и другие — разве не школа?! Школа. И школа человеческой доброты.

В свободное время он работает над «безделушками» — из корней деревьев, всевозможных наростов на коре творит чудеса. Под его ножом и резцом рождаются забавные и дивные, чаще добрые, чем злые, загадочные существа. Он и сам мне иногда кажется сотворенным из огромного с развесистой кроной и крепкими корнями дерева прочной, надежной породы, сердцевина которой тонко и по-своему органично отзывается на все, что вокруг него. Надо только суметь прислушаться внимательно, не поддавшись суете наших дней, и, призадумавшись, вдруг обнаружить: есть разные таланты, но есть такие, без которых сама наша жизнь потеряла бы свою основу — талант любить людей, любить мир вокруг себя: небо, поле, речку...

...Я пригласил его на мой творческий вечер в Нефтегорске.

Он читал моим землякам главку «В грозу» из повести «Под открытым небом». И читал её так, как будто он это сам написал,

так ему всё было дорого и значительно. Читал с улыбкой, которая не сходила с его лица. Он блаженствовал, и мне казалось, что эти строки не я написал, а он. И то, что там значится моя фамилия — это какое-то недоразумение. Всё было как будто из первых рук, словно не было бумаги, пера, автора, издателя. Книги, наконец, самой, а был — Иван Морозов — единственное связующее звено между нами и героями рассказа.

*Не на сложности века —
На себя мне пенять,
Если я человека
Не умею понять.*

Так сказал поэт Иван Никульшин, но я уверен под этими строками с готовностью поставил бы свою подпись и артист Иван Морозов.

Когда смотрю на него, всегда вспоминаю, и не я один, мастеров Малого театра — Жарова, Ильинского. В них много общего, но у Ивана Ивановича есть одна особенность, которая для меня несказанно важна, он наш — самарский. И он — «паренек из Кошек» — так о нем когда-то сказала И. Тумановская.

...«Однажды иду по городу и вижу маленькое объявление: «Школа-студия при драмтеатре набирает артистов». Пошёл. Приготовил басню и отрывок из «Судьбы человека», где Андрей Соколов пьёт водку у немцев. Экзаменаторы: Лазарев, Блюмин, Монастырский, Пономарёв, Аренский. Приняли. И сразу же меня поставили стражником в «Марии Стюарт», а я ещё вступительные гуманитарные экзамены сдать не успел».

Так бесхитростно и просто о себе может рассказывать только очень щедрый души человек.

Я не был на родине Ивана Ивановича и об этом написал ему в стихотворении, которое прочитал на творческом вечере в Нефтегорске.

*Взять бы в дорогу какое лукошко,
Хлеба краюху, бутылку вина,
Да потихоньку отправиться в Кошки —
Манит родная твоя сторона.
Не замечая бензиновой гари
По большаку, а потом и просёлком,
Дальше уйти от галдящей Самары
И затеряться в березовых колках.
У родничка бы, глядишь, посидели,
Около пня, в окруженьи опять.*

*И помолчали б, а может, попели.
В небо взглянули, а может — в себя.
Много увидели б, много узнали,
Чувствуя рядом друг друга плечо.
Потолковали бы и повздыхали.
Спросят: о чём?*

Враз не скажешь о чём...

Мне очень хочется побывать на родине этого светлого человека, а если бы ещё приехать туда вместе с Иваном Никульшиным, то был бы праздник души. Честное слово!

...И артельное дело бы любое сработали. С такими-то мужиками отчего не сработать!

Уметь делать жизнь

О каждом из нас можно написать рассказ или повесть. Литература тем и особенна, что ей интересны самые простые, самые незаметные и движения души, и поступки, и дела человека — ибо в них раскрывается природа человеческая, в них ищем мы ответ: какие мы, кто мы на земле, для чего призваны?

О человеке, который и сажал деревья, и вырастил детей, построил вместе с коллективом, им же созданным, завод можно писать роман.

Первый директор нашего завода Анна Сергеевна Федотова была человеком своего времени...

От воли, таланта и ума руководителя в любых политических и экономических условиях зависит очень многое — эту истину мы постигли, выживая в свалившуюся на нас перестройку. Этому учила и Анна Сергеевна Федотова, как бы готовя нас к будущему, ещё тогда, в пятидесятых годах.

Каждый из нас — оглянитесь, внимательнее посмотрите вокруг... И дай Вам Бог понять, что без труда, самоотверженности, преданности избранному делу — ничего в жизни путного не делаешь. И наше общество без этих качеств каждого из нас неинтересное и ущербное.

...Ещё со школьной скамьи меня мучил вопрос: почему российская литература, гении литературы, так много сказав о душе человека, не сказали так же сильно о ней, но в соединении с делами рук человеческих.

«Не одни же Раскольниковы и Печорины были в жизни? — недоумевал иногда я. — Были люди, которые переживали беды,

личные драмы, но ещё всё-таки строили мосты, паровозы, ходили в экспедиции. Люди, которые делали жизнь нашу, где они?» Я искал такие книги, но их всегда было мало. Потом пошла другая крайность: если книга о производственниках, то там сплошные битвы за урожай, за сроки, за объемы...

И масштабы, и объемы поглощали рядового работника — от директора до рабочего. Были и исключения, но они так редки!

Мне уже немало лет. Я проработал около 15 лет директором завода, который строила и пускала Анна Сергеевна Федотова. А хочется, ох как порой хочется посидеть за одним столом с ней и её помощниками. И поговорить бы. И не только о заводе. О жизни поговорить!

О том как она, жизнь, строилась. И пусть пришли бы к нашему столу все те, кто работал рядом с ней. И мы посмотрели бы друг на друга. Мы бы нашли о чем поговорить и чему поучиться друг у друга. Может, пришлось бы порой и помолчать... Были и ошибки. Не ошибается тот, кто ничего не делает — известно же...

«...Почему-то некоторые думают, что быть директором — это привилегия. Это огромная ноша.

И если, когда несёшь огромную ношу, ты ещё можешь придать этому интеллигентный вид, усилия не будут казаться натужными и окружающие не будут шарахаться от тебя, а наоборот радоваться этому и подставлять добровольно, а не только по приказу, в помощь своё плечо, заразившись твоей энергией, удачливостью и коммуникабельностью — ты директор».

Так говорил мне когда-то главный инженер Скворцов. Его слова я привёл в повести «Отклонение». Сохранил и фамилию его.

Мне кажется, что и я имею некоторое право сказать своё слово об этой категории тружеников.

Я начинал на заводе рабочим. Так вот: ни одна профессия не требует столько душевных и физических сил, как должность первого руководителя. Это уже и не профессия, а образ жизни, когда ни выходные, ни отпуска, ни болезни не заслоняют тебя от твоих обязанностей.

Твой завод с тобой круглые сутки. Неважно, где ты. Только крепкая психика, здоровье, нервы, умение видеть каждого человека и перспективу всего дела, которым занимаешься, знание дела глубже и лучше, чем все остальные, делают из специалиста руководителя.

Конечно, то, что Анна Федотова оказалась у истоков создания первенца нефтехимии на Среднем Поволжье, в известной степени определяет интерес к ней.

Но ведь главное не в этом, а в том, как она вообще делала своё дело. Под грузом огромных производственных забот видела она жизнь простого работника? Понимала ли она истинное — самоценность самой жизни? И видела, и понимала! И это, очевидно, шло у неё не от рассудка, а от сердца, потому-то и тянуло так к ней людей.

Я уверен: большинство людей, работавших с ней, да и она сама, окажись в водовороте на порядок выше, масштабнее события, чем строительство, скажем, не очень большого, хотя и важного химического завода, — они и на более крупных стройках достигли бы успехов, ибо велика была жажда действовать.

Но вопрос в том: теряется или нет интерес к человеку при огромных масштабах дела? Если сохраняется и умножается, как в случае с директором Федотовой, это замечательно! Её радость, боль, надежды раздробились на тысячи сверкающих благодарной памятью осколков, и они, будучи, казалось бы, разрозненными, эти осколки, порой причудливым образом соединяясь вместе, дают такую мозаичную светлую картину происходившего, что становится радостно на душе...

Почётный садовник «Господин Лаптефф»

Небольшой немецкий городок Бад-Гацбург нас поразила своей ухоженностью и аккуратностью. Тогда, в 1987 году, не так уж часто и немногим из нас, производственников, удавалось бывать за границей. Удивляться было чему: на наших глазах рабочие шампунем мыли кирпичный забор и тротуар во дворе здания, где располагались аудитории академии менеджмента, в которой мы обучались. Мыли шампунем — настоящим тогда дефицитом в России. Медные водосточные трубы, аккуратно соединённые с канализационными колодцами, привели большинство из нас в замешательство.

Больше всего в первый день меня поразили берёзы во дворе нашего отеля. Помня по книгам, по фильмам особую страсть немцев к нашим берёзам, я полагал, что у них этого дерева нет. Оказалось по-другому. Обычные наши берёзы, приветливые и такие привычные глазу, белели повсюду.

Потом, когда я оказался в Америке, и там мне пришлось удивляться берёзам. В Блумфельде, на зеленой лужайке перед домом хозяина, вице-президента фирмы господина Меддока, пригласившего нас к себе, красовались берёзы. Правда, хозяин их называл серебристыми, делая акцент на «серебристые». И впрямь: листочки их были как бы посыпаны слегка серебристой пылью и отто-

го-то теряли простодушную прелесть и казались модницами, приготовившимися на бал, заботливо и прихотливо...

...Лекции по основам менеджмента нам читал профессор Хён. По его словам выходило, что он участвовал в разработке программ по восстановлению промышленности ФРГ после войны. Он часто нам рассказывал об этом периоде своей жизни.

Видимо, профессор действительно знал и жизнь, и свой предмет, но вот нас, русских... ему приходилось изучать на ходу.

Когда он рассказал нам, директорам, как лучше всего строить свой рабочий день, мой сосед слева — Виктор Лаптев, генеральный директор одного из крупных нефтехимических заводов в Сибири, пробасил себе под нос:

— Так не бывает.

Фраза прозвучала громко и профессор попросил пояснить сказанное.

— Не всегда я могу так четко планировать свой рабочий день, как предлагаете вы.

— Почему? — допытывался дотошный немец.

— А меня могут в один день с утра пригласить в горком партии, в обком партии, в исполком и ещё в кучу учреждений, куда я не могу не ехать лично. И весь мой дневной график работы будет нарушен.

— Да-да, — вежливо согласился профессор, — в такой дерганной системе работать нельзя. Мы ей дали название «инфарктная». Нам это известно.

— Вот те ну? — удивился сибиряк. — Зачем же тогда преподавать?

— Мы учим работать вообще, то есть в условиях нормальных.

Лаптев, кажется, понял, но ненадолго. В следующий раз, когда речь шла об организации производства, он опять задал вопрос:

— Господин профессор, вот вы говорите, что всё построено на чёткости, ритме. Что, например, на участок железобетонных изделий вагон с цементом должен прибыть в четверг в четырнадцать часов.

— Так точно! Это естественно.

— «Естественно», — ужаснулся Лаптев и обвёл аудиторию ошалелым взглядом. — Вот рядом со мной сидит мой коллега Александр из Самары, — он указал на меня, — если он закажет цемент на четверг, то вагон запросто может прибыть на пару дней позже, и уж не к четырнадцати ноль-ноль. А может прибыть и не в Самару, а проскочить в Сызрань и службы будут искать его чуть ли не неделю, верно?

Я кивнул согласно головой.

Аудитория притихла, зная наперёд, очевидно, ответ профессора.

— Молодой человек, что вы хотите? В таких условиях нельзя работать. Эти условия экстремальные. А я говорю о рутинных, обычных делах.

Наш Виктор Иванович после таких ответов сник и перестал задавать свои неудобные для опытного профессора вопросы.

Правда, один раз он ещё сделал попытку кое в чем разобраться, но опять получилось, ну просто, непонятно что!..

На этот раз он спросил госпожу Бёме, как компенсируют у них вредные условия труда на химических предприятиях, дают ли работникам, как у нас, молоко.

— Зачем? — удивилась госпожа Бёме.

— Как зачем, чтобы нейтрализовать в организме отраву, — справедливо возмутился Лаптев. — У нас на заводах так делают. Это забота о здоровье рабочих.

— А зачем сначала травить, чтобы потом давать молоко? Лучше не травить вообще. Сегодня должны работать соответствующие технологии, чистые.

...На следующий день Лаптева в аудитории не оказалось. А чуть позже мы все увидели его на зеленой лужайке перед окнами нашего класса. Он косил газонной косилкой траву. Когда мы вышли после занятий, пахло подвяленной зеленью. Знакомый запах враз напомнил мне наше Заволжье и деревенский сенокос.

Оказывается, Виктор Иванович давно заметил косилку, и вот теперь, договорившись с рабочими, завладел ею.

— Здесь интереснее, — простодушно улыбаясь, односложно пояснил он. Потом добавил: — Учиться работать надо в наших условиях, а не в их, стерильных...

И стал, нагнувшись, что-то поправлять в агрегате. Косилка, конечно, нам всем была в новинку. На электрической тяге, компактная, ярко рыжего цвета — она была словно игрушка для взрослых. Мы потянулись к ней. Каждому хотелось потрогать, но Лаптев был строг. Как-то так получилось, что все приняли только его право на косилку. Они подходили друг другу — косилка и генеральный директор, крестьянский сын из далекого сибирского села. У него и фамилия-то как бы подтверждала его особые права.

Подошедший профессор Хён дружелюбно похлопал косца по плечу. Я побоялся, глядя на него, увидеть оттенок снисходительности или иронии, но их, к радости, не было. Было нечто похожее на озабоченность, так мне показалось. Старый профессор хотел,

мне кажется, быть понятным всем, в том числе и вот этому светло-волосому русскому, бросившему свой парадный галстук и пиджак на скошенный газон. Более того, немец, кажется, понимал, что этот русский не так прост...

На другой день повторилось тоже самое. Мы сидели на лекции, а Лаптев косил траву, благо лужайка была приличных размеров. Так он тихо протестовал. Потом мы узнали, что его приятель для него записывал лекции профессора Хёна на диктофон.

...Лаптев деловито хлопотал на лужайке и накануне защиты наших выпускных работ. К его косьбе все уже привыкли.

Когда нам вручали дипломы, профессор Хён подготовил маленький сюрприз: кроме получения основного документа, свидетельствующего об успешном окончании учёбы, «господин Лаптефф» был за особое усердие и трудолюбие награждён дипломом «Почётный садовник».

Так мы и звали потом Лаптева «почётным садовником». Отзывался он, не обижаясь, на такое обращение и много позже, когда уже защитил докторскую диссертацию.

Чёрные ящики России

16 ноября 2000 года. 10-й съезд писателей России. Первый день. Очень пожалел, что не взял с собой диктофон.

Писательский дом в Хамовниках собрал известных литераторов России. Валентин Распутин, Виктор Лихонос, Валерий Ганичев, Михаил Алексеев, Василий Белов, Юрий Кузнецов, Станислав Куняев и многие другие. Тех, кого я читал, но видел и слышал впервые, присутствовали в зале.

Одна из мощнейших творческих организаций страны показала на съезде, что она выстояла, выжила. Созданный сорок лет назад Союз писателей России, объединяющий более пяти тысяч человек (90 процентов литераторов России), ведет огромную работу по поддержанию единого духовно-культурного пространства и формированию державно-патриотического образа Отечества.

Странные впечатления были от многолюдья, встреч, разговоров, от рукопожатий тех, кто составляет суть нашей литературы, от зияющей пропасти, разделяющей истинную ценность для страны дела, которому служит наша литература и того безразличия, которое наше государство проявляет к писателям. Вся система ценностей (если вообще таковая система есть), которую выдвинули нынешние реформы, обнаружила бессилие в создании чего-ли-

бо значимого в области культуры, литературы. Всё стоящее, что когда-то было создано и создается в литературе, крепится отрицанием духа наживы и совестью. Всё, что сейчас выходит истинного из-под пера достойного литератора — низкооплачиваемо. Понятие гонрара исчезает повсеместно.

Увы, то, что случилось в промышленности, случилось и в Союзе писателей. Так называемая социальная сфера, «социалка» не только урезана, но подрублена под корень. У Союза нет ни фондов, ни путёвок в дома отдыха. Нет никакого подспорья, помогающего литератору трудиться. Конечно же, нужен закон о защите русского языка, нужен закон (его надо срочно принять) о творческих союзах, который прошёл думские чтения, но не был подписан президентом Ельциным.

Собственность, отнятая у писателей приватизацией, конечно же, должна быть возвращена Литературному фонду. Дома творчества должны вернуться прежним владельцам.

От многих, в том числе и от Председателя Союза писателей Валерия Николаевича Ганичева, отрадно было слышать, и соглашаться, что на смену писателям старшего поколения, таким как Валентин Распутин, Василий Белов, Петр Проскурин, Юрий Кузнецов и другим идёт новое сильное поколение уже известных многим в стране литераторов.

Имена моих земляков Евгения Семичева и Дианы Кан не затерялись среди других и звучали крепко. Я и порадовался за них, и ещё раз ужаснулся, вспомнив их бытовые злоключения, которые, казалось бы, могли заглушить любое творчество. Но нет — крепки мои земляки!

...Как-то по-будничному, безо всякой официозности, но основательно открыл съезд Герой Социалистического Труда Михаил Алексеев, участвовавший в работе всех, кроме 1-го, съездов писателей.

В президиуме: Валерий Николаевич Ганичев, Валентина Ивановна Матвиенко — заместитель главы Правительства, Валентин Григорьевич Распутин, Василий Иванович Белов, Сергей Артамонович Лыкошин и другие.

Простуженным голосом Ганичев сделал доклад и пошла череда выступающих: Феликс Феодосьевич Кузнецов — директор Института мировой литературы, подробнее, чем это было обнародовано накануне в газетах, прокомментировал сенсацию, связанную с находкой рукописи великого романа «Тихий Дон», затем выступила Валентина Ивановна Матвиенко.

...И вдруг: выступление Мирзо Давыдова.

«Обстановка в Дагестане и голос писателя», — так оно называлось. Давая слово Давыдову, Лыкошин сказал, что Мирзо представляет страну, в которой произошли такие события, которые могут быть и в России.

Начав выступление с того, что передал привет съезду от Расула Гамзатова, Мирзо сообщил, что поэт, к сожалению, болен и не смог приехать. Но по мере сил работает и уже заканчивает поэму «Черный ящик».

— Как? — невольно вырвалось у меня.

Мой сосед Александр Лысенко — издатель из Орла, удивленно посмотрел на меня, а я показал ему мою повесть «Черный ящик», вышедшую года два назад в Самаре.

— Потом. Надо записывать, что говорится. Потом.

— Да, надо запоминать или записывать, — спохватился я. Это же все неповторимо, все уйдет, как в песок. Буду потом жалеть. Надо побыть самому сейчас «черным ящиком».

...Теперь вот пересматриваю свои отрывочные торопливые записи и многое нахожу в памяти дополнительно. Без этой протокольной фиксации, очевидно, не было бы многого, что я вынес со съезда.

Вот первая фраза, которую я записал на слух из доклада Председателя: «Думаю, что вполне уместно «вето» на такие формулировки, как «Россия гибнет», «спасать Россию». Хватит вкладывать в молодое сознание гибельные мыслеформы. Надо по-настоящему широко представить нашему человеку, нашему обществу реальный ход духовного стояния, крестный ход отечественной культуры, литературный процесс и протест, который идёт в стране».

Далее, говоря о книге Ланщикова «Череда окаянных дней», он цитирует из неё: «Делали вид, будто метили в коммунизм, а попали туда, куда и метили на самом деле, — в Россию».

«...Николай Переяслов обладает даром высвечивать заметные литературные явления русской провинции. Диву даешься, сколько он читает, сколько внимателен к зарождающимся тенденциям, к погрешностям и бедам нашей литературы. Его обзоры в «Роман-газете-XXI век», в «Литературной России», в «Дне литературы» — это хороший, добротный материал».

Эти слова я записывал с особым чувством. Николай Переяслов совсем недавно жил и работал у нас в Самаре. Уехав в Москву, не потерялся, а вовсе наоборот, голос его зазвучал сильнее и многоголосно.

Листаю свою толстую записную книжку — мой сегодняшний «Чёрный ящик» и попадаю на слова Достоевского, приведенные

на съезде: «Богатство прибывает, а душа убывает». Далее: «Говорить мы научились — научиться бы теперь молчать».

«Леонид Леонов — последний гений XX века», — это произнёс Валерий Ганичев. В моём «черном ящике» эта фраза подчеркнута жирной чертой.

А через пару страниц — из выступления Валентина Распутина: «Мы оказались не там, где мы должны быть... Литература питается энергией ответной волны... За десять лет число читателей сократилось в тысячу раз». И далее то, о чем я думал не раз: «Литература привела к революции, и она же спасла Россию после революции. Большевики не уничтожили русскую классику и она спасла Россию». «Труд — это совесть, а его героизировали большевики». «Вторая революция (перестройка) — подлее, чем первая».

Из не очень внятного выступления Василия Белова осталась одна четкая запись: «Чужебесие — главная причина разложения России».

«Но ведь и определённой части нашего общества от свалившейся на голову свободы предстоит перебеситься, — подумалось мне. — Нашей доморощенной бесовщины хватает».

В перерыве съезда ко мне подошёл Александр Громов, земляк, издатель моей повести «Черный ящик».

— Ну, как впечатление?

— Я обескуражен тем, что Гамзатов пишет «Черный ящик». Это как наваждение.

— Почему? — совершенно спокойно возразил он, — вы же сами пишете в своей повести, что все мы в одном самолете и все мы не знаем, когда и как приземлимся, помните?

— Ну, конечно!

— Так, там же далее вы говорите, что мы все — пассажиры и в каждом из нас сидит свой черный ящик — регистратор событий. Так Расул — тоже пассажир, не лишайте его места в нашем самолете и успокойтесь: у него свой «черный ящик». До своего срока он молчит.

— Да, но вот название, его и моё, оно...

— Разве дело в названии, дело в ощущении. Выходит, вы, как автор, попали в точку. Многие так себя чувствуют, а пишущие тем более.

Он метнулся в сторону и пропал из виду. Я спустился на первый этаж и пошёл в задумчивости по коридору в конец его, где обычно находился Николай Переяслов. Безотчетно, очевидно, направляясь поговорить с ним.

И тут я встретил Мирзо Давыдова. Сразу разговорились. Я попросил передать Расулу Гамзатову книжку «Под открытым небом». У меня была и «Черный ящик», но я почему-то не решился её предложить. Мы обменялись адресами и телефонами. Мирзо обещал на следующий год приехать на Волгу, и я с радостью пригласил его к себе в Самару.

Как теперь они там?

...Феликс Кузнецов рассказал с трибуны съезда о том, как нашлась рукопись «Тихого Дона». Выходило, что рукопись 1-го и 2-го томов существует, ксерокопия шолоховского текста находится в ИМЛИ и над ней работают специалисты-шолоховеды. Центр криминальной экспертизы, изучив тридцать страниц рукописи, подтвердил, что текст написан рукой Шолохова. С учетом того, что сто сорок страниц рукописи 4-го тома хранятся в Пушкинском Доме в Санкт-Петербурге, разговорам о каком-то якобы плагиате пришёл конец. Получалось, что работники института давно уже знали о существовании рукописи, но не могли выйти на её след. Журналисту Льву Колодному удалось это сделать. Можно, очевидно, надеяться, что пересуды вокруг авторства величайшего романа XX века прекратятся. И слава Богу!

...Сегодняшней ночью, душной и долгой, приснился сон. Вернее, во сне увидел зримо, как в яви, написанную Вадимом Телицыным в его книге «Нестор Махно» сцену:

«У села Макеевка махновцы ведут приговоренных к расстрелу двадцать бойцов-продотрядовцев, оказавших сопротивление и прославившихся в округе особой жестокостью. На выходе из села встретились с самим Махно.

— Кто таков? — обратился Нестор Иванович к подростку.

— Шолохов, Мишка...

— Годков-то сколько?

— Пятнадцать...

Покачал головой грозный батька и скомандовал конвоирам:

— Отпустить его, пусть подрастет и осознает, что делает. А нет, в другой раз — повесим...»

Так ли это было на самом деле, но прочитанное совсем недавно постоянно возникает в памяти, и всё время, в связи с другой трагической и светлой фигурой — Фёдора Дмитриевича Крюкова, известного в своё время на весь Дон, на всю Россию писателя. Книжки его издавали Петербург, Москва, Ростов.

«...Странное дело: меня давно уже, ещё до перестройки, не очень-то волновал вопрос авторства «Тихого Дона». Мне однажды

почему-то подумалось, что, может быть, и нет никакой разницы, кто написал эту великую книгу. Один из русских. Как «Слово о полку Игореве». И этого достаточно для русского человека, чья судьба на таком сейчас изломе, что авторство — это частное дело, касающееся автора, родственников да литературоведов. Русский народ: это и Шолохов, и Федор Крюков, о котором вы говорите, и тысячи, тысячи людей. И что изменилось бы сейчас, теперь, в судьбе и сознании русского человека, если бы автором оказался белогвардейский офицер, а не красный продотрядовец? По большому счету, ничего», — это сказал мне попутчик. Мы ехали в одном купе, он сошёл в Сызрани. Бывший директор школы, теперь пенсионер.

Можно ли так думать нам, русским? Благо ли то, что мы поняли наконец, что мы все — и белые, и красные — русские? Россияне? Конечно, благо. Пора понять. Но здесь вопрос не в этом...

«Если бы книга вообще не появилась на свет, была бы зияющая воронка», — так думал я и боялся своих мыслей, Шолохов был мой любимый с детских лет писатель. При жизни Шолохова, при советской власти — авторство имело особую окраску. А теперь? Народный роман был рожден народом. Вправе ли так думать? Можно ли? Конечно же, автор Шолохов. Все говорит об этом. И для меня это очевидно.

...Но были и другие «казаки». Так уж получилось, что незадолго до съезда попала мне «Забывтая книга» Фёдора Крюкова, и я неотрывно думал о судьбе её автора, без всякой связи с авторством «Тихого Дона», но с удивлением человека, услышавшего «черный ящик» человека, о котором молчали более семидесяти лет. И почему всё-таки его великий земляк Шолохов не обмолвился об этом ни разу? «Время было такое», — уговаривал я себя. Время было такое, что, проявив неслыханное мужество в написании своего романа, великому писателю хватило мудрости и терпения о многом молчать... Так я думаю, пытаюсь оправдаться за свои непутевые мысли.

Опять «черный ящик». И доступен ли он будет когда-нибудь? Не случится ли так, что когда-то мы узнаем от самого Шолохова причину забвения Крюкова? Из его «черного ящика».

...Вот уж действительно:

*«Братья-писатели! В нашей судьбе
Что-то лежит роковое...»*

«Рукописи не горят — но слишком часто время сжигает их авторов...»

Фёдор Дмитриевич Крюков с 1892 по 1920 год написал и напечатал, в основном в периодической печати, около двухсот пя-

тидесяти повестей, рассказов, очерков, воспоминаний, рецензий, стихотворений в прозе. Отдельным изданием вышли только два сборника его произведений. Оба дореволюционные.

Писатель родился 2 февраля 1870 года в станице Глазуновской на Верхнем Дону и прожил на свете 50 лет. Образование он получил в Петербурге, работал учителем в Орле, Нижнем Новгороде. В столице работал библиотекарем, журналистом, в первую мировую войну — корреспондентом на фронте. Семья у писателя была исконно казачья. Отец был станичным атаманом в Глазунах, справедливым и строгим.

Вот что пишет Георгий Миронов о Крюкове: «В Гражданскую сказался прямой, несгибаемый характер «казака»: никогда не искал компромиссов, был до конца правдив в жизни, в творчестве, как теперь в общественной борьбе. По таланту и месту в схватке оказалось значительным: кандидат в учредительное собрание от Войска Донского, секретарь Большого войскового круга (местного парламента), редактор «Донских ведомостей» — официоза Донского правительства, активный публицист ряда изданий юга России, а в пору белого похода пошёл в ряды войск... Ф.Д. не пожелал остаться в тылу. «Никто не должен упрекать нас в том, что мы лишь звали на бой, а сами остаёмся в тылу», — говорил он. Писатель остался до конца патриотом родного Дона. В забитой отступающим войском и горькими таборами беженцев прикубанской станице Новокорсунской ему вроде и места на кладбище не нашлось. Стреляли в блёклое зимнее небо из карабинов, наганов и плакали пропахшие потом, махоркой и порохом неслезливые фронтовики. «Какой человек ушёл!.. «Не сберегли для Дона, для России...» — «Прощай Митрич — светлая душа, пусть будет тебе пухом кубанская земля...»

...Читаешь ли его повесть «Казачка» или другие вещи: «В родных местах», «Картинки школьной жизни» — везде автор любит быт, особенно казачий. Привержен правде, не позволяет себе фантазировать, во всем правда изображения, высокое достигается безо всякого полета фантазии.

«Его рассказы — ряд смиренных красавиц без притираний на свежих лицах, без великих ухищрений в костюмах, но за этой простой наружностью чувствуется благородство врожденного вкуса и сила здоровья» (С.А. Пинус. «Бытописатели Дона. Родимый край»).

...За несколько дней, в течение которых я прочитал всё, что достал о Крюкове, я влюбился в него. Почти целые сутки безвылазно

провёл в Москве в номере гостиницы «Ленинградская», запоем читая рассказы Крюкова, так же как когда-то читал «Тихий Дон» Шолохова. Донщина вновь покорила своими запахами, красками, характерами. «На речке лазоревой» — так называется рассказ у Крюкова, а ко мне слово «лазоревый» пришло от Шолохова, тогда ещё, когда я мальчишкой открывал для себя мир донских рассказов. Как и слово «майдан», которое почему-то меня заворожило своим звучанием тоже с детства.

«Край родной.

Родимый край... Как ласка матери, как нежный зов её над колыбелью, теплом и радостью трепещет в сердце волшебный звук знакомых слов... Чуть тает тихий свет зари, звенит сверчок над лавкой в уголку, из серебра узор чеканит в окошке месяца молодой... Укропом пахнет с огорода... Родимый край...

Кресты родных могил, и над левадой дым кизячный, и пятна белых куреней в зеленой раме роц вербовых, гумно с буреющей соломой, и журавец, застывший в думе, — волнуют сердце мне сильнее всех дивных стран за дальними морями, где красота природы и искусство создали мир очарованья.

Тебя люблю, родимый край... И тихих вод твоих осоку, и серебро песочных кос, плач чибиса, в куге зеленой, песнь хороводов на заре, и в праздник шум станичного майдана, и старьё, милый Дон — не променяю ни на что... Родимый край...

Напев протяжный песен старины, тоска и удаль, красота разгула и грусть безбрежная щемят мне сердце сладкой болью печали, невыразимо близкой и родной... Молчанье мудрое седых курганов, и в небе клекот сизого орла, в жемчужном мареве виденья зипунных рыцарей былых, поливших кровью молодецкой, усеявших казацкими костями простор зеленый и родной... Не ты ли это, родимый край?

Во дни безвременья, в годину смутного развала и паденья духа я, ненавидя и любя, слезами горькими оплакивал тебя, мой край родной... Но все же верил, все же ждал: за дедовский завет и за родной свой угол, за честь казачества взметнет волну наш Дон седой... Вскипит, взволнуется и кликнет клич — клич чести и свободы...

И взволновался тихий Дон... Клубится по дорогам пыль, ржут кони, блещут пики... Звучат родные песни, серебристый подголосок звенит вдали, как нежная струна... Звенит, и плачет, и зовет. То край родной восстал за честь Отчизны, за славу дедов и отцов, за свой порог родной и угол...

Кипит волной, зовет на бой родимый Дон... За честь Отчизны, за казачье имя кипит, волнуется, шумит седой наш Дон, — родимый край!..»

Это стихотворение Федора Крюкова меня в себе просто растворило. Я заснул, читая его поздно ночью в поезде под стук колёс. И с самого раннего утра на следующий день, взяв вновь книгу в руки, был во власти его ритмов.

...Каждый из этих двух певцов Тихого Дона — и Шолохов, и Крюков — по-своему необычайно сильно любили казачество. Намного старший по возрасту Федор Крюков успел-таки сказать своё выстраданное. И мы теперь слышали его голос и почувствовали силу его духа. Нельзя не почувствовать: «Во дни безвременья, в годину смутного развала и паденья духа я, ненавидя и любя, слезами горькими оплакивал тебя, мой край родной... Но все же верил...» Это не строки из стихотворения. Это судьба человека, судьба нашей России.

...Я отложил книгу и посмотрел в окно. Наш самарский фирменный поезд «Жигули» выскочил на мост через Волгу. Позади была Москва, впереди — родимый край! Огромное спокойное водное пространство и вся округа там вдаль, на берегу, жила своей жизнью. Все было покойно и будто не смотрели во сне на меня сегодня ночью из смуты начала двадцатого века два человека и третий, сохранивший с легкостью необычайной одному из них жизнь...

Вот так неожиданно соединил в моём сознании съезд писателей два имени: Михаил Шолохов и Федор Крюков.

...А чуть позже свершилось важное и нужное дело. Выполнено завещание великого русского писателя Ивана Сергеевича Шмелева. Писателя и его жену Ольгу Александровну похоронили на родине, на кладбище Даниловского монастыря, рядом с могилой отца. Русский писатель проделал свой последний путь от кладбища в Сент-Женевьев-де Буа под Парижем до Москвы. И в самом центре Замоскворечья при пересечении Большого Толмачевского и Лаврушинского переулков был открыт памятник писателю.

Панихиду по Ивану Шмелеву служил Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Алексей II.

Ещё один писатель встал в полный рост и фигура его меня неодолимо влечет к себе.

...Я видел с каким интересом, а вернее, как запойно читала моя дочка его «Лето Господне». Открывая мир неизвестный и завораживающий. А впереди у молодого читателя «Богомолье», «Няня из Москвы» и «Пути Небесные». Дошел-таки светлый лучик, через пятьдесят лет после смерти, от покинувшего Россию в

двадцать втором году писателя. Кто знал после Октября его имя? Совсем немногие. Ему удалось больше, чем Федору Крюкову и многим-многим другим. Ещё до революции было издано собрание сочинений. Пророческое предсказание старца Варнавы в обители Троице-Сергиевой Лавры: «Превознесёшься талантом своим», — сбылось. Это было сказано ещё юноше, с детских лет читающему Евангелие и молитвинники.

Какие разные судьбы у этих писателей. И какая сила любви к своему народу, к языку русскому!

Утренний свет

Довольно странной была эта моя поездка... Вначале пришло письмо:

«Уважаемый Александр Станиславович!

От имени организационного комитета программы «ЭРТСМЕЙКЕР—2000» имею честь пригласить Вас к участию в последней церемонии награждения уходящего века. Причастность к данному событию позволит Вам войти в следующее тысячелетие с почетным званием лауреата награды «ЭРТСМЕЙКЕР—2000», что в вольном переводе на русский язык звучит, как «ЧЕЛОВЕК, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ЛИЦО ПЛАНЕТЫ».

По результатам исследования, проведенного независимыми экспертами на основании информации, полученной из авторитетных источников, Ваше предприятие удостоено международной награды «ЭРТСМЕЙКЕР—2000» в номинации «ЗА ДИНАМИКУ И ПРОГРЕСС ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В УСЛОВИЯХ ПОСТКРИЗИСНОЙ ЭКОНОМИКИ», а Вы лично, как его руководитель, удостоены персональной награды «ЭРТСМЕЙКЕР—2000» в номинации «ЗА ПРОЯВЛЕНИЕ ВОЛИ ЛИДЕРА И УПРОЧЕНИЕ ПОЗИЦИЙ СВОЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ».

В динамично меняющихся условиях современного мира залогом успеха в делах является изучение и адекватная оценка потенциального партнера на предмет его предсказуемости и надежности. Ценность информации в этой сфере оправдывает постоянные и дорогостоящие усилия. С этой точки зрения заслуженная Вами награда «ЭРТСМЕЙКЕР—2000» является ещё одним способом укрепления Вашего имиджа и развития атмосферы доверия в деловом мире.

Во время торжественной церемонии награждения, проводимой в Швейцарии с 21 по 27 декабря 1999 г., Вам будут вручены художественно выполненные символы нашей награды — хрусталь-

ный рыцарь «ЭРТСМЕЙКЕР—2000» и золотой нагрудный знак, а также корпоративный и персональный дипломы. Эти регалии станут свидетельством Вашей принадлежности к сообществу лидеров различных отраслей промышленности, науки, культуры и здравоохранения XXI века.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

Питер Мамо

Действительный член Института банкиров в Лондоне

Президент международной программы «ЭРТСМЕЙКЕР—2000»

Был конец года. Горячая пора. Более того, я готовился через неделю передать один из двух заводов, которые были под моим руководством, новому директору. Мне казалось, что сейчас не до поездок. Но вокруг стали говорить, что поездка нужна, что такое бывает редко, когда и завод, и директор так отмечены.

...И вот я в Женеве, одной из главных банковских столиц мира. Большой номер четырехзвездочного отеля «Бристоль» на улице Монблан. За окном река Рон, а чуть дальше за островком — Женевское озеро.

Все настолько опрятно, ухожено и вылизано, что, даже находясь на улице, чувствуешь себя как в наскучившей своей прибранностью квартире и хочется куда-нибудь выбраться туда, где больше не так гладко причёсанного.

Когда я смотрел на Женевское озеро, мне невольно вспоминался наш санаторий «Волжский Утёс», что недалеко от села Усолье с громадной морской водной гладью внизу и широко раскинувшимися лесистыми отрогами Жигулевских гор. Невольно напрашивались сравнения. И наши Жигули в этих сравнениях чаще выигрывали.

...После церемонии награждения, на другой день, в конце долгой автобусной экскурсии по городу нам было предложено на утро проехать вдоль всего Женевского озера и добраться до города Монтрё. Всем это сразу понравилось и мы охотно согласились покинуть свой ухоженный скворечник.

...Очень мне хотелось попасть в Шильонский замок, так когда-то поразивший поэта Шелли своей холодностью и олицетворением бесчеловечности, которую люди часто проявляют, чтобы влиять на себе подобных. Это там, в камере Боннивары, Байрон вырезал своё имя, и поэты попросили рассказать им историю жертвы тиранов, а Байрон в одну ночь написал «Шильонского узника».

Здесь они, однажды отправившиеся на прогулку по озеру, были застигнуты бурей у Мейерн. Байрон, натура, унаследовав-

шая кровь великих бунтовщиков, разделся и предложил спасти Шелли. Но не умеющий плавать Шелли сел на дно лодки, готовый потонуть, не сопротивляясь. Этот эпизод я помнил из прочитанного у Андре Моруа.

«Байрон, глядя на отражение звезд в воде и на громадные тени гор, как будто слышал, как вокруг него смутно колеблются доброжелательные и таинственные силы. Но эти ощущения были в нем мимолетны».

Что-то похожее ощутили потом и мы — горстка туристов. «Забыть своё «я», раствориться в красоте всеобщего — возможно ли это для Великого Эгоиста?» — эти строки я отыскал у Андре Моруа в его книге «Байрон» уже по приезде домой, следуя своей занудливой привычке сравнивать случившееся со мной с мыслями и ощущениями тех, кто ценит подобное и для кого они — сама жизнь.

...Мы вышли из гостиницы «Виктория» и пошли к фуникулёру, намереваясь попасть к замку. Нас было человек десять. Надо было спускаться к Женевскому озеру метров семьсот вниз, так нам сказали в гостинице «Виктория».

Оказалось, что фуникулёр не работает, отключено электричество. Недоумевая — бывает же и у них такое — не раздумывая, решили спускаться самостоятельно. То, что поступили опрометчиво, мы поняли уже минут десять спустя. Спускаться по узеньким с мокрым асфальтом тропинкам и большим уклоном вниз, было довольно трудно. Каждую минуту мы рисковали. Наша группочка, как нанизанные разноцветные бусы на незримую нить, протянутую между высокостоящей гостиницей «Виктория» и угрюмым, неприветливым Шильонским замком — там внизу — повисла, казалось, в воздухе. Порой сильный ветер заставлял прижиматься к изгороди и ждать момента, когда можно проскочить через очередной участок пути. Это начинало походить на опасную игру.

Общее спортивное настроение изменилось, когда элегантный и галантный замминистра украинского правительства, неудачно ступив кожаными подошвами на мокрый и скользкий асфальт, вдруг потерял устойчивость и его понесло вниз. Сообразив, что лучше бежать, иначе, остановившись, сорвёшься вниз, он стремительно пронёсся по извилистой тропинке метров пятнадцать, повернувшись вокруг собственной оси на повороте. Выбрав участок изгороди, поросший кустарником, ринулся на него. Он оказался удачлив — зелёная изгородь самортизировала удар. Мы подошли к бедняге, кроме небольших ссадин на руке и щеке ничего не было.

Но то — внешнее. Ноги его не слушались. Он не сразу смог идти. Стоял, стараясь не смотреть вниз.

До замка оставалось метров двести. Внизу манили к себе ухоженные домики, крохотные дворики. Все было бы прекрасно, если бы не этот сильный ветер.

И странное дело: озеро и Альпы по ту сторону то раскрывались перед взором в изумительной красоте рериховских красок, иссиня-черной враждебной и космически необъятной — становилось не по себе, то все куда-то враз девалось, оставалась сплошная тёмная завеса. Триста метров глубины озера и около семидесяти километров его длины давали знать: могучие волны, когда мгла вокруг в считанные минуты уходила, чтобы возникнуть вновь, вздымались так, что даже с высоты захватывало дух от мощи, великости происходящего. Ничего подобного по грандиозности я раньше не видел.

Посоветовавшись, мы решили не испытывать судьбу, не спускаться отвесно вниз, а по пологим тропинкам не спеша взять вправо и уйти в город. Монтре был справа от нас... «Вот тебе и тихая, наскучившая квартира, если бы я не оказался на этом конце озера — я не знал бы Швейцарии», — думал я.

Глядя на резко меняющуюся картину над озером, смену изумительной красоты на неуступчивую жёсткость природы, вспоминал я и Шелли с Байроном, застигнутых бурей в лодке, и слова молоденького русского гида, который ещё в автобусе обронил, что Швейцария занимает первое место по количеству самоубийств в Европе. В Лозанне даже есть мост, где дежурят добровольцы Красного Креста, чтобы круглосуточно прийти на помощь... Что это? Есть много объяснений, есть и самое, очевидно, верное, но мне почему-то вспомнился поэт Шелли, который отказался, чтобы его спасали от гибели в разбушевавшейся стихии... Таится что-то притягательное в природной мощи, в её всепоглощающей претензии покорить и поглотить всё в себе. Гуляют вокруг нас силы, против которых не каждый способен устоять. Эти мысли мне пришли естественным образом, я с ними ни с кем не успел там, в Монтрё, поделиться.

Я все искал глазами виллу Диодати, зная, что она где-то здесь. Спросить было некого. Вокруг удивительно пустынно и космически одиноко. Я знал, что роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» был написан здесь, в Швейцарии, в 1816 году дождливым летом на вилле Диодати, недалеко от Шильонского замка, на берегу Женевского озера. Общеизвестно, что инициатором создания романа была Мэри Годвин, жена поэта Перси Шел-

ли. Оба они приехали отдыхать в Швейцарию по приглашению их друга, молодого поэта, аристократа со спорной репутацией Джорджа Гордона Байрона. Было решено сочинить роман с тайными роковыми страстями, кошмарами, вперемежку с тогдашней модной наукой, граничащей с чертовщиной. Поэтам скоро наскучила эта идея, а вот Мэри Шелли не отказалась от неё.

Потом Мэри Шелли писала: «Мне хотелось сочинить нечто такое, что вернуло бы читателя к его собственным внутренним кошмарам, что вызвало бы в душе его ужас. Тот ужас, который заставляет с замиранием сердца озираться в пустой комнате и стучит кровь».

Что ж, страшилку, в свои девятнадцать лет, она создала грандиозную, на века. Вот уже две сотни лет герой её навевает ужас на читателей. Одним из первых игровых фильмов в истории оказался «Франкенштейн», снятый ещё в 1910 году.

Мне представляется, что этот роман мог быть написан только здесь, у Женевского озера, где кажется, что таинственные и космические силы так ощутимо и неотвратно действуют на человеческую психику. Под стать и сама Мэри Шелли — волевая, капризная и авантюрная, ставшая в свои шестнадцать лет любовницей Перси Шелли, а затем его женой, через двадцать дней после того, как утопилась жена поэта.

...А Перси Шелли всё-таки утонул, но не в этот раз на прогулке с Байроном, а позже и в другом месте — в июле 1822 года, отправившись кататься на яхте. Страшные эти две смерти — поэта и его первой жены, связаны с водой, и не одна ли следствие другой?..

Бог обошел природными ресурсами Швейцарию, но наделил красотой. Ледники в своё время сделали своё дело — снесли плодородную часть земли, и Женевское озеро, самое большое в Европе, образовалось в результате того, что скалы когда-то обвалились, перегородив реку Рон. Река разлилась, образовав в расщелине озеро шириной в шестнадцать километров.

Это озеро терморегулятор. Летом охлаждает воздух в городе. Температура не более 22 градусов. Частые туманы, ветра здесь вызывают головные боли. Странное озеро — в нем не купаются. Засилье уток породило множество блох. И они, окаянные, кусаются. Очень много уток черных, есть кряквы. Много лебедей.

Местные жители на противоположной стороне от гостиницы «Бристоль», где причал и стоят разнокалиберные катера и яхты, любят подкармливать птиц. Я видел, как раскрасневшийся от холодного декабрьского ветра человек с двумя сыновьями, лет по

десять-двенадцать, кормил из рук хлебом чаек. Чайки крикливой стаей налетали на протянутую руку с куском хлеба, хватали и тут же отлетали в сторону. Это повторялось многократно, отец радостно каждый раз подбегал к рюкзаку за хлебом, поспешно и самозабвенно ломал замерзшими руками корку. На большом, почти греческом, его носу висела тривиальная сопля. Он даже её и не смахивал. Он, как мне показалось, был счастливее в тот момент своих сыновей.

После этого похода я стал замечать и других птиц. Во дворе за гостиницей спокойно уживаются сизые голуби, воробьи, чайки. Переводчик нам сказал, что кормивший чаек мужчина, возможно, кельт — представитель коренного населения Швейцарии. Их мало, они живут по окраинам. Хотя конституция и написана на языке кельтов, язык этот мало кто хорошо знает.

Курьез: в Швейцарии всего два местных дерева. Бук и граб. Остальные все привозные.

Бедность — сестра рачительности, а последняя прародительница достатка. Химические удобрения здесь запрещены, пользуются только органическими. Даже для уничтожения насекомых — пожирателей их привозят из-за границы, они почему-то «не додумались» до нашего: бац с верхогуры с самолета сразу всем на голову отраву и... как ножом отрезало... от всего живого.

«В двадцать пять лет надо жить в Париже, а в пятьдесят — в Швейцарии». Эти слова принадлежат, кажется, Вольтеру.

...Странное было ощущение, когда мы вошли в город Монтрё. То порывы ветра срывали куски черепицы с крыш, то уличный фонарь, сорвавшись, катился по тротуару. На улицах — редкие прохожие. Всё будто вымерло. И лишь когда мы спустились совсем вниз к озеру, увидели признаки активной жизни. Но не саму жизнь. Приглаженную и как бы затаившуюся. Странно было узнать, что в Монтрё ежегодно проходят джазовые фестивали, что Игорь Стравинский здесь жил и писал балеты.

Я поотстал от своей группы и шёл один, находя удовольствие в своей обособленности от нашей шумливой компании. Где-то здесь жил в своё время Чайковский.

Озеро продолжало бушевать. На безлюдной набережной появилась невесть откуда семья: родители и двое мальчиков. Они подошли к озеру, до воды оставалось метров двадцать. Вырвавшаяся из озера волна огромной своей дикой массой ударила о землю, и брызги её окатили ребятшек. Порыв ветра потащил их за отступающей волной в озеро. Шипя, белопенная волна уходила по га-

зонам, по изумрудной и картинно красивой набережной назад в свою огромную завораживающую чашу, обрамленную с той стороны столь же красиво картинными хребтами.

Напуганная мать схватила одного из мальчиков, тот успел зацепить своего брата за полу куртки. Так, балансируя, пытаясь устоять на ногах, они двигались к воде. Подоспевший отец, включившись в эту цепочку, приостановил сползание их вниз, в какой-то момент ему удалось ухватиться за фонарный столб. Порыв ветра ослаб, они все собрались вокруг столба. Улучили момент и вновь цепочкой, во главе с отцом, метнулись к оgrade, а потом пропали в парковой зелени, изредка мелькая разноцветными спортивными куртками.

Сзади крепко захрустело. Я обернулся. Ураганом рвало два дерева. Заваливаясь одно на другое, а потом согласованно, будто в каком-то чудовищном танце, они вывернулись корневищами из земли и рухнули на три припаркованные рядышком машины. П слышался хруст ветвей, звон разбитого стекла. Стволы деревьев огромными ветвями накрыли автомобили и легли, как исполинские веники, забытые кем-то в разноцветном металлическом мусоре.

Была во всем в этот день какая-то несоразмерность. Стихия природы, сама природа не сдерживала своей огромности, великости своих сил. И это делало всё то, что сотворено человеком и самого человека второстепенным, не главным, как он себя считал в своей самонадеянности.

Вокруг, кроме меня, никого не было.

Одежда моя намокла. Я поднялся выше в город и рассеянно побрел по улице, удивлённый тем, что видел и чувствовал.

Чтобы как-то согреться, зашёл в отель и, задумчиво глядя перед собой, вздрогнул. Передо мной, ссутулившись, сидел бронзовый... Владимир Набоков. Не веря, я вышел на улицу и прочёл название гостиницы. «Монтрё палас» — это, конечно же, была та гостиница, в которой, кажется, около шестнадцати лет в конце своей жизни жил Владимир Набоков.

Я знал, что похоронен писатель на кладбище в Монтрё. Где-то в этом городе живет его сын, бывший певец, а теперь — переводчик.

Набоков, живя в Монтрё, не писал. Всё уже было написано. Он собирал здесь бабочек. Человек без дома и без Родины. Писатель и умер в этой гостинице.

Сидящий напротив меня в холле металлический Набоков был крохотно мал в сравнении со своими делами, которые он свершил живой. Его как будто нарочно, с умыслом, уменьшили теперь, когда он уже ничего сделать не мог...

Подобное чувство было у меня, когда я впервые увидел фигурку Ломоносова, поставленную в центре нашей заводской площади в Новокуйбышевске. Наш первый директор завода очень хотела сделать как лучше, но привезённая из Москвы подростковая (по-другому не скажешь) фигурка великого учёного никак не соответствовала масштабам его великих дел. Памятник тут же заводские остроловы прозвали «Местный главный специалист»...

Странно, в этом пустынно-загадочном городе, где ураган разогнал жителей по домам, я, никогда не страдавший от одиночества, а наоборот, находивший в нем неотразимую прелесть, почувствовал себя сиротой. Как это бывало в детстве: ты много чувствуешь, знаешь, понимаешь, хочешь помочь, а тебя не принимают всерьёз. Ты — никто. Что ты есть, что тебя нет — это твоё личное дело. А то, что в душе твоей лежит, сокрыто то, что готово сделать нечто большое — никому не надо, это недоказуемо. Если сейчас войти в гостиницу, подойти к администратору и сказать: «Я — русский», — то он, вспомнив возможно фильм, который вчера вечером был на одном из телевизионных каналов, будет смотреть на меня, как на тех, которые полуголые в вытрезвителе, матерясь, валялись поперёк коек.

...В последнее время я слишком раним. А, оказавшись за границей, глядя издали, отсюда на нас, русских, которые там далеко на огромных своих просторах все ещё «выживают», стал необъективен? Не может быть! И там, на родине, и здесь, в одной из главных банковских столиц мира, я — русский. И думаю о нас — русских. В голове был сумбур. Я не смог с утра, а вернее, со вчерашнего вечера, ещё прийти в себя после того, что увидел по телевизору.

В отличие от номера в Женеве, здесь, в Монтрё, в «Виктории», в сотом номере, куда меня поселили, не было российского канала, к которому я привык и постоянно смотрел.

Вчера на одном из 34 каналов я наткнулся на фильм о русских. Он был не на русском языке. Начала я не видел, но мне показалось, что авторы фильма — русские.

Фильм был о том, как мы пьем. Отвратительный фильм об одной из, кажется, неискоренимых наших дурных привычек.

«Для них Россия, как матрешка. Каждый раз открываешь и каждый раз можно ждать сюрприза», — так в Женеве сказала нам наша улыбчивая переводчица-полька.

В этом фильме никаких сюрпризов от русских уже не ждали. В нем был поставлен крест на русских как нации. В фильме пили все. Дома пили. На поминках. На работе. На рыбалке. На строй-

ке. На улице. В подворотне. Пили работяги, нищие, полковники. Пили помногу и тупо. Потом шли безобразные, скотские сцены в вытрезвителе. Женщины и мужчины были одинаково животными.

Пристегнули в конце фильма и шолоховского Андрея Соколова с его стаканом водки в немецком плену. Все в кучу.

Было жутко и стыдно смотреть на нас таких и нестерпимо больно оттого, что с нами так могут обращаться. Смаковать нашу беду.

«Неужели мы так беспросветно погрязли в этом? Ну, хорошо. Мы давно уже не сверхдержава, да и раньше-то наша сверхдержавность строилась не на экономике, а на ядерном оружии. Бог с ним, диполярным миром. Меньше уйдет сил на противостояние. Пусть США будут сверхдержавой. Так что же наш мир — будет диполярным? Живут же Швеция, Норвегия, даже Люксембург, не претендуя на лидерство. И довольны. Будет своя иерархия меж тех государств, которые стоят ниже. И они найдут в себе силу. Но культура, здоровый образ жизни — эти признаки нормальной жизни должны быть! Не все же мы пьем, и далеко не большая часть из нас. И не надо топить нас в вине и водке. Вкладывать в наше сознание, что мы уже ни на что не способны. Это просто кому-то надо». Так думал я ночью. Так сбивчиво думал и в этот странный день, наблюдая необычное действие природы в необычной для меня стране.

«С надеждой на мировую и мирную миссию ООН, но я — русский, и вера моя начинается с веры в мой народ», — так я записал в Книге почётных гостей Организации Объединённых Наций 23 декабря, куда нас пригласили после награждений.

Совершенно ясно, что модель диполярного мира окончательно распалась. В русских силу уже не видят. После десятилетий разрушительных, большей частью экономических, реформ победил Запад. Претензия теперь на единоличное лидерство. США и Западная Европа ухватились за идею «глобального мира» — по сути мирного распространения рыночного мирового капитализма. Остальные — за «многополярный мир». А что остается делать? Теперь сделка будет определять все.

Теория концентрического расширения Европы-НАТО, по которой вначале страны СНГ, потом по частям территории России должны объединиться под единым органом, не совсем уж и теория — в горячих головах она бродит как реальный план.

Россия стала окраиной Запада. Об этом я думал дома в России. Это приходит на ум и здесь, за границей.

Окраина, но великая. Окраина, которая и в однополярном мире не позволит себя просто так кантовать, кому куда захочется...

Но для этого надо экономически окрепнуть. Надо успешно работать. Но разве наше поколение, поколение наших отцов не работало? Работало! Жизни целых поколений, результаты их деятельности были принесены в жертву чему-то абстрактному и всепоглощающему. Мне порой начинало казаться, что я вот хожу по чужой земле, смотрю, а мои земляки, мои россияне, глядят на меня из своего далека, а те, кого уж нет на земле, смотрят на меня сверху, из этого бездонного, синего, ничейного, огромного неба и ждут от меня чего-то такого, что я должен обязательно сделать. А может, понять для себя, может, сказать слово...

Огромность неба своей бездонностью и неохватностью всего того, что в нем сейчас отражалось и глядело на нас, живущих, давило...

Казалось, все, что было с моими отцами и дедами, все каким-то образом закреплённое, зафиксированное, приумноженное — посылало мне какие-то знаки...

У меня побаливала голова и я чувствовал себя разбитым.

...Я вновь зашёл в холл гостиницы. Зачем-то подошёл снова к скульптуре сидящего в задумчивости монтрейского старца. Сколько ещё осталось за властными языковыми опытами, прихотливой игрой с читателем, аристократизмом, каламбурами. Где вымысел, а где сама жизнь? Почему-то более всего удручал меня факт его жизни в гостинице в течение последних шестнадцати лет...

Как вам жилось здесь, маститый писатель, на чужбине, пусть и прекрасной? Как вы выживали на Западе, русский человек? Многое известно о вашей жизни. Но сколько всего осталось втуне! Ведь выживать всегда досадно. Я сел в кресло напротив, слева от входа. Мысли путались, я не пытался их привести в стройный порядок. Меня удручал тяжеловесный вывод: русский народ всегда находился в режиме выживания.

...Подойдя к администратору, я зачем-то попросил сфотографировать меня около Набокова. Элегантный и услужливый молодой человек исполнил мою просьбу. Я поблагодарил и вышел, не зная, куда деть себя со своими мыслями.

Вспомнил, что где-то неподалеку есть город Вивей, в котором жил наш Фёдор Михайлович Достоевский, работая над «Идиотом». В Вивее у него родилась и умерла дочь. На доме должна быть мемориальная доска. Я взял было уже такси, намереваясь наугад махнуть от неприкаянности в Вивей, но, почувствовав перегружен-

ность от всего, увиденного за день, и слабость (кажется, была повышенная температура), попросил шофера довезти до гостиницы.

...Минут через двадцать мы подъезжали к подъезду «Виктории». Расплатившись с таксистом, я направился в номер. С левой стороны гостиницы лежало вывороченное с корнем огромное, метровой толщины, дерево. Корни его вздыбились над ямой, похожей на громадную воронку. Время было обеденное, но электроэнергия ещё не было и кормить нас в ресторане было нечем.

...Вечером, когда восстановили подачу электроэнергии, по телевидению сообщили о первых жертвах в Альпах — погиб ребенок. После пошли страшные сообщения: в обвалах во Французских Альпах погибло 26 человек. Затем уточняли цифры, но число жертв трагически росло!..

Таким оказался второй день католического рождества.

...Ночью опять не спалось. Пришла мысль, что надо бы написать небольшую повесть о том, что чувствует русский в подобных командировках. Не давали успокоиться те чувства, которые я испытывал, посмотрев фильм о пьянстве. Я понял, что напишу эту повесть. И название пришло: «Записки провинциала».

А под утро написал стихотворение «Утренний свет», о котором и не помышлял.

*Колки мои и мои перелесья,
Лица моих земляков в поднебесье,
Лица живых земляков! И поныне
В сердце моём к вам любовь не остынет.
Зной над равниной и тень чернолесья —
Всё уместилось в сердечную песню.
Русичи, где мы?! Какими мы стали?
Колки мои и равнины устали
Ждать возвращенья бывшего усердья.
Вялость душевная хуже ведь смерти.
Дух наш восстанет, я верую свято
Будут поля и посёлки опрятны.
Будет в душе не разврат, не смятенье,
Снова придут и покой, и уменье.
Радость придёт. Без неё не бывает
Жизни цветущей. И тень побеждает
Утренний свет. Над моею равниной
Сумрак уходит. И разум былинный
Крепнет и крепнет. На подвиг великий
Благословляют нас светлые лики!*

Весь следующий день это стихотворение не выходило из головы. Состояние было приподнятым. Будто я обрёл новые силы. И знал, как их тратить и на что...

...О повести не забыл и ещё утром добросовестно начал записывать в блокнот всё, что видел в комнате. Потом подошёл к окну, стал искать мелкие подробности. Вновь прислушиваясь к себе, понимал, что всё это может оказаться тем самым строительным материалом, из которого способно вырасти то, что пока неведомо мне... Но что-то очень нужное...

...Я посчитал и оказалось, что побывал в пятнадцати странах. Разные были цели поездок. Деловые, туристические. Были поездки: в Париж, Рио-де-Жанейро, связанные, как теперь, с получением международных наград. Во время этих поездок за границу написал всего одно стихотворение — «Матери». В Нью-Йорке, в гостинице «Веллингтон», оно приняло свой окончательный вид. А «пробормотал» я его в томительном долгом ожидании отложенного рейса «Боинга» в аэропорту «Шереметьева-2»:

*Как хлебную корку
В далеком Нью-Йорке
Я память о нашей
Утёвке храню.*

Потом, в гостиничном номере, я по сути ничего не мог существенного добавить к тому, что пришло в ожидании самолета. И меня тогда сильно поразило то обстоятельство, что свои чувства и ощущения, которые потом были у меня, впервые прилетевшего в Америку, один к одному легли на уже написанное. Всё было предвосхищено ещё там, на Родине. Тогда, помню, впервые подумал о том, что, как бы это точнее сказать, пишущий человек тем проникновеннее и ярче пишет, чем больше он закомплексован на чем-то. В этом случае срабатывают неведомые силы на иррациональном, рефлекторном уровне, как родниковые воды, они подпирают, а уж выйдя наружу, попадают в русло, которое зависит от очень многого, в том числе, конечно, и от владения ремеслом, в самом лучше смысле этого слова!

...Рейс номер 272 «Женева-Москва» отменили. Прибыв 27 декабря в аэропорт «Женева», мы сели было в самолет, но, просидев около часа, получили вежливую команду выгружаться. Оказывается, перед самым взлетом, уже при работающих двигателях, командир экипажа обнаружил утечку из топливных баков керосина. Как нам потом говорила бортпроводница, керосин протекал по крылу до фюзеляжа. Фирма «Люфтганза», продавшая американ-

ский самолет нашему «Аэрофлоту», выслала для ремонта своих представителей. Наш рейс задержался ровно на сутки. Среди пассажиров гуляла кислая шутка, которую вроде бы обронил командир экипажа: хорошо, мол, что утечку обнаружили на земле, а не в воздухе. Негде было бы дозправиться.

Меня лично как-то не очень беспокоили возникшие неудобства. Я думал о своей повести, и моё внешнее спокойствие, раздражающее попутчиков, моя неактивность в переживании возникшей ситуации с задержкой вылета были мне просто необходимы.

Внутреннее волнение от зародившегося замысла заслоняло многое, если не всё...

Но наши души...

К счастью, не одни только супермаркеты растут на улицах Самары...

На самом видном месте, чуть левее «Белого дома», если смотреть со стороны Волги, на холме вознесся красивый храм-памятник Георгию Победоносцу. И теперь я по несколько раз в день вижу его. Каждый раз, проходя мимо, не могу не обернуться, чтобы не посмотреть на это великолепие.

6-го мая 2001-го года над самарской площадью Славы был поднят главный, облицованный сплавом титана, одиннадцатиметровый купол его. Около тысячи людей наблюдали, как сверкающий в лучах майского солнца купол возник над Волгой, став украшением нашего старинного города.

Купол был освящен архиепископом Самарским и Сызранским Сергием. И долгие годы и десятилетия теперь будет радовать прихожан.

Я живу рядом с храмом. Но не только поэтому оказался в день поднятия купола около него. Потребовалась особая грузоподъемная техника с большим вылетом стрелы. И наш заводской кран «Като», купленный у японцев, грузоподъемностью сто двадцать тонн пришелся к месту. Я разговаривал с крановщиком Иваном Матвеевичем Шевченко, который вместе со своим тридцатилетним сыном Александром, тоже крановщиком, поднимали главный купол.

— Это мой шестой храм. Так хочется со стороны Волги, с воды посмотреть на него. Красивый очень!

Спрашиваю:

— Крещеный?

— Да. С детства.

- А сын Александр?
- Окрестили недавно, в прошлом году. Спихватились.
- Что чувствовали, — спрашиваю, — когда поднимали?

— Радость. Сын поднимал! Я около него — с рацией, мастер на храме — координировали. Сын всё порывался вторую скорость включить, а я держал его на первой — столько народу было, пусть посмотрят. О каждом храме в память у меня дома стоит иконка в переднем углу.

...К радости идёт не только активное строительство храмов. Наметился, хотя пока и с наслоениями всяческими, издержками, возврат к вере.

...Всё же «смысл веры не в том, чтобы поселиться на небесах, а в том, чтобы поселить небеса в себе». Неискренность в отношении всего, что связано с верой, видна часто. И храмы, возводимые на неправедные деньги... Истинную веру принесут ли? Но я сейчас не об этом...

* * *

...Город Новокуйбышевск — «безбожный город», который родился-то как результат комсомольских всесоюзных строек, размахнувшихся на голых степных просторах, поверг меня в радостное удивление. Сотни граждан пришли на Престольный праздник Серафимовского храма 1 августа, на его освящение в честь завершения строительства. На улице изнурительная духота, внутри храма такая жара, что плавятся свечи, но многочасовая служба свершилась при огромном стечении прихожан, наблюдавших установление в храме святыни, подаренной городу по благословению Нижегородского митрополита — капсулы с частицей мощей Серафима Саровского.

1 августа, девять лет назад, стал особым днем для всей России, а теперь и для Новокуйбышевска, где я прожил около тридцати лет. Тогда в Ленинграде, в Казанском соборе произошло повторное обретение мощей святого старца. Сам Патриарх Алексей II побывал в Дивеево, на той земле, где Серафим Саровский совершал свои молитвенные подвиги.

...Утром радостный колокольный звон возвестил о приезде в Новокуйбышевск высшего духовенства Самарской епархии. Путь Владыки к храму был устлан живыми цветами. Так новокуйбышевцы откликнулись на это событие. Не только строятся храмы. Происходит гораздо большее. Угнетенность, безверие, неприкаянность и загнанность потихоньку сменяются верой. Верой, кото-

рая ведет к созиданию. Пусть пока в малом, пусть порой не всеми замеченному созиданию, но мы, россияне, это видим и радуемся этому. Серафим Саровский, добровольно подвергнувший себя семнадцатилетнему уединению в Саровской пустыни, тысячедневному стоянию и молениям, десятилетнему безмолвному затворничеству в монастыре, исцелявший больных и ясновидящий, мог бы возрадоваться — его и сто пятьдесят лет спустя знают и помнят. На нашей памяти держится всё доброе и светлое. Дошли Добро и Свет его до нас, забывших было самих себя, своё прошлое, но очнувшихся, словно от чёрной напасти какой. И вспомнивших, кто мы и какими нам быть надобно.

...За капсулой с частицей мощей преподобного старца ездил священник Новокуйбышевского храма отец Сергей, мы с ним хорошо знакомы. Он жил в Кулешовке, что недалеко от села Утёвка, затем работал в Нефтегорске. Был несколько лет партийным работником. Окончил духовную семинарию. В Новокуйбышевск его пригласил отец Константин — наш мудрый новокуйбышевский старец, теперь — почетный гражданин города. Участник Отечественной войны, бывший боевой танкист.

...Бережно держа святыню, владыка Сергей прошел в правую часть храма, приблизился к иконе Серафима Саровского и вложил капсулу в специальное углубление...

Храм построен и освящён всем миром. Потихоньку светлеют наши лица. Но наши души, наши души... В них храм ещё построить надо...

«А избы горям и горям...»

Такой тяжёлой поездки в Москву у меня прежде не было. В издательстве «Российский писатель» только что вышел двухтомник моей прозы «Под открытым небом».

Я ехал на радостную встречу, а попал на похороны.

19 мая на 89-м году после долгой болезни не стало Михаила Николаевича Алексева.

Когда я поднялся в Правлении Союза писателей России на второй этаж, встретился с горестно озабоченными Мариной Ганичевой и Сергеем Котькало. От них-то и узнал печальную весть. Тут же подошёл Николай Иванович Дорошенко, издавший мою прозу. С ним мы и вошли в открытую дверь кабинета Валерия Николаевича Ганичева.

Короткие, лаконичные приветствия. Не поворачивается язык говорить что-либо, не связанное с горькой утратой. А говорить о ней нет слов.

Почти машинально передаю Валерию Николаевичу свой двухтомник, а он тем временем озабоченно принимает от кого-то телефонную трубку.

Понедельник. Первая половина дня. Забот в связи со случившимся предостаточно. И все они требуют особого внимания.

Немногословность присутствующих, вовлечённых в общий поток организационных похоронных дел, сковывает.

Трудно быть на людях.

Спустился на первый этаж, туда, где, чуть дальше, в узком закутке коридора дверь с надписью: редакция газеты «День литературы». Не тронул дверь.

Хотелось побыть одному.

Так много связано с именем Михаила Алексеева, с жизнью героев его книг.

* * *

Всплыло в памяти давнее...

...Многоголосые, шумные сентябрьские дни, как водится, были у нас заполнены всклень школьными новостями, футбольными сражениями на стадионе за огородами, и рыбалкой, страсть к которой у нас с началом занятий в школе не только не утихала, а разгоралась с новой силой.

В тот день мы всей семьёй шумно и весело копали картошку. Я не услышал скрипа калитки, когда в огород к нам пришла моя бабушка Груня.

— Шура, возьми-ка! Нашла на дороге, — она протянула мне тугой, схваченный в трубку обычным шпагатом, сверток.

Я отряхнул от теплой земли руки, поднялся над кучкой ядерной красной картошки и шагнул ей навстречу. В свертке оказались портреты русских писателей.

И бабушка Груня, и мама моя были неграмотными, едва могли написать свою фамилию, но к книге у них отношение было трепетное.

...Вечером того же дня мы втроем наклеили портреты под самым потолком в нашей избе, на белёные саманные стены. По несколько штук в разные стороны от иконы в углу.

В начале левого ряда оказался Лев Толстой, в начале правого — Пушкин. А далее за ними: Герцен, Чернышевский, Куприн,

Короленко, Лермонтов, Тургенев, Островский, Горький, Чехов, Достоевский...

Какие звучные и необычные фамилии.

«Эти люди особенные, — размышлял я, обозревая их долго и внимательно. — И люди ли они? Почему бабушка Груня предложила разместить их около иконы?.. Она просто так ничего не делает!..»

Многие из этих писателей мне были уже известны, но книги Чернышевского, Островского и Достоевского не попадались.

Я решил обязательно наверстать упущенное, разыскать их книги, раз они рядом с теми, кто написал «Филиппок», «Капитанская дочка», «Белый пудель», «Дети подземелья». И многое другое, что теснилось в голове, с невероятной крепостью оставаясь в памяти.

Но вскоре случилось неожиданное...

* * *

Едва я вошёл в дедовой избе в горницу, как увидел на столе две толстенные книги. Размер их меня не удивил. Уже были прочитаны Майн Рид, Фенимор Купер, Дюма. Поразило завораживающее, ёмкое название: «Тихий Дон». Что-то манящее и бездонное слышалось в этих звуках, песенное: ...дон, дон, дон...

Довольный, шагал я задами домой, заполучив на неделю от моего дяди книгочехя Алексея первый том, совсем не представляя, как потрясёт меня эта книга.

«Михаил Шолохов» — такого имени в длинном ряду портретов на белёной стене нашей избы не было. Какое-то необычно тихое, шелестящее на губах. И главный казак: Григорий Мелехов!.. Он совсем не похож на Печорина, Гринёва...

Правда жизни и глубина, масштаб событий и характеры русских людей в романе ошеломили с первых же страниц. Это я теперь могу так формулировать своё отношение к прочитанному. Тогда, в детстве всё чувствовалось нутром, и не хватало сил осмыслить и выразить словом...

Позже мне попало известное высказывание Серафимовича о том, что шолоховские герои «вывалились живой сверкающей толпой, и у каждого свой нос, свои морщины, свои глаза с лучиками в углах, свой говор».

Верно, всё так и было. Так и есть!

И эти непривычные слова: майдан, чирики, шлях, гутарют!.. Читал эпопею о народной казачьей жизни, такой далекой и такой вдруг знакомой, запоем.

...Солнечные зайчики, словно блики от жгучей шашки Григория, легко перехватываемой им из правой в левую руку, запрыгали в моих глазах. На четвертой книге почувствовал резкое ухудшение зрения. Но не забеспокоился. Торопился дочитать.

Прячась в тенёчек за широкими нашими сенями от необычно яркого сентябрьского солнца, преодолевая рябь в глазах, дочитал до конца.

К врачу всё же пришлось обратиться. Он приписал мне очки.

В пятидесятых годах в сельской школе «очкарикам» было не просто. Правда, я мог постоять за себя и дать сдачу... Но... Носил очки я с полгода. Зрение моё поправилось. Где-то через год перечитал роман вновь. Уже спокойнее. Увидел и пережил многое, ранее незамеченное. Жуткие сцены гибели белых офицеров и Чернецова, а затем Подтёлкова и Кривошлыкова — потрясли. И эти оброненные, негромкие вроде бы слова Григория: «Спутали нас учёные люди». Они не давали покоя...

Мне теперь кажется, я тогда, после «Тихого Дона», крепко повзрослел. И... стал думать о писателях. Откуда берётся такой дар? И как это случается? «Как ему повезло, — размышлял я по-мальчишески об авторе великого романа, — он родился на Дону, среди казаков, в необычной жизни. Нельзя было ему по-иному писать! Одно слово: Дон-батюшка! Такая яркая жизнь! Только записывай...»

* * *

И тут новая книга: «Вишневым омут»!

И опять: тихое и совсем простое имя автора: Михаил Алексеев. Поразительно: почти наш, самарский. Можно сказать: земляк. Изпод Саратова! И оказалось, что не только донская, и наша жизнь, притягательна! Заразительна! И она: чудо!

Забавно, меня тогда всерьёз занимал вопрос: как рождаются, кто придумывает слова? С чьих губ впервые сорвалось: урёма, дубрава, Отчина?.. Когда находил в книжке редкое «своё» слово, радовался.

А тут у Михаила Алексеева столько «наших» слов: тёрн, синьга, подволока, стышной, дудак, калякать... Особенно радовало у Алексеева слово «подволока». Мне всегда было обидно за это слово. У нас говорили: «Возьми на подловке», «Там где-то на подловке». И звучало... не очень... Я это всегда чувствовал. И тут полная прямо-таки реабилитация! Подволока! Для меня это было как награда...

Много позже, уже когда учился в институте, попалась мне на книжном прилавке тоненькая, выпущенная издательством «Правда» в серии «Библиотека «Огонька» повесть «Карюха». Всё в ней было наше и моё! И не мудрено. Жил я в доме деда. А там и рыдван, и мерин Карий. И быт, состоящий весь из сенокосов, рыбалок, нескончаемой работы на земле: на травокоске ли, на конных граблях, с косой в руках... И в доме отца тоже самое. Только по инвалидности не мог он работать конюхом, как мой дед.

...Все будто про нас и про предшествующее поколение, живущее уже взрослой жизнью...

Я перечитывал повесть несколько раз. Читали её все мои родные и многие знакомые. К тому времени на моей книжной полке давно прописались «Разгром» Фадеева, «Чапаев» Фурманова, «Дерсу Узала» Арсеньева, «Капитанская дочка» Пушкина. И среди них теперь — «Карюха».

* * *

Я тогда уже писал стихи. Никому их не показывал. Сам удивлялся тому, что пишу. Зачем? Читал стихи других и недоумевал: зачем они пишут? Ведь были уже Пушкин, Лермонтов, Есенин? Разве можно написать лучше?

Но стихи рождались! Печатать в местных газетах не хотел. Однажды решил послать их Дмитрию Ковалеву на адрес журнала «Наш современник». Почему Ковалеву? Понравилась его тоненькая книжка стихов, выпущенная издательством «Молодая гвардия» в 1965 году в серии «Библиотечка избранной лирики». Основательность сопроводительного текста от составителя Василия Федорова притягивала.

Ответ пришёл, к моему удивлению, быстро. С первой страницы письма бросались в глаза обжигающие размашистые строчки:

«...Стихи у вас пока получаются наивные, не самостоятельные.

В стихотворении «Платочек» сразу же похожее на пушкинское:

*«Брожу ли я вдоль улиц шумных,
Вхожу ли во многолюдный храм».*

И по интонации, и по ритму похоже. И с платочком, и с колодцем уже много раз было у других поэтов. Зачем же хуже повторять уже сказанное кем-то?

В других стихах есть верные мысли, но также не свои, не новые».

И далее:

«...Вы не лишены поэтического видения и даже думаете подчас поэтично, но это лишь отдельные слабые пока проблески.

... Читайте внимательно русских поэтов. Учитесь у них быть непохожими на других... Сказать что-то своё».

Ничто в письме не утешало, не давало, казалось, надежду на что-то настоящее. Даже упоминание имени великого поэта.

«Учитесь сказать что-то своё», — звучало как приговор. Но я ведь и говорил своё. Но оно совпадало со сказанным до меня. Но оно моё?! Другим я не мог быть. Говорить по-иному, непохоже на других, значит перестать быть самим собой, изменить себе? Но я бежал от искусственного... Я хотел оставаться какой есть. Жизнь самоценна! В ней поэзия, в жизни!

Мне явно не хватало литературной учебы. Но я не искал её, полагая, что писатель должен родиться самостоятельно. Конечно, в этом было многое от молодости, от избытка сил.

«Я молод был, был жаден и уверен».

Мои крестьянские корни не позволяли мне суетиться. Я и сам понимал, что наивен в стихах, но не боялся этого. Мастерство казалось сомнительным достоинством стихотворца. Ценил истинность чувств. Я явно что-то не понимал тогда...

А стихи фантанировали. Мог написать пять стихотворений в один день...

* * *

После того как прочитал «Карюху», начал увереннее писать прозу. «Вот оно кровное моё!», — ликовало всё внутри, когда я держал в руках повесть о Карюхе. И тут же моя радость тускнела: «О «моём» уже сказано. И опять не мной!»

Михаил Алексеев писал: «...В передней, под потолком, на ввинченных кольцах всегда висели две зыбки, и в них обязательно пищало по ребенку». То же самое было и в нашей избе. Висела, правда, одна зыбка, но через неё прошло четверо.

Только потолок у нас был «свой»: об этом и о находке свёртка с портретами писателей я упомянул позже, в рассказе «Мишкина песня». Вначале-то никакого потолка в нашей саманной избе вообще не было. Была одна соломенная крыша. Потолок появился позже. Его настелили из слабых половых досок при замене пола.

Отец мой после госпиталя лет пять ходил на костылях. На конце каждого костыля у него было вбито по гвоздю, для надёжной опоры. Весь пол от этого был в мелких точках и рытвинках. Большая часть тех досок и попала на потолок. Теперь, когда я ложился спать, эти, будто изъеденные оспой, доски были перед глазами.

На той же странице удивительной повести до сердечной боли знакомое: «Оживление за столом возматало по мере приближения к ответственному моменту: щи почти выхлебаны, на дне осталось одно мяо, и вот-вот прозвучит дедово: «Таскайте».

Всё в этой сцене из повести было «моё»!

...«Сказать что-то своё», — это во мне засело крепко. Вскоре мои коротенькие лирические новеллы одну за другой начала печатать областная газета.

И что бы потом ни делал, жила во мне постоянно мысль: «И об этом напишу, и об этом. Ведь это я знаю изнутри как никто, и это...»

Получилось, что пошёл я в прозе не самым легким путем: сначала прожить, потом написать. Так случалось почти со всеми моими опубликованными вещами. Только когда мне перевалило за сорок пять лет, решил напечатать свою прозу отдельной книгой. И те первые мои короткие новеллы составили основную её часть.

Не ведая того, Михаил Николаевич подтолкнул меня как мудрый отец в прозе к вполне осознанному мной шагу.

А за его спиной стояла фигура гения, чьи слова, взятые много позже в качестве эпиграфа, Михаил Николаевич использовал в своём романе «Драчуны»:

«Мне кажется, что со временем вообще перестанут выдумывать художественные произведения... Писатели, если они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное и интересное, что им случилось наблюдать в жизни». (Л.Н. Толстой)

«Перестанут выдумывать...», а мне и не хотелось начинать это делать. Я, очевидно, был слишком конкретным и деловым. Очарование «привычных мелочей» было дороже вымысла.

* * *

...А тут пришла, ворвалась неуёмная страсть к химической технологии и связанной накрепко с ней наукой. В которой порой факт и опыт оказывались фантастически значимыми.

И люди науки, научная интеллигенция, по сути своей схожие в большинстве своём с крестьянством преданностью своему делу, трудолюбием, подлинностью и надёжностью, бескорытием, покорили меня. Я и сейчас чувствую себя должником всех тех, с кем рос на селе, а затем работал в науке. Это странное, на первый взгляд, соединение дало мне очень много.

Страсть к научной работе удерживала меня в своих объятиях до середины 80-х годов, пока не почувствовал, что желание писать неистребимо.

Рукопись своей первой книжки прозы принес директору Куйбышевского книжного издательства поэту Борису Соколову. Мои маленькие рассказы ему понравились. Книгу включили в план издания. Но меня удерживало одно обстоятельство.

Казалось: всё, что я написал и напишу в последующем, как-то не соотносится с моей фамилией. Не соответствует она той действительности, в которой я вырос и которая — суть моей книжки. Со стороны для читателя либо фамилия автора, либо содержание книги могли показаться искусственными. Я боялся фальши, пусть даже кажущейся.

Позвонил Соколову и попросил поставить на книжке фамилию Вдовин.

— Это ещё зачем? — требовательно прозвучало в трубке.

— Псевдоним.

— К чему он вам?

— Ну, как? — мялся я, — моя фамилия не соответствует. Для стихов ещё может быть...

— Не валяйте дурака. Славянская фамилия. И красивая!

Я продолжал настаивать на своём.

— Поздно, понимаешь? Обложку уже сделали! — нашелся издатель. — Назад хода нет!

Полагая, что он лукавит, я помчался в издательство.

Ершисто глядя на меня через толстые линзы очков, директор басовито произнёс:

— Фамилия у тебя — твоя?

Я согласился:

— Моя.

— Чего ж тебе надо?

— Она как бы случайная... Там, где я родился...

— Александр! Запомни: ничего случайного не бывает.

Он протянул красочную обложку. Недовольно нахмутив брови, произнёс:

— Извини, брат, получилась немного не того... Рассказы неплохие... да... А обложка больше подходит для брошюры по кулинарии. Художника смутило название книги: «Степной чай».

Странно было такое слышать. Но слова: «рассказы неплохие» перевешивали всё.

В висках стучало: «Неужели я всё-таки писатель?..» Открывались в собственной судьбе такие дали...

— А можно посмотреть, как всё делается? — спросил я.

— Не понял?

— Ну, как рождается книга? Как набирают? Брошюруют и так далее?

Брови у поэта-директора полезли вверх.

— Малиновский! Станный вы, вообще, человек! Впервые вижу автора, рвущегося посмотреть, как набирают его книгу.

— Ну и что? Технология. Это всегда интересно!

— Ну, во-первых, делают это не здесь, а в типографии. Надо долго ехать.

— У меня есть время.

Директор посмотрел на меня, как на малое дитя:

— А, во-вторых, гоните из себя технаря. Вы чересчур конкретны.

— Но без конкретики, подробностей нет и литературы настоящей, — как бы оправдываясь, произнёс я. — Всё же из мелочей состоит...

— Как это у вас такая проза идёт? — вслух удивился мой собеседник. — Как вы соединяете в себе всё это? Он мне говорил то «ТЫ», то «ВЫ».

Свои стихи показать ему я не решился.

Эта рукопись стихов, которую я около двух десятков лет назад подготовил и с которой тогда намеревался всё-таки поступать в Литературный институт, пылилась дома на полке. Тогда, в последний момент перед отъездом в Москву, я передумал ехать «учиться на писателя»: ещё продолжал барахтаться между догадкой, что настоящие стихи научиться писать нельзя и огромным желанием глубже познать поэзию. Все-то мне казалось, что я не готов, не знаю пока жизни.

«О чём не подумал — про то не расскажешь;

о чём не поплакал — про то не споёшь».

Через полгода я женился и о своём намерении поехать в Москву учиться вспоминал с иронией.

* * *

Мою повесть «Степной чай» издали 25-тысячным тиражом. И я даже получил гонорар. И хотя деньги были по сравнению с тем, что я тогда зарабатывал, совсем небольшими, гонорар, по моему разумению, свидетельствовал о чем-то очень серьёзном.

* * *

Впервые я увидел Михаила Алексева в ноябре 2000 года на X съезде писателей России. Он открывал съезд. Я так давно ждал встречи с автором «Карюхи» и «Вишневого омута».

Он оказался невысоким, негромким и лишенным всякой официозности человеком. Прихрамывающий. Это обстоятельство, несмотря на орденские планки и звезду Героя Социалистического Труда, ещё больше делало похожим его на моего отца Василия Федоровича Шадрина. Я-то знал, что неродной мой отец — Герой труда, как и десятки других моих безвестных односельчан, только не отмеченных наградами...

К тому времени я был уже членом Союза писателей России, получил за повесть «Под открытым небом» Всероссийскую премию, а чувствовал себя на съезде школьником.

Едва объявили перерыв, попытался приблизиться к Михаилу Алексееву. Мне это удалось, когда он направился по коридору на обед. Я подошёл. Назвав себя, сказал, что очень рад видеть автора «Карюхи».

Кто-то из сопровождавших его услужливо попытался, тесня меня, увлечь писателя вниз, в кафе. Я заторопился сказать самое важное. И заговорил о том, что и у меня в детстве была лошадь, только не Карюха, а Карий, слепой на левый глаз здоровенный мерин, что дед мой — конюх и все мои родственники и знакомые очень любят повесть. Выглядело, наверное, это забавно...

Михаил Николаевич доброжелательно, улыбаясь, слушал. Очевидно, уловил в моём косноязычии искренность и, что меня особенно тронуло, совсем по-свойски, как давно знакомому, сказал:

— А я ведь её написал всего за месяц...

Больше он ничего не успел сказать. Его увлекли в дверной проем все те же услужливые руки. Он пропал из виду.

Сказанная им короткая фраза покорила меня своей доверительностью.

Потом ещё несколько раз видел его. Мы говорили. Но на ходу. Он вел себя всё также просто.

Написав свою повесть «В плену светоносном», я попытался через Ямиля Мустафина, который навещался к Алексееву в Переделкино, передать её ему. Добрейший Ямиль Мустафьевич стал для меня особенно близким, после того, как поехал со мной на мою родину, перезнакомился с моими земляками, сходил в дом моего деда, в котором я родился и вырос. И всем понравился. Его теперь у нас многие помнят. Взяв книгу, он невольно развел руками: «Михаил Николаевич прибабливает крепко. Вряд ли сможет прочитать»...

Роман «Ивушка неплакучая» я прочитал, когда уже закончил институт.

Теперь снова держу в руках заветный томик. Читаю аннотацию: «В романе «Ивушка неплакучая» Алексеев создает образы русских женщин, в дни и годы суровых испытаний не только не утративших свою душевную красоту, но проявивших всепобеждающую любовь и огромную внутреннюю силу».

Всё так! Всё, конечно, тогда так и было.

Но что стало с нами потом?

Где те женщины? Какие они теперь?

Не дает покоя голос моей землячки Татьяны, схожей по возрасту то ли с дочкой, то ли с внучкой алексеевских Фени Угрюмовой или Журавушки:

— Саша, что же это Богу-то не до нас? Либо так сильно нагрешили мы? Неужто наша доля такая? Устала я с Николаем.

— Совсем спился? — спрашиваю, глядя в землистое лицо собеседницы.

— Ладно что пьёт и не работает. Теперь стал из дома что ни попадя тащить и пропивать, — отвечает бесцветным голосом. Мне ещё двух дочерей замуж надо отдать. Пристроить как-то.

Дико было слышать это и видеть самого Николая. Два десятка лет назад был он одним из лучших механизаторов. В почёте был. «Разбабахали», как он говорит, местный совхоз. Растащили всё. Как большие рыбы скелеты белеют за селом обветшалые железобетонные конструкции коровников. Там когда-то работала Татьяна. Теперь без работы. Только огород. В прошлый мой приезд стен у коровника не было, но перекрытия оставались на месте. Теперь и плиты наполовину утащили.

Николай мог быть только при большом общем деле. Не стало такого дела, забыли про специалистов, и — потерялся человек. Не стало смысла жизни.

...Фрося Угрюмова, Журавушка — стоят непридуманными, живыми перед глазами. А моя землячка Татьяна, как с ней быть? Не одна она теперь такая... С пьющим беспробудно мужиком или без него, давно сгинувшем...

О русской женщине ещё в 1960 году, почуяв запредельную бездну, так сказал Наум Коржавин:

*...Столетия промчались. И снова,
Как в тот незапамятный год —*

*Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет.
Ей жить бы хотелось иначе,
Носить драгоценный наряд...
А кони все скачут и скачут,
А избы горят и горят!*

...Когда-то Михаил Алексеев в своих повестях резко повернул от военной темы к деревенской. В последние десятилетия вновь вернулся к тяжким военным годам. Как ни трудны они были, но в них он увидел опору для духа. В них, а не в нашей теперешней «мирной жизни».

Города меняются.

Деревни исчезают на глазах. А люди?

Россиян становится почти на миллион в год меньше. А остальные?

Идёт угрожающее расслоение, а вместе с ним и некое дьявольское отсеивание. Как на больших, гигантских ситах просеиваются судьбы людей. Идёт отбор. И в результате его одни как бы остаются для жизни в будущей «демократической» России, другие будут не жить в ней, а существовать, на самом её дне: в нищете, труппабах. Таковы реалии нынешней жизни.

Одни россияне среди апатии и безволия пытаются не опуститься на колени, не смириться с навязываемым порядком. Другие всё ещё где-то в уголках сознания таят веру и ждут, что государство вот-вот объявит всенародно главную цель, и всё встанет на свои места. Затаённость рождает бездействие. Третьи хорошо помнят, а вернее, сбились со счета, сколько раз власть надувала народ, и уже ни во что не верят.

Последних становится всё больше и больше.

* * *

Сколько воды утекло и сколько дум передумал за перестройку один из миллионов ограбленных победителей Второй мировой войны, когда-то в начале 70-х вложивший в уста одного из персонажей романа «Ивушка неплачущая» Максима Пакленникова слова:

«Выдюжили! Скажи на милость... выдюжили! Да, да! ... Что бы вы там ни калякали насчёт нас, как бы ни каркали, а она у нас двухильная, Советская-то власть! Хрен возьмешь её голыми руками!..»

Это писал один из доблестных крестьянских сыновей. Вначале солдат, испытавший всю горечь отступления в 41-м и 42-м годах

до Волги, потом победоносный ратник, который сражался и наступал от Сталинграда через Курское сражение, Прохоровку, Днепр и — до Праги и Вены. Победитель Великой войны.

Михаилу Алексееву было суждено прожить долгую жизнь. И он заполнил её великим содержанием. Вначале защищая Родину, а потом создав более 40 художественных произведений. И среди них общеизвестные: «Солдаты», «Дивизионка», «Вишневый омут», «Хлеб — имя существительное», «Ивушка неплакучая», «Карюха», «Драчуны», «Мой Сталинград». Крестьянский сын стал драгоценной частью нашего русского мира, выжившего благодаря таким людям, как его герои: хлебопашцы и воины. Благодаря таким, как он сам!

В чьих руках теперь окажется заветный мир. И каким ему суждено быть? Кто о нём скажет так, как он — последний сталинградец. С «очарованием привычных мелочей» в «деревенской прозе» и мужеством в цикле своих военных романов.

Неужто наступит время тех, у кого не дрогнет сердечко при виде такого:

«...Шелковистая, бархатно-мягкая и нежная гривка жеребенка стремительно стекала по крутой длинной шее прямо на широкую спину, взбегающую на такую же крутую, раздвоенную часть трепетного, как бы все время переливающегося тела. Пушистый, как у зверька, хвост был пока что куцеват, но уже по-лошадиному мотался туда-сюда, как маятник. Брюшко поджарое и кучерявилось ещё не совсем просохшей и темной шерсткой. Продолговатые ноздри пульсировали, мигая красными точками, из них размычиво выпархивал парок».

Так сказано Михаилом Алексеевым в его повести о Карюхиной дочери — будущей рысачке Майке.

* * *

Роман «Драчуны». Можно ли забыть голод в Поволжье. И можно ли допустить впредь такое! Саратовская и Самарская области рядом. Мой дед был опытным охотником и рыбаком. Тем и спасались. Да ещё нашёл он за селом в сутробе мерзлый труп лошади. Это было большой удачей. Собак и кошек в селе уже не было, съели...

* * *

«В России каждый писатель был воистину и резко индивидуален, но всех объединяло одно упорное стремление — понять, по-

чувствовать, догадаться о будущем страны, о судьбе её народа, об её роли на земле...»

Эти слова принадлежат Максиму Горькому. Их привел Михаил Алексеев в одном из своих томов прозы перед автобиографией «Познай самого себя...»

...Не только писатели, наш народ сейчас хочет понять, что же будет с нами, со страной?

Но вот беда: влияет он на свою судьбу всё меньше. И поселяется равнодушие к смерти...

* * *

Приехав из Москвы, попал я на читательскую конференцию, организованную областной библиотекой и нашим Самарским отделением Союза писателей.

Мне дали слово сказать о своём, только что вышедшем в Москве прозаическом цикле «Под открытым небом».

Начал я с того, что не стало Михаила Алексева. Сообщение оказалось неожиданностью. Никто об этом не знал. Так позаботились о том средства массовой информации. Весь зал, около трехсот человек, всколыхнулся, и все, как один человек, встали, застыв в скорбном молчании. Учителя, врачи, работники библиотек — они-то и были частицей того великого народа, о котором и для которого писал Михаил Алексеев. Он был частью их.

Через неделю похожее случилось и в моём селе на встрече с земляками-читателями.

Уже на выходе из клуба, подошла ко мне пожилая женщина — бывшая школьная учительница и то ли пожаловалась, то ли поддержать захотела, сказала глухо:

— Мы уже привыкли, что втихую сиротеем. Ни в газетах, ни по телевизору... Молчок... И радио в селе давно не стало...

* * *

19 января 2005 года в конференц-зале Союза писателей России в Москве на Комсомольском проспекте, 13, состоялось вручение премий Союза писателей России, журнала «Новая книга России» лауреатам 2004 года. Тогда в прозе лауреатами премии имени Эдуарда Володина были названы Михаил Алексеев за повесть «Через годы, через расстояния», Виктор Потанин за книгу «Доченька» и Дмитрий Неверов за книгу «Хроника флотского спецназа». Была отмечена премией в разделе «Детская книга» и моя повесть «Под старыми кленами».

Общаясь после торжественной части с Михаилом Алексеевым, в который раз невольно отметил для себя магнетическое влияние на окружающих автора любимой мной «Карюхи».

Чуть позже, вернувшись в Самару, сказал об этом старейшему самарскому писателю Михаилу Яковлевичу Толкачу. И открылось мне неожиданное.

Оказывается, Михаил Яковлевич учился вместе с Алексеевым на Высших литературных курсах в Литературном институте. На одном потоке. Точнее: как он мне пояснил, на 2-м потоке, который был образован в 1955 году. Первый поток — в 54-м.

И засверкала россыпь имен: Михаил Алексеев, Николай Доризо, Марк Соболев, Юрий Левитанский — все они со второго потока. Однокашники.

На потоке учились сорок человек двадцати двух национальностей. Проходили курс обучения киргизы, осетины, белорусы, украинцы, тувинцы, татары...

И среди них: Чингиз Айтматов, Николай Шундик, Семен Данилов, Заки Нури, Юсуп Хаппалаев, Павлюс Ширвис, Ион Друца, Наталья Капиева, Вадим Очеретин, Степан Чернобривец, Юрий Усыпченко. И моряк из Белоруссии Дмитрий Ковалев — первый из поэтов, кому я решил показать свои стихи.

Каждый слушатель курсов со своим опытом, со своими пристрастиями, национальными особенностями в характере и судьбе. И старостой на этом удивительном потоке был Михаил Алексеев. Он явился на первое собрание в форме подполковника. Когда директор курсов — Тамара Казимировна Трифонова, сестра Веры Кетлинской, автора романа «Мужество», которым ещё до Великой Отечественной войны зачитывалась молодежь, сказала, что на потоке должен быть староста, выбрали без колебаний его — Михаила Алексева, бывшего политрука, потом командира роты. Не удивительно, за его плечами были к тому времени боевые дороги через всю Украину, затем Румынию, Венгрию, Австрию и Чехословакию.

Победный день Михаил Николаевич встретил в Чехословакии в качестве корреспондента армейской газеты «За Родину». В Вене, работая в газете «За честь Родины», написал свой первый роман «Солдаты». А в октябре 1952 года был переведен в Москву на должность редактора редакции художественной литературы Военного издательства.

Спрашиваю Михаила Толкача:

— Каким он был тогда, на учебе в Литературном институте?

— Тянулись к нему. Как магнит для большинства из нас. Простой. Много помогал начинающим.

— А потом, — спрашиваю, — после окончания учебы? Общались?

— Бывал у него в двухкомнатной квартире на Смоленской набережной. Жену Галину Андреевну запомнил приветливой хозяйкой. А хозяин дома любил украинские песни. Не забуду, как он пел «Распрягайте, хлопцы, коней», «Очи дивочи».

Я слушал и невольно отмечал: «Вот ещё одна притягательная черточка характера большого русского человека». Напомнил, что Алексеевых в селе Монастырском звали хохлами, читал об этом.

Услышал в ответ:

— Кажется, бабушка его была украинкой...

Из рассказов Толкача узнал, что жили литбурсаки, как они себя называли, в Переделкино, в восьмиквартирном двухэтажном доме. Отсюда их на автобусе Литфонда СССР возили на занятия в институт. Часто с ними в одном автобусе оказывался и Александр Фадеев. Он жил в Переделкино в дачном доме до самой своей смерти. Потом в книге воспоминаний «В одном строю» Михаил Толкач напишет об этом скорбном воскресном дне, 13 мая.

Из его разговора в тот день с садовником Фадеева в Переделкино:

«Утром Лександрыч позвал меня к себе. Сидим на лавочке, калякаем. Должно, с час обговаривали план на неделю. Что и где высадить. Какие цветы на какой клумбе. Какие деревца выкорчевать... Жёнка его, Ангелина Степановна, в отъезде. Сын в своей комнате зубрил за девятый класс. Лександрыч наказал:

— До обеда меня не тревожьте. Буду наверху.

После двух стучимся — молчок. Открываем дверь — лежит на постели. Подушка на груди. Из-под неё — красная полоска, на светлой рубахе. Видать стрелял под подушкой».

И далее уже о прощании с покойным классиком в Колонном зале Дома союзов на Пушкинской улице столицы:

«К полудню слушателей Высших литературных курсов сгруппировали и распределили среди них венки. Мне с Юрием Усыченко (прозаик-фронтовик из Одессы) достался венок от ЦК ВКП(б). Большой, из красных роз.

Гроб пронесли на руках до гостиницы «Гранд-отель». Затем траурная процессия направилась в сторону Ново-Девичьего монастыря.

...Гражданская панихида. Скорбные слова ораторов...

...Вдруг на ветку сиреневого куста опустилась пичужка, как мне показалось, овсянка.

Зацвенькала, вертя головкой, присматриваясь к людям у могилы. Это было так неуместно и поразительно символично, что очередной выступающий запнулся и умолк...

У многих слезы. Всхлипы рыдающих...»

Так прощались с членом ЦК партии, депутатом Верховных Советов СССР и РСФСР, секретарем правления Союза писателей, вице-президентом Всемирного Совета Мира...

...И Александром Булыгой — комиссаром дальневосточной Сучанской партизанской бригады, родившимся на Волге, в селеении Кимры Тверской губернии в семье вышедшего из крестьян в сельские учителя отца и матери-фельдшерицы.

Как много вместила в себя жизнь Михаила Яковлевича Толкача.

«Бурятский хохол», как его звали в Литературном институте, двадцать пять лет проработал в Бурятии. Электрик. Партийный работник, инструктор обкома, собкор газеты «Гудок» и с 1963 по 1978 год — ответственный секретарь писательской организации Куйбышевской области.

Для него характерно постоянное пристальное внимание к человеку, пишущему, читающему... Не назидательное, не поучающее — товарищеское. Это, наверное, оттуда вынесено: из того времени и общения, когда он был «литбурсаком». Из того товарищества.

Это он первый сказал мне, что я заслуживаю быть членом Союза писателей. И написал рекомендацию.

* * *

Помню в студенческие годы, когда я отправлялся в своё село, говорил однокашникам: «Еду в свою столицу».

Тогда в пригороде Самары (бывший Куйбышев), название которому по-волжски крепко и глыбасто — Кряж, висела табличка-указатель и на ней крупно, почти одинаковыми буквами начертанное, красовалось: «Москва» и «Утёвка». Домой всегда я ехал по трассе на Москву, но сворачивал вскоре направо, где в восьмидесяти километрах от областного центра и было моё село.

Это соседство на одной табличке двух моих столиц: «Москва» и «Утёвка» всегда согревало душу. В любое ненастье!

В Москве я оказался только лишь в двадцать четыре года, когда получил первые в своей жизни отпускные. Тогда я уехал, ни-

кому об этом не сказав, молчаливо уклонившись от важнейшего дела, определявшего так много в отцовском доме — тяжёлого, но столь необходимого лесного сенокоса и заготовки дров на зиму.

Уехал не Москву смотреть, а в придуманное мною моё первое путешествие по маршруту, который сам себе определил: Рязань — Тула — Владимир, а точнее: к Есенину в Константиново, к Толстому в Ясную Поляну и к Солоухину в Алепино. Москва была в конце моего путешествия.

Об этой своей поездке как-нибудь в другой раз...

...Прошли годы. С той поры я побывал в 18 странах мира. Много видел столиц. Но эти две!..

Кружа по столицам мира, пришел к такой простой теперь для себя истине: надо много поездить, многое посмотреть! Но вернуться! И жить там, где родился. Где произошло таинство твоего появления на свет. Там истоки жизненной силы. Это я твердо себе усвоил.

Но есть одна червоточина в сознании.

Села Утёвки — столицы моей — как бы уже и нет? Моя Утёвка — теперь поселение. И дед мой, и бабка, и отец с матерью, и брат, и моя родня, к чьим могилкам на въезде в село я каждый раз при возвращении прихожу — враз стали поселенцами? Выходит, и я поселенец?

Да, когда-то наши прародители пришли сюда на берега Самары и осели. И зажили основательно. И живут уже около двух с половиной веков.

В 1810 году была построена первая Дмитриевская каменная церковь. И жителей тогда в Утёвке было более пяти тысяч. А в конце девятнадцатого века возвели вторую церковь. И ведь, кажется, всем известно, что обустроенное крестьянами место, в котором стоит церковь, и есть — село. Для чего же огород городить? С поселенцами-то? И кого это из нас, моих родственников, послали сюда на поселение по приговору суда? Не было такого!

«Поселеньем зовут место, заселённое ссылочными, а поселённый — ссылочный, ссыльный» — это из словаря Даля.

...Мне, наивному, казалось всегда, что наши утёвские предки добровольно, по велению сердечному выбрали красивейшее место на линии встречи леса и бескрайней степи, и покоренные красотой вольной, пустили свои корни в раздольной лесостепной стороншке...

Пусть даже они и были поселенцами в этих местах, но мы-то через два с половиной столетия, может, всё-таки сельчане?

Нет, тут что-то не так! Не сходятся жизнь и закон РФ «Об общих принципах организации законодательных (представительных и исполнительных) органов государственной власти субъектов РФ».

Вот уж, действительно, как у Даля: «В городе рубят, по деревне щепки летят».

Но ведь и городам досталось. Сколько их попало в разряд городских поселений.

Сколько теперь стало как бы и не коренных жителей, а сельских и городских поселенцев.

Ладно, села Утёвки, моей столицы, затерявшейся в заволжских степях, как бы не стало.

Но Москва-то есть?!

О, да — мегаполис!

Но, став гигантским городом, она в своей нынешней мощи стала другой.

Указателя на перекрёстке том в направлении Утёвки нет. Давно нет. И указатель на Москву исчез. Не до поселений сейчас главной столице? Неужто она теперь сама по себе, а мы сами по себе? Без указателей будем жить?!

Вроде бы нет боязни путнику сбиться с направления. Но не ровен час, в ненастье-то, в непогоду?.. Или уже хуже того, что есть, не будет?

И никаких целей у нас теперь нет? Указывать и вести некому и некуда? Раньше государство вело за собой. А теперь?

...И споткнулся на мысли: а что, село Константиново теперь тоже поселение? Тимониха? Овсянка? Ширяево? Алепино? Монастырское, в котором родился и вырос Михаил Алексеев? Всё это — поселения? И их великие питомцы? Есенин — поселенец? Снова посмотрел у Даля: «...Поселенцы поселяются вдоль речек, покидая позади себя безводные степи. Поселенец — что младенец, что видит, то и тащит».

Из моего села и из сёл моего района (читай теперь поселений?) вышли дипломаты, доктора наук, художники, Герои Труда и Советского Союза... Я их всех помню и могу назвать при необходимости поимённо. Давно хочу написать о них повесть. Они — гордость моих односельчан. И так по всей России.

...Сельчане сейчас в одиночку, соборно, как могут — сопротивляются.

Восстановлены в Утёвке храм и колокольня. Народ потянулся к вере. В только что недавно вышедшей книге «Главное русло

судьбы» житель Утёвки Владимир Петрушин написал непростую историю своего района и, конечно, Утёвки.

Что значит его книга?

Чем она окажется через годы?

Неужто реквием?

Но уже не по крестьянскому укладу жизни, крушение которого идёт более 70 лет и которое так чувствовал Михаил Алексеев, а по самой нашей жизни? Не может того быть!

* * *

Когда мы в Переделкино выносили из храма после отпевания гроб с телом Михаила Николаевича, Сергей Николаевич Котькало обратился ко мне, протянув руку:

— Подержите пока...

— Что это? — не сразу понял я.

Он не ответил. В следующий момент стало ясно. В моей руке были винты от гробовой крышки. Я не был готов к такому. Это и определило моё состояние на похоронах. Вмиг воспринял все как знак. И какой?!

Сердце билось учащённо.

Винты жгли мне руку.

Будто все мы, присутствующие, оказались сейчас, в эти скорбные минуты, на пороге прощания со всем нашим крестьянством. Не знающим, не ведающим о кончине своего, может быть, последнего, неповторимого, искреннего певца.

В голове рефреном стучало:

«Не ища с завидным постоянством,

Кто отсталый, кто передовик.

Я бы в честь советского крестьянства

Персональный памятник воздвиг!»

Эти строчки Михаил Николаевич привел в своём очерке «Крестьянка» в далеком ещё 1973 году.

* * *

...Хочется вернуться в Переделкино. К могиле с деревянным крестом чуть сбочь от дороги, где течет речушка Сетунь.

Побывать там ещё.

О чем зажатая со всех сторон теперешней потускневшей жизнью тихо сетует эта речка?

Она слышала такие голоса и видела такие лица...

В мастерской...

Часто вспоминаю отцовскую мастерскую. Она была во дворе под развесистыми карагачами. В жаркий летний денёк под деревьями вожделенный тенёчек, а под позеленевшей шиферной крышей мастерской тем более: благодать!

Чего только не было в ней: и хомуты, и оглобли, и столярка, и детали мотоцикла, велосипедов...

На верстаке — то кучерявые золотистые стружки, то металлические опилки...

Помню, мама однажды вошла к нам и стала что-то забавное, как это она умела, рассказывать про соседку тетю Маню Сисямкину. Было смешно. Отец тогда сказал:

— Наша Манька любого в косые лапти обует!

Я так и подпрыгнул на пороге. Точнее и живописнее сказать и нельзя было. Конечно, мой мальчишеский ум тогда не был обременён тем, что я пережил, передумал, много позже, когда начал писать...

Лет через тридцать пять я припомнил эти слова отца и вставил в свою повесть. И так они хорошо подошли. Как там и были!

Я вспомнил об этом, думая о нашем русском языке. О том, как писать русскому писателю.

Ярко, красиво, сочно написанное восхитит. Но удержит на трех, пяти страницах. А далее? Далее без своеобразной пластики, музыки текста — скучно. Без развития мысли мне неинтересно.

Помню, как я ещё в детстве был поражен, прочитав рассказ Толстого «После бала».

Недавно, через пятьдесят лет, вновь прочел. И был очарован.

Но ведь в нём нет никакого изящества стиля. Чаще всего повествование на грани косноязычия. Эти бесконечные повторы: «я», «он»...

Но бьется сама живая мысль. Если можно так говорить: сплав философии мысли и чувства.

Другая крайность: недавно через плечо внука заглянул в книжку, которую он читал. Даниэль Дефо «Робинзон Крузо». И был удивлен тяжеловесностью слога. Конечно, многое зависит и от перевода, но думаю, здесь не тот случай. Пересказ, как указано в книжке, сделан Корнеем Чуковским. Мне скажут: это детская литература, у неё другие законы. Но родом-то мы все из детства. Давно сказано.

И уже более двухсот лет наши прадеды, деды и внуки читают взахлеб, эту удивительную историю о человеке неистощимой энергии, человеке дела...

Нельзя говорить цветисто постоянно, мне так кажется.

И мой отец скажет бывало так один раз и... до следующего случая. Выдаст, но через день, неделю... Не зря же говорливому своему родственнику Михаилу, у которого одна была профессия: «поди принеси», отец мой, когда тот чересчур раздухарится, не раз говорил:

— Минь! Остынь! Дело скажи, хватит балаболить!

Русский мужик всегда любил живописную и красивую речь. Но по сути ему в конце-то нужно было настоящее: деловое, дельное.

Теперь мы знаем, до чего доводит пустая говорильня, пусть и кучерявая...

И в рассказе, повести мы чаще всего ищем вот это: настоящее, дельное. Язык писателя — это его стихия, судьба и его инструмент, средство. И умный читатель берёт из книги не ряженных, не сюжет, он берёт в первую очередь душу писателя.

Сейчас, после длительного стирания граней между городом и деревней, когда семьдесят процентов — городские, тридцать — сельские, после поголовной обработки в средней школе, все говорят, увы, на усредненном языке. Язык идёт своим путем развития. И это его развитие связано с бытом, с психологией человека.

Не стало определенного уклада — исчезли слова, его обозначающего. Время и изменения уклада вымывают добротный русский язык. Это печально.

Мало остается от исконно русского в стихии народной жизни, оттого и язык скудеет. И в городах особенно сильно.

На своём опыте знаю. Надо было мне в повести описать, как мы с отцом делали упряжь для нашей коровенки. Нужда была на чем-то сено возить, хоть помаленьку. И никак я не смог вспомнить, что же мы соорудили ей вместо хомута. Точно помню, его не было, но что же тогда вместо него?

Поехал в своё село. Никто из теперешних жителей уже не знает. Лошадь редко увидишь в хозяйстве, а тут коровья упряжка. Многим невдомёк было, о чем это я? И только одна древняя старушка просветила:

— Шура, да как же это ты мог забыть-то? Дед твой кем был?

Я начал перечислять:

— Конюхом, рыбаком, плотником, скорняком...

— Ну, ну, дальше-то!

Я продолжил:

— Бондарем, шорником...

— Вот! Как же это ты не помнишь?.. Шорником! Хомуты делал, седёлки. Шорки для коров делал, вот потому и шорник.

Я могу привести десятки слов, которые молодые сельчане мои и не слышали ни разу.

Логунок, слега, чекушка, окосиво, бастриг...

Сколько их, таких слов, без которых в моём, ещё казалось, недавнем детстве, нельзя было просто обойтись в сельском быте.

Но быт теперь иной...

Остаются те слова, которые обозначают нечто корневое. Корова — она навсегда останется коровой. По-другому вряд ли когда назовут. Надеюсь, то же будет и со словом «молоко».

Одна моя давняя знакомая — бывшая учительница, теперь уже старуха, сохранила эту удивительную способность: говорить живописно. Про разуверившегося во всем, ставшим квёлым, безвольным персонаже Суслове, когда говорили о моём двухтомнике прозы, она сказала:

— Он у тебя к концу книжки стал, как снятое молоко.

Я пожалел, что, когда писал повесть, не вспомнил это выражение. Такого в кабинете не придумаешь. Пообещал ей вставить её слова при переиздании книжки.

Это старуха так сказала. Но молодые уже подобным образом не говорят. У молодежи нет такой умелости.

Похоже, интерес к такой речи останется, но... Яркий образный язык — неужто он станет достоянием только этнографических музеев и лингвистических сборников.

Язык не будет играть своей роли? Только содержание?

Сколько же тогда красок исчезнет в этом мире!

Умёвский почтмейстер

Прошло так много лет, а я все помню те давние свои переживания.

...Я пришёл к своему однокласснику Витьке, когда он пил чай. Мне сразу бросила в глаза на обеденном столе небольшая книжка «Детство Никиты».

— Садись, — пригласил приятель, — попьём и пойдём на стадион. Бери сушку, дядька из города привёз.

Сев за стол, на лавку, я тронул книжку. Она раскрылась почти на последних страницах. Вверху было заглавие: «Письмецо».

Я начал читать и был сражен наповал первыми же тремя строчками. В них говорилось про наше с Витькой село Утёвку.

На печке пыхла квашня с опарой. В полутёмной передней вторила ей на высокой кровати с кружевным подзором полная, сомлевшая от духоты мать Витьки. А я читал в третий раз, не веря глазам, одну и ту же страницу:

«Никита соскочил с седла, привязал Клопика за гвоздь у полосатого столба и вошёл в почтовое отделение в селе Утёвке на базарной площади. За открытой загородкой сидел включенный с опухшим лицом почтмейстер и жег на свече сургуч. Весь стол у него был закапан сургучом и чернилами, засыпан табачным пеплом. Накапав на конверт кучу пылающего сургуча, он схватил волосатой рукой печать и стукнул ею так, будто желал проломить череп отправителю. Затем полез в ящик стола, вынул марку, высунул большой язык, лизнул, наклеил, с отвращением сплюнул и уже только тогда покосился заплывшими глазами на Никиту.

Почтмейстера того звали Иван Иванович Ландышев. У него было обыкновение читать все газеты и журналы: читал от доски до доски и, покуда не прочтёт, ни за что не выдаст. Неоднократно на него жаловались в Самару, но он только хуже сердился, чтения же не прекращал. Шесть раз в год он запивал, и тогда в почтовое отделение боялись даже заходить. В эти дни почтмейстер высовывался в окошко и кричал на всю площадь: «Душу мою съели, окаянные!»

Я с изумлением посмотрел на Витьку. Точь-в-точь так, осерчав, кричал спившийся наш Ванька, по-уличному Никудышкин, живший в конце Заколюковки.

Когда мы отправились на стадион, я захватил удивительную книжку с собой. Мой друг не возражал. Лежа на травке под кленами, я начал запойно читать дальше. Было не до футбола.

Я был переполнен своим открытием. Писатель Толстой рассказывал о нашем селе, о нашем чуде почтмейстере. Пускай не Лев Толстой, а Алексей, о котором я до этого ничего не слышал. Но все равно: писатель Толстой. Наша жизнь в книжке!

Глава «Письмецо» была маленькая, я начал читать книжку сначала, выискивая глазами, где же ещё про Утёвку.

Я не понимал, почему Витька не ликует, как я? Почему ему не до чтения. Он стоял на воротах, забыв и про меня, и про книжку.

Наша команда сражалась с тягаловскими (была такая улица). Ну и что? Есть другой Витька-Чугунок, он не хуже вратарь! Стоит сейчас каланчой рядом у ворот?

С неделю я ходил под впечатлением от прочитанного. Все в книжке было так живописно и ярко! Но почтмейстер Иван Иванович Ландышев не выходил из головы. Он заслонил всех.

«Надо же, какой был человек! — думал я. — Такой, что даже Толстой его отметил как-то особенно, необыкновенно! А что частенько почтмейстер запивал, так кто у нас этого не видел в селе? Не удивишь этим. А вот как он, Ландышев, своей волосатой рукой лихо умел стукнуть печатью!»

Мне казалось, что я даже видел череп отправителя письма, по которому он вполне мог стукнуть печатью. Череп был большой такой и желтый...

Немного смущала меня фамилия: Ландышев. Были у нас Ореншкины, Осинкины, а вот такой не было.

«Изменил фамилию писатель или нет? — гадал я. — Наверное, изменил, чтобы начальство почтмейстера не тронуло. Он его пожалел... А может, все Ландышевы уехали из села. Времени-то прошло! Ещё до революции это было. А вдруг, — спохватился я, — он ещё про кого-нибудь из наших написал. Жил-то недалеко от Пестравки где-то. Надо в библиотеке его книги спросить».

Так много было в этой книжке близкого. Взять хотя бы скамейку, которую делал Никите плотник Пахом. У нас она называлась масляной. Мастерил мне её мой дед. Катались мы на ней с горы, которую поливали водой в мороз. По льду можно кататься дальше и быстрее.

А игра в чижик, чушки, орлянку? В Лаптаевом переулке на поляне каждая весна начиналась с этого. Чижики и куча чушек из нас в погребнице всегда зимовали за ларем с отрубями. Дожидались своего часа. Может, Никита приезжал к нам не один раз? Не только за письмами?..

Охладил меня наш учитель литературы:

— Это книжка не про нашу Утёвку. Ещё есть одна, под Пестравкой.

Видя, что я слушаю с недоверием, пояснил:

— Подумай, голова садовая, они на телегах возили в Пестравку яблоки на продажу. Значит, заезжали и на почту в тамошнюю Утёвку. Она ближе, чем наша. Посмотри на карте, убедишься. И Ландышев — литературный персонаж, не настоящий.

Я посмотрел карту. И нашел село Утёвку, недалеко от Пестравки. Все было верно: не резон в нашу даль тащиться на почту. Не наша Утёвка в книжке.

Горевал я сильно, придя к такому выводу. И не сразу точно скажешь, от чего горевал. А потом захотелось посмотреть на эту, вторую Утёвку. Интересно было узнать, живет ли там кто с фамилией Ландышевы?..

Раньше я такой фамилии не слышал.

«Может, фамилия и вымышленная. Но не сам почтмейстер», — не соглашался я с учителем.

То, что почтмейстер мог быть придуман, никак не укладывалось в моей упрямой голове. Он такой свой и такой живой смотрел на меня из удивительной книжки про Никиту...

На линии противостояния

Этот разговор между издателем цикла моих повестей «Под открытым небом» Николаем Ивановичем Дорошенко и мной состоялся перед самым выходом двухтомника. И до того, и после я продолжал неотвязно думать о написанном.

Мне показалось, что наш диалог в какой-то мере продолжает те размышления, которые возникают на моём пути, обозначенном мной как «Колки мои и перелесья». Поэтому я его и привожу здесь.

— Александр Станиславович, у критиков сложилось о вас, как о прозаике, мнение, что вы следуете шолоховской традиции. Характеры и судьбы всех ваших героев помимо достоверности чисто художественной имеют ещё и историческую достоверность. По большому счету вас, как художника, привлекает, в основном, то, что вы пережили лично. Поэтому, наверное, главным героем многих ваших повествований, написанных как самостоятельные произведения и имеющих собственные художественные параметры, является ваш ровесник Ковальский. И, соответственно, каждый период его жизни — от деревенского детства до руководства крупнейшим наукоемким предприятием — это одна из живых страниц истории нашей страны.

Вы согласны с таким о вас впечатлением?

— Я высоко ценю гениальный роман Шолохова «Тихий Дон» именно за его художественные качества, за правду жизни.

Но я не задавался целью следовать чьей-то уже пройденной дорогой. Понимаю, что в искусстве это рискованное дело.

И потом, жизнь всё-таки шире и огромнее каких-либо традиций, в том числе, и литературных. Жизнь, свидетелем и участником которой был с малолетнего возраста и до солидных лет, я и попробовал отобразить художественными средствами.

Что получилось, судить читателю.

В повествовании много из пережитого лично. Но это не значит, что Ковальский — это я. Я попытался написать художественную вещь с необходимыми и присущими ей обобщениями и конкретикой, поэтому после публикации отдельных книг, как самостоятельных, многие читатели узнавали в Ковальском себя или часть себя, часть своей жизни.

Меня это только радует, Ковальский мне дорог, как часть меня, моей жизни, моего времени, моей страны...

В этом я согласен с Вами.

— Вся послевоенная пора была весьма разносторонне исследована русской литературой. И сельский паренек, отправляющийся в большой мир науки и индустрии с деревянным чемоданчиком, это, в общем-то, хорошо знакомый нам даже по кинематографу образ. Что заставило вас взяться за написание собственной картины жизни России во второй половине XX века? Что, на ваш взгляд, нового вы рассказали о судьбе своего поколения?

— Вы, Николай Иванович, говорите о послевоенной поре. А как мы жили в последние десятилетия XX века? Достаточно ли об этом сказано? Мы в середине века шагали под торжественные звуки гимна нашей страны и совершили многое. Были беды и назревающие проблемы, о них чуть позже.

А потом? Потом оказались в стране, которая не имела уже ни своего гимна, ни своего герба. В другой стране оказались. Началась иная жизнь. На наших глазах произошло крушение великой державы. Ковальский оказался, как и я, свидетелем и активным участником этих, таких разных жизней. Эти события стали частью нашей общей биографии.

Детство его пришлось на те годы, когда жизнь восстанавливалась после войны. От самых западных границ до моей Волги сметено войной было полстраны. И городам досталось, и деревням.

Конечно, основная тяжесть лежала на бабах. И выстояли ведь! Не пропали! На бабьих плечах возрождались деревня.

А потом: укрупнение сел. И начали исчезать деревни с лица земли.

Затем: пьянство, потакаемое государством.

Сколько нас шагнуло с чемоданчиками в город, оторвавшись от земли... Горожан стало 70%, а селян — 30%, и страна стала иной, нежели она была в послевоенные годы. Со своими достижениями и назревающими бедами.

А потом, когда мои ровесники, вертикально поднявшись было вверх, став летчиками, моряками, заводчанами, учеными, активно прожили всего-то около 25-30 лет и вынуждены были совершить вынужденную резкую посадку. И часть их оказалась не у дел. Вернулись в саманные разрушенные избы. Ковальский до поры удержался в полете, но какой ценой? И надолго ли?

Жизнь таких людей, мне казалось, должна была заговорить сама на страницах художественной литературы. Их миллионы таких, наших сограждан...

Ковальский со своим «чемоданчиком» прошагал в трагическое время свой путь достойно.

Трагедии человеческих судеб в обновляющейся России заставляют на многое смотреть теперь по-иному.

Вот вопиющие факты: по данным управления Федеральной службы по контролю над оборотом наркотиков по Самарской области, за последний год «из незаконного оборота изъято 194 кг наркотиков. Из них 48 кг героина, свыше 48 кг опия, около 1 кг синтетических наркотиков и порядка 100 кг наркотиков растительного происхождения». Медики продолжают печальную статистику: в губернии зарегистрировано около 30 тысяч наркоманов, но реально эта цифра как минимум втрое выше и в основном это молодежь. Социологи пугают исследованиями: один наркозависимый приобщает к пагубному пороку 10-15 человек. Вывод взрослых: скоро все молодое поколение окажется на игле.

Что тут комментировать?

Взрослое население уселось на нефтегазовую иглу, молодежь — на свою: наркоту.

Чем теперь живет и о чем думает тот парнишка 60-х годов, владелец драгоценного для него деревянного чемоданчика, с которым многое ушло в прошлое?

Разве нам безразлична судьба одного из нас?

— Не появилось ли у вас ощущение, что для нашего времени свойственно мифологизированное представление как о прошлом, так и о будущем?

— Если говорить о литературе, то я не добавлю здесь ничего нового. Она всегда, вплоть до XIX века, была мифом.

Реализм молод в литературе.

Может быть, наступает такое время, и мифология уступает факту? А факт — действительно, вещь порой фантастическая.

Ещё грандиознее он становится, когда является к читателю художественно оживлённым! Тогда рождается истинное искусство.

Магия реальности и мифологическое ощущение грядущей жизни — может, в этом будущее нашей подуставшей нынешней литературы, сторонящейся больших и содержательных форм. Без большого содержательного романа я не мыслю литературу. Кто будет жить во второй половине XXI века, возможно, ответит на этот вопрос более определённно.

— Насколько цельным вам, автору, кажется созданное вами художественное полотно?

— Я поставил точку, почувствовав, что больше на сегодня ни к содержанию, ни к форме что-либо существенного добавить вряд ли смогу. А может, оттого, что «засиделся» над текстами.

Давно не терпится попробовать написать пьесу (есть наброски), сказки. Внуку пообещал написать вторую детскую книжку, набрал сюжетов на книжку о цирке. Кто знает, придёт время, возможно, Ковальский вновь позовёт к себе. Если не он, то другой его сверстник... Ни в одной вещи ещё не удалось мне выразить до конца то, что хотел... Я, кажется, себя переоценил. Надежда на следующую книгу... Сейчас так важно и для писателя, и для читателя сохранить искренность и сострадание. Сердечность уходит из нашей жизни...

Верю, что непременно родится на русской земле истинный её художник, который сумеет выразить всю глубину трагизма, произошедшего в XX веке с нашей страной. Сказать всю «неподъёмную правду».

Явится русский национальный писатель, для которого важнее всего художественно закрепить национальный дух своего народа. Сохранить его душу.

— Насколько предсказуемыми оказались у вас трагические события развала страны, нынешней нашей экономической и духовной деградации?

— Вернитесь к тексту главы «Черный ящик». Она написана в 1994 году, т.е. двенадцать лет назад. В 1995 году она была опубликована отдельной книгой. В ней есть многое из того, что с нами потом свершилось. Говорю это с огромной горечью. «Черный ящик» и был написан, как часть будущей большой вещи, но по свежим следам.

Я начал писать то, что вошло в двухтомник, а точнее, роман «Противостояние», ещё в 1987 году, будучи на учебе в Ленинградском технологическом институте, в общежитии. И продолжил в начале 1991-го, остро чувствуя, что в обстановке неприятия народом Горбачева и разброда в стране, многократно усиленном оппозицией Ельцина, народ сбит с толку, и это дорого нам обойдется.

Я полагал, что напишу только «Противостояние», но, почувствовав необходимость вернуться к истокам судьбы главного героя, дописал ещё три вещи о его детстве, юности и становлении как специалиста.

О нас, русских, у нас и за границей написано напраслины столько, глупостей столько наговорено... Захотелось сказать о нас самому. Молод был, оттого и решителен...

Так получилось это некое «пятикнижие» о моих ровесниках. И не только о них.

— Случайным ли является то, что Ковальский, которого многие из его друзей и подавляющее большинство окружающих людей (например, рабочие возглавляемого им предприятия) продолжают уважать и даже любить, тем не менее как фигура историческая оказывается в одиночестве? Какой смысл вы вкладываете в это историческое одиночество? Или вы верите в непобедимое значение «последнего праведника»?

— Мы живем в стремительном времени. Вокруг многое и многие перерождаются. И часто за такое перерождение стыдно.

Ковальский способен меняться, но не настолько, чтобы терять извечные человеческие ценности. Что-то его удерживает. И в этом, с позиции нашего циничного времени, он уязвим. Он не «последний праведник», он ценит в себе то, что оберегал всегда, ценил как плод усилий родителей своих и своих собственных. Он работал над собой. Таким, каким он стал, совсем ещё недавно он был крепко востребован обществом, которое по-своему заботилось о нем, о его родителях, сверстниках. Но куда все подевалось? Много изменилось. Он не готов изменить себе. Таких Ковальских было много у нас. Не зря однажды он обронил, говоря о родителях: «Они бы не одобрили». Это было сказано, когда ему уже за 50 лет.

Он не праведник. Ковальский сильный, деятельный человек там, где он привык действовать. И он... слабое существо, попавшее в капкан трагического времени.

Наше время так стремительно сжимается, так быстро меняются устои общества, что нормальный человек не успевает за ним. Он тормозится своим внутренним ритмом развития. И в этом беда наша и конкретно Ковальского.

Ковальский с достоинством принимает неизбежное. В том числе и некое одиночество. Хотя для него это не просто. Человеческое достоинство постоянно под прицелом. Но оно помогает Ковальскому находить силы и противостоять невзгодам и в дореформенной России, и после.

Как появляются такие люди? И об этом моё повествование.

Ковальский дорог мне тем, что он, кажется, бесповоротно давно понял (в отличие от Владимира Сулова): бесконечные блуждания, поиск и жажда перемен, так характерные для русской интеллигенции, должны уступить место отстаиванию, сохранению тех ценностей, которые уже найдены, которые хранили наши предки. Как он говорит: «надо делать конкретное дело».

Я не писал историю одной жизни, как это вынесено в подзаголовок двухтомника, а попытался дать возможность самой жизни рассказать о себе. Может быть, это удалось в самой большой главе «Черный ящик», где Ковальский решил писать о себе сам. Ковальский человек творческий. С жизненным творчеством рядом часто шагает страдание и можно потерять веру в себя. Ковальскому удастся выстоять в этом противостоянии. В этой части противостояния он одинок, а по-другому и не может быть у творческой личности.

Последняя книга, пятая, так и называется «Противостояние». Но там столько ещё стихий, готовых сбить с ног... Так что жизнь Ковальского нелегка. А кто сказал, что сохранение достоинства дается легко?

Научно-технический прогресс, над которым часто размышляет Ковальский и который увлек его из села, так стремительно развивается, что человек не успевает перестраивать своё сознание под изменившиеся обстоятельства. То же и в общественной жизни, в переустройстве общества.

Не один Ковальский, по большому счету, оказывается невписанным в систему ценностей либерального толка. И слава богу! Ибо эта самая система — явный симптом кризиса нынешней западной цивилизации. Для русского она, как дурман-трава. Потому это одиночество Ковальского временное. Сам он пока всего чётко не осознает. У него, кажется, это больше заложено на иррациональном уровне.

Есть более глубокое одиночество. В историческом плане технический прогресс так повлиял на окружающий мир в планетарном масштабе, так его изменил и сделал таким хрупким, уязвимым, что природа потеряла способность самовосстанавливаться. И речь уже идёт не о толерантности в отношениях «человек — природа», а о спасении природы. Но где это есть? И когда это будет? Человек, как это ни парадоксально, стал в условиях технического нашего прогресса более близок к гибели. При шести с половиной миллиардах населения планеты каждый человек стал более одинок

перед лицом катастрофы, теперь природа ему уже не помощник, она сама гибнет. Человек остается в одиночестве со своим столь агрессивным разумом. Спасет ли он его? Человеческий разум оказался бесконтролен...

Ковальский остро это понимает и, кажется, переживая, взял на себя, на свою совесть часть нашей общей вины. Трагедия нашего времени и в том, что международный терроризм и внутренние нескончаемые реформы, нестабильность режимов во многих странах не дают возможности заниматься сохранением среды обитания, обустройством нашего общего дома — планеты Земля. Либо мы объединимся все и спасемся, либо погибнем все разом. Это не миф о нашем будущем, но жестокая реальность.

— Не кажется ли вам, что ваш дед Проняй похож на шолоховского деда Щукаря?

— Не кажется. Был такой у нас дед. Я его не придумал, как и Мазиллина, и многих других.

Меня уже окликали однажды подобным образом, не в литературе: в жизни. На базарной площади один из приезжих городских позвал:

— Эй, казачок, подойди поближе!

Я не сразу сообразил, что зовут меня. Оказывается, его заинтересовала кубанка на моей голове. Дед выделывал овчины, вот и сшил её мне. С красным верхом. У нас и нарядная бекеша была. Когда дед её надевал, я замирал от восторга.

Был и огромный тулуп, который дед, когда зимой отправлялся в степь, обязательно надевал поверх бекеша или шубняка. Но с тулупом случилась одна загвоздка. Я не мог до конца понять тогда, в 12 лет, кто больше прав, Пушкин или мой дед?

Я жил с дедом на бахчах, которые он сторожил. Мама привезла мне из библиотеки «Капитанскую дочку» Пушкина. Начав читать, я тут же споткнулся о некоторое, по моим понятиям, несоответствие. В книжке Петю Гринева, когда провожали в Оренбург на службу, одели в заячий тулуп, а потом сверху — в лисью шубу. У моего деда был тулуп. Огромный, из овчин. Тулуп всегда у нас надевали поверх шубняка либо чего ещё. А в книжке было по-другому: на тулуп надевали шубу.

Там, на бахче, я прочитал деду несколько строк из книжки, те, что касались тулупа. Он тоже подтвердил, что так не бывает. «Тулуп — он и есть тулуп, хотя там, в книжке, баре, у них могёт быть по-другому», — рассуждал он вслух. Но я-то верил: дед всегда знал, что и как надо делать.

Таким был наш быт. В книжке порой своя правда, в жизни — своя. Это засело мне в голову ещё с детства.

...Дед Щукарь был принят оттого, что он был похож на наших...

А что мне делать с Миней Горбачевым — моим дальним сельским родственником, жившим на одной улице, напротив нашего дома? Непотопляемый мужичок. Проняй его не любил, а я Миню в книжку «вставил».

— Читал вашу вещь в рукописи и постоянно чувствовал боль автора за судьбу своих героев. Вы уверены, что выстоим, выживем?

— Да, мне трудно было остаться «за кадром». И стоило ли? Жил вместе с теми, о ком писал. Россияне умирают в год по миллиону. За годы перестройки, за пятнадцать лет — около пятнадцати миллионов жизней ушло...

Но выживем! Есть, увы, у нас такой национальный опыт...

— Ваш Ковальский часто приезжает в родные края, где никого уж нет из родных. Что главного в этом?

— «И познаем мы свой край и Родину свою настолько, насколько любим», — так гласит мудрость. И себя понимаем яснее там, где произошло таинство нашего появления на свет — на Отчине. Там сила, которая питает нас. Ковальскому это дано чувствовать.

— Что вы можете сказать о руководителях, специалистах прежней закалки?

— Таких и сейчас немало.

Прежние руководители? Они были державниками! Другими не могли быть. Это благодаря им моему поколению удалось пожить без войн, получить образование, достойно потрудиться. Они крепили мощь державы. На этом все и держалось. Каждый из нас, оглянитесь! Внимательно посмотрите, и дай вам Бог понять, что без самоотверженного труда, преданности избранному делу ничего в жизни путного не сделаешь.

И общество без этих качеств каждого из нас — общество неинтересное и ущербное.

«Не одни же Раскольниковы и Печорины были в жизни?» — простодушно недоумевал я в юности. Были люди, которые переносили беды, личные драмы, но ещё и строили мосты, железные дороги, ходили в экспедиции. Люди, которые делали жизнь, где они в литературе? Таких книг было мало. И став взрослым, я думал об этом... Была крайность: если книга о производственниках, то в ней только сплошные битвы за урожай, за сроки, за объёмы.

Масштабы и объёмы вершимого чаще всего поглощали, растворяли человека — от директора до рабочего.

— Во втором томе мощно звучит тема труда. Что вы думаете в этом плане о Ковальском?

— Драматизм судьбы таких людей, как Ковальский, в том, что будучи натурами одарёнными, конкретными, заряженными на системную деятельность в обществе, на плодотворную работу, являясь по-своему цельными и необходимыми обществу, если не сейчас, то в будущем, они попадают в обстоятельства, заставляющие полагаться порой, как это у нас, русских, повелось, на наше известное «авось».

На то «авось», которое порой определяет не одну человеческую жизнь, а судьбу целого общества... Так вот сложилось у нас.

Ковальский трудоголик, он не может жить без плодотворного труда. А действительность его лишает этого. Куда ему деваться? Как быть! Это его драма. Выходит, его судьба, свершённая во многом им самим, его дело, стали фатально зависеть от этого «авось», которым кончается вторая книга. Смирится ли он?

— Скоро в издательстве «Российский писатель» ваш многолетний труд выйдет двухтомным изданием с общим названием «Под открытым небом». Что бы вы хотели сказать своим читателям?

— Самое главное я уже сказал на страницах двухтомника.

Хочется, чтобы мои книги прочитало как можно больше читателей. И разного возраста. Мой Ковальский в повествовании вырастает из 12-летнего мальчика в 53-летнего человека. И всё это на фоне порой оглушительных событий, которые выпали на долю его поколения.

Наступает время, когда не по силам переживать в одиночку, тогда хочется писать.

Чем больше читателей откликнется на боль моих героев, тем больше будет надежды на доброе и светлое в нашей общей жизни.

Увлечённый

Лекции по химической термодинамике читал нам заведующий кафедрой, заслуженный деятель науки седовласый и грузный профессор Дамаскин.

...Мы сидим, слушаем, едва ли не раскрыв рты. Размашисто, словно из рукава своего широкого светлого летнего костюма, низвергает он на доску серпантин длинных формул.

Ему не хватает места на доске, левой рукой он тут же стирает за собой написанное, правой продолжает своё действие. Мы не успеваем записывать. Но никто не ропщет. Все смотрят на происходящее зачарованно, как на фейерверк.

Ещё бы: светило! Всесоюзная известность!

Остановившись на миг, профессор вопрошает:

— Сам процесс понятен? Суть его?..

Мы не успеваем ответить, он машет левой рукой с тряпкой:

— Проще объясню! Автомобильный карбюратор, знаете, что такое?

И не дожидаясь ответа, начинает подробно излагать работу карбюратора.

— Уловили главное! — уверенно восклицает лектор. — Молодцы!

Когда лекция закончилась, и профессор ушёл, мы обступили Владьку Серова, работающего по совместительству у профессора на кафедре лаборантом — признанного нами безоговорочно восходящей звездой химической термодинамики.

— Послушай, а причем всё-таки карбюратор?

— А что вы хотите? Вот чудачки! Мы два последних выходных с ним занимались ремонтом его «Волги». Еле карбюратор отрегулировали! Профессор вначале все не мог понять, как он работает. Я несколько раз объяснял... Когда он разобрался, понял, рад был! А сегодня рассказал вам.

Донник

Вторую неделю мы сплаваемся по реке. Мой приятель Юрий не перестаёт меня удивлять своей деловитостью.

Июнь. Стоит невыносимая жара. Кажется, что не дотянуть до вечерней прохлады. Только что на перекате резиновая лодка Юрия напоролась на коряжину. Порвало одну из секций, и теперь мы ремонтируемся на берегу, а заодно Юрий сушит содержимое своего огромного рюкзака.

Слева и справа золотое поле речного калёного солнцем песка, над головой — с редкими облачками небесная синь. Я тронул кучку намокших бумаг и обнаружился крохотный томик Бунина. Со всем сухой.

Открыл книжечку, и выпали мне строчки стихотворения «Донник». Словно о нас!

Будто кем посланы из дальнего Бунинского далека.

*Брат в запыхлённых сапогах
Швырнул ко мне на подоконник
Цветок, растущий на парах,
Цветок засухи — жёлтый донник.*

*Я встал от книг и в степь пошёл...
Ну да, всё поле — золотое,
И отовсюду точки пчёл
Плывут в сухом вечернем зное.*

*...Толчётся сеткой мошкара,
Шафранный свет над полем реет —
И, значит, завтра вновь жара
И вновь сухмень. А хлеб уж зреет.*

*Да, зреет и грозит нуждой,
Быть может, голодом... И всё же
Мне этот донник золотой
На миг всего, всего дороже!*

— Удивительный поэт, — возвращая книгу, говорю я.

— Так ведь классик, — авторитетно согласился Юрий, — Иван Бунин.

И замолчал, принимая драгоценную книжечку.

— Вот, слушай! — сказал он, разглаживая высохшие мятые листочки, — я когда-то собирал сведения: бобёр живет до тридцати пяти лет! Представляешь, сколько они нам завалов смогут ещё сделать на реке! Жуть! Заяц живёт до десяти лет. Из домашних животных дольше всех здравствует осел — до пятидесяти лет, лошадь и верблюд — до тридцати. Корова — не более двадцати пяти, а собака и кошка — до десяти-восемнадцати лет.

Мне показалось на миг, что, перечисляя всё это, он дурачит меня, ему скучно стало! А может, перегрелся. Поток информации он напрочь готов подавить во мне всё очарование от прочитанного стихотворения.

— Ну и что с того? — спрашиваю осторожно.

— Как что? Ты вслед за Буниным листком донника восхищаешься, а тут целый животный мир. Интересно же! Есть случаи, когда попугаи живут до ста сорока лет, а крокодилы — до трёхсот, — лицо Юрия вполне серьёзно.

— Зачем ты это возишь с собой? — допытываюсь я.

— А когда хорошее течение и ветер в спину, сию, читаю. Систематизирую.

— С какой целью?

— Книгу хочу написать о братьях наших меньших. Пока есть о ком писать. Пока не всех извели.

— И как она будет называться?

— Ещё не знаю. Эпиграф уже есть, решусь ли поставить: «Человек — это величайшая скотина в мире».

— Ну ты скажешь!

— Это не я, это Ключевский, — в растяжку произносит Юрий, — другой великий. А вот случай: в Англии в 1887 году был подбит лебедь с кольцом...

Он продолжает что-то ещё говорить, мой серьёзный и добросовестный приятель, но я не слушаю его. Мысли мои в плену стихотворения о золотом доннике, по волшебству гения, ставшим для меня «на миг всего, всего дороже!»

Тихое мужество

Одна за другой появились две замечательные книги о моей «малой родине». В конце октября в Нефтегорске состоялась их презентация.

Первая — «Древности Нефтегорского района» авторов Павла Кузнецова и Анатолия Плаксина рассказывает о давней истории нефтегорской земли, богатой древними курганами и захоронениями. Вторая книга: «Главное русло судьбы», написанная Владимиром Петрушиным, душевно повествует уже о недавнем прошлом нашего края и о его сегодняшних днях.

Внешне, с высоты литературного Олимпа, выход этих книг в свет, скажем так, событие не особо приметное. Но по своему нравственному значению, написание таких и подобных им книг — событие знаковое.

Посмотрим, на каком фоне появились они.

Вся постсоветская литература так и не явила на свет, не дала читателю значительного художественного полотна. Шолоховского Мелехова сегодняшних дней мы так и не увидели на страницах современной литературы перестроечного периода. Протестная и порядочно притомившаяся, торопливая, часто сбиваемая с толку пресловутым рынком, художественная литература, кажется, утрачивает способность пристально, внимательно вглядываться в нынешнюю жизнь, чтобы эту самую жизнь и впустить на страницы своих книг. Именно жизнь впустить, а не медийных персонажей, кочующих по страницам придуманных повествований.

И это тогда, когда в мире осуществляется организованное оглушение и вытравливается из памяти народа то, что было хорошего и значительного в нашей общей истории. Все затуманено априорной установкой на замутнение разума, на выветривание из сознания чувства патриотизма. Патриотизм у нас до последнего времени был оболган и задвинут, как нечто ненужное, в дальний угол. Путают нас соблазнами либерального толка, а для россиянина — это как дурман-трава.

Слава Богу, теперь многим ясно, что либерализм, навязываемая его система ценностей — симптом кризиса западной цивилизации.

И тут стала появляться другая литература, незаметная, казалось бы, местная. Говорящая на языке факта: научно-популярная и документальная, скажем о ней так. И заговорил в этих книгах его величество факт.

И в этих книгах некоторые увидели только факт. И это, конечно, хорошо! Но я хочу сказать о другом. О тенденции. Такие книги делают то, что не удается в полной мере художественной литературе. В них желание самого народа сказать о себе, не дожидаясь профессиональных литераторов. И сказать самое важное, чтобы помочь сохранить в памяти народной образ его жизнь, дух народа. Его душу!

Говоря это, невольно хочется отметить повесть «Вдали от войны» нефтегорского автора Алексея Михайловича Ильина. Она особенно соответствует этой тенденции. Вспоминается Александр Твардовский:

*«...За своё в ответе,
Я об одном при жизни хлопочу:
О том, что знаю лучше всех на свете,
Сказать хочу.
И так, как я хочу».*

Что с нами происходит? Идёт нравственный раздрай на экранах телевизоров, в кино, на эстраде.

А эти авторы в глубинке с достоинством пишут душевные книги. Как не порадоваться!

Может, и не осознавая того, они совершили очень важный свой гражданский поступок, который мы должны приветствовать.

А эти знаковые профессии наших авторов!?

Учитель и бизнесмен.

Я глубоко уверен, что именно учитель должен стать ключевой фигурой в становлении и укреплении нравственных начал в нашем обществе.

И необычное: бизнесмен пишет книгу об истоках своих, о том крае, где напитался он соками и духом своей Отчины.

А впрочем, что здесь необычного, если он крестьянский сын, у него сейчас куча забот. Он дает односельчанам работу, сам выращивает хлеб.

Нависла угроза, что мы можем перестать быть самими собой. Люди не чувствуют, что смогут жить в полную силу. Уж больно давно начали уничтожать деревню, её дух. И чтобы сохраниться, нужны сосредоточенность и «тихое мужество»! Такое, каким обладают наши уважаемые авторы.

Вот какие мысли возникли у меня при чтении книг моих земляков-нефтегорцев. Таких разных и таких единых по своей сути.

Мои несуразные опыты

Вспомнилось давнее ученическое время, когда как бы само собой безотчетно начал писать четверостишия. Возникали они у меня неожиданно, где угодно и когда угодно.

И совсем, казалось, содержанием своим не соответствовали тому, чем я был занят в момент их появления.

Такие, к примеру:

*Бывает, и пива стакан
Скучнее простой газировки.
Нам жизнь украшает обман.
Все дело порой — в дозировке!*

Или:

*Если порочные люди помрут,
Сгинет и лжец, и завистливый плут?
Скука какая вокруг воцарится!
Ну, и куда это дело годится?!*

Они пришли в голову, когда глубокой осенью на даче я рубил и таскал в погребницу мерзлые кочешки капусты.

Торопливо отыскав обрывок газеты, тут же подвернувшемся сломанным, непослушным карандашом на полях записал их.

Нечто похожее было и с другими подобными стихами, которых потом накопилось около двухсот. Они сохранились только благодаря тому, что я взял в привычку постоянно носить с собой крохотную записную книжку и авторучку.

Набралось их на целый сборник. Самарский писатель и издатель Г. охладил мой пыл:

— Зачем вам это? Не ваше! Тоже Омар Хайям! Если уж пишутся, то пусть это будет, как гимнастика ума. Некий тренинг в домашних условиях.

Я был почти согласен с ним. Но многим, кому читал их, они нравились. А раз нравятся, может?..

И тут появилась возможность развеять сомнения. В город к нам приехала известная писательница. Не долго думая, я решил показать стихи ей. Отобрал два своих и добавил к ним наугад два четверостишия великого Иоганна Вольфганга Гете. Все стихи представил, как свои. В какой-то момент стало страшно: вдруг она знает стихи великого поэта. Что тогда? Конфуз!

Её реакция была такой же, как у моего самарского коллеги:

— К чему все это? Несерьёзно. Я читала вашу прозу. Очень неплохо. Я бы сказала, неожиданно хорошо. А это, — она переби- рала листочки, которые я ей принёс. — Ну разве вот эти два, — она положила мои стихи перед собой на журнальном столике, — в них ещё можно отыскать признак поэзии... Если днем, с огнем... А эти... — она держала на маленькой сухонькой ладошке два листочка со стихами Гёте, — эти вовсе никуда не годятся. Не тратьте себя попусту.

Я молчал. Не знал: признаваться в подлоге или нет? Решил промолчать. Соображал, чего больше в случившемся. Мне попался неудачный перевод Гете или в такой степени писательница субъективна.

Радости за свои стихи не было. Было подтверждение моей нехитрой, но важной тогда для меня догадки, что восприятие, мнение талантливых людей порой очень субъективны и категоричны, в том числе это касается и стихов. Тем более когда под ними нет имени признанного мастера. Хотя для меня понятие «мастер» уже и тогда применительно к поэзии казалось сомнительным.

...Позже, когда моя проза, две повести вышли отдельной книжкой, писательница поздравила меня одной из первых.

* * *

Стихи писать я потихоньку продолжал. И не только четверостишия.

В Переделкино, в гостях у писателя, давно как бы причисленного к разряду, скажем так, близкому к классикам, я прочёл за столом одно из своих стихотворений, которое начинается словами: «Матица с крюком над зыбкой скрипела».

Хозяин дома стихотворение дослушал до конца, ни похвалив, ни поругав. Только обронил уверенно:

— Матица над зыбкой не скрипит.

Я опешил:

— Скрипит. У меня сестры намного моложе меня. Я качал их в зыбке.

— У нас тоже на крюке, вбитом в потолочную балку, висела зыбка. Она не скрипела. Не придумывайте.

«Может, у них на Севере матицу делают из толстых бревен, сосновых, — пустился я мысленно в рассуждения. У нас лесостепь: осина да ветла, изредка тополь. Даже дом мой дед срубил из чернолесья». Мысли мои путались: мне не хотелось себя оправдывать, доказывать, что я прав. Мне важнее было — для себя оправдать ошибочное утверждение уважаемого мной старшего собрата по перу.

Я не мог ошибиться: матица скрипела. Хорошо помню, как появился в нашей избе потолок. Его у нас в старом доме не было. Над головой тогда темнела соломенная крыша. Когда новую избу строили, мы с отцом двуручным рубанком обработали длинную ровную осину, она и легла обоими своими концами на саманные стены. «И потом, скрип мог идти от крюка, висевшего на петле. Не обязательно от самой матицы», — путался я в мыслях, всё ещё пытаясь оправдать категоричность собеседника. «Неужели не скрипела? И всё это только в моём воображении так зазвучало через четыре десятка с лишком лет? Так зазвучало пережитое?» — пытал я себя.

Стихотворение, из которого была эта строка, давно уже стало песней. Песня попала в репертуар нашей областной филармонии. И вдруг такое: «Не скрипела».

Вернувшись из столицы в Самару, поехал я в отцовский дом, в село. Нашел в заброшенной мастерской похожее кольцо, привязал к нему веревку. К веревке с другого конца приспособил сработанную когда-то ещё отцом тяжёлую табуретку. Набросил кольцо на мирно дремавший около полувека под потолком крюк. Тронул немудрёную конструкцию рукой, как когда-то давным-давно в детстве. И невольно подумал: мои-то ребята, сын и дочка, могли бы тоже оказаться в своё время в зыбке. Но так получилось: выросли в городе... Едва зыбка качнулась, прогонистая матица вздрогнула. Очнулась от долго сна. И — заскрипела! Нет, она запела! Всё было, как в моём стихотворении.

Всё было, как в детстве. Изба ожила! Казалось, в ней стало светлее и уютнее. Я невольно прикрыл глаза. И поплыли передо

мной самые дорогие, самые радостные картины из моей жизни — денёчки моего детства. Потом пошли голоса, родные и такие далёкие. Чей-то, едва уловимый уже голос, запел песню. То ли мама пела, то ли бабушка моя...

При следующей встрече я не стал рассказывать мастеровитому писателю о своём странном опыте. Зачем? У него было своё детство, у меня — своё. Оно было только моё. Такое, без которого, оказывается, я себя и не мыслил...

Рыжая и красивая

На встрече со студентами одна девочка меня спросила:

— Скажите, как долго вы пишете рассказ или стихотворение?

Я ответил, что по-разному. Когда как.

Шагая домой, продолжал думать об этом её вопросе.

Стихотворение «Школа», ставшее песней, я написал в больничной палате ночью, среди стонавших после операций больных, на клочке бумаги, нашарив в полутьме на тумбочке карандаш. На всё ушло не более получаса. Теперь оно стало песней и её поют.

Лет тридцать назад, шагая по одной из Бакинских улиц, увидел стайку подростков, убежавших вдоль забора. Подошёл. Ткнувшись мордочкой к темной доске, лежал жёлтенький котёнок, совсем маленький. Рыжая его, празднично чистая шёрстка и кровь, идущая из носа, так не подходили друг к другу. Ноги котёнка ещё дергались, но он был уже мёртв. Рядом лежал величиной с кулак камень.

Выражение мордочки котенка было так трогательно, мило, что брала оторопь. Это несоответствие не выходило из головы.

Вернувшись в общежитие, попробовал тут же начать писать рассказ. Не получилось.

Не получалось и потом. Каждый раз выходило не то. И только через тридцать лет я написал повесть «Сергейч и Сима», о кошке. Она у меня там рыжая и красивая. Сима!

Я, кажется, понял, почему раньше не писалось. Мне не хотелось верить, во мне всё протестовало против смерти кошки.

В моей повести Сима не только выжила, но и спасла жизнь человеку. Как это и случилось на самом деле. Только это была другая кошка...

Лучик света

Попалась на глаза давнишнее письмо одного из моих знакомых. Он — бывший преподаватель сельскохозяйственного института. Зовут его Николай Николаевич Краснов. В этом письме есть некоторые подробности, кажется, совсем незаметного дела. Скорее всего, они житейские.

Николай Николаевич пишет, что послал мои книги своему давнему другу из Кинеля в Барнаул. Тот прочитал и написал ему в ответном письме о прочитанном.

Краснов переслал это письмо мне.

Один человек по велению сердца посылает другому чуть не на край света понравившиеся книги, другой — читает их и пересылает назад владельцу. Все это они делают на свои пенсионные гроши. От души и для души: «Коля, высылаю посылку с книгами, которые ты просил вернуть. Большое спасибо за них. Высылаю и деньги, потраченные тобою при отправлении книг.

С А. Малиновским расстаюсь, как с родным братом, близким мне по духу, по отношению ко всему, что окружает нас, что с нами и нашей страной происходит. Как-будто он читал мои мысли и изложил их в своих сочинениях, изложил великолепно, талантливо, как настоящий русский писатель».

Так пишет Николаю Николаевичу его друг.

О моих книжках высказывались многие. В том числе и профессиональные литераторы.

Но такое дорого особенно.

И пусть сейчас нет больших тиражей книг, какие были прежде...

...Есть вот такие благодарные читатели. Это ли не отрада для пишущего?!

И что проку от книг, изданных огромным тиражом и пылящихся на полках?

Тронули своей проникновенной задушевностью последние строчки письма, совсем уж не касающиеся меня лично:

«Коля, у нас весна наступает полным ходом. Ручьи льют уже и за городом. В воскресенье, дочитав книги, не без труда добрался в ботинках на дачу. Две яблони погрызли мыши, так как я не обтоптал вокруг них снег зимой. Он оказался рыхлым.

Коля, дожили до весны! Поживём ещё! Надо бы пожить!»

...Мысли незнакомого мне человека о России, о моих книгах, в одном ряду с весной, с яблонями, с рыхлым весенним снегом...

Со всем тем, что называется жизнью... С неистребимым желанием жить...

Это ли не замечательно!

РЫНОК

Идёт самый разгар моей встречи с читателями. Вопросов немало.

И вдруг такой:

— Как вы всё успеваете? И литература, и наука, — это произносит дама, сидевшая до того молчаливо у окна.

— Да, так? — развожу руками...

Продолжить не успеваю, она опережает:

— А когда вы защитили диссертацию?

Я, не понимая подоплёки вопроса, ответил:

— В 1984 году.

— Тогда ещё... Это другое дело. Мой сосед по даче — в 2005 году, — она сделала паузу, — купил. И не скрывает этого. Ещё хвалится, что недорого. Дружок его дорожке заплатил... Рынок.

— Может, он дурака валяет. Ничего и не покупал вовсе? Бравада такая, — говорю я.

В углу откликнулся на мою фразу долговязый парень:

— В нашем районе, когда шли выборы главы и остались всего два претендента, борьба обострилась. Кому-то в голову пришла мысль проверить подлинность диплома о высшем образовании одного из кандидатов. Уж больно лексикон у него не тот. Сделали запрос в отдел кадров института. Оказалось, что специалист он «липовый». Не учился он в институте совсем.

— Нарочно выискиваете такие случаи? Чтобы забить голову писателю? — решила заступиться за меня соседка долговязого.

— Это ещё зачем? — басит парень. — Фальшивые лидеры. Их вокруг сейчас столько!.. Продыху нет. Жизнь наполовину фальшивая. Рыночная. Кто кого надурит...

Не сразу разговор вернулся к литературе. Что поделать, жизнь первична... Но... Стыдно за неё, такую...

День рождения моей мамы

21 августа 1918 года. Эта дата волнует меня с детства. Я слышал о событиях того дня от нескольких своих односельчан. Через полгода исполнится девяносто лет с тех пор. Память вновь встревожена.

В детстве этот день в моём восприятии был покрыт дымкой революционной романтики. Как же! Противоборство белых и красных! И где! У нас, в нашем селе. На наших улицах.

Позже захотелось знать подробности. Как все было?

А, повзрослев и узнав кое-что, и поняв, ужаснулся жестокости, которую творили люди.

Теперь я не могу назвать вершившееся в те дни и годы как-то иначе, нежели самоистреблением.

Были, были и пособники, может, вернее сказать, дирижёры этого самоистребления. Об этом в другой раз...

Вот как рассказывал о разыгравшейся трагедии утёвский краевед Пётр Дмитриевич Лупаев:

«Стояло позднее лето 1918 года. Вода в Ключевом озере была уже довольно холодной. Мальчишеской ватагой после купания, порядочно продрогшие, мы шли в свою Чернышевку (теперь улица Крестьянская). Вдруг со стороны старой церкви послышались недружные выстрелы. Что они значили, мы сразу не поняли...

Несколько позже узнали, что карательный отряд белогвардейцев расстрелял двух наших. Мы всполошились и, встревоженные страшной вестью, помчались к базарной площади.

...Вот и это место: на сухом дне Утёвочки. у конопляников два тёмных пятна — кровь уже впиталась в землю — и розовые кусочки мозга. Тела погибших были уже убраны. Подходили мужчины и женщины, молча осматривали место недавней трагедии и расходились. Люди были потрясены».

Этот зверский расстрел явился прямым продолжением событий, происходивших в Самаре.

Действовавший подпольно в Самаре Комитет членов Учредительного собрания (КомУч), в начале июня с захватом города чехословацким корпусом легализовался и объявил себя верховной властью.

Была восстановлена дореволюционная система местных органов самоуправления, в число которых входили губернские, уездные и волостные земства, губернские и городские думы.

В окрестных сёлах начался набор молодежи 1897 и 1898 годов рождения в «народную» армию.

Землю начали возвращать прежним хозяевам.

Но идти в армию учредиловки было мало желающих. И землю крестьяне возвращать не хотели.

Петр Дмитриевич Лупаев так писал со слов односельчанина Ивана Дмитриевича Загвоздкина:

«В начале 1918 года в Утёвке были две политические группы. Во-первых, это группа сочувствующих большевикам. Её возглавлял Петр Семёнович Игольников — сельский слесарь-жестянщик, бывший балтийский матрос, примкнувший к большевикам ещё до 1917 года. Активистами были Григорий Гаврилович Перов — бедняк, Артем Иванович Кирсанов — середняк, Иван Степанович Савин — тоже середняк, Александр Иванович Блохин, Федор Иванович Пудовкин и другие. Техническим секретарем был Иван Харитонович Чекуров — бедняк.

В другую группу входили сторонники Учредительного собрания. Они ратовали за частную собственность на землю. Её возглавляли торговец мануфактурой Василий Кириллович Колебанов и Ефим Филиппович Печёнов — владелец земельного участка в тысячу десятин в «Колках», на реке Ветлянке. К ним примыкали Василий Ксенофонович Орехов — лавочник, Василий Степанович Першин. Всего человек пятнадцать из зажиточной верхушки села».

В те села, где отказывались служить, из Самары посылались каратели.

В ответ создавались отряды сопротивления. Одним из самых активно был создан в селе Домашка. В Утёвке отряд возглавил Петр Семенович Игольников.

Самарское правительство КомУча, которое называло себя социалистическим, быстро пало, будучи не в состоянии урегулировать непримиримые социальные противоречия между разными слоями населения того бурного времени. Но кровавый след оставило и оно.

Каратели Утёвку не занимали, производили внезапные налёты.

Я намеренно приведу подробное описание последующих событий в моём селе, сделанное Петром Дмитриевичем. Они стоят того. Он их записал со слов очевидцев тех событий. Что может быть дороже?

«В августе Ефим Печёнов и Василий Першин поехали в с. Богатое и доложили начальнику карательного отряда, что в Утёвке в «народную» армию никто не идёт, молодежь прячется в лесу и на гумнах. Они также передали список утёвских активистов. 20-го августа в наше село прибыл карательный отряд (около 20 человек), состоящий из русских. (Сынков зажиточных крестьян).

Начались аресты и порки. Пришли к Чекурову Ивану. Он сказал, что в состав группы сочувствующих не входит, а только, как человек грамотный, вёл списки и протоколы. Бумаги у него отобрали, а самого не тронули.

Василий Пудовкин был комиссаром Погроминского сельскохозяйственного училища. Домой прибыл временно. Его арестовали, когда он во дворе чинил веялку.

Семён Михайлович Проживин работал председателем Утёвского волисполкома. Сеял хлеб. В этот трагический день его дома не было. Он с женой на своей лошади ездил в поле за розвязью (скошенной пшеницей). Каратели заставили сопровождать их его 12-летнюю дочь Пашу.

За селом, около больницы, встретили Семёна Михайловича с женой. Его арестовали и посадили с собой в фургон. Проживин попросил заехать к нему домой, чтобы искупаться после полевой работы.

Заехали. Конвоиры зашли в избу и закурили, а хозяин, с бельем под мышкой и ведром воды, пошёл в сарай. Семён мог бы убежать, но не оценил всей опасности — о плохом не думал. Его увезли и посадили в мазанку во дворе Владимира Пирожкова, к другим арестованным.

За Иваном Степановичем Савиным тоже приходили, но его дома не было — уезжал с сыном в поле за розвязью. Каратели ушли.

Федор Иванович Пудовкин успел скрыться в лесу. Каратели повели туда его жену Любовь Григорьевну и, угрожая плетью, заставляли кричать — звать мужа. А муж её в то время лежал под камышовым наносом, слышал, как белогвардейцы издевались над его женой. Его так и не нашли.

На другой день, 21 августа, Василия Пудовкина и Семена Проживина повели через Курочкин переулочек к речке. Их поддерживали под руки, они качались и едва волочили ноги. Там их и расстреляли.

Каратели потом ещё два дня шныряли по дворам — искали сторонников Советской власти. Других арестованных по очереди выводили из мазанки, привязывали к скамье и секли плетью. Были пороты Дмитрий Трайкин — бедняк, Илья Макеев — зажиточный, активист, С.Г. Таликин. Жена Федора Пудовкина была беременна. У неё после порки случились преждевременные роды. Всего выпорото было 17 человек.

Утёвские активисты в бой с карателями не вступили — слишком неравны были силы. Петр Игольников со своей берданкой степью ушёл в Домашку, к партизанам. Те прятались в лесу за Самаркой. Он прибыл в отряд 13-м. Григорий Перов отправился туда же другим берегом Самарки, лесом. Другие активисты попыта-

лись на гумнах, в ометах и иных укромных местах. На пятые сутки каратели выбыли в Покровку».

Сохранилось описание расправы в Утёвке, сделанное агитатором КомУча В.Кодаковым:

«...Сегодня на станции Богатое я встретил председателя и секретаря Утёвской волостной земской управы и выслушал печальный рассказ о действиях карательного отряда под командой капитана Бельских.

...Подробности расстрела, по словам очевидцев, отличались небывалой жестокостью. Так, например, труп Василия Пудовкина был изуродован: голова разбита, с вытекшим глазом, спина, бока носят явные следы ударов прикладом, руки до плеч буквально представляли кусок мяса с ободранной кожей. Кроме того, на спине имелись две-три колотые штыковые раны.

Характерное поведение добровольцев отряда: при обыске в квартире В. Пудовкина были найдены две сорокарублёвки-«керенки», которые были взяты со словами: «Комиссары много награбили». Взято охотничье дробовое ружьё...

В. Пудовкина хоронили за счет родных. Остались жена, 82-летняя мать и пятеро детей (старшей дочери 14 лет). Семья осталась без средств. По словам рассказчиков, все население с. Утёвки считает расстрелянных невинно пострадавшими».

Зверствовали каратели и в соседних селах.

Сотрудник аппарата КомУча В. Шемякин составил сообщение о том, как другой мобилизационный отряд побывал в селе Богатое: «...19 августа вечером и в особенности 20-го утром на глазах многочисленной публики клали лицом вниз на специально разостланный для этой цели брезент и по решению военно-полевого суда «вкладывали» 20-25 ударов нагайкой. Били казаки, и били так, что некоторые из наказанных после этого не могли сразу встать, а, встав, шли, качаясь, как пьяные. Били молодых парней, пожилых рабочих и крестьян, били женщин, которые уже, кажется, не могли бы иметь никакого отношения к призыву новобранцев...»

Досталось и доносчикам.

Василий Першин отступил с чехословаками. После скрывался у односельчан в городе Уральске. Там был обнаружен и расстрелян.

Василий Колебанов сбежал в Самару, но и там не ушёл от суда.

Не было борьбы в те августовские дни восемнадцатого года. Было убийство. Истребление русского народа. Самоистребление.

«...И розовые кусочки мозга в пыли на сухом дне речки Утевочки, у конопляника...»

Неужто такое замутнение может ещё повториться?! Так, чтоб мозги... в ПЫЛЬ...

* * *

Под винтовочные выстрелы на задах хозяйка самой ближней бревенчатой избы Груня Рябцева разродилась девочкой, которую потом назовут Катей.

Прибывшие в тот день в избу по доносу двое из того самого карательного отряда произвели обыск. Искали хозяина дома Ивана Рябцева, который сбежал из Самары, не желая служить у белых.

Об этом я писал в одной из моих повестей.

В ней беглый солдат Иван Головачёв — мой дед Иван Рябцев.

Груня — моя бабушка, а новорожденная Катерина — моя мама.

* * *

Мне интересна была дальнейшая судьба Петра Игольникова, ушедшего с берданкой степью в Домашку.

И вот недавно удалось из воспоминаний его внука узнать некоторое подробности жизни первого в Утёвке председателя волостного революционного комитета Петра Семёновича Игольникова.

Родился Игольников в 19881 году. До призыва на царскую службу батрачил в селе.

То ли за смуглое, скуластое лицо, то ли за силу и стойкость в кулачных боях, прозвали его «Чугуном». И пошло: жена Екатерина Ивановна — «чугуниха», дети — «чугунята».

Призвали Чугуна в армию на Балтийский флот, служил в Кронштадте.

Там он принимает участие в подпольной работе. После событий 1905 года заносится в списки неблагонадёжных и его списывают со службы.

Вернувшись в родное село, снова батрачит.

Занимается слесарным делом, был и жестянщиком.

На утёвские базары вывозил вёдра, чайники, замки. Там же принимал заказы на ремонт.

Началась первая мировая война и его призывают в стройбат на строительство Мурманской железной дороги. Там он пробыл до октября 1917 года.

Вернувшись в Утёвку, вместе с односельчанами К.А. Лобачёвым, И.А. Загородниковым, П.И. Аверкиным, М.Н. Кочетовым организует в Утёвке волостной революционный комитет.

...Избежав тогда, в августе двадцатого года, расправы, Пётр Игольников прибыл в партизанский отряд, который был организован старым большевиком из села Домашка Фёдором Прохоровичем Антоновым и бывшим офицером царской гвардии Сергеем Васильевичем Соколом.

Есть свидетельства, что отряд спешно выступил в село и вышиб карателей.

С приходом Красной Армии партизанский отряд вливается в 1-ую Самарскую дивизию (ставшую потом 25-ой Чапаевской) и становится самостоятельным 219-м Домашкинским полком.

За бой под станцией Умёт-Грязный Пётр Игольников был награждён орденом Боевого Красного Знамени.

Известно, как он погиб. Об этом есть воспоминания комбрига Занина.

После ранения комбат-2 Пётр Игольников нуждался в лечении. Его назначают комендантом Богатинского укрепрайона. Там он активно организует Советскую власть на местах, создаёт партийки, открывает клубы, школы.

Борется с остатками контрреволюционных отрядов.

В марте 1920 года при возвращении из Гурьева, его подкараулили и зарубили саблями...

И там, вдали от Утёвки, лилась кровь людская, как водица. С обеих сторон.

Такие лихие годы.

Маэстро

Он с первой встречи стал говорить мне «ты». Сначала это меня удивило, но потом я понял: он такой, по-другому не может. Многие замечали: если человек ему симпатичен, он сразу переходил на «ты».

В нём было нечто широкое и огромное. Недаром в его квартире самая большая комната, где стоял рояль, всеми своими окнами выходила на Волгу. И с высоты четвёртого этажа, когда я подходил к окну, великая река с её дальними плёсами и Жигулями растворяла в себе. Его рояль казался большой птицей, парившей над Волгой.

Он был истинный волжанин по духу своему. Обладал бесценным даром доброты и сердечности.

Эти мои размышления о гордости нашей Самары — Гиларии Валерьевиче Беляеве — человеку, сделавшем очень много добрых дел для нашего города.

Как вырастают мастера?

Конечно, росток идёт от зёрнышка, и это зёрнышко — талант! Но сколько нужно вложить труда и упорства!.. Когда соприкасаешься с конкретной судьбой, в который раз невольно думаешь об этом.

Родился наш замечательный земляк 9 января 1931 года.

Семья жила скромно. Отец Валерий Аркадьевич был строитель. Мать занималась домом и воспитывала двоих детей. Имена детям выбирал отец. Гиларий в переводе с греческого означает «весёлый».

Едва минул год после рождения Гилария, отец умер от сыпного тифа. Профессии у матери не было. Как жить?

Заботы о семье взяли на себя её сестра Елизавета Ивановна Ситнова, состоявшая первым хормейстером ансамбля песни и пляски Приволжского военного округа, и её отец Иван Иванович, известный в тогдашней Самаре закройщик. Одежду у него шили многие известные в городе люди.

В 1941 году, получив домашнее музыкальное образование, Геля поступает в музыкальную школу, которая была недалеко от ТЮЗа на Самарской улице. Жил он тогда в районе улицы Николая Панова. Транспорт в те годы туда не ходил. Так он и учился: в шесть — подъём, в семь выходил из дома, преодолевая несколько километров пешком, и в восемь часов был в музыкальной школе. После обеда шёл в общеобразовательную.

В 1947-м году после восьмого класса поступил в музыкальное училище. Одновременно с училищем закончил и школу рабочей молодёжи. Получил аттестат о среднем образовании.

В музыкальном училище учился с той же самоотдачей, с какой много лет спустя будет передавать своё умение многочисленным ученикам. А учиться ему было у кого. И он этого не упустил.

Теоретические предметы преподавал Алексей Васильевич Фере, дирижирование вёл Марк Викторович Блюмин, фортепиано Александр Давидович Франк. Это известнейшие мастера в Самаре, люди высочайшей культуры.

В музыкальном училище Беляев получил три специальности: фортепиано, теория и практика дирижирования.

Жизненный путь был определён. Впереди — Московская консерватория.

Подрабатывал вечерами — руководил самодеятельными коллективами в Доме Офицеров и военном госпитале. Накопив денег, купил себе костюм, ботинки и отправился в Москву.

В семейном архиве Беляевых хранится фотография, на которой паренёк-волжанин запечатлён с большим чемоданом и узлом с постелью. Сколько таких паренёчков в своё время ушло из российских сёл и провинциальных городов в многошумные столицы. Многие ли потом вернулись? А он вернётся, да в каком качестве!

Но об этом чуть позже...

Таких сведений о жизни моего замечательного земляка я, конечно, во время знакомства с ним не имел. Он не рассказывал, а мне говорить на эту тему не приходило в голову. Это потом, когда его не стало, от его дочерей, коллег, знакомых я узнавал такие подробности.

Мы так порой бываем непростительно близоруки!..

* * *

Экзамены в Московскую консерваторию! Без волнений не обошлось. Ещё бы, ведь поступал одновременно с Родионом Щедриным, про которого уже тогда говорили: «Это наше будущее!»

Первый экзамен, дирижирование, волжанин сдал на пять с плюсом. И далее в экзаменационном листе его начали выстраиваться одни пятёрки.

Так Гиларий Валерьевич стал студентом Московской консерватории по классу хорового дирижирования у профессора В.Г. Соколова. Учёбу закончил с красным дипломом. Но он был верен себе. Освоил параллельно и другую профессию — дирижер симфонического оркестра.

Есть особая привлекательность в людях, судьба которых связана с рождения их и всей последующей жизнью с местом, где они появились на свет, с Отчиной. Таков был Гиларий Беляев.

* * *

Я так жалею, что был знаком с ним всего несколько лет. Наше дружеское сближение произошло, я бы сказал, спонтанно.

Познакомил нас неумолимый Геннадий Дмитриевич Матюхин — председатель межрегионального Центра Василия Шукшина, в недавнем прошлом артист Самарского драматического театра.

Поехали мы с ним однажды в Утёвку. И обнаружилось, что местный хор гастролирует по окрестным селам и в его репертуаре

несколько песен, написанных на мои стихи. Автор песен — художественный руководитель Дома Культуры Василий Першин.

Потом в Новокуйбышевске самодеятельный композитор, майор в отставке Николай Падуков приехал ко мне в гости с баяном и исполнил сразу три песни. Самарский музыкант Марк Левянт написал песню на мои стихи «Школа», ставшую своего рода гимном абитуриентов. Геннадий Дмитриевич, когда песен накопилось около полутора десятка, загорелся издать сборник.

Для меня всё это было неожиданно и непривычно. Я никогда и немышлял, в голову не приходило, что мои стихи могут запеть.

Довольно крепко сомневаясь в затеваемом, поставил непрременное условие, что песни будут показаны кому-то из серьезных музыкантов. Только после необходимой проверки и доработки можно будет говорить о дальнейшем.

Геннадий Дмитриевич обратился за помощью к Гиларию Валерьевичу, оказывается, они давно были знакомы.

Вскоре я впервые оказался у Гилария Валерьевича в гостях.

Я, конечно же, и раньше знал его. Видел, бывал на концертах. Но это на расстоянии. А теперь я наблюдал этого высокого, красивого человека рядом. И никакой звёздности, ни капли позы или рисовки.

Чуть позже, потом, я узнал, как неустанно он работает. И это мне объяснило многое. Людям, отмеченным даром труженика не до самолюбования. Мне говорили, что он всегда был таким, и в молодые годы.

А закружиться голове, казалось бы, были причины уже тогда.

После окончания консерватории ему единственному досталась столь престижная должность: дирижер Ансамбля песни и пляски Северной группы войск в Польше.

Пять лет он проработал в Легнице. Два раза в году — творческие отчеты-концерты в Варшаве. Там, в Польше, он и женился. Его женой стала Майя — солистка ансамбля танцев народов мира под руководством Игоря Моисеева.

Пять лет работы в Польше пролетели. Необходимо было возвращаться в Советский Союз. Куда конкретно? Решено было на родину, туда, откуда всё и начиналось — в Самару.

Он вернулся в родной город и встал за пульт оркестра тогда Куйбышевского театра оперы и балета. Первым его спектаклем был балет «Лебединое озеро». Трудно представить: с тех пор Гиларий Валерьевич провел его 250 раз!

Потом в его репертуаре было около сорока названий опер, оперетт, балетов. Среди них такие партитуры как опера «Евгений

Онегин», все балеты П. Чайковского, «Семь красавиц» и «Тропою грома» Кара Караева, «Каменный цветок», «Золушка» С. Прокофьева и многие другие.

Мне не раз говорили, что зрители шли в театр не столько посмотреть балет, сколько послушать любимую музыку, когда за пультом: Беляев.

С 1979 по 1981 год мастер работал профессором Высшего института искусств и одновременно дирижером Большого Гаванского Театра имени Ф.Г. Лорки. Наши соотечественники, бывшие в те годы на Кубе, рассказывали, как после премьер и просто спектаклей «Лючии де Ламермур» Г. Доницетти и «Риголетто» Дж. Верди восхищенные гаванцы выносили на руках Маэстро Беляева.

Тогда же на Кубе ему предложили записать русскую музыку с хоровым коллективом радио и телевидения Гаваны.

...Дела с обработкой песен для сборника шли, удивительно для меня, плодотворно. И что меня поражало, едва ли не к каждому моему приходу к нему, он показывал мне новую, написанную на мои стихи, песню. Так он написал восемь песен.

Потом я познакомился на его квартире и в рабочем кабинете в филармонии с певицами Раисой Гладковой, Аллой Азановой, Марией Кургановой, которые стали первыми исполнительницами этих песен.

Вокруг него почти всегда были люди. Он постоянно кому-то чего-то делал, советовал, говорил. И всё не спеша, без суеты, по-домашнему. Во всём была некая матёрость. Мягкая поступь огромного существа.

В одну из наших встреч у него дома, он посетовал:

— Вот, понимаешь, есть у меня хорошая мелодия новогодней песни. Но слова мне не нравятся. Может попробуешь?

— Гиларий Валерьевич, я вам говорил, что вообще никогда не писал тексты для песен. То, что этот сборник получился, это какое-то... наваждение... — я искал подходящее слово, — а тут писать слова под готовую музыку?..

Будто не замечая моего замешательства, он добродушно указал на диванчик:

— Сядь и послушай...

Когда он был уже за роялем, я сделал ещё попытку уйти от сомнительной затеи:

— С моим-то слухом?.. Я...

Он словно не слышал меня.

Когда полились звуки, я был в смятении. Мне казалось, что я не улавливаю чего-то самого главного, и меня ждет конфуз. Прямо здесь, сейчас. Я не повторю мелодию, если он попросит.

Звуки умолкли, он спросил:

— Может, что-то ещё раз?

«Зачем? — мысленно ужаснулся я. — Мне хоть десять раз... всё один результат будет!»

— Нет, не надо, — поторопился я с ответом.

И ответив так, совсем упал духом: «Он понял, что я в музыке не способен ни к чему. Он это видит! Стихи мои запели по недо-разумению...»

— Ладно, — согласился Маэстро. — не надо, так не надо... Походи, подумай, если что возникнет, позвони — встретимся. Пони-маешь: через неделю еду в Москву, хорошо бы внукам привезти новую песню.

Закрывая за мной дверь и добродушно глядя на меня с высоты своего солидного роста, обронил:

— Не забудь про слова...

Ничего себе: «Не забудь!»

Я готов был искать слова. Но другие, те, которыми буду объяс-нять свою полную несостоятельность в затеянном.

Когда вышел на улицу, спохватился: «Надо хотя бы непонра-вившиеся ему стихи взять с собой, по их ритму вышел бы глядишь как-нибудь на мелодию».

Он словно закодировал меня. Я пришёл от него поздним вече-ром. Ночью спал плохо. Утром мне захотелось выйти на набереж-ную, к Волге. Прохожих не замечал. Их, кажется, и не было. Меня что-то толкало изнутри. Я не мог стоять на месте.

Успокаивала, вернее, давала какой-то ритм, ходьба. Я пони-мал, что ночью в моём сознании свершилась какая-то таинствен-ная работа.

Хрустел свежий снег под ногами, веяло ландышевой прохла-дой, и на душе было смутное ожидание восторга. Я не мог понять, откуда это исходило.

Как наяву увидел в большой светлой комнате с роялем посере-дине неё, пожилого, с незащищенностью ребенка, мудрого её хо-зяина, новогоднюю елку, шумную беззаботную ребятню, и... что-то случилось во мне.

Возникла мелодия. Не сразу, вместе со словами. Но так сво-бодно, легко и напевно. Мелодия звала за собой слова. «Но та ли это мелодия?» Я был неопытен в подобных делах.

Мелодия бывала и раньше, когда сочинялись стихи. Это я только позже понял осознанно. Сейчас-то должна быть чужая мелодия... Но она стала и моей...

Я путался в мыслях.

...Вечером позвонил Гиларию Валерьевичу и сказал, что стихи готовы.

Он бесцветным голосом пригласил к себе.

«Не верит», — решил я. И я бы не поверил, что неплохие стихи можно так быстро написать, по заказу...

Маэстро развернул поданный мной листок со словами, прочел молча. С очень серьёзным лицом, сел за рояль. Не останавливаясь, не сбиваясь, проиграл от начала до конца. Губы его шевелились в такт мелодии.

— Полное попадание. Но какие слова! — произнёс он еле слышно. — И снова начал играть.

Он с трудом говорил после операции на горле. Прошептал с хрипотцой:

— Разве может такое быть?

Я развёл руками. Не знал, как это всё объяснить. И можно ли объяснить?!

Подошёл к широкому окну. В глаза мне тотчас хлынула волжская синь!

В необъятном просторе было море света. Появившееся из-за туч солнце освещало ту часть Волги, которая катила свои волны мимо Жигулей, Царёва Кургана, села Ширяево. Всё на глазах преобразалось, оживало своими осенними красками.

Солнечного света становилось всё больше и больше, полосой он пошёл вниз по течению величавой реки, туда, где еле угадывалось село Шелехметь, далее — к Васильевским островам...

Словно кто-то всемогущий, раздвигая гигантские шторы, тоже смотрел сверху вниз. Любовался божественной красотой.

— Что так внимательно смотришь? — прозвучало за спиной.

— Да, так, — смутился я.

И больше ничего не сказал. Словно боялся посторонним словом нарушить увиденное.

Гиларий Валерьевич тоже молчал. Запомнился его взгляд. И потом я не раз видел его таким в общении с другими: он благоговел перед творческой удачей.

Стихотворение «Новогоднее» потом входило во все мои сборники. Я не обольщаюсь его художественными данными. Оно доро-

го мне историей своего появления. Такова была магия душевного таланта Маэстро.

...Конечно же, то, что в Самаре не иссякает интерес к хорошему пению, большая заслуга и Гилария Валерьевича. Он знал изнутри художественные интересы и запросы самарцев. Но он не только отвечал им, он как мудрый педагог готовил слушательскую аудиторию на многие годы вперед. Он воспитывал музыкальный вкус её.

Приехавший в Самару на фестиваль «Композитор и фольклор» эстонский композитор Вельо Тормис, послушав выступления хоровых коллективов, удивился:

— Для нас, прибалтов, слово «хор» — весомо и зримо. Никогда не думал, что с таким же представлением о хоровой культуре я встречу в Самаре.

По примеру Д.Б. Кабалева, Беляев двадцать лет руководил хором гимназии №11 в Самаре. Он любил хоровое пение. Когда работал на Кубе, в его ведении в Гаване только взрослых хоров было шесть: Высшего института искусств и Национальной школы искусств, любительский хор районного Дома культуры, хор Кубинского радио и телевидения, хор Гаванской оперы и Государственный хор.

В Самаре как дирижер и режиссер-постановщик он руководил фестивалями и концертами многочисленных детских коллективов.

Гиларий Беляев подготовил к изданию сборник приложений популярных произведений для детского хора, ансамбля и солистов.

Только хоровых аранжировок и обработок у Гилария Беляева свыше трёхсот.

И конечно же восхищает Гиларий Беляев — пианист. Репертуар его включал и русскую классическую музыку, и современную, произведения зарубежных композиторов и сочинения самарских композиторов.

Окинем мысленно взглядом хотя бы несколько его программ: «Музыкальный салон XIX века: вечер русского романса», «Музыкальная гостиная «Оперетта, оперетта, оперетта!», «Праздничный концерт в Хрустальном фойе филармонии», посвященный Исааку Дунаевскому, камерный концерт из произведений Георгия Свиридова, вечер памяти Дмитрия Сергеевича Лихачева, на котором он исполнял произведения Рахманинова, Шопена, Баха, и конечно любимейшего им Моцарта. Программа «День памяти Василия Шукшина».

Какие все имена!

«Бывают пианисты, которые порабощают рояль. Бывают такие, которые становятся его рабом, третьи вступают с ним в дружеские отношения. Гиларий Валерьевич сразу заключал рояль в свои объятия, и в этом великом акте любви все получали самое высокое наслаждение», — так отзывался об игре самарского пианиста наш земляк: врач, писатель Георгий Ратнер.

Увлечённость — одна из замечательнейших черт талантливых людей. Почти на протяжении пятнадцати лет: с начала шестидесятых и до середины семидесятых прошлого века Маэстро работал со сборной Советского Союза по художественной гимнастике пианистом-аккомпаниатором.

А увлёк друг, заслуженный артист Самарского театра оперы и балета и заслуженный тренер СССР Виктор Сергеев, солист Самарского театра оперы и балета.

Среди многочисленных, не перечесать, наград, есть у Гилария Беляева одна, которая говорит о многом. Это медаль участника войны в Афганистане. Она — память о концертах артистов нашей филармонии, которые проходили при непосредственном участии их руководителя.

Ошеломляющая работоспособность и широта поля деятельности! И всё это без утраты душевного, сердечного отношения к конкретному человеку. Наоборот: участие, соучастие с жизнью окружающих — потребность его души.

* * *

...Рукопись сборника песен уже готова, а я все не могу никак определиться с его названием. Очень мне хотелось озаглавить его «Окошко с геранью» по одной из песен, вошедших в него.

Но меня отговаривали:

— Для одной песни такое название ещё ничего, но для всего сборника?.. Герань — мещанский цветок. Притом просто уж очень, обыденно...

А мне всё казалось, что поэзия как раз там, где сокровенная простота. И обидно было за герань, за мамино окошко с геранью в родительском доме.

С Гиларием Валерьевичем по этому поводу мы не разговаривали.

И вот однажды иду к нему. Почти уже полдень, но холодно. Солнца не видно. Конец октября.

Перешёл улицу Молодогвардейскую со стороны Волги у Самарской площади и от газетного киоска вдоль заветного дома направился во двор его.

И вдруг мне что-то, довольно ощутимое, упало на голову. Я посмотрел вверх. Над головой, под окнами второго этажа, красовались два довольно приличных размеров цветочных ящика. В них — с крепкими сочными листьями цвела герань. Увесистые бело-розовые цветы её свисали вниз. Как я их раньше не замечал?! В этой шумной части Самары такие домашние, тихие — они не потерялись! Наоборот: украшали серый дом. Не дом, а герань было главное здесь!

Я наклонился и поднял лежавший у ног сочный цветок, вернее целую гроздь. Она была как живое существо. Хотелось погладить её, спрятать, укрыть.

Я поднялся на четвертый этаж.

Что-то там в звонке не срабатывало. Я с необычным нетерпением нажимал на кнопку. Наконец звонок заверещал..., дверь открылась и, когда я шагнул в длинный узкий коридор, хозяин квартиры, попятившись спиной вправо, на кухню, спросил:

— Что это у тебя?

— Герань, — отвечал я и почувствовал, что нелепо улыбаюсь. — Вот, дарю её вам!

И стал сбивчиво рассказывать о случившемся.

Он внимательно молча меня слушал, пристраивая герань на подоконнике в подвернувшийся бокал с водой.

К его немногословию я привык, меня оно не смущало.

— Так, может, мой сборник назвать...

Я не успел закончить фразу. Продолжил он:

— «Окошко с геранью», по одной из песен. Я об этом думал.

Я поразился сказанному, но по инерции продолжал:

— Те, с кем советовался, не одобряют...

Он отреагировал спокойно:

— Никого не слушай! Тебе знак дан! Так чего же ты?

Он улыбался открыто. Светлые глаза его сияли.

Я так и сделал: никого не послушал, кроме себя и Маэстро.

Сборник был издан.

Многим запали в сердце эти два слова: «Окошко с геранью». Секретарь Союза писателей России Николай Михайлович Сергованцев, большой любитель песенного творчества, когда я приезжаю в Москву, часто упоминает в разговоре понравившееся ему название сборника. А я всё помню этот случай с цветком, упавшим мне на голову и по-детски улыбающееся лицо Маэстро...

* * *

Небольшая деталь: двери его рабочего кабинета в филармонии всегда были открыты, в буквальном смысле. Они как бы приглашали на встречу. Гиларий Валерьевич любил людей. Это ещё одна грань его таланта. И люди всегда шли к нему.

Об этом хорошо сказал самарский искусствовед Митителло: «...Хочется перейти на ту сторону улицы, где он идёт, хотя есть люди, от которых, наоборот, бежишь, чтоб не встретиться».

* * *

Маэстро намеревался отметить своё 75-летие в Самарской филармонии. Но не дожил до этого дня.

Коллеги приурочили к его юбилею концерт в филармоническом зале, назвав его «Музыкальное приношение».

В этот вечер двери Самарской филармонии, как и его кабинет, были открыты для всех, кто тянется к искусству. На сцене чередовались хоровые коллективы, которые так много обязаны таланту Беляева.

Солистка балета народная артистка России Анастасия Тетченко танцевала «Русский танец» П. Чайковского. Под управлением народного артиста России Михаила Щербакова были исполнены фрагменты из Пятой симфонии П. Чайковского. Звучали музыкальные миниатюры «Белые ночи» М. Шварца и «Ноктюрн» А. Бабаджаняна, которые особенно любил исполнять в собственной обработке Гиларий Беляев.

Геннадий Матюхин объявил об учреждении премии имени Гилария Беляева и назвал первых её лауреатов.

А на экране, висевшем над сценой, шла череда фотографий, запечатлевших Беляева со многими знаменитостями, приезжавшими в Самару. Среди них: композиторы Тихон Хренников и Родион Щедрин, пианист Андрей Петров, певица Елена Образцова, дирижер Олег Лундстрем.

Звучали теплые слова о Гиларии Валерьевиче выдающихся музыкантов — народных артистов СССР Андрея Эшпая, Владимира Минина, народного артиста России пианиста Алексея Скворонского.

И над всем этим светлый взгляд Маэстро.

Особенно запомнились слова Андрея Эшпая:

— Это был прекрасный музыкант, прекрасный человек. К его сущности очень подходят слова Н.Я. Мяковского: «А всего-то и нужно быть искренним, пламенеть к искусству и вести свою линию».

Добавим к сказанному: «И уметь трудиться. Всю жизнь безоглядно трудиться!»

Вишни в снегу

Есть такой давний анекдот. Ведёт палач осужденного на казнь, а тот спрашивает: «Который сегодня день?» — «Понедельник», — отвечает палач. «Ну и неделька выдалась», — произносит осужденный.

Нечто подобное случилось и со мной с самого начала нового года третьего тысячелетия. В первый рабочий день недели, 3 января, в присутствии более полусотни начальников цехов, отделов, главных специалистов было объявлено явившимися из Москвы новыми владельцами комбината, что с первого января я отстранён от должности генерального директора.

Таким новый год выдался!

Очевидно, невольно могу попасть в Книгу рекордов Гиннеса — 1-й безработный директор в третьем тысячелетии. Если учесть, что за неделю до этого я получил звание заслуженного инженера России, а чуть раньше Международную премию за проявление воли лидера и упрочение позиций своего предприятия, случай явно курьезный. Конечно же, полной неожиданностью это отстранение для меня не было. Когда два с половиной года назад нанимали меня по контракту попробовать поднять развалившийся комбинат, имеющий непомерные долги, выплачивающий заработную плату с полугодовым опозданием, я понимал: чем быстрее я подниму на ноги этот, некогда один из крупнейших нефтехимических комплексов России, а точнее, СССР, тем скорее он станет привлекательным на рынке и возможно будет выставлен на продажу. Другими словами, чем лучше буду работать как директор, тем скорее останусь без должности, ибо по заведенной практике новый хозяин, обычно, меняет директора и часть управленческой команды.

Понимать-то понимал, но ведь и рассчитывал на разумное: если мне удалось (а другим троим директорам, сменившимся в течение четырех лет — нет) поднять завод, обеспечив и хорошую устойчивую рентабельность и прибыль, то какой резон новому владельцу комбината менять команду управленцев — мы нанятые специалисты, мы далеки от имущественных амбиций?

Ан нет. У нас, у русских, не как у всех. Обязательно по-своему: уж если ломать, так ломать. Да ещё чтоб хребты трещали. Когда

так нашу психику тронуло? В 17-м году или раньше? Но топчем друг друга в азарте борьбы и увечим. Будто не ведаем, что не соперника ломим, а самих себя.

— Да-да, мы хорошо знаем: ты — один из лучших в отрасли директоров. Конечно. Но, понимаешь сам, когда уходит президент страны, премьер и его команда — тоже уходят. Такова норма.

— Но президенты меняются, когда политический либо экономический кризис. Мой же завод работает так, как не работал уже лет десять. И ваши технические специалисты согласились с нашей концепцией дальнейшего его развития. Для чего менять? Я же не резидент иностранной разведки, — очевидно, не очень внятно пытаюсь добраться до истины.

— Послушай... знаешь что... мы тебя найдем, не горячись с выводами, у нас куча заводов...

...В тот день третьего числа после окончания рабочего дня непроизвольно собрались у меня в кабинете человек пятнадцать главных специалистов. Понурые и притихшие: завтра в этом кабинете утреннюю планерку уже буду проводить не я, а новый генеральный директор. Молча расселись за стол, все на свои обычные места. Мне невольно захотелось пересесть. Я встал со своего места около микрофона и сел к столу среди коллег. Они молча переглянулись. Шёл разговор глаз.

— Рентабельность по году тридцать два процента, объем переработки против прошлогоднего вырос в полтора раза. Таких показателей у комбината не было десять лет. Похуже бы работали, дольше бы комбинат наш не продали.

Это высказался под общее одобрение главный технолог, подтверждая ещё раз вслух то, что мы все понимали.

Я посмотрел на своих помощников. Мне было обидно за них. Собирал я команду по крупницам в течение последних двух с половиной лет. Отбирал «штучно». Большую часть пригласил с институтов. Многие с учеными степенями. Привыкшие к аналитической работе в вузах, они поначалу малость подрастерялись, увидев объемы, масштабы производства. Шутка ли: территория, которую занимает комбинат, равна семистам гектарам. Свои четыре тепловоза, депо, тридцать километров только заводских железнодорожных путей. Для того, чтобы оперативно вывозить продукцию, требуется иметь постоянно в обороте около девятисот железнодорожных цистерн. И над всем этим, над заводоуправлением высятся семидесятиметровые громадины-колонны центральных фракционирующих установок.

Мы притерлись в работе. И я считал всех и себя готовыми начать строительство новой, так нужной заводу, импортной установки.

Но...

— Вспомнил я один рассказ нашего цехового механика, — в тишине, подбирая медленно слова, с расстановкой заговорил мой заместитель. — На фронте ему однажды душно стало показалось в блиндаже, вышел на воздух покурить. Немец помалу постреливал и вдруг совсем неожиданно как дербалызнет прямо, как в точку, в блиндаж — и всех до одного, кто там был, наповал. А он лежит рядом целехонький, механик наш будущий.

— Не совсем понял, к чему это? — бесстрастно произнёс главный технолог.

Под стать ему бесцветным голосом мой заместитель пояснил:

— Наш генеральный, сдаётся мне, вышел покурить и — уцелел. А нам — копошиться в развалинах блиндажа, пошатнётся ведь всё...

...Когда ехал домой, в машине запоздало вспомнил, что в повести «Отклонение» описал первые дни и месяцы безработного, бывшего главного инженера крупного завода. И подивился. Я, выходит, один-то раз уже пережил такое. Забыл? У меня же есть опыт. Когда писал о главном инженере Касторгине, не спал ночами, так болел за него. Я его временами отрывал от себя, старался, чтобы он не был похож на автора, иначе читатель, знающий меня, будет недоумевать: кто есть кто? А теперь? Теперь мне захотелось приблизиться к герою моей повести — главному инженеру — и присмотреться. Пouchиться тому, как он думал, как выцарапывался из волчьей ямы, в которую попал. «Есть ли у меня дома экземпляр повести «Отклонение» или нет? — думал я. — Надо к Касторгину прислушаться. Где неточно сказал, ведь теперь-то сам безработный. Был опыт на Касторгине, теперь — на самом себе. Может, поторопился писать повесть, вот теперь бы в самый раз...»

От завода до дома езды около сорока минут, кое-что можно успеть поворошить в памяти.

Виктор Стражников, директор из моей повести «Черный ящик» смотрел на меня испытующе из своего времени. Мне кажется, я чувствовал рядом его дыхание, видел его лицо. Он подтолкнул меня в начале этого года на мысль делать эти записки. Он как бы выверял автора на стойкость. Ну что ж, смотри, мой герой, на своего автора.

...Вспомнился недавний разговор с писателем Семёном Ивановичем Шуртаковым в его московской квартире на улице Усиевича в последнюю мою московскую командировку.

— Странное дело, вот ты же неимоверно занятый человек, руководишь огромным комбинатом, казалось бы, где время брать, а в прозе твоей не чувствуется никакой поспешности. Это хорошо. Но как это удается?

Его манера говорить, легкая походка и отцовская доброжелательность напоминали мне Григория Федоровича, моего старого приятеля, живущего в Новокуйбышевске. Как оказалось, они одноклассники, фронтовики. Они из того поколения наших отцов, которое дало нам всё, чем мы владеем. Они многое прошли и многое повидали в жизни.

— Да вот... — пытаюсь я как-то ответить на вопрос. Но он, я вижу, не ждёт ответа, быстрыми легкими шагами передвигается в своей заставленной книжными шкафами квартире и ищет, во что бы мне упаковать четыре тома самого полного третьего издания словаря Даля. Мои уверения в том, что у меня есть дома в Самаре второе издание этого словаря, сделанное книгопродавцом-типографом М.О. Вольфом в 1880 году, его не останавливает:

— Вот привезёшь в Самару, помотришь и увидишь, какая разница между ними. Это же репринтное воспроизведение с третьего издания 1903 года под редакцией профессора Бодуэна де Куртене. Самый полный словарь. А роман мой прочёл? — вдруг спрашивает без всякой связи.

— Не нашел пока в библиотеках, — мямлю я. — Сборник рассказов «За всё в ответе» у меня на столе.

— Ай-яй-яй, мог ведь бы и прочесть.

Он ведет семинар прозы в Литературном институте и менторские, учительские нотки в разговоре иногда проскальзывают. А может, мне только так кажется. Может, это возраст толкает к тому, а не учительство. Я не был студентом Литературного института и не могу знать тамошних отношений ученика и учителя.

Он быстро присаживается за небольшой стол в углу и что-то пишет, не спеша и аккуратно. Встает и протягивает мне номер «Роман-газеты XXI век» с его романом «Одолень-трава», за который получил когда-то Государственную премию СССР.

Потом спиной к окну садится в кресло, некоторое время сосредоточенно смотрит на меня и произносит:

— Видишь ли, так тянуть долго нельзя, конечно, советы давать легко, да я и не советы даю. — Он помолчал. Затем не очень

уверенно сказал: — Но ведь надо что-то делать?! Надо отказаться от производственной деятельности. Твои повести — это серьёзно. Надо писать. Ты — писатель.

«...Да-да, очевидно, так. Журнал «Молодая гвардия» начинает публиковать мою повесть. В журнале «Москва» готовят к печати отрывки из другой вещи...» — мысленно соглашаюсь я.

Вдруг мой собеседник, застыв посреди комнаты, вполне искренне спохватился:

— Но надо же самому думать, самому решать. Дело-то такое тонкое...

Что теперь решать, дорогой Семён Иванович, мой неожиданный наставник? Всё решено.

Одно ясно: меня внезапно выбросило из мутного потока, в который попала наша отечественная нефтехимия, на берег и я вместо того, чтобы сопротивляться этому, кажется, помимо своей воли, всё ближе и ближе подхожу, опасно озираясь и удивляясь непрактичности своих намерений, к другому мощному и непредсказуемому потоку: литературному...

...Но стоит ли торопиться?

Может, отлежаться некоторое время на берегу, между двумя потоками, до своего времени...

...Делаю эти записки девятого января после похорон моего хорошего знакомого, похожего на Семёна Ивановича. Такой же поджарый, приветливый и доброжелательный, и фронтовик — Интересов Григорий Федорович — умер шестого января. Мы знали друг друга лет тридцать. Работали в одном цехе. Потом он ушёл на пенсию. Но мы продолжали встречаться, несмотря на большую разницу в возрасте. Нам было интересно общаться. Он любил мне дарить что-нибудь из своего сада: черенки винограда, смородины.

В памяти всплыли майские дни двухтысячного года. И его вишни в моём саду. Я приехал на свою дачку с ночевой и, проснувшись утром рано 1-го мая, был изумлен. Накануне обещали сильные заморозки на почве и я долго вечером ходил около буйно цветущей, другого словосочетания, как ни банально, не подберёшь, вишни и с досадой вздыхал. Уж больно хорош был наряд красавиц! Белые и чуть нежно-розовые лепестки так невинно и безропотно смотрели на меня! Я, весь уже покоровившись неизбежности грядущей с сумерками для них беды, не знал, что делать. Такого цветенья вишен ещё не было, да и не плодоносили они пока ни разу, хотя пошёл шестой год, как высадил я их под окошком око-

ло березы. Каждый год Григорий Федорович вместе со мной ждал первого урожая.

Утром 1-го мая случилось чудо. Выпал снег, он лежал толщиной до 10 сантиметров, искрящийся и необычайно чистый!

Был страх за всё растущее и цветущее. Сразу вспомнились строки Есенина:

*Я по первому снегу бреду,
В сердце ландыши вспыхнувших сил.
Вечер синею свечкой звезду
Над дорогой моей засветил.*

И не к месту вроде бы, и совсем иной смысл звучал сейчас, применительно к майским заморозкам в словах:

Я по первому снегу бреду...

Всё увядало, замерзало на глазах, совсем неожиданно, случайно. Пропадала логика явлений в природе: вначале тепло спровоцировало буйное цветенье, а потом природа сама себя и губит.

Я подошёл к вишням. Картина была изумительна. Не знаю, чего было больше на ветвях: цвета или снега. Всё попеременно. Всё нежно, невинно и —гибельно. Неизъяснимая нежность возникала в душе при виде этого сказочного убранства вишен. Холодно-ватно-изящные веточки, опушённые искристым снегом, пронизанным нежно-розовым цветом, рождали неожиданную тревожную радость. И это несмотря на то, что всё должно было погибнуть!

«В сердце ландыши вспыхнувших сил...»

...2-го мая весь снег растаял.

На удивление в свой срок появилась завязь. И настал день, когда ветви стали ко всеобщему восторгу ломиться от наливающимся ягодам. Это было чудесно! Когда я брал в рот ягоду, то ощущал и тот холодок, который коснулся вишен в мае.

Мы, все, кто жил на дачке, договорились: есть только с куста, не собирать ягоды в посуду — так вкуснее. И вся детвора в округе это одобрила. Было вкусно и забавно. Около вишни был часто смех и радостные лица...

Почему я сейчас пишу об этом? Казалось бы, не к месту эти мои воспоминания.

Но они жили во мне всё лето, осень. И сохранилось до зимы это изумление, которое я испытал при виде заснеженной цветущей вишни. Я тогда, на бегу, записал кое-что на обрывке бумаги. И потерял написанное. Но снова всё всплыло в памяти. Оттого ли, что похоронил я сегодня одного из моих друзей, потому ли, что

меня ушибла моя отставка (не думаю, что так). Или пришло на моём пути по моим колкам и перелесьям время вспомнить и обернуться: уже многих нет. И с теми, кого нет — кого любил — отлетела частица меня. И меня становится всё меньше и меньше. Так привязался душой к ним. Неужто так уходят от человека жизненные силы? От тебя к другим — кого любил. И многих уже нет. Куда же всё уходит?!

*Вечер синею свечкой звезду
Над дорогой моей засветил.*

... Чем старше становишься, тем тоньше и пронзительнее любишь...

Иногда в школьные годы, лет в четырнадцать-шестнадцать возникал вопрос: а какой он будет двадцать первый век? Какие мы будем? И тут же рождалась холодноватая, но не пугающая мысль: а доживу ли я до этого времени?.. Уж больно солидный, казалось, ещё был впереди запас времени. Думалось, что на всё хватит. Ан, нет. Не хватило на всё...

...И вот, оказывается, не только дожил, но пришёл по своим колкам и перелесьям к рубежу столетия, как ни странно, молодым...

О, наш рациональный и циничный век!

Уже и анекдот есть про третье тысячелетие.

Один мужик спрашивает другого накануне нового года: «Ты что будешь делать в третьем тысячелетии?» Тот, усмехнувшись, ответил незатейливо: «В основном лежать».

...Я ещё в свои 56 лет до конца не понял, что самое главное в жизни. И себя не понял до конца...

И застигнут в пути третьим тысячелетием в таком состоянии, когда многое в жизни ещё не попробовал... И так много ещё хочется сделать!

...А моя отставка как неожиданные заморозки в майские дни. Она не может быть губительной для меня. У меня есть пример белоснежных вишен в моём саду, расцветших в посуровевшие майские дни последнего года второго тысячелетия.

И перед глазами моими — налитые алым соком ягоды вишни! И весёлые лица детворы!

И детский смех — бессмертный во всех тысячелетиях!

2001 г.

Дом над Волгой

...И когда в первый раз в жизни я попал на Волгу — она поразила меня своими людьми... Тот же тяжёлый, подневольный труд, также сгибались спины под многопудовой тяжестью и также велики были машины и пароходы — но люди были другие.

Широкобородые, рослые, они говорили громко и ходили так прямо и свободно, как будто никогда им не приходилось сгибаться.

Они пели красивыми свободными голосами, и самая печальная песня в их мощных грудях перерождалась в широкий и весёлый призыв к жизни...

Леонид Андреев.
20 марта 1901 года

Жизни Марьи Петровны

Меня всегда тянуло послушать рассказы пожилых людей. Особенно в детстве.

Внешне неприметные сельские старики и старухи, начав рассказывать, казалось бы, только о себе, говорят по сути о всех нас. И говорят порой о нас яснее и проникновеннее, чем делаем это мы сами. Они-то уже очистились от наносного в жизни и суетного. У молодых это ещё впереди. С горечью и наивностью, может быть, жалел я о том, что крестьянство, лишённое грамотности, не вело дневников. Не оставляло после себя закреплённым пережитое. Уносило с собой такое, чего мы теперь и представить себе не можем.

Думая так, одновременно спохватывался: то, что я сам слышал или видел случайно, часто нельзя было поместить на бумагу. Поэтому, видимо, старики благоразумно и умолкали. Боялись? И это было. Но теперь мне, взрослому, порой кажется, что они боялись и

другого. Опасались за нас, за молодых. Щадили нас. Жалели. Как бы мы до срока не разуверились в жизни, не посчитали её «бесплезным подвигом», как сказал о ней великий поэт Фёдор Тютчев. Конечно, они не знали этих его слов. Это я теперь думаю над их обжигающей сутью. И не совсем уверен: надо ли мне такое знание? И надо ли было русскому гению говорить так о русской жизни?.. Приобрёл я от этого что-то? Или утратил?..

А может, старики наши боялись сказать больше того, что поняли сами?

Пришло время и я пожалел, что не записал, пока мама моя была жива, хотя бы часть её рассказов. Сначала, по молодости, не догадался, а после, уже начав работать на заводе, всё откладывал на потом. А потом мамы не стало.

...Этим летом к нам под Самару на дачу приехала родственница моей жены Марья Петровна. Уже более тридцати лет живёт она с семьёй на Севере. Приехала с Надыма, как сказала, погреться.

На мои просьбы рассказать что-нибудь из своей долгой жизни она вначале отмахивалась:

— Не в обычай мне это. Кто я? Всего-то «булгахтер», как говорил мой муж. Кому интересно моё «житие»? Вот вокруг нас, как было, ещё может...

А тут съездили мы с ней в Октябрьск, где она раньше долго жила с родителями в бревенчатом доме на высоком берегу Волги. Пожили там три дня, в чужом теперь доме. Теперешний хозяин сдаёт его. И живут в нём кому вздумается. Последние полгода дом пустует.

Кого можно было, Марья Петровна проведала. Что смогла увидеть — увидела. Отогрелась душой...

На обратном пути в Самару вздыхала: «Дом-то, дом наш... Души в нём живой не стало, улетучилась...».

...И словно прорвало плотину. На протяжении всего времени, пока жила у нас, рассказывала, как она говорила, о своей «жизнёнке».

Рассказывала спокойно. Ни надрыва в голосе, ни слезинки на лице...

Мы с женой и внуком слушали...

До сих пор во мне её слова:

— Как ведь получилось: Волга и железная дорога в жизни оказались главными. Всё около них. Всё с ними связано...

Чужая жизнь, а сколько в ней близкого. После её рассказов я пытался кое-что записывать.

Не удалось мне в полной мере сохранить особый аромат её речи. Неожиданно Марья Петровна оказалась не только «калькулятором ходячим», как её называют знакомые, но и рассказчиком, немало замечающим и удерживающим в своей памяти.

Самое большее, что сделал, готовя эти свои записки: убрал чрезмерные подробности, характерные для её практического ума, и выстроил более-менее приемлемую последовательность услышанных, как я их для себя назвал, прозаических драм и случайных радостей чужой жизни.

«Я изменяю вам»

...Сколько годков утекло, а мало что забылось. Что с другими было, что папа с мамой рассказывали — помню. Словно со мной всё случилось... И будто мне сотни лет... Многими жизнями жила...

И братики мои, и сёстры, детки мои — все у меня ребятишками бегают... Брат Серёжа воевал на войне, а я все равно его только мальчонкой и вижу... Родни много. И вся она с Волги, с Сызрана, как раньше говаривали.

Дед мой по маминой линии Бондарев Фёдор Фёдорович развозил по городу ещё до революции жигулёвское пиво. Пиво доставляли в Сызрань из Самары с завода фон Вокано, а разливали на месте. Потом он с напарниками вёз бочки или бутылки куда надо.

Фёдора Бондарева многие знали в Сызрани. Работа у него была заметная.

А все мужики в роду моего папы Смирнова Петра Андреевича и деда Андрея Петровича издавна были извозчики. Своих лошадей имели.

Когда мой папа Пётр совсем ещё мальчишкой был, сел раз к нему в пролётку пассажир один. Это и решило папину судьбу. А может, и детей его, и внуков.

Оказалось, что пассажир не простой. Инженер. На железной дороге работает. По тем временам инженер-путеец — профессия очень серьёзная.

Несколько раз папа подвёз его на работу. А потом уж стал постоянно доставлять.

У папы-то моего желание огромное было на железной дороге работать. Не хотел он с лошадьми всю жизнь, как отец с дедом. Лошадей любил, а на душе другое было.

Вот один раз и говорит он седоку своему:

— А можно к вам на работу устроиться?

— А куда ты хочешь? — спрашивает инженер.

— У меня в семье все извозчики. А мне паровозы страсть как нравятся!

Весело засмеялся инженер:

— Лошадь на паровоз меняешь?!. Резонно!

А потом серьёзно так:

— Ладно, с начальством поговорю. Нравишься ты мне.

Потом папа рассказывал: «Я его в следующий раз везу, а он: вот к такому-то часу приходи. Я с начальником разговаривал».

Папа ничего родителям о задуманном не говорил. Не торопился.

Пришли они, значит, к начальнику. Инженер говорит:

— Вот тот парень, который паровозы любит.

— Ну, раз любит, — отвечает начальник, — возьмём в бригаду учеником слесаря.

Папа так рад был. Домой приехал и с порога:

— Всё! Не буду я больше извозчиком! Поступаю работать в железнодорожное депо.

Мать обрадовалась. А отец его:

— Да что ты? У нас все... Потомственно... Надобно по-отцовски: теми же ложками из того же блюда. Надёжней так.

— А я так не хочу, я изменяю вам. Я больше механизмы, железки люблю. Время теперь другое. Не лошадиное!

Так по-своему и свершил. Три месяца в учениках проходил. Там, рассказывал, мужики бородатые с ним учились, а он пацан совсем. И три класса.

На четвёртом месяце дали им задание. Я не скажу точно, какое. Кажется, притереть какую-то деталь. Он лучше всех сделал. И его слесарем по ремонту в цехе оставили.

У него желание огромное было учиться дальше. Взял у одного машиниста в депо книжку про устройство паровоза. Все механизмы изучил и через три месяца пошёл к тому же начальнику.

— Переведите меня, пожалуйста, на паровоз, хоть кочегаром.

Начальник со второго раза согласился:

— Ладно, — говорит, — удовлетворяю твою просьбу, раз ты, Смирнов, такой настырный. Попробуешь кочегаром, потом видно будет.

Прилепился к технике

Тогда поезд такой ходил, от Сызрани до Обшаровки, назывался — «Трудовой». На нём папа и начал работать машинистом. Не сразу, конечно. Но достиг, чего хотел. «Прилепился», как он говорил, к технике.

Очень хотел учиться дальше, потому как загорелся стать инженером. Чтоб дороги железные строить по всей стране. До самого Востока.

Все время с книжками был. Но на какие деньги учиться?! Смурной, заметили родители, стал ходить Пётр. Нервный.

Прошло некоторое время, он словно переродился. В церковь зачастил. Просветлел весь... Сама доброта. Начал соблюдать посты. Со своим другом Никитушкой в хоре церковном пел. Столько песен они старинных знали, а не шибко оба грамотные.

И тут папа объявляет родителям:

— Готовлюсь уйти в монастырь, в монахи.

Всполошились все в доме. Не знают, как и подступиться к нему. Он стоит на своём: «Я так решил».

Дед мой, Андрей Петрович, набожный был. Часто приносил домой церковные книги и читал вслух в большой комнате по вечерам. Все занимались своим делом, кто шил, кто вязал, и слушали.

А бабушка Прасковья не любила в церковь ходить.

В их проулке в Сызрани, напротив, поп жил. Он сквернословил, бил попадьё, ел мясо, когда ни попало. Через забор всё видно было. С неохотой поэтому она в церковь с детства шла, только с матерью. Та чуть зазевается: она на улицу из церкви, и — домой. Мать ей: «Поп — одно, а церковь — другое, не гневи Бога!» А она своё, хоть бы хны...

Уж больно она была против монашества Петра.

А его вскоре в армию взяли. В морфлот. Всё и отодвинулось.

Служить папа попал в Кронштадт на боевой корабль, в машинное отделение. Потому как в машинах понимал, что к чему.

Друг Никитушка

Друга его Никитушку не взяли на службу. Перед самым призывом получил он увечье.

Как случилось?

Поставили они с отцом снасть большую. По-моему, на сома хотели. А вышел конфуз... Не собирались белуту обкладывать, а она зацепилась. Они и до этого белуг ловили. На пять пудов, на восемь. Но чтобы такую!

...Как увидели они, что наплав — жердина — пошла вниз по течению: прыг в лодку. И быстрей-быстрей за ней, чтобы не дать рыбине всю снасть на дно уволочить, не задеть за что-то.

Отец Никитушки, Василий, поймал рукой наплав, за оттугу схватился и начал вываживать. Приневолит он рыбину. Появилась у борта она. Багрить надо! А как её забagriшь, такую громадину? Она с лодку!

Никита был за вёсельника.

— Кукань! — кричит. — Её не забagriшь!

И сам — к корме. Когда она вновь вышла, «встала» возле борта, хватанула воздух и на какое-то время замерла, цапнул он кукан: одной рукой в пасть белуге, а другой — под жабры. Пошёл на риск в азарте. А рук не хватает, чтобы концы провздеть. До плеча руку утопил, а никак...

Рыбина сомкнула рот, да как мотнёт головой... и Никита ушёл в воду...

Как она разомкнула свои клещи — чудо!

Выловил Василий сына еле живого. Вывернула ему рыбина левую руку из плеча. И перелом случился ниже локтя. Потом не как надо кости срослись. Инвалидом сделала в один приём.

...Белугу эту всё-таки поймали рыбаки, которые опытнее. Оказалась в пятнадцать пудов весом.

Папа-то наш тоже свой вывих в жизни получил. Но об этом разговор впереди...

«Бог с тобой, иди...»

У папы старший брат был, Иваном звали. А у него жена Доня. Шустрая такая.

Мой дед, Андрей Петрович, пока ещё папа служил на флоте, попросил Доню приглядеть невесту сыну Петру. Чтоб, значит, тот опять не начал думать, когда вернётся, про монашество. Доня и постаралась.

А как раз Крещение. На Крымзе крестный ход был. Сейчас Крымза не та совсем. А тогда нормальная речка была. Вырубали на ней крест во льду и кунались. Народу сходилось, чуть не вся Сызрань.

Доня показала нашу будущую маму папе сначала в храме.

Мама в то время у портнихи работала. Потом уж рассказывала: купили сукна, сшили по-модному, чуть не до полу пальто. Я помню, оно потом долго лежало в сундуке, пальто это. Уже без

воротника. Воротник огромный был, говорили. Жёсткий мех, блестящий. Этот воротник куда-то определили. Забыла, куда. А пальто лежало. На боках у него такие красивые строчки шли. И огромные железные дутые пуговицы. Три штуки. Тогда модно это было. И сапожки у мамы красивые, на шнурочках. «Кокетка» назывались.

Мама моя Рая аккуратистка была. Доня по субботам со своей матерью в баню ходила. Она ещё там обратила внимание на то, какое у Раи чистое бельё. Белое и аккуратное. Она его с помощью своей мамы парила в большом чугуне в печке.

...Рая папе в храме с первого раза, как увидел, очень понравилась. Потом они встретились на Крымзе.

После Крещения загорелся: «Пойдёмте свататься».

А Рае, маме будущей нашей, всего семнадцать лет. У Бондаревых пятеро детей было. Трое умерли.

Старший брат Фёдор не по любви женился. Как было дело? Любил он полячку, Бруновскую Соню. Через два дома от них жила. Семья Бруновских большая. Родни нет. И земли мало. Давали её на душу, на сыновей. А у них одни девки. Бедно жили. Фёдор зачастил к Соне. А мать его, Агафья, ни в какую: «Мы бедные, и ещё бедноту разводить. Нет, нет и нет!» Разговорили его. Женили на богатой из Засызрана. Взяли Устину Захарьеву. Но Фёдор не полюбил её, оказалась она гулящей. И выпивала, и покуривала. Это в то время-то!.. Я застала, видела её... Да... Родилось у них двое: Павлуша и Николай. Маленькие ещё были, когда Фёдора не стало. Он со своим отцом крышу своего дома крыл. Лето. Жарища. Достали из погреба квас. Он слез с конька. Напился холодного и лёг на спину на травку. Через три дня его не стало. Скоротечная чахотка.

Ладно. Я о папе с мамой продолжу.

Бондаревы с первого раза отказали. Смирновы — беднота. Прошло сколько-то времени, папа начал донимать Доню: «Пошли да пошли опять сватать Раю».

Направились они во второй раз свататься.

Не сразу сладилось дело. Но сдалась Агафья:

— Господи, — молвила, перекрестившись на икону, — Федьку женили против воли. Не сложилось у него. Нельзя упрямить! Неспроста помер. Не в нашей воле...

И дочери:

— Нравится тебе Пётр?

— Нравится, — отвечает она.

— Ну, Бог с тобой, иди за него. Не с богатством жить, а с человеком!

Так было.

Получилось как!..

Только папа женился, его снова забрали, в четырнадцатом году. Во второй раз.

Всю германскую служил в Гельсингфорсе*.

Случилась грыжа у него. Сделали операцию и отпустили в отпуск домой.

Когда вернулся на службу, его эсминец «Летучий» ушёл в море.

Командир другого корабля, который назывался, кажется, «Быстрый», взял к себе. Чтобы не болтался, значит, без дела. Больно понравился папа командиру по службе. «Я с командованием решу, оставлю тебя у себя», — так сказал ему.

Вернулся «Быстрый» с боевого задания. Пошёл папа в город и случайно встретил командира с «Летучего». Его команда тоже уже была на суше.

— Смирнов! Ты здесь!

— Да, на «Быстром» плаваю.

— Я тебя к себе верну!

Ну и борьба меж них, командиров, вышла. Тот не отдаёт. И этот требует к себе.

— Ты сам-то не против вернуться в свою команду? — спрашивает командир «Летучего».

— Конечно. Хотел бы к своим ребятам-матросикам снова.

— Ладно, сходим ещё один раз в море без тебя, вернусь, — говорит, — рапорт напишу. Заберу.

Пошли они ставить мины и эсминец «Летучий» погиб во время шторма в Финском заливе. Остался из команды в живых один боцман. Когда подобрали, он уже ума лишился.

Папа продолжал служить на «Быстром».

Стремнина

Мама потом одну зиму жила у папы. Квартиру они снимали где-то у одной финки в Гельсингфорсе.

У этой хозяйки швейная машинка была. Мама шитьём зарабатывала и себе, и ей. Маму-то, когда ей было всего двенадцать лет,

* Гельсингфорсе — ныне столица Финляндии Хельсинки.

в Сызрани отдали учиться шить. Тогда не было таких училищ, как сейчас. Немка Дарья Карповна набирала девочек и обучала их ремеслу. Семья у немки была большая. Те девочки, чьи родители не могли платить, мыли полы, варили, убирались по дому. Это была плата за учёбу.

Родитель сказал: «Я лучше платить буду, только учите её сразу шить».

Мама хорошая была швея. Эта специальность и выручала нас всех.

А тут — февраль 1917-го.

«Ничего, — говорил папа, — не поймёшь: придут на корабль одни — своё говорят, а придут другие — своё».

Неграмотные были. Куда податься, не знали. Что творилось!

Дружок Гурьян подталкивал:

— Прислоняться к кому-нибудь надо. Посередке не устоять! На стремнину выходим!

Папа так ни к кому и не примкнул. Не надо ему это было. Командир «Быстрого» хороший был человек. А пришли люди и начали команду смущать. Тянуть на свою сторону. Командир против. За дисциплину стоял. Зимой это было. Крейсера высокие такие. Подхватили матросики командира и выбросили за борт. На лёд. Разбился насмерть.

Судовые комитеты, папа говорил, верх взяли. Много командиров погибло. Двоих офицеров на другом корабле, он рассказывал, свои же матросы убили кувалдой. По голове, сзади.

...Вскоре он вернулся в Сызрань. На паровозе стал работать, в депо.

Недолго проработал...

С белочехами на восток

Как только белочехи захватили Сызрань, ночью тридцатого мая забрали папу.

Мама была беременна Надей. Ей стало плохо. Что делать? Врача нет. До больницы не добраться. Вокзал в руках белочехов. В городе переполох. И Самара на осадном положении.

...Папа пропал около года, до середины девятнадцатого. Мост через Волгу белые взорвали без него, при отступлении. Два пролёта изувечили.

Потом папа рассказывал: «Я — за машиниста, рядом помощник. Тут же охранник — чех следит, чтобы не набедакурили чего.

Лишнего слова сказать нельзя. Остановки только по необходимости. Целый эшелон чехов везём на Восток. Все пути от Пензы до Забайкалья тогда были заполнены эшелонами с чехами. Во Владивостоке они намеревались перегрузиться на корабли».

Папа называл станцию, где они отделались от чехов, «Арысь». Это в Южном Казахстане.

Когда охранник заснул, на этой станции они пробки вывернули. Воду слили. И всё! Паровоз, как на приколе. И удрали. Блуждали долго. Была эпидемия тифа, оба заболели.

Очнулся папа в больнице. Без документов, без вещей — всё пропало.

Напарник неизвестно где. Скорее всего, не живой.

Когда поправился, вспомнил, как дело было. После больницы пошёл в депо, рассказал. Ему поверили там. Дали какое-то пособие, чтоб смог доехать до дома.

На товарных добрался до Сызрани. Не сразу приняли его на работу. Проверяли: по своей воле или по принуждению вёз белочехов.

Закончилась эта канитель, стал снова работать машинистом.

Рай на земле

Папа старательный был. Работал с большой охотой. В двадцатые годы привёл он поезд на пять минут раньше графика. Его тут же вызвали к начальнику. Так ему надавали-настращали. Накричали. «А вдруг авария случится?! Поезд приведёшь, а хвост другого куда девать? Может не успеть уйти. Что тогда делать? Куда торопишься?»

Сильно переживал, когда ему говорили то, чего он не принимал. Не молчал.

Когда позже на железной дороге возникло целое движение за сокращение времени перевозок, он уже не работал машинистом. Но шишек за то, что досрочно приводил поезда, успел получить.

А тут предложили в партию вступить. Он и вступил.

Отец его, мой дед, отговаривал. А папа ни в какую:

— Я уже вас раз послушался, не пошёл в монахи. Теперь по-своему сделаю.

Заупрямился.

Отец ему:

— Это же разные вещи. Понимаешь?

— Понимаю, — отвечает, — цели партийцев схожи с теми, которые хотят достигнуть верующие. Только христианство обещает рай после жизни, а коммунисты — в этой жизни, на земле! Царство Божье на земле можно достичь. Коммунисты хотят дать его рабочему человеку, пока он жив! Церковь когда-то дать обещает, а новая власть — когда живём!

Дед Андрей аж захворал от таких его разговоров. А папа, будто ему кто на ухо нашёптывал, сделал, как захотел.

Камешки с Байкала

В тридцать четвёртом, когда в нашей семье было уже шесть ребятишек, папу направили на подмогу, как партийного, на Дальний Восток. Мы и поехали всей гурьбой. Мне было тогда три года. Я ничего не помню — из разговоров только.

Мама рассказывала, что мы не одни ехали. Две семьи было — наша и Борисовых. Каждой семье по вагону выделили. Смирнов да Борисов — оба машинисты. У обоих коровы, а у нас ещё и лошадь. Семью из восьми голов кормить надо. В один вагон погрузили скотину, в другой — сами с детьми. У Борисовых трое ребят было.

Месяц ехали. Приехали на станцию «Ерофей Павлович»^{*} Амурской железной дороги. Это за Читой. Далекое.

Три года прожили там. Отец сначала работал машинистом паровоза, как и Борисов. А потом их обоих перевели в службу техники безопасности как очень грамотных. Следить за состоянием паровозов и вагонов.

Часто бывало: начальство сверху требует, чтобы поезд отправить тогда-то и тогда, а папа: «Нет, нельзя. Надо ремонт делать, устранять неисправность». Не мог покрывать.

Где правда? И нельзя, и надо. Маялся он со своим характером.

...Как получилось? Чтобы папе попасть в контору, надо было идти через мастерские, где паровозы ставят на ремонтную яму. Яма эта глубокая. Рабочие идут, а в помещении всё время пар, плохо видно. Если яма открыта, зажигали красный свет: дескать, путь закрыт. Если зелёный — открыт путь. Зелёный свет дали, а её решёткой не закрыли.

Папа и ещё один молодой парень упали в эту яму. Кто с ним работал, говорили, что специально так устроили. Чтоб не препят-

^{*} Ерофей Павлович Хабаров — знаменитый русский землепроходец. Именем Хабарова названы огромный край и его центр, станция "Ерофей Павлович" на Транссибирской магистрали и деревня на реке Лене — Хабаровка.

ствовал. Надоел он со своей дотошностью. Специально — не специально... Начальство-то помалкивало. Не скажешь точно: кто и чего?

Уж очень папа с детства стремился к машинам. Вот машины его и ухайдакали.

Около двух часов они провалялись в этой яме. Хватились их, пришли домой к нам, а мама: «Он на работу ушёл». Когда их нашли, парень был мёртвый, а папа без сознания. Потом оказалось, что у него в двух местах перелом позвоночника. Вот тебе и рай на земле!..

На второй день папа начал говорить. Выжил. Через полгода стал задыхаться. Врачи сказали: «Вам здесь не климат». Как срубили его. Расстроили ему все здоровье лекарствами. Когда приехал в Одессу на курорт, показал тамошнему врачу рецепты на лекарства, которые он принимал. Тот качал головой, приговаривая: «Они же вам сердце травили. Куда это годится?» Что скажешь на это?

Тогда на железной дороге аварий и несчастных случаев полно было. Непокойно.

Приезжал народный комиссар путей сообщения Каганович разбираться. До Смирнова ли? Каким был и каким стал папа после увечья? Как небо и земля! Дали ему инвалидность. Вторую группу.

Так вот! С кривдой жить больно, а с правдой тошно.

Надо было возвращаться назад в Сызрань. Опять дорога, половина России на колёсах. Тут уж помню, как мы ехали.

Когда поезд стоял, я камешки собирала. Прямо на берегу Байкала. Они были с одной стороны обычные, а с другой — как обтёсанные. Красивые.

Я потом у нас в Жигулях таких не видела. Набрала этих камешков, сколько хотела. Долго они у меня были. И в Сызрани, и в Октябрьске. Камешки с Байкала! Играли в разные игры в них. Были они и белые, и коричневые, и голубые.

Помню, как мы мимо станции «Батраки» ехали. Там мой мешочек с камешками чуть было не украли. Подхватили, думали, что-то другое в нём. Он же тяжёленький.

Приехали мы в Сызрань близко к осени. У папы в городе сестра Таня жила. У них семьяща. Да мы нагрянули. И началась наша новая жизнь на старом месте.

Папа до самой смерти так и не поправил здоровье. И наша жизнь после беды этой стала такой, какой получилась.

А что наши жизни тогдашние? Как камешки меж колёс паровоза... Не видно их. И некому видеть. Того и гляди, как бы совсем в пыль не стёрло. Такие колёсища...

В Батраках

Живём у тёти Тани и никак не можем купить дом в Сызрани. И корову, и лошадь продали перед отъездом, а денег маловато. Ехали с Дальнего Востока больше месяца. Потратились.

Тридцать седьмой год. Мне уже шесть лет.

Летом тепло, а наступила осень, мёрзнуть стали. Спали-то кто в коридоре, кто в сарае.

У тёти Тани старшая дочь Лиза была замужем за Никитой Ушаковым из Батраков. Приехала его мать, посмотрела на нас и говорит:

— У меня подруга дом продаёт, Карпухина Васса.

Папа и зацепился, поехал в Батраки. Дал задаток за дом. Составили бумагу. Если владелица дома передумает продавать, то возвращает задаток и ещё такую же сумму. Если папа откажется покупать, деньги остаются у Вассы и столько же папа доплачивает.

Приехали потом дочери к ней из Самары:

— Что ты делаешь? Не продавай.

А Карпухина деньги уже почти все потратила. Продала. Куда деваться?

Дом этот был привезённый. Раньше плоты связками гоняли с верховьев Волги. Чтобы подработать, мужики срубы делали. Ставили их на плотях. Когда пригоняли плоты, срубы продавали. В Батраках таких домов было немало. Брёвна толстенные. У этих брёвен выпиливали из середины доски на пол, на потолок. Края на стены гнали.

Когда-то дом стоял у самой почти Волги. А потом начали железную дорогу расширять, пути добавлять. Станция узловая. Оренбургская железная дорога начиналась с Батраков. Много чего достраивали. Дом и перенесли. На пустырь, вверх, в сторону Линёва оврага. Целый там порядок выстроился. Так оказался наш дом над Волгой. Случилось это в 1905 году. Уже сто четыре года прошло.

Стоит домина. И не покосился. Крышу несколько раз меняли. Сени тоже, из таких же сосновых брёвен. Одной породы. Потолка у сеней сначала не было. Сразу крыша, и все. Видел, какие сени большущие, два окна. Папа лавку смастерил широченную. Поставили две керосинки. Готовь — не ленись! Тут же, на лавке — чутун двухвёдерный. Слава потом крышку к нему сделал деревянную. Вода всегда была рядом.

Первую зиму кое-как прожили. Неухоженный дом был. Клопов!.. Ужас! Внутри дома стены оштукатурены глиной с соломой

и побелены. Как только весной потеплело, глину всю отодрали, дранку тоже. Папа удивился, какую красоту закрыли глиной!

У нас в переулке за углом жил печник Корней Чудаков с женой Марфушкой. Папа с ним договорился и голландку с печкой переложили. Поменьше сделали. Между ними промежик получился. Сверху папа сделал полати. На них мы и ночничали.

В переднем углу — икона, в заднем — печь. Так и зажили.

Папа мастер был по железу. Сделал короб для голландки. Печку мы почти и не топили.

Сестра Надя на угольном складе работала. Там выписывали уголёк. В тележке мешками через железную дорогу наверх возили. Им и топили.

Голландка наша была с поддувалом. Весело топилась. Уголёк горит понемножку в сторонке. Мама поставит чугунок и в нём побулькивает. Даже булочки она пекла в ней. Папа противень сделал. Небольшой, как раз, чтобы помещался. Приспособились. Всё бы ничего, но беда с погребом, который под полом в сенях. Перерубы прогнили и он просел сильно. Что делать? Прислышали, что шпалы на дороге просроченные меняют. Разрешили продажу. Кому на строительство, кому на дрова. Мы купили тридцать штук. Подняли пол. Расчистили. Положили шпалы. Старые они, а креозотом воняют крепко. Потом вроде ничего. Попривыкли.

Наши полы в доме и в сенях мы берегли. Они некрашенные были. Веником жёстким натрёшь, водой смоешь. Высохнут, жёлтенькие такие. Светятся доски! Широкие. Но пришло время, стёрлись. Опять: что делать? Долго по стёртым-то шлёпали. Отремонтировали пол, когда уж я на переправе работала.

У Вани Солоухина на Правой Волге дочка на комбинат устроилась. Про ремонт разговорились. А он: «Я с Нюрой поговорю, у них там плиты ДСП поломанные, нестандартные выписывают. Дешевле будет».

Выписали. На машине привезли тридцать квадратных метров. Всего за девяносто рублей. Перестелили пол. Проолифили. Пришло время, покрасили. Всё как полагается, чин-чинарём...

В нашем доме все выжили

Папа больной. Детей, как галчат в одном дворе. Надя в восемнадцатом году родилась. Сергей — в двадцать третьем. Таня — в двадцать пятом, Слава — в двадцать девятом. В тридцать первом — я. А уж Володя — на Дальнем Востоке в тридцать шестом, за год до того, как с папой случилась беда.

И все шестеро выжили в нашем доме в Батраках. Умер один Андрей, ещё когда родители в Сызрани жили, первенький. Насильственно, мама считала, помер, от незнания. Не так лечили. У него понос сильный открылся. Врачи не разрешали ничего давать есть. Только молочную кашку. Молочную кашку... А из него плывёт всё. Похоронили. Два года всего-то было.

А тут Володя заболел, тоже в два годочка. Уже в Батраках жили.

Точь-в-точь всё, как с Андреем было. Мама вымучилась. Потемнела лицом. Молилась тут уж она за него непрерывно.

Весной дело было. Вынула она из погребца в чашке квашеную капусту и оставила на столе. Ушла-то на минутку за чем-то во двор. Вернулась, смотрит: Володя дотянулся ручонками до чашки и полными горстями капусту в рот тащит. Да так торопится! Мама не стала мешать ему. А он на другой день снова свои ручонки к чашке этой потянул. Так и поправился через несколько дней. Кислоты, что ли, не хватало в организме, а мы не знали. Может, и другая причина какая? Совпало...

Но выжил!

Знать бы маме, когда Андрей болел, про капусту-то...

Она меня любила

Наша учительница Клавдия Андреевна, как входила в класс, сразу начинала кричать. У всех уксусное настроение, а меня смех берёт. У неё слюни летят. Засмеюсь, а она:

— Выйди за дверь!

Выгоняла меня то и дело.

Одевалась очень неряшливо. Всё-таки учительница, нельзя так. Из-под юбки у неё постоянно что-то моталось.

Однажды кто-то кинул варежку. Я сижу, пишу. Варежка бухнулась ко мне на парту. Чернильница и опрокинулась. Непроливашка. Такая, с дудочкой внутри. Но всё-таки чернила попали немного на тетрадь. Я схватила варежку и, не глядя, кинула, откуда прилетела. А она попала на стол Клавдии Андреевне. У неё не чернильница стояла на столе, а бутылочка вместо неё. Она упала и по учительскому столу потекли чернила.

Она:

— Иди за родителями! Немедленно!

— Ой, извините, — пролепетала я.

Папу я побаивалась, хотя он никогда меня не наказывал.

Я замешкалась. Клавдия Андреевна сунула мои книжки мне в сумку, толкает под лопатку:

— Иди, иди! Иначе хуже будет.

Деваться некуда. Пошла.

Прихожу домой, папа спрашивает:

— Что такое? Почему — в слезах?

Рассказала.

— Пойдём, — говорит, — в школу.

Пришли. Клавдия Андреевна сразу:

— Она смеётся постоянно. Мешает. Я её выгоняю.

Я стою у двери. Она ещё что-то говорит, громко. Как начальница.

Папа тихо возражает:

— Вы неправильно делаете. Такое воспитание на пользу не пойдёт. Этим ничего не добьётесь. Вы пожилой человек, должны понимать. Выгонять из класса — негодное дело. Когда же учиться в таком разе? Школа — это тот дом, где разумность и терпимость.

— Будете меня учить?! — взвилась учительница. — Это потокательство с вашей стороны! И потом, у меня тоже нервы есть! Я не железная! Какое у вас образование? Вот и оно!.. Два класса и коридор!

Папа взял и вышел. Не стал больше разговаривать.

...Как-то быстро потом она уволилась. Старая очень. Шепелявила сильно так...

Вместо неё пришла Александра Григорьевна. Тоже женщина в годах. Плохо видела и забывала, где мел лежит. Но она совсем другая: интеллигентная. Полюбила я её. И она меня любила. Не успеет ещё по арифметике вопрос задать, а я уже руку тяну. Смеялась весело надо мной. Выделяла. Удивлялась вслух, как быстро считаю. И по письму у меня неплохо получалось. Я часто правила не знала. Как-то так, по смыслу всё ясно.

И радостно от этого.

«Здрасьте!»

Тётя Таня, у которой мы когда-то жили в Сызрани, часто к нам потом в Батраки приезжала. Наш папа был младший у них в семье. Он с тысяча восемьсот восемьдесят седьмого, а тётя Таня на четыре года старше его. Она уважала папу. Может, ещё и оттого уважала, что муж её, Николай, был никакой. Ни украсть, ни покараулить. И никакого не было у него в руках ремесла. Выпивал

здорово. Ходил ямы копал, погребя. Что-то по мелочи делал. То в бригаде, то один. Приносил домой копейки. Жили больше на то, что зарабатывал мой дедушка. А Колька-то, если и заработает что, всё тут же пропьёт. А не заработает, лопату продаст, всё равно выпьет. На другой день занимали у кого-нибудь, чтобы лопату купить.

Было у них трое детей. Старшая дочь Соня, потом Лида и младший Николай. Соня на фронте погибла. Николай заболел туберкулёзом и рано умер. Лиза на Север уехала. И через год там умерла.

* * *

У нас одно лето много тернослива уродилось. Вот тётя Таня за терносливом и приехала к нам. Он такой крупный. Чёрный, прямо аж сизый. Она так радовалась ему. Набирали мы тернослив в вёдра. Она его в Сызрани продавала. Всё, какие-никакие, а деньжата.

Говорила она нараспев:

— Братец Петя, как я соскучилась! Как у вас в семье спокойно! Я на улице была. Вошла и слушаю её молча.

Говорит, а сама гостинец вынимает: большущий такой крендель. Сушки — маленькие, она их привозила в прошлый раз. А это — огромнящий такой крендель. Тётя Таня на него смотрит и сама радуется. И всем хорошо так от её лица светлого.

Мама говорит:

— Марьюшка, ты чего не здоровкаешься? Нехорошо-то как...

Я застеснялась и — ширк в спальню за штورку. Оттуда наблюдаю.

А тётя Таня:

— Марья! Иди сюда. Ну, подумаешь, не поздоровкалась! Может, забыла.

И улыбается.

Я подхожу. Она подаёт мне крендель. А я вместо «спасибо» говорю:

— Здравсьте!

У меня в голове это слово застряло.

Все смеются. Мама говорит:

— Вот это да! Только за крендель здоровкаешься? А спасибо?

А я от растерянности, что ли, спрашиваю тётю Таню:

— А что ещё в сумке есть?

— Хочешь ещё поздоровкаться? — весело спрашивает папа.

Все снова начинают смеяться. И мне весело.

«Ой, ой, о-ё-ёй...»

Наконец-то в Батраках мы купили корову. Радость какая! Известно: корова на дворе, харч на столе.

Корова была большая и пёстрая. Звали её Ранеткой. У неё было белое пятно на лбу. И ещё по одному на спине и на боках. Большущие и тоже белые.

Умница была Ранетка наша. Можно и не ходить, и не встречать её из стада. А я любила это делать. Мама доить начнёт, а она её лижет и мычит. Куда как соскучится. Молочница была. И хоть бы кого тронула когда. Не пырялась. Золото недооценённое, а не корова!

На нашей стороне Волги, на правой, не было травы. Траву мы возили с левого берега на долблёнке. Лодка из цельного дерева. Большая такая сомина, метров пять длиной, а то и поболее. Края лодки обшиты досками. Лавочки — три штуки. Две пары вёсел. Всё основательно так. Папа звал нашу лодку почему-то редедей*. На носу лодки — цепь. Рядом якорь. Была ещё для неё рама на колёсах, как тележка. На ней возили лодку, когда вода убывала.

Лодку оставляли на зиму на берегу. Для этого была цепь и огромный замок. Всё, что связано с лодкой, Волгой, нашими поездками за сеном, мне так по душе было. Папа всё говорил, что мне бы мальчишкой надо родиться. И правда. Я жалела, что такого не случилось. Особенно я любила, когда в затоне плыли. Тихо кругом, вода гладкая, как в блюде. Слава с Володей на вёсла наваливаются. То лопасти глубоко в воду погружают, то в небе ими, как папа, усмехаясь, говорил, «колёса крутят».

А папа гребёт, не торопясь, экономно, как бы играючи. С уважением к воде... Спина у него прямая, не прогнётся. По-другому ему нельзя с его позвоночником. Руки работают, как механизмы какие. Будто казак в седле сидит. Красиво!

...Сена на лодку навалим целый воз и плывём потом по течению. Дух захватывает!

Левый берег ровный такой. Правый — стеной стоит. Наверху, в Костычах, церковь. Помолюсь потихоньку на неё, невольно, рука сама... и сажу, чуть дыша. Чего только глаза ни видели потом за жизнь, а эта вот картина...

* Очевидно, имелся в виду известный в своё время на Волге буксир с железным корпусом и двумя паровыми машинами «Редедя князь Косоогский», построенный в 1890 г. по заказу судовладельца Ушакова. О «Редее» — первом силаче Волги, ходили легенды. Рассказывали, что он водил на буксире до сорока некрупных барж.

Знала, что в церкви-то тюрьма устроена, а всё равно помолюсь... Купола притягивают.

...Папины истории любила слушать.

О том, как в старину царь Иван Грозный в походе своём остановился в наших Жигулях. И захотел он своё войско сосчитать. Велел каждому воину своему горсть земли на одно и то же место бросить. Каждый и бросил, коль царь велел. Так образовался курган великий. С тех пор зовут его Царёвым.

Как мне хотелось на этом кургане побывать! Ещё я больно желала Разинский — Молодецкий курган увидеть. Столько про него слыхала... Песня про него... какая могучая!

И ещё одна песня была. Особенная. Я всё ждала, когда папа вспомнит про неё. Он часто её пел. Откуда она такая у него?

*Ой, ой, о-ё-ёй,
Дует ветер верховой,
Мы бредём босы, голодны,
Камнем ноги порваны.
Ты подай, Микола, помочи,
Доведи, Микола, до ночи.
Эх, ухнем, да ой, ухнем!
Шагай твёрже, друже.
Ложись в лямку туже.
Ой, ой, о-ё-ёй.*

...Сомовину у нас вскоре украли. Замок отбили и укатили. Тут уж нам совсем тяжело с сеном-то стало...

* * *

А на следующее лето новое несчастье. На бедного Макара все шишки валяются. Пропала наша Ранетка. Папа пошёл встречать, а её нет.

Он к пастуху:

— Где Ранетка?

— Не знаю, все были здесь...

Ходили-ходили мы с папой. Нашли. Собаки её покусали. Там сады и колючая проволока. Она на колючке повисла. Сзади вымя как будто ножами посекали. Кожа и мясо клочьями мотаются. Скотину водить — не разиня рот ходить. Да, разве разиня рот ходили? Нас не хватало. Туда-сюда... Пришлось папе зарезать Ранетку. Так я ревела тогда, убежала в сарай...

...Сколько уже годов прошло, а всё помню папины песни и Ранетку. Да разве только их?..

Будто лямка-то бурлацкая до сих пор... И плечи от неё горят.

* * *

Всё к одному: лодку украли, коровы не стало. Горе. А тут как обухом — война! Сравнимо ли с нашими прежними бедами?

Ой, ой, о-ё-ёй...

Пошло-поехало!.. Серёжа, едва окончив курсы трактористов в Батраках, ушёл добровольцем. А мы, которые остались, казалось, были вдали от войны, а не в стороне от неё. Похорожки начали приходить, раненые поступать. В Сызрани одиннадцать госпиталей развернули для фронтовиков.

От Серёжи, брата, ни единого письма с фронта. Где он? Что с ним?

Неучи

...Старшая сестра Надя недовольная всё была, корила родителей: «Вот вы купили дом в Батраках. Дети неучами остались». Она так говорила, потому что на поездки в Сызрань нужны были деньги. А нас пятеро, кроме неё. Где их столько взять? Таня, когда окончила седьмой класс, всё же поступила в трикотажный техникум в Сызрани.

А война началась, ушла из него. Поступила в военное училище, эвакуированное из Москвы в Сызрань.

Есть нечего, носить нечего — она так и решила. А подружка Тани, Роза Ивантеева, доучилась в техникуме. Уже после войны в Ригу попала. Там замуж вышла. После институт окончила. Раза два приезжала в Батраки. Я её видела. Как не наша стала. Чужая. Будто и не тут родилась. Первой не поздоровкается. И говорить как-то по-другому стала.

А Таня всю войну прослужила в метеорологической службе. Они с Леонидом и поженились на фронте. В Польше. Расписались. Он — лётчик, не хотел откладывать на потом. Каждый раз мог не вернуться с вылета. Командир полка выдал молодожёнам подтверждающий документ, что они в законном браке. С печатью и росписью документ.

Обоих уже в живых нет, а бумага сохранилась. У меня в Надые в шкафу лежит до сих пор. Для чего храню, и сама не знаю.

...Любила я Таню очень.

Молочко от чёрной козы

Не стало у нас коровы Ранетки, прошло какое-то время, мама сильно заболела.

В войну какое питание? Вот и сказалось... И о Серёже неотступно она думала: где он, что с ним? Не случилось бы самого страшного...

Уже лёжкой лежала. Врач посмотрел, послушал и говорит папе: — Хочешь, чтобы Раиса Фёдоровна была живая, усиль питание. У неё слабость от недоедания. Молочка бы...

Шумилина Василиса родом из-за Волги, с Бестужевки. К ней родные из села привозили зимой на санках, а летом на лодках молоко, тыквы, смородину. Торговали потихоньку.

— Коза нужна, — говорит отец. — Помоги купить.

— Ладно, спрашиваю, — отвечает Василиса.

На другую неделю родственница её приехала тыквами торговать и ведёт на верёвочке козу. Чёрная коза такая. Нам подсказали, что бы молоко было от чёрной козы. Полезней. Она чёрную и привела.

Появилось молоко, мы стали то лапшичку, то кашку манную варить. То так мама попьёт. Яички на последние деньги покупали. Поднялась мама. Стала потихоньку ходить. Эту козу Маню она так полюбила, так потом её берегла...

Разговаривала с ней. Они умные, козы-то. И чистюли. Вот откуси сначала сама, а потом дай ей. Дак она аж губы скривит и отвернётся. Видал, какая?!

Солнышко с веснушками

В войну под нашим бугром нефтебаза была. Часто там либо солярка, либо бензин попадали в Волгу. Сильно рыба пахла. С баржей качали мазут, керосин, машинное масло, бензин в баки, потом в цистерны. И везли куда надо — на войну.

Ребята рыбачили подальше от нефтебазы.

Володя летом спал на сеновале, чтобы не тревожить нас утром, когда уходил на рыбалку. Вечером нароет червей и махнёт, едва солнце появится.

Папа всё шутил: «Смотри, промысловик, утонешь — домой не приходи!»

Часов в восемь-девять утра Володя уже рыбу несёт. Кукан до самой земли висит. Подкармливал нас сорожкой, густерой. Папа не рыбачил, Слава тоже. Серёжа на фронте.

На папе многое держалось в доме. На рыбалку у него здоровья не хватало.

Летом мы мясо не видели. Какое мясо? Суп варили с яйцом, картошкой, луком. Бочку из-под огурцов после зимы папа пропарит, чтоб не пахла, и делали квас. Восемь вёдер. Мама умела приготовить квас хороший. Хранили его в погребе. Погреб набивали снегом, сверху насыпали опилки. Если отец курицу зарежет, то сразу сварит, покруче посолит. И бульон готов. Из бульона потом суп — пожалуйста.

Керосин бывал очень редко у нас. Летом варили на таганке: круглое кольцо такое из железа и три ножки. Всё во дворе, на свежем воздухе. Многие в Батраках так делали.

Посёлок потом в 50-е годы переименовали. Стал город Октябрьск. До того был районом Сызрани.

Что-то не шибко заметно было, чтобы от этого переименования лучше стало. Долго ещё «батрачили».

* * *

...Помню, Володя судака поймал. То всё бель небольшая, а то судак. Наверное, около двух килограммов. Прибежал весь чумазый. А довольный-то! Ещё бы! Никогда такого не ловил. Соседи приходили смотреть. А он говорит и говорит. Как добычу вытаскивал, как чуть было не упустил. Радость плескучая:

— Я так хотел его вам всем показать. Чтоб видели, какого поймал! Смотрите, он длинней моей руки!

Папа приглаживает усы и спрашивает:

— А крючок-то он оторвал?

И тут только Володя увидел, что леска без крючка болтается. Удочка у стены сеней стояла. Как пришёл, так и забыл про неё. Всё про судака да про судака...

— Это Санька Кичайкин слямзил крючок. Ему завидно было, что такого поймал! — огорчённо высказал догадку Володя.

Спрыгнул с крыльца, подскочил к удочке и — в слёзы. Лицо мокрое. Только что было сияющим, глаза блестели. А тут, как старичок. Сел на порог и в землю глядит. Таким горестным стал. Жалко...

Папа говорит:

— Когда ты сильно торопился домой, может, за камень зацепил и не заметил, как он оторвался. Не спеши дружка своего обвинять. А если не он виноват? Потом самому нехорошо будет.

Сказав так, пошёл в сарай и принёс крючок.

— Возьми. Я его давно берегу. Как знал, что сгодится.

— Папа, ну он же большущий какой! На него не порыбачишь. Даже червяка не насадишь. Червяк тоньше, чем крючок.

— Верно, — согласился папа. — А что же делать? Тогда иди ищи, где шёл.

Володя встал и направился к калитке:

— Я всю дорогу проверю.

— Там камней-то сколько! Километр до Волги, разве каждый осмотришь, — сокрушённо говорит мама. А сама всё вокруг удочки смотрит: нет ли тут где крючка!

Володя ушёл часов в одиннадцать. Дождь начался. Потом громовень такой накатил. А его всё нет. Возвратился чуть не под вечер. Нашёл крючок! Вернулась пропажа. И Володя — как прежний стал. Светится!

Штаны совсем загваздал. На коленках ползал. Руки грязные, губу о камень рассёк, а довольный...

Снова стал собираться наутро на рыбалку.

— Надо раньше, — говорит, — встать, а то Санька моё место займёт, он видел, где я судака вытянул.

Деловой такой. А годков-то всего семь, но решительный!

На того судака, которого принёс, он уже не смотрел, ему надо было поймать другого. Ночевать пошёл на сеновал, как обычно.

И, правда ведь, поймал судака раза в два больше прежнего. На весь наш курмыш прославился.

У нас был праздник во дворе. Помню конопатое Володькино лицо до сих пор. «Солнышко с веснушками», — мама так сказала тогда.

Укатали Сивку

Со спиной у папы полегче стало. Но сердце — никудышное. По дому полно работы, а он не больно мог.

У нас во дворе большой чурбак стоял. Вместо стула ему служил. Сядет на него, выпрямив спину, и рубит дрова. По-другому не мог.

Недалеко от нас была сапожная мастерская. Папа устроился туда ночным сторожем. Как устроился? Маму оформили, а он ходил.

Я раз пошла к нему за ключом от сарая, с собой унёс. Зашла, а он лежит на полу без сознания. Дверь открыта. Изнутри крючок накинуть не успел. Сколько так лежал, неизвестно. Я — в рёв. Он очнулся, еле его подняла. Долго сидел, потом потихоньку пришёл в себя.

Мама в тот день утром, до того, как такое случилось, за завтраком говорила:

— Ох, не к добру. Повержилось мне ноченькой, будто домовой в углу за печкой хлопотал. Шапку одевал всё свою. Она сползает, а он одевает её... И всё никак у него не получается. А потом, когда я уж вроде совсем заснула, подошёл он и погладил меня рукой по голове. Легонько так. Седой весь и сухонький такой. А рука холодная у него... Не случилось бы чего...

— Будет городить-то, детей пугать небылицами. К тебе одной он только и приходит.

Мы, ребятня, слушали и посмеивались. Папа видит, что нам весело становится, добавляет очень даже серьёзно:

— И то! Аксюте вон с Муранки, сказывают, домовый наемни пятку прострелил. Оттого она и хромает. Не тебе одной внимание... За дело, значит. Не будет воровать больше. Говорят, обернётся свиньёй и шастает вдоль дворов. Кругом колдуньи развелись...

Так утром было, а вечером вон как получилось. Не к добру посмеялись. Верь — не верь. Что хочешь делай!..

Привела я папу из сапожной домой. Он с Надеей остался. Мы с мамой пошли сторожить мастерскую.

Потом он говорил маме:

— Не дай Бог, кто бы вошёл тогда, взял чего. Там же инструменты, кожа, обувь. Мы бы за всё не расплатились. Что делать-то?

Мама в ответ:

— Детей поднимать надо. Пойду работать я. Будем больше огородом заниматься. Как-нибудь. Что ж теперь: закрыть глазки да лечь на салазки? От сапожной придётся отказаться.

— На тебе и так столько, ты ж не кокорная баржа*, — убивался папа.

* * *

Поступила мама в швейную мастерскую. Недалеко от нас. Маскхалаты шила для фронта, рукавицы. Там работает, придёт домой, дома шьёт. Кто с каким заказом придёт, то и шьёт. Работала ночами.

Купили лампу керосиновую. Вешали её на крючок к потолку. Называли мы её «молния».

* Кокорные суда рубили из кокорновых деревьев, то есть из таких, которые вместе с корнем из земли выворачивали. Ствол такого дерева вместе с корневищем обрабатывали топорами, отчего копани для барж и шхун получались из одного куска и были намного прочнее составного. Цельные корпуса терпели воду более ста лет.

Досталось маме с этим шитьём. По дому прибрать, сварить, накормить всех. Где столько времени взять? В постоянном недо-сыпе ходила.

Папа очень переживал за неё. Тогда мы, ребятня, почти совсем не болели. Будто знали: кому за нами ходить? Я вот на старости теперь думаю: за что папе судьба такая? Никого не обворовал, никогда не посягал ни на что. Смирненно жил и работал.

У нас и фамилия сама за себя говорит: Смирновы. Смирненные, значит.

Ведро кильки

Папа принёс из магазина ведро кильки. На всех на нас за два месяца взял. Больше ничего из продуктов не было, карточки пропали бы. День поели — опились. Мама говорит: «Это не дело. Надо кильку продавать, а на вырученные деньги что-то покупать другое. Нельзя одну кильку есть».

Папа решил ехать в село. Поехали мы с ним на «Трудовом» до Сызрани. Потом от Сызрани ещё до Кузнецка.

Приехали рано утром. Папа початое ведро с килькой в мешок поставил и несёт его через плечо. Пришли в село. Там посередине речонка такая, весной она разливалась. Подходим к ней. Мостки весенней водой снесло. Народ разувается и в ледяной воде переходит вброд.

Папа разулся, перенёс ведро. Речка метров шесть-семь шириной всего. Вернулся. Взял меня подмышки, перенёс.

Деревенские по солёной рыбке соскучились. Мы мигом её распродали, купили почти полное ведро квашеной капусты. Ещё что-то, не помню. Домой приехали поздно вечером. Рады-радёшеньки!

* * *

Когда в Муранке были, какой-то старичок ветхий попался. Больно приветливый. Седой такой. Папа попросился останавливаться у него, когда будет приезжать ещё в село.

— Жалко, что ли, живи, — говорит.

Папа стал к нему наведываться, ходить по деревням соседним. Заглянет во двор, спросит:

— Посуда худая есть?

— Ой, да полно. И тазы, и кастрюли!

У него племянник в Сызрани в жестяном цехе на железной дороге работал. Обрезки жести, которые на выброс, приносил моему папе. А он — всё в дело.

Зима наступила. Папа свою поклажу на салазках начал возить. Тридцать километров в один конец. Так вот пропитание и зарабатывал. Ведро починит — картошки насыпают. Кастрюльку заклепает — капусты дадут. Однажды он заработал аж мешок картошки и ведро кислой капусты.

Утром рано вышел домой. В начале марта дело было. Повалил мокрый снег. Пять шагов пройдёт с салазками, спереди них куча снега. Рукавицами разгребёт, дальше путь торит. До самого вечера, целый день, шёл с грузом своим.

Около нового вокзала, где Надя работала, стояли одноэтажные бараки. В одном из них контора её была. Папа потом говорил: «Тащился и думал: Господи, помоги мне, чтобы я застал её на работе. Не ушла бы домой. Упаду и не встану».

Совсем обессилов, оставил салазки метрах в двухстах от барачков. Когда вошёл в контору, Надя ахнула. Лицо у папы бледное, сам шатается. Еле шевеля губами, говорит:

— Иди, помоги! Шут с ними, с продуктами. Салазки упрут. Жалко.

Эти салазки он сам делал. Полозья железом оковал. Спереди и сзади перекладинки. Всё чин-чином. Верёвка крепенькая, беленькая. Такая, чтобы на шею и подмышки хватало.

Пришли они: салазки с поклажей на месте. Впряглась Надя. Говорит:

— Садись на мешок с картошкой.

— Ну да! — отвечает. — Надрываться будешь. Я уж как-нибудь сам.

Палкой упёрся сзади в салазки:

— Ты только потихоньку, ладно? Чтоб я попевал.

Добрались до барака, он совсем обессилен.

Три дня не вставал. И потом долго болел.

Говорил, что пожадничал с картошкой да капустой-то.

Тётя Паня

У тёти Пани два сына росли. Оттого на чердаке у неё всегда какая-нибудь обувь была. Я босиком прихожу, она:

— На вот, отец, может, починит! — И протягивает какую-нибудь обувь.

Я несую её папе.

Один раз говорю:

— Тётя Паня, можно я с подружкой приду?

— Приходи, — отвечает.

Боялась я одна вечером ходить. Не больно далеко, а страшно-ва-то. Она жила у самого оврага. Крайний дом. Тётя Паня меня частенько просила то полы помыть, то ещё что. У меня своих дел дома по горло. Мама пускать не стала. А я скорей-скорей дела сделаю дома и украдкой — к тёте Пане. Не могу отказать ей. Бегу. С ней интересно.

Ну вот, с Ниной идём к ней. Вышли к оврагу: тут тебе целая стая собак. Только шелохнёмся, они рычат. Нинка дёрнулась было, они на неё. Она споткнулась и разорвала подол у платья.

Генка с Витькой выбежали, шуганули собак. А Нинка стоит, не шелохнётся. Подол у неё весь распахнут.

...Тётя Паня работала в магазине. Выдавала по карточкам продукты. Так-то она была Прасковья Самарина. Но все её: «Паня» да «Паня». Мы, малые-то, конечно, «тётя Паня». Когда она в магазине отпускала по карточкам чего, то отрезала те, по которым отovarивала, ножницами. Дома наклеивала их для отчёта на картонки всякие, обложки от книг. Мы ей помогали это делать. Их же вон сколько, этих карточек.

Возмись с ними, а она нам сказки рассказывает. Страсть сколько знала. То про село Подгоры, то про Выползово, а то про Каменное озеро. Все наши места, волжские. Мы допытывались: не сама ли она их сочиняет. Она не признаётся.

Один раз рассказала, как явился воздушный город*. Мы не поверили, думали, она опять сказку придумала. Город на небесах! Мыслимо ли? А когда приехал из Жигулёвска Илюшка Юрьев, подгорянский родом, и рассказал, как он тоже видел такое, мы и не знали, что думать...

* * *

Пришли мы к ней, она говорит:

— Надо быстренько составить отчёт по крупе.

Мы и начали ей помогать наклеивать карточки. Сидим на полу, разложили всё как обычно. Стали считать: не хватает одиннадцати килограммов пшена. Тётя Паня заплакала.

— Да что же это такое, Господи! Что же мне не везёт так? Да где же я столько возьму теперь?

Глаза её стали круглыми, как не её:

— Посадят ведь!

* Ладоград — небесный чудо-город. Рассказывают, что он возникает над вершинами наших Жигулёвских гор. И я слышал о нём, да не видел. Появляется, как говорят, этот город в небесах при определённых атмосферных условиях. Покрасуется, будто подразнит своими сверкающими маковками церквей да колокольчиками, и исчезнет... Сказка не сказка, мираж не мираж?..

И такими горячими слезами плачет:

— Лучше своё отдать, чем чужое брать! Что же будет? Зачем только я согласилась взяться за эти карточки. Не по Соньке салазки!

Мне жалко её стало. Жальче некуда. И вот что мне в голову втемяшилось. Говорю:

— Тётя Паня, пойдёмте в магазин. Может, где осталось там пшено? Может, вы не увидели.

Она — сквозь слёзы:

— Ну, как же, мешок-то был один. Весь он и кончился.

Мы всё-таки пошли. Вечер. Темно. Открыла дверь, вошли.

— Вот он тут лежал, — говорит. Взяла мешок и кинула его, пустой-то, на пол.

А я смотрю: гвоздь в полу торчит. Вот такущий гвоздь! И мешок порван.

— Ну-ка, посветите, тёть Паня, получше свечкой, — прошу, — что-то там жёлтенькое в щелях внизу!

— Правда, что ли? — не верит!

Пошла она на склад, принесла гвоздодёр. Отодрали две доски, а там вот такой вот горкой, под самые доски — пшено. Пылища. Ну, мы потихоньку ладошками с горки берём и в посуду. Много набрали. Она взвесила потом, чуть ли не всё пшено вернули.

Тётя Паня говорит:

— Какая светлая, Марьюшка, у тебя голова! А я, сорока, такую кашу заварила. Хорошо, что ты вовремя сообразила, а то... Что было бы со мной? Крысы и мыши растащили бы всё за ночь. А с грызунов какие карточки?

Вот в чём беда-то...

Картошка, тыква, свёкла, огурцы — основная наша еда. Она нас спасала в войну. Хлеб, если был, то по карточкам. Я все нормы хлеба, кому сколько, помню до сих пор. Может, помню оттого, что он, хотя с перебоями, но был. Остальное: сахар, масло, пшено — на них карточки давали, а сами продукты — кой-когда... Если два месяца карточки из-за отсутствия продуктов не отовариваются, их выбрасывай. Они уже не действуют. Через два месяца может быть та же история. Оттого и не помню нормы. Никакую крупинку от продуктов не выбрасывали. Папа сделал ступку, пестик из дубового полена. Все отходы дробили и — в дело. У нас на огороде перестала родиться картошка. Земля выдохлась. Решили сеять рожь. Рожь высокая уродилась, красивая! Непривычно.

Папа смастерил мельницу. Сыплешь рожь, мука на глазах получается, только не ленись: туда-сюда двигай большой такой, с двумя ручками, валик. Он движется по широкой лавке, обитой железом. Муку сметаешь в банку. Она тут же, прикреплена внизу лавки. Рожь убирали серпом. Солому соседка порезала помельче, обдала кипятком и — своей коровёнке Зорьке скормила.

Но без картошки никуда. Решили мы её сажать на целине. С ней целая история вышла, с картошкой-то... Расскажу потом.

* * *

Часто не было спичек. Особенно в начале войны. Спичек нет, а огонь нужен. Папа смастерил малюсенькую коптюшку, размером с палец. Сделал фитиль из ниток от чалки* и водрузил коптюшку в печке на загнетке. Там эта коптюшка и хранила огонь. Светился комелёк!

Если были спички, их продавали не в коробках, а по сто штук, пучком связанными. С такой ленточкой, о которую ширкать, чтобы спичку зажечь.

Мы звали папину коптюшку «мышиный глаз», а папа уважительно: «огниво».

Он сам следил за огнём. Никому не доверял. И расход керосина сам контролировал. Керосин тоже редко был в продаже.

Этого не было, того не было. Многие страдали, не выживали. Но у нас был наш папа. А у других отцы — на фронте. Вот в чем беда-то: без отца жить.

Балонки

Верхнюю одежду многие у нас шили из байковых одеял и шторок. Нас, Смирновых, что спасало? Когда с Востока приехали, кое-что из материала привезли. Простая хэбэшная толстая ткань была, в полосочку. Мама из неё шила брюки и рубашки. Большим — из чёрной или тёмно-синей. Малым — из белой. Папе из старья всё переделывала.

Не было ни чулок, ни носков.

А тут кто-то сказал, что на баржах продают канаты. Канаты эти были из хлопка. Хорошие такие нитки в них. Папа сходил и купил. Красил народ эти нитки и вязали, кто чего.

Мне одиннадцать лет тогда было, в сорок втором году.

* Чалка — верёвка либо канат, которыми судно зачаливается к берегу или другому судну.

У тётки Ульяны детей нет. Сварит себе поесть и сидит у нас. Вяжет. Одной дома скучно.

Говорю:

— Тётъ Ульяша, научи меня вязать.

Она:

— Давай, учись!

— А из чего вязать-то?

— А вот из канатов этих.

Первые носки я папе связала. С дырками получились. Зашила. В войну каждый махор — ценность. Я потом носками всех обеспечивала. Вяжу, а мама их красит. Краску порошочками продавали, то коричневую, то чёрную. Уксусу не было. Брала из бочки рассол огуречный. Кипятишь, кипятишь носки в тазу, а потом их в рассол. Лежат, пока не остынут. Вынешь, прополощешь водой, они не линяют.

На базаре продавали валенки. Тут же, на толчке — галоши из автомобильных камер. Их называли балонными, эти галоши. А мы, детвора — балонками. Эти балонные галоши папа натянет на валенки, они как прилипнут. Попробуй сама сними! Надёжная обувка. И тепло, и непромокаемо! В любом снегу, мокром, не мокром, барахтайся. Красота!

Картошечка

Дали нам от собеса землю под картошку. На бугре-то целина-матушка. Пырей один растёт. Копали, копали. Умаялись. Папе копать тяжело. Мы пыхтели: Слава, Володя и я. Сели отдыхать. Папа говорит:

— Пройдусь вдоль сада, вон на тот край.

Взял тонкий прутик. Пошёл. У него привычка такая, когда идёт, вжикает эдаким прутиком.

Скоро вернулся:

— Дураки-то мы какие. Чего мы тут мучаемся? Там земля-то! Я ткнул прутиком, он чуть не на четверть влез!

А мы вскопали уже сотки две, а то и больше. Бросили. Пошли за ним. А там, пока шли, травка такая... Она с весны ещё выколосится и быстро сохнет. Колючая — страсть! Ступить нельзя. Пока добрались, все подошвы горят.

...Соток десять мы вымахали. Квадрат такой получился вскопанный. Пришли, маме рассказали, а она:

— Что сажать-то будете? Семена — не купишь.

— Думать надо, — отвечает папа, — может, что из одежды на толчок?

А мама уже все наши тряпки старые поперешила. Меняли их, меняли. Кончились.

Она говорит:

— Всего двести рублей осталось. Езжай в Обшаровку, купи, сколько можно, семенной картошки.

— Сколько я куплю на такие деньги, — чешет папа затылок, — не больше ведра...

— Сколько купишь, столько и будет. Остальное морковью засею.

И мы подались с папой на базар. Он любил меня брать с собой.

Чтобы рано быть на месте, мы поехали с ним вечером. У папы в Обшаровке знакомые были. Переночевали у них. На полу нам мягко постелили. Когда встали, папа говорит мне:

— За ночлег им кусок мыла, что ли, дать?

— Дай, — говорю, — ещё когда-нибудь приедем, где ночевать?

Мыло он сам варил. У машинистов-паровозников покупал каустическую соду, которую они добавляли в котлы от накипи, а на рынке доставал баранье сало. Кипятил всё, а потом в самодельные жестяные формочки с перегородками разливал. Когда масса застывала, формочку опрокидывал — из неё вываливались кирпичики мыла.

Папа дал один кусок хозяйке, один оставил себе.

Она:

— Ах, Пётр Андреевич! Мыло-то мы так давно не видали. Теперь намоемся в бане.

— Ты его подсуши, — говорит он, — а то слишком мягкое, быстро смывается. Моя Рая на печке сушит.

— Это уж обязательно. Хорошо, что подучил. Рада-то как я!

Пришли мы с папой на базар. Кругом полным-полно народу. Мыло мы сразу продали потихоньку. А вот семена картошки никак не купим. Дорогая картошка. Не хватает денег даже с теми, которые он за мыло выручил. Я уж не помню, сколько это было.

...И вот стоит женщина. Рядом — ведро картошки. Проросла вся. Росточки бледненькие такие.

Папа спрашивает:

— Почём горох-то твой, хозяйка?

— Не горох, а картошечка, дедушка.

Папа всю войну с бородой ходил. Поэтому она его дедушкой и назвала.

— Это «смысловка» — самый хороший сорт. Я набрала, когда уже всё выкопали. С корней добирала. Вишь, пролежала до весны и сразу проросла. Липучая — страх! Ни один росточек не обломался. Бери! Не пожалеешь. Большой смысл есть. «Горох», скажет тоже!..

Говорит так и говорит, себе в удовольствие.

— А сколько ведро?

— Двести рублей.

— А у нас всего-то двести! — удивилась я.

— Ну, вот, видишь? Все в кон!

— «Смысловка?» — улыбается папа. — Смысл есть? Проверим, куда нам деваться?!

Пересыпали мы картошку в своё ведро. И поехали домой.

— Ба, что это за мелочь? Никогда такую не сажали! Учудили вы, не соскучишься, — мама долго не могла успокоиться.

Папа молчал себе.

Одного ведра наших семян хватило на весь участок. Мелочь. Сначала в лунку по одной клали, потом даже по две.

* * *

К сентябрю такая картошка вымахала! Тогда вовремя дожди прошли. «Смысловка» так «смысловка»! Очень крепкие корни у неё!

Когда взошла, мы сразу её пропололи. Дождик в первый раз помог. Прошёл кстати. Потом мы в неё еле влезли. Земли не видать. После второй прополки опять как по заказу — дождик!

И какая уродилась вкусная, белая. Рассыпчатая. Шесть больших мешков набрали! Возили мы её на нашей тележке. Пустую тележку в гору — ещё так-сяк, не очень трудно тащить. А вот с горы, с нашей поклажей такой, удержать тележку нелегко. Того и гляди вырвется. Махнёт вниз!..

Голубенькие носочки

Пришла я к тёте Пане, а она спрашивает:

— Марьюшка, у тебя когда день рождения?

— Не знаю, — отвечаю, — мне никто не говорил, когда.

— Ну, как так? Ты должна знать!

Когда вернулась домой, спрашиваю маму.

— Чтой-то так вдруг? — удивилась она.

— Так, — говорю, — надо.

— А я думала, ты знаешь. Двадцать пятого июля ты родилась.

— А сегодня какой день?

— Двадцатое августа, — отвечает спокойно мама.

...В следующий раз, когда пришла к тётё Пане, назвала ей мой день рождения.

— Не печалься, — говорит, — что прошёл. Это дело поправимое. На вот, подарок тебе! За твою прилежность. Больно ты мне с карточками-то помогаешь.

И протягивает голубенькие носочки. Беру, а руки у меня дрожат. Такие красивые, как же я их надену, с чем?..

— Бери, бери! — улыбается тётя Паня. — Всех наряднее будешь. Я их всего-то раза три надевала. А вчера постирала.

...Вышла я от тёти Пани. Сначала-то зашагала домой весёлыми ногами. А потом осеклась. Призадумалась: не знаю, как дальше быть? Обувки-то нет. Всё лето босиком. Как их носить-то буду?.. С чем? Иду и плачу с подарком этим.

Горе луковое.

Водичка

Воду до 30-х годов брали из Волги. Кипятили. А потом на берегу, где городская баня, около нефтебазы, поставили водокачку. Будочка такая, как домик, на колёсах. Вода уходила, будочку за ней подкатывали. Эта водокачка качала воду на все Батраки. И на улицах были свои будочки. В коммунальном отделе покупали талоны на воду. Один талон — 25 литров воды. Её тоже кипятили.

Давали по часам: утром два часа, в обед — два, вечером — два часа. Занимаешь очередь у будочки, подаёшь талон в окошечко. Открывают тебе краник. Наливаешь.

Без талонов воду не давали. Мы ходили за ней со своего бугра почти за километр. Так было в войну.

Потом уж нашли артезианскую воду. Только тогда колонки с этой водой появились прямо на улицах.

Около больницы поставили одну. И ещё ближе к нам соорудили потом.

Вода жёсткая очень, ржавчиной отдаёт. Холодная.

Зимой мы с папой набирали снега в тазы, вёдра. Снеговой водичкой мылись. Так многие делали.

Не знаю, сейчас можно ли теперешней снеговой водой мыться? Страшновато как-то...

Хлебушко

Война давила. По мосту через Волгу к нам шли поезда с ранеными, эвакуированными. А на фронт — составы с горючим, боеприпасами, танками.

Великое противостояние. А мы копошились около. Выжидали.

Помню время, когда кроме хлеба по карточкам ничего не давали. Было написано: сахар, масло, рыба. На бумажке этой. А так — не было. Потом полегче стало.

...Тем, кто занят на тяжёлых работах, тому положено было в день 800 граммов хлеба. Служащим — 550 граммов. Пенсионерам и иждивенцам, по-моему, 250 граммов. Вперёд по карточкам хлеб не давали. Надо было приходиться в магазин каждый день. На карточках был номер магазина, к которому прикреплён. А хлеб привозили когда как. Иногда только к обеду. Пекли недалеко, в пекарне. И на лошади, ещё горячий, только из печки — в магазин. Занесут его, дух хлебный по магазину. Стоишь и голова кружится.

Старшая сестра Надя получила на нас всех карточки на месяц и отдала папе, когда он зашёл к ней на работу. А они, как деньги были, лощёные такие. Как десятки, розоватые. Он их положил, карточки эти, в карман. И пошёл домой.

Мы обычно разрезали листки с карточками подекадно. Чтобы, если потеряешь, то не сразу все. А тут не успели. И фамилии не написали.

Положил он их на стол, карточки. Мама стала смотреть:

— А батюшки, где же ещё? Тут всего на четверых?

Нас шестеро было. Серёжа и Таня на фронте.

— Отец, где карточки-то ещё на двоих?

Беда!

Пошёл он назад. Нет, говорят конторские, не видели. Никто не приносил.

Мама:

— Не мог толком объяснить! Может, другие дали бы.

— Что ты говоришь? — отвечает папа. — Посмотри, что творится на мосту, на железной дороге. Беда какая! Сколько раненых везут. На мосту такое движение. Лётчики не только мост, они нас защищают. Вчера один не пожалел себя. Тараном пошёл на фрица*.

* Лётчик 802-го авиаполка Николай Шутов, охраняя сызранский мост от налётов фашистских бомбардировщиков, погиб в 1942 г., протаранив немецкий самолёт. За проявленное мужество и героизм Николай Шутов посмертно награждён орденом Ленина.

А тут я, растеряха: «Дайте мне ещё!..». Не должен я никуда идти!.. Хлебушко даром не даётся.

Так он расстроился. Плохо ему стало. Залез на печку и лежит. Стали обедать. Зовём его. А он:

— Не буду я есть. Сам себя наказал. Потерял. Как же я могу?

Мама начала причитать. Мы расплакались. Стали её успокаивать. Еле-еле папу уговорили сесть за стол.

Прошло три дня.

И вот тётя Паня обратила внимание на двух женщин.

На дороге работали рабочие. И, чтобы они подолгу не ходили и не стояли за хлебом, им его носили эти две подруги. У каждого из рабочих была своя сумка с биркой. Женщины каждый день получали и носили хлеб в этих сумках. И себе заодно брали по карточкам.

А тут наладились дополнительно брать. Сами отрежут талон от карточки:

— Вот, нас бабушка одна попросила, ноги не ходят. Отпусти!

И возьмут хлеб-то. В другой раз ещё как-то скажут. Наплетут.

Мама сказала тёте Пани о пропаже, она и спрашивает их в очередной раз:

— Откуда у вас карточки эти? Дополнительные.

Они замялись. То да сё.

Тётя Паня:

— Пётр Смирнов потерял карточки. Такой большой весь. И ртов сколько! Что же вы делаете? Нехристи! В милицию заявлю, коли не отдадите!

Они и закатили глаза под лоб. Признались, что подобрали их на тропинке.

Тётя Паня отдала мне карточки. Я бежала домой, ног не чуяла. Ой как хотелось папу обрадовать. А то он, бедненький, только делал вид, что ест. А сам так, для отвода глаз...

Ржаные пышки

Под Новый год приехала к нам из села Качим Настёна Жигулина — двоюродная сестра мамы. Привезла пышки. Мы так наелись этих ржаных пышек!

Тётя Настя была большая. От неё тесно в избе. Крепкая. Сама, как пышка.

В стареньком, но крепком таком полущубке в сборку на талии. В рукавицах из овчин. На голове белый платок, а поверх него тём-

ная шаль. Под подбородком большущая булавка. На ногах, обтянутых обмотками, — самодельные лапти.

У неё осудили мужа Парфёна за невыплату налогов. Сидел он в Костычах. В церкви, которую приспособили под тюрьму. Без мужа Настёна не сдавалась. Здоровенная. Плут таскала сама. Корову жалела, вдруг, молоко пропадёт. И лыко драла, лапти плела. Ими торговала.

Я, когда подросла потом, все говорили, что вылитая она. И лицом, и так. Да где уж мне! У меня наполовину от папиной породы.

— Петенька, я тебе оставлю пышки-то. Ты навещай Парфёна, тут не так уж далеко. Хотя бы раз в неделю. И передавай пышки, по две-три. Он такой большой, ему еды надо не как всем. Был раньше богатырь, неуломный. Теперь скукожило. Ослаб сильно. Боюсь я за него...

Боялась за мужа. Но не до конца чуяла, что может случиться... Я снова видела Парфёна, до того ещё, как его посадили. У него на правой руке не было трёх пальцев. Но здоровущий! Прямо Никитушка Ломов*, про которого нам папа рассказывал. Думала: как его можно победить, такого?

А Настёна! Необъятная, как Волга. Часто молчаливая, она могла развеселиться и с ходу запеть.

И в нашей избе тогда от её голоса, странно весёлого, сразу получался как праздник какой!

*Я росла и расцветала
До семнадцати годов,
А с семнадцати годов
Мучит девушку любовь.*

Папа подпевал ей слегка насмешливым голосом. Вроде и подерживал эту её весёлость, и не совсем верил ей:

*Ах, Самара-городок,
Беспокойная я,
Беспокойная я,
Успокой ты меня!*

Настёна шутя клала папе на плечо свою ручищу и они играли песню до конца. В этот раз, переглянувшись с мамой, она ядрёно сказала:

* Никитушка Ломов — волжский силач-бурлак. Хозяева судов дорожили его огромной силой. Он работал за четверых и получал паёк тоже за четверых. На Волге про него рассказывали чудеса... Бывало, будто Ломов шутки с бурлаками шутил: «Ну, братцы, кто меня перегонит? Идёт на полштофа?». «Идёт». «Я побегу бечевой, под каждую руку по девятипудовому кулю возьму, а вы бегите порожние!» Ударятся бежать, и всегда Ломов выигрывал.

— Хороший, Петя, у тебя голос, а у мово Парфёна гуще. Как из трубы! Слабо тебе!

...Тётка Настя уехала, а папа исправно носил пышки в тюрьму. Ни к одной, которые она привезла для мужа, никто из нас не приотнулся.

Однажды папа приехал сам не свой. С Парфёном он успел свидеться. Но его вот-вот должны были перевести под Самару. Теперь ему предстояло считать свои денёчки на Гавриловой поляне.

Папа ездил потом к Парфёну на новое место. Говорил нам, что не допустили его к нему. Он после этой поездки совсем перестал улыбаться. Я догадывалась, что он видел Парфёна, только говорить не хотел нам. Узнал что-то страшное. Он несколько раз после поездки больно подолгу молился в переднем углу перед иконами. Думаю, за Парфёна просил.

...А Настёна вершила свои дела. Молча и упрямо. В колхозе, акромья палочек на трудодни, какие пышки заработаешь? То-то и оно... Продолжала она плести лапти, сеять лен. Делала обмотки. Тем и зарабатывала.

Накопила так. И выплатила все долги по налогам, за которые сидел муж. А как выплатила, написала в Москву прошение: отпустите, мол, коли не должен, Парфёна-то.

Пришла бумага об освобождении. Да больно долго шла. Поехала Настя за Парфёном. А он помер уже в заключении. Не успела бумага. Неторопливая была.

Настёна прожила недолго после этого. Чуть поболее года. Потемнела вся и иссохла. А потом и совсем сошла на нет.

Такая глыба!

Вот тебе и Самара-городок...

Успокоила обоих.

Тили-тили тество...

В то утро принесла я из магазина хлеб. Мама разрежала буханку, а из неё на стол вывалились чуть больше горсти мелкие, малюсенькие картофелины. Сырые. Жижга течёт. Мать в слёзы: «Чем я вас кормить-то буду? Карточек больше нет».

Я собрала всё в кучу и — к тётке Пане в магазин.

— Такие-растакие, я им покажу! — грозилась она. Дала мне взамен полбуханки, а сама — в пекарню. Разбираться мыкнулась.

Хлеба и так чистого не было: то в нём лузга от овса, то от пшена, красная. В пекарне воровали, конечно. Один Бог без греха.

Установили контроль. Сообщили куда следует и там меры приняли. Галя Краснова через неделю и попалась. А как дело было?

У неё две девочки-погодки. Муж на фронте. Привязался к ней со своими ухаживаниями милиционер Генка Ладяев. Дороги не давал. Я слышала, как она жаловалась моей маме: «Все ноги мне оттоптал. Не знай, что делать? Стыдно перед девчатами своими. И боюсь его. Страшает: не будет по его, мне несдобровать».

Выполнил обещание Генка этот. Остановил он её, когда она с работы домой шла. Поманил пальцем. Она подошла.

— Чевоёй-то у тебя в сумке-то? — спрашивает.

— Где? — перепугалась до смерти Галина. Поняла, что плохи дела.

— Где, где?! Сказал бы, где!.. В сумке, которую у тропки схорила. Не твоя, что ли?

Лицо Генки исказилось в изуверской радостной улыбке. Хрипловатым голосом, обнажив противные ей мелкие зубы под аккуратными рыжеватыми усиками, он неожиданно протянул забытое из далёкого детства:

Тили-тили тесто,

Жених и невеста...

Смолк вмиг. И в злобе:

— Докосоротилась!

Пошатнулась Галя. Повеяло ужасом от той кары, которая на неё вот-вот обрушится. Потемнело в глазах. Испугалась, что сейчас тронется умом. Станет ещё более жалкой и мерзкой, чем этот неуступчивый блюститель порядка.

Затравленно оглянулась. Будто ждала, что кто-то подойдёт сзади к ней по этой узкой тропиночке, на которой она встретилась с человеком в форме. Заступится за неё. Сейчас! Немедленно! Пока не случилось самое страшное, скажет слова, оправдывающие её.

Но кто мог подойти и сказать такие слова? И были ли они у кого тогда... такие, кроме неё самой?..

— Пристроилась коза к возу с сеном, — радовался своему Генка, — хорошо в пекарне?

Он обошёл Галю, поднял и вывернул сумку. А в ней: кусок теста. С кулак всего-то, ну, может, поболее...

— Как жеть, милая, тебя угораздило?

Говорил так, а у самого морду на урыльник свело.

— И теперь не согласна со мной? Не поздно ещё...

— Только подойди ко мне, зверь! — еле и сказала она.

Осудили её.

Потом за что-то ещё добавили, там уж, где сидела.

Муж не вернулся с фронта, погиб. Девчата выросли одни. Обе большие.

Паня всё корила себя, что побежала тогда в пекарню, когда картофелины в буханке обнаружили. Считала за собой вину. Всё говорила: «От дождя да в воду». Девочек Галиных привечала и помогла им, чем могла.

Потом они её, мать-то Галю, нашли. В Сибири где-то. Не помню, где.

Возвращаться домой Галя не захотела. Не ходячая уже была. Только мотнула еле послушной рукой:

— На кой мне теперь это?..

Природа плакала

У нас в саду яблонь не было. Одни груши и тернослив. Папа вдоль забора оставил их.

Всю войну на деревьях — ни одного цветочка. Только листья. Сама природа плакала от общего горя.

Грушу, говорили, убила медведка. На них даже листьев не было. Думали, что они погибли. Советовали папе: «Выкинь их». А папа: «Нет, стоят и пусть стоят. Никому не мешают».

Справа забор был из кольев, а с левой стороны от бабы Дуни — плетнёвый. Дров-то нет. Она потихоньку разобрала плетни и сожгла. Тонкие жёрдочки на меже положила. Как отметины.

Кончилась война. Хорошо всё помню. Как сады зацвели весной сорок пятого! Цвести они начали перед первым мая. Теплынь такая наступила. Все деревья цвели! И груши наши, и вишня. И яблони, у кого были. Всё бело-розовое! Выйдешь на крыльцо: аромат, как в раю каком! С такой силой ожили.

Первого мая папа говорит:

— Наверное, война последние дни идёт. В Берлине переговоры. А девятое настало: Победа! Словами не передашь радость!

* * *

Стали возвращаться домой с войны нашеньские, с Батраков. Чуть позже появились зять и дочь соседки нашей бабы Дуни. Дочь — с Ярославля, а зять Сергей — из армии. Этот Сергей сразу устроился на асфальтовый завод. Работал в штольне. Прилично начал получать и вскоре затеял восстанавливать забор, который хозяйка порушила.

Чуть свет в тот день начал ладить новую изгородь. Приземковатый такой, сноровистый. Я слышу, мужики разговаривают. Выглянула в окно, мама вышла во двор.

Папа говорит дяде Сергею:

— Что же ты делаешь? На целый метр сдвинул границу. Нехорошо так.

— А мне тёща сказала, что эти деревья её. Я своё дело делаю, а вы сами меж собой разбирайтесь, — так отвечает тот. И глядит рыбьим взглядом.

Папа ругаться не умел. Расстроился. Пошёл в дом и прилёг. Спину ему натянуло. «Пьяный проспится, а дурак никогда», — так, помню, он сказал про Сергея.

Мама всё ж не выдержала:

— Не мог отстоять свой сад. Что с того, что у него вместо советских лопухи растут! Галуны ему надо бы почистить*...

А папа ей:

— Он за нас на фронте воевал, не могу я...

* * *

Потом оказалось, что Сергей этот в плену был. Партбилет свой где-то зарыл и не нашёл. Под трибунал пошёл. Говорили, вроде не виновен...

Отсидел и вернулся. Ещё молчаливей и угрюмей стал.

Однажды утром встали, а забор передвинут на старое место, где плетень был. Дядя Сергей передвинул.

Вернулись груши к нам, правда, старенькие совсем уже. А потом и сам дядя Сергей пришёл. Скупно так, с табачной хрипотцой, попросил прощения у нашего папы. Ворохнулось, видать, в нём что-то. Не дожидаясь ответа, вышел. Лицом серый такой...

...Я вот думаю теперь, вспоминая и детское, и что после было: ушибленные да увечные больше людьми становятся, чем другие. Что это? Неужто нас всех надо чем-то задеть крепко? Чтоб поумнели. Каждого в своё время.

Без этого будто нельзя...

«Да хоть весь съешь!»

Самые трудные месяцы у нас в войну были май и июнь. Картошка на исходе. Мама, уходя на работу, положит на стол две-три штуки. Я сварю суп. На огороде у нас была целая делянка с кра-

* Здесь: дать по шее, дать подзатыльник.

пивой. Нарезу и — в суп её. Если постное масло есть — красота! А нет — с козьим молоком. Простоквашу делали.

А тут прихожу из школы домой. На столе стоит тарелка, полная ломтей хлеба. Я села и съела один. Потом говорю:

— Мам, можно я ещё съем?

Она как заплачет! И сквозь слёзы:

— Да хоть весь съешь — карточки отменили! Теперь будем без карточек хлеб покупать. Не война!

Тут уж я вдоволь наелась хлеба.

Хлеб начали продавать по килограмму в руки. Народ собирался около магазинов в кладовые очереди. Так они назывались. Семьями выстраивались. Дня два-три пройдёт — и снова в очередь. Сахар, крупу разную тоже начали давать. Записывались в очередь. Многие и в этот год умирали.

А нас ещё тыквы спасали. Капусту солили. У нас она не росла. Воды мало для полива. Покупали капусту. Огурцы солили свои. Тыкву мама парила только в печке. В чугуне, большими кусками.

Я и сейчас в Надыме на рынке часто тыкву беру. Наварю, красота, как пахнет! Кроме меня, никто у нас в семье не ест теперь её. Удивляются:

— Как ты можешь хвалить её?

А я люблю тыкву.

Когда война закончилась

Когда война закончилась, на строительство дороги «Куйбышев-Москва» пригнали пленных немцев. На асфальтовом заводе три дома трёхэтажных было. Жили там местные. Магазин рядом. Мы ходили иногда за покупками. Такая грязьца кругом, ужас! Как жили?

Немцы чистоту навели. Дом, в котором они размещались, побелили. Держали их за тремя рядами колючей проволоки под охраной. И на работу возили под охраной.

Рядом клёны здоровенные росли. Они у клёнов этих стволы побелили. Землю вокруг вскопали, цветочки посадили. Простые: ноготки, ещё какие-то. Против прежнего там рай стал.

Дом стоял торцом к дороге. Написали на стене чёрными буквами на белом: «Мы победили!» Все идут и смеются: «Они победили?»

Одноклассница Надька Петрунина принесла в класс фотографию немца. Молоденький совсем, а рядом сестра и мать его. Плен-

ные немцы на свои фотографии хлеб выменивали. Больше у них уже ничего не было.

Говорю Надьке:

— Зачем тебе его фотография? У него она — память. Лучше бы уж дала хлеба так, без ничего.

— Мне его жалко, — отвечает, — он сказал, что не по своей воле пошёл воевать. У него глаза такие: я верю, он хороший. Ещё говорит, что скоро умрёт. Просил очень сохранить фотографию. Если родственники будут разыскивать его когда, показать её. Я обещала. Он так верит, что все образумятся. Придёт время, когда войн совсем не будет. А будет общий мир! Люди поумнеют. Только, сказал, уже без него. Видишь, на обороте его имя есть.

Мне захотелось посмотреть на этого немца. Мы с Надькой пошли к бараку. Но поздно. Скрюченный весь, глазастый немец сказал, что Вернер ночью умер. Закопали его в овраге. Там рядом этих оврагов было полно. Зима. Метель. Пойдёшь, что ли, туда? Страшно.

* * *

Уже летом пошла я козам за травой. Смотрю, в овраге такая она зелёная. Я с мешком и серпом — туда. Только спустилась, как заору. Бегом оттуда. Выбежала, вся трясусь. Там, внизу, в рвине этой, скелет человека лежит. Видно, зимой долбить пленным тяжело было землю, слабые. Вот они его в снег и закопали.

Выбежала я наверх с пустым мешком и серпом. Еле отдышалась. Стою, не уйду. Смотрю и смотрю туда, в овраг. Толкает меня ещё посмотреть. Спустилась. Лежит. Все кости целёхонькие. Когда пришла, рассказала Надьке. Втемяшилось ей, что это Вернер. И всё тут. Сильно плакала. Ходила в этот овраг без меня. У неё брат родной без вести пропал на войне. Может, оттого она так...

* * *

Потом уж, когда я в собесе работала, приходят двое мужчин к главбухше нашей:

— Вы, — спрашивают, — когда здесь пленные немцы были, работали при них?

— Да, — говорит, — работала. В трудовой книжке запись есть.

— Можете показать, где их хоронили?

— Конечно, — отвечает Ксения Ивановна.

Ходила, показывала.

Она потом говорила, что в Германии ищут своих. Вот и приехали эти двое.

Вот бы фотографию Вернера показать. Да Надькин след простыл. Уехала куда-то. А куда, никто из нас не знал.

Потом комиссия работала. Говорили, что вроде нашли захоронений одно количество, а по документам — другое. Несоответствие большое. Известно, как хоронили.

Кто кого у нас больно считал? И наших, и не наших...

Не плачь, братик мой

Считай, всю войну летом я босиком ходила. Все ноги исколешь. Вечно то на пятке, то ещё где нарывает. Зимой валенки какие-никакие спасали.

Помню, давали в собесе талоны на обувь. Отец взял и купил по такому талону в магазине сандалии. Так они мне понравились. Заграничные. Ремешки светло-коричневые, мягонькие. Но подошвы у них деревянными оказались — не гнутся. Ноги уставали в них. Идёшь, а они: бот-бот-бот... Зато я в голубых носочках от тёти Пани.

Тут другая весна пришла. Подросли ноги. Опять носить нечего.

У нас возле железной дороги канава была. Вся завалена чем попало. С поездов бросали всякое, так... хоботы* одни.

Папа приносит небольшой чемодан. А в нём ботинки солдатские из толстой кожи. Подошвы в палец толщиной. Оказались итальянскими. Сорок второй размер. Почему их выбросили, не понять.

Родители в один голос: «Одевай и — марш в школу!» Я маленькая, худенькая. Куда мне такие корабли на ноги? Мама с нами долго не разговаривала. Раз-два и вытолкала:

— Иди! Школу будет она пропускать!

Пошла.

У Надьки брат без вести пропал, а потом отец вернулся без руки. Тёте Поле дали в собесе талон на ботинки для Надьки. Такие ботинки оказались — чудо! Черные, с какими-то блёстками на носках. Явилась она в них в школу, мы и обалдели.

Я пришла домой, снимаю свои итальянские корабли и плачу. Папа посмотрел на меня, ушёл со двора молча. Вернулся с такими же из магазина, как у Надьки. Вот радости-то было!

А тут, как назло, дожди пошли. Подошвы-то у наших ботинок — и у меня, и у Надьки — расквасились, оказались клеёными из картона. Остались мы с прежней обувкой.

* Хоботы — старьё, хлам, старая одежда.

Когда брат Слава в ремесленное училище поступил, я ожила. Их там одевали с ног до головы. Он не успеет износить обувь, мне отдаёт. Хорошие полуботинки, помню, отдал. Брезентовые, защитного цвета. С резиновыми подошвами. Носки были очень.

Пальто мне в тот год Надино перелицевали и перешили по размеру. Седой уже материал был, а крепкий. Одни мы, что ли, так жили? Все перебивались.

...Мы с мамой пятилетнего племянника Володю из Бугурус-лана встречали. Поезд остановился. Я бегу, бегу... Мама отстала. «Батюшки! Где же Вовка-то?» А напротив как раз помещение железнодорожной милиции. Володю попутчики, которых сестра Таня попросила захватить его до Батраков, сдают милиционеру. Им дальше надо ехать, до Одессы.

Стоит Володя в пальто из байкового одеяла, крашеного. И чемодан фанерный в руке.

Когда шли втроём домой, мама сокрушалась:

— Беднота-то какая! В войну из одеял шили одёжку и до сих пор?..

Стало теплее. Снег растаял. Володе не в чем выходить на улицу. Сыро, в валенках не пойдёшь. Напротив, через дорогу, соседи кучу опилок привезли. Ребятишки играют, смеются.

— Бабушка,пусти меня,хоть на крылечке посижу...

— Иди,но чтобы только у ворот.

Он вышел. И не утерпел. Перешёл через дорогу к ребятишкам. Луки кругом. Как не промочить ноги?

Мама пошла, привела его:

— Больше не пущу. Валенки когда теперь просохнут? И ноги мокрые.

Володя под стол залез. И плачет там.

Сестрёнка его Настя, которая уже с полгода жила у нас, подползла к нему, обнимает:

— Не плачь, братик мой. Я тебя люблю.

Вошёл папа. Услыхал её слова, не удержался:

— Ах, ты, конопляночка моя ласковая, солнышко...

А мама своё:

— Ишь, жалельщица нашлась! И тебе, что ли, поддать?

А у самой глаза не на месте. Вот-вот расплачется, мама наша.

Зачем я всё это рассказываю? Сама не знаю...

Если бы из наших, Смирновых, кто космонавтом стал. Или ещё кем... Тогда бы, понятно. Интересно, откуда он? Где корни его? Как выжили?

А так — нету в нашем роду знаменитых. Живут незаметно. Незаметно и уходят.

Ясочка

На нефтебазе то ли бензин, то ли солярка при перекачке попала в Волгу. А рядом асфальтовый завод. Там овражек небольшой такой от реки шёл. На заводе два катера было: «Петрович» и «Звонкий». Говорили потом: один из команды «Петровича» возился с двигателями, разогревал или что. Уже осень была. И бросил факел в воду. А может, окурочек... Волга и вспыхнула. Многие погибли, кто рядом был. Тогда взад-вперёд суда ходили. Крутом копошились люди. Мне сверху видно, я ботву на огороде убирала. Зарево полыхало без краёв. Пристань стало не видать. Бросилась туда:

— Папа, папа! Миленький, только не попади в огонь! Боже сохрани! Тебе и так хватило!

Бегу и молюсь. А пионерка! Бога зову в помощь. Потом и слова пропали. Только мычу.

В этот день папа на дебаркадере стёкла менял. Попросили — он не отказался. Прибежала на пристань, а он целёхонький. Только чумазый весь, народ спасал, как мог.

Пострадало, не знаю, сколько. Много. Брат Володя только вечером пришёл с Волги. Принёс собачонку. Мужчина и женщина на дощанике плыли. Он и вспыхнул, дощаник этот. Оба погибли. Погибли они, а собачонка осталась целой. Он принёс её, а мама против.

— Мам, ну ладно тебе, она много не съест. Пусть живёт, спаслась ведь!

Уговорил. Согласилась мама.

Долго собачка у нас жила. Мы её Жучкой звали. Потом Жучка ошенилась.

Один щенок гладкий такой был, на коротких ножках. Шерсть жёсткая-жёсткая. Ясочкой назвали. Больно уж трогательный. Второго машиной задавило, совсем ещё маленького. Я его не очень запомнила, какой.

Ясочка в будке жил. Весной во дворе грязь.

Чуть подсохло, куры начали выходить на теплынь. В сарае дырка сделана. Они туда-сюда, сами заходят-выходят. Уже близко к Пасхе, а яичек совсем мало.

Сидим, обедаем. Папа говорит:

— Мать, а, мать, ты яички-то больно не расходуи. К празднику побереги.

— А я и не расходую, — отвечает, — вон иногда одно в кашу разобью. Не несутся чтой-то.

Прошло дня три. Надя идёт с работы на обед, Ясочка вылез как-то бочком из будки, остороженько. Встречает. Она гладит его, а он смотрит на неё внимательно, будто сказать что-то хочет. Надя говорит маме:

— Что-то у нас Ясочка сам не свой, озабоченный какой-то? То общительный всегда, а теперь?

А мы все так любили своего Ясочку. Характер у него мягкий, приветливый. И мама заметила перемену:

— Не заболел ли? — отзывается. — Пойду, посмотрю.

Собрала со стола остатки. Понесла ему. Я с ней. А Ясочка виляет хвостом. Как будто заманивает к своей будке. По кругу ходит.

Мама удивилась:

— Да что с тобой творится?

Подошли с ней поближе, глянули в будку. А там яички, поболее десятка.

Куры облюбовали местечко, а он им не стал мешать. Наоборот: бочком-бочком проходил в будку на свою лежанку. Так же бочком и выходил. Получается, за сторожа был. Подошла и Надя, забрала яички. Папа говорит ей:

— Хорошо, что ты надоумила нас посмотреть. А то бы он, как наседка, взял и высидел бы нам цыплят. Вот квочка была бы!..

Какие были снега!..

Мне кажется, что раньше и зимы были длиннее, и снега сильнее валили...

Как только через железнодорожную линию перейдёшь, сразу там порядок домов у Волги. На яру угловой дом Кондаковых. Зимой иной раз нанесёт такую косу снега, наравне с крышей прямо. Разок бабка Кондаковых, Кулиша, сидит у окна, вяжет носок. Все идут и смеются.

Она потом рассказывала:

«Что ж это такое? Не пойму. Почему всех наш дом сегодня эдак смешит? Сидела-сидела. Дай-ка, думаю, посмотрю. Выхожу.

Дед Мирон, шабер напротив, насмешник ещё тот, сразу мне:

— Ты, — говорит, — Кулиша со своей Манькой хочешь выше Самары быть? Главней? Начала бы с Сызрани, бычка своего б за-тащила, чёрненького*.

Ничего я не пойму, лопочет, не поймёшь, что... Пытается пройти, а колотушка его, которая вместо ноги, не даёт ему, снег рыхлый.

— Что городишь? — говорю. — Сам уж молоко кислое от пресного не отличишь! Слепота! А туда же: надсмехаться!

* Чёрный бык на золотом поле — герб Сызрани, утверждённый в 1780 году Екатериной Великой в ознаменование развития торговли скотом и хлебом.

А он мне:

— Ты, — говорит, — не ерепень. На кой её мне отличать-то? В брюхе всё едино перемешается. Какая ей разница! Голову подними!

Смотрю я, куда Мирон насмешливо указывает.

Ах, зараза такая! Коза Манька по снегу, который намело прямо под крышу, забралась на самый конёк. Стоит, как памятник. Назад повернуть, чтоб сойти, боится, вот и торчит истуканом. Все знают: наша Манька не коза — артистка! Иной раз такое выкома-ривает. У Самары-то герб города — коза! Вот Манька — вылитая эмблема и получилась, то есть герб. Живой такой. Только не на лазоревом поле, как положено на гербе, а на белоснежном.

— Что ж ты, — говорю в сердцах, — старый хрыч, попросту не скажешь. Всё с загогулиной.

А он лопату свою отставил в сторону, руки в боки:

— *Бабушка Варвара*

Упала с анбара.

Все коровы и быки

Разинули языки.

— Как был в парнях балалаечник, таким и остался, — говорю, осерчав, — видит бох!

Он своё мне:

— Что ж ты, Кулиша! Одно помнишь, а другое и нет. Мы ж с тобой эдак на вечёрках пели, совсем недавно, лет шестьдесят назад. А потом сколько ещё частух у нас было! Ты больше знала, чем я. Весёлой-то была! А ноне?..

Верно говорил, любила я частушки петь. Но куды всё подевалось? И не поют теперь так уж. И я не така, знаю. Чтой-то переменилось давно в нас. Года-то! О чём говорить?!

Мирон прищурился. Так вроде по-молодецки глянул на меня:

— А один-то раз, помнишь, колядовали вот в такие снега. Валит снег и валит! Еле пробиваемся по сугробам под окошками, а хоть бы што... Мы с тобой такие развесёлые. Ты незамужняя, я неженатый... И на двух ногах я. А у Скудаевых сидели, помнишь, что ты тогда мне сказала?

...Он потоптался, потоптался и ушёл в избу. А я что-то вроде и хотела сказать поприветливее ему, размягчилась, вспомнив золотые денёчки, да не сумела чтой-то...

Мирон ушёл, я кликнула внучка Митю. Залез он на крышу, развернул Маньку — дал ей направление в обратную сторону, откуда явилась. Она и пошла вниз».

У острова Серёдыш

Брат Серёжа то на войне, то в сорок шестом сразу женился и отделился от нас. В другом доме стал жить. Слава пропадал больше на огороде... А Володя и рыбачил, и плавать научился ещё до школы. И я с ним научилась.

На нефтебазе баки стояли огромные. Наливные суда останавливались и перекачивали, что привозили. Тянулось это хозяйство вдоль берега километра на два.

А напротив — остров большой. Это было ещё до строительства ГЭС нашей. Мы называли его Серёдышем. На острове песок крупный такой, жёлто-коричневый. Ребятишки уйдут подальше, туда, где станция, и переплывут на этот остров. А он чуть не посередине Волги. Рядом — судовой ход. На острове и лес, и кустарник. На него мы за ежевикой на лодке ещё плавали. Рыбаки сети ставили у этого острова.

Володя с друзьями переплывут на остров, передохнут малость, перебегут его — и на ту сторону Волги, вновь вплавь. И я с ними увязывалась. Плавала не хуже мальчишек саженьками, а ныряла получше некоторых.

Я потом слыхала, что ещё где-то на Волге был остров с таким названием. Но этот — наш. А тот не знай где ...

Не только на остров я за ними тянулась. На железную дорогу — тоже. Ложились на шпалы между рельсов и лежали, пока состав над головами громыкает. Главное, голову не поднять, выдержать. Чудище над тобой, а ты, как букашка. Жуть, а тянуло. Глупые, конечно, были. Не все пацаны решались на такое. Поумнее нас, наверное, были.

* * *

Володя мне чаще маленьким помнится. Всякие с ним случаи бывали. Птичек любил очень ловить. Сам делал садки. Синичек ловил осенью. Папа сердился:

— Пусть живут на воле, тебя бы в клетку!..

А ему интересно. Наловит целую стайку. Выпустит, а одну-две оставит. Клетку с ними повесит над окном. Клетку чистит, семечки туда и водичку поставит в баночке. Зимой холодно. Синицы к Володьке льнут. Он их выпустит, а они полетают-полетают и обратно сами к нему в клетку. Разговаривать любил с ними. Руку протянет с семечками: «Ой, больно мне, не клюй так», а сам весь в улыбке.

Всё горел желанием соловья поймать. И поймал на Серёдыше в сетку, когда мы на лодке за ежевикой плавали. Выследил его. А он у него не запел в клетке. И вскоре умер. Жалко было смотреть на Володю. Убивался сильно. Мы не знали, что и делать с этим. Папа только головой покачивал, а так ничего не говорил.

Володя похоронил соловья на огороде в углу. Поставил маленький крестик.

Самое незабываемое — когда с папой на лодке на Серёдыш плавали. Возвращались обычно вечером. Вода красная от закатных лучей. Солнце прямо на глазах проваливается куда-то. Так торжественно...

Папа меня около острова всё водянихой пугал*. А мне нисколечко не страшно. Тогда я впервые услышала, что град Самара никогда никем не будет разорён. Это потому, что он защищён Царёвым и Молодецким курганами, на которые мы обязательно с папой договорились взобраться, как подрасту.

Он рассказывал, и я представляла себе Молодецкий курган, его сказочную гигантскую голову с угрюмым каменным лицом и нахмуренным лбом, зелёным бором вместо волос. О грудь кургана разбиваются волжские воды и река поворачивает на восток, образуя Самарскую Луку. Так хотелось поскорее побывать на его вершине, где раненый Степан Разин перед своей смертью приказал казнить изменников, а свою золотую саблю завещал новому атаману. Долго светилась зарытая сабля из-под земли, пока на горе не отыскал эту саблю Емельян Пугачёв... Но успел и он надёжно припрятать свой булат, на котором слова написаны: «Кто булат изоймёт, тот и правду найдёт». Захоронен тот булат где-то в наших Жигулёвских горах. Так и лежит он в потаённом месте.

Когда выплывали на самый стрежень реки, ветерок и траву в лодке, и головёнку мою косматил. Я сяду на дно лодки. К голове приложу ладошки и гляжу во все глаза. И слушаю папину песню. Светло так на душе делается.

Папа пел негромко:

*Луг покрыт туманом,
Словно пеленой.
Слышен за курганом
Звон сторожевой...*

И луга никакого нет. И кургана я не видела ни разу ещё. И этот звон сторожевой?! Откуда я его могу знать?

* Водяника — русалка.

Но родное такое. Будто когда-то всё, что вижу, слышу, было уже со мной. Я оттуда — издалека. Вроде жила всегда, столько, сколько эта песня, а может, даже река сама... Тысячелетия жила. Возможно ль такое?..

Но я так чувствовала!..

Всё в душе умещалось: и что было со всеми нами, и что есть... Слов не знаешь, как об этом сказать?

Со мной потом, когда взрослой стала, нигде такого, кроме как на Волге, не случилось.

Я папу за его песни так любила...

Томили они душу.

...Потом, когда Волжскую ГЭС построили, уровень воды поднялся. Нашего острова Серёдыш не стало.

В карауле

Помню, папа взялся в сорок седьмом караулить картошку на собесовских делянках. Попросили. Сделал шалаш, настелил в нём сухого сена. Посередине шалаша была траншейка, в неё по двум ступенькам надо было спускаться. А по бокам от траншеи этой, влево-вправо, получились лежанки, удобные такие. Дверь папа какую-то старенькую принёс. Приладил. В самый сильный дождь было в шалашике сухо. А когда солнце, укрываться в нём от жары — красота!

Мама перловку сварила.

— Натё, отцу отнесите на завтрак.

Мы с Володей взяли глиняную чашку с кашей и пошли.

Пришли. Папа сидит. Правая рука у него до самого локтя покраснела. Индо смотреть страшно. Всю ночь, оказывается, не спал. А получилось как? Днём он жал серпом пырей, мозоль образовалась. Как прорвало, видать, грязь попала, пошло воспаление.

Уговорили пойти в больницу. Его тут же и положили. Около месяца пробыл там. Видно, когда резали, сухожилие задели. Палец безымянный не гнулся потом у него всю жизнь.

Вместо отца, пока он в больнице был, мама караулить огороды нас с Володей отрядила. Иногда Егор Пуговкин наведывался. Его участок с картошкой был недалеко от нашего шалаша.

...И вот уже смеркается. Володя спит. Я слышу шум какой-то. Кто-то ходит, а я выглянуть не тороплюсь.

А тут дядька Егор кричит со своего участка:

— Марья! Вы чего дрыхнете? Из-под носа картошку воруют, а вам хоть бы хны!

Ой!.. У меня сердце заметалось. «Воруют». Как же? Что же? С ворами-то впервые столкнулись, вот так напрямую... Выскочили с братом наружу. Чуть кондрашка не царапнула. Смотрю: один, второй... четвёртый... Их сарынь* целая. Человек семь нагрянули. Ухачи! У меня волосы дыбом!.. Ай, батюшки, что же делать?! Ладно, Егор подоспел, а тут объездчик на велосипеде — Федька Маслов. Колхозные поля проверял.

Увидев такое дело, воришки остолбенели:

— Ой, только в милицию не сообщайте.

Оказались они из сызранского ремесленного училища. На плотников учились. Все из окрестных деревень. Родители далеко. А есть хочется!

Не похожие на хулиганов. Молоденькие совсем ещё.

Егор им:

— На первый раз прощаем. Только марш отсюда! По-быстрому!

Они гуськом и побежали. Смехота! Теперь, в наше-то время, разве кого напугаешь так?

Я после уж снова вышла из шалаша, а они всей гурьбой копаются у дядьки Егора в огороде. Пошла к ним. А он им разрешил картошки у себя накопать. Они уже, как свои: «Дядя Егор, дядя Егор...» И потом, когда убирали картошку, трое приходили помочь. Дружба у нас завязалась с ними. Один, белобрысый такой, Митей звать. Из Кануевки оказался, где дядька Егор родился. Земляки!

Братья

Брат Слава после седьмого класса пошёл учиться на столяра. Пока учился, сделал для дома и стулья новые, и тумбочку. В жизни ему умение это потом крепко пригодилось.

После училища работал в вагонном депо. Ремонтировал вагоны. Зарабатывать начал, полегче стало.

Поступил в машиностроительный техникум. А с третьего курса взяли его в армию. Три с половиной года отслужил на Охотском море. Вернулся. В техникум берут его только на третий курс. «Не пойду, — заявляет нам, — лучше работать устраюсь. Несправедливо, я до армии весь третий курс проучился. В апреле призвали. А меня опять на третий?»

Папа ему всякие доводы приводил:

* Сарынь — ватага, толпа.

— Мне инженером не удалось стать, так ты, может, будешь. Какой размах на железной дороге!.. Вон Борис Бещев*! Разве не пример?.. Сирота! Сначала братья помогли. Потом — техникум, затем — институт...

Еле убедили Славу вернуться к учёбе.

При эвакуированном из Минска машиностроительном заводе был этот техникум. Слава окончил его и стал специалистом по резке и сварке. Голова у него светлая. В Киев к Патону ездил учиться этому мастерству.

Как-то быстро поставили его начальником конструкторского отдела на заводе. Дальше собирался учиться в институте на заочном отделении. Да спешно так женился. А потом дом затеял строить. На том же позье**, где и наш общий дом стоял. Сруб сообща помощами поставили. А после он почти всё вершил один.

Володя сразу после армии женился. У каждого свои заботы. Помню, помогал он Славе всю неделю вечерами и весь выходной. А у самого дом без крыши. Замотался. И говорит:

— Меня не хватит на всё. Пускай рабочих нанимает.

А как нанимать? На какие денежки? Ушёл, а сердце не на месте.

Говорит мне:

— Пойдём вдвоём, помочь надо.

Всего-то часа два его не было со Славой. А Слава тяжеленную потолочную матку на стены один поднял. И всё. Не до строительства стало, не до учёбы... Надорвался. Всю потом жизнь страдал.

И Володя мучился. Кори́л себя, что так вышло.

* * *

...А тут у Володи затемнение в лёгких обнаружилось. Врачи допекли анализами. Таблетки не помогают, а с операцией тянут. Володя худел на глазах. Пришёл к нему в палату Слава, принёс термос китайский.

— Будешь есть, болезнь пройдёт. Решайся!

— Что это?

— Собачье мясо. Надо бы барсучий жир раздобыть, да где? И времени нет...

Стал Слава ему это мясо приносить, а Володя послушно ел. Вскоре ушёл из больницы домой. Жена Лена стала готовить мясо. Съел целую собаку и пошёл к врачам на проверку. Никакого за-

* Борис Павлович Бещев — министр путей сообщения (1948-1977), начал свой трудовой путь на станции «Батраки».

** Здесь: земельный участок.

темнения в лёгких. Будто и не было ничего. Как тогда, в детстве, с квашеной капустой... Чудеса прямо!.. Везучий наш Володька.

Сейчас ему уже за семьдесят. Рыбачит с племянником на Волге. Не одни — с помощниками. Часть улова они по норме сдают хозяйину, остальное — себе. Тем и живут.

Помощники часто меняются, пьют. Володя с Андреем замучились с такими работничками...

Театр меня завораживал

Спрашиваешь: было ли свободное время? Днём, конечно, не было. Придёшь из школы: то воду таскаешь, то полы моешь. Или на огороде возишься.

А я так любила слушать радиопередачу «Театр у микрофона». Приглушу динамик, чтоб не слишком громко было. И слушаю себе.

Театр меня завораживал. Толубеев был, Хохряков. Царёв был. Какие голоса! Чудо! Пьесы Чехова были. У меня такое воображение, я всё представляла себе. Как и что! И «Вишнёвый сад», и «Три сестры» слушала. Оперетты любила. И поют, и говорят в них.

Мама бывало:

— Спи, завтра чуть свет разбужу!

И будила. Особенно летом рано вставала. Коз надо в стадо согнать.

Я смотрю, как теперь всё изменилось.

Раньше, казалось мне, в три часа уже светало, а сейчас только в пятом часу начинает. Земля, что ли, у нас теперь не так крутится?

Вот «Театра у микрофона» не стало. Да что я говорю? Самого радио, какое раньше было, не стало. Куда дело годится?

Прихожу домой и плачу...

В техникум тогда поступали после семи классов. Подруга Надька сразу решила подавать документы. Моя сестра Надя уже работала. Я заговорила про учёбу в Сызрани. Она:

— На какие деньги ездить туда? Работать надо.

Я упросила попробовать сдать экзамены в медицинский. Если без троек сдам, будут давать стипендию. Другое дело!

Училась я в школе без троек. Сдала все вступительные экзамены на четвёрки, остался один: по конституции. Ночевала я в Сызрани у Надькиной тётки Гани. Переночевали и отправились на экзамен. Народу тьма. А мы голодные. Я так перемучилась. А тут

мне какой-то мужик вредный в комиссии попался. На первый вопрос я не ответила. Мне он хлоп — тройку и поставил. Прошу, чтобы меня ещё поспрашивали, ни в какую. Всё, стипендии не видать!

Однако два месяца я ездила на занятия. Сестра Надя замучила: — Давай бросай, давай бросай!

Я и сдалась. Она меня тут же устроила быстренько. На склад уголь учитывать в Обшаровке. Ещё надо было табели вести, графики работы грузчикам составлять. Работали грузчики угля в три смены. Среди них Хохлов Артём — вертлявый такой был. Все ему надо.

— Ты, — говорит, — над бумажками сидишь, уголь учитываешь. А не знаешь, какой он бывает.

— Как так, не знаю? — отвечаю. — Ошибаешься.

— Знаешь? Сейчас проверим.

Ушёл. Через некоторое время принёс в барак четыре куска угольных. А у нас тогда уголь был прокопьевский, блестящий такой, карагандинский — тусклый и антрацит. И ещё бурый уголь. Его плохо машинисты брали.

...Платформы стояли, он и набрал. Я всё назвала правильно, по маркам. У грузчиков лица вытянулись.

Любопытная была, давно уж всё пощупала своими руками. Эшелон ведь за эшелonom шли. Октябрьск всю жизнь свою связан с транспортом, а жизнь нашей семьи — с железной дорогой и Волгой. Через Октябрьск переваливали истари лес, зерно. Он соединяет Европу с Азией: и мостом, и железной дорогой. Издавна через него возили грузы то гребными, то парусными судами, то баржами с конной тягой. А до того бурлачили... Трудяга — одно слово.

...Папа у нас не курил, не пил. В нашем доме воздух всегда чистый. А тут... Грузчики не папиросы, а самокрутки курили. Работают, работают, в барак зайдут — все разом как задымят! Мама моя! Комнатушка вся в дыму. Голова идёт кругом. Вся одежда моя пропахла табачным дымом. А матерились-то. «Ой, дочка, прости». А сами без останову...

Прихожу домой и плачу.

* * *

Потом Хохлов этот, Артём, приставать начал. Подкараулит, где никого нет... И лезет со своими ручищами. Сильная была, в следующий раз не стерпела. Дала крепкий отпор. Укоротил руки, но чувствуя: что-то замыслил...

Никому пожаловаться не смею, молоденькая совсем... А тут уволилась. Взяли меня в горсобес счетоводом. Работала и бегала в вечернюю школу. Окончила 8-й и 9-й классы. И всё. На том завершилось моё образование. Больше нигде не училась.

На сопках Маньчжурии

Я так любила танцевать! Походила на танцы... Танцевали мы вальс, танго. Не то что сейчас — дрыгаются.

Клуб асфальтового завода — рядышком, а другой, «Коминтерн» — железнодорожников — чуть подальше. За путями, по ту сторону. Часто приходили ребята и девочки с пристани, с шиферного завода. По субботам и воскресеньям — танцы под духовой оркестр. Такая красота! Наши, с Батраков, ребята играли. Не откуда-то! По комсомольско-молодёжным вторникам танцы бесплатные. Летом танцевали на площадке в парке. Билет стоил три рубля — на танцы и за вход в парк — один рубль. В дальнем конце парка мы перелезали через забор, а контролёром на танцплощадке была наша соседка. Мы с подружками проходили «за так».

Железнодорожный узел большой, по-моему, было семь только вагонных парков. Молодёжи много. Часто проводили всякие вечера.

Помню, ехали, кажется, из Омска, курсантики какого-то военного училища в Москву на смотр. Поезда тогда долго стояли. Ну и узнали они про танцы. Явились к нам на танцплощадку. Вот уж в тот вечер мы танцевали вовсю. Ко мне привязался один, щупленький такой. Весёлый. Всё адрес просил, чтобы написать потом.

— Нет-нет, — говорю, — у меня Андрей есть! Вы сегодня здесь, а завтра там.

...Тут они попросили у наших инструменты и так красиво начали играть. Ой! Весь вечер был, как сказка. Волшебный вечер духовой музыки! Они грамотные. По нотам играли. Начали с вальса «На сопках Маньчжурии». Мурашки по коже! А потом один за другим — вальсы, вальсы, вальсы!.. До сих пор тот вечер помню. Потом уж не было у меня таких.

Курсантик всё около меня оказывался. Хорошо танцевал. Только больно уж прижимался. И руки у него липучие... Там ограждение вокруг танцплощадки было кирпичное, белёное. И тумба такая же из кирпича, метра полтора высотой. Я приподняла его, курсантика этого, и посадила на тумбу. Не знаю как! Чтой-то во мне сработало. Все смеются. И он вместе со всеми лыбится. Пройдоши-

стый. Глянул на меня крайним глазом пронзительно: кобылица ты, говорит, дикая! С дуба рухнула?!

Вижу, Андрей мой меж танцующих ко мне пробирается...

А тут время, что ли, их пришло. Явился командир, ядрёный, как кочашок, и громким голосом дал команду. Я не поняла, что он выкрикнул. Только курсантов мигом не стало.

В тот вечер после курсантов мы с Андреем только друг с другом танцевали. Он видный был. Мне многие завидовали. Андрей и пел хорошо, как мой папа. Только весёлые песни любил. Часто старинные, которые не многие знали. Одна у него была особенная. Она мне, как папины песни, сердце тревожила. Попробуй быть каменной:

*Он подходил ко мне с улыбкой,
Руку жал и целовал.
И называл меня голубкой,
И в губы алы-алы целовал...*

Старинная, а всё про тебя будто... Слова такие, что и не надо больше ничего говорить. Так у нас с Андреем и случилось... В тот вечер. В который духовой оркестр играл «На сопках Маньчжурии»...

Потом моим подружкам письма приходили. А Полюшку Лебедеву молоденький такой лейтенант приехал и увёз. Переписывались они. Такая тихоня была, а вот — судьба! У него фамилия была Петушков. Мы смеялись:

— Не меняй, — говорим, — свою. Лебедь и Петушок! Куда как весело. Пташечки!

И я вскоре замуж вышла. Парней много вокруг, а получилось у меня кое-как. Сама во всем виновата. Сама...

Андрей на два года старше меня был, только что из армии пришёл. Работал помощником машиниста, потом машинистом. Жил в Батраках. Так мы друг другу нравились. А не сложилось. Больно его мать против была. Мы, Смирновы, совсем ведь беднота. Мне поприличней и одеть нечего было на танцы. У Андрея характера не хватило.

А Мишка — слепень. И такой же, как я, беднота. Отодвинул его. Я взбрыкнула сдуру. Согласилась за Мишку пойти.

* * *

Андрея уже нет давно. Две внучки у меня, а всё помню его.

Когда я замуж выходила, он так жалел... Убивался, можно сказать. А меня занесло. Не остановить!

Как замуж вышла...

Как замуж вышла, вместе с мужем стала работать. Михаил сначала был матросом, потом рулевым. Одну зиму учился, после этого на маленьких судах начал работать капитаном.

Работали вместе мы долго. Доверили ему «Агиткатер». Плавали по Волге до Саратова, Волгограда. И обратно в Самару. На втором этаже размещался кинозал с небольшим экраном. Мы пришвартовывались к судну и капитаны с командным составом в кинозале прорабатывали несчастные случаи, аварии на воде, приказы. Там же мы раздавали письма, свежие газеты. Михаил меня матросом устроил. Потом я согласилась ещё и на повара. В команде восемь человек. Всех накормить надо. Никакой скидки не было. До того уставала. Ещё счетоводом тут же.

Потом паромом с мужем заправляли. Сто пятнадцать, помню, человек вместимостью. Около десяти лет плавали. Михаил в бухгалтерии мало что понимал. Всё мне сбегрил. Он и в машинах не очень... Я в этом вскоре убедилась. Часто у него ломалась техника.

В сутки только шесть часов были свободными, с двенадцати до шести утра. То варила, то кормила. То за матроса, то подсчётами занималась.

До нас перевозили народ через Волгу частники. Каждый на своей завозне. Сновали туда-сюда. Организовали паромную переправу, нас и направили. Берег левый — берег правый. Один маршрут.

Волга тогда кипела! Народищу... Подплывёшь, сначала с носа чалку вовремя надо подать матросу, который на причале. Потом бежишь с кормы подавать другую. Туда-сюда. Как савраска. За вахту набегаешься... У меня до сих пор руки — мужицкие.

На Волге паромная переправа стоила двадцать копеек. Каждый вечер надо было подсчитать деньги, в кассу сдать. Путевой лист оформлять. Потом Михаил захотел, чтобы я и машинные журналы заполняла. Обленился совсем. Тут уж я в дыбошки. Ни в какую! «Машинные журналы заполняй сам!» — сказала, как отрезала. На мне ещё и выдача зарплаты. Топливо на мне. Все расходы-доходы, всё надо свести. Весь баланс на мне. Сводила.

* * *

Между судоремонтным заводом и элеватором в Самаре стояли два плавдома. Дали нам комнату в одном, в трюме. Окно одно, на уровне воды. Сырость, конечно. Отопление паровое. В носовой и кормовой частях — плиты. Топили углём. На них мы и готовили

себе еду. В этом трюме у меня дочь Наташа родилась. Построили на Кряже восьмиквартирный дом: дали нам двухкомнатную на две семьи. Коньковы были бездетны. Так что нас пятеро всего. Топили дровами, углём. Котёл стоял. Немножко вздохнули. Когда в Сызрани бухгалтерия в порту стала расширяться, меня вызвали.

Юрий Васильевич говорит:

— Мы тебя, Вострикова, хотим в бухгалтерию перевести. В Сызрань. Как ты на это смотришь?

— Мне же тогда ездить надо из Октябрьска каждый день, — отвечаю.

— Решай! Главный бухгалтер мне рекомендовал тебя. Хорошо о тебе отзывается.

Домой приехала. Маме с папой сказала.

— Соглашайся, — говорят, — от Мишки хоть отдохнёшь.

Так я освободилась от мужниной многолетней бестолковщины, вздохнула свободней. Ничего он с охотой не делал. Плавал, как жёрнов: столько всякого перетопил в реке. Всё абы как. И злой постоянно. Кричит. У плохого мужа жена всегда дура.

Почти десять лет ездила в Сызрань на автобусе. Больше двенадцати часов в сутки меня дома не было с такой работой. Зато не на воде. Я с Михаилом плавать всегда опасалась. И за него боялась. Всё что-нибудь не по-людски. Скажешь ему по-доброму. А он:

— Собака умней бабы: на хозяина не лает.

Вот и поговори с таким.

Эта вода!.. Бог меня, что ли, хранил. Два раза вылетала за борт по его глупости. Плавать-то я хорошо умела. Целёхонькой оставалась, без царапинки...

А вот железная дорога меня отметила. На всю жизнь, когда ещё учётчицей работала.

Шла мимо паровоза. Окалина вылетела вместе с дымом из трубы и — в глаз. Светленькая такая. Воткнулась в правый глаз прямо в яблоко. Сестра Надя, когда я домой прибежала, свернула листочек бумаги клинышком и вынула её. Вынуть-то вынула, а глаз с той поры плоховато видит, не как левый.

Качели

Когда я работала на пароме, переправлялась одна гражданочка. Век не забуду. Ньюрой звать. Исхудалая. Лицо без кровинки, краше в гроб кладут. Вечер, куда в позднину и дождь в такой одежке, как у неё. Оставила у себя ночевать. Долго мы не спали.

Так рассказывала она, горемыка:

«В сорок втором погиб на фронте отец. Потом старший брат Василий ушёл воевать. Продукты у нас кой-какие ещё были и скотина была. Но нет дров, а надо отапливать избу. Мужиков своих нет, да и чужих: раз, два и — обчёлся. Дали маме колхозных быков, она поехала в лес, за дровами, одна. В лесу быки распряглись. Вернулась с отмороженными пальцами на руках. Они у неё потом почернели и отвалились. На левой руке — два, на правой — три. Пролежала в больнице сколько-то дней. В эти дни нас обокрали. Вывернули скобу у запертой двери мазанки и вытащили все запасы провизии. Унесли одежду отца. По отцовской фуфайке мама определила, кто совершил кражу, но не заявила. Боялась, сожгут дом. Тогда уж совсем конец. Пришёл день, когда козу и курей съели. Всё, что можно, съели. Наступил голод.

Мать долго не решалась пойти просить милостыню. Но сломалась. Взяла Надю и Лизу, они были постарше нас, и пошла в соседние деревни, где их не знали. Нас с Сергеем оставила дома, как совсем ещё маленьких. Два дня мы ничего не ели. И тут я вспомнила, что мать хранит на шкафу мешочек с мукой. Этот шкаф сделал наш отец. Он был высокий такой, разделялся на две половины. Когда мама варила суп, то ложкой добавляла в него из этого мешочка муку. В лепёшки из берёзовой коры добавляла...

Я сказала Сергею о муке, он согласился достать мешочек. Мы водрузили на стол табуретку. Он стал её держать, а я полезла. Как только добралась до мешочка, сразу, не в силах сдержаться, начала горстями есть муку.

Сергей кричит:

— А мне? Про меня забыла!

И отпустил табуретку. Я упала. Бухнулся со шкафа и мешочек с мукой. И прямо в тазик со щёлоком. Мука сразу размокла в щёлоке. Было-то её... Сергей пальцем собирал себе в рот то, что у меня на щеках осталось. Потом мы сидели на полу и плакали оба. Как стыдно, мама вернётся и увидит, какую мы беду сотворили. Вся мука пропала.

Сергей говорит:

— Нюр, давай я тебе удушю, потом сам удушусь.

Мне было страшно, но я подумала, что это правильно. И согласилась. Сергей взял верёвку и мы пошли в наш сарай сзади двора. Сели на дырявое опрокинутое корыто и сидим. Не двигаемся. Смотрим друг на друга молча. Помню до сих пор то моё состояние. Слова сказать не могла.

...Солнышко светит в щели меж досок. Захотелось выйти из сарая, посмотреть на него, на небушко. Я и вышла. Когда вернулась в сарай, Сергей с верёвкой возится под перерубом. Делает петлю. Она висит, болтается. Огромная такая.

Я говорю:

— Давай сначала покатаемся на качелях, а потом сделаем, как задумали. Успеем. Они только вечером вернутся.

Захлестнул он петлёй за переруб, к нижнему концу верёвки привязал палку. И мы попеременно начали кататься.

Вдруг — во дворе голоса. Мы выбежали, увидели мать. У неё лицо такое... Будто все знает про нас.

Я кричу:

— Это кошка, кошка муку свалила. Кошка!..

А мать вся в слезах, гласит:

— Живы! Господи! Живы! А мне в голову втемяшилось: беда с вами! Бежала спотыкошки*.

И высыпает нам гостинцы, еду. Это такое чудо: я жива осталась, мать не гневается. И еда есть.

Сплошное счастье!»

* * *

Раза три виделись мы с Нюрой ещё. Порассказала о себе она... Потом пропала из виду, сердешная. Хочется верить, что полегчало ей в жизни. Всяких повидала я на переправе, а её забыть не могу. Так и сидит во мне: «Давай на качелях покатаемся...».

Хоть бы раз со злобой сказала про кого-то. Нет. Только молвила сокрушённо однажды, подперев ручонкой горемычную свою головушку, будто сдалась наконец, согласилась с уготованным:

— Простые люди — вечные страдатели...

Кормилица

...Сын Петя — грудной, а у меня молоко пропало. Чем кормить? Скорёхонько козу купили, вспомнили, как маму выходили в войну. Коза Катька и стала у Пети кормилицей. Катька красивая была. Чёрная вся, только голова от ноздрей до рогов — белая. Она потом принесла двух козлят. Один белый, другой — почти как она, чёрный. Мама летом их частенько мыла. Привяжет к завалинке, вынесет таз и помоеет. Вымя Катьке каждый раз перед дойкой мыла. И тряпочкой потом протрёт, аккуратненько так.

* Спотыкошки — бежать, спотыкаясь, очень торопиться.

Сестра моя Таня приехала к нам из Новокуйбышевска и зазвала маму в гости к себе. Мама — к поезду, а её три козы провожают до самого вагона. Не удержать их. Она уехала, а они, как только поезд какой на станции загудит, мечутся по двору, того гляди вырвутся.

Без мамы пригнала я коз из стада, помыла вымя Катьке и хотела подоить её. Не далась. Одну Белку подоила, а Катька с Манькой по двору бегают:

— Ме-ме?.. — почему, мол, так долго хозяйки нет?

Мама приехала на другой день вечером. Едва калитку открыла, они втроём к ней:

— Ме-ме, ме!.. — жалуются.

Она их гладит, приговаривает:

— Миленькие мои, соскучились, бедненькие.

Они руки ей лизут. Успокоились. Такие довольные стоят.

Иногда взбрыкивали, не без этого.

Когда Петя что-нибудь, уже после, ерепенился, мама ворчала на него:

— Хоть и попил молочка-то от Катьки, чать всё же не козлёночек, будет тебе...

* * *

Когда козы загуляли осенью, мы козла во двор впустили. Они его сами привели.

Сидим, обедаем. Я в окно взглянула. Смеюсь, не могу удержаться. Пальцем только показываю.

У нас была кастрюлька старенькая. Мама выносила в ней козам воду. Первым делом, как придут домой, пить им давай. Кастрюлька та с ручками была. И как козёл умудрился рога сунуть в ручки кастрюли?! Бегает с кастрюлей на голове, ничего не видит. Натыкается на что попало. Забыл, зачем пришёл.

И смех, и грех. Жених!

Колюшка Фёдоров

Я тогда с Михаилом на катере работала. Пришла Зина, бывшая одноклассница моего брата Сергея, просит:

— Помоги устроиться на работу. Дома шаром покати, пусто.

Я похлопотала. Взяли её на пристань. Повеселела Зина. Больше за мужа своего Николая переживала, для него старалась!

Муж её, она его Колюшкой звала, под Ленинградом обморозил ноги. Отрезали частично ступни. Комисовали. Протезов у него

никаких. Какие к таким ногам протезы? Да и после войны сколько их, протезов, надо было. Где взять? Набьёт в сапоги чего-то, сунет ноги и... поколтыхал.

Жили они с Зиной у его родителей. Он часто приходил к нам на причал. Голубоглазый. Длинный, верста коломенская. А лицо, как у моего Петеньки, детское. А самое-то, что я в нём любила, — играл он на гитаре и красиво так пел. Голос!!! Я таких больше не слыхала. Я его всё романсы просила петь. Он меня уважал. Никогда не отказывал.

В тот год особенно много везли на баржах соль с низовьев Волги. Крупная соль такая, жёлтая. Разгружали баржи и транспортерами, и лопатами. Горы соли. А через железную дорогу — «Главсоль». Там её мололи, фасовали в пакеты.

Воровали грузчики соль эту. Не без этого. И другие повадились. Говорили: «За солью сходить». И он с такими ногами пошёл. Здоровые разбежались, а его поймали. Посадили за сумку соли на два года.

Отсидел положенное, вернулся домой. Потихоньку начал сапожничать. Дело вроде у них налаживалось, у Зины с Колюшкой. А тут опять беда. С Колюшкой. У него друг фронтовой был, Володей звали. Кто-то к Колюшке в будочку его сапожную прибежал и сообщил: — Там дружка твоего, Володьку, бьют! У столовой!

Колюшка туда. Драка вовсю идёт. Забор трещит. Пили-пили, чего-то не поделили.

Он инвалид, но так-то здоровенный. Раскидал всех в разные стороны. Да один из них выдернул доску из забора и сбоку Володе саданул по голове, он дуром как закричит. И кинулся... В доске — гвоздь! Глаз вытек у Колюшкиного друга.

На следующий день приходит к Колюшке Фёдорову милиционер:

— Ты, — говорит, — изувечил Владимира Чувашова.

— Как это я? — отвечает Колюшка. — Спросите Володю.

А тот ничего сказать толком не может. С ним уже говорили. Не видел он, кто его ударил. В подпитии дрался. Дружки все как один показали на Фёдорова: «Ты изувечил». Такие салазки загнули. И Колюшка опять загремел, с ходу. На три года. Судимый же был.

Когда вернулся, его уже было не узнать. Не стало Колюшки. Другой человек. Вскоре совсем спился.

Если песни пел, то теперь больше всё блатные. И матерился так... Где-то через год, наверное, как вернулся, утонул Колюшка.

Сам ли такой выход нашёл? Или кто помог? Разное говорили.

С Волги на Надым

...Михаил продолжал куролесить. С людьми у него плохо получалось. Я терпела, как могла. Михаила Вострикова теперь все в порту знали. Переводили его, переводили с одного места работы на другое, а толку?

Достукался — из капитанов в матросах оказался. И всё равно продолжал пить. Лень за пазухой у него гнездо свила. Что тут делать? Борис, муж сестры Михаила, развёлся в Октябрьске с Люськой и уехал на Север.

А тут вернулся в Октябрьск. Зачем-то принесло его. Известно: глупый — умного, пьяница трезвого не любит. А тут оба одинаковые сошлись. В первый день с утра налупились. Два дня пили. То у нас, то у них в бане. Вдруг исчезли оба. Враз. Как дымок печной, пропали. День, второй — их нет. Дома не ночуют. Я — на пристань.

— Где Мишка?

А сменщик его, Юрий:

— Ты чего это? Проснулась? Уехал твой туповатый Востриков. Сказал: в Сургут. Поеду, говорит, себе новую биографию делать! Видала, что?

Их, как шилом, подняло. Потом я узнала: взял десять дней отгулов. Мать его знала обо всем. Не сказала.

Михаил вскоре прислал письмо, две страницы наваракосил. Срочно велел приезжать. Устроился на работу. Обещают жилплощадь. Иль пишет, всю жизнь в отцовской деревяшке хочешь прожить? Без газа, без горячей воды, с нужником во дворе? В Сызрани или Октябрьске, дескать, не дождёшься своего жилья. Опомнися. Не пил бы так, глядишь, по-иному всё было.

Поехали к нему. Где муж, там и жена. У нас уже были и Наташа, и Петя. Мама вздыхала: «Куда из родительского дома? К добру ли?»

...Михаил поехал себе новую биографию делать. Думал ли он серьёзно о нас? Не знаю.

Так мы брякнулись на Север.

На Севере Крайнем

Вспоминаю первый год на Севере.

Конечно, непривычно сначала. Мошки и комары... С ума сойти. Ещё бы, столько озёр и болот, речушек и проток.

Пришла с работы, а Петя:

— Мама, ну пойдём в лес! Сколько уж раз обещала.

Лет девять ему было. Все дни на речке пропадал. Там ветерок. Купался с мальчишками, а всё в лес рвался.

Голубика спеть начала. Взяли ведёрки пластмассовые и пошли с ним. Только зашли в лес, мошкара тучей набросилась. Комары! Как мухи, огромные. Мы в панике назад. Выбежали на дорогу, оглянулись — огромный комариный хвост. Потом-то уж попривыкли.

Зато какие зимой гонки на оленьих упряжках на льду озера Янтарного! Вот где красота!

Вначале, как приехали, пришвартовались в пятнадцати километрах от Надыма, в посёлке. Двухэтажный деревянный дом. Отопление, плита на кухне на баллонном газе. У нас на Волге такого не было. Огородов никаких. Отдых от огородов. По дому прибе-рёшься, сварить, то да сё. И только.

Воду в бойлерах привозили. Набирали её в бочку. Большая такая, в коридоре стояла. Это не то, что в Батраках: на себе таскать на коромысле по два ведра. На гору от Волги. Иногда несколько раз в день туда-сюда. Плечи ноют. Много по-другому на Севере.

Коренные — ненцы, ханты, манси — в основном все в охоте, в рыбалке, оленеводстве. Их всего-то, кажется, около десяти тысяч осталось, кочевых.

С тех пор на глазах моих столько перемен свершилось. Теперь в Надыме около пятидесяти тысяч разного народа живёт. А население автономного округа уже более пятисот тысяч.

А начиналось всё с бараков в посёлке*. В Надыме и Октябрьске от больших дел дух захватывает. Только на Волге река и железная дорога работают, а на Севере — река и авиатранспорт. На Волге Сызрань — второе Баку, а в Надымском районе добывают, сказывают, почти третью часть всего российского газа. По трубам идёт он по всей России аж за границу.

Край — цены ему нет! Не зря народ прибывает и прибывает. Места всем хватит. Ещё бы, говорят, в два раза больше Франции!

Не видала Францию, но всё равно...

Мне бы грамотёшки побольше да годков сбросить хотя бы с десяток. Но ушло моё времечко. Дела великие вершатся! А такие, как я, недоучившиеся, где-то будто внизу, в трюме огромного многопалубного парохода, копошатся. Те, кто учёные, с высшим обра-

* Газовое месторождение «Медвежье» открыто в 1968 г. В октябре 1971 г. испытана первая скважина. Первое капитальное здание в посёлке Надым начали строить в августе 1971-го. А в марте 1972-го посёлок уже назвали официально городом. Без Медвежьего, а значит, Надыма, не было бы, очевидно, Уренгойского и Ямбургского месторождений.

зованием, если бражничают, работают в пол-оборота, мне за них неловко, честное слово. Дела-то требуют каких усилий!

Я почти всю жизнь, до восьмидесят седьмого года, проработала бухгалтером на расчётах по зарплате. То в Сызранском порту, то в Надымском.

Бумажный человек.

«Скучная, когда не поёшь!..»

В восьмидесят первом дали нам квартиру в Надыме со всеми удобствами в пятиэтажном доме. На четвёртом этаже. Общая площадь около полсотни квадратных метров. Не «хрущёвка». Просторная, комнаты на разные стороны. Наш подъезд заселили жильцы, приехавшие на Север кто откуда. И как зажили дружно! В чём дружба состояла? В помощи друг другу. У каждого своё, а всё равно заботы схожие все. То ли новая жизнь сплачивает, то ли потеря старой. Праздники, дни рождения чуть не всем подъездом отмечали. Много ли пили? Кто как! Я, например, на гулянках этих смотрела больше. И пела, конечно. Наши волжские песни. Как без них!

Главбухша Варвара Никитична — с Хвалынска, наша — волжанка. Так она часто просила спеть «Сормовскую лирическую», «На побывку едет» или «Каким ты был». После песен она часто напивалась, было дело. Я жалела её. А отказать ей, не петь не могла. Любила я петь, а то!.. Где главбух наша, там всегда пели. Бывало, устанешь после работы, а она принесёт разных продуктов:

— Марья Петровна, давай, пеки торты.

И чтобы обязательно «Прагу». У меня всяких рецептов — куча. Куда деваться? Широченная натура Варвара.

— Ты пеки, — говорит, — чтоб всех наших пригласить можно было.

Всех наших! Это почти целый подъезд.

Когда она с мужем приехала, им сразу четырёхкомнатную квартиру дали, было где собраться.

Ну я и пекла. Куда денешься?

А она распоряжается:

— Завтра на работу не выходи! Готовь пироги. Осетрину принесу.

Не выходи! А кто мою работу будет делать? Кой то, кой это — день и пролетел. По старой привычке ночью навёрстывала, что могла. Как ей отказывать было?

Спросила разок: что же вы, Варвара Никитична, когда я пою, плачете всё?

— Жалко мне нас всех, — отвечает, — как мы живём? Как тягловые лошади работаем да обжорством занимаемся. Разве это жизнь? Тебя жалко, — говорит, — что же ты, милая моя Марья, не училась в своё время? Тебя бы чуток совсем подправить только кой-где... Ты бы вторая Зыкина у нас была. А так! Ушёл талант в никуда. Ты это осознаёшь?! — спрашивает так грозно, аж не по себе мне.

Я молчу.

А она своё:

— Копошились в цифрах, бухгалтерские крысы. Цифра нас и съела. Какой от нас толк? Что останется?

— Э-э... — отвечаю, — Варвара Никитична, так нельзя! Кому-то и бухгалтерию в жизни надо вести. Без неё погибель. Наш труд незаметный, но необходимый такой. Для людей он.

— Простота ты, простота! — восклицает, прямо как на сцене, — как мало тебе надо!

— Почему, — говорю, — мало? Мне интересно всегда то, что руками и умом сделано. Просто мы многое не замечаем, привыкаем. А люди во все века трудились. И до нас. Без их труда нам бы не так жилось. У нас под Сызранью мост через Волгу*. Чудо человеческого ума и рук! А кто знает, кто и как его построил? Забыли. Не знаем и не ценим! Это неправильно. В трудах жизнь жива! А Надым? Такое вершится!!! Неужто тоже когда-нибудь забудут, с чего и как здесь всё начиналось?!

— Правильная ты очень, а потому скучная. Когда не поёшь! — восклицает Варвара.

Её трудно в чём-либо убедить. Стоит на своём до конца. Я уже знала от мужа её, что она артисткой хотела в молодости стать. Ез-

* Заражённый интересом Марьи Петровны, я порылся в архивах и нашёл много примечательного (увы, для себя неизвестного) из истории моста и Сызрани. Проект Александровского моста через Волгу в десяти километрах восточнее Батраков разработал выдающийся русский инженер и учёный в области мостостроения, профессор Петербургского института путей сообщения Н.А. Белелюбский. В филиале Российского государственного архива научно-технической документации (РГАНТД) в Самаре на государственном хранении находятся чертежи проекта, выполненные автором собственноручно в 1875 г. Чертежи на батистовой кальке с его подписью прекрасно сохранились. В 1876 году началось строительство моста длиной около 1,5 км, которое курировал лично Александр II. Запущен он был 30 августа 1880 г. Долгое время Александровский мост, названный так в честь императора, оставался единственным звеном, которое соединяло центральные районы России с Заволжьем, Уралом и Сибирью.

дила в Москву поступать на учёбу. Но что-то не сложилось. Где-то потом в театре работала, но бухгалтером, а на сцене никогда не выступала.

Надо же, мучилась этим всю жизнь!

Пуповина тянет...

— Ты должна была быть народной артисткой! У тебя — талант! А я, бездарь, заставляю тебя торты печь. Справедливо это?

Говорит так мне Варвара и плачет. Натурально плачет, я вижу. Удумала что? Подарила мне новую каракулевую шубу. Я не знала, что делать с таким подарком. Заставила взять. Потом завела манеру, когда одна, позовёт меня и давай петь. А я чтобы слушала. А мне цыганские песни... Я их не очень... Голос у неё... редкостный... Мороз индо по коже. Контральт называется. Как мужик поёт. Подарила она мне песню одну замечательную.

— Ты, — говорит, — пой её! Мне такую нельзя. Куда с моим голосищем.

А песня редкостная, она её у себя на родине слыхала. Как уж зачин?.. Вот, вспомнила:

*Золотые вы, песочки, ты, серебряна река,
Полюбила я, девчонка, молодого паренька.
Полюбила-затужила, не могу его забыть,
И открыться я не смею, и не смею говорить.*

*Я колхозная девчонка, мой колхоз не знаменит,
Да вот сердцу не прикажешь, сердце девичье болит.
Сердце девичье не камень, боль слезами не уймёшь.
Недогадлив мой парнишка, недогадлив, но хорош!*

Сбирала компании, торты заказывала, а сама их не ела. И остальное — так, чуток тронет. Муж её не пил совсем. Зато первый мой помощник в песнях. Песняка, как он говорил, мы с ним выдавали — будь здоров! У нас коронная была «Окрасился месяц багрянцем». Голос у него дребезжал, но душевный такой... И, конечно, «Течёт Волга» пели, как без неё...

Что-то промеж них не ладилось. Больно у Николая Ильича глаза грустные были. Теперь уж его нет в живых. У него желудок оказался никудышный. Главный инженер. Не до себя. Шишка большая, а совсем свой, наш. Там ведь какие бывают порой на Севере? А он мягкий такой. Интеллигентный. Голоса не повысит. После операции швы разошлись, потом ещё что-то. Не стало Николая Ильича.

Жалела я его очень. Но так, внешне вида не показывала. Одинокий он был при жене своей Варваре. За мужем внимание дорого, а она за народом от него пряталась, что ли... Он за работой — от неё!.. Как умер, она ещё некоторое время держалась. А на пенсию вышла, уволилась — и запила. Моченьки смотреть на это не хватало.

Оказывается, у неё диабет сильный очень, давно. Вот ведь беда, а мы никто не знали. Скрывала.

Мужа нет, оба сына в Ленинграде. Последить за ней некому. Долго рассказывать. В конце концов, я с сестрой её списалась, приехала она и забрала Варвару в Хвалыинск. Вдвоём теперь живут. В частном деревянном доме. Всегда она хотела вернуться на Волгу: «Вертись не вертись на перегонах дальних, а домой охота. Пуповина тянет...». Так она сказала. Сказала мне, как со сцены в зал. У неё часто такое было. И я на них, на эти её слова, не обратила внимания тогда. Теперь кажется, будто мои они.

Все вроде бы нормализовалось. Но глаза она успела себе сжечь. При диабете пиво да водка — разве мыслимое дело?! Пишет мне её сестра Антонина, что Варвара Никитична на Волге теперь успокоилась — не пьёт совсем. Сокрушается: как раньше, в детстве, в девичестве, водичку волжскую, небо и солнышко над головой не видит уже почти, только чувствует. Слепнет совсем. Сестра жалуется: «Теперь одно у Варвары на уме. Стихи сочиняет. Бубнит и бубнит. Часто ночью тормошит:

— Сестрёнка, записывай! Боюсь, до утра позабуду...».

Калькулятор ходячий

Когда мы в семьдесят седьмом году в Надым приехали, взяли меня кассиром в товарную кассу. Грузы тогда большие шли. В основном трубы для газопроводов. Столько документов с этими трубами прошло через меня! Сначала была у нас пристань, затем стала она Надымским портом.

Потом меня в бухгалтерию перевели. Непросто давалось. Работы — с головой. Столько надбавок разных к тарифам. За ними только успевай следить. Всё вовремя надо делать. А народ всё прибывал и прибывал. У каждого своё.

У меня свыше семисот человек было. Флот из одиннадцати единиц за мной. Матросы, мотористы, повара, токари, столяры, АУП. Выручала память, считала быстро.

Легче стало, когда калькуляторы появились. Каждому выдали. До этого, когда я в Сызрани работала, на счётах считали. Там

у нас был один калькулятор на всех. Из-за него чуть не дрались: дай мне, дай мне! Всем надо. Я на счётах не только складывать и отнимать умела. И делила, и умножала. Быстро всё это проделывала, все дивились, глядя на меня. В привычку вошло в уме считать.

Меня на рынке многие знают у нас. Порой до смешного доходит. Торговки за прилавком будь здоров, что творят. Мне не жалко мелочи. Но обидно, что неправильно счёт ведут. Беру, например, картошки по двадцать пять с полтиной. Всего пять килограммов. Пока она взвешивает, я уже знаю: на сто двадцать семь рублей пятьдесят копеек. Она берёт сто тридцать семь с полтиной с меня. Спрашиваю:

— Почему столько?

Тычет в машинку:

— Читать умеешь, бабуля! — и показывает цифирь.

— Умею и читать, и считать, — отвечаю, — обманывать не научилась.

Соседка рядом тут же заступаться:

— Гражданка, больно вы говорливая!..

Спокойно отвечаю:

— Арифметика — наука точная. Надо уважать!

Она ещё двести граммов не довесила. Пальчик-то поторопилась снизу убрать с весов, я приметливая. Ещё надо минусовать пять рублей с маленьким хвостиком.

— Я округлила, — возражает считальщица.

— Округляйте до ста двадцати восьми, зачем больше?

Теперь издалека меня замечают. Не только эти две:

— О, калькулятор ходячий идёт!

Жалко их, право. Прокантуются на базаре день, а ночью так нагуляются — синяки под глазами. Какой тут счёт?.. Сальдо-бульдо. При мне, пока я потом яблоки выбирала, та, которая картошку мне взвешивала, подружке своей так, между прочим, говорит:

— Ленка-то снова почистилась и своего мордастого, этого, Сырова, побоку. Теперь с Генкой. Кобелина ещё тот! Ну, который с базы... долговязый.

А у самой фингал под глазом, как нарисованный... Молоденькая совсем... Подружка, которой говорит, ещё чище:

— С Генкой? А, говорят, он голубой?..

Городят, что ни попадя. Не слушала бы. Что же это нам досталось такое? На наших глазах мужики перевелись. Где они? А те-

перь и бабы на исход пошли. Кто рожать-то будет? Такие, как эти две с рынка? Нарожают... Выродимся.

ТЬфу ты! Не стала я у них яблоки покупать. И картошку вывалить назад хотела. Тошно у них из рук что-либо брать. Ну что они делают?

Умом понимаю: им, молодым, сейчас труднее, чем нам было в их годы. И труднее, чем нам, старым, сейчас. На них столько навалилось необычного. И опыта у старших в этом навалившемся нет. Но как-то надо себя держать... Ремнём отстегать порой хочется некоторых. Да ведь по заду нахлещешь, а в голову не вобьёшь. Поздно.

Широко шагнули

Перед отъездом к вам в Самару на рынок ходила. На входе — то ли девица, то ли парень? Стрижка короткая, не разберёшь. На худющем теле брючонки болтаются. Девица, думаю, губы в следах от помады.

Спросила:

— Дочка, скажи, который час?

Она мне:

— Не знаю, не считала.

Зло так говорит.

— Часы же на руке? — недоумеваю я.

— И что с того. Почему я вам должна объяснять! Они встали. А сотовый не взяла.

И смотрит пустыми глазами мимо меня. Будто меня и нет. Ясно: не меня только она не видит в упор, всех таких, как я, старых. От этого ещё обиднее. Подумала: а может, она так со мной, потому что я не в брюках, как многие. Не омужичилась...

Посмотрели бы наши отцы и матери на всё это. Услышали бы её ответ и не поняли. Что такое «сотовый»? Если это телефон, то при чем тут время? Ладно с сотовыми телефонами. Шагнули широко в технику. Слава нам! Но глаза? Они не должны быть пустыми. Если только мозги не повышибало прогрессом этим...

Говорю, и горько самой. Порадоваться хочется. Столько выдержали всего. Для чего-то это надо было пережить тем, кто до нас был... И нам досталось. Силы, которые положили, они прорасти должны в чём-то важном. И когда это случится?

Зачем на Север едут?

Как живут на Севере? По-разному, уже говорила.

У сына Петра одноклассник был в Надыме, Виктор. Мы жили в одном доме. Окончил он девять классов и мать отправила его в Питер к брату. Поступил учиться в техническое училище на экскаваторщика. Там и попал в дурную компанию. В голове-то реденько засеяно. Воровать начал.

Он и раньше не больно нравился мне своим поведением. Замечала, что частенько поступал нечестно, по мелочам. Всё шустрил что-нибудь. Такой вертолёт! Обокрали они какой-то там магазин. Поймали. Дали ему три года. Отсидел своё. Приехал к родителям в Надым. Нигде не работал.

Летом ночи в Надыме светлые: гуляй хоть до утра. Муж с женой несли пиво в банке. Он с друзьями был во дворе. Отняли пиво и ушли к приятелю, который жил рядом в общежитии. Эти, муж с женой, за ними. Вахтёрша видела компанию с трёхлитровой банкой пива. Подтвердила. Позвонили в милицию. Когда милиционер вошёл в комнату, разудалая компания распивала то злосчастное пиво.

Так как Виктор был судим, дали ему сначала два года условно. В Салехарде потом суд переименовал: пришлось ему сидеть два года. Отсидел, опять к матери вернулся.

Когда сидел, научился плотницкому делу, столярному. Она и этому рада была. Потом он начал работать в Ямбурге. Вахтовал по полмесяца. Сама не была там, а слышала: кто в Ямбурге не работал, тот Севера не видал. Зимой морозы под пятьдесят градусов. От барака до барака верёвки протянуты. С их помощью передвигаются, иначе унесёт. Так вот газ-то даётся.

...Мать к сестре уехала в Старый Оскол. Виктор примерно через полгода — к ней. Не захотел в Надыме с отцом жить. Пил тот крепко, буйствовал.

Прилетел Виктор к матери, его прямо в аэропорту и забрали. Он ничего не поймёт. Оказалось, в Ямбурге убили парня, с которым он работал вместе. Это было в начале девяностых, когда миллионы были... Мать с сестрой собрали денег, сколько для залога надо, чтобы его выпустили до суда.

Потом разобрались: когда случилось убийство, его уже в Ямбурге не было. Уволился и уехал. Он пока ждал суда, дал себе зарок: если отпустят, уйдёт в монахи. И ушёл. Разыскал мужской монастырь где-то в Калужской области. Мать, Люся, ездила к нему

следующей весной. Место, говорила — райский уголок. Дубовая роща рядом. Монахи всё вокруг в такой чистоте содержат. И столько кругом ландышей цветущих! Как в другой мир попала. Воздух! Хоть пей его. В монастыре коровы, куры. Целую ферму монахи содержат. Сын больше на кухне работал. Много заготовок всяких впрок делали. Консервировали, солили. Огороды огромные. Если корову зарежут, мясо не ели, в продажу. На полученные деньги покупали рыбу. Рыбное варили. Или постное.

Люся-то в Старом Осколе, у сестры. Муж Андрей в Надыме, пить продолжал без неё, напропалую. Малоокровие у него объявилось. Три месяца — и не стало Андрея. Квартира осталась пустой.

Тогда было время: у кого стаж выработан, тому меняли надымские квартиры на Старый Оскол. И правильно делали, я думаю, зачем Север пенсионерами заселять. Она успела поменять.

Но снова беда. Плохо стало у неё с ногами. Ходить невмочь. Сестра Ольга написала Виктору. Так, мол, и так, мать совсем стала неходячая, давай, Витя, к ней прибивайся. У меня семья, работа. Я не потяну. А ты один. Приезжай за мамой ухаживать.

Вот он два года уже в Старом Осколе и живёт, третий пошёл. Мать пенсию получает, а он пристроился в церкви работать. Я иногда звоню ей. Иной раз она мне:

— Марья Петровна, мой Витя такой добрый стал. Помогло ему временное его монашество утвердиться в жизни. Одно беспокоит. Ему сорок один уже, а не женат. Мне так хочется, чтобы нашёл какую порядочную и привёл.

Спокойная стала в разговоре. А то, бывало, в Надыме, зайду к ней, она и пошла без останова обо всём и обо всех, кто наверху. Я ей:

— Люсь, мне неинтересно про политику.

— А я не про политику, я про жизнь.

— Мне неинтересно других обсуждать.

Она своё:

— Те, которые ловкие, дело своё завели, разбогатели. А которые посовестливее, так... они в стороне остаются. Из них кто спился, кто повесился, кто чего...

Славны бубны за горами...

На Север каждый за своим едет. Свою долю ищет. Известно: славны бубны за горами. Чаще за деньгами едут. Кто как устроится. Кто в «Надымгазе» работает, теперь он стал «Газпромом»,

тот удачник. Хорошие у них оклады. У подружки моей Лунёвой, она умерла уже, дочь работает там уборщицей. Заработок — двадцать тысяч.

Мы со всей ребятнёй с пятого этажа в последнее время часто гурьбой у Нефёдовых собираемся. Теперь уж с внуками. Дарья Николаевна и Василий Михайлович из Оренбурга. Сначала они, орёлики молодые, целину рванули в 50-х годах поднимать. Там им какой-то мужик, который с Крыма, подсказал, что у него на родине организуется виноградарский совхоз. Уже закупили саженцы. Они — туда.

Приехали. Там, в этом совхозе, как раз строили дома из ракушечника. За счёт совхоза. Пилили на большие кирпичи его и — в дело. Построили они себе дом такой. Километров шестьдесят где-то от Евпатории. Стали неплохо жить. Туда на лето отдыхающие приезжают. Соорудили веранды, стали сдавать. Там же тепло.

И вот прибыли какие-то отдыхающие из Надыма, разговорились. Мол, в Надыме заработки неплохие, то да сё. Василий Михайлович и поехал в Надым. Он электрик со среднетехническим образованием. Устроился быстро. Через год дали ему квартиру. Дарья Николаевна подалась к нему. А дети уже взрослые. Старший сын остался в совхозе работать, женился. Второй сын, Владимир, в Питере служит во флоте. Познакомился с одной, пишет: «Женюсь». Родители не возражали. Приехали в Надым, живут с ними вместе. Внука родили им.

Дочь их Татьяна — решительная девка. Звонит в Надым матери: «В Афганистан еду. Уже документы подала». Мать в слезы: «Ты что? С ума сошла».

Уехала Татьяна. Два года была в Афганистане. Окончила курсы поваров. Работала в госпитале.

Что её заставило? Не могу сказать. Вода плохая, грязища. Заболела желтухой. Приехала к ним на Север.

Неприкаянные на Севере многие. Не все, конечно. Как унесённые ветром каким... Помнишь фильм-то этот?.. И каждый хромает на свою ногу.

Ни разу не слышала я, чтобы кто-нибудь на реке Надым песню запел. Как бывало на нашей Волге. Время будет, расскажу поболее, насмотрелась. Хотя что я больно-то видела? Все одно: мыканье... Надо ли кому теперь это знать, какая она была, жизнь при нас? И на Волге, и на Надыме. Мои-то, которые на Севере, как начну рассказывать, жалуются:

— Бабуть, ну зачем нам эти твои подробности? Они утомляют...

Но ведь без корня и полынь не растёт!

Всякий по-разному срывается с родных краёв. Кто добровольно вроде бы. Парфёна Жигулина вырвало с корнем не по его воле. У каждого своё, а получается — всё одно.

Растекается народ русский, его будто уже и нет. И те, кто живёт где, как временные. Никому уж не надо ни своей земли, ни дома у речки. Разве чтобы доживать только, не жить...

Совет

Едешь, бывало, в Сызрань на работу в автобусе летом либо по осени — духота нестерпимая. Народ с ведрами, с кошёлками тащится торговать всем, что огородишко и сад родили. Всегда так было. Ещё мама рассказывала: сушили на чердаке яблоки, груши, всё, что подходило для продажи. Крыша у дома железная, от неё жар идёт. Вот она навроде духовки и служила. Наготовят разных разностей — и на рынок в Сызрань.

За все десять лет, пока ездила на работу, ни разу я, кажется, не присела в автобусе. Потные, намаявшиися за день на рынке бабёнки, еле живы. Стыдно мне, молодой да здоровущей, садиться. Все двадцать шесть остановок стоя проезжала. Насмотрелась за эти годы. За дорогу чего только ни услышишь, чего ни расскажут. Своими становились.

На Севере в Надымском порту учётчица Нюра Тананыхина всё удивлялась:

— Марья Петровна, ну почему это так? Мы же ровесницы с тобой, а мне ни разу никто в автобусе место не уступил? Тебе же, только войдёшь — пожалуйста! Будто знают, что у тебя ноги больные. Почему так?

Мы вместе с ней долго работали, вместе каждый раз в автобусе домой добирались.

Что ей сказать? Жизнь уж, считай, прожила, а только теперь задумалась. Случится что-либо с кем, она: «Так ему и надо, злыдня!» Ушёл от Кати Морозовой муж: «Ну вот,дохвалилась: мой Коленька, мой Коленька!.. А он: нате вам! Все они, мужики, кобели! Не только мне одной ночки ночевать. И ты, Катенька, отведай такой жизни, как моя. Знай, как без мужа».

Такое говорит и напрямую, и за глаза. Брызжит завистью и злостью вокруг себя. И какая-то гордость, что ли, в ней: «Что думаю, то и говорю! Напрямую. Такая я прямая», — заявляет. Ну да, прямая! Как дуга.

Мы давно пенсионерки уж обе. Она всё прежняя. Начнёшь говорить, не хочет слушать. Ей доживать! Бог с ней. А мне мама моя, когда ещё, говорила:

— Кинь добро назад, оцутится впереди!

Видать, вовремя сказала. С малолетства надо... Не зря я в автобусах уступала место... Вернулось это ко мне, когда надо. Я, и правда, не могу теперь подолгу стоять. Неужто никто Нюре не говорил в детстве похожих слов, какие говорила моя мама? Тогда чему же учили... Пришлось мне говорить. Но ведь она, Нюра-то, столько уже прожила. И не дотумкала? А детей своих чему учила? И что они скажут своим детям? Сказала ей так, она только рукой махнула.

Я почему тебе эдак долго по одному месту? Отодвинь ты эти свои толстые взрослые книги. Пиши детские. Вот тебе мой совет. Это такое чудо — первые книжки! Они на всю жизнь. Разные были. И про грабителей — тоже.

А учили добру сызмальства. Пока ещё не поздно, возьми! Помнишь ли «Серую шейку»? Помнишь! Как её забудешь?

Попробуй, напиши такую... За толстые не знаю, а за детские, глядишь, и тебе будут место в трамвае уступать. У тебя с ногами-то как?

Как в мину попала

Мама с папой обвенчались в феврале 1914 года. В 1964-м мы им золотую свадьбу справляли. Всё, как положено. Родных было на свадьбе полным-полно. Как папа с мамой жили, так каждому бы прожить. Крепко уважали друг друга. И любили. Бывало, ребяташки мать не послушаются, папа: «За мать — разорву!» — так говорил. Ругаться не ругался, скажет коротко и замолчит. Ни разу не сказал при нас матерного слова. Чтобы был очень сердитый, со злом что-нибудь — такого не было.

Но иногда в такой большой семье что-то да случится. Мама ему начнёт что-нибудь такое говорить, а он: «Ну, пошла жевать». И — молчок! Мы уже знали: это было его крайнее слово. И всё. Помолчали. И как ни в чём не бывало родители начинают опять разговаривать. Хороший родитель был. Только добрым словом вспоминаешь.

Папа два года не дожил до своего 85-летия. Умер незадолго до нашего отъезда на Север. Пришёл в сараюшку пол подмести, там куры у нас были в одной половине. В другой — две козы. Мама сидела козу доила, а он стал сметать куриный помёт в корытце, кото-

рое встроил вровень с полом. Мама и не поняла, как всё случилось. Обернулась, а он лежит недвижимый. Голоса не подал даже. До этого два инфаркта было.

Такая жизнь: многое хотел, а умер в курятнике. Боже мой, что я говорю? Всю жизнь папа трудился, нас кормил. Никого за всю жизнь пальцем не тронул.

...Андрей Сидоркин, одноклассник его, говорил на похоронах маме: «Счастливый какой Пётр-то. Жил незаметно, никому не мешал. И ушёл, никого не обременил старостью своей. Мне бы так...». Позавидовал.

...Я сейчас замечаю за собой: у меня, как у папы, сердце-то стало. То защежит, то ничего. Руки вот порой не слушаются. Когда стою ещё, на кухне руками могу работать, а наклонюсь: мотнёт в сторону... Мне бы тоже так, как папа, чтоб не в обузу...

Спрашиваешь, что в жизни было самого-самого?.. А что было? Работа да заботы — вот и вся жизнь. Что ещё вспомнить? Дети — самая большая забота. О себе когда помнить? Дом хозяином держится. А у мужа моего, что на катере, что в доме — всё в развале. Злой Михаил был невероятно.

Ладно, я сильная, ему со мной не совладать. А то и меня поначалу бить вздумал. Но куда ему?.. Мне перед свадьбой-то Андриян, их дальний родственник, пожалел, что ли, меня, сказал:

— Девка, девка! У них ведь все непутёвые, я и деда его знал. Одинаковые. Муху урезать для них самое то. Мерекнешь?..

Это он мне тогда ещё сказал. Верно оказалось. Старый ворон даром не каркнет. Потом-то меня прошибло. Что я сама наделала, за него вышла? Как в тину какую попала. Одну ногу вытянешь, другая увязла.

Никакой путёвый работник из мужа и на Севере не получился. От себя не уйдёшь. Не любил работать и людей не любил. Куда уж ещё хуже?

Песни не пел. Ни одной не знал. И пил, и дурил, и детей бил. И дочь, и сын бегали от него. Я не давала бить, так он без меня Петра отстегает и прикажет, чтобы молчал.

Но всему свой конец. Однажды прихожу с работы. Петя сам не свой сидит на кухне. Лицо, опухшее от слёз. Голос охрипший. Стали допытываться, он реветь. Ничего не говорит.

— Ну-ка, — говорю, — рубаху сними.

Снял. Гляжу: у него от плеча до бёдер тёмные полосы. И ремень на полу в углу лежит. Ремнём сёк десятилетнего мальчишку.

— В чём дело?

Петя опять в рёв. А Михаил:

— Я ему велел, стервецу, прийти ко мне сразу после школы на причал. А он не пришёл вовремя. Вдруг утонул или ещё что?..

Схватила я в горячках ремень. Ну, думаю: держись! Одним махом свалила Михаила на пол. Разум, что ли, помутился. Опомнилась: Боже, он же муж мой! Что же это... сын рядом.

А Михаил перепугался. Бледный. Трус — одно слово. Не мужик.

— Он на два часа опоздал, — гутнявит своё, — я переволновался...

Бросила в лицо ему ремень этот. Говорю:

— Беру сейчас Петю и ходу с ним в больницу. Пройдём освидетельствование. Подам бумагу в милицию. Будешь сидеть. Хватит мордовать!

Не ожидала: бухнулся он на колени и стал молить, чтобы простила. Противно стало. Схватила Петю и ушла на улицу. Продышаться от всего этого.

Когда вернулись, он спит пьяный на полу. Села и сижу на кухне: лицо в слезах. Баба — она и есть баба.

В деда

Когда уволили Михаила за пьянку, с полгода ходил он с трудовой книжкой в кармане — всё устраивался. Нигде уж не брали. Ни там, ни здесь. А вскоре утонул в Надыме. По пьяни весной. Жил пьяным, помер глупо.

Поднимала детей одна.

...Только в день похорон Петя был у могилы отца. Потом — ни разу. А у деда в последний приезд в Октябрьск памятник обновил.

...Думала, развязалась с пьянью. А тут зять такой же, Геннадий, Наташин муж... Этот хоть детей не бьёт... Потихоньку кровь портит.

Я настояла в своё время сына Петром назвать в честь деда. Хотела, чтобы на папу был похож. И не ошиблась. Когда в вертолётное училище Петя поступал, зрение подвело. Зачислили не летать, а в механики. После учёбы в Выборге вернулся в Надым.

Весь с тех пор в железках. Порода такая, кропотливый. И совестьливый во всём. В деда. Комара во сне не обидит. Таким бы высшее образование, да побольше их. Наша общая жизнь, глядишь, получше стала бы. Выпрямилась... Но нет, как-то по-другому она идёт... По своим законам устроена, жизнёнка наша...

...Вздумали его в депутаты избрать, а он ни в какую. Отказался. И папа сторонился власти всякой. Руками живём.

Грустные картины

Там на Севере, известно, лагеря были. Ссылные.

Совсем ещё недавно жил в городе один из таких. Звали его Аполлоном. Поговаривали, что граф по происхождению. За что осудили, не знаю. Деликатный такой, высокий. Когда освободился, построил дом. И жил себе прямо у реки Надым. Рассказывал кое-что о своей жизни. Немного.

Раз в год ездил он в Питер. Краски масляные привозил. Рисовал. Чаще всего — осенний лес. Грустные картины такие. А не-большо давно умер, в 98 лет. Всегда при встрече тянуло меня с ним заговорить. Иногда получалось.

Спрашиваю, что ели в войну в ссылке? Мне интересно сравнить с тем, как в Октябрьске было. Хлеба, говорит, не видели. По двести граммов крупы давали на день. Питались в основном тем, что лес давал. Было много куропаток. Оленя зимой забивали. Как в Надым едешь, по дороге там мост. А рядом озеро небольшое. Такие огромные караси в нём были. Озеро так и называлось: Кара-сёво. Потом ягоды, конечно, выручали.

Морозы наступали в сентябре. И холода стояли до июля. Когда город построили и теплоцентраль, климат изменился. Немного теплее стало, а то один год даже речка не вскрывалась. Уже при мне на реке земснаряд поставили. Чистили судовой ход, чтобы суда не садились на мель. Дебаркадер обустроили. Жила на нём обслуга разная. До этого места баржа доходит, с неё груз на пустые рассредотачивают, чтобы судно мелко сидело. И дальше везут.

Я Аполлона несколько раз у этого дебаркадера с мольбертом видела. Чего уж он там интересного нашёл? Сказал один раз:

— Какой прекрасный мир оставил нам Творец!

Дивно мне было тогда слышать слова его.

— Я прожила столько здесь и не увидела красоты никакой, ма-ята одна, — говорю ему, — без Волги мне и холодно, и серо здесь. Где вы увидели её, красоту?

— Человек — часть этой красоты, — так сказал. И совсем меня заморочил. Сколько ему люди вреда сделали, а он такое говорит.

Сильно испортился человек. Было бы побольше таких, как мой папа...

Свет идёт

Теперь всё чаще папу вспоминаю. Раньше сильно не задумывалась о вере. Помолюсь, и ладно. А теперь книги духовные начала читать. Евангелие. Раньше бы надо.

Папа-то! Он, бывало, перекрестится в нашем доме перед иконкой в переднем углу: «Святой Ангеле Божий, хранитель мой, моли Бога о нас, грешных...» Обернётся на меня, лицо светится... С верой в душе жил. И дом наш на Волге, намоленный им. Оттого, может, и крепок ещё.

Мне Аполлона будто кто в помощь послал. Говорит:

— Сходите в Свято-Никольский храм-то, который у нас недавно построили*. Он заряжает жизнью. По-новому должна церковь заговорить и, кажется, заговорила. Надо не уводить человека от жизни, а подготавливать к ней. К жизни не потом, а на земле. Жизнь и есть рай настоящий.

А я хожу в храм. Как не ходить? Не стала ему говорить об этом. Давно хожу... И вижу: не все, кто в храме, переживают. Некоторые приходят по форме... Меня слова его удивили в который раз. Это моя-то жизнь и других, кто рядом — рай?

А художник о своём:

— Рай надо творить самим нам. Я на Севере это понял. Это мой главный итог жизни. Храм здесь, на Севере, как нигде, соединяет и небо, и землю. И холодный север, и тёплый юг. И Волгу, и Надым. Он среди суровой жизни — опора духа! В очередной раз у России крыша поехала. Сколько можно? Смута — вот название всему, что творится. Очередная смута. Во всей России холод. Надежда на храм. В нём душа согревается. Свет идёт. Церковь не может теперь быть сама по себе. Мир изменится к лучшему только в единстве мирского и церковного.

Когда он так сказал, я опять папу вспомнила. Он вначале верующим был, а потом в партию вступил.

Я, старуха, пожила, а терялась, когда так Аполлон толковал. Было уже это... с папой было, со всеми нами. Верили в Бога, в царя, потом в Ленина, в Сталина... в перестройку... Устали верить... Все-

* Первый камень в основании Свято-Никольского храма был освящен Святейшим Патриархом Московским и Всея Руси Алексием II. Покидая Надым в 1994 году, патриарх Алексий II произнёс: «Я увожу отсюда впечатления доброты и согласия, которые дают хороший пример и для больших городов, мегаполисов, где, к сожалению, люди часто настроены зло и враждебно друг к другу. Ваш пример мира — образец... Мне показалось, что люди здесь, на Севере, больше думают об этом и работают на благо России».

общее братство, равенство... Будет ли такое когда? Какое братство, коль капитализм начали строить? Всё по кругу идёт!..

Сказала ему о своих сомнениях. А он не развеял их. Говорил, задумавшись:

— Грешны мы все, Марья Петровна. И не признаемся в этом, в личной вине перед нашей жизнью грешны. Повиниться нам надо, всем! Слишком многому верили из того, что нам говорили. Верили тем, кого не надо было слушать. И у нас, и за бугром столько таких говорунов оказалось. Говорунов себе на уме, со своей целью...

Слушала я его и много у меня вопросов теснилось. Я бы ему поверила до конца, но в чём мне повиниться?... Я готова... Работала, детей, внуков растила... Работа и гнула, и спасала... Конечно, многое теперь бы по-другому делала. Но не дано уж... Молодёжи кто укажет? Нас-то, старых, они не слышат. Только мешаемся под ногами у них. Чем скорее нас не будет... Мы, как укор...

Большой грех

А тут у Аполлона брат нашёлся. Он к нему ездил, куда-то в Тульскую область. Мрачный вернулся.

У него женщина в доме убиралась. Говорила, что Аполлон, приехав, нарисовал огромную картину. На ней опять лес осенний и ничего больше. Бурелом такой. Едва-едва свет издалека меж деревьев виден...

Дом его вскоре сгорел. То ли сам виноват, то ли кто поджёт. Так полыхало! Всё, что в доме было, пеплом и головёшками стало. Сразу после этого художник заболел и умер. Я его незадолго до смерти у храма встретила. Указал он на прихожан:

— Смотрите, Марья Петровна! Народ в храм тянется. Ищет опору. И вы в храм пришли! Россия в который раз во мгле. Успех любой ценой — разве это не грех? Большой грех. Посмотрел я на своих племянников в прошлую поездку и на их детей. Лучше бы не видел.

А меня не остановишь. Не знаю, почему.

— Потянулся народ в храм, — соглашаюсь, — но уж больно разные жизни — в храме и на улице.

— Не торопитесь судить, — говорит. И смотрит на меня не осуждающе, а терпеливо, как на дитя малое. И правда, кто я перед ним?

— От иконы до топора, — говорю, — при безысходности далеко ли? Не зря мой папа рассказывал когда-то, что трубка Стеньки Ра-

зина вечно дымится в Жигулёвских горах. До поры. Коли ту трубку кто покурит, станет заговорённым. Будет, словно сам Стенька. И клады ему дадутся, и всё, что надобно. Одно слово — Разиным будет. Вот говорят, высох народ? Люди стали, как сухие листья, жухлыми. Но ведь сухие листья и полыхнуть могут, напоследок...

— Экая вы, Марья, дремучая натура! — отвечает. — Когда она была, волжская вольница?! Тогда, когда народ был полудикий. От невежества говорите так. Эдак думать и рассуждать в наше время уже нельзя. Вы со своими трубками Разина да мечами-кладенцами зловредны сейчас. Надо забыть о них. Бог нас не оставит. Он любит нас. И правду видит.

— Видит, — соглашаюсь, — да не скоро скажет. А сами мы, как слепые.

— Молитесь, — только и молвил он мне в ответ.

Я и молюсь. Молюсь и думаю, что каждый по-своему верит в нашу жизнь, оттого она никак не наладится.

Кто учит нас, сами ушибленные. Ушибленные больно все мы. Особенно наши мужики. Прости меня, Господи!

Пожар

Я после разговоров с Аполлоном, а ещё больше после пожара, когда у него всё сгорело, по-другому начала думать. Огня всю жизнь боюсь. Ещё с детства с самого. Боюсь и всё! Как папа рассказывал про пожар в Сызрани*, так во мне это и сидит.

Потом видела, как залитая соляжкой, горела Волга. Я уже тогда большой была. Не приведи, Господи, ещё такому быть.

Первый раз Сызрань сгорела полностью. Её начинали когда-то строить из сосновых брёвен. Так она деревянной и была. Город тогда восстанавливали по регулярному плану, утверждённому царём Александром I.

В 1906 году случился второй пожар. Папе было тогда восемнадцать. За четыре часа город сгорел почти весь. Не стало около четырёх тысяч домов. После этого пожара на Большой улице запретили строить деревянные строения.

Говорили, что был очень сильный ветер. Кто-то из жителей варил варенье во дворе. Как уж всё получилось?.. Полыхнуло...

* Первый раз 17 июля 1795 г. город сгорел дотла. Уцелели лишь заречные слободки. В 1804 году новый регулярный план Сызрани был составлен и сам император Александр I наложил на него резолюцию: «Быть по сему». Второй пожар в июле 1906 года уничтожил 126 городских кварталов, неповреждёнными остались всего лишь 954 строения, уцелел и Засызран.

Огонь тут же разметало по всему городу. Только у Воложки остались строения. Через четыре часа всё стихло и пошёл проливной дождь.

Дедушка мой и папа с друзьями успели столы, стулья, посуду, постель, одежду, рамы, наличники, двери упрятать в большой погреб и засыпать землёй. Дом сгорел.

Много паники было.

Соседка бежит. Веники банные на себя навешала.

Папа кричит ей:

— Брось веники. Загорятся: погибнешь!

У одного мужика на столе в доме лежали часы и замок. Схватил замок и выбежал на улицу. Бежит с одним замком в руках. Глаза круглые. Никого и ничего не видит. Замкнуло.

Страшно было слушать про приехавшую тогда в город известную артистку. Папа с товарищем наткнулся на неё, когда она уже мёртвая лежала. Выбегала из помещения и, видно, в дыму задохнулась. Украшения с неё все снимали на его глазах. Он бросился, чтоб прекратить безобразие, а его тут же толпа сшибла с ног. Поднялся когда, дым кругом, гарь. Все чумазые. А она лежит на земле: белотелая, красивая. Как живая. Только вот пальцы вывернуты. Сдирали перстень и кольцо с мёртвой и изуродовали.

Кому чего в этой жизни надо. Всегда так было. И до революции, и после. Неужто злоба и алчность в человеке навсегда? Откуда она?

И с Россией то же самое...

Случился пожар. Беда большая. Живая ещё она, Россия! А с неё рвут всё по частям... И свои, и чужие рвут...

Не белотелая она уже. А рвать с неё есть ещё чего...

Регулярный план для восстановления России нужен, как после войны или большого пожара.

* * *

Тогда погорельцам была помощь от царя. Маленькая. Наши на том же месте начали строить дом свой. Поставили сруб, сладили потолок. А на большее не хватило. Решили так зимовать. Наступила осень. Дожди пошли. Потолок промок. В Троекуровке у дальних родственников взяли денег займы. Возвели крышу. То, что в погребе из вещей и утвари было, всё сохранилось.

Выжили!

А была она бегучая...

...Когда умерла Нонна Мордюкова, опечалилась я сильно. Очень похожа она была на Настёну Жигулину. Помнишь, я про её мужа рассказывала. На неё. А теперь вот вчера Людмилы Зыкиной не стало. Зыкина всего на два года старше меня. Волга без Зыкиной теперь одинокая. И тихая.

Зыкина тоже намаялась. Мать умерла. Отец — не отец. Верно она сказала однажды под конец жизни. Какая, шут, разница — царизм, коммунизм, социализм? Дело было бы. Жить бы давали, а там — сами разберёмся.

Мне одна Аполлон говорит:

— Опора наша должна быть в мужском разуме, в мужской твёрдости. Везде!

Я с ним соглашаюсь, а сама себе думаю: «Где сейчас такие мужики-то? Давно они перевелись». Как говорит Варвара, остались большие пацаны.

И то верно. Говорю так, а сама всё про Волгу думаю. И жизни-то сладкой на ней не было, а сердце волнуется, как про неё вспомню.

Беднее стала Волга. Мельчает и жизнь около неё. Воды много, целое море, а еле живая она. Понатыркали тромбов, река и стала водоёмом. А была она — бегучая. Течение — могучее, аж дух захватывало. Стянули ей сосуды, какая уж тут жизнь... Широка матушка, а воли ей нет.

Своими руками своё же и рушим. Раньше песни пели и на Волге, и про Волгу. А какие песни теперь у такой реки?.. О доме песни пели. А потом оторвались от прежнего и, будто повисли... Дома, куда можно вернуться, не стало.

...Ясно всякому, Волге надо течь без преград, вольной. Такой и наша жизнь должна быть, а не как у распухшей от глистов рыбы. На глазах всё сходит на нет.

И наши, Смирновы, на убыль пошли... У братьев моих сыновей нет, и я — Вострикова. И сын, Петя мой, с такой же фамилией...

Как майская ночь...

Гляжу иногда на свою внучку. Ручонки-то какие беленькие у неё. И слабенькие. Такая молодёжь теперь. С эдакими ручонками только у компьютера с мышкой и сидеть. Случись жизнь, на нашу похожая, осилит ли?

А теперешняя жизнь?..

...Давно уж смотрю на неё, на теперешнюю, будто из окна нашего дома над Волгой. Словно дом наш выше поднялся. Виднее теперь из него стало вокруг...

Прежней жизни нет, а новая — непонятная...

Что желать внучке? Был бы порядок и справедливость, а там, как у кого сложится. Внуки наши уж так не привязаны к Волге и к дому, как мы. Другие они.

А мы? Мы — такие, какие получились. Жили нелегко, особенно в детстве. А какой свет идёт оттуда, из детства нашего! Неугасимый...

Нас, всех живущих сейчас, лет через шестьдесят почти никого не будет. Не будет около полутораста миллионов человек. А мы живём и не задумываемся до срока о многом. Так устроено.

А те, которые всех нас, ныне живущих, заменят... И они таким же макаром проживут? Не смогут ответить, почему так жили? Их заранее надо пожалеть и простить. Боюсь, не справятся с такой задачей. Неподъёмная она у нас. А может, до срока неподъёмная?..

...А как хочется жить радостно! Коротка жизнь каждого, как майская ночь. А общая наша жизнь, как Волга-матушка... Ей течь долго!

Когда только одумались

В Батраках когда-то у железной дороги была четырёхлетняя школа, каменный одноэтажный дом. За этим домом, в Костычах, на яру, не больно высоко, стояла красивая деревянная церковь, в ней была позже тюрьма. Церковь эту разломали.

Мать моей подруги Лили, тётя Маруся, дружила с дочерью настоятеля церкви. Та ей рассказывала, что, когда раскатали церковь на бревна, один партиец построил себе дом из этих брёвен. Материал-то добротный.

Стали жить в таком доме. Как наступит темнота, гул откуда-то идёт. Молитвы, пение слышатся ему. Он стал болеть и болеть, а потом с ума сошёл. Заколотили они дом и всей семьёй уехали. Никто у них этот дом не захотел купить...

Не оттого ль наши судьбы такие?.. Поналомали да раскатали прежнюю жизнь по брёвнышку...

В Октябрьске начали строить церковь. Когда только одумались! И то ладно!

...В Костычах теперь стоит, давно уж, молельный дом.

Замолим ли нами содеянное?.. Думаю так, а сама художника из Надыма вспоминаю. Он об этом говорил тогда, перед самой своей смертью. О покаянии говорил.

Вспоминаю...

Муж мой Михаил махнул на Север, чтобы меня увезти подальше от Андрея. Не давала ему покоя эта заноза — его ревность. Напридумал себе в оправдание вечных своих пьянок.

Пил-то от чего? В породе заложено? Не больно теперь верю этому. Мне его порой сильно жалко было.

...У нас с Андреем потом, после свадьбы моей, ничего не было. А я всегда помнила его. Всю жизнь. Михаил это чувствовал и не мог простить. Злился. Фотография Андрея на городской Доске почёта висела. Весь Октябрьск его знал. И нашу с Андреем историю многие знали...

Я боролась с собой, старалась быть хорошей женой. Дети же... Когда с Андреем в Октябрьске встречались случайно, не знали, как себя вести оба. А взрослые уже...

Была-то у нас с Андреем наша с ним ноченька майская всего одна. После тех танцев в городском парке с курсантиками.

...У Андрея семейная жизнь не заладилась. Жена постоянно болела. Рано умерла. Он так и не женился во второй раз. Девочек-двойняшек с матерью своей поднимал. Работящий и деловой. Был делегатом XXII съезда партии. Наград наполучал. Совестьливый был.

И грустный... Не как в молодости. Таким остался в памяти. Моей вины в этом много. Уже почти двадцать лет, как его нету, а я всё скриплю. Самой странно...

* * *

Что уж теперь? Не шибко ладилась жизнь с мужем и на Севере. Только что не бил. Не далась. А так... Работали. Работа многое вычищала. Детей растили. Все, как у всех, вроде бы. Вспоминаю теперь... личную жизнь... Хорошего-то немного было. А у кого его больно много, хорошего?..

...Вспоминаю.

В темноте и гнилушки светят...

Вместо эпилога

Прожив у нас не всё лето, как собиралась, а чуть больше месяца, Марья Петровна внезапно собралась уезжать. Старшая её внучка Лена месяц назад проводила мужа служить в армию. Теперь он в Северодвинске. Уже определено, Сергей будет служить водолозом.

Узнав это, я невольно подумал: прошло без малого сто лет, как Петра Андреевича Смирнова призвали на службу во флот. И вот новая судьба, Сергея и Лены. На другом вроде бы витке. У обоих высшее образование. Но ни кола, ни двора нет. Успели снять крохотную комнату в Надыме...

Новая судьба, как старая калька. Всё бы, кажется, ничего, да пришла телеграмма: попала Лена в автомобильную аварию. Лежит с переломом обеих ног. Это на третьем-то месяце беременности. Вот Марья Петровна и заспешила в Надым.

Когда прощались у вагона, сказала она с поразившим меня спокойствием:

— Не судьба. Хотела подольше пожить на Волге. Я что, было, удумала? Умру, может, здесь, здоровье-то никудышное. Оттого и разговорилась. Похороните около родителей, у реки. На просторе. Не хочу лежать на Севере, в мерзлоте. Удумала, а на всё воля Божья. Внучка переломанная ждёт, некогда помирать. Простите меня, грешную.

...Она уехала. И не стало в нашем доме того особого тепла и душевного света, какой был при ней. Всё, кажется, осталось на месте, а с умолкнувшей её, порой косноязычной, но такой живой речью многое потускнело.

За то время, пока гостила у нас, она и варенья нам наварить успела, и наготовила целую батарею банок сока. Пустовавший наш погребок ожил. Все, которые вокруг неё были, окунулись в ароматный, вкусный, домовитый, полузабытый уже мир детских запахов и ощущений.

Уехала и мы словно осиротели.

Надолго ли хватит нам подарков, припасённых впрок её щедрой душой?..

Надолго ли хватит нас всех таких, без сокровенной простоты и сердечности, которая уходит из нашей жизни с нашими родителями?

«Она и песни-то любила те, которые пел мой дед», — запоздало спохватился я.

...Ловлю себя на том, что я теперь смотрю на окружающую жизнь по-иному. То, как Марья Петровна: из окна дома её над Волгой, в котором прожил-то всего три неполных дня, когда приехал с ней в Октябрьск, то будто из окошка маминого дома в светоносном и лесостепном нашем Заволжье.

Из окошка самого главного моего дома, которого давно уже и нет. Наш саманный дом был недолговечным...

Июнь 2009 — сентябрь 2010 г.

Красносамарские родники

Многие вещи, которые я не захотел бы сказать ни одному человеку, я сообщаю всему честному народу.

Мишель Монтень

Замечая моего внука

Подбил меня на это наше неожиданное путешествие приехавший на лето из Москвы четырнадцатилетний внук Саша.

Слушая мои рассказы о сплаве на резиновой лодке от истока реки Самары до её устья, он загорелся:

— А давай махнём вдоль Самарки на велосипедах!

— Это ещё зачем?

— Испытаем мой новый велик!

— Там же бездорожье. Кругом всё заросло!

— Вот и хорошо! — воодушевился внук. — Пересечённая местность. Как раз то, что надо! Тут колесить вокруг дачки скука...

И, не давая мне времени на раздумье, наступал:

— Вернёмся домой, отдохнём денёк и покатаем до села Богатое! Или дальше, к Бузулуку! Смотреть Бузулукский бор.

— Вдоль Самарки до Бузулука? — качал я головой. — Далековато!

У внука свои доводы:

— Я посмотрел по карте. Там асфальтовая дорога.

— До Богатого сорок километров в один конец, — пытался я охладить его.

— Нормально! — бодро реагировал он. — Классное испытание для велика.

Я согласился на поездку до посёлка Красная Самарка. Внук, довольный, успокаивал:

— Разберём велосипед, положим в машину — и в Утёвку. Там переночуем, а с утра — в путь. Всего-то не более, как ты говоришь, пятнадцати километров. Доберёмся до моста под Крепостью, посмотрим родники. И обратно. Сам же говорил, что соскучился по ним.

«Действительно, — мысленно упрекал я себя. — В его возрасте от такого велосипеда и у меня бы дыхание перехватило. С каким удовольствием он поглаживает его чёрный руль! Как я в своё время шею резвого жеребчика».

Этот низкий прямой руль его велосипеда похож на рога крепких бычков, которых я видел однажды в Барселоне на корриде — артистически запланированном мерзком действии с обязательным убийством и кровью...

...И весь велосипед внука — рвущийся вперёд, нетерпеливый, наполненный неудержимой энергией, приземистый бычок.

Горный велосипед фирмы «Трэк» — импортное маленькое чудо. С восемью звёздочками на заднем колесе для переключения скоростей, задним и передним ручными тормозами. С хищными жёсткими протекторами шин, удобным широким сиденьем. С компьютером для замера скорости, расстояния, времени в пути, текущего времени.

«Ну разве то, что я стал с трудом переносить жаркое солнце, — причина не ехать?» — колебался я.

— Саша, куда? — когда рядом не было внука, тихо протестовала против нашей поездки жена. — Вот только, как по семь часов лежал под капельницей. Мыслимо ли? Не молодой уж...

— Мыслимо! — больше убеждая себя самого, отзывался я. — Одно дело — эта больничка, откуда вырвался, слава Богу, живым, другое — Самарка!

— Это ж не в машине с кондиционером! На солнцепёке! Целый день?! На дворе самая макушка лета!

— Вот увидишь: жара спадёт. Притом там кругом вода...

— Всё бы тебе рваться куда-то, хватит уж...

Увы, жена моя не права. Уже не рвусь. Не так рвусь... Стал тихоходом. Часто теперь откладываю задуманное на «потом». Много стал не успевать...

* * *

Через пару дней мы втиснули по частям разобранный велосипед внука в мою машину и отправились в село, в котором я родился и постоянно жил до восемнадцати лет. В Утёвку!

Пшеничное поле

Мы переночевали у моей сестры в Утёвке и рано утром, распахнув широкие жердяные ворота, выехали с затравевшего двора.

Решено было, захав левее от села в Угол, точнее в Ясашный угол, подняться вдоль реки вверх до Крепости. Официально этот посёлок теперь называется Красная Самарка. Перебраться, если он ещё есть, по мосту на ту сторону реки. И там попить холодной водицы! Насладиться родниковыми струями, бьющими из массивной кручи, уходящей вверх, к Бариновой горе. Вернуться к вечеру домой. Всего-то!

...Выехали на окраину села. И сразу оказались в Ясашном углу — пространстве между селом и речкой, разделённом надвое старым ветельником.

Старенький, с поржавевшими крыльями и рамой, дорожный велосипед Пензенской фабрики, взятый мной напрокат у племянника Сергея, оказался вполне сносным транспортным средством. Его затрапезный вид меня не смущал. Наоборот, как-то даже убеждал своим позвякиванием разболтанного багажника в запасе выносливости на привычных ему местных дорогах.

...Ясашный угол! Я всегда любил это место. Со школьных лет знал, что до отмены крепостного права жители моего села, которому теперь поболее двухсот лет, относились к двум земельным обществам: Ясашному и Удельному. Удельные крестьяне платили все налоги князьям царствующей династии Романовых. А ясачные (в Утёвке говорят: ясашные) платили ясак государству. Вот этот ясашный люд и жил на краю села, примыкавшем к Самарке. В детстве здесь, на окраине сельской улицы, встречался я со знойным духом высокой золочёной пшеницы. Это было чудо! Песенное чудо! Широкий простор пшеничного поля, волновые приливы и отливы золотящейся нивы захватывали дух. В последние годы пшеничное поле было только слева от дороги и уходило бескрайне куда-то, мимо села, на запад. Соединялось своей позолотой с небесной синью горизонта. Синее и золотое! Особенно волновало меня поле в пору созревания злаков, когда вдоволь солнечного света и властвует он над головой, проливаясь в волнисто-дремотное чудо...

...Когда я был совсем мал, пшеница шумела и справа от дороги. Дорога шла по полю. И, чтобы добраться до речки, надо было не менее версты пройти по этому чудесному уголку, где налитые колосья стояли ровень с твоими глазами. Забудешь ли такое!..

...Сразу же вспомнилось другое: полузабытые уже, глубинные запахи обработанной после августовских знойных деньков земли. Над полем в такие дни веяло духом соломы, настоенном на запахе работы, из года в год вершимой с потом, улыбками, озабоченностью и верой в матушку-кормилицу, в её щедрость...

Едва мы, оставив мост и речушку Прыгалку справа, выскочили из села на простор, сердце сжалось. Где же оно, поле?

Не было золотящегося, волнующегося моря. Стоял поредевший ветельник справа, а слева вместо золотистого было серо-бурое пугающее пространство, заросшее всевозможным сорняком. Сорняк тут был как бы уже и не сорняк. Полынь, берёзка, череда, репейник — они властвовали вокруг. Всласть себе. Вольготно и безудержно. Становилось не по себе.

Озираясь, я машинально нажимал на педали. Дорога сама привела куда надо. Туда, где мы, ребята, купались — к реке. На Исковскую купалку, обычно летом шумную и разноголосую. Теперь слева на подходе к купалке, на ровной площадке раскинулись ряды огромных теплиц. Я в замешательстве насчитал их двенадцать штук! Шесть рядов, по две длинных теплицы в каждом. Не верил тому, что видел. Не воспринимал до конца. Мы с внуком спешились, положили велосипеды сбочь от дороги на траву.

Что же тут вершится?

Теплицы стояли по левую сторону дороги, по правую была сторожка. Через песчаную дорогу от реки тянулась толстая тёмная труба. Явно для полива.

Мы пошли в сторону теплиц. Всё устроено с широким размахом.

Помидоры в укрытии висели непривычно огромные для наших мест. Их было неестественно много, и кусты были в человеческий рост. Зелень и ярко-красные плоды напирали, ломились через полиэтиленовую плёнку наружу. В торцах теплиц, с обеих сторон, плёнка была приподнята, и там зелень и помидоры были ещё ярче и вызывающими, что ли...

Потрогал одну помидорину. Она была тяжёлая и тугая, будто из чугуна. Внук последовал моему примеру. И тут же оценил.

— Во накачали! — удивился он.

— Что? — не сразу понял я.

— Помидоры химией накачали. Видно же, ненормальные. Кто их есть такие будет?.. Выперли!

Никого вокруг не было. Всё открыто, доступно. Так бывает у хозяина, который временно отлучился и который не опасается, что кто-то чего-то тут тронет. Как так? Он тут главный... Попробуй!..

Ощущение того, что этот «кто-то» очень уверенно, без оглядки, властно заполнил освободившееся, а вернее бросовое поле, ранее звенящее тугим пшеничным колосом, делало всю округу чужой, не похожей на прежнюю...

С подбитым крылом

Тут, где высокий обрыв и пошумливает добравшийся старым ветельником из широкой степи с ильменьком ручей, всегда было шумно от купающихся. Искровская купалка, знаменитая своей золотистой косой из мелкого сыпучего песка по правому берегу реки, всегда притягивала. Теперь песчаной косы почти не стало. Берег местами до воды зарос вездесущим осинником и многочисленными лопухами. С высокого берега река кажется уменьшенной, стиснутой берегами.

Когда спустились к воде, у коряжины поднялся рыбачок. Обросший почти до глаз. Как домовый... Но вроде знакомый... Машинально почти, занятый попыткой вспомнить, узнать, кто передо мной, спросил обычное в таких случаях:

— Ключёт?

— Какое тут ключёт?! Тарахтелку поставили как раз над моим прикормленным местом. Вона! — он указал на насос у самой воды и солидную трубу, уходящую через дорогу к теплицам.

— Как же так? — вырвалось у меня. — Раньше тут по-другому было.

— А вот так! Мы забросили, а они — прибрали. Кто прав? — Стариковские глаза рыбачка смотрели понуро.

— Кто «они»? — не понял я.

— Китайцы, — последовал ответ, — кто ещё?

— А кто разрешил?

— Кто ж в наше время что знает. Разрешили. Так бы они не стали... Это мы сами всё творим. Сами себя... Чё на них-то?..

Мы перекинулись ещё несколькими фразами. Когда уже поднимался наверх, услышал:

— Сашк, ты, что ли?

Обернулся на голос.

— Жека Давыдов! Не признал?

— Ты ж на северах всегда был? — удивился я, вглядываясь в рыбачка.

— Был, да теперь нету. Все мои тут померли. А дом остался. Ну, и решил...

Я спустился к нему. Неожиданно для себя спросил:

— Помнишь ли, какое здесь было море пшеницы? — и махнул рукой наверх.

— Эх! Помню ли? Забыл, Маляк, что отец мой тут обычно косил пшеницу? А я у него помощником комбайнёра работал...

«Он и прозвище моё школьное помнит, «Маляк», надо же...» — подивился я.

Если бы он не назвался, я бы не разглядел в приземистом косматом туземце своего бывшего одноклассника, ушедшего после седьмого класса учиться в ремеслуху. Мыкавшегося всегда где-то на стороне, в поисках лучшей доли. После школы больше не видел его. А тут — встреча на реке!

...Эти теплицы, труба через дорогу, положенная, как шлагбаум... Вроде бы никто уже не имел права проезжать к реке запросто. И эта встреча с одноклассником! Так всё повлияло на меня... И едва начавшийся наш путь увиделся мне в особом свете...

С Женькой мы сидели за одной партой в пятом классе, вместе рыбачили на Самарке. Прибегали пораньше, часа в четыре утра, чтобы никто не видел, проверить подпуска, поставленные накануне поздним вечером. Азартным был Женька и неутомимым в рыбалке. А уж в настырности не было равных...

...На какой-то момент при этой встрече Женька приблизился так, что вязко пахнуло перегаром. И я увидел совсем близко его... кроличьи глаза.

— Сашк, это... ну, дай рублей пятьдесят. Знаешь... по старой дружбе, горит...

На миг растерявшись, я суетливо полез в рюкзак за кошельком.

...Когда мы уходили от Давыдова, я всё оборачивался. А он стоял и смотрел на нас молча, похожий на дремучий пенёк у воды. Или большую нахохлившуюся птицу с подбитым крылом.

— Увидимся ещё, — крикнул я. И не почувствовал от своих слов облегчения.

Самописки и макалки

Женька, Женька! Помнишь ли ты наше горькое поражение в пятом «А» классе? Дело было связано с моей самопиской. Авто-ручками писать нам учителя тогда не разрешали. Следили за почерком. Но куда уж больше можно было испортить мой почерк? Писал я, как говорила наша классная руководительница Нина Петровна, издевательски.

Я сам не знал, почему так писал. С наклоном в левую сторону, да ещё мелкими-мелкими буквами. Она, не морщась, читать мою писанину не могла.

— Не буквы, а муравьи, — щурясь за толстыми стёклами очков, укоряла она.

— Муравьишки! — повторяла она. — Те, что по столу любят бегать. Не стыдно тебе?

— У нас по столу в доме муравьи не бегают, — возражал я настырно. — Мама заругает за крошки.

Новый виток недовольства мной породила моя авторучка. Невзирая на замечания, я стал писать на уроках только ей. Учителя поделаться со мной ничего не могли. И я не мог. Им со мной оказалось сладить труднее, чем с теми, кто был левшой. Тех насильно заставляли писать правой. Упрямства во мне было хоть отбавляй. Но в данном случае, как я тогда думал, моё сопротивление было оправданным.

Всё-таки какая это замечательная вещь — самописка! Чернила не надо носить — это раз! Деревянную ручку — «макалку», у которой часто ломалось перо в сумке, — тоже можно забыть. Это — два! И клякс нет от самописок! А эти деревянные...

Вера в свою правоту и в справедливость придавала силы моему сопротивлению. Как давно это было! И как далеко ещё до повсеместного появления авторучек, тем более шариковых. А до теперешних сотовых телефонов, компьютеров — полвека!

Тогда в нашем классе я оказался единственным владельцем такого самопишущего чуда. Выпросил я авторучку у моего дядьки Алексея. Нет, может, у кого-то и была дома авторучка, но в классе писали только обычными. Макали перья в громоздкие белые непроливашки, которые приносили с собой.

Когда принёс впервые в класс своё сине-белое чудо — конструкцию с резиновым чёрным колпачком (что-то вроде тех, какие бывают у пипеток на пузырьках в аптеке), с приплюснутым блестящим пером, похожим на нос ёжика Тихона, живущего у нас в норе под погребницей, авторучка стала враз предметом общего внимания.

— Жалко такую, — сказал мой сосед по парте Женька Давыдов. — Нина Петровна сразу отберёт. В старших классах разрешают, а у нас — безнадёга.

— А я буду писать! — вырвалось у меня. — Вот посмотрите!

— Посмотрим, сказал слепой, как безногий спляшет, — пробубнил Женька.

Я было уже обиделся на такие слова друга, но тут услышал от него:

— Держись, Маляк! Я за тебя. Если не будешь бояться, останут.

Противостояние моё с Ниной Петровной длилось целую неделю. Я видел, что учителя не все одинаково относятся к тому, что я пользуюсь авторучкой вместо макалки. Историчка и географичка, например, будто и не замечали моей авторучки. Я не уступал. И авторучку не отдавал Нине Петровне, получив несколько «последних» замечаний. И не боялся, что меня поведут к директору в кабинет для разбирательства.

«Пусть ведут», — думал я.

Директор наш — большой и рукастый, мне казался таким же правильным и добрым, как мой дед Иван. Мне даже пришла мысль самому пойти к директору в кабинет...

Всё закончилось до обидного быстро и неожиданно.

На одной из перемен авторучка из моей сумки пропала.

— Всё ясно! — объявил Женька. — Я видел, как Зинка Храмова вертелась около твоей сумки. Ещё подумал: чего это она? Не сообразил вовремя. Не зря она ушла с уроков.

— Неправда, она не могла взять! — горячилась подруга Зинки Олечка Кудряшова.

— А если её попросила Нина Петровна, — не уступал Женька. — Она может такое...

...На следующий день Зинка, выслушав обвинение моего друга, назвала его дураком. И запустила в него тряпкой. И снова ушла с уроков.

— Артистка! — сделал вывод Женька. — Похоже, что это она сама сделала, без Нины Петровны.

— Она не боится с уроков уходить. Почему? Они заодно? — не переставал обдумывать случившееся Женька.

Я не знал, что делать. Понял, авторучки больше мне не видать.

Когда пришёл домой, сказал и о пропаже, и о догадках Женьки.

Бабушка Груня удивилась:

— Неужели они там такую политику развели? Чтоб только неповадно другим было? Не верится, чтоб учительница заставляла воровать!

— Нина Петровна — опытная, — усмехнулась молоденькая англичанка Ангелина Сидоровна, жившая с осени у моих бабушки с дедом на квартире, — очень даже опытная... Это не политика, баб Грунь, а педагогика. Так, значит, надо, — поясняла она.

— Это как же «так надо»? Чужое-то брать? Нехорошо... Этому, что ли, вас в институтах учат?

Дед Иван рассудил по-своему:

— Не грусти, Шурка, шут с ними. Вот кто-нибудь принесёт мне подшивать валенки — появятся деньги, куплю тебе самописку. Только больше рот не разевай.

Мне верилось: мой дед говорит не для того, чтобы просто успокоить меня. Он обязательно сделает, как сказал, безо всякой педагогики. Дед просто меня любит.

...Но так долго почему-то не приносил никто подшивать валенки, хотя на дворе уже крепко трещали морозы. А потом наступило лето, каникулы. Валенки подшивать так никто и не принёс...

Прививки на реке

Этот благодатный участок реки от Исковской купалки до моста под Крепостью в детстве был нашим вторым домом. В нём жизнь текла по-особому: и на глазах родителей, и без них. Самостоятельная! Здесь мы, ребятня, и дружили, и ссорились. Рыбачили с ночевой. Добывали себе пропитание. Поречье подкармливало нас. Дикий лук, щавель, дикая мука, ягоды боярышника, черёмуха, ежевика, смородина, вишня, клубника — всё это в свой срок появлялось на заветных солнечных полянах, влажных луговинах, сумеречных овражных зарослях... Мы знали эти места наперечёт и совершали туда мальчишеские вояжи. Всегда ватажкой, часто с забавами и приключениями.

Трудились вместе с родителями постоянно. Но находили себе забавы и приключения, которые и теперь, во взрослой жизни, не стёрлись из памяти. Наоборот, приобретая со временем особую прелесть, они хранятся в глубине сознания. И порой напоминают о себе. Как отблески костерка, неподвластного никаким ветрам.

Вот по этому берегу реки, от Исковской милой сердцу купалки, мы и решили добраться до моста под Крепостью, до посёлка, теперь называемого «Красная Самарка». Чуть выше него на правом берегу и бьют Красносамарские родники.

Кто заражён с детства сладким недугом — рыбалкой, тот поймёт прелесть встречи с родной речкой. Множество случаев помнят её берега, водица её! Помнят тебя, когда, подгоняемый неистребимой рыбацкой страстью, нетерпеливо сползал ты по песчаной кру-

че с удочкой в руке. Помнят и твоих сверстников, которые теперь седовласые и важные, суетливые и непоседливые, редко приходят сюда. Не забыли берега и тех, увы, которых уже нет.

Непривычная дрожь, трепет прорываются в голосе и становится трудно говорить. Да и не скажешь самого истинного вот так, сходу, на этом берегу. Даже внуку.

Очень многое ворохнётся в душе. Не только от воспоминаний о рыбалке. От лиц, голосов тех, кто был с тобой на этих берегах. Река объединяла нас! Манила к себе. Она спланивала всех в проказах, курьёзах, прозвищах, ночёвках. Во всём вперемешку.

Многого не было в детстве у нас. А река давала своё. То, чего порой не найдёшь даже в незаменимых для села клубе или библиотеке. Она давала изначальное чувство родины! Это я теперь так формулирую. Река давала прививку на всю жизнь. Прикинул невольно: из тех, кто самозабвенно тянулся к нашей реке в детстве, не припомнил ни одного дурного человека. Через всю жизнь, не сознавая того, несли они этот изначальное заложенный добрый свет своих истоков, запас доброты. Река и растила, и воспитывала... В детстве мы все были ближе к земле...

Всегда, едва заговоришь о Самарке, — о Самарке из нашего детства, — светлеют лица. Пробивается это неодолимо в любую погоду и в любое время года.

Сколько раз я в детстве ходил по этим берегам? Сотни! Тысячу! А вот так проехать на велосипеде, заранее зная, что придётся продирается через заросли, по бездорожью, наугад, — впервые. Было десять лет назад нечто похожее. Тогда я сплавливался от истока Самарки до города Самары с приятелями. Двадцать два дня сплава на рыбацкой резиновой лодке — это неповторимое по ощущениям и впечатлениям событие! Тот маршрут был в пятьсот километров, теперь — около пятнадцати со всеми зигзагами...

И намеревались мы преодолеть эти километры вдоль воды на велосипедах! Будут ли нам они помощниками или станут обузой?.. Внук рвётся вперёд! Его юный возраст крепит в нём оптимизм.

Но я помню те канавы, овраги, завалы, которые нам с ним предстоит преодолеть... И сколько раз моя память наткнётся на встречи, подобные той, которая случилась в самом начале нашего пути.

Мне с моим прошлым и моей памятью о детстве на этих берегах непросто. Но раз поддался на затею внука, терплю. Демонстрирую, как могу, бодрость духа.

Серые осины

Берег реки между Искровской купалкой и Ледянкой, которая у нас была впереди, мне помнится всегда высокими осинами. Их было здесь около десятка. Огромные, с серой корой. На крутом берегу, будто нарисованные, выступали они большим светлым пятном, отмечая собой край бахчей. Впримык к обрывистому берегу. Этим горемычным осинам не везло. Зимой их часто объедали то лоси, то зайцы. Осины постоянно, когда бы ни появлялся около них, долбили дятлы. А потом в этих дуплах жила всякая мелочь. Осы, огромные шершни...

«Не от такой ли жизни, — думал я, — у осин всегда дрожат листья? Даже когда нет ветра».

Тяжёлый осиновый лист всегда шевелился, оттого под этими деревьями меня одолевало беспокойство. Листья словно жаловались на свою жизнь, предчувствовали плохое. Мой отец называл осины дрожалками. Многое уж забылось. Но временами мелькнёт в памяти то белая эмалированная чашка с мёдом, который мы пробуем с братом, макая в него коркой хлеба. То особо сладкий, незабываемый вкус «Победителей» — небольших, с мелкими чёрными семечками, с ярко-красной и сочной мякотью арбузов.

Ни арбузов, ни пасеки теперь здесь нет. И нет, будто нарисованных, толстенных, с шероховатой серой корой, трепетных осин. Великий художник природа «нарисовала» когда-то их, а потом взяла и стёрла, как неудачный черновик. Осины снесло бурным потоком вешней воды в водополе вместе с многочисленными осиновыми корневыми отпрысками. И следа не осталось. Не зря так жалобно трепетали они...

Давно это было. Вмешался человек. Теперь на месте осин и бахчей шелестят высокие берёзы.

Только на левом берегу Самарки у озера Лопушного росли в нашем листопадном лесу две берёзы, больше нигде. До сих пор помню их клейкие листочки по весне. Потом берёзы появились в лесопитомнике. А теперь тут, у Самарки. Целая роща!

Я не удержался и, оставив на круче велосипед, вошёл в березняк. Внук последовал за мной. Трава под деревьями худосочная. Но сколько тепла и света! Веет знакомым, невыразимо родным лесным духом.

Едва слышно пролетела меж ветвей желтобокая птица. Не села на ветку. Нас увидела и не решилась.

— Кто это? — шёпотом спросил внук.

— Иволга, — ответил и я, тоже почему-то шёпотом, — видно, здесь где-то у неё гнездо. Она любит берёзовые рощи.

— Сразу бы и не подумал, что здесь живёт иволга, — сказал Саша, когда мы уже выходили из леса.

— Почему?

— Не знаю. Мне казалось, что иволги бывают в чащобах, в темноте. В дуплах дремучих деревьев.

— Теперь знай, — наставительно сказал я. — Если захочешь услышать, как она нежно поёт, можем приехать сюда.

— А когда надо приехать?

— Иволга поёт на зорях.

— Я готов.

— Сегодня уж точно не получится, — откликнулся я, — отложим на потом.

Мы остановились на выходе из рощи в тени особо рослой с бугристыми наростами тенистой берёзы. Ствол берёзы опоясан кольцом чёрных ямок. Знакомое дело.

— Смотри, — говорит внук, — будто кто буравчиком работал. Что это?

— Дятел трудился, — отвечаю. Задрал вверх голову, осматриваю лесину со всех сторон.

Видно, дятел не раз до нас тут побывал. Пробив своим умелым клювом бересту, пил весной берёзовицу — прозрачный сладковатый берёзовый сок.

Когда уже подходили к велосипедам, заметили, как в рощицу устремились дрозды. Одна стайка... вторая...

— На спевки слетаются, — предположил я.

— А мы уходим... — отозвался внук.

Я невольно замер, вновь оглядывая берёзовую рощу. Не хотелось уходить. Чувства смешались. Отраднo было наблюдать неудержимую жизнь там, где когда-то стояли всего лишь несколько горемычных осин. Особенности они были для меня... Незабываемые...

...И чем дальше удалялся от берёзовой рощи, тем сильнее чувствовал некую недосказанность... Теперешняя действительность была иной. Ей чего-то не хватало. Или мне?..

Невольно вздрогнул. Вспомнилось!

Это место около серых осин в моём детстве было особым ещё по одной причине. Сюда часто навевались таинственные и жутковатые сумеречные существа — летучие мыши.

Мой дед говорил, что прилетают они из ветельника, где у них жилища в дуплах старых деревьев. Там они спят, повиснув вниз головами.

Прилетали они к нашему шалашу, может быть, потому, что привлекал их, как и меня, светло-серый свет, идущий от осин. А может, комары да мошки, которыми они питаются. Их тут было всегда много. Мыши появлялись около осин в сумерках, с их тёплой, обволакивающей глубиной света, открывающейся бесконечностью, не понимаемой, но ощущаемой всем существом. Появлялись во времени суток, вовлекающем тебя в непривычное ощущение пространства. Вроде бы конкретного, понятного до мелочей: вот шалаш деда, вот рыдван, вот, наконец, под обрывом Самарка. И в то же время — в пространство бесконечное, великое... Такое великое, в котором ты меньше обычной точки в миллионы раз...

...И свежесть набухающих сумерек, мерность их повторения, и властное проникновение во всё, красота во всём, не отделяют тебя от всего, не оставляют одного. Наоборот, ты становишься причастным, чувствуешь некое предварение чего-то необычного. Того, что когда-то должно с тобой произойти в сумерках, либо уже происходит. Только не дано тебе пока понять этого ещё в полную меру...

...Я тогда ни разу не попытался отыскать летучих мышей днём в их дуплах. И не из-за страха. Не решался нарушить нечто таинственное, не своё.

Сумерки приносили с собой не только этих летучих мышей. С ними приходило ощущение двойственности окружающего. Вот ты, а вот нечто другое, некая сдвижка, другой мир. И эти писклявые, с приплюснутыми мордочками, раскосыми глазами существа, носившие своих детёнышей постоянно в мешочке между хвостиком и задними ногами, будто оттуда: из иного мира, попавшие в этот разлом — сумерки. Застигнутые сумерками и обнаруженные случайно вроде бы, но в какой-то странной связи с окружающим. Как следствие чего-то, чего в другом месте на Самарке и быть не может...

Тёмные силуэты ночных летунов так стремительно проносятся над головой, их непривычный тонкий писк так тревожен, что начинает казаться: сейчас обязательно что-то случится грандиозное. Это всё неспроста! Не зря они так носятся над головой, на фоне вроде бы спокойного и тёплого неба. Это у них не просто охота на ночных бабочек...

...В иной момент начинало казаться, что эти необычные существа враз над твоей головой могут превратиться в огромных крылатых ящеров. Или ещё в кого... И мало тогда не покажется...

...Поневоле озираясь, я начинал пригибать голову и оглядываться на сумрачный ветельник. В нём, скорее всего, могла укрыться страшная нечисть... Больше негде ей тут...

* * *

Только совсем недавно узнал с удивлением, что у нас в Поволжье обитает до пятнадцати видов рукокрылых (летучих мышей). Много скоплений их в Ширяевских и Богатырских штольнях Самарской Луки.

Есть среди них, оказывается, особо примечательные: ночница Наттерера, малая и гигантская вечерницы, поздний кожан, нетопырь-карлик... Было бы здорово посмотреть на таких... Интересно, как звали тех, из моего детства... И общаются ли разные виды рукокрылых друг с другом...

А внука интересуют более практичные вещи. Глядя из-под руки на речную гладь, он спрашивает:

— Дед, ты рассказывал, что когда-то весной баржи за солью доходили от города Самары до Домашки, а мне как-то не верится. И потом — в остальное время года как соль возили в Самару?

— Как? Почти от самого Оренбурга, от Илецкой защиты, в Самару по солевому тракту на лошадях. А потом уж по Волге-матушке на Север, для всей Империи Российской. Когда в 1880 году построили железную дорогу между Самарой и Оренбургом, соляной тракт забросили... И река Самарка осталась как бы в стороне...

* * *

...Мы спустились к воде, напротив длинной полосы осинника на противоположном берегу реки.

Этот мелкий осинничек!.. Щемящая трепетность древесных подростков. От него и от песка идёт острый дух. Неиссякаемый молодой его напор непобедим!

Осинничек этот неудержимо, каждый год подступает к реке, на её увлажнённые пологие песчаные берега. Появляется вначале крохотными листочками, но в таком количестве, в таком изобилии... Река постепенно отступает. Рвёт по весне полой водой противоположный берег, теснится в берегах своих. Но напор молодняка не сдерживает... будто знает цену леса для всего живого в лесостепном суховейном поречье. И каждое лето молодой осин-

ник поднимается по берегам Самары зелёными длинными ярусами, отмечая очередную годовщину в жизни реки.

В такой поросли вдоль воды ходишь, как Гулливер, ощущая свою огромность. Но стоит войти в ярусы прошлых лет, которые уже на значительном расстоянии от воды, враз попадаешь в тягучий зной. Воздух, настоенный на горячем песке под ногами, на запахах, веющих с лесных травяных полей, горяч. Осинничек чуть выше тебя ростом, не спасает от летнего зноя. Он его усиливает. Под ногами горячий песок, обжигающий ступни, а над головой — только одно знойное дыхание неба.

Такой осинничек в жаркое лето не защита. В нём нет, как правило, родников. И нет лесных громадин, буреломов, которые задерживают суховея. Но он, этот осинничек, настолько частый, прямёхонькие деревца стоят чуть ли не вплоть друг к другу, и это не даёт ветру продувать его. И царит в нём нестерпимый зной... Находиться тут долго нельзя.

Начинает стучать в висках. В тебе возникает сопротивление этому беспощадному давлению, коварному безветрию, которое всегда привлекает в большом лесу. Хочется скорее на простор, к воде! Скорее ступить босыми ногами на мокрое и прохладное!

В молодой осинничек летним днём заходишь, только чтобы быстренько вырубить колья для перетяга, отыскать рогульки для удочек, набрать сушняка для рыбацкого костра... В этом он твой незаменимый помощник.

...Когда выбежишь из осинничка с добытыми рогулками для удочек, удачно проскочишь, обжигая подошвы ног, песчаное пространство и ступишь, наконец, на мокрый песок, а затем в воду, почувствуешь себя поневоле язычником. Становишься первобытным. И миллионы раз сказанного множеством людей до тебя, что вода — это жизнь, становится мало. Удивляешься: сколько лет прожил на реке! Как повезло! Жил у воды и не задумывался о том, каким удивительным образом вода и жизнь взаимосвязаны! Жил и всё!

Выбор

На Самарке, чуть левее брода, который зовётся Коровьими ямами, есть озерцо Песчаное с крутыми высокими берегами. На этих берегах зимой мы выверяли своё бесстрашие и ловкость. Одно дело со свистом в ушах, роняя на ветру шапку, пронестись по крутому заснеженному склону, совсем иное — проложить первым лыжню, самому. Да так, чтобы, выскочив на противоположный,

едва ли не такой же крутой берег, не теряя скорости, развернуться назад и оказаться внизу, на льду озера. И, задрвав голову, вприщур смотреть наверх, где в нерешительности топчутся, не рискуя махнуть вниз, твои приятели.

Таких спусков было на этом озере несколько. Но был один, по которому лыжню прокладывать первым осмеливался не всякий. Дело в том, что, мчась вниз по косогору, нужно было проскочить между двух, совсем близко стоявших друг к другу, осин. Попасть в промежуток, как в узкую калитку. Никак не шире метра, а то и менее.

Так получалось, что первым чаще всего это делал я. К этому уже все привыкли. Привык и я. Всегда был риск сильно ушибиться либо получить увечье... Этот мой спуск, когда нет ещё лыжни и риск велик, был предметом особой гордости для меня.

...Потом, когда уехал учиться, а затем и работать в город, несколько раз бывал на этом косогоре. И по привычке ухарски спускался с него меж этих двух осин с тонкой, плотной зелёной корой. Мне это надо было...

Но однажды...

...Приехав к родителям, достал я с подволоки выдавшие виды лыжи с креплением для валенок и отправился на Песчаное озеро. Отвёл душу на лыжне!

Помню, как меня впервые в тот день, после города, поразили на снеговом раздолье тишина и безветрие. Вокруг ни души, лишь один я среди хрупкого равновесия, непомерных сил, способных обрушить на окружающее всю свою затаённую мощь. И может разом вокруг потемнеть, начаться метель, повалить хлопьями снег... Откуда-то могут возникнуть повозки, спешащие люди... Может раздаться сдержанный говор на морозе, даже смех, крики, скрипы снега под полозьями саней, под ногами...

Нет, этого не случилось. Казалось, само небо вобрало все звуки, которые могли возникнуть в это безветрие... И подарило мне тишину, холодную, ослепительную белизну снега и заросли редкого ивняка с искрящимися на солнце сказочными кристалликами инея.

...Сходу по укатанной лыжне, желая поскорее увидеть само озеро, спустился я вниз на лёд. И остановился.

Поразил резкий переход. Что-то во мне будто хрустнуло. Была тишина, то же безветрие, но... сузилось пространство. Только что, когда мчал по равнине, меня влекла даль. Даль меня поднимала, окрыляла, возвышала. Я будто лишился здесь, внизу, оказавшись

зажатым меж крутых берегов на ледяном пяточке озера, чего-то самого главного, которое только что мне было подарено. Ограничив себе пространство, потерял весь мир. Мчась по равнине, вдыхая воздух, дарованный мне неоглядным простором, в его шири и глади, я не чувствовал себя затерянным. Наоборот — весь мир был во мне со всей своей огромностью... Его давала мне даль...

Мысли мои путались и терялись. Никогда прежде со мной такого на Песчаном не было... Со мной что-то происходило непривычное. Пospешил наверх. И оказался на косогоре с двумя осинами с зелёной корой на спуске с него.

Я замер. Осины стояли статные, рослые. Невольно залюбовался ими. Длинная, с самой макушки косогора, лыжня прямо и стремительно уходила вниз, проскакивала меж осин и, пропав внизу, выстреливала на противоположном, менее крутом, берегу. Всё как тогда, в мои школьные годы. Была, как прежде, лыжня! Был свой удалец-молодец, первый из всех махнувший безоглядно с косогора!

Интересно, кто он такой?!

Теперь косогор казался мне круче. И осины потолстели. И расстояние между ними сузилось...

Потоптавшись на месте, поймал себя на мысли, что не тороплюсь ринуться вниз разом, безрассудно. Приглядывался, примеривался, обдуваемый холодным ветром.

Не спешил. Когда осматривал крепление лыж, незаметно пришла, вползла в моё сознание колючая мысль: что, если со всего маху не проскочу меж осин? Ударюсь об одну из них. Ведь теперь не так ловок, как раньше... шире в плечах стал... можно либо разбить лицо, либо сломать руку. Огляделся, словно боясь чьей-то кривой усмешки. А колючая мысль вершила своё:

«Если сломаешь ногу, один до села не доберёшься, факт!»

Будто не я так думал, а кто другой. Более разумный и холодный. А я прислушивался к нему.

Вспомнилось, как когда-то недалеко отсюда лихой Санька Захаркин упал на спуске, и конец сломанной лыжной бамбуковой палки проткнул ему шею навывлет. Горло осталось целым, но сколько тогда было хлопот. Нас было в тот раз несколько человек, это его и спасло.

Сейчас я чувствовал, что трушу...

Но тут же, бодрясь, сказал себе: не трусишь! Стал разумнее. Опытнее. К чему тебе эта бесшабашность?!

Вновь показалось, что кто-то видит, какой я стал слабак...

Оглянулся: никого вокруг.

Пришло чувство то ли предательства по отношению к себе, то ли досады по поводу утерянной решительности...

Я оттолкнулся, направив лыжи мимо осин по более пологому спуску, туда, где не было встречного крутого берега, где всегда можно было, верно рассчитав, не свалиться вниз головой на лёд озера.

* * *

Прошло года три, и случай повторился. Правда, в другом варианте.

Вздумалось тогда мне в очередной раз резко изменить свою жизнь. К тому времени я уже около двух лет проработал после окончания института на заводе.

Подготовив две рукописи — стихов и прозы, решил поступать в Литературный институт. Но в последний момент, уже купив билеты в Москву, мучительно размышляя в одиночестве, «потоптавшись на косогоре», не решился рискнуть: оттолкнуться от налаживающейся жизни заводского инженера и махнуть в иную — в «мутный поток литературы», как сказал, кажется, Алексей Толстой.

Себя убеждал тогда, что не решился поменять саму жизнь на её некий суррогат, как в своё оправдание определил: на умение писать о жизни. Полнокровно жить или пять лет учиться писать о жизни — в этом есть разница! Так тогда думал. Реальный поток жизни: инженерная деятельность, наука — в них была своя манящая «даль», своё зовущее «пространство», которые я так же остро ощутил, как тогда, когда мчал однажды по снежной равнине к озеру Песчаное. И потерю которого я почувствовал, оказавшись зажатым внизу под косогором, меж крутых высоких берегов на заснеженном ледяном пятачке заморного* озера.

Я слишком тогда был деятелен и любил конкретное ремесло. Конечно, и максимализма во мне было в избытке.

...Раньше как-то не соотносил друг с другом эти два случая. Такие, казалось бы, разномасштабные в моей судьбе.

С первым случаем понятно: не решился, поосторожничал я тогда на косогоре... Поджал хвост...

А со вторым? И сейчас не знаю: верно ли поступил, не поехав учиться «на писателя»...

Что бы всё-таки вышло из этого?..

* Заморное озеро — настолько промёрзшее озеро, что при нехватке воздуха рыба в нём гибнет

Каким бы стоял сейчас на берегу своей Самарки?

И теперь, кажется, готов согласиться с тем, что писательство — сомнительное дело. И может, не дело вовсе это, а нянчанье собственного тщеславия, ведущего к гордыне...

«Написать не как все! Лучше других!»

...Но окружающее просится в слово, оно будто и существует только для того, чтобы о нём сказали... и запомнили... иначе для чего всё... всё куда-то уходит...

Значит, вопрос в том, как сказать? Во имя чего? С каким сердцем?

Не один я думаю так?

Но как мне выстроить собственное слово?

Можно этому в совершенстве научиться?

И не поздно ли теперь?

Как было

Если читатель ждёт от меня закрученного сюжета в моей повести, то нетрудно уже догадаться, что его не будет. Особой склонности придумывать у меня не обнаружилось и раньше. Всё больше теперь хочется сказать, «как было». Или «как могло быть»... Не придумывать, а следовать за правдой...

За этим бесхитростным «как было» такое порой открывается многоцветье и лиц, и событий... Всплывает панорама мира... Время, в котором мне выпало жить, вместило немало. На моих глазах моё поколение ребятишек становилось моряками, лётчиками, учёными, сталеварами, хлеборобами...

Мои сверстники поднимали заводы, фабрики, не замечая, как подрываются одновременно с этим корни сёл и деревень, из которых они ушли. Как высыхают истоки...

Не ведало оно, что ему, прожившему благополучно без войны, суждено пройти путь от жизнеутверждающего выживания в послевоенное лихолетье до скорбного, унижительного доживания в период наших ошеломляющих реформ. Тут без вымысла столько надо бы сказать...

Но я сейчас не об этом...

Не хочется пополнять ряды плакальщиков...

И следователем быть не по мне...

...Вся «крутизна» сюжета моей повести, если она сложится, будет зависеть от извилистой песчаной дороги, порой едва заметных тропинок, то коротких, то длинных, по которым теперь с внуком

пробираюсь где через осинник, где через липняк, а где и через чертополох...

Она будет связана с прихотью моей стареющей памяти, которая ведёт меня за собой, цепляющегося за воспоминания, как за подробности ускользающего из сознания сна...

* * *

Ещё в средних классах школы, не вполне задумываясь для чего, по толстой книге под названием «Определитель растений», я начал изучать растения, окружающие меня.

Мне мало было знаний со слов тех, кто был рядом. Постоянно не хватало более глубокого, истинного. Как же не знать?! Когда каждая травинка пахнет по-своему. Каждый цветок должен иметь своё имя! Как я радовался своим открытиям: и это узнал, и это!..

Как обескуражило меня однажды то, что цветок, который у нас называли васильком, оказался по книге цикорием. А загадочным словом «рогоз», которое вообще никто в округе не мог пояснить, называется куга, которой у нас на озёрах тьма-тьмущая.

Такого рода открытия сопровождали в детстве постоянно. Мои дед и бабушка, мама и отец — сами были как бы частью природы, как цикорий, васильки, рогоз... Они были малограмотны, не знали себя... А кто знал их?..

Доставалось от меня и нашей учительнице. В четвёртом классе спросил Любовь Николаевну, чем отличаются алименты от элементов. Прямо на уроке, подняв руку.

Помню, как она на перемене, отведав меня в сторонку, почему-то оглядываясь на шумевших ребят, осердясь, что спрашиваю «такое» и «вечно ты со своими глупостями», всё-таки пояснила разницу в значении слов.

А я и сейчас не могу взять в толк, почему она так серчала и оглядывалась.

«Эти два слова отличаются друг от друга всего двумя буквами, а какая разница получается!» — крутилось в голове, когда бежал после её внушения резаться на шумный выгон в футбол.

У каменного мыса

На Ледянке, чуть пониже мыса, где небольшой чистый песчаный бережок, двое весёлых крепких парней: дядька Сергей и мой крёстный Василий Лобачёв вздумали однажды учить меня плавать. Остро помню явное несоответствие, поразившее тогда

меня. Только что по сельской улице, по гусиной травке, к реке со мной шли чинно — рядом крёстный — в военной лётной форме (он только что приехал на побывку) и родной дядька. Оба спокойные такие, уравновешенные...

Когда мы шли по затравевшей с гогочущими тяжеловесными гусями и пыхтящими утками улице, встречные смотрели на лётчика Василия во все глаза. И он приветливо улыбался. Теперь мне кажется, что он был тогда похож на Гагарина. И Юрий Гагарин потом, много позже, стал таким родным, может, от этой их похожести...

Всё было надёжно и спокойно. А тут вдруг эта их затея!

...Я вырывался, улепётывал от них по сыпучему мелкому речному песку на безопасное расстояние. Но вновь оказывался в воде и в смятённом состоянии попадал под весёлую и бодрую их команду: «Плыви!» А дядька Сергей ещё добавлял совсем уж обидное: «Сухопутный пушкарь»!..

Барахтаясь, я пытался удержаться на плаву, сносимый быстрым течением искрящейся на солнце меж песчаных берегов быстрой Самарки. И на моё удивление: плыл! Да, плыл!

Выловив меня из воды, они тут же деловито вымеряли на мокром у воды песке, сколько я одолел. И вновь пускали меня в заплыв! Будто я — лодка...

...Потом, отдуваясь, я сидел в тенёчке под бережно повешенным на рогульках из осинника лётным кителем крёстного. Здесь, в этом тенёчке, любуясь кителем, тогда и решил, что непременно буду лётчиком! Как мой красивый крёстный Василий!

Это было в конце сороковых годов прошлого века. Кто тогда из сельских мальчишек не мечтал стать лётчиком или моряком?! Мало было таких!..

Мне было в ту пору около пяти лет. Думаю так, потому что потом, года через два, ещё до первого класса, уже свободно переплывая Самарку, однажды спас своего младшего приятеля Кольку Зимина. При общей суматохе несколько раз нырял и схватил его за мокрый расплывающийся чубчик. Вытащил и саженьками поплыл на тот берег, горделиво ценя умение глубоко нырять и с открытыми глазами.

О цене жизни и моей роли в Колькиной судьбе задумался много позже, когда спасённого мной Кольку убили. Нашего непревзойдённого, неутомимого и весёлого игрока в чушки не стало. Не в лихие перестроечные это случилось, много раньше — в семидесятые. Уже двое сыновей росло у него. Шустрый был очень. Подался на Север за длинными рублями. Там и нашёл своё...

* * *

На Ледянке всегда было веселее и праздничнее, чем где-либо. Никогда я не замечал здесь летучих мышей, этих пугающих карликов-нетопырей. Днём сновали тут над головой, исчезали в своих песчаных береговых норах и вновь появлялись то быстрокрылые стрижи, то элегантные золотистые шурки. Всем хватало места.

Ни в детстве, ни потом не видел стрижей сидящими. Ни на земле, ни у воды... Они всегда летают. Всегда в воздухе, в полёте, в заботе! На лету они ловили, кроме мелких насекомых, и влагу, ловко хватая ключиками дождевые капли.

Отдыхают ли когда стрижи? Они как наши деревенские родители...

Замечательные тут соседи у стрижей: золотистые изящные шурки. И стрижи, и шурки на Ледянке по соседству живут в песчаных норах и теперь. Однажды из любопытства мы с ребятами раскопали одну нору шурок. Она оказалась длиной более метра.

Лёгкие в полёте шурки — такие же трудяги, как и стрижи. Одна беда — поедают пчёл.

В отличие от стрижей шурки часто садились на ветки у земли, на сухие верхушки деревьев. То тут, то там кричат они своё: пуль-пуль-пуль. Будто подзадоривая друг друга!

Как я был поражён, когда увидел в норе шурки останки добычи. Кроме пчёл, ос, шмелей, там были и крылья шершней. Шершней! От которых в знойный летний день шарахался в сторону огромный мерин Карий. Ай, да изящные шурки!

...Здесь, на высоком обрыве, и небо просторней, и берег приветливей. Без горемычных осин. Ледянка — излюбленное наше место в детстве и для забав, и для рыбалки. Каменистый, остро выдававшийся почти до середины реки, словно клюв большой гигантской птицы, мыс Ледянки живописен и неповторим. В сужении реки он создавал сильный, с картавыми воронками, поток воды. За ним вниз по течению образовалась большая и глубокая заводь — соминая яма. И слышно было в июне-июле, когда прогреется вода, как на заре здесь клохчут сомихи...

* * *

На Ледянке и я тонул, чуть пониже того самого каменистого мыска. Помог мне выбраться из ямины с огромными воронками мой друг Мишка.

Теперь он болен. После перенесённого инсульта совсем не выходит на улицу. Всё собираюсь поехать к нему. Да откладываю...

Не готов к такому свиданию... Как встречу я не со смуглым, рослым, озорным, до безрассудства авантюрным Мишкой, а с инвалидом, не способным подняться с постели...

Малодушно оттягиваю нашу встречу. Понимаю, что поступаю неразумно, но пока пересилить себя не могу...

* * *

На Ледянке, на просторной поляне, ежегодно проводились маёвки. Народ прибывал на бортовых машинах с песнями, празднично одетый. Гремела музыка, позвякивали у торговых палаток ящики с лимонадом. Неподражаемый голос Людмилы Гурченко выводил над речным обрывом песенку про пять минут...

И едва замолкала эта песня, возникала другая:

*Ландыши, ландыши,
Светлого мая привет.
Ландыши, ландыши,
Белый букет.*

Всё было так органично и свежо. Стоило только шагнуть несколько шагов в тенистую чащобу и сразу можно было оказаться среди хрустально позванивающих в такт песни притягательных ландышей и сиреневых элегантных колокольчиков.

Как передать всю прелесть тех отлетевших дней?! Это общее единение людей и природы, ещё бывшей органичной, живой частью нашего тогдашнего быта. Частью равноправной, ещё не попираемой так жёстко и беспощадно грядущим уже тогда циничным техническим прогрессом.

На этих массовках пел и мой приятель Володя Горностаев. У него был бас! Все знали, что он — наша восходящая звезда! После окончания школы его обещали взять петь в Волжский народный хор. Об этом знали в школе все. Но суждено было иное: Володя поступил в военное училище. Захотел быть офицером. И уже лет двадцать, как его не стало.

Пять порций мороженого

Мы с Игорем Красковым, как и Володька Горностаев, тоже участвовали в художественной самодеятельности. Но не пели. Были ведущими, конферансье на всех выступлениях в Доме культуры, всеми признанными. И вот наша группа впервые поехала в город Самару (тогда Куйбышев) на областной слёт школьной самодеятельности. Мы с Игорем должны были вести выступление, представлять наш

хор, танцевальные номера, солистов. В отличие от многих, мы не особо волновались. Уже поднаторели в таком деле. Легко импровизировали. Иногда удивлялись сами своей лихости. Игорь вообще мог говорить одними стихами. Все знали: не подведём!

И всё-таки... Подвели нас с Игорем мороженое и сушки.

Возвращаясь из столовой, которая была совсем рядом со студенческим общежитием, где нас разместили, мы нашли на дороге прибитый ветром ли, ногами ли прохожих, к дощатому забору небольшой свёрток. Помню, как быстро среагировал Игорь:

— Сань, это же деньги! Гуляем! Идём есть мороженое! Вечером репетиции нет. Тут хватит на десять порций.

Своих денег у нас было всего ничего, а тут... Резво повернули в обратную от общежития сторону, к Волге. Мороженое нам подвернулось на набережной.

Игорь малость ошибся: нам хватило на четыре порции мороженого каждому и ещё на две большие связки сушек.

Мороженого в селе у нас не было никогда, а сушки, если и появлялись, то очень редко. Как можно устоять против такого соблазна!

Мы явились в общежитие перед ясные очи переполошившейся из-за нашего долгого отсутствия пионервожатой Хохловой с сушками на шее.

— Где вы были? — металлическим голосом вскричала вожатая. — И что это? — она указала на связку, висевшую на длинной худой шее Игоря. У моего друга дела с реакцией были неплохие:

— *У вас ушки на макушке,*

А у нас на шее сушки!

Ешьте, ребятушки!

И он клоуновским жестом протянул подскочившим к нам ребятам рыжую связку. Все, смеясь, начали ломать и есть сушки.

— Напрасно ты эксплуатируешь свой талант на что попало. О вашей самовольной отлучке я пойду докладывать Валентине Яковлевне. Вы зазнались! Вы привыкли к аплодисментам. Комедианты!

Она хлопнула дверью и ушла. Игорь развёл руками:

— *Вот какая ведь петрушка!*

Не понравились ей сушки.

Ну, а где нам взять ватрушки?

Ребята хохотали.

На следующий день у нас обоих болело горло и сели голоса. Мы хрипели, а не говорили. Вместо нас выступление вела строгая Хохлова. Было торжественно, но скучно. Не было, не хватало всег-

да задорного, искрящегося на сцене Игоря. Призовое место мы не заняли.

Про приключение с мороженым узнала вся школа. Такой получился номер нашей с Игорем самодеятельности.

Фиолетовые колокольчики

...Тишина и безлюдье теперь на Ледянке. В такую жару ни птиц не видать, ни другой какой живности.

Нет, появилась, может быть, теперешняя хозяйка этой некогда шумной поляны. В мареве над головой, словно заводная игрушка, повисла пустельга.

Помельтешил крылышками на одном месте хищный ястребок и по касательной, будто ветром, снесло его в сторону сонных зарослей черёмухи. Пропал.

Только и осталось это его: «Ки-ки-ки!» То ли пожаловался кому, то ли погрозил...

Всё окружающее сейчас меня здесь — свидетели моей жизни, жизни моих сельских сверстников, сельчан моих.

Сказать, что это всё родное, мало. Это — частица меня. Нет, скорее, я — частица этого солнечного летнего дня, реки, серебряной подковой сверкающей слева и справа от меня. Теперь на поляне, вернее, в её тенистых зарослях не найти колокольчиков. И не оттого, что прячутся они, не выделяясь сильно фиолетовой окраской меж зарослей чилиги, таволги и краснотала. Просто их время уже ушло. Колокольчики — весенние цветы! Теперь бы сказал, они — цветы нашего детства. Нашей весны. Трогательные звоночки из далёкого далека! Помню, как бабушка мне однажды здесь мимоходом сказала, что звон на колокольчиковых полянах отгоняет всякую нечисть... И ничего дурного не может случиться...

...Как получилось, что заложено было в нас, в детских душах наших, такое трепетное отношение к цветам, к берёзкам, к лугу, к лесу, пашне?.. Ведь специально с нами никто не занимался из взрослых. Но возвращаясь из леса, бабушка моя всегда приносила цветы. И ставила их в передней комнате в большой глиняный кувшин. И цветы, благоухая, дарили нам запахи леса и Самарки. А вернувшийся с дальнего кордона дед, въехав во двор на телеге, протягивал мне пучок лесной, с изумрудными ягодами, подвяленной душистой земляники:

— Ступай к бабе Груне, пусть она их молоком зальёт. Вот тебе поедуха будет!

Или, пошарив в кармане куртки, доставал белую тряпицу: «На-ка вот, подарок от лисы...» И я через мгновение уже грыз горбушку чёрного хлеба, помогал деду распрягать Карего. Эта горбушка из леса всегда была слаще той, которая в доме. Она пахла травами и рекой!..

Запахи моей реки, её берегов и теперь не перестают меня волновать. Их ни с чем не сравнить...

Летнее солнце, потрудясь, нагрев воздух над головой, всё пространство вокруг, удерживает запахи у поверхности земли. Они вокруг меня, я в плену у них. В плену запахов трав и цветов, запаха и сухого раскалённого песка на крутом берегу, где стою, и запаха песка у самой кромки воды, пронизанного принесённым речной водой настоем глубинной породы: то гальки, то глины — от жёлтого, белого до голубоватого цвета. Запахи самарского: то сыпучего мелкого, золотистого, если подсохнет на солнце, то крупного, зернистого, тёмно-коричневого песочка не отпускают...

...Вечерние, в сумерках, ночные, утренние запахи — родниковые, прохладные. От земли. Сухие запахи здесь в это время суток только к осени. На реке особенно остро чувствуешь летом запах берегов её в любое время суток. Запахи эти усиливают родники. И те, которые едва обнаруживает глаз у самой кромки воды, питающие день и ночь речку, и те, что скрыты в низинах, в зарослях ольхи либо липняка чуть поодаль от воды... Присмотришься к такому роднику и увидишь, наклонившись, как серебристые пузырьки поднимаются вверх, сами торопятся к твоим сухим губам. Пройдя невообразимый путь в земной толще, выносят они наружу весь аромат пройденных пород, таинственно сокрытых от глаз миллионы лет. Эти запахи были уже миллионы лет!..

С ними знакомо человечество так давно! И сколько, наверное, сказано о них... Что могу дополнить я? Изменит ли что это?.. Я наслаждаюсь ими. Я понял цену им...

...Иногда приходит теперь совсем уж детское наивное желание: вот бы вновь оказаться маленьким и пожить последние свои годочки вновь такой жизнью. Ведь тогда все были живы: и мама, и бабушка с бабушкой, отец... Все и всё, что окружало, было живо...

Как я был бы счастлив!..

Увы, всё то, что делало когда-то счастливым в детстве, я могу видеть теперь только в памяти. Она удерживает, цепляется за исчезающие, рвущиеся ниточки, соединяющие меня с самой радостной порой моей жизни... А золотая эта пора отлетает от меня всё дальше и дальше...

Так у всех или у многих. Но мне от этого нисколько не легче... Всё-то кажется, что детства в жизни было мало. Мы так быстро выросли.

Немало было пасмурных дней... Но какие среди них выпадали драгоценные россыпи-денёчки! ...И как приветливо кивали нам своими головками фиолетовые колокольчики...

В липняке

Шиповник по берегу реки давно уже отцвёл. С июня такая светлынь стоит. Обычно с его середины зачиналась сенокосная пора. Сейчас уже середина июля, а не слышно ни знакомого озабоченного говора на полянах, ни звука отбиваемой косы.

Нет движения людей в лесу. Как вымерло всё. Неужто все-му причина — эта необычная, за тридцать градусов, жара?! Я всё высматривал косцов то у Лопушного озера, то на Лушкиной поляне... Нет, кругом только тишина и парное марево.

Увы, река моего детства перестала быть частью быта жителей села. Исчезли многочисленные тропинки, целые дороги на её берегах. Заросли ухоженные когда-то участки, где были бахчи, где росла картошка... стояли ульи. Забыты не только лесные дороги, теряется, уходит в никуда опыт жизни на реке... Три-четыре раза попались на глаза оказавшиеся из-за сухого лета в метре-двух от воды рыбацкие рогульки. И всё! Ни одного, кроме моего бывшего одноклассника Давыдова, рыбака потом мы до самого моста не встретили...

...Казалось бы, обретя свободу, человек призван был преобразить природу. Она должна воспрянуть! ...Но почему же всё так беспорядочно зарастает, дичает и скукоживается?..

Округа хиреет от ненужности, от одиночества и заброшенности...

Ни голоса вокруг, ни ребячьего смеха. Ни стука копыт, ни та-рахтенья мотора... Никто здесь никуда не торопится.

Отдельно, само по себе, село. Отдельно — задремавшая речка... Только в многочисленных клубках соцветий на берегу озабоченно и споро трудятся шмели и пчёлы... Они торопятся. Погода может враз поменяться.

...Как же я забыл? Напротив Ледянки, стоит только пробиться через нектенник, сразу оказываешься в липняке.

Здесь мой дед Иван драл кору с лип. Замачивал её и, когда она хорошо промокала, выдирал из неё лыко. Семена липы — мелкие

тёмные орешки, их любят есть мыши. Дед занимался своим делом, а я в тени густых липовых крон гонял мышей. Не скучно было!

Дед при мне уже не плёл лаптей. Но всякие бечёвки, завязки во дворе и в доме деда были из лыка. В конце июня в кронах лип всегда стоял пчелиный гул. Пчёлы здесь добывали липец — ароматный белый мёд.

Надо бы повидаться с липами! Поднимаясь на лесистый взлобок, продрался я всё-таки через нектенник. Миновал ландышевое царство и оказался в тени знакомых лип. Вдохнул знакомый стойкий древесный дух. Этот запах прелого липового листа!.. Середина июля — дружного пчелиного гуда уже не было. Царили тишина и прохлада, так властно захватившие меня, что враз забылись прожитые на стороне годы. Будто и не было взрослой моей жизни, а была и есть только вот эта жизнь леса, защитника и тебя, и земли. Лёгкий шелест листьев очищает сознание от мелкого и наносного. Это я давно заметил себе. Но здесь это особенно чувствуется. Всего-то небольшой островок липового леса, но такая неповторимая в нём, в этом жизнестойком пространстве, притягательность. И прохлада, и запах липовых листьев, тонкий аромат коры деревьев, глубинные токи земли — всё и во всём свой, установившийся, вечный, обволакивающий уютom мир. И не верится, что где-то есть другой: с авто, самолётами, городами, войнами. Невольно остро почувствуешь себя залётной, торопящейся, озабоченной своими делами пчелой. А вернее всего: путником, не ведающим, куда торопишься из этого, открывшегося тебе мира, где чистота и доверчивость деревьев, безветрие и надёжность, где верная защита от ветров... Куда торопишься? И зачем?..

* * *

— Дед, где ты? — донеслось до меня через тенистую толщу нектенника.

— Там, где мне было когда-то столько, сколько тебе, — отозвался я, выходя на простор.

И замер.

Мне показалось, что всё вокруг притихло, прислушиваясь к нашему диалогу. Такая тишина вокруг. Так всё стосковалось по человеческому голосу...

Внук, кажется, не расслышал моего ответа.

— Ты так долго шёл обратно. Далеко был? — он нетерпеливо тронул звонок на руле велосипеда. И тот заливисто и призывно отозвался ему металлическим голосом, странным в этой древесной обители.

— Далеко, — неопределённо ответил я.

— Поехали! — послышался опять его голос уже за кустистой крушиной. — Если так каждый раз останавливаться, до вечера не доедем. Что так долго смотреть тут?..

Был такой случай

Чуть повыше Ледянки на правом отлогом берегу, густо теперь заросшем осинником, была в своё время дорога. Напротив неё — брод через Самарку. По этой вязкой песчаной дороге мы с дедом или мамой часто либо на рыдване, который тащил трудяга Карий, либо пешком поднимались наверх и держали путь на сенокосный лесной стан или на бахчи. По ней можно было добраться до села Малая Малышевка, или, как его ещё называли тогда — Башкирка.

...Помню, закончился сенокос на правой стороне Самары, недалеко от Башкирки. Дед поехал домой дальним путём через посёлок Крепость. Я решил добираться на велосипеде напрямик через реку. Так я делал несколько раз, когда меня посылали за провизией. Прихватив дедову двустволку, поехал туда, где можно было перейти по выверенному не раз броду на левый берег.

Мне трудно сейчас представить, чтобы моему сыну или внуку в двенадцати-тринадцатилетнем возрасте было доверено ружьё и они в одиночку бы охотились. Тогда же такое у нас было в порядке вещей. Ружьё являлось непременной частью быта, которым жила семья моего деда.

У меня была личная одностволка, кроме тех ружей, что имели дед и дядьки.

К ружьям относились исключительно бережно. Дробь катали сами. Заряжали латунные патроны сами. Оттого каждый патрон был на счету. Ружьё кормило.

В тот раз я перебрался через речку быстро. Положив велосипед себе на плечи так, что голова торчала в раме около цепи, сделал первую ходку. Раза два мне пришлось двигаться, подняв велосипед над головой, по уши в воде. Когда после второго захода вышел на берег с ружьём в руках, на белой «Волге» подъехала весёлая компания. «Туристы», — определил я. Уже видел два раза таких. От них в прошлый раз осталась куча банок, битое стекло и большое горелое пятно у обрыва. Жгли костёр на самом верху. И, изображая по пьянке индейцев, дурачились, как могли.

Мы, деревенские мальчишки, относились к туристам как к праздным людям, которым делать нечего. Эти были похожи на таких.

— Ты откуда взялся? Водяной, что ли? — удивился рослый парень в белой рубахе.

— А ты откуда такой краснокожий? — спросил я, узнав в нём одного из тех «индейцев».

— Такой шкет и с ружьём! Тебе бы с рогаткой бегать, — осерчав, проговорил парень. — Аркадий, — обратился он к красивому смуглому своему приятелю, — давай заберём у него ружье. Не имеет права.

И он пошёл на меня. Самоуверенный такой.

В следующий момент я увидел, как тот, которого он назвал Аркадием, двинулся в мою сторону.

«Аркадий, — пронеслось у меня в голове, — как здорово звучит, и какую глупость они делают. Не понимают... Не понимают, что я не могу отдать ружьё просто так. Я выстрелю. У меня нет выхода, это равносильно тому, что отнять у меня руку...»

Парни приближались.

— Положи ружьё на траву и отойди к велосипеду! — командовала «белая рубаха».

В ответ я быстро взвёл оба курка. Стволы держал опущенными в землю. Я уже хорошо тогда бил уток влёт, навскидку. Целиться мне было не нужно.

— Попужай, попужай, — уверенно шумнул «краснокожий».

В следующий момент он резко метнулся ко мне, но я предугадал этот его манёвр и, отскочив в сторону, выстрелил предупредительно вверх.

Парень, очумело сверкнув глазами, шарахнулся назад.

— Оставь его! — закричал Аркадий. — Видишь, парень серьёзный. — Саданёт!

Я не понял, говорил он это одобрительно или осуждал меня. Не до того было.

...Тот, который в белой рубахе, матерно выругался. Когда они отошли к машине, я не стал купаться. Боялся быть далеко от ружья. Надев на мокрые трусы брюки, с ружьём в руке погнал на велосипеде по песчаной дороге домой.

Я ещё не мог опомниться от того, что чудом избежал страшной беды. Второй раз я бы не стал стрелять в воздух.

* * *

Теперь-то ещё пронзительней понимаю: не было бы у меня после второго выстрела этой моей жизни, которой живу. Была бы другая, такая, о которой страшно думать. Что меня спасло тогда?..

Мониторинг

Самарка становится мельче, берега зарастают. Река сужается.

В детстве она для нас была огромна. И мир, окружающий нас со всех сторон, был велик. И желание узнать о нём было неудержимо.

Жили впроголодь, но читать всегда хотелось не менее сильно, чем есть. Книжки брал с собой на рыбалку, сенокос. Они были со мной в шалаше на бахчах.

Где и чему только я не учился?! И в каких учёных и разных советах ни состоял, какие только лекции ни слушал... В том числе в академии ФРГ. А помнятся до сих пор, будто сказанные вчера, слова деда моего, бабушки, мамы... сотен односельчан из моего послевоенного полунеграмотного детства.

Сколько было среди окружающих меня в детстве людей и достойных, и умелых. Самодостаточных. И мудрых. Они жили в неизвестности, без суеты и амбиций. И ушли незаметно. Но сколько они вложили в нас!..

* * *

Всего месяц назад, принимая зачёты у студентов, почувствовал некую двойственность, повторяемость событий. Ощущение того, что подобное со мной уже было.

И спохватился: занятия шли в той же аудитории, где когда-то наша студенческая группа сдавала зачёты. Вот здесь у окна сидел я, там, у двери, помню, разбитной Виталька, тут вот, около преподавателя, неугомонная Наташка, рядом с ней наш импозантный, неунывающий, рыжебородый староста Анатолий, всегда готовый внезапно выкинуть какую-нибудь шутку, которая разрядит ситуацию своей курьёзностью...

Сколько же всего уткло за это время?! Сколько неожиданных взлётов и падений вокруг. Старосты моей студенческой группы не стало. Лежит под широким волжским небом на новом кладбище около Тольятти. Из двух наших студенческих групп нас, ребят, в живых осталось всего трое.

Многих сверстников-однокашников по институту уже нет, а мои сельские одноклассники, которые в своё время ушли из села, почти все живы, а из оставшихся в селе — никого. Однокашники по институту были в основном ребята городские. Выходит, те, кто поднялись и выросли на реке Самарке, оказались более стойкими в нашей загаженной всевозможными выбросами и стрессами городской жизни?!

Какой странный мониторинг! Сейчас появилось такое жаргонное, бытовое: отмониторить. Вот и мне довелось коснуться чего-то подобного.

Время безоглядно и безжалостно расправилось с большинством моих сверстников, вышедших из крестьянства, — интеллигенцией «первого поколения». Индустриальный напор вытолкнул их когда-то из сёл и деревень, а годы перестройки вернули безжалостно доживать в приземистые отцовские покосившиеся саманные избёнки. И нехитрый быт, уклад жизни отцов и попорченная моим поколением более, чем когда-либо, но пока ещё живая природа, стали спасательными...

...И мой дядька Сергей, проработавший десятки лет главным инженером проекта, занимавшийся проектированием и строительством объектов промышленного, жилищного и сельского хозяйства, доживает теперь в саманной халупе. В городе на унизительно маленькую пенсию без огорода, погреба — трудно тянуть...

Что с нами произошло?

И что впереди?

У Полоузного ключа

Полоузный ключ по весне от полой воды бурно оживал. А к середине лета он превращался в этом сумрачном месте в болото или бучило, как говорил мой дед. Слабенький ручеёк, питаемый холодными родничками, вытекал из сумрака леса и, радуясь свету, встречался с Самаркой. У Полоузного ключа всегда росли осины. Огромные, с зелёной корой. Как те две, у Песчаного озера.

Тут таких было много. А у самого обрыва стояли подружки осины — три ольхи. Вокруг заросли крапивы, в ней скрывались крупные ягоды смородины. Кусты и деревья увиты хмелем. Непролазная чащоба. Но мы через неё продирались. Там была у нас «тарзанка». Была «тарзанка» около озера Лопушного, на Лещёвом озере. Но здесь — самая «классная».

Трос к наклонённой осине Колька Селезнёв привязал так, что он болтался другим своим концом над болотом. Чтобы «тарзануть», трос сначала надо было подтянуть к себе длинной хворостинной. А уж потом, разбежавшись с ним по расчищенной площадке, махнуть на ту сторону болота. И разбежаться, и оттолкнуться надо было ловко и удачно. Иначе ты либо не долетал до крутого противоположного берега и повисал, ткнувшись ногами в обрывистую стену над чашей с тиной, либо пролетал мимо желаемого

пяточка земли — и, как маятник, болтаясь над вязкой тиной, ожидал помощи с берега.

Это называлось у нас «сделать колбаску». Дерзость и удачливость были здесь залогом успеха. Источный, гортанный крик издавали особо азартные. Тот, кто чаще всех падал в тину, безоговорочно получал титул «колбаса номер один».

Был среди нас и хронический «колбасник». Худой, как штатетина, и настырный Санька Капустин. Он несколько раз пытался «тарзануть», но каждый раз бесполезно. Однако не переставал делать попытки. Прослыть трусом было страшнее, чем окунуться с головой в холодную тину.

Тех «колбасок», которых не удавалось «загарпунить» хвостиком с проволочным крюком на конце за трос и подтянуть к себе, кто срывался с «тарзанки» в бучило, отводили к реке отмываться от чёрной липкой жижи. Там из чернокожих они вновь превращались в бледнолицых.

А тут в сентябре, когда в лес мы ходили реже, осин не стало. И «тарзанка» исчезла. Огромные пни, кустарник, три неразлучницы ольхи у обрыва — вот всё, что осталось от осинового леса. Над обнажённой большой чашей с тиной висели рваные куски хмеля да нахально блестели невидимые раньше в темноте, налитые красным, пуговицы глаз волчьей ягоды. Сиротливо стало у Полоузного ключа. Неуютно.

...Часть тех осин обнаружилась внезапно, на первый или второй день после того, как мы побывали в лесу. Их привезли и свалили огромными кучами около клуба. Лежали теперь совсем недавно ещё живые трепетные шепотуньи, осины, странно мёртво мерцая зелёными тушками, обречённые быть топливом. На одном, совсем не толстом бревне, я нашёл потёртое место. Похоже, это была верхушка того дерева, на котором крепилась наша «тарзанка». Я не мог спокойно ходить мимо этого кладбища осин в школу. Пробирался задами. Оттуда их было не видно. А вскоре около клуба заработали пилы, застучали топоры. И осин не стало. Все они, расчленённые на поленья, к моему удивлению, уместились в небольшом приземистом деревянном сарае. Туда их сложили на зиму.

...Наступили холода, и у меня случилась новая встреча с осинами, росшими около Полоузного ключа.

Мама работала уборщицей в клубе. Заодно топила огромные четыре голландки в зрительном зале и ещё две в кабинетах. Я помогал ей таскать охапками из сарая осиновые поленья. Голландки

топили мы попеременно с углём и дровами. Подсохшие осиновые поленья — лёгкие. Древесина у такой осины мягкая, никакой особой копти от неё. И горят они ровно, осиновые полешки. Да тепла от них маловато. От огня такого нет радости, слабо он греет... Всё приходилось таскать в ведре уголь и подбрасывать в огонь, чтоб теплее было...

Странное и неопределённое чувство испытывал я, когда по морозцу, по свежей утренней пороше, под бодрый хруст нетронутого ещё ничьими ногами снега, таскал охапки этих осиновых дров в помещение клуба. Жутковато смотреть в топку голландки, где, как обугленные части скелета, разваливались на глазах, превращались в труху бывшие дородные великанши. Хищное пиршество голландок. Чрева этих слоноподобных мрачных чудовищ были ненасытны. Каждый день они ждали очередную жертву. И я им помогал...

Я стал уваливать от того, чтобы топить эти огромные чёрные чудища.

«Большой становится, стесняется своих одноклассников, — услышал я, как мама за столом говорила отцу. — Мишка его кочегаром зовёт».

* * *

Потом, когда мама топила голландки уже в школе, туда один раз привезли берёзовые дрова. Готовые.

Топить берёзами?!

Нести в охапку берёзовые полешки к топке, вдыхать берестяной запах!.. Мне кажется, что я и теперь, через пятьдесят с лишним лет, чувствую его.

...Огонь от берёзовых дров запомнился другим. Ладные берёзовые полешки горели споро. И было от такого огня необъяснимо светло.

* * *

Полоузный ключ! Надо ещё было с нашими велосипедами его преодолеть. Мы решили взять вправо от реки, где топи обычно не было. Там через каждое лето после водополя сооружалась песчаная насыпь.

Вокруг нас и теперь был лес, но без могучих осин. Вязы да вездесущие клёны захватили жизненное пространство. Был и осинник. Но разве он похож на прежний... Несравнимо! И этот непролазный кустарник...

...Положил велосипед на песчаную обочину и пошёл туда, где мы «тарзанили». Старался не шуметь. Помнил, как мы однажды обнаружили здесь лежащего в застоялой, но всё ещё подпираемой небольшими родничками, холодной тине, рогача. Лось пытался спрятаться в бучило от жары.

...Сейчас на болоте было всё тихо, сонно, душно. Дремотно и диковато смотрело на меня зелёным оком сузившееся, похожее на корытце, болото. Я чувствовал себя чужеземцем в этой чащобе. Туча комаров так обрадовалась моему появлению, что я панически поспешил на свет, к внуку.

«Тарзанку» здесь теперь вряд ли кто соорудит, — мысленно отметил я. И тут же добавилось: — И такой ребячьей ватаги, какая гомонила на нашей одной улице, нынче не соберёшь со всего села...»

Мелочь на кино

Довольно уже прилично прошагав по направлению к внуку, невольно остановился: «А мысок, тот мысок, где однажды, понурый, сидел я в одиночестве? Отчего же я не прошёл к нему? Цел ли он?» С этим безымянным мыском у Полоузного ключа меня связывала тайна. Теперь-то к чему её скрывать?..

Билеты в кино в моём детстве стоили копейки. Но где взять и такие деньги?

Когда отец лежал в госпитале, деньги, кажется, совсем не водились у нас. Как пенсионер-колхозник, а не инвалид войны, он получал очень мало. Потом, когда немного поправился, стал работать в сельском клубе сторожем, туда устроилась работать и моя мама.

Было молчаливое согласие руководства клуба с тем, что ребяташки его работников ходили в кино бесплатно, без билетов. Казалось, радуйся. Но как я мог не как все остальные? Для меня это было то ли предательством нашего ребячьего сообщества, то ли... Я не знал чем... Без билетов в кино ходить не смел.

Другое дело на летней площадке около озера, где крутили кино, со своими дружками смотреть в дырочку от сучка в доске забора. Или — забравшись рядом на дерево. Это да! Но зимой кино крутили в закрытом помещении.

— Иди, Шурка, иди в зал, смотри! — шумела контролёр на входе — властная Чугуниха. — Если опять возьмёшь билет, скажу матери.

Я всё равно покупал билеты! Помогала мне с деньгами моя бабушка Груня.

— На-ка вот, — встретив меня на задах, говорила она. — Возьми на кино.

Она знала, что я покупаю билеты.

— Только матери с отцом не говори. Раз уж ты такой карактерный, — и протягивала медяки. — Сегодня, сказывают, опять этот «Тарзан» ваш будет.

Брал деньги со смешанным чувством. И неловко было за своё упрямство, которое заставляло раскошелиться бабуку, и кино хотелось посмотреть.

Досадно было, что в клубе такие порядки. Не было бы этого разрешения бесплатно смотреть, не показывали бы на меня тогда пальцем...

* * *

В конце лета баба Груня взяла меня с собой в поездку к своей сестре Машурке.

Сестра моей бабушки жила в посёлке под Самарой. Муж Машурки работал каким-то начальником. Теперь уже не помню где. Жили они, кажется, не бедно.

В первый же вечер мы сели играть в лото. Человек пять или шесть. Я тоже играл. Мне сразу пододвинули стопку мелочи. Такие стопки возвышались перед каждым играющим. Играли весело, посмеивались друг над другом, если кто не успевал следить за своими картами.

Легли поздно. Не спалось. Перед глазами у меня стояли улыбчивые лица игроков, удивительное их добродушие и... эти стопки с монетками на столе... Они так и остались возвышаться против каждого освободившегося стула.

У нас такого никогда не было. Деньги знали своё место. Их всегда было мало... Чтобы вот так, в несколько стопок?..

«Там их на столе так много! Если взять по две-три монетки из каждой стопки, то никто и не заметит. Да и не так уж их здесь считают... Видно, дядька Максим много зарабатывает... Одной такой стопки хватило бы ещё раз посмотреть и «Тарзана», и «Чапая», — рассуждал я. — Куда им столько? Лишь для игры. А мне...»

Мы ещё раза три весело играли в лото. И всё также после игры сдвигали каждый свою кучку монет, не считая, в центр стола, чтобы примерно поровну поделить и поставить столбиками перед каждым для следующей игры.

Наступил день, когда мы должны были с бабушкой уезжать домой. Перед самым отъездом, не чувствуя под собой ног, я вошёл в горницу, где мы играли в лото. Не веря в свою решительность, приблизился к столу. На белой скатерти всё так же, по-прежнему возвышались стопки монет. На удивление самому себе, я быстро взял из каждой по две-три серебряных монетки. Аккуратно выровнял покосившиеся столбики и... был таков.

...Страшно сильно захотелось уйти как можно дальше от горницы, где возвышались эти притягательные столбики. Я не знал, что делать дальше.

...Забрался в пустующую прохладную погребницу. И там, среди плетениц лука, горок мелких арбузов «Огонёк», рассыпанной по полу белой крупной картошки, в полумраке лихорадочно соображал, как поступить. Монеты жгли руку. Возвращаться в горницу, чтобы всё вернуть на своё место, было рискованно, могли заметить. В какой-то миг они, эти монеты, мне стали противны, не нужны совсем.

«Если их закопать в погребнице? От греха подальше, а то хватятся хозяева и найдут у меня. Что тогда?.. Что моя бабушка скажет?»

Так было уже и собрался сделать...

Но тут пришла другая мысль: «Спрячь их в манжеты штанин: они двойные. Никто сроду не найдёт».

Как подумал, так исполнил, опасливо посматривая на дверь: вдруг кто её раскроет и войдёт, а тут...

...Приехав домой, пошёл смотреть фильм «Смелые люди», потом, кажется, «Школа», потом...

И тут, когда в очередной раз шёл из клуба, у своих ворот меня окликнула баба Груня:

— Шур, Чугуниха говорит, что ты в кино зачистил? А я и забыла, когда на кино тебе давала... И не заходишь к нам?..

Добрые, большие глаза бабушки смотрели на меня спокойно и внимательно. А слова её обожгли меня всего разом:

— Клад, что ли, отыскал?

«Она всё про меня знает, — ужаснулся я, — раз так говорит... Не зря мне показалось, что, когда брал деньги со стола у тёти Маши, она всё видела. Бабушка была в сених, когда я выбежал, что-то там делала...»

— Мне Мишка в долг дал, — соврал я. И ужаснулся своему вранью. Но отступать было некуда! Поздно... Одно цеплялось за другое...

— Ну раз так, то надо отдать долг. Сколько ты должен?

Я летел в пропасть. Надо было назвать величину долга. И я назвал.

— На вот, у меня приготовлена тебе мелочь...

Она протянула мне несколько медных монет.

Когда шёл домой, всё лицо моё было в слезах. Такой для меня оказалась эта мелочь.

Остатки злополучных монет, привезённых от бабушкиной сестры, я обронил в Самарку случайно, когда рыбачил с лодки в затончике за этим мыском и Ледянкой. Потянул неловко брюки, брошенные в жару на корму — монетки и булькнули из кармана в глубокий омут.

В первый момент мелькнула досада, а когда причаливал уже к берегу, пришло неожиданное облегчение. Будто долго и тяжело плыл через омут саженьками и наконец я на суше.

* * *

Мне тогда казалось, что Самарка, приняв в свои волны серебро, как моя бабушка, заботливо и бережно старается хранить нашу тайну. Жалеет меня, доверяет мне... До сих пор верит, что успею, сумею сделать что-то такое, что оправдает мои проступки. Неспроста так по-особенному в этом месте серебрятся её волны...

* * *

Вспомнился теперь ещё один случай на Самарке.

С крупного мыска Ледянки мой брат Пётр, когда ему было лет десять, зацепил огромного леща. Брат рыбачил на сомят, насаживая на крючок целый пучок червей. Леска была соминая, толстая, из суровой нитки, поэтому он без опасения, безо всякого подсачика, выволок огромную рыбину. Таких лещей я потом и на Волге не видел.

Я сидел у кусточка напротив, через завадину, поэтому видел всё до мелочей. Но помочь не мог. Он уже снял добычу с крючка, прислонив её обеими руками к себе, соображал, что делать дальше. В сумку из кирзы, которая лежала около его ног, лещ поместиться не мог.

Он так и стоял какое-то время, почти весь закрытый от меня этой рыбиной. Произошло всё мгновенно и одновременно. Брат дёрнулся с места, рассчитывая шагнуть вверх на крутой берег, и скользкая добыча, спружинив, обрушилась в воду...

Потом, когда мы шли с рыбалки домой, я помогал ему отди- рать от одежды огромную, не менее пятака, рыбную чешую. А он всё уверял меня: «Я обязательно его поймаю. Только никому не говори, что он такой там водится. Ладно?»

Чешуя у рыбины была похожа на чуть омеднённые обронен- ные мной серебряные монеты. Будто река одарила ими леща. Каким-то образом умножив их, давала непонятный мне знак из сво- ей глубины. То ли дразнила, то ли укоряла... Может, напоминала...

«Хорошо ему, — думалось мне, когда мы с братом уже возвра- щались в сумерках домой, — он не ведаёт того, что со мной сейчас происходит. Шагает себе... Сдирает прилипшую чешую с рубашки своей и всё... И она отлетает из его рук в песок дороги, потускнев- шая и ставшая неживой...»

Давно это было. Теперь русло у реки в этом месте спрямилось. Каменистого мыска нет. Течение выровнялось...

Два моих отца

Следуя логике воспоминаний, я невольно подошёл к моменту, когда впору сказать о моём отце Станиславе.

...Сюда, к Лопушному озеру, чуть правее Ледянки, по расска- зам мамы, она с моим польским отцом приезжала несколько раз на корове, запряжённой в рыдванку, за дровами. Мама собирала суш- няк, а отец, как говорила она (это меня в детстве особенно порази- ло), валил без топора и пилы сухостой. Так был мой отец крепок!

Всегда я помнил и отмечал это место, освещённое некогда присутствием моего отца. От которого на все мои последующие с рождения пятьдесят с лишком лет не осталось ни малейшего ма- териального признака бытия. Кроме меня самого...

И мы с дедом Иваном ездили к Лопушному за дровами. И каж- дый раз при приближении к Лушкиной поляне я чутко вздраги- вал. Призрачное присутствие моего польского отца в этой лугови- не лишало меня душевного равновесия.

Подобное случилось со мной, когда уже учился на первом кур- се института. Я обнаружил в Самаре (тогда Куйбышев) небольшой особнячок на улице Чапаевской. Согласно укреплённой на его сте- не табличке значилось, что в 1941-43 годах в нём находилось по- сольство Республики Польша в СССР.

Первые дни после такого моего открытия я был сам не свой. Несколько раз безотчётно приходил к этому дому. Здесь должен был бывать и мой отец. Ведь он же оформлял какие-то документы,

состоял на учёте, призывался в Войско Польское. Он был здесь! Этот дом, эти холодные, жёлтые стены видели его... Он смотрел на них. Говорил что-то здесь. Смеялся. Мама говорила, что он был красивый и весёлый. Тогда, в эти дни, я пылко дал себе слово, что буду искать отца всю жизнь! Пока не найду! А если он погиб, попытаюсь как можно больше узнать о нём.

Сведений об отце было совсем мало. Всего лишь имя, год рождения. Мама знала, что он варшавянин. Брак их не был зарегистрирован. Он — иностранец. Она — русская. К моменту, когда отец Станислав появился в Утёвке, от первого мужа мамы, Василия, призванного на службу в 1938 году, не было с фронта писем более трёх лет. Вернувшиеся искалеченные однополчане Василия мотали головами, не веря собственному возвращению. По их словам, Василий Шадрин погиб при разгроме армии Власова.

Мама и отец Станислав, попавший в Россию вместе с отступавшими войсками, стали жить в доме моего деда одной общей семьёй. Пока не пришла и его очередь. Призванный в Войско Польское в конце сорок третьего, и он пропал без вести.

Вернувшийся после плена из Германии рядовой Василий Шадрин привёл за руку жить мою маму со мной на руках в дом своей матери Прасковьи Шадриной. Не смогла Прасковья смириться с тем, что её сноха не дождалась законного мужа. Родила от поляка...

«Лучше бы тебя убило на войне», — так встретила она сына на пороге своего дома.

Василий Шадрин не стал жить в родительском доме. Ушёл. Приютили нас троих мой дед Иван и баба Груня.

И об этом я писал в одной из своих повестей. Упоминаю вновь лишь для того, чтобы восстановить цепочку событий.

* * *

По молодости я недооценил сложность поставленной перед собой задачи найти отца. Обращался письменно и устно куда только мог. И у нас, и за границей. У меня было очень мало сведений. Все поиски были безуспешны. Активно работая на нефтехимическом производстве и в науке, я до 2000 года побывал за границей по долгу службы более двух десятков раз. И всегда, где только было можно, пытался наводить хоть какие-то справки. Во Франции, США, Швейцарии, Германии были обнадёживающие знакомства с поляками, но увы... Последнее моё обращение было у нас в адрес популярной телепередачи «Жди меня», которую вёл Игорь Кваша. Не сработало.

Я уже было начал готовиться к поездке в Польшу, намереваясь методично, посещая костёлы в Варшаве и её окрестностях, попробовать отыскать хотя бы какие-то записи. Одновременно помнил о гигантском, чудовищном разрушении немцами Варшавы. И костёлов в том числе. Но всё же... Это было похоже на намерение искать иголку в стоге сена. А что мне оставалось делать?..

Помог случай.

Франтишек — польский инженер, учёный — вот кто свершил то, что не получалось более чем сорок лет у меня. Мой теперешний польский друг Франтишек оказался тогда, в 2004 году, участником научной конференции, проходившей на теплоходе, следовавшем по маршруту «Самара — Астрахань». Моя дочь Юля — одна из участниц этой конференции, узнав, что на пароходе будут трое учёных-поляков, взяла у меня на авось скудные сведения об отце, отпечатанные на одной страничке. Франтишек пообещал попробовать начать поиски.

И вот через два месяца после конференции держу с трепетом в руках присланную по электронной почте выписку из Центрального Войскового архива Польши: «Станислав Малиновский, сын Михайла, 1919 года рождения. Призван в Войско Польское во 2-й артиллерийский полк девятого сентября 1943 года. Служил до 19 ноября 1945 г. Звание: капрал. Национальность: поляк». Всё в выписке разнесено по графам, с армейской чёткостью. В графе «Адрес постоянного проживания до ухода в армию» значится: «Куйбышевская обл., село Утёвка, ул. Центральная». Всё сходилось! В графе «Семейное положение» с трепетом читаю: «Женат. Жена: Малиновская Катерина». Всё так! Только имя мамы моей далёкий писарь несколько переименовал. Вместо русского «Катерина» записал латиницей «Катарина». Это притом, что отец с мамой не были расписаны. Когда Станислава призвали в Войско Польское, она была беременна мной, на четвёртом месяце. Оказалось, что отец Станислав участвовал в освобождении родного города Варшавы, где проживали его мать, отец, старший брат. Уволен был капрал Малиновский по ранению.

Вот тут-то, как рассказывал позже о своих поисках Франтишек, после увольнения следы отца затерялись. И тогда Франтишек, понимая, что возраст моего отца преклонный, методично, как я намеревался искать когда-то записи о рождении в костёлах, начал искать имя моего родителя в списках захоронений на кладбищах.

...Он нашёл могилу моего отца на старинном Брудновском кладбище. Рядом покоится вторая жена Станислава — Барбара.

Чуть поодаль младшая дочь Юола. Здравствущая ныне старшая дочь (моя сестра по отцу) Ханна рассказывала мне, что женитьба отца проходила, как ей говорили, скромно. Без белого платья невесты. И без венчания в костёле.

В середине августа 2005-го я, моя жена Лариса и мой внук Саша уже были в Варшаве. Я всегда представлял себе отца Станислава красивым, крепким и ладным. С самого раннего детства. Так складывалось из рассказов моей мамы и бабушки Груни.

И теперь не могу сказать, было ли педагогической ошибкой моей бабушки, сказавшей мне, что мой родной отец — поляк? Или только так и должно быть... Но понимаю теперь ясно, что с того дня, когда я это узнал, по-иному стал глядеть на многое, что окружало меня. И обычно, как раньше, и как бы со стороны, как наполовину чужак... сам не свой...

Глядя на отца Василия, получившего увечья на фронте, на его мужественное преодоление и нездоровья, и нужды, всячески помогал ему. А где-то в глубине сознания сверкало: там, далеко, у меня ещё один отец есть, красивый и сильный! И мне ничего от него не надо. Нам не надо! Пусть хотя бы он живёт красивым и сильным! Хоть ему повезло! В то, что он жив, всегда верил. А раз жив, то уж в Варшаве-то жизнь не должна быть такой тяжёлой, как наша... в Утёвке...

* * *

...На кладбище Ханна рассказала мне, что в 1968 году, когда отцу Станиславу не было и 50 лет, около дома на автобусной остановке его сбили трое пьяных на автомобиле. Был суд. У отца оказались множественные переломы обеих ног. Около года он пробыл в больнице. В одну ногу ему ниже бедра вставили металлический стержень, на другую наложили двенадцать скоб. Ходить он стал только с костылём. Жена Барбара с горя заболела и вскоре умерла. Капрал Малиновский, прошедший почти пол-Европы два раза, туда и обратно, освобождавший Варшаву, получил увечье около своего дома. И прожил инвалидом 31 год.

Когда я это узнал, встали, как живые, перед глазами на костылях оба моих отца: русский и польский. И не сдержался. Там, у могилы отца, впервые за последние лет сорок внезапно заплакал. На глазах у женщин и у внука.

...Моя мама пережила обоих своих мужей.

Мамины руки

Давно написал я это стихотворение. Оно и об отцах моих, и о маме:

*Два светлых имени, два моих отца —
Войною соединённых два кольца.
Отечеству по-своему служили
И мне в безвременье оплотом были.
А матушка, в любви своей святая,
Неугомонная и молодая,
С руками жёсткими, как два весла,
Она мне родину мою дала.
До боли в сердце и до песни звонкой
Люблю тебя, родимая сторонка!
Люблю и мучаюсь порой при этом:
Боюсь казаться странною кометой,
Мелькнувшей лишь на миг во тьме кромешной,
С фамилией красивой и нездешней...*

Когда составлял сборник стихов «Окошко с геранью», не без колебаний решил поместить и это незамысловатое стихотворение. В нём редактор тут же зацепился за строчку: «С руками жёсткими, как два весла».

— Ну что это? Александр! Ни в какие ворота!.. Руки — вёсла? Да ещё жёсткие? И это о матери?..

И он, как казалось, вполне искренне недоумённо покачивал головой. Не забывая интеллигентно поглаживать указательным белым пальчиком левой руки холёные усики, настоятельно советовал: «Надо поправить...»

Я возражал как мог.

Мама для меня всегда живая. Она была такой.

И я вижу её руки. Сколько они выдержали в жизни! Сколько переносили одних вёдер с водой из колодца! Чтобы была вода в избе, чтобы напоить нас, напоить скотину... Мы все помогали родителям. Но столько было всяких забот...

В летнюю пору она вставала в четвёртом часу утра. Надо было подоить и проводить нашу кормилицу корову в стадо. И с этой рани до темна, пока не вернётся корова во двор, пока она её не подоит, не утомит всех нас, четверых ребятишек, хлопотала по дому. А потом, когда мы подросли, стала работать ещё и уборщицей в клубе.

Я помню её руки, вижу их. Большой палец на правой руке у мамы был сантиметра на полтора-два, почти до сустава, отрезан.

И выглядел, разбухший и раздвоенный, как клешня. Таким он стал после того, как мама напоролась им при мытье пола в клубе на ржавый гвоздь. Пошло сильное заражение.

Руки мамы. Руки, отяжелённые непосильной, изнурительной работой. Они были у неё несоразмерно большие при её малом росте. И выглядели как механизмы, как зацепы для захвата и перемещения тяжестей.

Она и носила руки свои как бы отдельно от себя: чуть вывернув локти в стороны. Отчего кисти рук висели ладонями назад. Как у штангиста-тяжелоатлета.

И при этом она была такой весёлой! Часто смеялась. В облике её так много было светлого. Моя маленькая мама походила на большую птицу... Так порой в ней проглядывало голубиное... И этот её говор! Щебечущий, уютный. Мы, дети, редко когда слышали от неё окрик... Нам всегда хотелось ей помочь...

Когда она ложилась отдохнуть, то клала руки свои, как большие инструменты или механизмы, вдоль туловища. И они отдыхали. Как бы сами по себе.

Руки у неё, как она говорила, часто «гудели». От напряжения. Тогда мама ими мерно помахивала, не поднимая выше пояса. Успокаивала так. Или готовила к новой работе...

* * *

Здесь, напротив Полоузного ключа, мама, не умеющая плавать, перешла вброд Самарку и перенесла меня на руках, словно на крыльях, гонимая бедой, через реку. И в военное лихолетье от горя в неиспелемой материнской вере и надежде на моё прозрение в Мало-Малышевском храме Святого Архангела Михаила окрестила меня.

...И на мамином обратном тогда пути в Утёвку оказался как бы случайно калика-старичок, подсказавший, как лечить меня от слепоты, страшного недуга, оставшегося после кори. И она, многое уже перепробовав — от заговоров до настоев из голубинового помёта, начала лечить меня заново. Настоем дождевых червей смазывала каждый день мои глаза... Наступили холода, земля замёрзла, и дядька Сергей стал добывать червей в погребах. И на удивление врачей, тех, которые из сельской больницы выписали (читай: выпроводили в своём бессилии) меня незрячим, постепенно я начал видеть.

* * *

Мамины руки!

«С руками жёсткими, как два весла».

Я сопротивлялся тогда, при составлении книжки стихов. Противился потере правды. Но новая строчка, явившаяся мне в сопротивлении редактору: «С руками лёгкими, как два крыла», закрывала прежнюю, отодвигала её куда-то на второй план. Я не сразу её принял. Сам вначале противился своему. Но она открывшейся своей сокровенной правдой, истинным смыслом, брала верх.

И я сдался, поменял строчку.

У поэзии своё зрение.

* * *

Мама просветлённо и скупно рассказывала о том, как произошло моё выздоровление в тот раз. Будто опасалась расплескать, не сберечь в себе тихую радость и благодарность за данную ей благодать.

...В один из сенокосов, когда косили сено за Самаркой, у Малой Малышевки, я увязался за дедом. Во мне вспыхнуло неодолимое желание увидеть, как мама говорила, «кипенно-белоснежный» храм с колокольней в честь Святого Архангела Михаила.

...Михайловский храм в отличие от многострадального храма Святой Троицы в моей Утёвке никогда со времени его постройки в 1836 году не закрывался для прихожан, оглашая округу радостным для души звоном. Разве что в 1884 году, когда он перестраивался. Тогда, как знаю, его изнутри обшили оцинкованными листами. Церковь пытались потом в лихие годы не раз поджечь. Металлическая обшивка спасала. Эти подробности узнал уже много позже, взрослым. А знала ли мама тогда, явившаяся на руках со мной перед ликом Архангела Михаила, выступавшего главой святого воинства ангелов, стоящих на страже Божьего закона, что она одна из многих тысяч, которые обращаются к святому с просьбой об исцелении? Знала ли, когда молила за меня, незрячего, что Михаил Архангел почитается как победитель злых духов, которые в христианстве считаются источником болезней, что он прославлен своими чудесами по всей Руси! И ему посвящено большое количество монастырей, соборных, дворцовых и посадских храмов? Возможно, и не знала. Была одна со своей бедой. Но, преодолевая нелёгкие эти пятнадцать километров, несла в себе великую материнскую веру в поддержку. С верой и надеждой оказалась она в храме! Молилась в окружении «афонских икон» — списков со свя-

тых образов, выполненных в иконописных мастерских русского Свято-Пантелеймонова монастыря на Афоне и принесённых паломниками, побывавшими там на богомолье. В храме есть копия иконы Табынской Божьей Матери! Иконы чудотворной, крестный ход с которой, по преданию, остановил в 1848 году эпидемию холеры в самом Табынске, а потом в почти вымершем тогда Оренбурге. Крестный ход с иконой Табынской Божьей Матери был самым продолжительным по времени и расстоянию в России.

«Разве могла я в своих молитвах оказаться не услышанной?.. А уж там как Богу угодно...» — эти слова мамы до сих пор помню.

Тканый ковёр

...Множество раз побывал я в своей жизни у окулистов. И так получилось, что только один из них в начале восьмидесятых годов признал врачебный рецепт лечения глаз, данный седовласым странником моей маме в лесу под Мало-Малышевкой. И назвал его автора — Авиценна.

Пытаюсь теперь вспомнить имя участкового врача Новокуйбышевской поликлиники, открывшего мне по-иному Авиценну... И не могу. Помню только его знаменитую фамилию: Ворошилов...

«Авиценна» — сколько раз в жизни мне попадалось это странное имя. Кое-что читал о нём. Но так, на бегу... И только после встречи с врачом Ворошиловым, на пятидесятом году своей жизни, потянулся к этому имени. Авиценна — латинизированная форма от Ибн Сина. Выдающийся среднеазиатский учёный, философ, врач (настоящее его имя Абу Али Хусейн Абдаллах Ибн Сина) родился в селении Авшана, недалеко от Бухары. Жил он около тысячи лет назад. Первый описал чуму, холеру, желтуху. Проанализировал причины, признаки и способы лечения таких тяжёлых болезней, как язва желудка, менингит и многих других.

Подробно описал, объяснил строение мышц глаза. Гениальный врач, знаменитый философ и вынужденный скиталец по караванным путям, порой писавший в седле, он и умер в дороге...

Его «Канон врачебной науки», состоящий из пяти томов, стал в своё время энциклопедией во всех странах мира. Когда был изобретён печатный станок, «Канон» напечатали сразу вслед за Библией.

Авиценна написал более 450 трудов в 29 областях науки. Фантастическая работоспособность. По легенде смерть великого врача таинственна и поразительна. Как сама его жизнь!

Предание гласит, что, почувствовав близкий конец, Ибн Сина решил дать смерти бой. Великий врач изготовил сорок снадобий. Правила их использования он продиктовал своему ближайшему ученику, на случай собственной смерти. Когда Ибн Сина умер, ученик приступил к оживлению. Изумлённо он видел, как появляется у его учителя дыхание, розовеют щёки. Оставалось последнее снадобье, которое надо было влить в рот Учителю. Оно должно было закрепить жизнь, восстановленную предыдущим лекарством. В волнении, поражённый происходящим возвращением жизни, ученик выронил последний сосуд. Смесь впиталась в песок, и через несколько минут перед учеником лежало дряхлое тело Учителя...

Великий Авиценна и моя мама?! И этот старичок-лесовичок, встретившийся маме, когда она со мной на руках после молитвы об исцелении возвращалась из храма в Малой Малышевке... Я и сейчас, когда пишу эти строчки, не скрою, пребываю в плену этих событий.

И видится наша жизнь: общая и жизнь каждого из нас, ныне живущих, одним общим «тканым ковром», узоры которого идут от самого изначала жизни на Земле... и стремительно уплывают в необозримое будущее. Непредсказуемо и судьбоносно...

Пески

Есть слова в нашем русском языке, которые не тускнеют, не затираются от употребления. Они, если и не звучат часто, то всё равно постоянно в твоём сознании. Порой вот-вот готовые быть произнесёнными, иногда — как в глубоком колодце: мерцают таинственной силой. Пришли они с молоком матери. Среди таких слов у меня: река, поречье, заречье! С ними так много связано в жизни. Произносишь эти завораживающие слова и всем существом своим осознаёшь, что основа их — вода! Вода — основа всего живого! И её всегда не хватает, воды...

Здесь, в поречье, где, казалось бы, так много воды, где целая река, помощь неба желанна всегда! Каждой травинкой и веточкой! Дождь всегда здесь особенный и всегда кстати. Иссушенная песчаная равнина поречья ждёт, жаждет влаги. Дождь и река — объединяющее начало в этом песчаном пространстве. Начало и продолжение жизни. Помощник и посланник той силы, которая особенно ощущается, как ни странно, здесь в безветрие. Когда вокруг ещё далеко до дождя и природные таинственные силы в

равновесии. И ты криком ли, стуком железа, ещё чем-то вот-вот можешь нарушить это таинство. Поречье очнётся от дремоты! И мощная стихия дождя обрушится разом... Божественно и благодатно...

...Мы приближались к тому месту в нашем поречье, которое издавна зовётся Песками. Пески — это песчаная береговая полоса вдоль Самарки и огромное, прилегающее к ней пространство, отделяемое от реки осинником, а от леса справа — дорогой, идущей под Крепость. Здесь, в этом обширном пространстве, поболее уже двух десятков лет росли медноствольные сосны. В рукотворном бору сосёнки стояли стройные, ровные. Дружно стремились они вверх, к свету. Отстанешь в росте от других — сомкнутся сверху макушки над головой и не догнать, будешь без света худосочной и неказистой... Кого это порадует?.. Оттого-то они здесь росли споро, наперегонки. Веселили душу и себе, и всем, кто около них бывал...

...Мы резво вильнули на своих велосипедах с тропинки на дорогу и были ошеломлены: широченные, разъезженные колеи, помятые с боков дороги кусты краснотала и крушины... Было похоже, что здесь побывали многократно большие грузовые машины. Но какая необходимость в этом? Дорога к мосту намного правее, за озёрами Лопушное, Старица, Подстёпное... Впереди поворот к самой Самарке. Ещё небольшой подъём, поворот вправо, и окажемся в молодом сосновом бору!

Повернув, мы выскочили за поворот и... оказались не в бору, а на... пепелище, на пожарище. Бора не было. Лишь кое-где либо лежали, либо вкривь стояли горелые сосновые лесины. Очевидно, прошлым летом либо осенью здесь случился верховой пожар. Для такого пожара преград практически нет. Пламя, как крылатый косматый зверь, прыгает с одного дерева на другое...

Как же не повезло вам, мои повзрослевшие сосёнки! От вас теперь остались только вот эти чёткие ряды пеньков. В чьих-то руках бензопилы поработали отменно. Как жутко теперь здесь. Всё практически вывезено. Малые обрубки, обрезки, кора... Только они, вмятые в податливую почву мощными колёсами и остались. Копоть и гарь теперь на поляне. Тихо вокруг. Ни зверя какого, ни птицы...

По дороге ехать нельзя. Её нет. Она только угадывается. Всё перемешано колёсами: грунт, зола, обломки лесин...

Внук, попытавшийся было поехать, тут же наскочив на приземистый сосновый пень, повалился вместе с велосипедом наземь. Когда я подошёл, он разглядывал большую царапину на голени.

Там алыми капельками просачивалась кровь. Взяв щепоть золы, внук поднёс её к ноге.

— Не смей! — опередил я.

— Почему? Ты же сам говорил, что в детстве так раны лечил, золой.

— Когда это было?.. Мало ли чего?

— Дед, ты суеверный?

— Нет, цивилизованный. Что потом твоим родителям, твоей бабке буду говорить? Вдруг заражение? Что она сказала: «Не заболите там!» Раз на раз не приходится, — ворчал я, пытаясь в рюкзаке отыскать аптечку с йодом.

...Мы сидели у края дороги под узловатым, кручёным вязом, сморённые жарой. Справа темнела огромная песчаная поляна, захламлённая древесными сосновыми обломками, обрубками, обгорелыми стволами сосняка. Это всё, что осталось от молодого бора...

Ваня Тюм-Ля-Ля

Были когда-то, ещё до посадки сосёнок, здесь, где посвободнее от краснотала, на Песках, бахчи. Года два всего. Потом они перекочевали за Самарку. Но память об этих бахчах осталась. Благодаря дяде Ване Тюм-ля-ля.

Дядя Петя Мордвинов рассказывал так:

— С ним, с Ванькой-то, ни украсть, ни покараулить. «Ля-ля» только. А его бахчи поставили сторожить... А эти, которые на Ветлянку понаехали, — нефтяники — повадились в Утёвку. То на танцы в клуб, то на бахчи. Ребята молодые, отчаянные. Особо, правда, не баловали. Ночью подъедут потихоньку. Дверь у шалаша, где сторож спит, закроют, подпрут колом и айда хозяйничать. Кайтай — не хочу арбузы. Сколько хочешь — в машину.

Ванька-то и сообразил. На ночь лёг не в шалаше, а прямо меж арбузов. Пристроился у копёшки, одностволку свою приткнул. Говорит: «Пострацать задумал. Пальну пару раз, чтоб не повадно было».

Так он говорил. А я кумекаю: из шалаша-то он от беды подальше чтоб... Мало ли чего? Ночь. Лес. И люди не свои, не местные. Не знай, какие?..

«Заснул, — говорит, — и сквозь сон чувствую, что кто-то навроде гладит головёнку лысую мою ладошкой. Так аккуратненько... А потом, шельмец, как крутанёт мне её справа-налево, слева-на-

право. Головушку мою с арбузом спутал. Луна хоть и светит, но так — слюняво».

Оно и правда! На голове-то у него три волосинки в шесть рядов. «Больше на тыковку похожа, но ночью-то можно спутать и с арбузом», — строил свои умозаключения Мордвинов. И продолжал:

— Как же не оторвали от вешки-то? — спрашиваю Ваньку. — Шею-то?..

— Как? Как? — отвечает. — Когда сообразил, что к чему, и пропажу одностволки обнаружил. Она ж у меня промеж ног была вложена!.. А тут нету! Как заору на всю бахчу! На весь лес! Как какой Тарзан! Манёвр такой избрал. Ну, они кто куды, ребятня ведь... сыпанули, как горох... А у меня лёгкие знаешь какие? Меха! Не только заорать могу! Я такой в молодости бегун был, хоть куда!.. И сичас мог бы любого достигнуть! Хоть до самой Ветлянки мог гнаться. Пожалел их, однако... Меня не удержишь... Я самого себя поостерегся, не побежал... Дербалызни меня драндулетом!

Так ли было на бахчах с Ваней Тюм-ля-ля или нет, дядя Петя и сам не знал. Но рассказывал об этом несколько раз. И каждый раз похахатывал, мне казалось, что он это всё сам наполовину придумал.

* * *

Был и другой вариант случившегося на бахче с Тюм-ля-ля.

Его излагал большой приятель дяди Вани на почве выпивки, но и не меньший любитель резануть правду-матку, когда это надо, Гриша Комулятор. Дело было чуток иначе.

Вовсе ребята и не побежали к машине, обнаружив сторожа под копной, а оставив его голову в покое, мирно поговорили с ним. Туда-сюда... Подзатарились арбузами. Вернули сторожу одностволку, выкинув патрон. И потихонечку съехали с бахчей.

Кому верить?.. Будто Ванька даже подсоблял им выбирать арбузы. Плохо видно, ночью-то...

— Угнаться за Ванькими придумками — невмочь... — жаловался Гриша Комулятор. — Рассказал мне про свои опыты. Я, говорит, науку постиг по арбузам. Засёк, сколько дней арбуз растёт, сколько потом поспекает.

— Как жеть, это ты засёк? — спрашиваю. — Интересно.

— Очинно просто, — отвечает. — Я, говорит, измерял арбуз каждое утро шнурком. По кругу. Арбуз растёт две недели. И цельных две недели потом зреет.

Ну я и загорелся проверить.

Тожа опыты провёл у себя на огороде. Как какой Мичурин, вёл науку. Не сошлась моя наука. Сроки роста и созревания не одинаковые. И это: половину арбузов перевёл. Чтоб, значит, удостовериться: в срок спеют? Или как?..

Сказал Ваньке об его никудышной науке, а он:

— Ты, голова, не те арбузы проверял. Надо «Победитель» или «Огонёк». Они местные, тутошнему закону подчиняются! А ты камышинские посадил. Ещё ба какие бразильские учудил. Голова?!

Я ему:

— Балабонишь ведь!

А он:

— Опыт важно делать несколько раз. Чтоб никаких и ничего!.. Возьми у меня семена «Огонька».

Тырлычит себе. И лыбится так...

Сашка Мазилин говорит, что он ходит к Тюм-ля-ля на подзарядку настроения, когда пасмурно на душе. Сам не хуже его! Когда они вместе, никакого кина не надо. Клубный наш киномеханик Колька Горин может отдыхать.

Этот второй вариант событий на бахчах обстоятельного вроде на вид и серьёзного Мордвинова не устраивал: «Нету никакой антитресной приправы к рассказу. Ну что это? Приехали — набрали арбузов — уехали... Скучно!

Про Ваню Тюм-ля-ля у нас любили рассказывать.

Чтобы хоть как-то развеять никудышное своё настроение, рассказал и я внуку про этот случай на бахче. Думал, что ему это будет совсем не интересно с его компьютерами, скайпами и айфонами... Сам первый, рассказав, засмеялся.

А внук вполне серьёзно и живо спросил:

— А как взаправду было? Кому верить? Арбузы действительно так растут?

Осина выручала...

Будут ли когда вновь здесь, на Песках, шуметь сосны? Они не очень любят селиться на горях. Света здесь много, кое-где объявилась уже поросль осины. Растёт осина быстро. На неё надежда: под её защитой часто теплолюбивые сосёнки и вырастают. Может, и здесь такое случится. А пока, как сказал бы мой дед, кнутовище вырезать негде.

Осина часто выручала.

Дед, задумав строиться у себя на задах, начал с сыновьями рубить сруб из осиновых брёвен. Не захотел лепить из самана. Я недоумевал. Осиновый дом? Надолго ли его хватит?

Дед мой знал, что делал. Другого-то подходящего материала, кроме осины, не было. А сосновые брёвна цену имели кусачую. Осина оказалась и долговечной в срубе, и тёплой. И деду, и нам — всем нравился новый дом. За наличниками его окон, обращённых в Ильмень, в луговое раздолье, быстро обжились голуби.

Теперь весной мой дед ловил карасей прямо под окнами своего нового осинового дома, в огороде, в речке Утёвочке. Говорили, что он рыбу поймать мог и в колодце — такой умелец!

И то правда: в водополье, прорвав плотину Ветлянского водохранилища, вешняя вода с лугов и Ильменя шла нашими огородами. Карася было много... И в колодец рыбка попадала...

* * *

Уже более полусотни лет прошло с тех пор, а стоит ещё этот срубленный из чернолесья дом. Теперь невидимый с проулка, потеснённый новостроем. Ни вишен, ни яблонь, ни ранетки перед его окнами нет уже...Сейчас это никому не надо.

Новый хозяин, работающий где-то на северах, воздвиг рядом огромный серый кирпичный дом, закрыв прежний. И двор маленький, теперь стал совсем уж съёжившимся. Ворот для въезда телеги либо машины нет. Одна калитка. Новая, из профнастила. И такая узкая, что корове через неё не пройти...

...В прошлое лето я был в доме деда. И хорошо, что один... Я бы не смог говорить...

Что же это за время такое наступило? Или мой возраст такой?.. Потери идут за мной по пятам. А то и обгоняют...

Старая ранетка

Не знаю, каким образом попала к моему деду эта толстенная книга. Обнаружил я её в ларе с отрубями и пшеницей в приземистой мазанке.

Это был один из томов собрания сочинений Ивана Владимировича Мичурина. Книга называлась: «Избранные сочинения». Я недоумевал. Почему «сочинения»? В ней же учёный рассказывал о деле всей своей жизни, без вымысла, фантазии. Не сочинял, а излагал. Как было!

Книга поражала. В ней было столько всего о плодовых растениях, об огромном, фантастическом труде автора.

С первых же строк автобиографии дохнуло ароматом, прелестью изложения. Основательность, неторопливость, сдержанность и в то же время такая ёмкость каждого слова!

Я стал пленником этой книги. Совсем не художественной, но такой проникновенной. Читал этот толстенный том часто под старой ранеткой у деда в огороде.

Ранетка была здоровущая. На высоте около полутора метров ствол её делился на три чуть меньшей толщины. Было будто три больших дерева, сплошь усыпанных кисло-сладкими ядрёными ярко-красными плодами. В развилке была площадочка из досок. На ней можно было спать. А внизу стояла кровать. Я часто ночевал под скрипучей ранеткой.

...Каких только, оказалось, нет сортов яблонь! Антоновка шестисотграммовая, Антоновка шафранная, Китайка анисовая, Китайка золотая ранняя. Искал я в толстенной книге и ранетку, как наша! Но такой не было. Был, помню, Ранет бергамотный. Загорелся посадить такое дерево. Любопытно, что из этого получится?..

До сих пор помню прочитанное название сорта груши: Русская молдавка! Так хотелось увидеть такую!

Позже со страниц Аксаковских повестей «Записки об уженье рыбы», «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии» повеяло на меня такой же прелестью безыскусного изложения былого.

Помню, при чтении мне пришла совсем уж неожиданная мысль. Будь мой дед образован, он мог бы написать такие книги! Мне порой казалось: дед потому такой иногда грустный, что не может вслух сказать то, о чём думает, знает... Выразить не может. Не постиг грамоту... Не может подобрать слов. Эти книги Аксакова и Мичурина — художественные и научная, равновелико подействовали на меня.

Надо ли говорить, что когда мой отец, располовинив огород, затеял посадку сада, я не отходил от него. Был первым его помощником. Избрали мы для посадки в первую очередь Антоновку шестисотграммовую и две Китайки золотистых ранних. Посадили и Ранет бергамотный.

...Иногда как бы ненароком, по ходу разговора на лекциях, спрашиваю своих студентов, какая литература им интересна? Спросил недавно, читал ли кто Аксакова? Попросил поднять руки. Ни одной руки не всплеснулось. То же случилось, когда спросил о

книжках Гарина-Михайловского. Удивлённые глаза в ответ... Но пара рук поднялась.

Ну, да, понятно, студенты мои технари. Автоматика, телемеханика, химическая технология — вот сфера их будущей деятельности. Зачем им Аксаков?! Они дети середины 90-х годов, когда в школе, в семьях наших было так много того, что не позволяло уделять воспитанию и образованию достаточно внимания. Но всё же?! Всё же?..

Чуть было на лекции не спросил: не попадалась ли кому замечательная книга Ивана Владимировича Мичурина? Читал ли кто этого великого труженика? Но вовремя остановился: «Куда меня понесло?»

Недавно отыскал «Автобиографические сведения», написанные Иваном Владимировичем Мичуриным, так когда-то поразившие меня. Вновь прочитал признание человека, свершившего великое:

«...А между тем, как теперь вдумаешься, сколько потрачено мною сил, сколько положено тяжёлого ручного труда и перенесено различных лишений вследствие крайнего недостатка материальных средств к достижению намеченных целей...

Теперь даже самому не верится, как я, со своим слабым болезненным сложением, не приученный с детства к тяжёлому ручному труду, мог вынести всё это? Только всепоглощающая страсть, до полного самозабвения могла дать ту невероятную стойкость организма, при которой человек становится способным выполнить непосильный для него труд...»

Страсть...

Страсть, способная погубить человека и дающая невероятную стойкость, — она и наказание, и дар! Награда природы! Как, по каким меркам она выбирает человека?..

* * *

Непосильного труда в детстве было через край. Наша сельская жизнь держалась на повседневном невероятном физическом напряжении. Страсти в таком труде, дающей толчок к подобной жизни, как у Мичурина, не было. Была необходимость, изнуряющая и выматывающая силы.

В этом, может, и причина того, что наша жизнь на земле не расцвела садом. В который раз уж подумалось, что причина не в том ли, что предчувствовалась обречённость такого образа жизни моих соплеменников на земле. Причина в усталости и вслед за этим отчуждённости от земли...

...В ту осень я приехал в село и сразу направился в дом деда. Оба — и дед Иван, и бабка моя Груня — были в саду. Баба Груня собирала под навес картофельную подсыхшую ботву, а дед Иван сидел на земле около только что спиленной им старой ранетки.

Нехитрая работа утомила его. Лоб покрылся испариной.

— Сердце совсем не даёт работать. Сколько раз отдыхал, пока одолел, — будто извиняясь передо мной, произнёс он. — Все яблони давно повысохли. Одна ранетка держалась. И ей пришёл срок...

Снял фуражку и, поискав устало глазами место, положил её на низкий, мертвенно белеющий свежим спилом, пенёк ранетки. Той самой ранетки, с которой связано было так много в моём детстве. Я вздрогнул от этого его жеста. Столько увиделось безысходности в нём и... усталости от жизни.

Без ранетки осиротел не только огород деда. Осиротела вся наша улица, все ребятишки моего поколения, которые любили около неё крутиться.

— Дед, давай на следующий выходной привезу штуки три яблони. И посадим! А то ничего в саду не осталось. Эта ранетка...

Отрешённо глядя мимо меня, он отозвался спокойно:

— Зачем? Для кого? Нам с бабой Груней уж ни к чему теперь... Наши сады отцвели. А вы все вон где, в городах... Вам не до этого...

Вопрос китайского профессора

Сколько раз в моей жизни спрашивали меня, почему я стал химиком-технологом. В разные годы отвечал по-разному.

Теперь впервые задал сам себе вопрос: почему не стал садоводом? Сколько успел посадить деревьев, а мне всё мало... И не нахожу определённого ответа на этот вопрос.

Как не нашёл более-менее внятного объяснения, когда в Шанхайском университете, куда прибыла наша делегация российских писателей во главе с директором института мировой литературы, членом-корреспондентом РАН Феликсом Феодосьевичем Кузнецовым. На конференции, посвящённой состоянию российской литературы постперестроечного периода, Феликс Феодосьевич делал небольшой доклад. Это было в 2000 году.

Интерес китайских учёных к русской литературе огромен. Знание её нас тогда поразило. Студенты, аспиранты, профессора и до, и после конференции, живо, говоря замечательно на русском языке, атаковали нас вопросами.

Потом в неформальной обстановке студенты свободно читали стихи Есенина, Пушкина, Гумилёва, Заболоцкого... А когда начали вместе мы петь наши русские песни, оказалось, что китайцы знают их намного больше, чем мы.

Но вопрос! Его задал мне после моего выступления на конференции седой профессор.

— Скажите, — спросил он, — как могло получиться, что вы, проработав около тридцати лет на нефтехимических заводах, вредных и опасных для природы, стали писателем? Не комплекс ли это вины за содеянное?

Что я мог ответить внятного? Если до конца не осознаю, каким образом возникло в своё время это моё спонтанное желание стать химиком-технологом. Гипнотизировала грандиозность задач, масштабность зарождающейся отрасли промышленности...

И не успокаивает теперь то, что не только меня, всё человечество вывихнуло на этом резком повороте.

Какой огромный энтузиазм проявлен! Вместо того чтобы украшать Землю садами, мы начали бурить, ковырять её тело, всеми способами пробиваясь, как казалось тогда, к несметным запасам. А теперь, как стало очевидно, приближая экологическую катастрофу...

Мы тогда, в начале 60-х, и слов таких не знали. Не знали, что станем все заложниками своей такой бурной деятельности...

Почему всё-таки не стал садоводом? Я не чувствую в этом своей личной потери... И в то же время ловлю себя на том, что будто пытаюсь спрятаться от некоего пристального взгляда за чью-то широкую спину...

Не успел

...Встающий потихоньку на ноги мой племянник, который живёт в саманном нашем доме, задумал его снести и построить новый, из силикатных блоков. Попросил его предупредить меня о назначенном дне сноса, чтобы успеть приехать. Я участвовал в постройке отцовского дома, жил в нём до своего ухода в город. Хотелось принять участие и теперь в его судьбе.

Не получилось.

Позвонил одноклассник моего брата Анатолий:

— Александр, ты знаешь, что племян дом ваш рушит?

— Как? Когда?

— Прямо сейчас! Говорю: очумел, что ли? Без Сашки?! Бульдозер уже половину своротил. Не мог остановить...

Я бросился на стоянку за машиной, в чём был одет, не предупредив домашних.

Когда приехал, всё было кончено.

Груда толстенных обломков саманных стен вперемежку с ломким хворостом, который мы когда-то с отцом клали для связки, — это всё, что осталось от отцовского дома.

— А крыша, двери, окна? Где всё? — кажется, невпопад в замешательстве прокричал я появившемуся племяннику.

— Где? Заранее выбрали всё. На задах лежат.

— А почему так сразу? Мы же договорились, что предупредишь!..

— Как предупредишь?! — с досадой ответил племянник. — Договорился с Жолтиковым, а он то пьяный, то с похмелья! Устал бегать за ним. Вечером сам пришёл: «Давай завтра с утра, а то к сеструхе в Домашку на свадьбу уеду». В суматохе обо всём забыл. «На свадьбу уеду»! Это, считай, его неделю не будет.

Не в силах успокоиться, я заходил кругами по обезображенному двору.

...И тут увидел матицу, тускло мерцавшую вдоль забора в пыльной траве. Она была целёхонькой, простояла бы ещё столько! Оба конца её, которыми она лежала на саманных стенах, были крепкими, без гнили. Когда-то мы с отцом мастерили её из длинной прогонистой осины. Матица должна была лежать посередине потолка, служить опорой для досок с обеих сторон. Для этого отец топором вначале по всей длине её прорубил соответствующие уступы. Потом двуручным рубанком и большим долотом мы начали её обработку.

Подошёл ближе. Наклонился, чтобы потрогать покрытую серой краской, отслужившую своё труженицу и... увидел кованое кольцо, вбитое отцом для зыбки. В этой зыбке я качал когда-то обеих своих младших сестёр: Любу и Надю.

Невольно вырвалось:

— А зыбка где? На подволоке под крышей зыбка была, мои самодельные ещё лыжи, коньки старые «дутьши»? Там отцовы костыли были, его кожаный корсет?..

Не успев получить ответ, вновь спохватился:

— А большой зелёный чемодан? Я с ним уезжал в Самару учиться! Где он?

— Где-где! — произнёс племянник, не глядя в глаза. — Рухлядь же всё...

По-другому-то как?

...Враз обессилев от случившегося, я ушёл в соседский палисадник. Долго сидел там на ветхой полуистлевшей лавочке под пыльным карагачём. Закономерное вроде бы дело обернулось порухой. Когда поостыл, не спеша пошёл через двор, заваленный останками дома, к сестре. Глядя на бесформенные груды на пути, подумал странно спокойно, то ли от явной безысходности, то ли от закономерности вершившегося: «Вырос саманный наш дом из земли, в землю и ушёл...»

И когда я уже шёл задами, стало как-то неловко, что так горячился.

«...Они намеренно меня не предупредили. Понимают, что значит для меня мой дом. Пожалели...» — мерцало в сознании.

...Эти слова моей сестры: «Я сама-то ушла, спряталась... И тебе?.. К чему сердце-то рвать?..»

* * *

Потом оказалось, что в городе, торопясь, я не взял с собой сумочку с водительскими правами. Ехал нарушителем. При моей-то аккуратности со всем, что связано с автомобилем.

И запоздало сообразил, что расстояние в восемьдесят километров я проскочил минут за сорок. Это для меня необычно. И всё равно не успел. Не увидел в последний раз своего дома.

Не попрощался с ним.

Душа выгорает

...Мы поторопились к тому краю поляны, где должен был стоять развесистый дуб. Кто-то, очевидно, когда высаживали сосёнки, для пробы или по ошибке посадил около него пихту. Увидел дуб издали. Обгоревший наполовину, он выглядел инвалидом.

Я устремился к могучему дереву, почувствовав, как у меня оживились глаза.

...Вот он, бывший широколистный крепыш! Обугленный, но живой! Жестяной шелест идёт от той части листвы, которую опалил огонь...

Пихты не было. Пихта — дерево редкое и на особинку. Помнил её светло-серую гладкую кору. Пузырьки помнил на стволе её. С пахучей клейкой смолой. Торчащие вверх шишки её всегда хотелось потрогать.

Теперь от неё остался только пенёк, сантиметров около тридцати диаметром. Древесина пихты не пропитывается смолой, как ель, потому недолговечна. Пройдёт ещё пара лет, и пня не будет. Огляделся вокруг. А вдруг?

Знал, что пихта может размножаться отводками, как крыжовник, например. Стоит только нижним веткам прижаться к земле... Нет, отводков не было. Не успела, бедолага.

— Дед, ты что там шарить? — окликнул внук.

— Да вот, без очков не очень видно, — отозвался я, вставая с колен.

— Разве пихта здесь растёт? — удивился Саша, выслушав меня.

— Да вот, получается, ты прав. Не растёт...

* * *

Мы некоторое время двигались молча. Мне трудно в полной мере знать, что переживал мой внук.

Я продолжал быть в смятении. Размягчённый воспоминаниями, по дороге на Пески, при встрече с ними получил такой удар... И внезапный, и ошеломляющий... Как же так, что не смогли уберечь такое сокровище? Ещё года три назад я был здесь, в этом бору. Не о рыжиках речь. Тогда мы набрали их прилично. Дело... дело... сразу и не скажешь в чём. Оно в потере самих себя. Выгорает душа...

Чуда становится меньше. Нас становится меньше от таких потерь. Отлетает, уносится в никуда самая сокровенная часть нас, самая дорогая...

...И этот котлован, песчаный карьер, обезобразивший всё вокруг. Перекрывший дорогу к реке... Что это? Необходимость такая?.. Но почему именно здесь надо разворачивать добычу песка, уничтожая дорогу, остатки деревьев?.. Оголяя берег реки?..

Или уже кем-то решено: всё тут бросовое теперь. Не восстановить, не возродить... Чего уж церемониться.

Но если человек отступил, есть ещё сама природа?! Вспомнил про кулижки маленьких трепетных осинок на горельнике, про лилово-розовую пену цветущего иван-чая на чудовищном пожарище. Они первые поселяются в таких горелых местах. Хватит ли им сил?..

И на берёзу надежда ещё. Она в таких случаях помощница, кроме осины. Но берёз так мало вокруг...

С кувалдой

Совсем ещё недавно, лет пять назад, ректор нашего университета, подвигая меня к чтению лекций по экологии, убеждённо говорил:

— Мы кабинетные люди, а вы с производства. Притом с крестьянскими корнями. Практик! Вот побольше и давайте вместе с академическими знаниями практических примеров из жизни. Что они видели? Ребятам всего по двадцать лет! Делитесь опытом жизни — увидите, это ребята ценят. Вспомните себя студентом! Экологизация мышления, экологизация образования и воспитания нужна!. И экологизация технологий — вот что всех нас может спасти! Экология — синтез всех наук, взятый на вооружение во имя спасения человечества! Вот где выход! А мы всё шаманим, спекулируя вокруг да около... Не боремся за природу, а только делаем вид! «Будить в человеке человека», — когда ещё сказано!

Я решил не «шаманить»!

За лето просмотрев более полутора десятков учебников, пособий, статей в научных журналах и в периодике, подготовил положенные семнадцать необходимых лекций.

Даже написал одну сверх того под названием «Искусство — среда обитания». Дал душе отдохнуть на стихотворениях наших классиков, связанных так или иначе с природой.

Как я мог начать говорить в аудитории не с Фёдора Ивановича Тютчева?

*Не то, что мните вы, природа:
Не слепок, не бездушный лик —
В ней есть душа, в ней есть свобода,
В ней есть любовь, в ней есть язык...*

...И пока писал лекции, всплыл в памяти уже забытый давнишний-предавнишний страшный случай, свидетелем которого я оказался в детстве, лет пятьдесят пять назад.

Тогда, помню, пришло время Манаковым резать быка. Отец послал меня отнести им тяжеленную кувалду. Захар Манаков просил. Я поволок страшный груз, пребывая в смятении от его предназначения во дворе Манаковых.

Полуторник стоял на калде, спокойно глядя через ограждение из серых некрашенных штакетов.

...Приготовления были просты и мной едва уловимы. Наискосок по двору мелькнула жена Захара — молчаливая тётка Ганя, оставив около изгороди большое корыто, а чуть позже — таз с

тёплой водой. Неопределённо махнув рукой, удалился со двора хозяин. Захар не мог смотреть, как забивают любую животину, а тут — бык-полуторник.

Похрустывая свежим ноябрьским снежком, в подшитых резиной серых валенках, в жёлтой добротной фуфайке (у нас в селе таких ни у кого не было, видать, армейская), дядя Ваня Слепушкин короткими крепкими руками прикинул на вес кувалду и удовлетворённо мотнул головой. Вершил он всё немногословно и сосредоточенно. Катался, как приземистый бочонок по двору. Во дворе остались только дядя Ваня, пришедший с ним его порывистый сын Матвей да я — любопытствующий. Для меня такое событие было первым.

Матвей вынул большой крепкий нож и держал его в руках.

— Воткни тесак в соху, — кратко сказал Слепушкин-старший. Матвей по-своему быстро исполнил команду, вложив нож между двумя продольными рейками, скрепляющими штакетины.

...Быка вывели и привязали к сохе. Матвей встал рядом, приторно ласково поглаживая рогатую голову жертвы. Бык, настороженно пятясь, начал валить шаткий штакетник. Когда Слепушкин замахнулся кувалдой, я зажмурился...

— Нож, где нож? — услышал я голос Слепушкина.

Я раскрыл глаза и увидел, как он нашаривает провалившийся меж штакетин тесак...

И глаз быка увидел: залитый кровью с остановившимся взглядом...

...Заваливаясь на бок, животина несколько раз судорожно ударила копытом о мёрзлую землю. Потом утихла.

Остро запахло калом.

И тут случилось самое страшное. То ли дядька Иван намеревался отодвинуть тазик, то ли он поскользнулся, но, неосторожно приблизившись к возвышающейся, казалось, бездыханной туше, он попал под сильнейший удар, нанесённый последним судорожным движением задней левой ноги быка. Удар пришёлся в пах.

Слепушкин скончался, не приходя в сознание.

* * *

Так много прошло времени с той поры, а случай этот не забылся. И видится он мне теперь в несколько других красках, нежели в детстве. В более жёстких и трагических. Хотя вроде бы должен я огрубеть за долгую жизнь.

Теперь для меня тот бык из детства, хотя существо и мужского рода, — это истерзанная природа, потерявшая способность не только помогать нам, сглаживать беды, которые мы своими руками (и конечно, неразумностью) наносим себе, но утратившая под нашим натиском силы для собственного восстановления. Для залечивания тех ран, которые мы ей наносим. Оглушённая нами природа, породившая человека на свою, кажется, погибель — на грани выживания.

А Иван, вначале с кувалдой, а потом с жутким тесаком — это ставшие теперешними мы все: мужикастые, интеллигентствующие, высоколобые и не совсем. Витийствующие в политике, в искусстве, умные и не очень... Порядочные и те, которых сейчас ой как много, с совершенно пустыми глазами: лишь только хапануть и утащить в свою норку. Все мы!

И не тесак в руках у нас, а сотовые телефоны, компьютеры... атомные электростанции, нанотехнологии... Но чтобы человечество ни изобрело, ни придумало, — всё в конечном итоге используется потом как орудие войны между людьми, нациями и народами, а в результате — против природы. Таков опыт человечества. Но, увы, кто о нём всерьёз помнит?..

...Человек как раз и отличается от остального живого мира тем, что, развиваясь, создаёт вокруг себя культурную среду. Не будем путать цивилизацию с культурой. Но и... «культура, если она развивается стихийно, а не направляется сознательно... оставляет после себя пустыню». Эти слова принадлежат Карлу Марксу.

Но разве события на Чернобыльской АЭС в 1986 году, трагедия в Японии, после которых огромные территории становятся опасными для проживания человека, — не предупреждение? Неужели кто-то может утверждать, что это неповторимые события? Что больше такого не будет?

Те, кто апеллирует к высокому уровню технологий в этой области, увы, забывают о природе. А она, хоть и усталая, истерзанная, потерявшая былую силушку, былую устойчивость в ногах, скосив на нас налитый гневом и предсмертной тоской взгляд, — не шарахнет ли напоследок в пах или куда ещё? Как в случае с Иваном Слепушкиным. Мало не покажется...

...Мы так давно уже усердно бьём по природе кувалдой...

* * *

Неожиданно для себя начал занятие со студентами по курсу экологии не с академического изложения заготовленного, а вот

с этого случая из детства, со смерти Ивана Слепушкина. С возможной катастрофы для человечества, загнавшего природу в судорожные конвульсии. Видел, когда рассказывал, какие были внимательно-настороженные взгляды. Не всякая лекция так начинается...

Когда закончилась лекция, сидевшая на первом ряду девочка — совсем юное, прелестное создание, в элегантных джинсах и лёгкой розовой кофточке, по длине своей никак не рассчитанной на то, чтобы прикрыть с любопытством глазающий на окружающий мир, крошечный пупок на бледном животике, подошла к моему столу и произнесла бесцветным голосом:

— Вы научно-технический прогресс действительно считаете этой... ну, кувалдой? Или это так? Метафора?..

— И так, и эдак, — ответил я, кажется, не очень удачно, ожидая диалога.

— Да уж! — сказала она, отходя в сторону.

И больше ни слова.

И я не успел ничего сказать. Её легко подхватил и увлѣк за собой неудержимый поток...

Надо было всем перебираться в другую аудиторию.

Сам

Всплыл в памяти другой летний день из моего детства. Такой же, как сегодня, знойный. Не могу сказать точно, сколько было мне лет. Около четырёх, не более...

Над головой, в низком, ставшим тѣмным, устрашающе огромном широком небе — жуткие сполохи и гром, от которого никуда не спрячешься.

Гроза! Скорее всего, это слово я услышал впервые тогда.

Крепко сжав мою ладонь, мама нетерпеливо подѣргивает меня:

— Ну быстрее, быстрее!

Мы бежим, мне кажется, очень быстро. Но мама торопит:

— Не успеем! Беда! Не закрыла заслонку у печи. Ударит молния в трубу и — нет дома! Или шар этот залетит... Летось у Микляевых в том конце было так! Дотла всё сгорело. Ничего не уцелело. Маруся забыла трубу закрыть, ушла корову доить в стойло... Так полыхнуло...

Мама, кажется, так говорит, чтобы я не обижался на то, что она заставляет меня бежать, когда при моей болячке на ступне я еле до того ходил.

Она уже не говорит, причитает:

— Боже! Сгорит дом! Помоги и сохрани! Боже!..

Она крестится. Мы бежим уже по улице. Она непривычно пустынна. Бежим с Ильменя, близ которого мама ворошила скошенную траву в рядках, а я сидел около сухонького песчаного бугорка в окружении кремовых верхушек таволги. Наблюдал за красивыми солдатиками в песке.

...Я не успеваю за мамой. Ей бы одной побежать! Но меня одного оставить ей ещё страшнее.

— Вдруг тебя молонья-то одного!..

Маме надо и дом спасти, и меня уберечь!

Она хватает меня на руки. Тут же чувствую, как ей тяжело меня нести. Такого большого.

Я снова на земле.

— Ну, ну! Сам! Сам! Быстрее!

Вижу её карие, красивые, испуганные глаза совсем рядом. Лицом к лицу.

— Бежим, родненький!

Она плачет...

Бегу как могу, сняв сандайки. Стреляет мысль: «Почему именно в наш дом ударит? Вон сколько их разных! Целых два длинных порядка домов... И должна ли обязательно ударить молонья, если труба у печи не закрыта?..»

Но мама плачет...

И я, что есть сил, бегу, бегу!.. Сам!..

Я не видел, как сгорел дом у Микляевых. В то лето наш дом уцелел.

Как бежали мы тогда, как причитала мама, до сих пор остро помню. Как будто вчера это случилось...

Теперь, когда вспомнилась та летняя жуткая гроза, показалось мне, что это вовсе и не мы с мамой бежали...

...Всё человечество семимиллиардным скопом, не думая, не заботясь всерьёз о последствиях опрометчивых поступков своих, методично и самоуверенно вершит свою победу над природой. И совсем недалеко та грань, нарушив которую, мы ринемся закрывать ту самую заслонку, которая авось окажется спасительной...

Только вот успеем ли?..

* * *

...Подъезжая с внуком к Пескам, мы намеревались сходить к Самарке, посмотреть: какая она теперь тут! Каким стал Кунаев

ключ на том берегу? Но после увиденного на пепелище пробираться к реке через навороченные песчаные бугры, через глубокий песчаный карьер, охота пропала.

Не было уже на то сил.

Калачики

...В тот раз, когда мы с мамой в грозу бежали домой из Ильмена, пожара в селе не случилось.

...Пожар запылал через несколько дней на другой, Центральной улице, куда мы перебрались в саманную избу, чтобы быть ближе к деду с бабой Груней. Так легче было выжить.

Пожары тогда вспыхивали часто. В середине нашего села стояла около Приказного озера высокая деревянная пожарная каланча. Внизу её пожарная команда с конным выездом несла постоянно службу. Иногда нам позволяли подниматься на вышку. Но не всякому. Пожары тушили всем миром. Хозяин каждого двора знал, с каким необходимым предметом для тушения (топором, вилами, ведром) он должен был бежать на общую беду. Висели на домах специальные таблички с изображением таких необходимых предметов.

* * *

Дом Иноземцевых стоял на невезучем месте. Не в ряду домов. На отшибе. Перед самою гатью. На эту гать чего только ни выбрасывали.

Мы жили уже не так голодно, как совсем недавно. Отцу вместо второй группы инвалидности дали первую, связав её с участием в войне. Прибавили пенсию. Я это хорошо помню. Были уже теперь у нас не только мелкая картошка в мундире и затируха.

С Ванькой Иноземцевым мы учились вместе в четвёртом классе. У Иноземцевых часто нечего было есть. Шаром покати. Отец умер год назад, мать болела.

...Беда случилась под утро. Потушить в третий раз загоревшийся Ванькин дом не успели. Всё, что не саманное, сгорело. Ванька с матерью переселились жить на дальнюю улицу, рядом, как говорили, с полоумной Ньюрой-дурочкой.

Нюра-дурочка жила в мазанке на краю села. Когда мы, ребята, шли к реке, то всегда озирались. Торопились скорее проشمгнуть мимо её мазанки. Было страшновато. То ли дурочка, то ли колдунья, кто её знает...

— Там никак Ванька в золе ковыряется? — сказала мама.

— Да.

— Сходи, позови его поесть, голодный чать...

Когда мы вошли с другом в наш дом, Ванька деловито осмотрелся, будто был у нас впервые.

— Хорошая изба, — глядя под конёк на соломенную крышу, сказал он задумчиво. — Хоть и без потолка, зато просторная. Вот у тётки Поли Юрьевой — совсем маленькая. И пол земляной, глиной обмазанный. Позвала меня. «На, — говорит, — куртку Юркину, а то вырос и уехал. Тебе сгодится. Только смотри, чтоб мать не продала».

Он говорил и говорил, Ванька. Его что-то подталкивало к этому:

— Наша изба была тёплая, у неё и потолок, и пол были деревянные. А в сарае ласточки жили. Ласточата сгорели.

Мама стояла около затопленной голландки и задумчиво так смотрела на него.

— Мам, а мы будем есть? — спросил я.

— А что вам сделать? Калачики или рваньцы?

Меня удивил её вопрос. Вчера ещё у нас не было муки, а тут калачики! Всю последнюю неделю мы ели, и то не каждый день, картошку. Иногда с постным маслом...

Мама посмотрела на меня и улыбнулась.

— Калачики подольше делать, чем рваньцы. Но вы поможете?

Мы оба с готовностью подтвердили, что готовы помогать. Рваньцы мама готовила так: брала кусок теста, отрывала маленькие шматочки от него и бросала в кипяток. Затируху она делала, растирая тесто в мелкие-мелкие затирки. И тоже бросала в чугунок с кипятком.

Мама варила рваньцы, калачи, затируху, если не было никакой начинки: щавеля, лука, вороняжки, картошки...

Какой сейчас щавель или вороняжка, если на дворе ещё только начало мая? Если щавель и вылез, то Самарка так разлилась, что к лесу не подойти. Лес не давал сильно голодать, но не всегда.

Уйдёт вода, тогда и щавель, и дикий лук, дикая мука будут. А сейчас...

— Мы сговорились с Коньковыми и Петькой Сидоркиным идти в воскресенье за сусликами. Пир устроим в Ильмене на славу! — бодро объявил Ванька. — Шурк, пойдёшь?

— Пойду, — с готовностью заверил я.

Мама всё умела делать быстро! И ходить, и говорить, и работать. «Самолёт», — говорили про неё, улыбаясь. Она нарезала ку-

сочками тесто, и мы стали из них скатывать толщиной в мизинец жгутики. Соединил оба конца такого жгутика в единое — и готов калачик!. Конечно, калачики хорошо есть с молоком. Но у нас коровы нет теперь. Как её держать?

Отец снова, как мама говорит, «угодил» в военный госпиталь.

— Шурк, а помнишь, сколько мы прошлым летом щавеля у Лопушного озера напудили? Скорей бы вода ушла, тогда красотень, — мечтал вслух Ванька.

— Натё-ка вам! Осторожно, горяченькие! Подуйте!

Мама вылавливает нам большой деревянной ложкой из чугунка в наши миски калачики. Каждому по пять штук! Ванька сильно и деловито дует. Он вообще всё сейчас делает деловито и собранно. Независимый такой.

«Погорельцы, погорельцы, — сказал он на днях. — Все нас жалеют вокруг, а сами же кто-то подожгли. То ли золу с непотухшими углями не донесли до гати, то ли папироску кто бросил. Если бы я знал, кто это сделал!..»

— Больно ты боевой, — говорит мама. — Не надо так на всех, это нехорошо. Кто-то один виноват.

Ванька будто не слышит её слов.

— Мы с мамкой в Ташкент уезжаем. Что тут делать? А там у неё тётка!

Не успел я удивиться такой новости, как Ванька произнёс:

— Вот наемся там селёдки. До отвала!

— А разве есть там, в Ташкенте, селёдка? — сомневаюсь я.

— Ещё какая! Её там ешь — не хочу! Море!

— Какое же море в Ташкенте? — покачивая головой, с грустной улыбкой говорит мама.

— Не море там, а море селёдки! — уверенно поясняет Ванька.

Мама больше не возражает. А я верю своему другу. Безоговорочно. Ванька у нас в классе «книгочей первостатейный», — так про него говорит наша учительница Любовь Николаевна. Все знают, что он её любимчик. Мы уже к этому привыкли. Когда на чистописании учительница сердится, она начинает хватать тетрадки и бросать их с криком себе на стол или ещё куда. У Ваньки она ни разу тетрадь не «схватила». Ни разу на него не закричала. Видно же, что он коряво пишет. Зато всегда больше всех обо всём знает. Не говоря уж об уроках. В классе мы зовем его «голова».

Спрашиваю его не оттого, что сомневаюсь, а чтобы уточнить:

— Вань, а откуда в Ташкенте завалились селёдки, если там моря нет?

Ответ Ваньки меня сразил своей определённой:

— Есть такая книжка «Ташкент — город хлебный». Ты, конечно, не читал. Ты сказки любишь. Мишка Додонов ездил туда за хлебом. Хлеб точно есть, а вот ласточки водятся или нет — не знаю. Посмотрим!

— Вань, а селёдка? — говорю я.

— Где есть хлеб, там есть всё! Понял?!

Я понял, как вяло по сравнению с Ванькой мыслям и больше спрашивать не стал.

Он не только в нашем классе, он и сейчас, в нашем доме, был самый главный. Он знал больше нас с мамой.

— Вань, напиши мне потом, когда приедешь в Ташкент. Ну не сразу пусть, когда сможешь. Как там, в Ташкенте? Интересно, они все в тубетейках ходят...

— Конечно, напишу, — живо заверяет Ванька. — И селёдки пришлю в посылке. Она хоть за три тыщи километров дойдёт. Не испортится! Солёная же!

Я смотрю на Ваньку и радуюсь, что у меня есть такой друг.

— Не только мне, и вам надо попробовать ташкентской селёдки, — убеждает Ванька. И продолжает: — Селёдка — это что?! У меня есть мечта! Пока не скажу, какая! В Утёвке про неё смешно говорить. А вот там, в Ташкенте...

* * *

Ни письма, ни посылки с селёдкой от Ваньки Иноземцева из Ташкента не пришло.

Поначалу в детские годы я всё думал: что-нибудь да будет! Нельзя же так, как в воду... На следующее лето ласточки поселились в нашей сельнице. Мне так тогда хотелось, чтобы об этом узнал Ванька. Но написать было некуда.

...И стал я верить, наивный, взял в голову, что объявится Иноземцев. Прогремит Ванька на всю страну как учёный! Не зря же все отмечали, что он «голова»... Да и он говорил про какую-то свою мечту...

...Так никто и не осмелился после пожара построить дом недалеко от гати. Место, где стояла когда-то саманная изба Ваньки, заросло высоченной полынью. И мало кто теперь у нас в селе помнит эту необычную фамилию — Иноземцевы.

Мандариновый фейерверк

В тот день после уроков мы с Дудариним Вовкой у нас в отцовской мастерской ладили самострел. А потом мой одноклассник звал меня к себе домой ночевать:

— Давай, приходи! Папаня опять уехал. Мы с мамкой одни.

Отец Вовки работал в нефтеразведке шофёром и часто уезжал далеко и надолго.

Весь зимний вечер мы резались с другом то в шашки, то в «балду». Он часто шельмовал, но тут же убедительно каялся и зазпительно смеялся.

Спать легли поздно. Выпал первый обильный снег. Без вьюги и ветра. Стало так светло за окном! И необъяснимо радостно на душе. Среди ночи вернулся из командировки Вовкин отец. Как-то так получилось, что, когда я проснулся, все, включая Вовку, сидели за столом посередине комнаты, метрах в двух от меня. И что-то аппетитно ели.

Незнакомый тонкий, необычный запах заполнил всю небольшую переднюю. Сказочный аромат далёкой стороны, откуда вернулся дядя Коля, будоражил. Мне стало не по себе. Остро кольнула мысль: «...Вовка сидит за столом, а меня не разбудили?.. Выходит, что я лишний тут оказался... Не к месту?..»

Я потихоньку потянул одеяло, чтобы прикрыть нос. И чуть повернулся лицом к окну, к успокоительному нетронутому никем ещё снегу.

— Шурку бы разбудить надо. Пусть попробует мандарины, — сказал дядька Коля. Но как-то неуверенно, будто в гостях был.

«Мандарины! Это мандарины такие! Они так пахнут!..» — пронеслось в моей голове.

Мандарины я никогда ещё в своей жизни не видел. Баба Груня иногда из Самары, когда ездила на Троицкий рынок продавать яички или семечки, привозила яблоки. Но так, несколько штук на всех. Свои яблоки в селе появились много позже.

— Не трогайте его. Пускай спит, — прозвучал в следующий момент скрипучий голос тёти Веры, матери Вовки.

«Они же поняли, что я не сплю, все поняли?! Специально так сказали?.. Чтобы я не вставал или как бы заставляют себя поверить, что я сплю? Не приглашают?.. Украдкой... Какой украдкой? У себя дома. Своё!.. Как же мне завтра быть? Как говорить с ними? Лучше меня бы не было здесь!.. Зачем пошевелился только...»

Я уже не мог заснуть. Ночь превратилась в пытку, надо было теперь казаться спящим.

Моя баба Груня часто ходила к столовой, которая около клуба, и приводила часто оттуда в дом кого-нибудь покормить. Покормит, перекрестит... и отпустит. Я привык к тому, что у нас всегда и работали, и ели артельно. Дружно. Зимой придёт кто христарадничать в одной какой лёгкой куртёнке на голое тело, бабушка хоть две картошки, луковицу какую, а даст на дорогу.

Теперь уж не христарадничают, не ходят по дворам.

Мама рассказывала, что и бабка моя Груня, когда была маленькая и осталась без отца, ходила попрошайничать в соседние сёла. В своём стеснялась. Но голод не тётка, а родная мать...

Лезли мне в голову всякие несуразные мысли в ту ночь.

«Тебя не угостили. Но ведь ты не голодный. И не голодный год... Тогда давали просящим сырую картошку, корку хлеба, а тут мандарины...»

И всё же было любопытно, какие они — эти фрукты?..

Я приподнял край одеяла и, скосив глаза, увидел то, что они ели.

Незнакомые фрукты были с виду похожи на наши помидоры. Только чуть приплюснутые, рыжие и мельче. Лежавшие горкой кожурки напоминали скорлупу сваренных в воде с луковичной шелухой пасхальных яиц. Поверхность у кожурок была не такая гладкая...

— Живут же люди! У них такая еда! Мандарины, хурьма! Как в сказке! — проговорила тётка Вера.

— Зато снега у них нету, как у нас! Скучно! — отозвался Вовкин отец.

— Ага, — тут же ввернула тётка Вера, — тока снегом сыт не будешь.

И она громко засмеялась, довольная тем, как сказала. Никто за столом не засмеялся вместе с ней. Мне так захотелось после её смеха на волю, на улицу. Где свежо, чисто! Где знакомые все запахи!

Захотелось в дом деда! В нём, когда смеялась моя бабка, тут же смеялись все присутствующие...

Захотелось туда, где во дворе, под навесом, стоял и спал теперь мой добрый друг — мерин Карий.

Глядя за окно на широкий заснеженный двор, наполовину закрытый тёмной машинной громадиной грузовика, я думал о том, как хорошо, что дедушка мой заставил три дня назад нас с дядькой Алексеем накатать дробы.

Мы возились с этим делом два вечера. Дядька Лёня резал свинец, протягивал с помощью плоскогубцев нарезанные полоски свинца через калибровочные отверстия в металлической пластине — получалась ровная свинцовая проволока.

Большими ножницами мы резали её на ровные кусочки. А уже после этого я засыпал их на шутовину, похожую на большую скорородку. И начинал катать дробь, водрузив на свинцовые нарезки тяжёлый круглый металлический груз с рукояткой.

Наверное, это приспособление для изготовления дроби как-то называлось, но я уже не помню теперь.

Потом дядька достал с подволоки* голенище от старого дедова большого серого валенка и я, подложив крепенькую и толстенькую дощечку, начал рубить на пороге войлочные пыжи. А дядька, ловко орудуя новеньким барклаем, стал вставлять в жёлтые латунные гильзы капсули.

Мы набили патронами почти целый патронташ.

* * *

...Я всё-таки тогда уснул в избе моего приятеля. Под утро мне приснился странный и сумбурный сон. Будто наше село почему-то стало большой крепостью. И весь люд в крепости празднует какое-то радостное событие! Мы с Вовкой, взобравшись на крепостную стену, вовсю палим, салютя, из огромной чугунной пушки рыжими мандаринами. Они лопаются в воздухе, и корки, разлетаясь в воздухе с мелкими сочными брызгами, образуют завораживающий фейерверк. Как в кино! Народ ликует. Ребяшня, задрав головы, ловит падающие с неба мандариновые дольки кто шапками, кто чем... Красотень! Всем хватает!

Даже степенно-задумчивые, прилетевшие с первой порохей снегири, стали необычно резвы и азартны.

Покинув у Чураева дома рябину с алеющим под ней снегом, ловят они мандариновые дольки в воздухе на лету, как щурки золотистых шмелей. Расклёвывают их, выбирая по своему обычаю только семена, а рыжую мякоть оставляют мышам и разной мелкой живности...

...Вовкин отец не успевает на своём грузовике подвозить мандарины: пальба идёт со всех бойниц крепости. А тут под самые её стены подъехал по синеватому снегу на розвальнях мой дед Иван.

Из сплетённой мной летом большой кошёлки, установленной в саях (такие три кошёлки изготовлены были мной и переданы в

* Подловка — здесь: чердак.

колхоз на скотный двор — это был мой заработок), моя бабка Груня начала раздавать ребятишкам мандарины.

Не забыла она и Карего. Мерин своими жёлтыми большими зубами цеплял с её ладоней диковинные фрукты и с удовольствием жевал их. А бабушка Груня смеялась. Как маленькая девочка...

То ли от незнакомого аромата, то ли в насмешку над тёткой Верой, которая в загвазданной тёмной фуфайке подбирала стреляные мандарины, мерин задорно ржал! А когда он хитро смотрел на меня своим огромным здоровым тёмным глазом, мне становилось ещё веселее. И я махал ему шапкой!..

Запах мандаринов на морозе из моего сна я до сих пор помню...

* * *

...После того случая я никогда больше к Дудариным в дом не ходил. Вдруг опять дядька Коля мандарины привезёт! Или ещё что-нибудь... Хурьму, например, эту...

Теперь, во взрослой своей жизни, не могу начать есть, не пригласив того, кто рядом, в компанию. Не могу, и все дела...

Пережарило

Легче стало на душе, когда выехали с внуком после Песков на поляну с лесными травами и редкими, раскидистыми кустами краснотала. Трава — желтоватая от знойного солнца. В воздухе стоит марево, но под колёсами уже не зола и пепел, а высохшая раскалённая твердь дороги. И то хорошо. Слои воздуха, нагретые горячей землёй, струятся, делают контуры деревьев, развесистых кустов зыбкими и непривычными.

Нестерпимо марит. Что же это за лето в этом году?! Беспощадное! Становится жутковато. Кажется, хватит одной искры, чьего-то горячего вдобавок дыхания, и всё вокруг воспламенится. Лесной безудержный пал займётся окрест моментально. Порой боязно столкнуться велосипедами. Встали неминуемо в один ряд в расплавленном сознании: железо, искра, пожар...

На солнце наверняка температура воздуха выше сорока градусов.

К реке, к воде!

* * *

...Иногда нам разрешали с отцом косить здесь, между кустами краснотала вперемежку с земляникой, лесное разнотравье.

Я несколько раз бывал с дедом на правой стороне Самарки. Обычно в борах, на полянках непременно призывно манили к себе земляничные кулижки. Они были залиты солнцем, светом, оттого и радовали своими ягодными высыпками. Сосновый лес там часто застарелый, с большими и малыми прогалинами, будто специально оставленными для желанной ягоды.

В нашем молодом бору земляники не было. Ей негде было расти в нём. Стройные молодые сосны росли споро, наперегонки. Тянулись одна перед другой, закрывая небо своими макушками, оттого внизу среди медных стволов мало что росло.

Земляника у нас водилась, на полянках меж краснотала. И какая радость — это наша русская ягода! В сенокосную-то пору!.. Да не всякая радость живёт сама по себе, отдельно...

Нестерпимая жажда, запах пота, надоедливые слепни и мухи, и непосильный детский труд — вот чем был для меня сенокос, когда подрос и стал на равных трудиться со взрослыми.

Сенокос!.. Страдная пора... Праздничная работа! «Раззудись, плечо, размахнись, рука!» Да, всё так! Поэтично...

А для меня сенокос ещё и — надсадный труд. Вперемежку с радостями и удачами, которые неминуемо сопровождают любую работу. Работал-то на сенокосе в окружении либо очень пожилых, либо инвалидов войны...

Всё было: и свежая прохлада утреннего летнего луга, и жаворонки в небе. И перепела в скошенной траве, и усталость, одеревенелая натруженность рук. И общее отупение к вечеру от нескончаемости предстоящей работы на завтра...

Здесь, на поляне с красноталом, напротив Песков произошло со мной лет в десять непонятное.

Явление, мираж ли... Не знаю, как назвать.

Случилось нечто похожее на то, что я почувствовал, когда, оказавшись уже в качестве преподавателя со студентами в той же классной комнате, аудитории, в которой около полувека назад сам сдавал зачѐт. Мгновенно явились в памяти лица, жесты, фразы моих однокашников. Как ясные, чѐткие кадры моего реального прошлого...

...В тот день мой дед Иван решил ехать на Самарку в район Песков набирать речные ракушки для корма свиньи, а заодно порыбачить бреднем. С бабой Груней они уехали в телеге, запряжённой Карим, а мы с дядькой Серёжей погнали туда на велосипедах.

Когда мы подъехали, дед Иван уже распряг Карега. Взяв путы, он повёл его в тень большого куста краснотала. Бабушка копошилась на телеге, извлекая мешки, посуду для ракушек.

К ней подошёл её сын Сергей. Достав из телеги бредень с привязанными ещё дома клячами, направился к реке. Резко тряхнув головой и загремев уздечкой, заржал Карий, и тут случилось со мной необъяснимое...

Я, никогда ещё не бывавший ранее здесь, на этой поляне с красноталом, ни разу не ездивший сюда за речными ракушками, вдруг почувствовал: всё, что вершится на поляне, что вижу сейчас и чувствую... уже было со мной. Всё уже было в какой-то моей очень далёкой, но реальной жизни... Только теперь повторялось заново. Дед, ведущий Карего наискосок по поляне, бабушка в белом платке, знакомо, до мельчайших подробностей повторившая все свои прежние движения у телеги, — всё было уже... Дядька Сергея с бреднем на плече — всё были со мной или я был с ними вместе здесь в каком-то далёком-далёком времени, где я жил, кажется, когда-то. Не зная, что это повторится когда-нибудь со мной ещё. Сколько же лет прошло? Сколько тогда мне лет сейчас?..

Чувствовал, что завис где-то, над чем-то огромным, необъяснимым... Был и там, и тут: в настоящем. Но и то, которое было до того, оно тоже настоящее, оно словно где хранилось, забылось, могло тысячу лет не обнаружиться... А вот проявилось... И как две капли воды похоже на теперешнее.

Это одно и то же, только случайно будто кем-то повторённое... Я заранее знал в тот момент, кто какое движение сделает на этой странной поляне...

— Шура, ты что бледный такой сегодня? Рахманный. Ещё с утра заметила. Иди помогай!..

Я неуверенно подошёл к телеге.

— Пережарило, что ли, на солнце? Зря в такую жару надумали ехать! Марш быстрее в речку. Самарка всё с тебя смоем.

...Стоя по пояс в воде, смотрел, как дядька разматывает бредень. И не мог сказать ни слова. Во мне было как бы две жизни, накладывающихся одна на другую. И они делали меня невесомым, я был между ними... Как и река, видевшая-перевидевшая в своей невообразимо долгой жизни столько всего... столько лиц и событий. Я куда-то уплывал. Мне стало не по себе. Непривычно было чувствовать себя бесплотным. Случившееся выбивало меня из настоящего. Но река была светла, струи её мягкие и спокойные... И я успокоился, как бы вновь вынырнув из невесомости, обрёл опору.

И дала эту опору мне река! Права моя бабушка: река смыла с меня наваждение...

После того случая я впервые задумался, что такое земля, время, река... Ведь они свидетели рождения человека! Что они значат для человека? Кто мог мне тогда ответить на такое? Я и не задавал вопросов.

И сейчас, когда вспоминаю тот случай на Песках, у реки, чувствую себя... дикарём. Тоже мне, профессор!..

Только раз потом ещё случилось со мной подобное. Уже во взрослой жизни. И совсем в другой обстановке. Когда наконец-то многое узнал о своём отце-поляке, отыскал его могилу на Брудновском кладбище в Варшаве...

* * *

Тогда, в ту ошеломившую меня поездку, когда столько сразу узнал о своём отце Станиславе, мы втроём — я, жена Лариса и внук Саша — успели побродить по улочкам и паркам Варшавы.

Можно долго перечислять замечательные уголки Варшавы. Несмотря на хаотичность районов, что объясняется такой непростой судьбой этого старинного города, который подвергался почти в каждом столетии разрушению, есть в нём замечательные исторические центры. Это и Старый город, и Королевский тракт, который начинается ренессансным замком, а заканчивается классицистическим Бельведером. Как не упомянуть о монументальном Большом театре — шедевре неоклассицизма, о площади Старый рынок, о прилегающих к ней улочках. Хотелось больше увидеть, больше узнать!

...Когда же мы оказались на Свентоянской улице у стен Королевского замка, в моём сознании вновь, как в утёвском детстве на поляне с красноталом, произошло странное. Нет, я не видел себя и кого-то ещё у стен этого странно знакомого замка, не угадывал движений и взглядов, которые вот-вот свершатся. Я поражён был тем, что... это уже всё видел когда-то. Много раз был здесь, ходил по этой улице. Ничего неожиданного вокруг будто не было теперь. Был в отлучке и... вот вернулся. Я, кажется, в те минуты верил, что вот-вот что-то приоткроется... сдвинется как в детстве на красноталовой поляне. Кадры, накладываясь друг на друга, замелькают — каждый из разного времени... и я увижу моего молодого отца-поляка, свою сестру-польку около этого трёхэтажного, совсем не величественного, но такого притягательного и знакомого мне сооружения...

Меня, кажется, как сказала тогда на поляне моя бабушка Груня, опять «пережарило». Так долго думал о своём отце-поляке, так

неотступно искал его всю свою взрослую жизнь!.. Вот и сказалось. Не было рядом бабушки, не было светлой моей реки детства... Были незнакомые рядом люди, непривычный язык и расслабляющая, обволакивающая сознание истома... Некое погружение в прошлое... Тягучее и неподдающееся до конца осмыслению...

На лесной делянке

За Кунаевым ключом часто «давали» утёвским инвалидам войны делянки для заготовки дров. Петяниха на пару со своим безногим мужем Петром Макарычем работала как могла. А мы с мамой вдвоём вместо отца. Я как довесок был.

Когда в бригаде был дядя Ваня Тюм-ля-ля, легче работалось. Работать он умел, но и поговорить — Москва.

В то лето мы артельно зарабатывали тут грыжу. Небольшой перерыв на отдых. Кто куда. Бабы налево в кусточки, мужики — направо. Некоторые остались. Кто повалился на травку, кто приутился на брёвнах. Тюм-ля-ля в центре внимания.

— Не знай как, а с городскими мы коммунизм не построим, — рассуждал он, сидя на кряжистом, поваленном только что осоко-ре. — Их жа почти половина страны у нас, а они не вперёд тянут!..

— Это эткель жа у тебя такая теория родилась? — интересовался дотошный дед Проняй.

— Откель? — удивлённо переспрашивал дядя Ваня, и сам же основательно так, не сразу, с расстановкой продолжал: — У тебя сын шишкой на авиационном заводе, говорят, стал?

— Главным анжинером, — уточнял Проняй.

— Ездишь к нему?

— Бывает, — отвечал тот.

— И я прошлый разок к своему ездил. Он хоть в техникуме учится, но тожа по самолётам. Захотел я посмотреть, что это за техникум его. Ну и поехал с ним в транвае утречком, как ему на занятия эти. А тут в вагон цельная толпа ввалилась весёлых ребят, с ним которые учатся. Смеются, шум от них. Понятное дело, молодёжь. Девчонки промеж них... А места все в транвае заняты. Сидят взрослые, все серьёзные такие. Транвай едет, как положено, ему что? Шум от ребят. Которые сидят, стали на ребят оборачиваться, глядеть. Лица серые такие у всех. И тут одна женщина говорит. За всех сказала, обращаясь к ребятам:

— Ну что вы, на самом деле? Люди на работу едут, а вы смеётесь...

Наступила тишина. Все переваривали, как могли, сказанное Тюм-ля-ля.

Проняй молчал, морща лоб.

Не выдержала первой такого напряжения Дуся Мерлушкина.

— И де ж тут разница меж городскими и деревенскими? — спросила она, свешивая крепкие свои загорелые ноги по разные стороны только что поваленного толстеного осокоря. И стала пожожа на всадницу.

— Где ж? — удивился почти натурально Тюм-ля-ля.

И ответил, глядя на Дусю, как на малолетнюю:

— А разница в том, что в городе трамваи есть, а у нас тут нету их!

— Ну и что? — поглаживая ладошкой тело огромной лесины под собой, словно спину лошади, продолжала недоумевать Дуся. — Зато и там, и тут, везде, больна много начальников на работе. Вот и скучные потому.

— Избалован народ на трамваях-то... И скушный. Построй с такими, — тянул своё Иван.

Видно было, что продолжение разговора Тюм-ля-ля ждёт от Проняи. У него заготовлены ловушки для разговора с более серьёзным оппонентом. Что ему Мерлушкина? Не тот калибр. Но дед Проняй был не промах в таких делах. Знал себе цену. Потому помалкивал. Охота, что ли, у всех на глазах выцарапываться из ловчей ямы, куда Тюм-ля-ля мог заловить любого в своём каляканье. Голого разденет...

Проняй сказал не совсем понятное:

— Любишь жизнь, не насильничай её своими вопросами...

И умолк.

— Ловок ты, Ваня, языком молоть. Не устаю удивляца! В работе б так, — задиристо произнесла Нюра Мижавова.

— А я и в работе... что? Рази нет? — безобидно отозвался Тюм-ля-ля.

— Ага, мы вон с Шуркой за комель бревнину тянем, а ты рядом: «Ты подымай, а я буду пыхтеть» — такой у тебя закон, что ли?.. С тобой в коммунизм?..

Тюм-ля-ля не успел ответить.

— Скорей бышь этот коммунизм настал. Антиресно дожить, — мечтательно произнесла Мерлушкина.

Все в задумчивости молчали.

А Нюра Мижавова сказала Мерлушкиной звучно так и ядрёно, не обращая внимания на остальных:

— Слезь с холодного бревна-то, девка! Застудишь — ни до какого коммунизма не доживёшь! А тебе рожать ещё надо...

Русак в краснотале

Вспомнился мне зимний краснотал.

В тот день мы с дядькой Сергеем поставили силки и добыли первого в моей жизни зайца. Был и такой в моей жизни грех.

Накануне на погребнице, где у деда была небольшая мастерская, мы отыскивали сталистую тонкую проволоку, отожгли её, сунув вечером в голландку на жаркие угли. Утром, изготовив из неё, ставшей мягкой и податливой, три силка, отправились на лыжах в лес.

Мороз крепко щипал щёки. Спасали нас плотные фуфайки и варежки, в которые мы насовали верблюжью шерсть. Шерсть сбиалась в комки, но всё равно с ней было теплее.

Как тяжёл и неподвижен на морозе воздух! Холод сжимает лицо, дыхание. Солнце впереди, чуть справа, в поднимающейся от земли дымке только едва угадывается. Давящая сила холода держит в напряжении, не позволяет расслабляться. Заставляет усиленно работать лыжными палками.

Мороз можно любить, когда ты рядом с жилищем, когда до тепла, до печурки с огнём — рукой подать. С морозца — да к огоньку! Здесь же, за селом, да ещё на пустыре, мороз приходится терпеть.

Когда, обернувшись, смотришь назад, на село, видишь, с каким трудом дым над крышами побелевших от инея домов поднимается вверх. Как тяжело летят, невесть откуда взявшиеся сейчас здесь, вороны над головой...

...И вот мы прокладываем лыжню уже через седой от мороза ветьльник к поляне с красноталом.

На ходу дядька поясняет:

— Тут в ветьльнике деревья старые, а там — мягкий краснотал. Зайцы кормятся его корой.

— Мы их увидим? — допытываюсь я.

— Не знаю, — отвечает дядька, — зайцы выходят на кормёжку ночью. День проводят, затаясь в лёжке. Ближе к себе не подпускают. Лёжки делают на просторе. Если кто приближается, дают стрекоча. В очень сильный мороз, бывает, в снежные норы прячутся.

— А что ещё они едят?

— Грызут всякую кору, мало ли чего ещё...

Задаю и главный вопрос:

— Если их днём трудно обнаружить, где же мы будем ставить силки?

— От своих лежанок до места кормёжки они ночью протаптывают тропы. Там мы и поставим силки, — поясняет основательный мой дядька.

...Мы уже миновали ветельник и вышли на поляну. К разросшимся редким кулигам краснотала.

«Где-то здесь прячутся и волки, — возникает у меня мысль, — не одни же зайцы... Может, они за нами наблюдают, а мы их не видим?»

Невольно останавливаюсь и смотрю вокруг. Дух захватывает от простора.

— Волков боишься? — усмехается дядька Сергей.

— А почему мы не взяли ружьё? — откликаюсь я. — Дядя Лёня говорит, что волки начали пошалить. Подходят к селу, где ферма со скотиной.

— Ружьёцо можно было бы взять, да нехота таскать его, — как-то, на мой взгляд, легкомысленно отзывается дядька.

— Два дня назад, — продолжаю, как могу бодрым голосом, опасаясь, что дядька подумает, будто и впрямь трушу, — когда приходил Коля Большак, они с дядей Лёней катали картечь и договорились пойти ночью на ферму. Приготовили, видел, ещё бутылку с керосином и котях* на всякий случай...

— Ну попугать попугают! А подстрелить? Вряд ли! — уверенно говорит мой попутчик. — Волки на выстрел не подпустят. И сами первыми на человека не нападают.

Последние слова он, так мне показалось, сказал специально. Чтобы я больно не оглядывался. Верю дядьке Сергею, но... всё равно посматриваю по сторонам, мало ли чего?! И сильнее сжимаю лыжные палки с острыми металлическими наконечниками — единственное возможное оружие, если вдруг... Ходили же на зверя древние люди с копьями...

...Мы быстро нашли удивившую меня крепко утоптанную заячью тропу. Она вела к тальнику.

Не торопясь, примериваясь, поставили мы силки, закрепив концы проволоки за нависшие ветки. Опустили петли чуть ли не до самого снега. Силки расставили на тропе метрах в пятнадцати друг от друга.

— Такой тройной заслон, — довольно говорил дядька, — куда им деться?!

* Котях (утёвское) — здесь: кизяк, формованный из навоза кирпич для топки.

На другой день, помню, это было воскресенье, по остро пахнувшей конским свежим помётом дороге, вдоль домов с алыми пятнами снегирей на снегу под рябиной у дома Чураевых, мы направились проверять нашу снасть.

Первый силок оказался оборванным. Видно, мы от усердия проволоку в жарких углях пережгли. Второй — сбит с тропы. Петля болталась сбоку от неё. Зато с третьим силком нам повезло. Поперёк тропы, затянув туго петлю на шее, лежал здоровенный русак.

— Отбегался, голубчик! — деловито вынимая из петли добычу, улыбался дядька.

Я попробовал поднять тушку. Заяц был замёрзший и тяжёлый.

— Килограмма на четыре! — определил дядька Сергей. — Нам повезло.

Мы переставили два силка на другое место, чуть ближе к реке. Дядька Сергей привязал к передним и задним ногам зайца обрывок верёвочных вожжей, приладил добычу за спину. И мы тронулись по искрящейся на солнце снежной равнине в обратный путь.

Мороз чуть отпустил. Солнце стало угадываться чётче. Оно словно ожило к полудню. Снег в лыжне отдаёт голубым. Скрипучий и жёсткий. Он напоминает о себе ежеминутно, не даёт твоему сознанию отвлечься от холодного снегового раздолья. Ты — пленник этой снежной, холодной, таинственной, затаившейся стихии... Пленник, скользящий по грани, разделяющей живое от неживого...

...До сих пор я особо чётко помню этот момент. Едва мы вошли в село и свернули на улицу, где жили мой друг Витька, наша учительница по географии и красивая одноклассница Верочка Рогожинская, недавно приехавшая из города, дядька Сергей снял со своей спины русака и скомандовал:

— Давай грузись, ты!

— Зачем? — не понял я.

— Как зачем?! — переспросил озорно дядька. И сам же ответил, улыбаясь:

— Тебе надо! Пройдись вдоль порядка! И не как-нибудь!.. А с форсом!

И я зашагал как было велено!

Правда, до этого с трудом водрузив нашу добычу за спину. Застенелая тушка била по спине, ремень давил на плечо, но...

— Своя ноша не тянет, — сверкая глазами, подбадривал на ходу дядька.

В самом начале Саратовской улицы нас тормознула Витькина бабушка — старая Петяниха. Она шагала в белых большущих валенках, явно с чужой ноги, так решительно, что мятая чёрная сумка моталась в её руке из стороны в сторону. Поправляя тёмный полушалок, остановилась, глядя в упор на нас. Неожиданно приветливым голосом, чуть нараспев заговорила:

— А я восейка* вот так же иду в магазин, а Ванька Тюм-ля-ля нёсет откель-то зайца. В мешке. Я ему: ты где же это его? А он: «В школьном саду. Директор Салихов попросил поймать. Я и поймал. А то, поясняет, яблони начал грызть. Ты, говорит, сделай так, чтоб ребятишки не видели нельзя, эта, трамвировать ребятёнков. Сделал как велено».

Махнув рукой вместе с пустой сумкой, спросила:

— А вы где такого? У Ваньки поменьше был...

— Он его показывал, зайца-то? — уточняет для чего-то дядька Сергей.

— Нет, не показывал, — отвечает Петяниха, — стреканёт, говорит, если мешок развязать! Попробуй догони!

После этих её слов на моего дядьку напала весёлость. Белозубо ощерив рот, ответил:

— Где, где? Мы своего в клубе поймали, ага!

— Чё городишь? — не поверила Петяниха.

— Правда! Он, косо́й-то, пристроился в очередь в кассу за билетиком. Ну, на вечерний сеанс. Захотел, видать, очень кино посмотреть «Подводная лодка в степях Украины», как все нормальные люди... А мы его хватъ за уши: не положено кино-то до шестнадцати лет!..

Петяниха протянула, вроде как удивившись:

— Тюм-ля-ля — балабон известный. Балалайка! И ты туда же? Не был раньше таким! К нему в заместители метишь?.. Но всё равно: молодцы! Пойду своим мужикам скажу. Они догадаются, где поймали... Не вы одни... Промёрзнешь с вами тут.

Она двинулась своей дорогой наискосок по улице, чуть припадая на левую ногу. Худая и длинная, как стропилина.

— Тюм-ля-ля не переплюнешь, — изрёк дядька Сергей. И пояснил: — У него в мешке-то, скорее всего, ягнёнок был. Или кот какой...

— Зачем это ему надо? — удивился я. — Врать бабке?..

— Зачем?! — гоготнул дядька. — Это ж Тюм-ля-ля! Просто так ему скучно, без загогулины...

* Восейка — на днях.

Он молча подтолкнул меня, и мы поскользили напрямик вдоль домов.

Я заметил, что в окне голубенького дома, где жила теперь наша новенькая Верочка Рогожинская, несколько раз шевельнулись занавески...

...На следующее утро весь наш пятый «А» класс засыпал меня вопросами. Я был в центре внимания. И отвечал на расспросы не торопясь, не сразу... Как и положено бывалым людям.

Неожиданная встреча

...Мы приближались с внуком к самому дремучему месту на левом берегу Самарки. К Урёме. Урёма — так я когда-то переназвал Кунаев ключ, который впадает весной в Самару на правом берегу, напротив. Там летом в овраге, заросшем ежевикой и смородиной, всегда пасмурно и жутковато. Эта его дремучесть как бы перекочевала на противоположный берег, в старый скрипучий вельник. Вместе с его названием.

— Живёшь в своей Москве между кирпичных глыб. Много ли там увидишь? А тут лесная нетронутость. Порой необходимо одиночество, чтоб остаться один на один с природой... — так я говорил внуку, когда мы под горку съезжали в лесной полумрак.

Всего метров сто предстояло проехать нам под таинственным навесом деревьев, где впервые с дедом Иваном увидел я лося, а потом услышал странный голос неизвестной мне птицы. Прежде думал, что это скрипит какое-то кривое и сухое дерево. Или едет кто-то за кустами на поскрипывающей с несмазанными колёсами телеге. Оказалось, что так кричит птица дергач.

...Мы едва не столкнулись с ними. Они выскочили на середине дороги из-под навеса старинных вётел и вязов, прямо нам навстречу. Мы еле успели уклониться в разные стороны узкой дороги. Колючие ветки шиповника и боярышника остро царапнули по одежде, по рукам.

— Ничего себе! — обескураженно вырвалось у внука. — Лихо! Вот тебе Урёма! Никого нет?..

Китайцы, их было трое, на юрком мотороллере с тележкой, бодро проскочили мимо нас. На подъёме у них там что-то произошло. Они соскочили на землю и в своих тёмно-синих одинаковых комбинезонах начали дружно, как муравьи, копошиться около жёлтенького притихшего чуда техники. На нас они не обращали никакого внимания. Будто мы были в параллельных мирах.

— Это, наверно, те, что с теплицами... Разведку ведут, — высказал предположение внук.

— Возможно, — отозвался я уныло. В который уже раз усмехнувшись по поводу своей академичности преподавателя. Не я ли, проповедуя на лекциях студентам плодотворность сохранения традиции, опору на опыт и мудрость своих предков, ставил китайцев в пример. И в помощники себе брал их великого мудреца Конфуция:

«Если у тебя есть телега — сожги её, есть лодка — проруби в ней дыру... Ты должен сидеть на месте, слушать пение своих петухов, лай своих собак и растить своё поле...»

Пришло время, и сами же китайцы опровергают своей жизнью древних своих мудрецов. Что делать?..

Жизнь слишком быстро меняется, мудрецы стали не поспевать за ней. Другая жизнь на дворе. Мы другие, и нас так много стало...

Способны ли вдогонку нашей теперешней стремительной жизни, сжимающемуся времени, родиться мудрецы. Те, которые дадут нам истинное... Способны ли они за короткую жизнь охватить мир, ставший необъятным от знаний и проблем?..

А если нет? Так мы и будем, не успевая сами за собой, барахтаться в противоречиях?..

* * *

В тот раз с внуком никого больше в Урёме мы не обнаружили... Всё будто попряталось от посторонних глаз. Чернолесье в Урёме стояло молчаливо-настороженное, затаившееся... Будто чувствовало чужаков...

...На выезде из этого мрачного лесного туннеля, за основной корякой — опорой высоковольтной линии, где-то в белеющем сухостое бодро застучал дятел.

Мы остановились.

«Вот он — вечный работник, истинный мудрец, — невольно думалось мне. И я порадовался такой простой мысли. И недоверчиво прислушался к себе. — Все суетятся, а он... Работает, чтобы жить самому, и помогает жить всякой мелкоте птичьей, которая потом обоснуется в этих дуплах... Нет, он не старьёвщик! Он даёт новую жизнь! У него надо учиться настойчивости и самодостаточности...»

...Мы подъезжали к мосту. Справа, где-то совсем рядом, хорошилась Зимняя старица.

«То-то и оно...»

Это был первый мой сенокос с отцом у Зимней старицы. У отца после туберкулёза костей не гнулась в колене левая нога и срослись позвонки в пояснице. Ездить ему было нельзя. Ходил он медленно.

Чтобы нам косить у Зимней старицы, он вышел в тот день рано утром и пошёл пешком. Часа через два я выехал на велосипеде. Нагнал я его у ближнего конечка озера.

Я понимал, какой необычный у отца сегодня день. Впервые за последние шесть лет, которые он провёл в военном госпитале, взяться за косьбу!..

Он уже пробовал косить у Лопушного озера. И здесь, у Зимней старицы, тоже. Но то были как бы прикидки. А теперь было решено запасти сена на всю зиму.

Отец настроил дома себе косу на особицу. Она была насажена под таким углом, чтобы можно было косить с прямой спиной. Он и мне приготовил косу особенную — облегчённую. Окосиво у неё — из тальника, и сама — вся лёгкая, с коротким полотном.

Отец уже месяца два ходил без костылей, с маленьким бадиком. И ничего! Даже штаны надевал теперь по утрам без нашей помощи. Сам! Становясь около кровати, чтобы сзади была подстраховка, он бросал их, не нагибаясь, на пол. Бадиком расправлял штанины. Так, чтобы получилось из них два кольца на полу. Затем ступал обеими ногами в штанины. Не спеша, ручкой бадика, как крючком, тянул левой рукой вверх сначала штанину на левую негнущуюся ногу. Перехватывал штаны с крючка бадика с помощью правой руки в левую. Потом перекочевавшим в правую руку бадиком подбирал к поясу правую штанину... Я видел, как он посередине двора несколько раз, отставляя далеко от себя левую ногу и, найдя такое положение правой ногой, при котором не было необходимости сгибать спину, наклонялся и подбирал с земли брусок для косы. Подбирал без помощи бадика! Он готовился на случай, если обронит брусок в траву... Бадиком, когда надо, он подшвыривал обувь к ногам. Поднимал свой оброненный белый картуз с земли.

Мама, наблюдая за приготовлениями отца, украдкой вздыхала. И была непривычно молчалива.

...И вот мы на месте нашего сенокоса.

У самой Зимней старицы травостой вперемежку с тальником, разнежившись, непроходимым заслоном, перекрыл подходы к

воде. Трава не такая, как на красноталовой солнечной поляне. Нет неподатливого пырея, не видно злого чертополоха. Густая и тучная зелёная масса. Июньское тепло и приозёрная влага свершили своё.

...Но и здесь видны знакомые лица: меж кустов красуются кремовые метёлки таволги, чуть в сторонке забрёл и остановился высокий мятлик. Всё окружающее как бы в полусонной истоме. Едва шевелит листочки свои сероватый осинник. Стоят в три обхвата великанши вёглы. За ними — сизоватая полоска озера. В тени вётел меж кустов нежатся в дрёме шёлковистые, выше пояса, травы.

Празднично взглянув на меня, отец принялся готовить косу. За ним последовал и я.

В завадинке зашумели, захлопали крыльями кряковые утки. Я инстинктивно пригнулся, забыв, что не на охоте, без ружья.

...И вот два древних своенравных стальных существа готовы. Блеснуло диковато жало отцовской косы.

Чётким, незабытым движением поймал он пятку косы подмышку, успокоил её. Взялся левой рукой за самый кончик полотна, а правой полоснул по стали жёлтоватым, стёртым наполовину, ещё довоенным бруском.

Сбочив голову, отец прислушался... Вновь махнул правой рукой... И пошёл! Пошёл гулять по поляне чистый, тонкий звук ожившей стали. Новое вязовое окосиво, схваченное сыромятным ремнём, ядрёно растопырившись, нетерпеливо ждало крепкой руки хозяина.

Я, радостно дёрнувшись, достал свой новенький, не трогавший ещё жгучее лезвие своими жесткими щеками, серый брусок.

Отпыхиваясь от комаров, отец шагнул в траву. Вначале короткими взмахами пробил себе маленькую площадочку, и уж на ней, встал, как приноровился загодя во дворе дома, потом сделал первый настоящий замах.

Всего несколько махов понадобилось отцу, чтобы он нащупал нужный ритм. Вначале отец косил как будто впервые. Но уже на втором ряду он начал двигаться, как отлаженный, необычный механизм. Левую негнувшую ногу он подволакивал за собой. Она была словно подпорка, а правой, нащупывая путь вперёд, мелкими шажками делал поступательное движение.

Как уверенно начал отец двигаться вперёд! С остановками, переступами. Неуклонно вперёд!

Как дружно ложилась высокая трава под его жёсткими махами! Влажная трава, если не брать помногу, поддавалась легко и

мне. Мешали кусты. Коса, ныряя в гущину, тянула за собой широкий валок.

Отец, почувствовав мой взгляд, остановился. Обернулся. И я увидел, как сосредоточенное лицо его озарила радостная улыбка.

— А ты как, Сашок, думал?! Ядрёна кочерыжка! Всё идёт, как я и планировал.

Я улыбался в ответ.

У отца столько разных непривычных слов. И всегда он вовремя что-нибудь да скажет по-своему...

Отцу нравилось, как всё ладно получается.

— Не пропадём теперь, — лицо его непривычно светилось.

Он ещё напористой начал наступать на высокую траву, раздвигая покосиво.

Я последовал за ним. Звенели надоедливые комары. На Старице пошумливали вшивки и лысухи. Порой подавали голос кряквы. А мы запойно косили!

И тут появился лесник. Он остановил свой мотоцикл у дороги наверху. И окликнул:

— Фёдрыч! Ты, что ли?

— Точно, он, — отозвался отец.

И остановившись, досадливо взглянул на человека в форменном пиджаке с дубовыми листочками в петлицах.

— А ты, — человек с листочками в петлицах махнул рукой в мою сторону, — обожди! Отдохни покамест... Не части.

Я пошёл к ветле, где стоял бидончик с разведённым родниковой водой кислым молоком, искоса наблюдая за обоими.

Отец, опираясь на черенок косы, медленно пошёл к дороге.

«Зачем он взял с собой косу, — недобро подумалось мне, — просто вместо бадика?»

Настороженно обошёл дерево и увидел их обоих вновь.

Они стояли поодаль от мотоцикла и о чём-то говорили. Слышно было, как лесник довольно рассмеялся.

Коса мирно висела на сучке сухого вяза, рядом с форменной фуражкой лесника.

Когда гроза всего местного люда, лесной начальник уехал, отец вернулся к нашему стану. Неспеша напился из белого бидончика. Прислонился спиной к огромному дереву. Над непокрытой головой его, над мокрой рубахой звенело комарье.

— Чё, пап, он? — спросил я как можно небрежней. — Весёлый вроде такой...

Глядя задумчиво поверх моей головы в синюю глубь неба, отец ответил, как мне показалось, до обидного спокойно и... обречённо:

— Голос у него соловьиный, да рыло свиное. Сказал, чтобы я пришёл пособлять, отработать два дня...

— За что? — вырвалось у меня. — Ведь мы косим по кустам. Там, куда никто не полезет?!

— За что? За самовольство. Куда деваться? Земля-то кругом либо колхозная, либо лесничества. Ему для пособия семерых мало. Я подавленно молчал.

— Схожу, — скорее, как показалось, успокаивая меня, чем себя, произнёс отец. — Куда деваться... Ядоха...

Во мне кипела обида. На всех, на всё!

Как можно такое терпеть?! Отца на фронте изувечили... А тут?.. Как батрак к леснику...

Сами собой вспомнились слова из моей роли Чацкого: «Служить бы рад — прислуживаться тошно». Это ж когда ещё сказано!.. «Но отец, конечно, Грибоедова не читал», — уныло думал я.

...Взяв косы, мы пошли в сторону валков.

— Что нос повесил? — обронил отец. — Весна придёт, не надо будет корову за хвост поднимать! Что ещё тебе?! Голова! Сенокос-то какой!..

У самого осинника, остановившись, отец произносит:

— Сашок, придётся наверх траву выносить. В кустах она долго не высохнет. Темнотища.

Я понимаю, о чём он думает. Он таскать траву не сможет. Так еле ходит.

— Перетаскаем, — говорю как можно беспечней, — раз уж взяли!

— То-то и оно, — откликается в своей обычной манере отец, — раз уж взялись...

Запахи летнего леса

Мы потом ещё несколько раз косили у Зимней старицы. А однажды косили здесь после того, как я с месяц назад познакомился с Ларисой — теперешней бабушкой моего внука. Уже после окончания учёбы в институте.

Лариса! Это имя непохоже было на наши утёвские. Искрящееся, несущее прохладу и свежесть, оно было в те сенокосные дни постоянно со мной.

В перерыве между косьбой пришло ко мне неожиданно оставшееся со мной навсегда четверостишие:

*Немало в голову идёт сравнений,
Но все сравнения напрасны.
В неуловимой смене выражений
Твоё лицо прекрасно!*

Много раз после пытался я удлинить стихотворение, дописать что-то сверхважное. Не получалось. Не было потом подобного состояния. Эти четыре строчки — как единый неповторимый выдох...

Лицо Ларисы — оно и сейчас для меня излучает необычный свет.

Здесь, под воркование в пышной зелени горлицы, впервые так остро задумался я о сомнительных достоинствах своей затянувшейся холостяцкой жизни.

Те сенокосные дни отчётливо впечатались в моё сознание лесным ароматом земляничных полей, разнежившихся чуть повыше от Старицы, около Самарки. Туда я устремлялся в короткие перерывы на отдых от косьбы.

На земляничных полянах не было густых шелковистых трав, в лёгкой истоме падающих под косой, не было завораживающего шума кряковых уток в куртинах рогоза. Там царила щедрость июльского солнца. Бездна света и ощущений. Царили запахи самой желанной, самой первой ягоды нашего леса — земляники. Повесив мокрую от работы майку сушиться на ветку, я нагibalся над щедрой земляничной высыпкой...

...Теперь для меня все запахи того летнего леса в поречье, запахи лесного разнотравья, моих тогдашних стихотворных строчек, запахи изумрудных земляничин слились в один невыразимый аромат моей так давно уже отлетевшей молодости...

* * *

В детстве нас не учили тому, как держать топор, как ловчее пилить ножовкой, как сноровистей работать долотом. Умение приходило и развивалось само собой. Из наблюдений, из потребности что-то сделать, помочь родителям. Теперь у большинства из нас нет необходимости в таких навыках. И очевидно, новому поколению или поколениям, идущим нам на смену, сноровисто работать руками, как работали наши отцы и деды, явно не понадобится. Крепко пока сидим на нефтегазовой игле...

Но почему же так настойчиво подсовываю внуку на даче то ножовку, то рубанок? Всё хочется, чтобы не ушли никуда трудовые навыки, рождённые поколениями.

Боялся же когда-то, лет тридцать тому назад, мой отец того, что иссякнет многое при нашей безалаберности, что всё невечно: останутся на земле опять, как он говорил, «конёк да ванёк». А я порой опасаясь, что и этого-то может не остаться. И ведь прошло-то с того времени, когда отец горевал за нас за всех, — всего ничего...

Успеет ли понять мой внук и увидеть то, что я теперь увидел и что не замечал по молодости своей, в пору ликующего летнего разнотравья на лесных полянах?..

Мой сенокос!

Уехав учиться, а потом и работать в город, около полувека назад, в село я, конечно, наезжал часто. Особенно когда живы были родители. Гостевал. Но жил-то?.. Жил далеко отсюда, а все важные для жизни решения принимал, приехав в родительский дом. Непроизвольно так случалось. Уже и потом, когда и отца, и мать похоронил. Там, на стороне, я проживал свою жизнь, а здесь осмысливал. Что-то подобное происходит со мной и сейчас!

Так много уже позади! «Только не заболейте там! Вернитесь здоровыми! — так нас провожала Лариса. — Вернитесь здоровыми!..»

Часто просыпается во мне тот, кого порой так недолюбиваю в себе: подпорченный техническим образованием, унылый рациональный аналитик.

Ни куража, ни фанатизма...

«Ты таким рассудочным стал не только из-за своих болячек, — доедал я себя. — Устал от многого, а признаться не хочешь... Радуйся. Какой день сегодня! Отвлечься надо! Всё, как в торбе, несколько раз в тебе перевернулось, перемешалось... В город приедешь — разберёшься... К мосту подъезжаем!»

...Словно наяву звучал отцовский голос. Как тогда у Зимней старицы:

«Сенокос какой! Какое небо! Что ещё надо? Голова!..»

Я невольно озирался вокруг. На некошенные травы, заросшую дорогу... Так и казалось, что вот-вот вновь прозвучит его призывное:

— Не мешкай, Сашок! До дождя надо убрать! А то промочит, канители будет...

Так много всего в детстве надо было успеть. Нелегко это давалось. Но какую при этом мы приобретали закалку. Так она и

осталась во мне до сих пор, эта готовность успеть, взяться там, где потяжелее. За комель. А иначе кому же?..

Наверное, заложенная с детства энергия вот этого отцовского «надо успеть» меня всю жизнь потом и подгоняла. Чаще всего делал одновременно несколько дел. До сих пор не научился выстраивать некую монотонную очерёдность в выполнении того, что задумано. Стараюсь.

Успеть надо! Успеть многое! Особенно когда есть и некоторый опыт, и силы, и пришло понимание, как надо делать...

...Обычные дела, вершимые ранее так непринуждённо, теперь берут на себя значительно больше времени. Заново обучаюсь управлять временем! Как когда-то под рамку учился выкручивать на взрослом велосипеде. Так и живу, отчётливо, зримо чувствуя одобряющий взгляд мамы и мобилизующую команду отца из далёких тех лет.

И всё дороже и дороже становятся и уплывающий взгляд мамы, и ускользящие слово или жест отца...

...На реке отчётливее вижу и слышу своих родителей...

Теперь, на исходе седьмого десятка жизни, у меня всё больше и больше возникает вопросов, на которые не могу подобрать, найти однозначные ответы. Задумываюсь часто над тем, что же было главное в жизни моих родителей, большинства окружающих меня в детстве дорогих мне людей? В моей жизни?

...Успеть додумать, успеть понять...

Бесхитростные, постоянно озабоченные нуждой, родители наши несли в себе, не ведая сами, бесценное сокровище: они умели трудиться! Труд и дети — вот что двигало ими! И как радостны, искромётны, непосредственны порой бывали они в редкие праздники! Среди постоянной нескончаемой работы. Работая для детей, не отдавая себе отчёта в любви своей, они трудились на будущее.

Будучи, кажется, не в меру благоразумным, лишённым и доли фанатизма, как бы ни трудился упорно, особой известности и славы не добьюсь. К этому выводу я пришёл, ещё читая Гельвеция. Понял и принял как данное. Было это тогда, когда и слава, и известность волновали. Теперь волнует, и давно уже, сам труд... Радостно оттого, что умею и это, и это, и это... И умею, и могу вершить пока ещё, с Божьей помощью! Могу теперь быть неторопливым за письменным столом... И ценю терпение и умение работать...

Помогли понять мне себя и Гельвеций, и мои труженики родители... Такой теперь он — мой сенокос.

Мост под крепостью

Куда только судьба меня не забрасывала. И везде в первую очередь притягивали к себе, как магнитом, реки. Реки и мосты! Названия их мерцают незатухающими огоньками в моей памяти.

Легко вспоминается Тауэрский мост — самый знаменитый в Лондоне. Символ города. Массивные речные опоры держат на себе две готические башни, соединённые разводными пролётами и двумя пешеходными галереями. Самый низкорасположенный в течении Темзы и, насколько помню, единственный из всех мостов, который здесь разводится. Мост, в музее которого можно посмотреть механизмы, управляющие движением огромных пролётов.

Лондонский мост, Железнодорожный мост, Саутворкский мост... у каждого из более чем тридцати мостов через Темзу своя история.

Оказывается, первый мост через Темзу построен был ещё римлянами, когда они завоевали Британию, перебравшись через Темзу на её северный берег. Основали там своё поселение — Лондиниум, давшее начало Лондону.

Первый каменный мост через Темзу, старый Лондонский, строился в конце двенадцатого — начале тринадцатого века при жизни трёх королей.

...Мосты Парижа лучше не начинать перечислять. Их, кажется, тоже более тридцати. Париж — город мостов. И затруднительно в Париже найти мосты, похожие друг на друга.

Мост Нотр-Дам, мост Сен-Мишель, мост Шарля де Голля...

Мосты — моя слабость.

Мост Александра III украшен позолоченными колоннами с бронзовыми светильниками, херувимами, крылатыми конями. Этот мост самый, кажется, богатый в Париже. Он был построен в 1896 году в память о заключении франко-русского соглашения.

В основание моста заложил камень сам Александр III, а на открытии моста присутствовал его сын Николай II. Длина моста — более ста метров.

В Америке был только на одном мосту. Но на каком! На Бруклинском!

Его строили около тринадцати лет. Открытие моста свершилось в 1883 году. Этот висячий мост — на то время самый большой. Первый стальной висячий балочный Бруклинский мост, соединяющий два района города — Манхеттен и Бруклин — давно стал символом Нью-Йорка.

А наши мосты! Российские... Мосты города на Неве!.. До сих пор жалею, что побывал в нашей северной столице всего лишь два раза...

Но пора оторваться от воспоминаний о великолепных мостах, известных очень и очень многим. И сказать слово о мосте, мало, совсем мало кому известном за пределами Нефтегорского района. Сказать про свой мост! Для меня у него есть неопровержимое достоинство и отличие от всех величайших мостов планеты! С него, задрав до колен штанины и свесив ноги, ловили мы с ребятами на удочки осторожных подустов и завораживающих, стремительных голавлей. Такого со мной не было ни на одном мосту мира!.. И может ли быть такое?!

И настало время, когда я проплыл на рыбацкой одноместной резиновой лодке под всеми мостами реки моего детства — Самарки. Из всего полутора десятка самарских мостов этот, у посёлка Красная Самарка, Крепостной, как в округе всегда его называли, для меня — особенный.

Он — достопримечательность детства на всю тутошнюю Самарку и на всю мою последующую жизнь. Как паровая мельница на краю села. Мост и мельница — эти два сооружения были самыми внушительными в нашем детстве.

Крепостной мост всегда был без перил. Вместо них на концах толстых досок уложены поперёк толстые брёвна. Сидя на них, удобно рыбачить. Есть куда удочку приткнуть. Банку с червями можно ставить на широченные надёжные плахи. На мосту всегда илюдно, и шумно! И клевала рыбка порой лучше, чем где-либо! Свесив босые ноги с брёвен, ребята с выгоревшими вихрами на головёнках, словно подсолнухи, желтела над водой. Чуть выше моста Сашка Ракчев (по уличному Стрепеток) один из самых умелых наших рыбаков, часто ловил крупных голавлей. Он иногда боал меня с собой. Это было как награда. Крепостной мост соединяет два таких разных берега.

По левый берег Самары, где наше село, раскинулась широченная равнина, степь-матушка! А на правом — сразу почти от Крепости, на приличном возвышении над рекой, начинаются сосновые боры да берёзовые рощи.

Без моста эти два мира — степной да лесной — как бы разлучены. Нет, без моста тут никак нельзя! По обе стороны его две половинки нашего лесостепного края, населённые работающим, общительным, дружным людом.

В детстве казалось, что по нашему мосту непременно в гражданскую войну должен промчаться комдив Чапаев. На тачанке! Крепость Бузулук — это ж всё рядом! Он здесь гулял! Так для этого

под Крепостной горой всё здорово подходит! Как в кино: и мост, и река! И косогоры с обеих сторон с извилистыми песчаными спусками. Белые на мосту растележились, а тут на косогоре объявится Чапай на тачанке! И тогда!.. Что здесь было? Успел он развернуться на песке, не увязли колёса тачанки?! Вдарил как надо Чапай? Или нет? Такая выгодная позиция! Тогда для нас Чапай был герой. Причём наш, тутошний.

Какая романтическая, золотая и наивная пора! И как-то невдомёк было, что белые-то — все тоже нашенские, не откуда-то издалека. С наших самарских берегов, с волжских...

...Никогда не думал, что, побывав не менее чем в полутора десятка стран и кое-что повидав, буду так трепетно ждать встречи с неказистым, скрипучим, едва держащимся на позеленевших, покрытых тёмной плесенью сваях, мостом.

Он и сейчас не кажется мне маленьким. Мост вырос в моих глазах до значительных размеров, стал символом. Крепостной мост ведёт, как когда-то, к моим Красносамарским родникам! К манящим сосновым борам! Песенным березнякам, встречавшим по весне клейкими маленькими листочками! Ведёт к реликтовому Бузулукскому бору.

Здесь прилепился я душой к песенному и былинному ладу породившей меня сторонушки...

* * *

Тут под бугром, едва минуешь мост, всегда, пока посёлок жил своей нормальной жизнью, были огороды. Капустные грядки, огурцы, помидоры, тыква, мешая зелёное с красным огромного склона, делали его живописным и неповторимым.

Красно-коричневое и зелёное в соединении с серебристой лентой реки и необозримой синью небес: такого места на реке в округе больше не было. Теперь от огородов нет и следа. Склон странно потемнел. И сам мост, раньше бодро и гулко отзывавшийся пешему, конному ли, сейчас одряхлел в забытии...

И лишь когда какой смельчак проезжает на автомобиле с несколькими остановками, переваливаясь на его неровностях и рискуя попасть в дыры, прикрытые чем попало, мост отзывается по-стариковски ворчливо и нехотя...

* * *

В студенческие годы восхищался Алексеем Толстым, особенно после того, когда прочитал «Шумное захолустье» Оклянского. Но

всегда рядом стояла фигура другого писателя — Николая Гарина-Михайловского, также значительное время жившего в наших краях в Бугурусланском уезде, в селе Гундоровка.

Инженер-путеец, он участвовал в изысканиях и строительстве железных дорог, в том числе Кротово-Сергиевского участка Самара-Златоустовской железной дороги и Транссибирской магистрали. И как-то само собой получилось, что имя его связал с руководством строительства самого длинного в Европе и шестого в мире моста через нашу Волгу под Сызранью.

Проектировал Александровский мост 30-летний мостостроитель Николай Аполлонович Белелюбский, а руководил строительством инженер Михайловский.

Задумываясь о своей судьбе, простодушно тогда размышлял: как здорово сложилось у Михайловского. Построил мост через Волгу и написал «Детство Тёмы». Так тогда, в первые годы после окончания института, в моей молодой головушке (плохо это или хорошо — до сих пор не могу определённо сказать) и сложилось: сначала надо что-то стоящее в жизни сделать, потом писать.

Когда позже обнаружил, что инженер-путеец Михайловский, взявший себе литературное имя Гарин, и К.Я. Михайловский — разные люди, не сильно расстроился. «Если всё, что успел сделать Николай Гарин-Михайловский как инженер, собрать в единое — это будет не менее чем мост», — так я мысленно ревностно защищал своего земляка-писателя.

Пишу сейчас с улыбкой, вспомнив и эти мои студенческие раздумья, и то, что мои изобретения как некий результат моей тридцатилетней работы на заводах как-то разлетелись, внедрённые более чем на ста промышленных установках нефтехимии тогдашнего СССР. И не видны! Хотя и отмечены Правительственными наградами, и Премией того же уровня. Но моста-то нет! Не выстраивается. Что сумел, то и успел...

Красная Самарка

На мосту сгорбленный, с крепко загорелыми по локоть руками, в одних плавках рыбачил «пауком» старик.

Мы с внуком подошли.

— Растоварился, сейчас уберу, — как мог поспешил рыбак к лежавшей поперёк дыроватых досок старой, выдавшей вида бамбуковой удочке. — А ты осторожней, — предостерёг он ступившего на мост Сашу, — вильнёшь меж досок — митькой звали.

Продирание с велосипедом через заросли меня растомило. Опустив велосипед на влажный песок, наклонился над речной гладью. Обеими руками начал плескать пригоршнями себе на лицо, на голову водицу. Облюбовав затишек, подул, отгоняя соринки, и испил жадно, с удовольствием.

— От, сразу видно свой, здешний! Хотя и не признаю чей, — прозвучал голос старика. — Чужой сразу так пить не станет из реки. Изнатужил, видать. За ними, молодыми, не угнаться, — он махнул рукой в сторону Саши.

— Как рыбалка, отец? — спросил я, ступив на почерневший, массивный, деревянный, шаткий брус.

Старик ответил не сразу. Приглядываясь подслеповато, приподнял свою мелкочаеистую нехитрую снасть. Она была пуста. Аккуратно опустил в воду.

— Марево какое... Коварный денёк. Обрушится эта жара обмочливым дождём, — подтверждая мои прогнозы, сказал старик. — Утром трава сухая была — верный признак.

— А что нам-то? Мы не сахарные, — отреагировал мой внук.

— И то верно! — бодро согласился старик и улыбнулся ясно.

Вспомнил про мой вопрос:

— Какая рыбалка? Вон в полиэтиленовом мешочке две сорожки всего-то. Балуюсь. Продышаться на вольном воздухе приехал. Спозаранку. Счастье по утрам раздают...

— Откуда? — поинтересовался я.

— С Нефтегорска. С соседом.

— Его «жигулёнок»?

— Мишкин! Я у него вроде сторожа. Он на дачку сюда, в бывший родительский дом, я — с ним. Частенько так.

— Постоянно кто-нибудь живёт в Крепости?

— Только один лесник. А так... Нет... было когда-то поболее ста дворов. И школа, и магазин...

— Годков-то сколько?

Старик не расслышал вопроса. Улыбнулся виновато, показав скрюченным указательным пальцем на правое ухо. Полуобернулся, сбочив голову, чтобы слышать левым.

— Лет-то сколько? — повторил я.

— А! — отозвался старик. — С двадцать второго. Давнишний...

Взглянул на Сашу.

— Где, кучумка, успел загореть-то? Городской, по всему видно, а успел...

— Так, нигде... Кожа такая, быстро темнеет.

— А то сейчас все в Турцию да в Африку летают. Мой вот правнук в Египте. Говорю: приезжай ко мне... На подольше как-нибудь. Тоже ему велосипед купил да Мишкин ещё... Ни в какую. А ты молодец! Деда уважил.

Глаза его, неестественно большие за сильными стёклами очков, часто и ритмично моргали.

— А для меня, — голос старика прозвучал молодо, — как была Самарка Красной, самой красивой моей рекой, так и осталась. Хотя цвет свой малость и потеряла. Берега уж не красные, заросли. Но ведь и мы стареем! Ты, — он с интересом смотрел на Сашин велосипед, — рви кочки, ровняй бугры, пока молодой!.. Тут в сторону Покровки простору!..

Внук при таких словах его, хихикнув, потрепал собственные вихры и неожиданно для меня сконфузился. Напутствие старика показалось ему слишком лихим, что ли...

— А сколько лет Крепости? — спросил Саша.

— Не помню, сынок. Люди знающие рассказывают, что в середине XVIII века ещё по Самарке в 30-40 вёрстах друг от дружки были построены и Красносамарская Крепость, и Борская, Бузулукская, Тощкая. Много ещё... Для охраны границ. Екатерина II владычествовала. Крепила Русь! Когда ещё!.. Вот человечество была! А сейчас?

— Где про это написано? — с интересом спросил внук.

— Где, где? Так, по растолкам разным знаю. Ты найди, у вас там в городе чай есть где!.. Почитай. Жив буду, мне расскажешь! Приезжай почаще. Есть что и у нас посмотреть. Смотри! А то, чего не знаешь, туда и не тянет.

Взгляд у рыбака внимательный, изучающий.

«Непростой старик», — подумалось мне.

И не ошибся.

— И вы их видели? — произнёс старик.

— Кого? — спросил я.

— Тех, которые на мотороллере?..

— Китайцев-то? — переспросил внук. — Они чуть в нас не врезались там.

— Около наших родников топчутся, — глухо проговорил старик. — Не только дороги зачепыжили, вся наша жизнь...

Мы ещё побыли чуток около рыбака и направились на правый берег Самарки.

После нашего путешествия, покопавшись в архивных документах, мы с внуком уточнили для себя, что Красносамарская

Крепость была основана по решению сената в 1736 году флотским поручиком Петром Семёновичем Бахметьевым. Для защиты оседлых поселенцев от набегов кочевников, а также чтобы обезопасить речной путь по реке Самаре.

Крепость была защищена земляным валом, деревянными стенами. На её башнях были чугунные пушки. Стоявшая на возвышении деревянная церковь являлась для офицеров, солдат, переселенцев святым местом.

Линия крепостей в Заволжье, куда входила и наша Красносамарская, после подавления Пугачёвского восстания утратила своё былое назначение. Крепости стали обычными поселениями, а некогда служивые люди превратились в государственных крестьян.

...И стала крепость на песчаном косогоре называться посёлком Красная Самарка.

Не судьба

Мы уже прошли неспеша почти по всему мосту, когда прозвучало за спиной:

— Не скажете, чьи будете? Я всё приглядывался исподтиха...

Мы оглянулись. Старик стоял почти рядом.

— Мой дед — Рябцев Иван Дмитриевич, — ответил я, почувствовав, что вопрос не дежурный.

— Всё сходится тогда. Утёвские! Это вы написали про художника Журавлёва, безрукого?

— Да.

— Ваша книжка у меня дома на тумбочке лежит.

Я невольно приблизился к старику. Тот продолжал:

— Значит, вы племянник Алексея Рябцева, сына Ивана Дмитрича?

— Выходит, так.

Старик просиял лицом:

— Мы друзьями были, с Алексеем-то. Вместе воевали, хотя я-то на чуток постарше. Трегубова, Дятлова по-уличному, Сергея Илларионыча знали?

— Ну как же! — поторопился я. Дятловы в Утёвке — легендарные люди.

— Так я сын его — Константин.

Я стушевался. Имя Дятловых на меня действовало завораживающе.

— Расскажите что-нибудь об Алексее Ивановиче поподробнее, — попросил я, — его уже давно нет.

— Что особо рассказывать?.. Дали слово: останемся живы, будем поступать в художественное училище. Мы оба рисовали до войны. В школе ещё. Но не судьба. Его тяжело ранило. Потом меня контузило под Сталинградом. Так-то ничего, но зрение нарушилось. Какое училище?.. Очеченило меня тогда здорово. Вначале, было вернувшись в село, запил. И крепко... Но вовремя опомнился. В сорок седьмом завязал насовсем.

— Неужели насовсем?

— Ни капли с той поры. Поболее шестидесяти лет...

* * *

Мой любимый дядька Алексей, о котором говорил старик, мечтал быть художником и даже намеревался поступать в Пензенское художественное училище. Такое я слышал впервые. Всё моё детство прошло большей частью в дедовом доме, который мои дядья Алексей и Сергей превратили в некую художественную мастерскую. Они были заражены рисованием.

В избе, в кладовке, в мазанке висели копии известных картин, нарисованные ими. Писали они только маслом. Процесс написания картин меня завораживал. Затаив дыхание, следил я, как дядька Алексей на моих глазах вырисовывал голову здоровенному полуобнажённому казаку в компании таких же вольных, разудалых людей, пишущих письмо турецкому султану.

Я рос среди копий таких картин, как: «Охотники на привале» Перова, «Три богатыря» Васнецова, «Грачи прилетели» Саврасова, «Возвращение блудного сына» Рембрандта, «Неизвестная» Крамского, «Боярыня Морозова» Сурикова, «Оттепель» Васильева, «Тройка» Перова... Всего не перечечь. Картины висели, лежали, стояли везде. Разных размеров. Их было много. Когда дядья рисовали казаков, пишущих письмо султану, холст клали на два больших стола в передней комнате.

А сколько было всяких открыток, журналов с репродукциями, картин разных художников! И всё это в дедовой избе. Я немел от всего этого.

Эти годы — золотая пора моего детства, сверкающая красками, завораживающая одухотворёнными лицами глядящих на меня с картин людей. Ничто, думаю, тогда не повлияло на меня, на моё восприятие мира так сильно, как эти лица с картин великих русских мастеров! Попасть в Третьяковскую галерею, увидеть знакомое с

детства в полную меру в студенческие годы — было моим острым, неистребимым желанием. И оно, это желание, сбылось вскоре.

...Много позже удалось мне побывать и в Лувре, и в Дрезденской галерее, видеть и Джаконду Леонардо да Винчи, и Сикстинскую Мадонну Рафаэля... Но эти детские впечатления от картин!.. Они грандиозны!

Мне-то думалось раньше, что любительство Алексея, его страсть рисовать — это так, что-то вроде красивой забавы...

Оказалось, это — осколки придушенной, придавленной войной мечты стать художником. Настоящим! Теперь мне кажется, из него мог получиться художник. Мой дядька был незаурядный человек. Он никогда не говорил громко. Не переносил мата. Это он пристрастил меня к чтению книг. Всё, что бы он ни делал: по плотницкому делу, по слесарному, по столярному — делал с выдумкой, особенкой.

Его любовь к Сибири (дядья мои родились там) вылилась в запойное чтение всего, что можно было достать о Сибири. Он приобщил меня к «Библиотеке сибирского романа». «Угрюм-реку» Шишкова я прочитал лет в двенадцать. Прикоснулся и почувствовал грандиозность искусства, ещё не отведав сполна самой жизни...

...Ничто не уходит бесследно. Единственный сын Алексея Ивановича Владимир стал профессиональным художником, членом Союза художников России. Пробился росточек! В другом поколении, но пробился! Талант не отпустит!..

...Когда уходили, Константин Сергееч смотрел в нашу сторону так же, как и Женька Давыдов. Там, в Углу. Так и не так... Разбередили мы его своими вопросами...

* * *

Надо же: не были с Константином Дятловым знакомы, а река соединила нас... Общие у нас истоки! Как он сказал: «Не могу без Самарки, мила та сторонушка, где пупок резан».

И я не могу представить свою судьбу без Самары, озёр Лещёвое, Бобровое, Латинское... Всегда, как магнитом, тянуло к ним. Теперь-то понимаю: оторвись душой от них, суше бы стал. Иссохла бы душа. Они — исток жизни. Сколько раз была возможность перебраться и на юг страны, и на север, но что-то удерживало...

Я родился под водным знаком зодиака — Рыбы. Известно, что «Рыбы» любят селиться и жить около водоёмов, вблизи озёр и рек. Только там им уютно и любо. Выходит, на роду написана такая моя счастливая доля... Не судьба жить на безводной чужбине...

Охранная грамота

На Крепостном мосту между утёвскими и крепостными ребятами иногда возникали потасовки, но так, без особых последствий.

А сейчас мне вспомнился случай, когда в разборку вовлечены были взрослые. Дело было не на мосту, а на нашей утёвской улице.

В тот февральский метельный вечер я вышел из клуба, где только что шла репетиция отрывков из комедии «Горе от ума», и направился домой. Около столовой, которая была совсем рядом с клубом, заметил стайку ребятни из Тягаловки — дальней нашей улицы, которая всегда славилась своими бедовыми обитателями.

У коновязи, меж лошадьми и санями, волной прошлись они... и быстро схлынули. Подались косячком в Зубарев переулок. Нетрудно было догадаться, что они срезали поперечники, или по-другому черезседельники — ремни, стягивающие оглобли на седёлке в конной упряжи. Эти ремни, будучи разрезанными вдоль на несколько более узких, хороши для крепления коньков к валенкам. Коньков на ботинках тогда ни у кого в селе не было. Их даже никто не видел из нас.

Много чего по глупости было сделано в детстве. Особенно в азартной компании. Но я никогда не резал поперечники. И не одобрял тех, кто это позволял себе. Была причина.

Мой дед Иван шорничал: готовил хомуты, седёлки, подпруги, уздечки и всякую другую сбрую. Кроме того, он потихоньку, тогда это запрещалось, выделывал овчины. К нему в дом часто приезжали мужики из соседних деревень. Привозили для выделки шкуры. Он был нужен многим.

Я видел, знал, какого труда стоило изготовление сбруи. И потом, поперечник в конской сбруе, как ремень у штанов: далеко без него не ускачешь. А мужики, оставлявшие свои подводы у коновязи возле столовой, часто приезжали из дальних сёл.

Нужды резать чужие поперечники у меня просто не было. Мой дед из всякой кожаной обрести мог мне выделить ремни на коньки всегда.

...Я едва миновал столовую, когда из неё вывалились трое подвыпивших, разгорячённых парней и направились к своим повозкам.

Понимая остроту момента, то, что они сейчас обнаружат пропажу поперечников и начнут искать злоумышленников, я неволь-

но убыстрил шаг, намереваясь скрыться в переулке. Там стоял дом моего деда. Я, кажется, сделал ошибку. Не тут-то было — это только парней подстегнуло. В спину понеслось:

— Вон он! Врёшь — не уйдёшь!..

Я разом оказался в их окружении.

— Верни ремни! — прозвучал грозный окрик одного из них.

— Я ничего не брал, — отвечая так, я попятился к забору, но тут один из них сзади крепко толкнул меня в спину. Я, стараясь не упасть, размахивая руками, отлетел в сторону окликнувшего меня парня в бараньей шапке. Поймав меня кнутовищем поперёк груди, он резко отшвырнул тут же назад.

— Куда ты их выкинул, говори! Зверёныш!..

Они стали швырять меня от одного к другому. Как мячик. Шапка моя отлетела в сторону. Я понимал, что всё это может кончиться для меня плохо. Но что я должен был делать? Тот, который был в бараньей светлой шапке, два раза хлестанул меня кнутом. На мне была плотная стёганая отцовская фуфайка. Было не больно, но...

Я испугался за лицо. Только что я играл пылкого Чацкого, жил на сцене. Нет, не на сцене, в большом московском доме, жил иной жизнью, далёкой и завораживающей. Там звучала непривычная музыка фраз, миллионом терзаний мучился бескорыстный Чацкий. Бился против лжи! Руководительница нашего драмкружка шумливо, прямо на сцене, хвалила меня, утверждая, что я будущий народный артист СССР. Не менее. А тут?

«А что, если он высекнет кнутом мне глаз, как случилось в пьяной драке между Васькой Забаштой и Минькой Коршуновым? Какой из меня тогда артист, с изуродованным лицом?..» — пронеслась в голове мысль.

Парень широко замахнулся. Я выкинул полусогнутую в локте левую руку вперёд, надеясь успеть перехватить конец ремennого кнута перед лицом. И тут прозвучало хрипло и властно:

— Погодь чуток!..

Передо мной в сумраке, в метельной снежной пыли вырос кряжистый в тулупе человек. Намного старше остальных. В руках у него был кнут с толстым таким кнутовищем.

— Верни ремни, — сказал он голосом Лазаря Баукина, которого играл в фильме «Жестокость» Борис Андреев. Он произнёс слово «ремни» с ударением на первый слог. У нас так не говорили в селе. Мне такое произношение показалось диким и весь облик этого человека первобытным.

— Стёпка, сбегай, посмотри, где он шёл. Может, втоптал их в снег. А вы двое не дайте ему убежать.

Один из парней послушно метнулся в сторону.

— Ты соображаешь, что нам ещё до Крепости надо добираться? Без поперечников!

— Понимаю, — ответил я. — Но я их не резал.

— А кто? Говори!

— Не знаю.

— Как не знаешь? Ты же здесь шёл только что?

— Шёл. И что с того?

— А то! — рявкнул «Баукин».

И тут я произнёс совсем произвольно слова, которые только что говорил на сцене: «Длитель споры не моё желанье»*. Как я ещё не сложил театрально руки на груди при этом?!

Он странно посмотрел на меня и задал вопрос, который враз всё изменил:

— Чево? Ты чей такой будешь?

И я произвольно, сам не зная почему, ответил:

— Рябцев.

Назвал не свою фамилию «Малиновский», а фамилию моего деда. Что могла ему такому сказать моя совсем не здешняя фамилия?

— Ивана Дмитриевича внук?! Не зря я подумал, что где-то тебя видел. Похож...

Он подошёл ко мне совсем близко. Из-под мохнатой шапки на меня смотрели дикие и умные глаза матёрого волка в человеческом облике.

— Верно говоришь, что внук его?

— Внук, — подтвердил я, почему-то смелея и чувствуя подобие доверия к этому человеку. — А они, — я мотнул рукой на стоявших рядом налётчиков, — дураки! Все, что ли, такие в вашей Крепости? Горе от отсутствия ума?

Последнее вылетело из меня безотчётно. И не успел я подумать о возможной реакции на слово «дураки» и остальное, как прозвучал его зычный голос:

— Отпустите его. Он не мог резать поперечники.

Парни расступились, а я всё ещё стоял на месте.

— Ничего нигде нет! Ни поперечников, ни ножа! — объявил, вернувшись, парень, которого назвали Стёпкой.

— Пошли к лошадям, — повелительно произнёс тот, который был старшим. — Там мерекать будем...

* Слова Чацкого из комедии "Горе от ума".

И первый тяжёлой походкой, широченный в своём огромном бараньем тулупе с большущим воротником, зашагал в сторону столовой. Ремённый кнут волочился за ним по снегу...

Оставшись один, я нашёл втоптанную в снег свою шапку и направился туда, куда мне и надо было. В дом к моему деду. Имя которого для меня, его внука, как охранный грамота...

Велосипед с багажником

Всё-таки мой «пензяк» не выдержал. Сломалась поржавевшая самодельная стойка у багажника. Случилось это на дороге, но в таком густом лесу, где комарья как нигде... Пришлось спешно из твёрдой чилижины вырезать и накладывать шину, подвязывая её подвернувшейся под руку бечёвкой. Не впервой мне приходилось вот так на ходу ремонтировать велосипед. В моём детстве у меня их было несколько.

Их мой отец собирал из подвернувшегося хлама, который он добывал где попало. Часть их, в виде рамы, руля или шестерёнок, переходили последовательно от одного к другому. Был момент, когда родители решили было купить с рук мне детский велосипед. Несколько дней я жил с трепещущим сердцем. Мне и верилось, и не верилось, что такое может произойти. Ни до того, ни после ни одной игрушки нам с братом в детстве не покупали.

Не случилось такового и в тот раз. Что-то не сладилось. Для меня было бы фантастикой, если бы в доме нашлись деньги на такую покупку. Так что я не сильно горевал. Продолжал ездить и за коровой, встречая её из стада, и на общий двор к отцу, к деду на бахчу, и в магазин за хлебом на взрослом велосипеде «под рамку».

Будь моя на то воля, соорудил бы велосипеду памятник. Он этого достоин! Какая рыбалка без велосипеда! Он давал возможность добираться к самым отдалённым нашим озёрам. Незаменим в сельской местности он и для взрослых. И раньше так было, и сейчас. Поставить бы надо памятник и стёганой фуфайке, чёсанкам с галошами, резиновым «калошам», без которых никуда в селе...

В седьмом классе мы впятером загорелись купить велосипед. Заработать и купить.

Дело обстояло так.

В первых числах сентября, едва начались в школе занятия, рыжая дылда Ленка Коврова — наша новая пионервожатая, объявила нам о создании в классе тимуровских команд. Сразу несколько команд отдельно из девчонок и мальчишек.

— Александр, ты будешь Тимур! Вот тебе в команду Ракитин, Сарайкин, Белохвостиков и Давыдов.

— Почему я? — вырвалось у меня.

— Ты, и точка! Это поручение тебе как пионеру!

Я догадывался, почему назначен командиром. У моего отца всегда отлаженный инструмент. Ленка Коврова не промах, знает об этом. Её мать бегаёт к нам то ножницы поточить, то кастрюлю заклепать. А отец её как взял ножовку, так никак и не принесёт...

— Александр, объект вашей команды: Таликин дядя Ваня, он бывший чапаевец, боевой конник! Понятно? — напирала пионервожатая.

— Что нам делать-то? — спросил, беспричинно улыбаясь, Витька Сарайкин.

— Ему привезли брёвна, у ворот лежат. Их надо перепилить, переколоть чурбаки. Всё сложить в поленницы. Он покажет. Ясно?

— Ясно, — ответил за всех основательный Вовка Белохвостиков, — а к какому сроку?

У распорядительной Ленки язык подвешен, будь здоров! И шарик в голове как по маслу бегают. Вожак!

— Ну не к Новому же году! Топить скоро, а у него одни котяхи. Что старому да безрукому делать?

* * *

Маленький, аккуратненький старичок Таликин оказался приветливым и разговорчивым. И пила у него оказалась наготове своя. Да так хорошо наточена и разведена, что ветловые податливые и нетолстые брёвна мы пилили без натуги.

Ветла — это вам не вяз! Колется топором с одного маха, обнажая рыхловатую, светящуюся слегка розоватым светом древесину...

— С-сруб бы из-з т-такого д-добра д-д-делать! В-ветла — с-самое т-то д-для эт-т-того. А т-то в-в п-печку! Д-даже не-нел-ловко. Г-г-говорил в с-сельсовете... А... а... вы не ш-ш-шибко го-о-о-ните. Р-р-работа не-не... в-волк... — говорил улыбочиво Таликин, совсем не удручённый своим заиканием. На лице его играла светлая улыбка. Он радовался тому, что у него во дворе работали такие разгорячённые молодые ребята. А мы, когда он говорил и смотрел так на нас, чувствовали какую-то вину в том, что он безрукий и заикается, а мы такие... здоровые...

Мы не ожидали эдакой прыти от себя. Больно уж дрова хороши! Играючи после уроков мы накидали целую кучу поленьев.

Оставалось распилить два длинных, совсем нетолстых бревна и завтра сложить остатки поленьев под навес у погребницы.

Когда хозяин ушёл в сени, Колька удивился вслух:

— Неужели такой может быть чапаевцем?

— Какой? — спросил я.

— Ну, маленький такой. Заикается. И в чувяках этих ходит...

Он не договорил. Из сеней вышел дядя Ваня.

— М-ми-и-лости п-прошу ч-чай-куу па-папить. С ва-а-реньем смородиновым. С-с-а-ам варил, ст-т-т-арухи-то м-моей да-а-вно нет уж...

Мы озадаченно переглянулись. Ответил Женька Давыдов:

— Нет, дядь Вань, мы всё делаем «за так». В благодарность.

Мы — тимуровцы. А Вы — герой!

— Спасибо! — отозвались вслед за Женькой и мы все.

— Э-э-т-то вы з-зря. Ч-чаёк-то у-у... м-меня с д-душицей. С-со-би-би...рал за Самаркой.

Так мы и не попили душистого чайку в тот вечер у старика Таликина.

Когда шли домой мимо плетнёвого забора Курлыкиных на соседней улице, окликнула нас тётка Дарья:

— И чтой-то вы горбатитесь у Таликина? Тимуровцы!

— А вам какое дело? — отозвался Генка Ракитин. — Он — чапаевец!

— Какое дело? — повторила Курлыкина, уперев белые полные руки туда, где должна была быть у неё талия. Она качнулась в проёме низкой калитки, и он закрылся почти весь широким халатом хозяйки.

— Никакой он не чапаевец! Мой отец сказывал: он то за белых был, то за красных. Скрывает. Беляк он чистокровный. Теперь помалкивает. Добреньким старается казаться. Мой дед — вот кто настоящий чапаевец! Я вот тоже почти одна, а у Таликина сын в Самаре. Приедет и вместе перепилят. Не баре чать...

— Это вы для чего нам всё говорите? — спросил конкретный Женька Давыдов.

— Для дела говорю! Идите посмотрите, сколько у меня работы во дворе.

У Курлыкиной тётки Дарьи оказались залежи старых брёвен.

— Напилите мне на зиму для баньки, а я вам заплачу. Чё бесплатно-то ухайдакиваться, — бодро говорила хозяйка брёвен.

Мы молчали в нерешительности.

Отреагировал Женька, да так неожиданно, по-деловому:

— Мы подумаем. Если решим, завтра после учёбы придём. Только, — он прицелился взглядом к вороху дров, — этот толстый тальник перерубим, берёзовые бревна перепилим, а вязовые не будем. Им сто лет, их не расколешь просто так.

— Вот и хорошо! Приходите. Пила-то у меня есть. Она, правда, того уж... но вы молодняк...

Когда мы вышли со двора Курлыкиной, Колька набросился на Женьку:

— Жень, ты спятил? Нас хотя бы спросил. Если Коврова узнает?

— А чё спрашивать? Ясно же: можно заработать. За два дня всё сделаем, потом вернёмся к Таликину деду. Никто знать не будет.

— Тебе деньги нужны? — спросил звенящим голосом Колька.

— А чё! — спокойно отреагировал Давыдов. — Поделим поровну, честно. Мне надо купить проявитель и закрепитель*. У меня две плёнки непроявленные.

— А мне крючков больших надо купить, на сомят, — будто сам себе протянул бесцветным голосом Витька Сарайкин.

— Стоп, ребята! У меня есть идея! — всегда отличавшийся деловитостью, заявил Вовка Белохвостиков.

— Давай свою идею, — почувствовав назревание какого-то важного для нас поворота, скомандовал я. И не ошибся.

Вовка выдал:

— Завтра Маляк (это про меня) берёт у отца пилу, ты, Женька, и я — топоры (хватит двух), и мы все идём после школы к Курлыкиной. Вкальваем. Получаем денежки и всё — в общий котёл. Кончится работа у Курлыкиной, дальше у других найдём работу. Работаем весь сентябрь. И не только дрова пилить...

— А дальше? — напирал Давыдов. — Деньги куда? Из котла?

Вовка набрал воздуха в лёгкие и выдохнул:

— Покупаем на всех велосипед! С багажником!

Мы были парализованы гениальным ходом мыслей Белохвостика. Никому из нас не пришло такое, а его осенило... Купить велосипед! На свои кровные! Это не закрепитель, проявитель...

Я смотрел на смуглое, азартное лицо Белохвостика, и мне было завидно, что не я такое придумал.

Все горячо и сразу согласились с такой идеей.

...Когда мы на третий день, закончив работу, присели на огромное, обросшее опятами бревно во дворе Курлыкиной, хозяйка вышла из серой мазанки с двумя большими сумками, набитыми бутылками.

* Проявитель, закрепитель — реагенты для обработки фотоплёнки.

— Вот, нате вам! Так уж старалась ради вас. Всё выгребла. Подчистую. Самого-то другой год нет, а бутылок от него...

— Что это? — упавшим голосом произнёс Белохвостик и закрутил головой.

Мы были обескуражены.

— Что? — переспросила наигранно удивлённо Курлыкина. — За труды ваши! Помоете: и в магазин. Вот и барыш! И вот ещё, — она протянула мне на ладони кучку мелких монет.

Я машинально принял их. Скрипело её, то ли насмешливо-издевательское, то ли и впрямь искреннее: «Где вы ещё столько бутылок соберёте?»

Она уже скрылась в сених, а мы всё ещё были в оцепенении...

Что было делать? Мы поволокли сумки с бутылками мыть к Зинину колодцу.

— Из-под керосина, что ли? Несёт так! А написано «Вермут», — в сердцах бросив бутылку в траву, выкрикнул Женька. — Сейчас фитиль приделаю к ней и пальну пойду Курлыкиной в поленицу. Гори синим огнём!..

Он пошёл за бутылкой.

— Ты что? Ошалел? Тоже мне «проявитель-закрепител»! — урезонивал приятеля Сарайкин.

У нас вытянулись физиономии: прозвище родилось! Да какое!

— А что! Она контра! Самая настоящая буржуиниха, — не успокаивался Женька.

Он ещё что-то выкрикивал. Обида выпирала из него.

— А ты, — он уставился на Сарайкина. — Ты — «велосипед»! Вот ты кто!

— Нет, — хихикнув, возразил Сарайкин. — Велосипед у нас Белохвостик, — и, подняв вверх указательный палец, добавил: — С багажником!

На нас с Ракитиным напал смех. Мы повалились на траву и стали хохотать...

Когда тащились с сумками в магазин, Белохвостик пробасил:

— Надо было так договариваться сразу, чтобы только деньгами...

— Ага, откуда, например, я знал, — не успокаивался Давыдов, — после драки кулаками...

— Может, предупредить теперь надо? Морковкой и семечками, мол, не платить. Не берём! — предложил Ракитин, ухмыляясь.

— Я семечки люблю. Особенно тыквенные, — попробовал невинным тоном выправить общее настроение смешливый Сарайкин. Но его будто никто не слышал. Даже Ракитин молчал.

— Где натырили-то? И не мытые как надо. Комулятор Ванька и то чище приносит. А эти три с разбитыми горлышками. Несите, где взяли. Не приму! — продавщица Зина Авдошина говорила, не глядя на нас.

— Как? Мы же... — Женька не находил слов, — это неправильно! Это наш заработок! И потом, мы мыли.

— Какой заработок? Чё плетёте? — удивилась розовощёкая тётя Зина.

— Берите, вам положено работать, а не характер проявлять, — решил вступить в перепалку Белохвостик.

И тут же получил:

— Ах так?! Убирайтесь сейчас же из магазина. Пузыри несчастные! Пионеры, а как ханыги... Не возьму!

— Почему? — не сдавался Белохвостик.

— По кочану! — отрезала продавщица. — У меня тары нет. Хопа! Вот и всё! — она надула розовые щёки и сделала круглые глаза. — Убирайтесь, а то в школу сообщу, что дебоширите.

— Пошли, ребята! — благоразумно скомандовал Белохвостик. — Бесплезно... Прогремим... Тимуровцы, тоже...

Когда выходили из магазина, услышали за спиной:

— Сумки, сумки заберите!

— Отдайте их Курлыкиной, — холодно, как завуч, произнёс Женька. — Это её имущество.

Когда мы все оказались на улице, он так же уверенно и хладнокровно предложил:

— Завтра идём после школы к Таликину деду. Доделать надо. Всего-то осталось распились два бревна. Делов-то... А то подумает, что мы слабаки. Или контра какая... Старик-то пугливый.

Мы не возражали.

Под крепостной горой

Чтобы оказаться у заветных родников, нам оставалось всего ничего: перебравшись по мосту на левый берег Самарки, преодолеть, двигаясь вверх по течению, что-то чуть больше километра лесной дороги.

...Мы миновали заболоченный отрезок нашего пути и остановились. Посередине дороги, затерявшейся в густом ивняке и ветельнике, шёл, нет, скорее, величаво шествовал... индюк. Будто

испугавшись столь начальственного вида случайного встречного, внук спросил шёпотом:

— Дед, кто это?

— Индюк. Не видел никогда?

— Откуда? — начав смеяться, ответил внук, наблюдая, как нарядная птица тем временем с достоинством, осанисто остановилась и внимательно глядела на нас. Искоса. И как бы сверху...

— Важный какой! Индюк! — повторил внук, вслушиваясь в звучащее среди лесной дремоты слово. — Они что, водятся здесь? — и вновь смеясь, в удовольствие повторил: — Индюк!

— Ну, Саша, ты как маленький. Дачи наверху, кто-то держит, наверное. А этот удрал на время, погулять.

— Ничего себе, — не мог прийти в себя внук. — Смелый какой! А вдруг лиса? Или кто! Чик по шее и в багажник?!

— Или смелый, или глупый, — высказал я предположение.

Мы дружно рассмеялись.

На индюка наш смех подействовал своеобразно. Он постоял, сохраняя достойный вид, посреди дороги ещё какое-то определённое время. Не спеша, всё же отошёл чуть в сторону к кустам крушины. Там птица расхохлилась, надулась ещё важнее, чем прежде. Она будто услышала это Сашино «чик по шее...» и негодовала молча.

...Сначала по сыроватой тропе, выложенной жёрдочками, потом по деревянному шаткому мосточку у высокой Крепостной горы поднялись мы под завораживающую мелодию водных струй к желаемым родникам.

Красносамарские родники бьют под самой кручей. Под огромным возвышающимся земляным массивом, успокоившимся под необъятным, просторным куполом голубого неба. Под этим вселенским куполом пролегли далее, вверх по реке Самаре, село Покровка, Богатое, Бузулукский бор, отмеченный пребыванием в нём великого Пушкина!

— А какую воду пил Пушкин, когда добирался здесь до Оренбурга? — оглянувшись на меня, спросил внук. И я увидел его задумчивое лицо: — Может, из этих родников набирал воду?!

— Может, — согласился я, порадовавшись, что внуку пришла такая догадка.

Сколько уже сказано о родниках.

Не хочется суетловить. Но когда находишься вблизи родника, возникает неодолимое желание глубже понять, осознать необъяснимо таинственную суть их притягательной силы.

Тихий родник, отдающий водицу свою реке, не сразу и заметишь. Но их много здесь, в поречье. Много здесь и людей таких... как эти незаметные родники...

...Родники под Крепостной горой услышишь издали. Их несколько. И ручьи от них образовали чуть поодаль целое озеро. На редкость рыбное, спокойно светящееся в тальнике своей серебряистой поверхностью.

Эти два, к которым мы сразу припали, сморённые долгой дорогой и жарой, — особенные. В полутьме косогора и ветвистых деревьев бьют они уверенно и гулко. Огромный массив возвышенности выдавливает из недр своих водицу, и она, наполненная целебными дарами, является на свет.

Работают земля и небо. Земля и небо — родители всех родников.

Отвесная круча в том месте, где бьют дружно эти два самых мощных ключа, твёрдой породы желтовато-красного цвета. Больше красного!

У этих родников когда-то не было имени.

Они мало кому были известны в Утёвке. Пешком до них далеко. Автотехники было мало. А дед мой работал конюхом. На гужевом транспорте мы с ним колесили по всей округе.

Красносамарские родники — так назвал их мой дед Иван Рябцев.

Как давно это было! Тогда и берега здесь, крутые, чаще отвесные, не заросшие зеленью, были все почти красными. И река Самара, особенно в закатных лучах, — красной.

Красносамарские родники... У меня от этого названия тихая радость на душе. Многие приняли такое название. И я принял. Но про себя я их всё-таки зову: дедовы родники.

Я никогда не говорил об этом своему внуку.

...Откуда у него такое неудержимое желание побыть здесь? Около этих родников? Где совсем ещё недавно был его степенный, приветливый прапрадед... Что движет им? Обычная страсть к путешествию, к новизне? Избыток молодой энергии? И то, и другое?

А может, и та таинственная и неодолимая сила, которая влечёт нас к своим первоистокам...

Сколько ни будь около Красносамарских родников, а уходить не хочется...

...И всё не выходила из головы встреча с китайцами там, на выезде из Урёмы. И внук думал об этом же:

— Выходит, они и воду из родников берут. В кузове у них штук пять бутылок с водой было, пятилитровых...

— Ну берут и берут, — угрюмовато откликнулся я, — все пить хотят.

А внук продолжал обдумывать увиденное:

— Приедем в следующий раз, а они огородят родники. И не подойдёшь напиться... Торговать ей начнут. Ясашный угол уже заняли...

Водонос

Я поднялся с намерением вернуться к реке, выйти на простор. Но тут сверху на крутом склоне появился человек. Он спускался по тропе к роднику с двумя пятилитровыми пластиковыми бутылками.

Проворно, не обращая на нас внимания, деловито сполоснул обе бутылки. Привычно поставил их под гулкие мощные струи. Когда они наполнились, аккуратно их переставил ближе к тропе на крохотную ровную площадочку. Присел рядом.

Мне показалось наше общее молчание неловким.

— Живёте в посёлке?

— Живу, — ответил человек тонким дребезжащим голосом. — Вот воду матери ношу, соседям заодно.

Мне интересно было поговорить с тем, кто живёт здесь. Узнать местные подробности жизни.

Спросил:

— Индюк ваш?

— Нет, — ответил водонос, — соседа.

— А «жигулёнок» по ту сторону моста? — тянул я на разговор незнакомца.

— Тоже его. Я езжу с Самары через Мало-Мальшевку.

— Но так дальше?

— А что делать? Мост вон какой. Чтоб не наводить его каждое лето заново, нефтяники возят вахтовиков через Богатое. Там мост серьёзнее.

— А люди, которые здесь живут?

— А кому они сейчас нужны, люди?.. Вначале перестройки взялись понтонный наводить, но потом оборзели... Увидели, что никому ни до чего... Никто не спросит!

Глядя на его довольно приличную одежонку, на курчавую аккуратную бородку, гадал, кто он? Не определив для себя, спросил, как можно дружески:

— А сами работаете?

— Работаю? Инженер по образованию. Завод в Самаре грохнулся — стал челноком. Потом — каким-никаким бизнесменом.

Он замолчал, теребя прутик в руках.

— И что дальше?

— Дальше ничего, — последовал ответ. — До бомжа осталось недалеко.

Уже по его тону догадывался, что дальше «ничего». Но слушал.

— Невмоготу стало. Квартиру продал. Расплатился с долгами. Осточертело. Жена ушла. А я уехал с матерью сюда. В её саманные пенаты. В мазанку!

Хотел услышать я подробности местной жизни и услышал:

— Горит всё под ногами, горит!.. Вот воду ношу. Себе. И соседу. Теперь я водонос! А был ещё недавно главным специалистом. Сосед иногда подбрасывает мне мелочь «на сигареты». Я на эти деньги себе хлеб покупаю.

— Там же колодец был посреди посёлка. Мы, ребятня, пили из окованной, выдавшей вида тяжёлой бадьи. Глубокий такой!

— А... — неопределённо мотнул он рукой.

Мне было непонятно, цел колодец тот или нет? Кажется, ему надоело отвечать на мои вопросы. Он спросил с расстановкой:

— Говорите, что путешествуете по Самарке? Душу нянчите? Хорошенькое дело!

Он встал, наклонясь, поправил на земле бутылки, выпрямился во весь рост.

Его изнутри будто подпирало. Прямило чем-то упругим.

— Сосняки кругом горят! По всей России пожары! Вы знаете?

— Да! Мы всего один день на реке. В курсе.

— В курсе?! Москва задыхается от торфяников! Столица! Что творится?! Мало что мы сами вымираем! Нас выжигают!

Он глянул на меня сверху вниз. Не дождавшись моей реакции, почти выкрикнул:

— Когда такое было?!

Мы разговаривали, не назвавшись друг другу по имени. Будто осознавали, что это сейчас не главное. Главное — вот это: что говорит один и что думает другой. И нас таких тысячи, если не миллионы.

Мне показалось, что говорившему со мной человеку совсем и неважно, что я думаю:

— Пожары, к сожалению, будут ещё, — сказал я. — Мы, разрушив старое в лесном хозяйстве, оказались неготовыми к такой стихии.

— На Самарке душно и грязно. Загажено всё. Гроза! Или очистительное половодье необходимы! И на Самарке, и... везде, — с пафосом почти выкрикнул «водонос».

Я покачал головой:

— Но ведь в несколько лет один раз на Самарке бывает грандиозное половодье. Воды всклень до сёл. Бушующее море! А река чище от этого не становится. Два-три года, и опять загажено всё. Мы гадим... И с каждым годом сильнее. ...С нами так издавна, в нашей истории... Какой ценой всё, а итог? — произнёс я.

— По-вашему, терпеть?! — резко отреагировал мой собеседник.

— Не знаю...

— Вот это сонливое состояние и губит нас! Очнуться пора! — резко отреагировал «водонос». — И половодье будет! И пожары! Придёт час! Если всё будет так дальше, гроза разразится!

— Но кому она нужна? — отозвался я. — Будет от неё только разруха. Было у нас в нашей истории не раз такое. Об этом уже говорено сколько...

— Кому нужна? А кто её остановит? Вот в чём вопрос! И не сдерживать надо, а помогать...

Он поднял над головой руку. И стал похож на бронзовый памятник. Меж тёмных дерев. Стал шире в плечах. И эта его борода дремучая...

«Даже здесь, в лесной чащобе, у родников, не уйти от митинговой волны, от ощущения надвигающейся беды», — саднила мысль.

А «водонос» продолжал:

— Вот вам простенькая арифметика: нас с каждым годом становится меньше на миллион. Помножьте на сто лет, будет сто миллионов. Кроме того, около трёхсот тысяч человек уезжают в год за кордон. Умножьте на сто! Будет ещё тридцать миллионов. Смекаете в арифметике? — он глянул на меня исподлобья. — Сложите эти две цифры: получится что?

— Сто тридцать миллионов получится, — произнёс внук.

Бородач будто не слышал. Сложив два пальца правой руки колечком, глядя сквозь них, почти выкрикнул:

— Ноль получится! Нас не станет! Мы — ноль! Нас нет! Римская империя за два-три века исчезла, а нам и одного хватит! Мы привыкли перевыполнять... перегонять...

Я молчал.

— Скажете, рожать надо! Да, когда русские хлынули потоком через Урал на Восток, рожали мы больше, чем китайцы.

Он яростно тряхнул головой. Его явно не устраивало моё молчание.

— Но кому сейчас это надо! — утвердительно произнёс он. — Китайцы не хуже нас знают арифметику. Посмотрели на нас и поняли, что от Дальнего Востока до Урала всё будет зачищено без них. Для них. И ждут своё спокойненько. Какие к ним претензии?

Диспут закончен!

Россия в очередной раз попала в капкан!

«Он так говорит, потому что сам по себе такой? Или я его провоцирую своим походным, пролетарским видом? Он меня наставляет? Но я так много думал о том, что он говорит. И столько лучших умов России маялись над порядком русской жизни? И только ли русской?.. И только ли жизни? Человек и природа! Что может быть важнее в наше время этой взаимосвязи!

...Великий художник и учёный Леонардо да Винчи говорил, что наступит время, когда все учёные будут художниками...

А наш великий соотечественник Владимир Иванович Вернадский ставил во главу всего человеческий разум. Продолжая развивать учение о биосфере (живая оболочка Земли), выявляя геологическую роль жизни живого вещества в планетарных процессах в формировании биосферы и всего разнообразия живых существ в ней, он выделил человека как мощную геологическую силу. (Опять я заговорил языком преподавателя?)

Учёный сформулировал закон ноосферы (мыслящая оболочка Земли, сфера разума), считая, что биосфера неизбежно превратится в ноосферу, то есть в сферу, где разум человека будет играть доминирующую роль в развитии системы человек-природа...

Как далеко в сторону мы ушли от пожеланий и «предвидений» великих наших мыслителей прошлого. Мы идём по другому пути... Становится понятно, что пока люди не научатся управлять собой, им не до разумного управления природой... И надо ли ему управлять? Помогать надо...»

...Глядя в спину удалявшегося человека с двумя бутылками воды, уныло думал: «Не водонос вовсе ты, а едва ли не Емельян Пугачёв. И сколько бродит таких по нашим городам и весям, не только в чащобах лесных... Но как он, слава Богу, бережно наливал родниковую воду, как просветлённо глядел на неё... А ведь не в первый раз пришёл к источнику, к роднику. И разговор наш, может, неслучайно возник именно у родников...»

У внука своя реакция на происходящее:

— Трещит, как кузнечик, — сказал он, глядя вслед бородатому. Я ничего не ответил.

Мы шли низом под отрадное для меня сызмалу гульканье сбочь от тропинки родников поменьше, чем те, у которых только что сидели.

Невидимые в зарослях, они неустанно вершили свою животворную работу. И от этой работы вокруг было и зелено над головой, и прохладно.

Даль неоглядная...

...Не хочу я пополнять ряды плакальщиков. И заранее хоронить нашу общую жизнь.

Но я хотел бы успеть понять что-то очень важное. То, после чего стало бы легче жить...

...Боль. Боль за окружающее... за общую судьбу нашу — вот состояние, в котором сейчас находится значительная часть моего поколения.

А может, так и бывает при смене поколений? При смене эпох? Мы так горазды круто менять одни заблуждения на другие.

...Сколько же нами совершено поступков, сколько принесено в жертву самого дорогого во имя, казалось, ещё более дорогого... Во имя движения, прорыва к лучшему... Всё ли оправдано? Пошло на пользу?.. Эта череда потерь и потрясений и называется жизнью?! Когда не определишь: плата за них необходима? Или — это плод заблуждений гениальных, великих умов. У которых и замахы на новое, и ошибки столь велики, что не поддаются до конца осмыслению?..

...Мы поднимались от родников вверх в сторону Бариновой горы, к седому кургану. В такую жару непростое это дело.

В какой-то миг мне показалось, что в левой моей руке не руль велосипеда, а уздечка. И веду я в поводу своего степного скакуна. Мы шли меж нежно-розовых цветов вьюнков. Таких крохотных в этом огромном раскалённом пространстве. Но таких удивительно жизнестойких...

Внизу, у ног, словно граммофончики, чутко слушали они мелодию летнего дня, песню солнца, чтобы, едва лишь начнётся закат, собраться в тугие бутончики. А утром к восходу светила раскрыться вновь — и одарить полянку вокруг себя едва уловимым, тонким и нежным запахом, сходным с ароматом своих далёких сородичей по Земле, южан — ванили и миндаля...

...Отсюда, с высоты птичьего полёта в ясный день все окрестности старинных сёл Покровки, Утёвки — как на ладони!

В низине слева, щедро освещённая солнцем, видна отчётливо Покровская церковь. А там, за рекой, вдали: слился своими голубыми куполами с небесной лазурью Храм святой Троицы села Утёвки. Без куполов этих двух храмов трудно себе представить развернувшуюся здесь русскую бескрайнюю равнину. Так они дополняют друг друга: и храмы, и река, и равнина.

А где-то, совсем недалеко, справа, Мало-Мальшевский храм Святого Архангела Михаила. Отсюда не видимый, притягивал он к себе, звал, напоминая о том времени, когда ко мне чудесным образом вернулось зрение. И я мог в жизни своей видеть и лицо моей мамы, и свою Отчину, вобравшую в себя невообразимое множество и ликов, и храмов, полутонов и оттенков этого великого света, дарованного нам Создателем...

Отрадно и празднично осознавать себя в радостном плену.

* * *

Эти три храма, претерпевшие разрушение, надругательства, забвение, но сохранившие в себе животворную силу — для многих теперь как родники, несущие людям, округе всей, неиссякаемую веру и надежду, успокоение и так редко выпадающую душе благодать...

Как же мне повезло, что я родился и вырос на этом просторе! Отчего меня так отметила судьба, дав и бескрайнюю степь, и этот лес! И реку нашу, Самару. Дала возможность смотреть на храмы. Видеть их красоту!

Смогу ли я когда-нибудь выразить в благодарность всё то, что накопилось в душе моей?..

* * *

Вспомнилось совсем недавно услышанное.

Мне нужно было выправить кое-какие справки в Пенсионном фонде. Насиделся в очереди. Куда деваться?

И наслушался...

Рядом сухонькая, маленькая старушка с тёмным лицом и натруженными, отяжелевшими руками. Очень похожа на мою маму. Такой свет идёт от неё, едва начнёт говорить...

«...Не только из Москвы приезжали в Самару работать на эвакуированных заводах, в войну-то...

По сёлам ездили, агитировали. Помню, как мы переезжали в город. Как очень долго жили зимой в подвале...

— Жалеете, — спросил, — что в город переехали? Или к лучшему?

— Что ж жалеть-то... Шило на мыло... И хорошее было в селе-то. Что говорить? Детство было... Из весёлого-то что? — повторяет она мой вопрос. — Было весёлое. Вот, когда церковь у нас закрыли, клуб там сделали. Веселее стало. А как же!..

Дед мой крестился, глядя на такое:

— Как можно эдак? Там Божья Матерь на стене плачет. А вам бы только потолкаться, посмеяться...

...А молодёжь валом валила в клуб. Там же и кино, и песни! Какие фильмы были! После каждой песни помнили. Идём по улице и только услышали, а уже поём. Такие песни!..

У мелкоты своя забава: когда колокол наши мужики снимали, не удержали. Он и упал. Наполовину, считай, в землю вошёл. Такой тяжёлый.

Зима настала. Мы снегу подгребли, утоптали да полили водой — отличная горка получилась!

Катались все с неё! Прямо аж до речки. Визгу было! Кроме стариков-то наших, мало кто соображал, что, глупые, делаем...

Но кто их слушает, стариков-то?

Не зря говорится: кабы нам тот разум наперёд, какой приходит опосля...»

* * *

— Дед, а отсюда другие Утёвские курганы видно? — глядя из-под руки в раскинувшуюся широченную низину за рекой, спросил внук.

— Нет, не видно, — отвечаю.

Даже самые огромные когда-то, которых на юго-восточной окраине Утёвки четыре, не просматриваются теперь.

Хотя самый крупный из них имеет диаметр более ста метров и в высоту около четырёх.

Большой Утёвский курган самый грандиозный памятник эпохи бронзы в Восточной Европе.

— Непонятно, как такую махину можно было вручную насыпать. Не верится!

— Верь не верь. Учёные подсчитали, что трудиться должно было над созданием такого кургана около тысячи человек. Более сорока дней.

— А для чего всё это?

— Таков был обряд захоронения вождей или жрецов.

— И что-нибудь находили учёные в курганах?

— Конечно. В Большом Кургане нашли кости рук, ног, череп крупного мужчины, посыпанные охрой. В ногах его лежали медные предметы: топор, стилет, шило. Ещё что-то, не помню... У черепа погребённого были две массивные золотые подвески — серёжки.

— Интересно! Ни имён, ни надписей... Всё молчит... Покрыто тайной...

— Не всё молчит. Учёные многое научились разгадывать. Хотя ты прав. Найденный медный стилет из Большого Утёвского Кургана имел навершие, сделанное из железа. Загадка!

В египетской гробнице Тутанхамона было найдено железо, но обнаруженное недавно на окраине Утёвки оказалось по предварительным данным старше на 600-700 лет.

— Ничего себе! Ровное такое место. Казалось бы... И вдруг: Тутанхамон, бронзовый век...

* * *

Потянуло под тень старинных дубов. Хотя бы на пять минут! Добравшись, минуя голубые озёрки цикория, до дерев-великанов, мы сели на круче в окружении жёлтой россыпи зверобоя. И притихли.

Сидели лицом к реке, попав в плен открывшейся нам красоты. Душа моя воспарила.

Как же я долго, непростительно долго, жил без этой необъятной равнины? Как долго был захвачен стихией городской жизни. В этом — азарт познания и покорения нового, недоступного ранее для моих деда, прадеда. Всех моих прародителей по материнской крестьянской линии.

Даже когда их уже не было в живых, часто казалось, что я физически чувствовал, как они продолжают дружно и одобрительно напутствовать меня: «Иди, иди вперёд! Познай, сумей!.. Сделай то, что мы не смогли по причине своей неграмотности, свалившихся на нас войн, революций, голода и мора... Иди!.. Мы в тебя верим! Ты наше оправдание. Оправдание наших жизней. Наша надежда...»

И я, кажется, что-то сделал на производстве, что-то в науке. Так было лет до сорока пяти.

Пока не прорвалось для меня самого вначале, а, может, и сейчас, необъяснимое до конца, но подготовленное мощно и неудержимо чем-то либо кем-то, дремавшее чувство...

Оно переключило моё устоявшееся «академическое» существование, дало вспышку. Дало иной свет...

И в этом свете по-другому увидел себя, своих родителей, жизнь свою.

Увидел обновлённо...

В это время я начал интенсивно писать.

Осознав в себе иные силы и иные возможности, перестал бояться искать ответы на вопросы, от которых ранее уклонялся... Я повернул к своим истокам...

И, несмотря на развал, распад вокруг, оскудение и быта, и душ, наперекор всему, эта — порой трудная, как крест, тяжёлая любовь к своим истокам крепит дух мой теперь...

Знаю, она неизбывна и неуничтожима...

* * *

Я было уже встал, намереваясь уходить, но задержался. Вновь мои глаза, встретив необъятную даль, заставили вернуться к моим мыслям.

Кажется, я ходил в них по кругу. Мне, я чувствовал это сейчас острее, чем когда-либо, надо было внятнее разглядеть что-то в себе, попытаться уяснить...

Сильнее, разносторонней и проникновенней на меня ничто не влияло так с детства, как эта даль.

Она растворяла меня в себе. Магнетическое воздействие её на меня велико и сейчас...

На Бариновой горе

Вся суть моя, где бы я ни был, навечно связана с этим необъятным, захватывающим дух пространством, открывающим с Бариновой горы. В нём, в этом пространстве, до всех наших нынешних благ и гримас цивилизации, формировались навыки, характеры, традиции, глубоко связанные с природой, пропитанные её равнинной мощью и неохватностью... На этой русской равнине прорастал характер и образ жизни моих земляков, накрепко связанных в своё время с лесостепью и рекой Самарой, приютивших когда-то переселенцев из многих центральных районов России.

В числе первопоселенцев были и прародители моего деда. Трудились на этой равнине.

Растили хлеб на земле. А земля растила их. В трудовой книжке моего деда в графе «Профессия» записано всего лишь: шорник-кожевник.

В кожевенном цехе нашего села дед проработал мастером с 1939 года по 1952 год. Все эти годы продукция цеха шла в наши войска. Единственная награда моего деда — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». В послевоенное время до выхода на пенсию у деда, хотя и в разных местах, была одна работа.

Так и указано в трудовой книжке: должность — «конюх». Мне странно было читать такую запись. Лошади, сбруя, сани, телеги, фургон, рыдван — всё это воспринималось органичной частью моего деда, его сутью. Без всего этого деда нельзя было представить! Какая тут должность? Он так много умел помимо этого... И ещё удивила одна запись в военном билете. В графе «Наименование военно-учётной специальности» проставлено: «стрелок автоматического и ручного пулемёта». И далее на другой странице: «Призван Бузулукским уездным военным комиссариатом в 1919 году. Зачислен в 34 стрелковый полк. Стрелок с июля 1919 года по сентябрь 1921 г.».

Мой дед — самый спокойный, невозмутимый и доброжелательный из всех, кого я знал в своём детстве — пулемётчик? Я узнал об этом, только когда он умер и его военный билет вместе с трудовой книжкой оказались у меня. Он никогда о своей военной службе при мне не рассказывал.

Я только от бабы Груни узнал потом, что его ещё в 18-м году во время мятежа белочехов в Поволжье забрали на службу белые. Ему с другом из Самары удалось бежать. Они переплыли реку Самарку и ушли степью в Утёвку. Не нужна им была война.

Другим я своего деда и не могу представить.

Но почему такими грустными глазами смотрел отсюда, с Бариновой горы, в даль мой дед?

Что он видел? Что знал о себе стрелок пулемётчик?..

За прошлое своё или будущее наше переживал?..

...Я рос около деда шорника и конюха и около моего отца — увечного инвалида войны. Рос как многие в селе. У некоторых моих сверстников ни деда, ни отца после войн вообще не было.

Рос, не осознавая того, что жизнь моя течёт среди величия простой жизни, среди простодушия, которого теперь почти уже нет.

Но оно было? И в нашей когда-то жизни российской, и в литературе.

Не зря «Капитанскую дочку» в доме моего деда читали вечерами вслух...

Дед любил подолгу быть на Бариновой горе.

Ему это надо было: молча посидеть и посмотреть вокруг. Молча и отрешённо.

Мне всегда в такие минуты казалось, что он вот-вот запоёт. Запоёт своим несильным, спокойным, умным голосом. Но он молчал.

Он пел обычно тогда, когда ехал на подводе на открытой местности. Всегда вполголоса...

Бывало пел и в застолье. Тоже негромко и отстранённо. Как бы никого не замечая. И какие бы певуны не были рядом, все замолкали. Такая была в нём внутренняя правота. Он будто бы был на Бариновой горе, а остальные внизу. И они, слушая его, словно бы пытались понять, что он видит с этой своей высоты? Что нас всех ждёт...

Теперь из нашего времени, дожив до его возраста, мог бы я объяснить: чего мы дождались, что нас настигло?..

Мой утёвский отец Василий Шадрин никогда не поднимался на Баринову гору, на эту высоту...

С перебитой войной ногой и изуродованной спиной ему было не до высоты...

Был недугом своим и нуждой так стиснут, так грузно прижат к земле...

* * *

В последнюю мою поездку в Москву, в разговоре с издателем четырёхтомника моей прозы Николаем Ивановичем Дорошенко говорили мы о многом. Вспоминали Утёвку, его Сухиновку в Курской области.

Говорили о детстве. О радостном и печальном. Порой трагическом. Я тогда начинал подумывать о повести, которую сейчас пишу.

И у меня невольно вырвалось: «Как было бы здорово сказать полновесно читателю, откуда мы пришли!»

На что он откликнулся небывало для него мрачно:

— Вопрос сейчас не в том «откуда»? Вопрос: «Куда пришли?! Куда все идём?»

Вопросы повисли в воздухе. Мы оба молчали.

Эти вопросы не давали мне покоя и когда мы попрощались. Николай Иванович вошёл в здание Правления Союза писателей России, а я подался к метро. И скоро человеческий поток подхватил меня и понёс, не давая зацепиться в одиночестве в толпе хоть за какую-нибудь соломинку, чтобы поймать равновесие в себе...

Всё-то мерцали в памяти, в сознании заключительные строчки из его не то повести, не то притчи «Прохожий» о странном че-

ловеке: «...осталась у нас только одна забота: истаять с лица земли, как влага, оставшаяся после давно отшумевшего дождя».

Неужто это так?.. Этот выплак, это неверие в самих себя — последнее, что у нас теперь есть? Мы ведь столько сумели преодолеть...

Дико чувствовать себя частицей исчезающей цивилизации...

...Когда я вернулся из столицы и оказался здесь, на Бариновой горе, вспомнилось, как в один из горемычных моих дней, в детстве, среди бесконечных забот и унижительной нужды, среди повседневной занятости моих родителей, забот о том, чем накормить и как бы нас во что приодеть, терзался, что, кроме этого, никому не нужен со своими подростковыми мыслями и переживаниями. Не нужен. Не до того.

Как в том столичном кафе, где мы сидели с Николаем Дорошенко.

Там, в зальчике, погуливала молодёжь, стоял пивной дух. Было мелькание лиц и клубок спутавшихся звуков и запахов, едкого сигаретного дыма. И также не было главного: не было ответов на мучившие вопросы...

...Вновь вспомнились те давнишние, теперь кажущиеся такими наивными, терзания из детства: «Вот жизнь была у Чацкого! — размышлял я тогда понуро. — Он мог мечтать, рвался к «свободной жизни», к занятиям наукой и искусством», а тут бесконечная работа до ломоты в руках и в лесу на сенокосе, и дома: то в огороде, то на случайных заработках с отцом, когда он подряжался либо забор где ставить, либо ещё что. Отец умел находить работу... Нужда заставляла...»

Я тогда чувствовал, читая Грибоедова, что становлюсь другим. Смотрю на окружающее как бы со стороны.

Комедию мы осваивали кусками. Но я прочёл её несколько раз от корки до корки. «И не комедия это вовсе...» — думалось мне. Эта чудо-книга учила мыслить и знать. Учила тому, чего мне постоянно не хватало. И в школе, и дома.

...«Горе от ума» мы так и не поставили на клубной сцене, хотя бы в отрывках... А замахивались и на «Гамлета».

Валентина Яковлевна уехала из села. И драматический кружок наш распался.

Без драмкружка я осиротел. Без клубной сцены всё стало неинтересным. ...И пришло время, когда, несмотря на подбитые крылья, захотелось взлететь! Наперекор!

И не было боязни разбиться.

Я тогда «взлетел». И не разбился. Вернее, оторвался от земли. И всю почти жизнь свою провёл вдали от дома. Но почему теперь, когда, как говорится, уже не еду на ярмарку, а возвращаюсь с неё, вновь чувствую ту же заброшенность свою. И неприкаянность. Ту же... придавленность...

Хотя и полагал раньше, что прожил свою прежнюю жизнь (хотя бы часть её) в осознанной необходимости, в осознании своего предназначения, дававшего внутреннюю свободу... Внутреннюю...

...Почему вновь ищу спасительную соломинку? Мне теперь много уже и не надо для себя... Что станет с Россией? Вот он, главный вопрос! Он не отпускает. Что знает о судьбе моей Родины это широкое небо? Где сокрыто, где заложено то, что определит наше общее будущее?..

Каким оно будет? Как встретит и примет моего беспокойного внука?

...Здесь, встретившись взглядом с необозримым пространством, как в детстве, начинаешь чувствовать, что ты не одинок... Казалось бы, ты — невидимая песчинка, в огромном мире. Ан нет, ты перед взором Его. Кажется, вот-вот и... откроется истина. Пусть даже уже не тебе...

Здесь, под открытыми небесами, возрождается непосредственность, желание жить без самокопания, дышать полной грудью. Многократно усиливается доверие к жизни, вера в неё...

* * *

...Возвращались мы по мосту пешком. Ехать на велосипедах, лавируя меж огромных щелей и дыр, уставшим нам стало не под силу. Старика уже не было на мосту.

Вниз по течению, метрах в пятидесяти, у песчаного мыска, появилась палатка. Рядом на плёсе шумно плескалась ребятня. На самой середине обмелевшей реки белотелый, как цапля, стоял человек. Он умывался. Воды в реке было столько, что ему приходилось низко наклоняться и опускать руки, черпая её.

Ребятишкам на мелководье было радостно. Они беззаботно смеялись. А девочка — худенькая, стройная, как балеринка, в юбочке из сизых лопухов, всё выкрикивала:

— Папа, папа! Смотри, какая я! У меня корона из одуванчиков и ромашек. Я лесная принцесса!..

— Что она кричит? — не выдержал мой нетерпеливый внук. — Разве может быть такое: лесная принцесса?!

— В детстве может быть всё! — улыбаясь, отвечал я.

«Как из лука стрела...»

После моста мы ехали в село по когда-то грейдерной, широкой дороге. Теперь-то она не была таковой. Сузившаяся втрое, ухабистая, потерявшая свою привлекательную прямизну, она стала зарастать. После того, как прошло укрупнение сёл, Утёвка перестала быть районным центром. «Дорстрой», следивший за дорогами, со всей своей техникой перекочевал в Нефтегорск.

Я ехал впереди внука, на какое-то время забыв о нём. Подводил как бы итог. «Мы столько проехали, а ничего не увидели необычного. Для внука это не очень. Выходит, не оправдал ожиданий?»

— Постой, постой, — урезонивал себя. — Они же есть, есть впечатления!.. Их только надо помножить на ту остроту восприятия, которую ты уже утрачиваешь. Между тобой и внуком — столько лет жизни!

Ты хотел, чтобы было всё неизменно, как раньше? И в то же время радоваться новому. Но только тому, что нравится тебе?..

Это у тебя старческое.

Раньше?!. Те, которые раньше тебя жили, тоже в своё время вздыхали: «Вот раньше было...»

И внук твой, придёт время, когда-нибудь, да скажет: «Помню, мы с дедом...»

Всё зависит от того, как он запомнит нашу поездку! Вернее, как увиденное тронет его сердце...

...Родники памяти. Они у всех разные... Каждый помнит своё. А есть, которые живут... без памяти. Таких становится всё больше и больше.

Внук сейчас рвётся вперёд даже там, где не следует этого делать...

Но ведь и я таким когда-то был.

Не один велосипед загнал...

Это теперь я опасаясь за крутым поворотом то обрыва, то бревна. А то лося! Пуганый! Было однажды осенью такое со мной в лесу. Столкнувшись неожиданно с сохатым на узкой тропе, только, может быть, и спасся тем, что инстинктивно бросил велосипед поперёк тропы. Вовремя ретировался... Тот старенький, дребезжащий велосипед, упавший поперёк лесной тропы, истоптанный сохатым, — оказался моим спасителем.

И потом... Как не было у нас с внуком открытий? А индюк с вельможной походкой! Ведь я стоял, кажется, с открытым ртом, когда наблюдал его...

Самодовольный индюк. Мне показалось, что это мы... да... большая часть человечества, возомнившая себя вершиной всего. Уверовавшая в свою безнаказанность. Будто мы в полной безопасности, в полной независимости от того, что вершим безоглядно. От того, что забираемся так далеко (будь то страны света, космические дали или глубины науки), что балансируем на страшной трагической, апокалипсической грани...

* * *

Мы двигались по просёлочной дороге, не сворачивая на большак, по которому бойко сновали машины. Помню поразившие меня в детстве слова отца об этой дороге. «Как из лука стрела». Не ожидал, что про дорогу можно так сказать!

* * *

С этой широкой, теперь хорошо заасфальтированной, прямой дорогой, идущей от Утёвки в Покровку, связано немало.

По праздникам на ней когда-то устраивали скачки на лошадях. Всё необычно! И лошади: стройные, лоснящиеся! Беговые! Не то, что наши колхозные клячи! И наездники! Сухопарые, уверенные ребята, холодно поглядывающие на толпу вдоль дороги! И коляски, на которых они восседали! Двухколёсные, лёгкие, на резиновом ходу! Казалось, ненадёжные по сравнению с колхозными фургонами и дрожками, они выдерживали к нашему ребячьему восхищению такие вихревые скорости!

А как захватывающи были верховые скачки на лошадях молодых кавалеристов! С будёновками на головах!

Не обходилось и без курьёзов.

Когда была показательная рубка всадниками на скаку лозы, установленной вдоль дороги, один боец с маху, поигрывая шашкой, умудрился отсечь своей же лошади ухо...

Это я слышал со слов моего дядьки. Он замечательный, но ведь и мастер на всякие придумки...

Один случай, достоверный и страшный, случился в небе над лугом. Здесь, совсем недалеко от этой знаменитой дороги.

...Лётная школа, которая базировалась на окраине села, проводила обучение курсантов парашютному делу.

К парашютным грибам в небе за селом все уже привыкли. В тот день одного из лётчиков местный парень — доброволец, которому невтерпёж загорелось прыгнуть с парашютом, всё-таки уговорил. Всё бы ничего, но парень замешкался там, в самолёте. И

так получилось, что его парашют, раскрывшись, зацепился за хвостовое оперение. Хвост у самолёта отвалился. Кукурузник рухнул на землю. Парашютист остался жив, лётчик — погиб.

Замыкание круга

— Дед, ты с Бариновой горы показывал мне огромный треугольник, состоящий из линий, соединяющих Покровку, Утёвку, Бариновую гору. Мы сейчас внутри этого треугольника, получается? Да?

— Так точно!

— Странный треугольник.

— Отчего же?

— Бермуды какие-то! Бермудский треугольник!

— Почему?

— А всё здесь исчезает. Бесследно! Пшеничное поле, Ледянка, мост через Самарку, посёлок этот Красносамарский...

Было, было, говоришь. И нет... А нового-то что появилось?

Я замешкался, не зная, что сказать. Я над этим уже нагоревался.

Ответил с усмешкой, так, что и самому не понравилось:

— На выезде из села в сторону областного центра, там, где обычно сеяли озимые, собираются, говорят, обустроить поля для игры в гольф. На заграничный манер, значит...

Внук неопределённо молчал.

* * *

...По этой просёлочной дороге я возвращался однажды домой, неся солидный заработок.

Это были не первые мной заработанные деньги. Первыми были — гонорар или, точнее, может быть, премия за моё выступление перед Новым годом в районном тогда доме культуры, где я читал стихи.

Но деньги, заработанные на сцене, не показались мне тогда серьёзным заработком. А вот те, что я получил вместе со своими школьными друзьями, имели особую цену. Они были результатом важной работы — посадкой яблонь, которую вёл местный плодОВОЩНОЙ питомник.

В степи, в облюбованной широченной ложбине должен был зацвести огромный, больше сотни гектаров, сад.

Деньги от меня родители не приняли, хотя сумма превышала пенсию отца. Мне посоветовали купить часы. Так появились у меня в десятом классе новенькие надёжные часы марки «Победа».

Всё-таки что же сейчас происходит со мной в этом нашем путешествии?..

Будто снята с меня вся тяжесть того, что я приобрёл, насобирав, как липучие репы, за долгую свою жизнь на стороне. И теперь, вернувшись на свои берега, к родному, переживая заново прежнее, часто с разбуженной дремавшей во мне болью, замыкаю этим как бы некий свой круг.

Нахожу, кажется, смысл в этом своём возвращении. И успокоение.

Но плодотворно и созидательно ли это моё возвращение, такое замыкание круга? Сейчас? Когда, кажется, что есть и силы, и не пропала жажда жизни?..

Нашептали мне мои Красносамарские родники потаённое и глубинное. На древнем своём первородном языке. И мне суметь надо теперь понять многое...

Успокоение и жажда жизни!.. Как они в моём возрасте, соприкасаясь друг с другом, проявят себя? Помощники ли они друг другу?

Притом всё то, родное, неизбежное, что я вспомнил и пережил заново за эту свою поездку, многим не ведомо...

А, может, уже и ненужное для большинства? Даже для тех, кто живёт теперь недалеко от родников своих.

Новое время!

...Изменившее, убивающее прежнюю жизнь и обесценивающее настоящую...

Уничтожающее порой корневые основы жизни...

Какие уж тут традиции, преемственность?!

Они, если и есть, то только внешние, поверхностные. Образ нашей жизни, её дух, питаемые таинством взаимосвязи Бог — человек — природа, давно под угрозой.

Нас так много стало на земле, но мы становимся на ней одиноки...

...Так думалось мне на песчаной самарской дороженьке. Всё-то казалось, что вот чуть-чуть, одна ещё мысль, один ещё её неожиданный поворот и... я пойму великий и неостребованный до сих пор смысл, как всегда мне верилось прежде, неистребимой нашей жизни...

Думалось мне так, и в то же время мелькала через столетия холодная усмешка Монтеня:

«Нет занятия более пустого и вместе с тем более сложного, чем беседовать со своими мыслями...»

Я всё, кажется, продолжал гнать по кругу, барахтаясь в своём неотвязном...

Коршун над степью

— Дед, смотри, смотри! — прокричал внук.

Я остановился.

Вдоль дороги, отяжелевший от притихшей в его когтях добычи, совсем низко, метрах в двух-трёх над сухой, пожелтевшей от зноя травой, летел огромный коршун.

Его жертва, то ли большой хомяк, то ли барсучок, надёжно охваченный когтями, обвиснув безжизненно, болтался под огромными, мерно работающими с машинной размеренностью крыльями хищника.

— Поехали, догоним, — встрепенулся внук.

— Как догонишь? Вон овраг рядом! Он повернёт, перелетит через него, и что ты будешь делать со своим велосипедом?

— Не подумал, — и провожая взглядом коршуна, то ли удивился, то ли одобрил: — Хитрый какой, знает, что недосыгаем, поэтому и не торопится.

— Опытный, — согласился я.

— Не знает он про того надутого индюка на дороге... А то бы...

Мы долго ещё наблюдали, как хищник летел вдоль дороги, не в силах подняться выше. Потом его не стало видно...

И тут внук беспечно подвёл итог увиденного во фразе, заставившей меня вздрогнуть:

— Сильный поглощает слабого — закон природы!

Я не нашёлся что ответить.

«Он что, сознательно так сказал?.. Глобально... Или не подумав? Не поедает, не уничтожает, а поглощает...

Мы, выходит, опять думаем об одном и том же?..»

Посмотрел на внука. Он возился с заскрипевшей педалью.

Я налёг на свои и, объезжая внука, прыгая на кочках, погнал свой велосипед навстречу колеблющимся в знойном дневном марева крайним домам.

...Повернувшись, увидел, как внук, опрокинув резко велосипед на заднее колесо, приподнял переднее и с места в карьер метнулся за мной, пытаясь нагнать и ехать рядом, чтобы уйти от пыли из-под колёс моего велосипеда. Я начал притормаживать.

«Тут всегда была пашня? — спохватился я, глядя на поросшее бурьяном поле по обеим сторонам дороги. — Шумела колосьями пшеница, а потом кукуруза...»

Мы остановились.

Внук устремился к старице, манящей узкой полоской воды.

Я присел на раму велосипеда.

«Старик сказал на мосту сегодня: «Если с Богом мы будем, то и Бог будет с нами». Верно, всё верно, — с готовностью согласился я. — Но достаточно ли этого? Что я сам должен сделать? Сам?..»

* * *

...Не могу спокойно пройти, не остановившись, у края пашни. Манит она к себе неодолимой силой. А ведь ходил-то я за плугом, покрикивая на мерина Карего, не более трёх-четырёх раз в своей жизни. Пахота лежала на плечах моего деда. И трактористом-то я работал на слабосильном ДТ-54 всего ничего... одно лето. Не этим только прикипело сердце к земле. Идёт это не от моего детства, не от деда. Из далёкого далека, от самого образа жизни. Издревле. Пашня! Это — святое и целомудренное, как беременная женщина. Пашня — это радостная надежда, вера, ожидание. Это потраченная, вложенная часть тебя, главная твоя суть, обещающая в свою зрелую пору принести радостные плоды, продление жизни.

Пашня — как жизнь! Всё связанное с ней — сама жизнь! Появление первого ростка, его рост, выхаживание, сбережение... И зрелые плоды её. Разве это не циклы человеческой жизни!..

Пашня, поле всегда звали на труд.

Почему же теперь мы не слышим этот зов? Почему допустили запустение? Потеряли способность слышать? И себя не слышим? Почему так получилось?..

Оглохли и ослепли? Вопросы, вопросы...

Ответы где?

Окружённый роем вопросов, сидел я на обочине, машинально наблюдая за копошившимися под передним колесом велосипеда роющими осами. Осы обычно труженицы, они усердно опыляют цветы. Эти же, роющие, ловят мух, кормят ими своё потомство. На моих глазах под спицами усердная добытчица под одобрительное жужжание подруг волочила большую зелёную муху в земляную норку. Тучная муха едва шевелила единственным крылом...

Внук у воды ополаскивал лицо, сморённый тягучим зноем.

Потом он поднялся на пологий берег и пошёл по сухой траве ко мне. Шёл, там, где в моей юности всегда дышала в своё время пашня, а потом зеленело и золотилось поле.

— Какое-то безжизненное озеро, — произнёс внук.

— Почему? — спросил машинально. Потом дёрнулся: — Что, и следов нет?

— Каких, дед?

— Каких?! Коровьих. Там всегда коровье стойло было.
В полдень они стояли по брюхо в воде.
— Нет там никаких коров. Одни лягушки квакают.
— Ты им что-нибудь ответил? Они же наверняка спрашивали:
«Трава — какова, трава — какова?» Они так с коровами разговари-
вали тут...

* * *

Уже мчась по обочине (мало ему дороги), внук прокричал:
— Опять бермуды!
— Где?
Внук пояснил:
— Эти коровы были и исчезли? Вместе с колхозами... Какое-то
зазеркалье! И этот питомник, о котором ты рассказывал, нет его!
Я молчал.
Внук продолжал:
— Мне кажется, когда-нибудь приедем, а Красносамарских
родников — нет! Исчезли...
— Этому не бывать! — насколько бодро мог, ответил я.
— Почему?
Я остановился. Чуть поодаль притормозил и внук.
«Почему?» — саднило во мне.
Посмотрел туда, откуда мы ехали, где вдаль вершилось кос-
мическое слияние неба и земли.
Указывая на эту неохватную панораму широченной возвы-
шенности над рекой, на сине-зелёное волшебство красок, искал
ответ:
— Смотри! Это всё работает на родники! Понимаешь? Это та-
кая силища. И она не сама по себе! Это... космос! Земля и небо —
единое!..
— А это что? — он указал на еле угадываемое земляное возвы-
шение впереди. — Курган?
— Это, как учёные его называют, шестой Утёвский могильник.
В нём археологи откопали остатки колесниц. Бронзовый век. Как
ты его заметил? Он же почти вровень с дорогой.
— Ничего себе! Целое колхозное коровье стадо исчезло, а
древние колесницы остались?
— Остались всего лишь отпечатки деревянных колесниц в
грунте, — с научной педантичностью уточняю я.
Учёные исследовали черепа коней, найденные в могильнике.
На конских зубах они обнаружили следы трения от удил. Утвер-

ждают, что на сегодня эти раскопки — самое древнее свидетельство использования коней в качестве тягловой силы.

— Вот это да! — внук удивлённо оглядывает вполне унылую окрестность, словно только что спустился сюда на парашюте.

— Учёные предполагают, что и величайшее изобретение человечества — колесо, сделали именно наши предки, самарские степняки.

— А как же греки? Где Утёвка, а где — Афины?

— Наши изобрели, как считается, не плоское колесо, а со спицами. Со спицами более упругое и крепче. На колесницах через Подонье, Приднепровье и Подунавье примчали в Древнюю Грецию.

— Да, любили наши самарские предки быструю езду. Даже старик на мосту, помнишь, как сказал: ровняй бугры!..

— Как и ты! Поберегись. Второй раз может не повезти так. Болит ссадина?

— Она на голени. На ровном месте. Терпимо.

— Терпимо, — не удержался я. — Смотри у меня. Гарцуешь!.. Не на гаревой дорожке.

Я показал на противоположный берег старицы:

— Когда уезжал в город учиться, берег был голым. Сразу почти от воды было поле.

Теперь высокий лес стоит. Не всё только пропадает...

— Этим деревьям, выходит, уже почти пятьдесят лет! — удивлялся внук.

— Выходит...

В дороге

Здесь, на снежной равнине, едва миновав озеро Осинное и пробиваясь в сторону Утёвки, мы с моим дедом Иваном давным-давно попали в метель.

В обрушившейся стихии мы сбились с дороги и оказались в вечерних сумерках в непреодолимом снегу.

Лошадь встала. Помню моё смятение. Парень я был начитанный. Вмиг перед глазами явились картины Пушкинской метели. Все, казалось, неправдоподобные события маленькой повести стали возможными в реальной стихии.

Это была моя первая метель, которая захватила меня в открытом поле.

Страшное явление! И магическое...

Сумеречное освещение, возникшее загодя, не дождавшись своего положенного вечернего часа, угроза стихии жестокостью своей, белёсой пылью на твёрдом снежном покрове перейти в бурю, милости от которого ждать странно — всё против тебя.

Гибельная сила! Неукротимая! Но почему она так завораживает?.. Уже и начинающийся косой снегопад, сугробы, пугающие своей дородностью, всё, кажется, готово сомкнуться над тобой. Стать снежным куполом, отделив тебя от неба, лишив тебя всей твоей прежней жизни...

Всё становится значительным, наполненным таинственным содержанием.

Твоя жизнь сейчас висит на волоске всего лишь твоего внутреннего сопротивления. Трагизм, кажется, ещё и в том, что ни небо, которого уже почти не видно, ни земля, которая вроде бы и рядом, уже не согреют. И непонятно, в чём спасение? Что тебя выхватит из этого снежного мавзолея?

...Вот он, снегопад! Уже всю повалил. Теперь уж точно: и дед, и Карий, и я можем оказаться навсегда в белом плену, под толщей, обрушившейся, спрессованной из миллиардов снежинок, снежной лавины. В плену всеильной стихии теряется понимание где ты. В какой точке находишься? Где юг, а где север? «И зачем тебе знать это? — мелькает мысль. — Ведь всё равно теперь...» Мысли ходят по кругу...

...Но почему в тебе возникает непонятно откуда... веселье... Странно и жутковато. Это противоречит нормальному разуму... Почему начинаешь казаться себе сильнее всего того, что только сейчас тебя повергло в замешательство?

Ведь не от того же вся твоя сила, что ты знаешь, читал у гениального писателя: Метель такая уже была. Но всё более-менее обошлось... Почему мне должно быть отказано в удаче...

...Веселье готово вырваться в крике, в хохоте... То ли в протесте необузданной силы, то ли от нерастроченной собственной силы, заложенной в тебя и становящейся до крайности несоизмеримой с той, которая повстречалась тебе и оттого стала ненужной... Которую можно теперь, эту силу, а вернее, свою жизнь, швырнуть с насмешкой...

Или, ещё не осознавая до конца, почувствовал, что всё это безмерное напряжение схлынет разом. И перед тобой совсем недалеко откроется окраина села, как дрейфующий остров в снежном океане, за который ты непременно зацепишься и останешься жив... и всё случившееся в дороге останется в тебе как сновидение...

Что же всё это? Просто испытание? Проверка!.. Какой ты? Кто ты в твои четырнадцать лет?

...Тогда нам повезло. Метель оказалась не столь затяжной, а у моего деда достало терпения переждать.

Позже, перечитывая повесть классика, каждый раз воспринимал написанное уже через это событие в моём детстве. По-другому не мог.

Зима музыкальна, а метель — особенно...

...Когда впервые услышал романс Георгия Свиридова из его музыкальной иллюстрации к повести Александра Сергеевича Пушкина «Метель», был ошеломлён.

Не верилось, что эту музыку кто-то написал, пусть даже гений! Эта музыка, казалось, была всегда!

Она не в сознании, в подсознании каждого русского живёт извечно! Кажется, что она существовала, когда ещё не было Георгия Свиридова. Он появился — и будто извлёк её из народного фольклора, из народного стихийного духа. Освободил, и она зазвучала в полный голос. Отчётливо и завораживающе. Он взял её у природы!.. В последнее время меня преследует мысль, что весь наш русский путь — дорога через заснеженную равнину в метель...

Слушая «Метель» Свиридова, готов согласиться, что музыка действительно в основе всех видов искусств. Она — высшее проявление искусства.

И это название: «Музыкальные иллюстрации...» Он и не помышлял быть на одном уровне с Пушкиным... Всего лишь «иллюстрации»... Встретились два истинно русских скромных гения!

«...Страна простора, страна песни, страна печали. Страна минара, страна Христа» — так определил Георгий Свиридов для себя Россию. Он сказал так за нас за многих. Музыкай своей сказал!

* * *

Не могу уйти от мысли, что хотя и смертельно опасным был тот случай в дороге, когда метель застала нас с моим дедом в степи, хотя всё было значительно и даже губительно, воздействие на сознание снежной стихии и связанные с ней пронзительные чувства после того, как вновь, уже взрослым, прочитал «Метель» Пушкина и услышал музыку Свиридова, приобрели для меня небывало до того могучую окраску, вырастая до грандиозных, вселенских масштабов...

Связано ли это с эффектом наложения художественного и фактического? Или всё дело в гениальности авторов?

Мысли о таком наложении, взаимопроникновении одного в другое меня не отпускают давно...

Спецоперація

Этой весной купил я дорожный велосипед. После нашего с внуком прошлогоднего путешествия мне стало его не хватать. И когда бываю на даче, делаю прогулки на косу, расположенную между посёлком Гранным и озером Двубратным. Чаще всего около семи часов утра, пока не жарко. Эту косу и тем более посёлок Гранный многие в округе знают. По последним находкам краеведов получается, что Гранный когда-то положил начало образованию поселения Самара.

Теперь в нём живут, если не считать дачников, около 600 человек. Коса меня притягивает тем, что на ней растут огромные осокори вдоль озера, а чуть повыше шумит небольшая дубрава из могучих великанов деревьев.

Осокорей с каждым годом становится всё меньше и меньше. Образуется большая прогалина, а поросли мало. Дубы стоят как законсервированные. Ни один за последние несколько лет не погиб, но и молодняка нет. Хотя желудей под ногами предостаточно.

Я уже хотел заняться пересадкой. Отвезти с дачи три дубочка-крепыша со своего газона. Посмотреть для начала, что будет? Очевидно, жёлуди попали на газон, когда я принёс из леса несколько вёдер земли из-под дубов. Полив газона свершил своё, жёлуди проросли. Влаги в дубраве не хватает для молодняка! Влаги! Солнце выжаривает землю, и жёлуди не прорастают.

«Если даже и посадить свои дубки, они могут там не прижиться», — размышлял я.

...И тут свершилось чудо. Обыкновенное чудо — по-другому не скажешь.

Лето 2010 года было страшно жарким. Но странное дело, осенью было очень много желудей. Они лежали везде: в траве, на дороге...

«Как всё напрасно, — горевал я. — Зачем столько плодов, если за несколько лет не поднялось ни одного дубочка в округе? Похоже, дубрава обречена на вымирание».

Зря я так думал и печалился.

Весь июль этого лета лили дожди. Безостановочно. Месяц выдался редкий по количеству осадков.

Таким он был и в Москве.

— Как хорошо, — говорили родственники. — В Москве дышать будет легче, торфяники не так будут гореть...

В июне на косу не ездил. Дорога расквасилась. На велосипеде не одолеть.

Когда в первых числах июля выбрался на прогулку, был ошеломлён увиденным.

Обочины дороги, сама дорога, не говоря уж о прогалинах между дубами, вся земля под дубами — везде поднялось молодое воинство — крепенькие дубочки.

Попробовал под одним дубом посчитать новобранцев и остановился.

Понял: их в округе сотни, если не тысячи.

А я горевал. Как будто кто-то услышал меня!

Когда встретился знакомый коровий пастух Владимир, недавно демобилизовавшийся прапорщик, не удержал восторга:

— Видел?!

— Конечно! — с ходу поняв о чём говорю, широко улыбнулся он. — А вы хотели посадкой заняться...

Природа, когда надо, сама...

— А коровы? — спохватился я. — Они едят их?

— Едят, заразы! Но я прикинул, всё равно не меньше полтыщи останется!

«Он тоже считал», — отметил я про себя. И не удержался:

— Ты пойми, Владимир, того, что мы наблюдаем, может потом сто лет не быть. Это явление! Будет непростительно...

— Не волнуйтесь, Станиславич! Коров по кромке буду гонять, где осокори.

«Как он будет гонять их, чем? Кнута даже нет», — спохватился я, удаляясь вдоль озера.

Но, обернувшись на лай, увидел, как две собаки дружно по его команде теснят стадо из дубравы к протоке.

И успокоился было...

Но тут вспомнилось опять несчастье, случившееся с молодым бором в самарском поречье на Песках. «Как там дела? Что весной проклюнулось на пожарище?.. Надо бы выкроить денёк, поглядеть хоть краем глаза...»

Думая так, в следующий миг невольно отметил, что воспринимаю свершившееся чудо на косе — появление сотен молодых дубочков — как знак! Как некую щедрость, отпущенную мне в утешение, в успокоение. Как освобождение от того гнетущего состояния, которое возникло у меня, когда я оказался в выгоревшем поречье у Самары. На месте погибшего молодого соснового бора. На косе

поднималась будущая широкошумная дубрава. Пусть эта дубрава зашумит не скоро, без меня уже...

Но она зашумит! Тронет чьё-то сердце...

Меж этих тоненьких дубочков уже сейчас идёт вдоль земли таинственное шевеление... И если нагнуться пониже, почувствуешь волны едва уловимого, но такого крепкого лесного молодого духа.

...И показалась мне замечательной мысль, возникшая когда уже выезжал с косы:

«Надо взять и перевезти этой осенью десятка три маленьких дубочков отсюда в поречье на Пески. К Самарке!

Не сохранился сосновый бор — может, разрастётся со временем там дубрава!»

Подумав так, запланировал эту свою спецоперацию как особо важную для себя.

И теперь жду с нетерпением осени...

Меж крутых берегов

С каким восторгом открывал я для себя поэта Илью Сельвинского.

Было это на третьем курсе института.

Началось всё с толстенной, в зелёной обложке, книги, которая называлась, кажется, «Илья Сельвинский». Купил её на деньги, которые заработал, копая землю на садовых участках поляны имени Фрунзе, под Самарой.

Эпопея «Уляляевщина», роман в стихах «Пушторг», трагедия «Пао-Пао» — ошеломляли. Ничего подобного после Маяковского я не знал. Стихи поражали! Не вмещались в меня даже частью. Поэмы — айсберги, проплывали мимо меня. Завораживали, восхищали своей грандиозностью:

*Вокруг, не зная печали,
Пеструшки резвятся наспех.
А я покидаю причалы,
Вмурованный в синий айсберг.*

Так бы эти айсберги и проплыли мимо, обдав холодом льдин, заслонив собой человека-оркестра, человека-тигра, в сердце которого «воркуют голуби и щёлкают соловьи». Если бы не тоненькие книжечки его стихов:

Оказывается, это его:

*Черноглазая казачка
Подковала мне коня,*

*Серебро с меня спросила,
Труд не дорого ценя.
Как зовут тебя, молодка?..*

Такая песня!

Не верилось, что она написана за столом. Эта песня должна родиться в походе, на просторе!

Начал искать другие стихи Ильи Сельвинского. И попал в неистовый, рокоchущий, многоголосый мир! Да это не человек — это оркестр!

*Какая мощь в моей руке,
Какое волшебство
Вот в этих жилах, кулаке
И теплоте его!*

Или:

*Годами голодаю по тебе.
С мольбою о недоступном засыпаю.*

И тут же:

*Если взять на ладонь рыбёшку,
Обжигает её ладонь:
Рыбке надо тепла немножко.
А у нас по жилам огонь.
Значит, я тебя, обжигая,
Не прильну к твоему рту:
Жизни наши, моя дорогая,
Разных температур.*

Оказывается, можно так огненно и жгуче говорить о том, что ещё огненней в тебе и жгучей. Так мог говорить только он, выступавший (работавший) в цирке борцом. Под маской «Лурих I».

В таланте многое от избытка энергии. А здесь энергия фонтанировала.

Стихи заражали. Но было ещё и другое. Играла и во мне силушка! Я занимался одновременно и борьбой, и штангой. И такое было чувство удачи, и «в каждой кровинке, — как он сказал, — такой магнит, что прикажи вот этому стулу: «Взлететь!» — и он удивлённо... взлетит!»

И я загорелся! Нет, не стихи писать, статью... цирковым артистом! И непременно силовым эквилибристом. А тут ещё увидел на Куйбышевской улице (ныне Дворянская) около кафе «Три вяза» объявление о наборе в цирковое училище. Такой пример поэта! Это объявление — путёвка совсем в иную жизнь! Сверкающую, манящую, как звенящая в синем небе, под огромным купо-

лом, песнь... Так думал я, уныло вспоминая все эти скучные колбы, пробирки в химической лаборатории нашей кафедры.

Я решил всё разрубить одним взмахом борцовской руки.

Ребята, с которыми жил в студенческом общежитии, как один, были против моего намерения уйти из института, назвав это ненужным трюком. В отделе кадров, куда я заявился, посчитали за ненормального...

...Несколько дней, остывая, ходил сам не свой. Не решившись уйти из института, чувствовал себя слабаком.

* * *

Прошло более сорока пяти лет с тех пор, когда заразительный поэт чуть было не увёл меня в другую жизнь. И не было бы той, которой я живу сейчас. Теперь он мне помогает своими мудрыми строками. Их я раньше не встречал у него:

Наука беспощадна и узка,

Искусство простодушно и широко.

...На встречах читатели часто задают мне вопрос по сути тот же, что задал мне китайский профессор в Шанхайском университете. Только он говорил не о науке, а о производстве, наносящем конкретный вред природе.

«Как я умудряюсь быть и учёным, и писателем?»

Можно ли такое совмещать, да ещё почти всю жизнь проработавшему в нефтехимии? Ответ (вернее: нечто близкое к ответу) мне пришёл в нашем путешествии на велосипедах, когда я в который раз смотрел на серебристый поток реки.

Теперь на встречах с читателями привожу эти две строки поэта, сам не зная, как попал в поток между двух берегов. И эти два берега — производство, наука и литература — близки мне очень. Но я дрейфую меж них — всего-то! Ничего не совмещая. Не в силах причалить навсегда к какому-то одному. И это моё состояние в потоке меж берегов, проявление некоего моего безволия. Возможно так...

Оттуда, из заводской жизни, связанной с химическим производством, исходит немало. Но это теперешнее моё растворение в моих истоках?.. Оно освещает всё иным светом.

...Максимилиан Волошин сказал:

«Быть многогранным, интересоваться разнообразным, проявить себя во многом — лучшее средство сохранить свою неизвестность». А что важнее? Обязательная известность (допустим, в «узком и беспощадном», — читай — в науке) или полнокровие

и разнообразие захлестнувшего тебя живого потока. Не литературы — жизни?..

...Некогда было читать столько, сколько всегда хотелось и во взрослой жизни...

Если не в силах был вернуть книгу на прилавок, покупал её. Полагал: на пенсии прочту. Так собралась приличная библиотека, безмолвно укоряющая меня в том, что так мало прочитал и мало знаю.

Теперь на вопрос читателей, над чем работаю, часто отвечаю: над собой, искренне полагая, что пишуций, кроме множества качеств, которые он обязан иметь, должен всё-таки много читать. Больше чем писать....

Это очевидно. И более всего он должен мыслить. Независимо.

Однажды непроизвольно вырвалось:

Больше чувствую, чем знаю.

И в этом вся штукавина.

С тех пор стремлюсь к некоему сомнительному и призрачному балансу...

Сандальки где?

Кто из местных не знает эту дорогу...

Она ведёт туда, где Лещёвое, Осиновое, Таловая яма, Дубовое. Дорога к озёрам, без которых трудно представить утёвское детство.

Теперь эта дорога ухабиста и извилиста. Вряд ли на ней сильно теперь разгонишься даже на велосипеде.

Помнится случай: мой дядька Сергей, которому было лет пятнадцать, и я, совсем ещё зелёный, прихватив банку с червями и по удочке, вышли к мосту на выезде из села. Мост был тогда неказистый, деревянный, с покосившимися перилами. Машины перед ним всегда резко сбавляли скорость.

Когда подъехал огромный ЗИС с прицепом для перевозки труб, мы встали на изготовку.

Едва он, медленно переваливаясь и гремя, проехал на малой скорости по мосту, мы вцепились в металлическую раму прицепа.

Нам захотелось хотя бы треть пути прокатиться до Осинового озера. Но водитель так поддал, что мы начали болтаться, как подвешенные колбаски.

— Держись, а то голова оторвётся! Отцепимся, когда затормозит! — услышал я команду моего дядьки.

Но дорога была такая ровная и прямая!

Водитель только прибавил скорость.

Он сбавил газ на спуске к озеру Осиновое. Мы отлетели от прицепа, упав на песчаную обочину. Пальцы рук у меня оставались полусогнуты.

— Сань, сандальки где? Где твои сандальки? — нервно смеясь, произнёс мой дядька, выправляя согнутый козырёк фуражки.

— Отлетели, — озадаченно сказал я. — От скорости!

Он стал громко смеяться, а я, притихший, соображал: сейчас вернуться за обувкой или потом? После рыбалки на обратном пути поискать? А вдруг их уже нет на дороге?..

Что деду скажу?

Он так их заботливо шил мне. Подошвы у них чуть не в мой палец толщиной...

* * *

Прекратили ремонтировать мост через реку, изменилась дорога к нему.

Давно уж не урчал на ней широкозахватный грейдер. При эдаком сокращении поселений и численности населения, как теперь, сохранятся ли вообще наши дороги? Не превратятся ли в козы тропы? А мы тогда кем будем на них?

«Скорее бы выскочить нам на автостраду, стрельнувшую на Покровку. На ней просторно...» — уводил я себя от тоскливых мыслей.

...Вспомнился опять огромный коршун, уверенно вершивший свой полёт вдоль дороги.

Сделав над глазами козырьком ладонь, стал всматриваться туда, где скрылся со своей жертвой зловещий хищник.

Его не было видно.

А я всё смотрел и смотрел... Будто хотел убедиться, что ничего и не было... померещилось...

— Дед, ты сейчас похож на Илью Муромца. Так смотришь!.. Только ты на велосипеде, а он...

— Есть разница, — согласился я.

* * *

— Дед, мне Лёша сказал, что есть велосипедный маршрут от села Рождествено до Ширяево! Представляешь? В оба конца километров пятьдесят.

— И что?

— Вот бы нам с ним сгонять через неделю. Одобряешь?

— А вдруг поломка какая у велосипеда? Что тогда?

— Да там же водные трамвайчики ходят по Волге, до дома музея Репина. Доберёмся.

— Через неделю? А что будешь делать на следующее лето? Через год поедете.

— У меня план созрел на следующее лето.

— Ну, и?..

— Едем с тобой к истоку Самарки, в село Кариновку под Оренбург!

— Ты представляешь себе эту поездку? Полтыщи километров?! — поторопился я охладить пыл внука. — Ты же в Богатое собирався, в Бузулук?

У внука доводы свои: «Это же всё на одной трассе Самара—Оренбург!

Пушкин на лошадях по бездорожью проехал. Вон когда ещё! За «Капитанской дочкой». А нам по автостраде, по асфальтовой дороге?! Слабо? Это такой маршрут!

— Доживём до следующего лета, там посмотрим! — отгораживаюсь я от такой его затеи.

* * *

Если бы мне знать, что меня так потянет ко всему, что окружало в детстве и давали, сами того не сознавая, мне мои неграмотные, бесхитростные родители! Если бы знать! Сколько бы я скопил, сберёг из той своей жизни. Но не знал! И не сберёг. Сейчас по крохам, по песчинкам стараюсь восстановить для себя тот мир. Хотя бы частицу его. Но разве это возможно? Души тех, кто любил меня, оберегал, растил, отлетели. А моя душа? Она зачерствела в далёком пути, огрубела и отдалилась от родников своих. И куда я шёл? Я долго не отдавал себе отчёта: куда? Пока вдруг не обнаружилось: к самому себе, к родникам своим шёл. Работал и в малых, и в огромных аудиториях. При большом скоплении людей. Желал всё какого-то чрезвычайного действия, а оказалось, необходимо прислушаться в тишине, в одиночестве, к самому себе...

Чтобы не потерять себя. Не потерять мир, дарованный тебе судьбой твоей. Не потерять свою дорогу... дороженьку...

Как же так получилось в нашей общей судьбе, что не вкладывали в нас привязанность к своему дому, к своим корням? Наоборот, многое стиралось, вырывалось. Да так усердно! И самими! То ли были зачумлённые слепыми поводырями, то ли совращённые негодьями...

У внука своё. Едва остановились передохнуть, раздумывает вслух:

— Дед! А вот родники?! Вода в них! Она же с неба! Круговорот в природе... Как очистит эта гора воду, упавшую с неба или от таяния снега, такой она и будет. Физика. Никакой тайны!

— Ты о чём?

— Вода всё грязнее с неба падает. Мы её выбросами гадим. И гора меньше становится, сам говорил... Когда-нибудь этой толщи не хватит. Ослабнет фильтр... Что тогда?

— Эка ты хватанул!

— Ну, по логике так ведь? На сколько хватит? А потом что?

Вопрос — так вопрос!

Он, как мои студенты, которых я растормошил, пусть не с первого раза на лекциях по экологии, но растормошил!..

Начали думать! А коли начали думать — потянулись к знаниям. «Круговорот», — усмехнулся я про себя.

Теперь мы на лекциях часто ведём диалог. Многие, практически ничего не знавшие о малых реках нашей губернии, добровольно написали добротные авторефераты по этой теме.

Побывали в местных музеях, о которых раньше и не слыхали.

В местном выставочном зале «Радуга», где находятся компьютерные копии многих мировых шедевров живописи, ребята открыли для себя Рерихов, Рафаэля, Леонардо да Винчи, Клода Моне... Потом состоялось у нас стихийно возникшее обсуждение. И моя внеплановая лекция «Искусство — среда обитания» пришлась к месту.

Кажется, кто-то из английских писателей сказал, что преподавать надо начать хотя бы для того, чтобы увидеть: ни твои знания, ни опыт, ни старания не способны изменить тот поток молодой жизни, к которому ты уже не принадлежишь.

У этого потока своя правда! Своё право, своя энергия...

Может быть.

И мои наблюдения не так уж безоблачны...

Но всё же...

...Они, мои студенты, всего-то лет на пять старше меня тогдашнего, из того времени, когда я, ухватившись за прицеп огромной машины и подхваченный гудящей машиной, понёсся навстречу ветру.

Наш нынешний технический прогресс — гигантская машина, оторвавшая нас всех от земли. Как помочь им?.. Они так крепко ухватились за прицеп!..

Где тот момент, когда надо разжать пальцы и соскочить, не разбив лицо...

Так и звенит в ушах голос моего дядьки из детства:

«Сань, сандальки где?»

Сами себя!..

У околицы села, метрах в двухстах от крайних её изб, перед мостом, открылось глазам невообразимое. На огромной площадке, равной хорошему стадиону, на степном просторе горела свалка. Вокруг было всё занавешено белесым жутковатым дымом.

Мы остановились.

— Что они делают! — выкрикнул внук, ошалело поводя головой. — Смотри, дед! Тут же кучи пластика! Эти бутылки, банки, мешочки — все из поливинилхлорида. Они дают при горении диоксины — самые страшные для человека отравляющие вещества. Допустимые их дозы для человека измеряются миллион-миллионными долями грамма. Мы по химии проходили. Это самый страшный в мире яд.

Поражённый увиденным, я стоял молча. Ветер дул ровно от нас на сонно раскинувшееся на равнине с шеститысячным населением село.

— Весь продвинутый Запад давно уже сжигает эту дрянь на специальных заводах. Но и от них отравы столько, что рождаемость вокруг резко упала. Поняли и взялись разбираться?

Я продолжал молчать. Совсем недавно читал я целую лекцию своим студентам об этой страшной отраве.

— Дед, они безумные!

— Кто? — невольно вырвалось у меня. — На свалке никого!

— Они! — повторял он. — Кто поджёт!

— Мы, — поправил я. — Мы все!

Внук, кажется, принял такой ответ. Но, озираясь, крутил вокруг головой. Словно искал другого ответа...

Потом он прокричал неистово:

— Может быть массовое отравление!

Белесый дым тянулся уже по дороге. Было ощущение нереальности. Будто мы оказались на чужой планете. Вокруг, кроме нас, никого. И вот-вот эта планета, когда тление дойдёт до своего предела, взорвётся и разлетится на куски.

— Надо что-то делать! Дед!..

Чтобы вернуться в село другим путём, надо было описать крюк не менее пяти километров.

— Делай как я! — прокричав так, я, зажал рот и нос ладонью левой руки, правой — резко махнув призывно вперёд, взялся за руль.

Мы выскочили на мост.

Промчались по дороге метров сто и оказались в селе. Остановились. Внук, нервно дыша, ткнул колесо своего велосипеда в мою раму. Указал на свалку:

— Выйдем все так! Сами себя... Кто тут будет жить? Кому жить?

«Сами себя...» — опять это. В начале нашей поездки — от Давыдова. Сейчас вот внук...

«Есть кому, найдутся», — уныло подумал я, припомнив дружно копошащихся, как муравьи, в синих комбинезонах людей на лесной дороге. Не самый худший вариант... в мировом масштабе...

— Что-то надо делать!

— Поехали пока в сельсовет, то бишь в администрацию поселения, — скомандовал я.

— Какого поселения? — не понял внук. — Села, наверное?

— Да... — глухо отозвался я. — Вроде бы так... Села...

Мы мчали по асфальтовой дороге, пронизывающей Утёвку с края до края.

Хотелось верить в разумное...

Вот дорога! Когда-то она была покрыта всего лишь гравием. Была шербатая, с глубокими выбоинами, а теперь! Прекрасная, высоко поднятая, обустроенная сливами.

Можем же! Многое можем! Надо работать, дело делать!.. И верить в свою дорогу!

— Смотри, — внук указал на свалку, — ветер повернул к лесу, видишь, дым как идёт... И дождь закапал! Как Дятлов обещал...

— Кажется, обошлось!.. — отметил я. — Дождь потушит.

* * *

Колёса наших велосипедов, дружно шипя шинами по мокрому асфальту, несли нас вперёд! Встречный ветер развевал ветровку внука, делая его похожим на нахохлившуюся птицу. Казалось, что он вот-вот преодолеет земное притяжение и взлетит. Дождь спасительно напирал с поречья стеной.

...И продолжал звенеть вдогонку нам, фиолетовым колокольчиком услышанный на реке, напоённый радостью и доверием к жизни голос:

«Папа, папа! Смотри, какая я!

Я — лесная принцесса!»

Вспомнит ли когда-нибудь в своей взрослой жизни эта светлая девочка речку Самарку? Этот наш общий светлый июльский день, уходящий в вечность?

Как смотрела на девочку её мать, подобрав рукой подол цветастой юбки и осторожно ступая в воду. Как слушал я родниковой свежести голос девочки!..

Случайна ли речка Самарка у неё в судьбе? Или девочка с детства принадлежит ей, как и я!

Этот голос её! Живительный родничок, пробьётся ли он в будущее...

Мой внук растормошил меня... Конечно, он по-своему чувствует. И резче реагирует... Дай-то Бог ему содержательной и доброй жизни. И не утратить интереса к живой ещё природе.

Вижу, как многие его сверстники в больших городах равнодушны к ней.

...И откуда взяться интересу, если таких родников, к каким мы сумели добраться, у большинства из них, у многих их родителей уже и нет?

Давно уж так много вокруг живого закатано в асфальт.

...Так думал я, уверовав в свою правоту. Внук разом поколебал её равновесие всего несколькими фразами:

— Дед, а у нас в Покровско-Стрешнево, куда мы переехали, тоже родники бьют! Их там несколько. И озёра есть, здоровущие! За родниковой водой почти все из нашей высоты ходят. Мы тоже. И другие москвичи...

— Покажешь, когда приеду в гости?

— Нет вопросов!

Светлеют лица

...Как мне дорого то, что живо до сих пор во мне желание общаться со всем простым с виду, незатейливым. Вроде бы примелькавшимся...

Как светлеют лица тех, кто смотрит на воду! Как я теперь тянусь к моей реке! Кажется: иссякнет это моё желание — пропаду и я.

...Наступила такая моя пора, когда для меня человек, близкий к природе, знающий травы, разбирающийся в них, стал интереснее владеющего, допустим, английским языком, но не читающий русскую литературу...

И ничего тут не поделаешь.

* * *

...Каждый день под моё окно, у которого я пишу о нашем путешествии, на грушу прилетает дрозд. Один и тот же. Я его уже немножко изучил. Другие не прилетают, а ему — надо! Он спокойно сидит среди наливающихся засочивших плодов. И всё-то не спеша клювиком своим работает.

Когда его нет, мне становится беспокойно. И не пишется. А прилетит, мы начинаем оба, каждый по-своему, трудиться. Изредка поглядывая друг на друга...

* * *

Пора заканчивать мои сентиментальные записки о нашем с внуком неожиданным путешествии. Он приехал и в это лето к нам. И агитирует меня повторить нашу прошлогоднюю вылазку на велосипедах. Но удлинить маршрут до самого Бузулука, как он задумал ещё прошлым летом. Что ж, можно.

Вот только с болячками разберусь...

Их не становится меньше!..

Уйти от скучного дряхления!..

Так хочется продолжать активно работать!

Опять вспомнился пронзительный француз Мишель Монтень: «Я хотел бы умереть за работой в поле», — так, кажется, он сказал.

— И мне хотелось бы нечто подобное, — добавлю я. — Коли уж умирать, так живым!..

И чтобы последние мои ощущения от жизни на земле застали меня на сенокосе.

И было бы под ногами луговое разнотравье! Синее небо над головой... И я в сиреневой майке. Как в детстве!.. У реки!

2012 г.

Об авторе этой книги

* * *

Александр Малиновский — явление уникальное. Крестьянский сын, человек из народа с высоким духовно-нравственным потенциалом, он принадлежит также и к научно-технической, управленческой элите России в высоком значении этого понятия. Отсюда и замечательные, я бы далее сказал, редкие свойства его прозы. Непридуманнные, взятые из самой жизни «простые» сюжеты под пером художника приобретают глубокий, бытийный смысл.

Читая А. Малиновского, ещё и ещё раз убеждаешься в простой истине: не бывает чистого писательского таланта, писатель по-настоящему интересен только тогда, когда он сам является яркой, незаурядной личностью.

Валерий ГАНИЧЕВ,
профессор,
Председатель Союза писателей России

* * *

Наконец я прочёл его работы и сижу и радуюсь: я открыл для себя не просто писателя, но человека и мыслителя, больше того — родственную душу.

Мы почти ровесники, из села. На наше поколение легла тяжелейшая пора для России, мы вместе тащим ношу ответственности за Отечество. И, кажется, ноша Малиновского потяжелей моей: я иногда смотрю на происходящее со стороны, а он внутри этого происходящего.

Важно сказать, что у Малиновского растут и изменяются не только герои, но и он сам. Сохранив главные черты славянского характера: доверчивость, открытость, жертвенность, — он не может по логике развития не идти далее, к высотам постижения главной истины: для чего живёт человек?

И отвечает вместе с мудрецами: для спасения души.

Владимир КРУПИН,
писатель, г. Москва

* * *

Не мной первым сказано: нет биографии — нет писателя. Разумеется, речь идёт не о биографии отдела кадров: там-то родился, в такой-то школе учился. Речь — о школе жизни, о твоём соучастии (или не участии) в тех делах и событиях, которые вращаются вокруг тебя, в твоей стране.

И в этом смысле у Александра Малиновского есть дорогое стоящее преимущество перед теми современными литераторами, которые и перо достаточно уверенно держат в руке, но пишут больше о соре и грязи, поскольку иной жизненный материал им то ли недоступен, то ли вообще мало интересен.

У Александра Малиновского есть большая, исполненная добрых дел биография, есть огромный «запас» впечатлений от общения с сотнями людей, встреченных на жизненном пути. Так что у нас, его товарищей, есть все основания ждать от талантливого прозаика многого и многого.

Семён ШУРТАКОВ,
писатель, Москва

* * *

Александр Малиновский одним махом разрушил образ писателя, который часами бродит в тенистых аллеях, обдумывая сюжеты своих повестей, а потом затворником сидит за письменным столом в тихом кабинете, передавая чистому листу посетившие его озарения.

Заслуженный изобретатель, доктор технических наук, директор крупнейших предприятий, Александр Малиновский над чистым листом склоняется после напряжённого, насыщенного событиями дня. И то — если его рабочий день заканчивается хотя бы под вечер, а не за полночь.

Было время, когда писателей посылали в творческие командировки на заводы, стройки, в колхозы, чтоб они своими глазами увидели трудовые подвиги, беды и победы. Александр Малиновский уже из когорты качественно новых литераторов. Ему нет нужды погружаться в гуцу событий: он из неё и не выходил...

Это не открытие, что у любого горожанина корни — деревенские. Пусть хоть в двадцатом поколении горожанин, а корень, он всё равно уходит туда, домой, в деревню. И душа человека питается соками, идущими по этому корню из той далёкой, может быть, уже и забытой самим человеком родной земли, —

его родины. В деревне связь человека с природой настолько сильна, что он и сам себя ощущает частью этой природы. В деревне всё естественней: смех и слёзы, и свадьбы, и похороны, и песни. Душой человеческой эта родина не забывается никогда. Услышит какой-нибудь, уже в десятом поколении горожанин:

Степь да степь кругом,

Путь далёк лежит... —

и затуманит слеза очи его. Вот она, связь...

А у Александра Малиновского его родная Утёвка так свежо перед глазами стоит, он ещё слышит, как бьют в подойник струи молока: мама корову Жданку доит.

Земля. Небо. А журавли? А жаворонки? Сперва из теста, а потом и настоящие. Жизни-то городской — всего несколько десятилетий. А деревенской — там века и века, поколения и поколения. И память будоражит душу. И сердце разрывается от нежных чувств к родной земле, близким людям. И приходит осознание того, что все люди на земле — близкие. Особенно выразительны эти чувства в повести «Под открытым небом», которую так хорошо принял читатель. В 2001 году автор получил за неё всероссийскую премию «Русская повесть».

Читая Александра Малиновского, понимаешь, что общаешься с человеком не только участливым, чутким, сердечным и готовым щедро поделиться своей сердечностью, но и с человеком, пытливо вглядывающимся в происходящее вокруг.

Автор — наш современник. На его глазах рушилась наша великая держава, проходил парад суверенитетов, на его глазах останавливались крупнейшие предприятия страны. Лучшие отечественные кадры остались не у дел. Что происходит? Почему так происходит? Александр Малиновский не только не обходит эти вопросы — он ставит их и отвечает на них со всей прямоотой человека-практика. И в творчестве своём он во главу угла ставит нравственность. Только то, что нравственно, то и хорошо. То и во благо. Во благо огромной стране и каждому человеку.

Мы читаем с вами повесть «Отклонение», которая, к сожалению, не вошла в этот сборник, вглядываемся в образ Кирилла Касторгина, в его судьбу и понимаем, что такая же участь в этой жизни постигла и кого-то из наших близких или друзей, или знакомых. А может быть, и нас самих. Видим, что этот образ как бы вырван писателем из самой жизни. И говорим себе: «Это правда. Да, правда». За писательской нравственностью

всегда только правда. И ещё примечательно: автор никогда не прерывает своё повествование на безысходной ноте. Он всегда оставляет место надежде. И это тоже так по-человечески, так по-Божески...

Есть в Троице-Сергиевой Лавре икона художника Григория Журавлёва. Многим ли это имя о чём-то говорит? Нет, не многим. И судьбе было угодно, чтоб спустя почти столетие после смерти художника на его родной самарской земле поднялся писатель Александр Малиновский и в своей небольшой по объёму книжице «Радостная встреча» поведал миру о замечательном иконописце-самоучке, который писал, «держа кисть в зубах», поскольку с рождения был без рук и без ног.

Не могу удержаться, чтоб не привести здесь слова, которыми Епископ Самарский и Сызранский Сергей благословил этот литературный труд.

«Слава Богу, что в наше время восстанавливается историческая действительность и воздаётся должное таким талантам, как иконописец Григорий Журавлёв. Рождённый с недугом, но имевший глубокую Веру и Силу Духа, он творил во имя Бога и для людей. Его иконы несли Божественный свет, помогая людям. Призываю Божье благословение на автора и на его повесть, открывающую людям путь к Свету и Правде». Очень высокая оценка. Не сомневаюсь, что даже взыскательный читатель, перевернув последнюю страницу этой книги, подумает о писателе Александре Малиновском — с благодарностью.

Игорь ЛЯПИН,
поэт, г. Москва

Библиографический указатель

I. Основные издания произведений Александра Малиновского

1. Светлый берег: Стихи. — Самара: Издательская группа INDEX, 1992. — 22 с.
2. Степной чай: Рассказы. — Самара: Издательская группа INDEX, 1992. — 64 с.
3. Разговор с сыном: Рассказы. — Самара: Издательская группа INDEX, 1992. — 92 с.
4. Я любить не устану: Стихи. — Самара: Самарское книжное издательство, 1994. — 126 с.
5. Горница: Проза. Поэзия. — Paris: CopArt editions, 1994. — 220 с.
6. Чёрный ящик: Повесть. — Самара: Самарское отделение Литературного фонда России, 1996. — 224 с.
7. Радостная встреча: Документальная повесть. — Самара: Самарское отделение Литературного фонда России, 1997. — 48 с.
8. Под открытым небом: Повесть. Рассказы. — Самара: Самарское отделение Литературного фонда России, 1997. — 224 с.
9. Звёздное коромысло: Стихи. — Самара: Самарское отделение Литературного фонда России, 1998. — 160 с.
10. Повести: Проза. — Самара: Самарское отделение Литературного фонда России, 2000. — 480 с.
11. Не так живём: Стихи. — М.: Библиотека современной русской поэзии журнала «Поэзия», 2000. — 64 с.
12. Окошко с геранью: Сборник песен на стихи А. Малиновского. — Самара: Парус, 2000. — 90 с.
13. Радостная встреча: Повести. — М.: Палея-Мишин, 2001. — 372 с.
14. Избранное. В 2-х т. — М.: Издательский дом «Российский писатель», 2003. — 976 с.
15. Отклонение: Повесть / журнал «Молодая гвардия» (Москва). — № 1, 2, 3. — 2001.
16. Под открытым небом: Повесть / журнал «Молодая гвардия» (Москва). — № 5-6. — 2001.
17. Колки мои и перелесья: Отрывки из повести / журнал «Москва» (Москва). — № 4. — 2001.
18. Радостная встреча: Повесть / журнал «Роман-журнал XXI век» (Москва). — № 3. — 2002.
19. Зелёный чемодан: Повесть / журнал «Русское эхо» (Самара). — № 1, 2. — 2002.

20. Под старыми клёнами: Повесть. — М.: Издательский дом «Российский писатель», 2004.
21. В плену светоносном: Повесть / журнал «Наш современник» (Москва). — № 2. — 2005.
22. Окошко с геранью: Стихи. — Самара: Самарское отделение Литературного фонда России, 2006. — 76 с.
23. Радостная встреча: Повесть / журнал «Всерусский собор» (Санкт-Петербург). — № 2, 3. — 2007.
24. Новое имя: Сборник прозы. — Самара: Самарское отделение Литературного фонда России, 2006. — 64 с.
25. Сергей Сергеич и Сима: Повесть / журнал «Наш современник» (Москва). — № 2. — 2007.
26. Радостная встреча: Повесть / журнал «Русское эхо» (Самара). — № 1. — 2007.
27. Под открытым небом: Сборник прозы в 2-х т. — М.: Издательский дом «Российский писатель», 2007. — 1 т. — 600 с. — 2 т. — 580 с.
28. А избы горят и горят: Очерк / журнал «Русское эхо» (Самара). — № 1. — 2008.
29. Далёкое и близкое: Очерк / журнал «Роман-журнал XXI век». — № 1. — 2008.
30. Планета Любви: Повесть / журнал «Русское эхо» (Самара). — № 3. — 2008.
31. Даль без края: Стихи для детей среднего и старшего возраста. — М.: Российский писатель, 2011.
32. Под старыми клёнами. Однажды в зимние каникулы: Повести. — М.: «Аквилегия-М», 2012.
33. Принесу вам хлебных крошек: Стихи для детей младшего и среднего возраста. — Самара: АНО «Просветительский центр «Пересвет», 2012.
34. Дом над Волгой: Повесть / Сборник прозы «Восстани, что спиши». — Нижний Новгород: Родное пепелище, 2012.
35. Красносамарские родники: Повесть / журнал «Русское эхо». — № 9. — 2012.
36. Радостная встреча: Документальная повесть. 5-е изд. — Самара: Русское эхо, 2013.
37. Хромоножка: Повесть / журнал «Русское эхо». — № 4. — 2013.
38. Голоса на обочине: Отрывки из повести / журнал «Русское эхо». — № 2. — 2014.
39. Дом над Волгой: Сборник прозы. — Самара: «Русское эхо», 2014.

II. Литературно-критические публикации о произведениях Александра Малиновского

1. Шарлот В. Путь далёк лежит: Рецензия на книги, выпущенные в 1992 г. — Волжская коммуна.
2. Костин Г. Истоки: О сборнике «Горница». — Самарские известия. — 17.02.1995.
3. Карасёв В. «Сшибить меня трудно»: Интервью с А. Малиновским. — Моя газета. — 30.05.1995.
4. Харитонов Т. Директор и его музы / журнал «Яблоко». — № 23. — 1995.
5. Вятский А. В этой горнице чистой: Рецензия на книги А. Малиновского. — Волжская коммуна. — 13.02.1996.
6. Молько А. «Здесь многое ещё надо понять...»: Рецензия на книгу «Чёрный ящик». — Волжская коммуна. — 16.07.1997.
7. Вятский А. «Как ладя без весла...»: Рецензия на сборник «Горница». — Седьмой канал. — 23.11.1996.
8. Ярыгина Е. Что в «чёрном ящике» генерального директора. — Число. — 06.06.1997.
9. Время собирать камни. — Волжская коммуна. — 16.07.1997.
10. Кан Д. Радостная встреча: Рецензия на книгу «Радостная встреча». — Благовест. — № 14. — 1997.
11. «Писал, зажав кисть зубами»: Рецензия на книгу «Радостная встреча». — Вестник Союза писателей России. — Апрель. — 1998.
12. Баранов Ю. Что жаждет душа: Рецензия на сборник стихов «Не так живём». — Роман-журнал XXI век. — № 6 (18). — 2000.
13. Молько А. «Нет мне в жизни покоя...»: Судьба и творчество А. Малиновского. — Самара: Агни, 2001. — 176 с.
14. Сохрина А. Тайна Малиновского: Рецензия на книги. — Волжская заря. — 20.10.2001.
15. Сохрина А. «Коль мог бы я сто раз на свет родиться...»: Интервью с А. Малиновским. — Волжская заря. — 11.04.2002.
16. Толкач М. На стремнину могучей реки: Рецензия. — Волжская коммуна. — 25.12. 2002.
17. Иванов В. Счастливый человек: Заметки о творчестве А. Малиновского. — Самарские известия. — 15.03.2002.
18. Молько А., Игошин П. Возможность невозможного // Российский писатель. — № 8 (35). — Апрель. — 2002.
19. Кокшенёва К. Хлебная корка: Рецензия на «Избранное в 2-х т.» Александра Малиновского. — Российский писатель. — № 5 (56). — Март. — 2003.

20. Дорин А. Время тихого героизма. — Российский писатель. — № 21(72). — Ноябрь. — 2003.
21. Александр Малиновский — творческий портрет писателя: Сборник статей и рецензий. — М.: Издательский дом «русский писатель», 2004. — 155 с.
22. Анашкин Э. Светоносный плен самарской глубинки. — Русское эхо. — № 1. — 2006.
23. Игнашов А. И вновь — радостная встреча. — Российский писатель. — № 17-18 (165-166). — Сентябрь. — 2007.
24. Гордеева И. Повесть о Григории Журавлёве. — Благовест. — № 3(345). — Февраль. — 2008.
25. Иванов В. Оставаться самим собой. — Самарская губерния. — № 71(5299). — Апрель. — 2008.
26. Кан Д. В оппозиции к пошлости: Интервью с А. Малиновским. — Вечерняя Самара. — 06.09.2008.
27. Карасёв В. По пути добра и света. — журнал «Самарские судьбы».
28. Окружнов А. От начала круга / В книге «Живёт родник». — Самара: ООО «Книга», 2012.
29. Молько А. В середине неба / В сб. «В моей душе одна любовь...» — Самара: Русское эхо, 2012.
30. Бердникова А. Светоносный плен: Очерки о жизни и творчестве А. Малиновского. — Самара: Русское эхо, 2014. — 208 с.

Содержание

Сергей Казначеев.

Самарские родники Александра Малиновского..... 5

Под открытым небом 15

Кólки мои и перелесья 148

Дом над Волгой..... 318

Красносамарские родники405

*Об авторе этой книги.....*551

Библиографический указатель..... 555

Литературно-художественное издание

Александр Станиславович Малиновский

ДОМ НАД ВОЛГОЙ

Повести

Книга издана за счёт средств бюджета
городского округа Самара

Руководитель проекта
Александр Громов

Подготовлено издательством

«Русское эхо»

Самарской областной писательской организации

Адрес: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179,
телефон (846) 333-48-01

Подписано в печать 20.08.2014. Формат издания 60x90/₁₆.

Объём 35 печ.л. Гарнитура Georgia .

Бумага офсетная. Печать офсетная. Тираж 700 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Медиа-Книга»
443070, г. Самара, ул. Песчаная, 1; тел.: (846) 267-36-82
e-mail: izdatkniga@yandex.ru